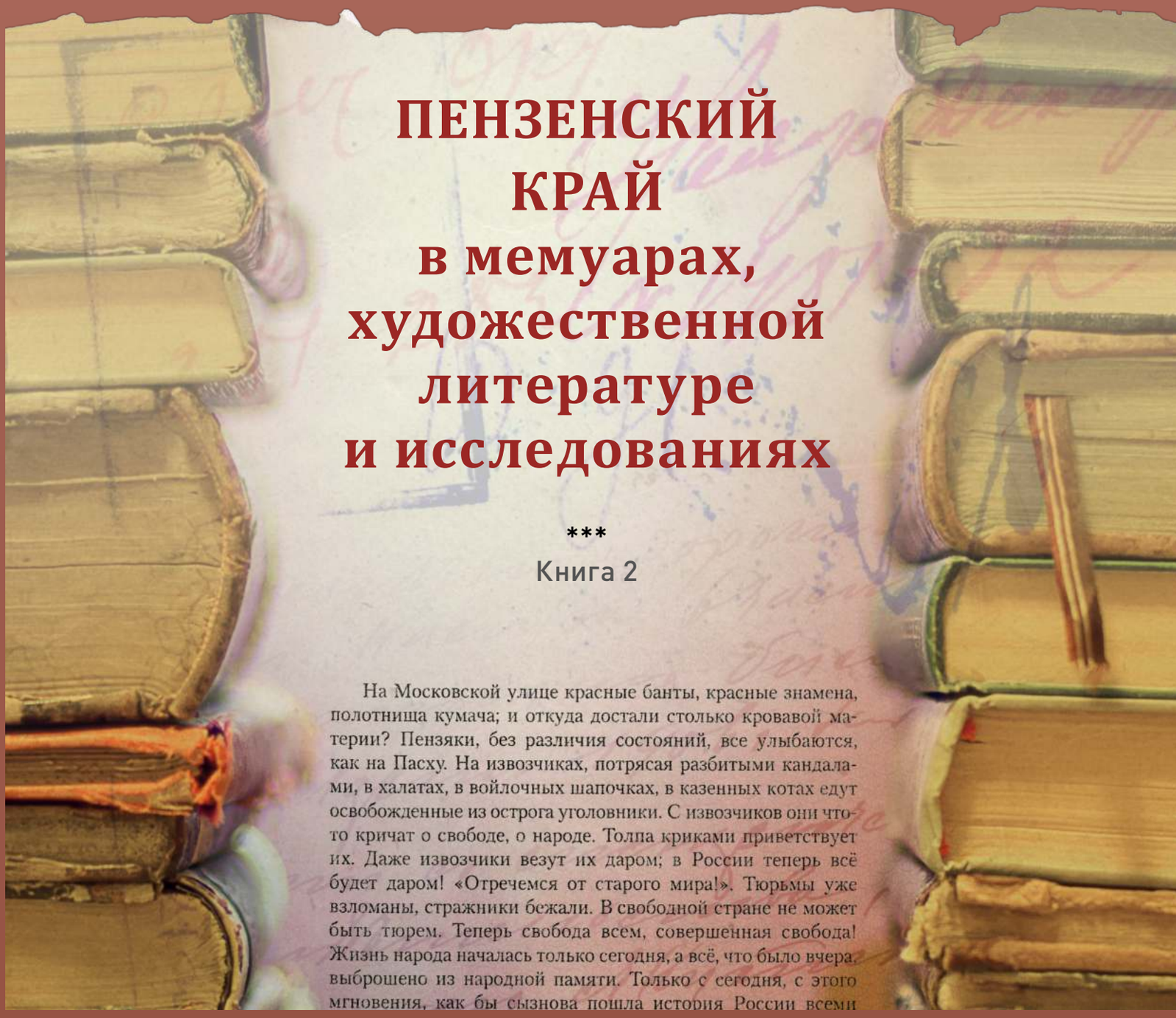
антология



ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ в мемуарах, художественной литературе и исследованиях

***

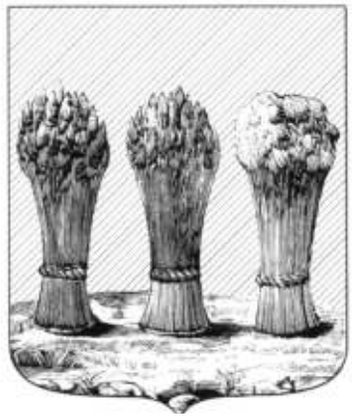
Книга 2

На Московской улице красные банты, красные знамена, полотнища кумача; и откуда достали столько кровавой материи? Пензяки, без различия состояний, все улыбаются, как на Пасху. На извозчиках, потрясая разбитыми кандалами, в халатах, в войлочных шапочках, в казенных котах едут освобожденные из острога уголовники. С извозчиков они что-то кричат о свободе, о народе. Толпа криками приветствует их. Даже извозчики везут их даром; в России теперь всё будет даром! «Отречемся от старого мира!». Тюрьмы уже взломаны, стражники бежали. В свободной стране не может быть тюрем. Теперь свобода всем, совершенная свобода! Жизнь народа началась только сегодня, а всё, что было вчера, выброшено из народной памяти. Только с сегодня, с этого мгновения, как бы сызнова пошла история России всеми

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ИГОРЯ ШИШКИНА

Администрация города Пензы
Управление культуры города Пензы

Отделение Российского исторического общества в Пензе



Сохраняя прошлое — создаём будущее

Издательский проект Игоря Шишкина

Вид на Пензу с юго-востока

* * *

антология

ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ в мемуарах, художественной литературе и исследованиях

***

Книга 2

Пенза 2014

УДК: 908(470.40)
ББК: 63.3(2Рос-4Пен)
А72

Антология (составитель Шишкин, И. С.)
Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях. Серия книг. Т.2. М.: Новые решения, 2014. –272 с. – ISBN 978-5-9905941-2-8

Второй том многотомного издания Антологии включает в себя художественные произведения, воспоминания и дневники (как изданные, так и рукописи), исследования и статистические описания, заметки путешественников и прочее.

Все эти материалы объединены одним — пензенской историей. Речь в них идёт о событиях, происходивших на землях, входивших когда-то в Пензенскую губернию, или ныне относящихся к Пензенской области, а так же о людях, чья жизнь или деятельность связана с нашим краем.

Тексты, содержащиеся в Антологии, были написаны и охватывают исторический период с XVII века и до середины XX века. Большинство из них малоизвестны, либо труднодоступны в силу давности их публикации.

Издание предназначается всем, кто интересуется прошлым нашего края.

ISBN 978-5-9905941-2-8

© Игорь Сергеевич Шишкин, 2014
© Лариса Викторовна Рассказова (тексты аннотаций), 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Мемуары
Вигель Филипп Филиппович (1786–1856).
ЗАПИСКИ 7

Мемуары
Юматов Пётр Иванович (1795–1871).
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА 1813–1814 ГОДОВ 81

Художественная литература
Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852).
ИСКУСИТЕЛЬ 107

Описания, исследования, документы
Жданов Михаил Павлович (1810–1877).
ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ ПО РОССИИ, В ДВАДЦАТИ ГУБЕРНИЯХ 129

Описания, исследования, документы
Прозин Николай Васильевич (1836–1898).
ГОРОД ПЕНЗА 135

Художественная литература
Гиляровский Владимир Алексеевич (1853–1935).
МОИ СКИТАНИЯ 145
ЛЮДИ ТЕАТРА 154

Мемуары
Семибратова Татьяна Владимировна (1911–1992).
ЗАПИСКИ О ПЕНЗЕНСКОЙ РОДНЕ 157

Мемуары
Кошко Аркадий Францевич (1867–1928).
ГНУСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 171

Художественная литература
Гуль Роман Борисович (1896–1986).
КОНЬ РЫЖИЙ 183
Я УНЁС РОССИЮ 200

Мемуары
Гуль Роман Борисович (1896–1986).
АВТОБИОГРАФИЯ 210

Мемуары
Спрыгина Людмила Ивановна (1906–1999).
СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА 217

«Антология. Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» предполагает многотомное издание, куда будут собраны воспоминания современников, литературные произведения, написанные на пензенском материале, историко-краеведческие и статистические очерки, описания путешественников, в общем, всё то, что было написано с века XVII-го до середины XX-го. Более поздняя краеведческая литература, выходившая с конца 1940-х годов, доступна, и с ней довольно легко можно познакомиться в пензенских библиотеках.

Собрать всё воедино — работа огромная, не на год-два рассчитанная. Материала же, даже на первый взгляд, хватит на десятки томов. Большинство текстов избранного периода, практически, малодоступны широкому кругу читателей, даже специалистам, поскольку печатались в изданиях и журналах 100–200 лет назад и, зачастую, не переиздавались. Кроме того, в фондах архивов, музеев и частных лиц хранятся воспоминания пензяков, вообще никогда не публиковавшиеся. Необходимо отметить, что за последние 15–20 лет всё же кое-что из давно забытого вновь увидело свет, правда, в малотиражных сборниках и журналах.

Возможно, некоторые из материалов, публикуемых в разделе «Мемуары», нынешнему читателю покажутся чересчур претенциозными, категоричными в суждениях об окружающих людях, либо в оценке происходивших событий. Что ж, все писавшие — люди разные, друг на друга не похожие. Мы умышленно воздерживаемся от комментариев к их воспоминаниям с нашей (тоже, кстати, субъективной!) оценкой, предоставляя читателям самим делать выводы из прочитанного…

В каждом томе Антологии материалы будут размещены в хронологическом порядке тех событий, которым они посвящены. Для удобства все они будут распределяться по трём разделам: первый — мемуары и воспоминания очевидцев событий, второй — художественные произведения, третий — описания, исследования и документы. Отнесение материала к тому или иному разделу сориентирует читателя в своём отношении к предлагаемому тексту.

О каждом авторе (или публикуемом тексте) будет дана небольшая информация, но не стандартно-биографическая, а более о его месте в пензенской истории. Здесь же будет представлен и его портрет, если, конечно, таковой найдётся.

Составитель

Филипп Филиппович

ВИГЕЛЬ

(1786–1856)

ЗАПИСКИ

Текст печатается по изданию серии
«Биографии и мемуары» (Москва, Захаров, 2003).
Данное издание было осуществлено
по единственному полному изданию
в «Русском Архиве» 1891–1893 гг.
(дополненному с подлинной рукописи)
с цензурными пропусками, восстановленными
по изданию С. Я. Штрайха 1928 года.

Фамилия Вигелей прочно вросла в пензенскую историю и даже топографию. Отец знаменитого мемуариста Филипп Лаврентьевич (1740–1812) служил пензенским губернатором в 1801–1809 годах, а после отставки остался в губернии навсегда. Две его жены — П. А. Симбухина и М. П. Лебедева (1752 – после 1829) — происходили из старинных пензенских родов, в Пензенской области до сих пор сохранились сёла с такими названиями. Была в Пензе и Вигелевская улица (ныне Дзержинского).

Филипп Филиппович родился в с. Симбухове (ныне Калинино) Пензенского уезда, провёл в нашей губернии детство, многажды приезжал в течение всей жизни. Знал многих пензенских помещиков и чиновников, живал в пензенских усадьбах, посещал пензенские театры и проч. Службу он начинал архивным юношей в Архиве коллегии иностранных дел. Умный, исполнительный и амбициозный чиновник быстро продвигался по служебной лестнице в Министерствах иностранных и внутренних дел и финансов, в 1824–1826 был вице-губернатором Бессарабской губернии, 1826–1828 — Керченский градоначальник. Последняя должность — директор Департамента духовных дел и иностранных вероисповеданий с чином тайного советника (гражданский генерал-лейтенант).

«Я люблю его разговор, он занимателен и делен», — говорил А. С. Пушкин, которого Вигель хорошо знал, как и почти всех литераторов той эпохи, в том числе и М. Ю. Лермонтова. Так же написаны и «Записки», не публиковавшиеся при жизни автора. Они стали классикой мемуарного жанра и ценнейшим источником по истории и культуре России XIX века. Вместе с ними и Пензенская губерния стала классической российской провинцией.

«Записки», из которых публикуются только пензенские страницы, были полностью опубликованы в 1892 году редакцией журнала «Русский архив», затем несколько раз переиздавались.

* * *

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

* * * * * * * * * *

Глава III

Рассказав все, что знал, о предках и родственниках отца моего, с чувством некоторой гордости начинаю говорить о русском происхождении моем по матери.

Много есть ныне таких фамилий, кои, гордясь древностью происхождения, имеют сильные притязания на знатность, но коих названий отыскать невозможно в так называемой бархатной книге.

Известно, однако же, что она заменила родословные книги дворян, преданные всесожжению для истребления местничества при царе Феодоре Алексеевиче, то есть лет с небольшим полтораста тому назад.

Род Лебедевых, от коих происхожу я по матери, в ней, однако же, находится. Сие, впрочем, могло бы ничего не доказывать; я знал Ушаковых, Новосильцовых, Сабуровых, людей именующих себя в истории российской везде встречающимися названиями, кои были, однако же, или отпущенные на волю, или отданные в рекруты крепостные люди. Я не говорю уже о бесчисленных Павловых, Алексеевых, Яковлевых, Мартыновых, сих именных прозваниях, кои по отцу всякий принять и потомству передать может. Выслужившись до штаб-офицерского чина, право или неправо наживши имение, женившись на богатой купчихе или бедной дворянке, они детям своим, а еще более внукам, передают право без малейшего препятствия причислиться к благородным фамилиям, им вовсе чуждым, и даже затмевать их, если чины и состояние то дозволяют. После того пусть еще гордятся у нас древние дворяне, почитающие себя древними!

Дед мой, Петр Иванович Лебедев, умер в 1752 году, оставив вдову, беременною моею матерью, и старшую восьмилетнюю дочь Елисавету. Он был тогда прапорщиком гвардии Измайловского полка, а службу начал простым рядовым. Это могло бы заставить подумать, что он также не что иное, как ветвь, самовольно привившаяся к древнему, благородному древу; но вот что служит доказательством противному: все дворяне и даже князья, вступая тогда в войско, начинали быть простыми солдатами; а что еще убедительнее того, матери моей досталось от отца по наследству село Лебедевка, при речке Ардыме, в шести верстах от Пензы, еще доныне в нашем семействе сохранившееся. В кладбищенской, полусгнившей деревянной церкви сказанного села находятся с надписями могилы Ивана Кондратьевича и Ивана Ивановича Лебедевых, прадеда и деда моей матери, над прахом коих по известным временам она служила панихиды. Так как Пенза сделалась городом только в 1666 году, при царе Алексей Михайловиче, то весьма вероятно, что Иван Кондратьевич был основателем и первым вотчинником селения, которое назвал своим фамильным именем; если же он получил его по наследству от предков, то тем лучше для дворянского нашего тщеславия.

Моя бабка, овдовев, вышла второй раз замуж за одного рязанского помещика Трескина, прижила с ним детей, но умерла в молодости и оставила мать мою у вотчима, в совершенном почти ребячестве. Вскоре потом бабка ее с материнской стороны приняла к себе и малютку; но и под крылом сей последней не долго она осталась. Она была во втором браке за одним Василием Ивановичем Чулковым и, не имев от него детей, умирая, отказала ему попечение о своей внучке.

Хотя сей г. Чулков был нам почти вовсе чужой, но как он был единственный покровитель и единственное воспоминание младенческих лет моей матери, так рано лишившейся родителей и родных и знавшей их почти только по слуху, то мне желательно сохранить здесь трогательное семейное о нем предание.

Родившись в низком состоянии, он, неизвестно как, попал в придворные истопники на половину цесаревны Елисаветы Петровны; по усердию своему он сделался ей известен и близок и служил, как божеству, дочери Петра Великого. Почести на него посыпались с ее воцарением: он вскоре сделался действительным камергером, Александровским кавалером и даже, наконец, генерал-аншефом, хотя в военной службе никогда не находился. Тогда-то дворянка Кривская, урожденная, хотя татарская, но все-таки княжна Мещерская, не только не погнушалась руки бывшего истопника, но с благодарностью приняла его предложение. Сей брак был устроен Провидением как будто для того, чтобы дать защиту круглой сироте, моей матери.

Я знавал людей, кои помнили еще царствование Елисаветы Петровны и со слезами умиления вспоминали о нем. Сия государыня, с добрым, нежным сердцем, получила самое дурное воспитание; она выросла среди древних, грубых, но уже не простых и чистых, а европейским первоначальным образованием испорченных нравов тогдашнего времени. Ей было ведомо искусство делать подданных счастливыми и заставить чужие народы уважать имя русское; но она не знала тех приличий, кои ныне царям необходимы, сего кроткого величия, коим Екатерина Вторая умела вселять благоговейный к себе страх. Обхождение с нею было самое простое, хотя и трепетали ее гнева, и образ жизни ее можно было встретить, лет с тридцать тому назад, между помещицами отдаленных губерний.

Во внутренности дворца своего она была окружена толпою женщин из простонародья, болтуний, сплетниц. Суеверие, ложные страхи производили в ней бессонницу, и эти женщины, сидя в некотором расстоянии от ее постели, должны были сначала рассказывать ей сказки, а потом, когда замечали, что она начинает забываться, продолжали между собою разговор шепотом, чтобы совершенно усыпить ее. Верный слуга Василий Иванович должен был также тут находиться и, невзирая на разницу лет и звания, являясь опять прежним истопником, смиренно клал на пол тюфячок

свой подле кровати императрицы и, как бессменный страж, ложился у ног ее. Зная, что государыня не спит еще, гнусные твари в разговорах своих часто злословили царедворцев, не довольно к ним *чивых:* тогда правдолюбивый Чулков тихо возвышал голос, чтоб опровергать их клеветы, понося их словами, которые во дворце слышать бы не должно было, и тем успокаивал рождающиеся подозрения добродушной своей царицы. Случалось, что она, вставая ранее утомленного старика, тащила его, шутила с ним; а он, приподымаясь легонько, потрепывал ее, говоря: «Ох, ты моя лебедка белая!»

Не мое дало описывать царицу среди великолепий пышного двора ее, победы ее полководцев над великим Фридрихом, благоденствие России под ее правлением, рождающиеся при ней художества, театр и поэзию: для того были Ломоносовы и будут еще другие счастливцы, кои в истории ее изобразят золотой век России. Мне пришлось сказать несколько слов о домашнем быте старинной боярыни на троне и столько, сколько сие касалось до благодетеля моей матери, предка моего не по крови, а по благодеяниям. Я уверен, что читатели не причтут меня к числу тех злонамеренных людей, коими изобилует наше время, кои, подобно свинье Крылова, ищут одного навоза, не хотят или не умеют отделить частной жизни царей от политической и, привязываясь к одним человеческим их слабостям, стараются затмить весь блеск их царственных деяний.

Лет четырнадцати мать моя лишилась и попечителя своего, который вспоил, вскормил ее, берег и лелеял, оставил ей пример своих добродетелей и несколько отеческих наставлений, но едва выучил ее грамоте, которую сам плохо знал. Она отправилась в свое поместье, вступила в управление, сделалась полною госпожой и... не погибла. Ангел-хранитель ее остался тогда единственным заступником бедной сироты; казалось, начертав на лице ее свой образ, он в сердце ее вдохнул свою непорочность.

Я не мог видеть ее молодости (она родила меня, будучи с лишком тридцати лет), но от стариков, искавших руки ее, много слышал о ее разборчивости и красоте. Когда я мог судить об ней, она уже была в преклонных летах, но и тут еще нравилась; для ребенка добрая мать прекраснее всего в мире, а мне казалось и в совершеннолетии, что такой миловидной старушки я не встречал никогда.

В следующей главе буду говорить о ней пространнее, но и здесь не утерпел сказать несколько слов.

Глава IV

* * * * * * * * * *

Саратов и Пенза, два провинциальные города, почти в одно время возникшие, построены в двухстах верстах один от другого, и как в старину, так и поныне находятся в тесном союзе и беспрестанном соперничестве или, лучше сказать, соревновании; но участь сих городов совершенно различна.

Первый из них стоит на берегу величественной Волги, царицы рек, движущегося моря, и владычествует над одною из пространнейших областей в государстве. В сей области находятся и многолюдные уезды, хлебопашцами, помещичьими крестьянами населенные, и плодородные, широкими реками орошаемые степи, никем или еще мало обитаемые, и степи безводные, и солончаки; в ней Елтонское озеро, снабжающее солью треть России; в ней иностранные колонии, в ней Ахтуба и развалины Сарая; в ней растут береза и виноград, произведения Севера и плоды Юга; в ней и хлебопашество, и торговля, и судоходство, и рыбная ловля, и соляной промысел.

Пенза на горе возвышается гордо над смиренной Сурой. Сия речка, только при устье своем достойная названия реки, в одно только время года, и то самое короткое, бывает судоходна; она робко и медленно приближается к спесивой Пензе и, не смея коснуться подошвы ее, в двух или трех верстах от нее протекает [1].

Губерния Пензенская сжата на малом пространстве и тесно заселена помещичьими деревнями. В противоположность саратовского разнообразия, в ней все единообразно, везде равно прекрасные виды, равно прекрасная почва земли, везде изобилье плодов земных и везде недостаток в средствах к их сбыту. Между дворянами везде почти одинаковая невежественно-олигархическая спесь, в простом народе встречаешь почти одинаковую холопью дерзость или низость.

Одним словом, сии две губернии можно сравнить с богатым купцом и довольно зажиточным дворянином. Но как русское дворянство (ныне столь многочисленное) прежде и более других сословий восприяло европейское образование и с преимуществом происхождения или заслуг соединяет преимущества воспитания, то купечество весьма естественно оказывает ему невольное уважение. В замене того, неимущему невозможно презирать деньгами, и сие восстановляет равновесие как между обоими сословиями, так и между обеими губерниями.

Поселившись в Саратове, отец мой охотно посещал Пензу: он свел там дружбу с воеводою, Андреем Алексеевичем Всеволожским, отличавшимся некоторою образованностью, кротким нравом и приятным обхождением.

Некогда слобода, а со времен царствования Алексея Михайловича провинциальный город, Пенза состояла тогда из десятка не весьма больших деревянных господских хором и нескольких сотен обывательских домиков, из коих многие были крыты соломою и имели плетневые заборы. Соборная каменная церковь, которая величиною едва ли превосходила многие сельские храмы, с тех пор построенные, и несколько каменных и деревянных небольших приходских церквей служили единственным ей украшением. Чтобы судить о неприхотливости тогдашнего образа жизни пензенских дворян, надобно знать, что ни у одного из них не было фаянсовой посуды, у всех подавали глиняную, муравленую (зато человек, хотя несколько достаточный не садился за стол без двадцати четырех блюд, похлебок, студеней, взваров, пирожных). У одного только Михаила Ильича Мартынова, владельца тысячи душ, более других гостеприимного и роскошного, было с полдюжины серебряных ложек; их клали пред почетными гостями, а другие должны были довольствоваться оловянными. Многочисленная дворня, псарня и конюшня поглощали тогда все доходы с господских имений.

Двадцать лет спустя, когда, при учреждении губерний, Пенза возвышена была на степень губернского города, в ней все переменилось. Правильные улицы, и из них иные мощеные, украсились каменными двух- и трехэтажными домами и каменными лавками,

а в них показались товары, кои прежде, хотя с трудом, можно было только выписывать из Москвы; явилась некоторая опрятность, некоторая бережливость, некоторый вкус — необходимые спутники просвещения. Перемена во всей России шла гораздо быстрее, чем при Петре Великом, и без пыток, без насилия. Гений и улыбка Екатерины творили сии чудеса. Железная трость Петра Великого, переходя из рук в руки, обратилась в магический жезл, как скоро коснулась ее сия могущественная очаровательница. Сия новая Цирцея хотела и умела скотов обращать в людей.

Что касается до Пензы, то пусть позволят мне часть успехов приписать присутствию в ней моего отца, уважению, которое он в ней приобрел, деятельности его и его советам, которых, к счастью, слушались.

Верстах в тринадцати от Пензы, по Саратовской дороге, находится небольшое поместье Симбухино, носящее фамильное имя своих прежних владельцев. Последний из них, отставной кирасирский майор Андрей Петрович Симбухин, не имел никого близких, родных и был женат на немке; умирая, отказал он ей с малолетней дочерью помянутое имение.

Неудивительно, что вдове г. Симбухина, живущей, так сказать, на чужой стороне, полюбился молодой, красивый и всеми уважаемый земляк. Едва ее дочь достигла шестнадцатилетнего возраста, как сама она предложила ее моему отцу. Нетрудно было ему согласиться вступить в брак с такой молоденькой девочкой, с некоторым состоянием, которой мог он надеяться быть не только супругом, но и образователем. Сей брак был счастлив, но в сем мире счастье бывает редко продолжительно: едва прошел год после замужества Пелагеи Андреевны (так звали первую жену отца моего), как она родила сына Андрея и неделю спустя вместе с ним пошла в гроб. Но, как бы предчувствуя раннюю кончину свою, она еще во время беременности, по совету матери своей, укрепила поместье свое за отцом моим. Сие поместье еще и поныне находится во владении нашего семейства.

Неутешный вдовец остался единственным утешением и подпорой горестной, бездетной теще: не помня собственной матери своей, коей лишился в младенчестве, он в ней обрел нежнейшую мать, а ей заменял он детей, друзей и родных, коих у нее не было. Но сия добродетельная, благоразумная женщина не хотела дарованного ей Провидением сына осудить на вечное вдовство; по прошествии траурного года она первая начала ему советовать помышлять о новой женитьбе; она сделала более: между девицами, жившими в Пензе, она начала искать достойную его руки.

Между тем время шло и врачевало горести молодого вдовца. Еще при жизни первой жены своей он отдавал справедливость прелестям и девственно-гордому целомудрию юной сироты Лебедевой. Не получив никакого образования, в ней, однако же, в высшей степени гос-подствовало природное чувство, которое французы называют тактом. Без жеманства других провинциальных девиц, ее обхождение было со всеми непринужденное, но вселяло какую-то робость в тех, кои руки ее искали. Иные пытались, однако же, являться с предложениями, и хотя получали отказы, но в них было столь много вежливого и утешительного для самолюбия неудачных искателей, что не оставалось места досаде и злословию.

У сей недоступной девы было, однако же, сердце, и оно, против воли ее, тайно принадлежало человеку, о коем она не смела помышлять, ибо он был женат. Никто не ведал о том, а еще менее других тот, который был любим. Он был уже вновь давно свободен и все еще не подозревал ничего. Один только женский опытный взгляд может проникнуть в сокровенные тайны женского сердца; в заботливости об участи отца моего, теща его подметила неравнодушие к нему независимой и непорочной девицы, ее ближайшей соседки, и захотела вторично сделать его счастливым. «Вы любите друг друга, — сказала она, наконец, обоим, — женитесь». Тут не было отказа, ниже минутной притворной колеблемости. Таким образом, состоялся брак, коему я обязан жизнью.

Глава V

Вторая женитьба отца моего была в 1772 или в 1773 году, хорошенько не припомню, ибо не имел несчастия быть свидетелем брака родителей, как с иными сие случается. Знаю только наверно, что первый ребенок от сего брака, старшая сестра моя Елисавета, родилась в июне 1774 года.

Вскоре после сей второй женитьбы последовали в участи отца моего важные перемены. Всего важнее было для него оставить Пензу и Саратов. Он давно уже находился в одном чине, не получал никаких наград, а между тем весьма добродушный и довольно просвещенный начальник его, князь Орлов, был к нему отменно благосклонен. Но ему не хотелось с ним расстаться, а с повышением его он должен был его лишиться. Наконец, по чувству справедливости, он решился доставить ему чин полковника с назначением командиром батальона, опять не помню, которого-то егерского корпуса [2].

Так как, вероятно, мне не придется более говорить о Саратове, в коем я никогда не бывал, то я позволяю себе сделать небольшое отступление и бросить недовольный взгляд на службу там отца моего. Место, которое он там занимал, было, что называется, самое наживное: в том краю, который называется денежною стороной, как Пенза хлебною, там, где все гласит и поныне о прибыли, он ничего не приобрел, кроме двух друзей или, может быть, только приятелей, совсем не одинакового с ним образа мыслей, но с коими сохранил связи до последнего конца жизни, без чего, по мнению моему, он весьма мог обойтись. Это были секретари Саратовской колониальной конторы, а, наконец, преважные люди и сенаторы: Иван Сергеевич Ананьевский и Петр Иванович Новосильцев.

Может быть, в толпе грубых, жадных чиновников ему приятно было найти людей более совестливых, более умеренных и благопристойных. Тогда это было редкостью и могло почитаться почти за честность; ныне это сделалось весьма обыкновенно. Впрочем, и нельзя было не полюбить г. Новосильцева за его редкий ум и необыкновенные дарования: они кривому подьячему открыли путь до степени государственного человека и дали семейству его притязания и даже некоторое право на знатность. Я помню, с каким удовольствием отец мой говаривал об уме друга своего, Петра Ивановича; о других качествах его он слова не говорил, и пусть мне позволят в сем случае последовать его примеру.

В Пензе было также два человека, с коими отец мой имел тесные, постоянные связи. Первый из них, Ефим

Петрович Чемесов, был последним пензенским воеводой и в душе был старинный дворянин. Он отличался честностью, прямодушием, веселонравием, незлобием и необычайным здравым смыслом; но по формам своим, по выражениям, по приемам, по самому произношению слов казался даже и тогда запоздалым, казался выходцем из времен допетровских. Другой, Богдан Ильич Огарев, был человек с умом приятным и основательным, твердыми и благородными правилами и, в тогдашнее время, с большими сведениями по части агрономической: сими одними средствами умел он умножить и без того уже довольно хорошее состояние[3].

Пред отъездом из Пензы родители мои имели прискорбие лишиться той, которая для обоих была нежнейшей матерью. Время было тогда для России самое несчастное; на востоке свирепствовал Пугачевский бунт и близился к Пензе, на юге — чума и война с турками. Бедная мать моя должна была оторваться от теплого гнезда своего, от всех привычек, от наслаждений первоначальной спокойной супружеской жизни. Она уже имела более двадцати лет от роду, но совсем не знала света, ибо Пензу можно было тогда назвать тьмою; но у нее был верный и нежный путеводитель.

* * * * * * * * * *

Глава XVIII (1802 год)

* * * * * * * * * *

Опять пустились мы по ухабам, как по замершим волнам, и, минуя Тамбов, без дальних приключений проехали степные места, на Юг от него лежащие. Вот, наконец, въезжаем мы в Пензенскую губернию; это было за полночь. Ужаснейшая вьюга, какую могу только запомнить, как бы предвестие всех неприятностей, ожидающих моих родителей, нас тут встретила. Мы потеряли дорогу, ехали целиком, люди и лошади выбились из сил, и мы гото-вы были остановиться и, лишь бы не замерзнуть, кое-как укутавшись, ожидать дневного света, как вдруг завидели вблизи небольшую деревню. Скорее туда: и в избе, довольно опрятной, согрелись и отдохнули. На другой день все было тихо и ясно; крестьяне, узнав, что у них ночевала губернаторша, привалили толпой, чтобы помочь нам, посмотреть на нас и выпроводить на большую дорогу, которая недалеко оттуда пролегала; староста или волостной голова также явился с хлебом и солью. Я полюбопытствовал спросить название сей деревни; мне отвечали Чембар. Проезжая по улице, я видел одни только соломенные кровли и ветхую, большую, деревянную церковь; мне никак не могло прийти тогда в голову, что скоро тут будет уездный город, что учредителем его будет мой отец, что в нем построится несколько каменных зданий и что лет через тридцать русский царь проживет в нем две недели, ожидая исцеления.

Еще оставалось нам сделать 120 верст. Несмотря на наше губернаторство, на военный мундир и крики моего брата, несмотря на покорность и всеусердие смотрителей и ямщиков, должны мы были иметь еще один ночлег и пробыть более суток в дороге.

Остановившись в 13-ти верстах от Пензы, в деревне нашей Симбухине, месте рождения моего, отправили мы брата с известием о нашем приезде. за несколько дней до того прибыли из Москвы сестра Алексеева с маленьким сыном и провиантский брат наш Павел из Казани, куда он был послан по какой-то комиссии. Вместе с ними покойный отец не замедлил прискакать к нам. Сделался общий съезд. Давно уже члены согласного нашего семейства не бывали все вместе; тут, исключая зятя, соединились все, можно сказать, живые и мертвые, ибо в нескольких шагах лежали усопшие мои братья и сестры. В семействе нашем любили мы друг друга по старине, долго не знали твое и мое, все было общее; можно посудить о нашей радости, сколько рассказов, сколько ответов, прерываемых новыми вопросами, сколько ласк и даже сколько поцелуев! Сладостные часы мелькнули как минута, и когда совсем почти смерклось, пустились мы в Пензу.

При имени сего города что-то чудное во мне происходит; я чувствую умиление и негодование вместе. Там принял я жизнь, там отец мой долго вкушал верховное в мире блаженство, там лежит он с обеими своими супругами, там единственная моя собственность. Но там же горестями и страданиями, сократившими дни его, заплатил он за прошедшие радости; там каждый из нас испытал множество неприятностей, оскорбительных для самолюбия.

Совсем было темно, когда мы въехали в этот город. Красивые виды его были скрыты от глаз; я не мог даже заметить, что он стоит на горе: черные мелькнули передо мною избы, домики и домы его. Мне стало грустно, сам не знаю отчего. Ни почетный прием, сделанный матери моей у самого подъезда, где дожидались ее несколько чиновников и городничий[4], ни обширный, теплый и ярко на этот случай освещенный дом, куда вошли мы, ни радости протекшего дня, ничто меня не веселило. Сие было 19 февраля, в среду на Масленице; четыре дня увеселений предстояли мне, и это меня более пугало: я бы хотел провести их с семейством в Симбухине. Никого не знал я из жителей, и заранее все они мне не нравились.

Посещениям мужским и дамским и разного рода приглашениям на другое утро не было конца, так что матери моей не оставалось времени ни порядочно отдохнуть, ни сделать визиты, и она поневоле должна была казаться неучтивою. В двадцать, в тридцать домов, один не известнее мне другого, повезли меня. Всякий день, в 10 часов утра, бывали где-нибудь завтрак и блины, а потом катанье за город, волчья травля, садка или бег; после того званый обед, за которым обыкновенно следовало при фонарях катанье с гор; наконец, в третьем месте бал и ужин. Так продолжалось четыре дня до самого чистого понедельника, и это отчаянное веселье, этот шум несколько заглушили непонятную во мне тоску. Я бы более насладился, если бы сквозь учтивости и ласки, мне оказанные, проглянуло сколько-нибудь добродушия: его я ни в ком не заметил. Ни живого, сердечного веселья прежних киевских балов, ни пристойности столичных собраний не нашел я тут; казалось,

После ужасов набега
Татарин буйный пировал.

Как праздник встретил я Великий пост. Противоположность Сырной недели и первой поста была в провинции, если возможно, еще более резкая, чем ныне. Мы вновь уединились и, как бы предвидя, что никогда уже, все без изъятия, не будем соединены, почти не расставались. В день Сборного Воскресения, в день православия, после обедни сестра и брат не отлучены были от семейства, а разлучились с ним: одна отправи-

лась обратно в Москву, а другой в Воронеж, не с проклятиями, а с благословением родительским.

Прежде, нежели я примусь описывать Пензу, ее жителей, дух ее общества, попрошу у читателя дозволения на страну, ее окружающую, бросить взгляд в историческом отношении. Нет никакого сомнения, что некогда пролегал тут главный путь из России в Орду. Сколько князей и бояр тут проехало! Баскаки спешили через сии места, чтобы грабить нашу землю; великие князья и митрополиты московские раскидывали тут свои шатры, и в них горестно молили Бога о защите. Монгольское племя, более всех других привязанное к кочевой жизни, могло основаться только среди необозримости степей и покидало их тогда только, когда стремилось за добычей. Татары, народ от монголов совершенно отличный и им подвластный, давший им свое имя и переживший их владычество, не столько чуждались оседлости. По всем вероятиям, татары, как передовое войско монголов, заняли опушку русской земли, пространство между Волгой и Мокшей, но по малочисленности своей могли на нем жить только рассеянно. Для них гористые и плодородные места, изобильные водой и лесом, представляли удобства, о коих монголы не могли помышлять. Названия мест и рек в Пензенской и соседних с нею губерниях показывают, что тут сделалась настоящая Татария: Ардым, Кевда, Мелсита, Кучюк, Пор, Анзыбей, Инсара, Селикса, Чембар, самая Пенза и множество других, коих и не перечтешь и в коих не сыщешь и следов славянского корня [5].

После завоевания Казани русские без опасения и без спросу стали захватывать земли, занятые их врагами. Тогда все, что было народное, было царское, и все, что было царское, было народное; в древние варварские времена, как у нас, так и в Европе, главы народов делились славою и богатством с теми, кто разделял их опасности, с верными своими сподвижниками, кои за них и с ними проливали кровь свою. В новейшее же время человеколюбие и просвещение государей... судят о том иначе: они усыновляют новых подданных, не только равняют в правах побежденных с победителями, но даже первым перед последними дают неисчетные преимущества; орудия бросают с презрением и обнимают с любовью приобретения, ими добытые. Теперь Боже спаси от завоеваний! Они суть только тягость, а не сила государства.

Но не о том речь. Итак, русские селились между татарами. Как предки их, подвигаясь на северо-восток, гнали перед собою мерю, весь и финские племена, и строили Муром, Ростов и Суздаль, так и они, расширяясь на юго-восток, теснили потомство своих властителей и поглощали самое их народонаселение. Уверяют, что при Борисе Годунове поток до того усилился, что начали опасаться, чтобы не иссякнул самый источник его, и что сие заставило укрепить за помещиками живущих на земле их людей. Кажется, прилив всего сильнее был около Пензы, равно как и число встреченных им татар, и оттого сие место сделалось средоточием русско-татарской помеси.

Всякий, кто едет из Москвы, проехав Арзамас, может легко в том убедиться: все изменяется вдруг, природа и люди; горы становятся все выше и круче, леса тенистее, избы ниже и неопрятнее, лица смуглее, физиономии выразительнее и суровее. Переселившиеся туда русские дворяне переженились на дочерях бесчисленных татарских мурз или князей, Маматказиных, Мамлеевых, Колунчаковых, Девлеткильдеевых, Чегодаевых, Мансыревых, коих потомство встречается во всех городах и селах и во многих местах пашет ныне землю. Следственно, и высший класс в том краю не совсем уже русский.

На берегу речки Пензы, близ втока ее в Суру, стояло самое большое из новых селений. По негостеприимному, неуживчивому, бранчивому нраву его жителей, обрусевших татар или отатарившихся русских, дано ему было название Облай-Слобода. В 1666 году (апокалипсическое число) царю Алексию Михайловичу угодно было возвести его в звание города и дать ему другое имя по реке, на которой оно было построено. С тех пор постоянно управляли им воеводы, до самого учреждения губерний при Екатерине.

Когда-то отцу моему, как Орфею, удавалось пленять сих лютых зверей; по его советам, как по голосу Амфиона, когда-то поднимались камни и, стройно ложась друг на друга, образовывали стены и дома. Но сие время прошло; с тех пор простота оставила их черствые души, а просвещение не успело еще смягчить их. Я где-то говорил уже о Пензе и сказал, что помещики со своею прислугою составляют большую часть, а купцы и мещане — едва треть ее населения. В таком уездном городе, стоящем вдали от губернских, вне главных путей сообщения, городничий не мог быть важным лицом, а, напротив, должен был стараться всем угождать; обществом же управляли одни предрассудки и партии. Самые ужасы Павловых времен не заглядывали в сию глушь. Это была республика в забытом углу, как Сан-Марино в Италии. Так продолжалось пять лет, и после того во всяком начальнике, поступающем по законам и соблюдающем порядок, должны были сии люди видеть тирана.

Надобно знать, какое мнение сами губернаторы и вообще все жители имели прежде о высоком их звании. Губернатор был луч сияния царского, хозяин губернии, защитник ее прав, ходатай у престола. Не обремененные тысячью мелочей, как ныне, не стесняемые бесчисленными формами, не обязанные беспрестанно отправлять срочные ведомости, коих никто не читает, не окруженные лазутчиками, не устрашаемые ответственностью за всякую безделицу, не видящие равносильных управлений других ведомств, от них вовсе не зависящих, спокойные, уважаемые, могли они беспрепятственно творить добро и в благе вверенного им края видеть собственное. Но и к достижению сего завидного положения, охотно сохраняемого большую часть жизни, были также нужны права, зрелый ум и зрелые лета, опытность в делах, несомнительная нравственность, сотворенное себе честное имя, уважение, приобретенное собственными поступками. После выбора первых сановников государства самым труднейшим почитался выбор губернаторов. Несмотря на беспорядки Павлова правления, пусть вспомнят, кого нашел император Александр и кого сначала определил в сии должности. Имена Львова, Панкратьева, Руновского, Миклашевского, Рунича и других поныне произносимы с душевным уважением и благословляемы в тех местах, коими они управляли. Если поверят мне в изображение отца моего, то кто более его мог надеяться украсить собою место начальника губернии? А едва прошел март месяц, как появились уже неудовольствия и несогласия. Я должен объяснить здесь начало и причину их.

В Пензенской губернии было тогда семейство безобразных гигантов, величающихся, высящихся, яко кедры ливанские; и прошел век мой, и увы! не мог я сказать: се не бе! И кто взыщет место их, тот обретет еще нечестивое их высокомерие в Симбирске и Саратове. Там живут еще старшие члены семейства Столыпиных. Глава его Алексей Емельянович был человек неглупый, с большим состоянием: он имел труппу актеров и музыкантов, имел каменный дом в Москве и давал балы, каких тогда можно было найти в ней по двадцати каждый день. В чине отставного поручика (дело дотоле неслыханное) был он раз выбран губернским предводителем; если прибавить к тому чрезвычайно высокий его рост, то сколько причин, чтобы почитать себя выше обыкновенных смертных! В нем и в пяти гайдуках, им порожденных, была странная наклонность не искать власти, но сколько возможно противиться ей, в чьих бы руках она ни находилась.

Огромнейший из его детищ, Аркадий [6], служил при Павле в генерал-прокурорской канцелярии; там сошелся, сблизился он с человеком самого необыкновенного ума, о коем преждевременно говорить здесь не хочу [Сперанский]. От него заимствовал он фразы, мысли, правила, кои к представляющимся случаям прилагал потом вкривь и вкось. Известно, как быстро при Павле везде шло производство: в двадцать два года был он уже надворный советник и назначен губернским прокурором в Пензу. Природа, делая лишние усилия, часто истощает себя и, чрез меру вытягивая великанов, отнимает у них телесные силы. Так то было с этим Столыпиным. Глядя на его рост, на его плеча, внимая его грубому и охриплому голосу, можно было принять его за богатыря; но согнутый хребет обличал его хилость, и в двадцать лет не с большим одолевающие его хирагра и подагра заставляли его часто носить плисовые сапоги и перчатки. Бессилие его ума также подавляемо было тяжестию идей, кои почерпнул он в разговорах со знаменитым другом своим и кои составляли все его знание. Свойства, всегда и везде полезные, бесстыдство и хладнокровие, коими одарен он был в высшей степени, ручались ему за величайшие успехи в жизни. Первые месяцы оставался он спокоен, принимая участие в общем веселии и не расстраивая общего согласия. Одно происшествие подало ему повод себя обнаружить. Шатающийся в Пензе отставной офицер, по имени Чудаковский, пьяный, дерзкий и развратный, сделал одно из тех преступлений, которые в России были тогда почти неслыханны: насильственно был он причиною смерти одной несовершеннолетней девочки. По принесенной о том жалобе отец мой велел его засадить и предать уголовному суду. Столыпин немедленно вошел с протестом, в коем, самым неприличным образом порицая злоупотребление власти, старается оправдывать виновного, увлеченного якобы силою любви. Это было в начале Страстной недели; все, что было порядочных людей, пришло в ужас, а в других сначала сие возбудило одно только любопытство. Бумагу сию можно почитать манифестом зла против добра. Безнаказанность такой наглости, несколько времени спустя, ободрила всех врагов порядка: знамя было поднято, они спешили к нему. Скоро все пороки, даже злодеяния, стали группироваться вокруг колоссального трибуна. Наконец, малейшее неудовольствие на губернатора за всякую безделицу, за невнимание, за рассеянность (чего бы прежде не смели и заметить) бросало в составившуюся оппозицию многих помещиков, впрочем, не весьма дурных людей, но необразованных и щекотливых.

Не скоро отец мой мог все это понять; служивши долго при Екатерине, когда власть уважали и любили, и несколько времени при Павле, когда трепетали перед нею, ему не верилось, чтобы было возможно столь несправедливо, безрассудно и нахально восставать против нее. Он не скрывал своего негодования и жаловался старому другу своему генерал-прокурору Беклешову, а тот, с одной стороны, успокаивал его конфиденциальными, совершенно приязненными письмами, а с другой, грозил официально Столыпину, что выкинет его из службы, если он не уймется. Но сей последний умел скрывать получаемые им бумаги, коих содержание сделалось известно только по оставлении им должности: казался весел, покоен и каждый день затевал новые протесты. Отец мой был в отчаянии, не зная, что подумать о генерал-прокуроре, а Столыпин ничего не страшился: он знал, что происходит в Петербурге, и ничего так не желал, как, наделав шуму, явиться туда жертвою двух староверов. Наконец, действительно велено ему подать в отставку, и он послал просьбу; но она пришла уже к преемнику Беклешова, который, с честию его уволив, причислил к себе. Я не знаю ничего позорнее этой краткой борьбы между умным, пылким и благородным старцем и бессмысленным, бесстрастным и безнравственным юношей.

В поступках этого человека можно было видеть нечто отчаянно-смелое, и можно было в нем предполагать необычайную силу духа; напротив, трудно было сыскать человека, более его трусливого. Старшие братья мои и иные молодые люди говорили ему в глаза жестокие истины, от коих всякого другого бы взорвало; мне случилось видеть, как один граф Толстой в бешенстве взял его за ворот, но он остался непоколебим, понюхивал табак и, величественно улыбаясь, старался все обратить в шутку. Мне сказывали потом, как при всех объявлял он, что не согласится ни за что в мире на поединок. Подобно одному глупцу нынешнего времени, он любил твердить о своей магистратуре; ею, по словам его, как священною мантией прикрывался он от ножа или кинжала убийцы (чего опасаться, кажется, было трудно), но никогда не упоминал о шпаге или пуле противника, который, однако же, мог бы явиться.

Я видел только самое начало этой брани, ибо шестимесячный срок моего отпуска миновался, и далее мая месяца мне в Пензе нельзя было оставаться.

Но и после Столыпина война не прекращалась. Перед отъездом моим мне хотелось бы показать главные лица, в ней подвизавшиеся. Жители Петербурга, привыкшие с таким презрением смотреть на все, что происходит в провинциях, улыбнутся при чтении описываемого мною и назовут это бурею в стакане воды. Но в этом стакане считается до миллиона жителей, и он заключает в себе не менее десяти немецких герцогств с их дворами, министрами и войсками. Не беда, если легкомысленный и праздный столичный народ почитает недостойным своего внимания благосостояние целой области; но правительству необходимо заботиться о ее спокойствии и быть осмотрительным в выборе людей, туда посылаемых. В изображении пензенских беспорядков оно могло бы увидеть те, которые происходили или происходят и ныне в других губерниях.

Мне было очень больно, что земляки мои по сердцу, малороссияне, сделались первыми нашими врагами. Из советников Черниговского губернского правления Иван Андреевич Войцехович назначен был председателем Пензенской гражданской палаты. Его почитали тонким и хитрым, а он по природе был только человек скрытный, но не злой и не коварный. Кажется, к чему бы ему было хитрить, зачем бы интриговать? Он не был ни честолюбив, ни алчен к деньгам, и честность его в делах могла бы обратиться в пословицу[7].

Но у него была жена, гораздо моложе его, Прасковья Акимовна, из фамилии Сулимов, самолюбивая и завистливая. Губернаторство моей матери ее мучило, и она к чему-то придралась, чтобы поссориться и, как говорится в провинциях, разъехаться домами. Тогда разъехавшийся дом ее сделался прибежищем всех недовольных. Между ними первые явились два единоземца ее, один Данилевский (был после директором гимназии), а другой... видно, был лицо не весьма примечательное, потому что имя его ускользнуло от моей памяти. С нею ли в одно время они приехали или прежде? Зачем они приехали, и за что прогневались на нас? Кажется, нет никакой нужды знать, даже мне самому, а кольми паче другим: довольно, что они были очень злы. В кругу семейства и соотчичей, нам столь враждебных, мог ли Иван Андреевич оставаться совершенно беспристрастным? По крайней мере, он никогда не переставал быть скромен в речах, учтив во встречах, не переставал также до некоторой степени, как греческий мудрец, покоряться неукротимой своей Ксантиппе. В тридцать лет госпожа Войцеховичева могла бы быть довольно недурна собою. Но внутренняя ярость, часто выступавшая на лицо ее, успела рано провесть на нем несколько морщинок; улыбка, всегда язвительная, не придавала никакой приятности устам, которые, как уверяют, открывались для одной только хулы; над самым челом ее, среди черных волос, являлся уединенно целый густой клок седых. Итак, она была не красавица; не в состоянии будучи воспалять любовь, она, искусно проповедуя независимость и равенство, умела возбуждать вражду и мщение. Я бы назвал ее пензенскою мадам Roland, если бы не было у нее приятельницы, необузданностью и дерзостью ее превосходящей.

Низенькая, толстенькая, почти четырехугольная крикунья, Степанида Андреевна Кек была женщина умная, воспитанная в Смольном монастыре, украшенная золотым вензелем Екатерины Второй. В ней можно было видеть разницу между просвещением и образованностью. Занятия ее жизни были новостью для пензенских барынь: она любила много читать и даже переводить книги, сама учила детей, украшала свой сад, выписывала редкие растения, разводила их и прекрасными цветами могла бы снабдить весь город. Зато всякая баба, торгующая на базаре, всякий мужик был ее вежливее и пристойнее; даже ныне, когда приличия света все более и более почитаются предрассудками, ее манеры были бы нестерпимы. Чистосердечная грубость предполагает обыкновенно доброе сердце, а у этой толстушки весь жир разведен был желчью. Ее муж, из немцев, где-то служил, когда-то получил какой-то чин, военный или статский, и разбогател, отдавая деньги в рост. Года за два до нашего приезда купил он имение неподалеку от Пензы и поселился в нем с супругою своею и тещей, также немками. Про него ничего не говорили, его никогда не видели и знали токмо под именем мужа Кекши. Кажется, он помаленьку занимался прежним ремеслом и в уединенной тишине любовался только звонким металлом, умножающим невыносимое громогласие жены его, которая за него разъезжала, действовала, а говорила за десятерых. Мать моя никак не умела или не хотела скрывать, сколь посещения этой женщины ей неприятны; она должна была знать, что в провинции изъявленная холодность, хотя, впрочем, без малейшей неучтивости, разрывает знакомство и что разрыв знакомства возжигает непримиримую вражду; она боялась оглохнуть и на все решилась.

К сим двум приятельницам начали приставать все горделивые жены Пензы. Ни малейшей причины к неудовольствию им не было подаваемо; они искали предлогов. Им казалось тягостным обыкновение, искони заведенное в губернских городах, съезжаться по воскресеньям на вечер к губернаторше; к тому их никто не приневоливал, а они требовали невозможного: чтобы в продолжение недели всем им отданы были визиты. Они поудержались и ожидали упреков, кои не оставили бы назвать взыскательностью; но их отсутствия не заметили, они продлили его и, наконец, объявили, что видно общество их не нужно. Целый легион демонов в женском образе ополчился тогда против моих родителей, и еще более против доброй моей матери. В сем полчище особенно примечательны были только две сестры, старые, кислонравные девки, недавно запасшиеся послушными мужьями — Бровцына и Есипова; они были ехиднее самой Войцеховичевой и бешенее Кекши.

Дам, хотя и не совсем достойных сего названия, пустил я вперед, во-первых, из учтивости и, во-вторых, потому, что непосредственно после Столыпиных они первые повели атаку; да еще по тому уважению, что женская злость, равно как и женская доброта, всегда далеко превосходит мужскую. Столь же ничтожные причины подвигли против отца моего и некоторых помещиков, живущих в Пензе. Могли выйти неприятности по делам, по службе; можно было жаловаться на несправедливости, претерпеваемые от подчиненных, но этого ничего не было; наговоры, сплетни, косой взгляд, вот чего достаточно было, чтобы породить ненависть.

Отъявленным, главным врагом нашим почитался некто ст. с. Петр Абросимович Горихвостов, семидесятилетний старик, утопавший в постыдном любострастии. Владея хорошим родовым имением, он чрезвычайно умножил его экономическими средствами, будучи экономии директором и потом вице-губернатором в Вятской губернии, населенной, как известно, почти одними только казенными крестьянами; его экономическая система что-то не понравилась; нашли, что она накладна для казны, и не совсем учтиво отказали ему от должности. Он приехал на житье в уездный тогда город Пензу, где всех он был богаче, всех старее летами и чином, где не весьма строго смотрели на средства к обогащению и охотно разделяли удовольствия, ими доставляемые. Старость его, которую называли маститою, была отменно уважаема: ибо за дешевый, хотя множеством блюд обремененный стол его садилось ежедневно человек по тридцати. Только что за обоняние, вкус и желудки были у гостей его! Кашами с горьким маслом, ветчиной со ржавчиной, разными похлебками, варенными часто в нелуженой посуде, потчевал их этот человек, в коем тщеславие спорило с ужасною скупостью. Одним обыкновенным хлебосольством

не ограничивалось его великолепие; длинный ряд комнат довольно низкого одноэтажного деревянного дома его был убран с большими претензиями; но все там было неопрятно, нечисто, как совесть хозяина. В огромном мезонине, подавлявшем сей низенький дом, помещался театр, где играли доморощенные его актеры и музыканты [8]. Официальная сила отца моего не могла нравиться народности пензенского гранда; к тому же самая противоположность характеров не допускала их сблизиться. Оказывая ему всевозможную учтивость, отец мой воздерживался, однако, от всего, что могло произвесть короткость, и один раз, захворав от его обеда, старательно отклонял потом новые его приглашения. Чего же более для совершенного разрыва?

Тот, о коем кончил я рассказ, может почитаться добродетельным в сравнении с тем, о ком я стану говорить и о ком без омерзения не могу я вспомнить. Нравом, сердцем, правилами и поступками, равно как и лицом, фигурой, взглядом и голосом я не знавал человека хуже Семена Алексеевича Охлебинина. В нем одно совершенно отвечало другому и равно было гнусно и отвратительно. Распространяться об нем я много не буду, опасаясь, чтобы не стошнилось, а скажу только о необыкновенном способе, который употреблял он для стяжания себе богатства. Он заводил тяжбы со всеми соседями, преимущественно же с мелкими дворянами; когда он приводил их в отчаяние, то мирился с ними не иначе как с условием уступить ему их малые участки за низкую цену, которую он сполна не выплачивал, и они отступались от нее, чтобы от него как-нибудь отвязаться. Когда у других шел спор об имении, то с предложениями о покупке его он обращался единственно к тем, кои лишались надежды выиграть дело, и таким образом за самую умеренную цену приобретал поместье и процесс. Этот ябедник действовал не подкупом, а страхом; он во всех судах был ужас и бич присутствующих, секретарей и повытчиков. Когда мы приехали в Пензу, говорили, что у него в одно время было тридцать два процесса. Такие люди редко бывают щекотливы, а этот еще требовал уважения: дело невозможное для человека с честью, каков был отец мой; а вот еще и новый злодей!

Многочисленное семейство его было примечательно родовым, наследственным свинообразием. Жена его никуда не показывалась: какая-то ужасная болезнь, коей начало приписывали сожитию ее с мужем, до того изуродовала лицо ее, и так уже весьма некрасивое, что лишила ее даже носа. Из его детей мне особенно памятна одна дочь его, Авдотья, которую, по преувеличенным пропорциям тела ее, сами родители прозвали Дунаем, и у которой была удивительная страсть ловить мух и глотать их. Со взором дикого зверя, имела она туловище коровы и птичий вкус: ламайские язычники могли бы почесть ее божеством.

На другой дочери его, Елизавете, женился несколько лет потом спустя один из глав коалиции, игрок Ошанин. Выгнанный сперва из столиц, потом из губернских городов, сей смелый, но, видно, не довольно искусный человек, неоднократно изобличенный в мошенничестве и воровстве, избрал убежищем свободную тогда Пензу. Довольно уже неопытных юношей, довольно неосторожных мужей прошло чрез хищные его руки, чтобы дать ему средства завести хороший дом и жить в нем прилично. Некоторая роскошь есть одна из приманок, одно из необходимых условий для промышленников такого рода, и обращается им под конец в привычку и потребность; она дом его сделала привлекательным. Меры, при отце моем принятые полицией к прекращению публичных заседаний в сем доме, ожесточили г. Ошанина, хотя никто не мог воспретить ему действовать тайно, и хотя для ловитвы его открыто широкое поле на всех окрестных ярмарках.

Не высчитывать же мне всех пакостников, вошедших в сообщничество с вышесказанными людьми, всех подлых их приверженцев! Не без труда и с частыми позывами ко рвоте мог изобразить я змей, а до ядовитых насекомых уже не спущусь. Сии нечистые стихии образовали не тучу, как говорит пословица, а навозную кучу, из которой, однако же, гром не переставал греметь во время управления отца моего. Она составилась, разумеется, не в один день. Столыпин положил ее начало, но обстоятельства, в коих находилась тогда вся Россия, ее умножили и усилили.

Спросят, может быть, как человек с умом и твердостью, каким представлен мой отец, мог не пренебречь дерзостью и происками людей запятнанных, по большей части столь ничтожных? Как не умел он обуздать их? Я уже сказал выше, что при Павле невинногонимые прятались по деревням, а множество справедливо преследуемых наполнило Пензу. Число — весьма важное дело, там, где начальник, без подпоры в столице, должен вооружаться против всякого рода зла одною своею правотою и благонамеренностью. И действительно, он долго сражался и часто побеждал; но чего ему это стоило! Времена были необыкновенные: грубое свободомыслие, которое при Екатерине допустили разойтись по России, притеснениями Павла получило некоторую сущность и благостью Александра думало утвердиться. Как вскоре после изобретения пороха и огнестрельных орудий, в эту минуту открыт новый образ войны против начальства и правителей, и первый опыт сделан в Пензе. Старому рыцарю, отцу моему, мало помогали сначала щит его и копье, добродетель и честь; но он образумился и убедился под конец, что и одною храбростью можно иногда одолевать число и искусство. Стратегические правила этой войны усовершенствовались ныне, когда не только губернаторы, но и сами министры, по вверяемым им частям, идут как на бой; тогда же люди, облекаемые высокою доверенностью царскою, спокойно садились на места свои, на коих по долгу совести и присяги бесспорно творили суд и расправу.

Пусть смеются надо мной, а в низких и глупых беспорядках Пензы я и доселе вижу глухой, невнятный отголосок 1789 года. Только после двоекратного посещения нами Парижа, в 1814 и 1815 годах, страшные звуки его начали становиться у нас понятнее и яснее. Но как либерализм и безверие так рано забрались в такое захолустье, когда ни в Киеве, ни в Петербурге и Москве я, по крайней мере, об них и не слыхивал? Киев от заблуждений Запада был защищаем ненавистью и презрением к Польше, откуда они могли в него проникнуть; в Петербурге и в Москве видал я только людей, напуганных ужасами революции. В нечестивой Пензе услышал я в первый раз насмешки над религией, хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу от таких людей, которые были совершенные неучи; впрочем, они толковали уже о Нонотте, о Фрероне и об аббате Гене [писатели эпохи перед французской революцией,

противники Вольтера] и топтали их в грязь, превознося похвалами «Кандида» и «Белого быка» [Вольтера]; авторы и сочинения мне были тогда вовсе неизвестны. Я не хочу быть пророком; не судя о будущем по прошедшему и настоящему, и теперь уверен в душе моей, что если б когда-нибудь (помилуй нас Боже) до дна расколыхалась Россия, если б западные ветры надули на нее свирепую бурю, то первые ее валы воздыматься будут в Пензе.[9] Во время Пугачевского бунта вероломством и жестокостью никто не превзошел ее жителей; в 1812 году изо всех ополчений одно только пензенское возмутилось в самую минуту выступления против неприятеля.

Да, так: почти сорокалетнее негодование мое и поднесь не истощилось; неугасимая ненависть к Пензе и поныне наполняет мое сердце. Пусть люди добрые, но не знающие глубоких ощущений, равнодушные к добру и злу, в шуме светских увеселений или в заботах службы теряющие память об иных обязанностях, пусть подозревают они меня в клевете, пусть обвиняют в жестокосердии, в ужаснейшей злобе! Я не ропщу на них: им не понять меня. Не всякому дано священное, небесное чувство беспредельной сыновней любви, не у всякого отец был праведник, не у всякого распинали его, как у меня.

Я назвал главных злодеев наших, не сказав, в чем состояли их нападения и какой имели они успех. Все это так тесно связано с тем, что я видел потом в Петербурге, что отделить от того почти невозможно, и я предоставляю себе рассказать о том в следующих главах.

Но и везде не без добрых же людей; их было довольно и в Пензе. Не знаю, показались ли бы они такими в другом месте, но там их общество было услаждением: нравственности были они не строгой, любезностью ума не пленяли, о просвещении уже и не спрашивай, более или менее заражены были невежественною спесью; но многие из них были забавны своими странностями и не были чужды понятиям об обязанностях и достоинстве человека. Частые поездки мои в Пензу доставят мне много случаев говорить о них, и потому ограничусь я теперь описанием вообще их образа жизни.

На самом темени высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной площади, где собор, губернаторский дом и присутственные места, идет улица, называемая Дворянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческого дома в ней не находилось. Не весьма высокие деревянные строения, обыкновенно в девять окошек, довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища аристократии, украшали ее. Здесь жили помещики точно так же, как летом в деревне, где господские хоромы их так же широким и длинным двором отделялись от регулярного сада, где вход в него так же находился между конюшнями, сараями и коровником и затрудняем был сором, навозом и помоями. Можно из сего посудить, как редко сады сии были посещаемы: невинных, тихих наслаждений там еще не знали, в чистом воздухе не имели потребности, восхищаться природой не умели.

Описав расположение одного из сих домов, городских или деревенских, могу я дать понятие о прочих: так велико было их единообразие. Невысокая лестница обыкновенно сделана была в пристройке из досок, коей целая половина делилась еще надвое, для двух отхожих мест: господского и лакейского. Зажав нос, скорее иду мимо и вступаю в переднюю, где встречает меня другого рода зловоние. Толпа дворовых людей наполняет ее; все ощипаны, все оборваны; одни лежа на прилавке, другие, сидя или стоя говорят вздор, то смеются, то зевают. В одном углу поставлен стол, на коем разложены или камзол, или исподнее платье, которое кроится, шьется или починивается; в другом подшиваются подметки под сапоги, кои иногда намазываются дегтем. Запах лука, чеснока и капусты мешается тут с другими испарениями сего ленивого и ветреного народа. за сим следует анфилада, состоящая из трех комнат: залы (она же и столовая) в четыре окошка, гостиной в три и диванной в два; они составляют лицевую сторону, и воздух в них чище. Спальная, уборная и девичья смотрели на двор, а детские помещались в антресоле. Кабинет, поставленный рядом с буфетом, уступал ему в величине и, несмотря на свою укромность, казался еще слишком просторным для ученых занятий хозяина и хранилища его книг.

Внутреннее убранство было также везде почти одинаковое. Зала была обставлена плетеными стульями и складными столами для игры; гостиная украшалась хрустальною люстрой и в простенках двумя зеркалами с подстольниками из крашеного дерева; вдоль стены, просто выкрашенной, стояло в середине такого же дерева большое канапе, по бокам два маленьких, а между ними чинно расставлены были кресла; в диванной угольной, разумеется, диван. В сохранении мебелей видна была только бережливость пензенцев; обивка ситцевая или из полинялого сафьяна оберегалась чехлами из толстого полотна. Ни воображения, ни вкуса, ни денег на украшение комнат тогда много не тратилось.

Когда бывал званый обед, то мужчины теснились в зале, вокруг накрытого стола; дамы, люди пожилые и почетные и те, кои садились в карты, занимали гостиную, девицы укрывались в гинесее [женская половина в древнегреческом доме], в диванной. Всякая приезжающая дама должна была проходить сквозь строй, подавая руку направо и налево стоящим мужчинам и целуя их в щеку; всякий мужчина обязан был сперва войти в гостиную и обойти всех сидящих дам, подходя к ручке каждой из них. за столом сначала несколько холодных, потом несколько горячих, несколько жареных и несколько хлебенных являлись по очереди, а между ними неизбежные два белых и два красных соуса делили обед надвое. Странное обыкновение состояло в обязанности слуг, подавая кушанье и напитки, называть каждого гостя по имени.

Вообще Пенза была, как Китай, не весьма учтива, но чрезвычайно церемонна; этикет в ней бывал иногда мучителен. Барыни не садились в кареты свои или колымаги, не имея двух лакеев сзади; чиновники штаб-офицерского чина отменно дорожили правом ездить в четыре лошади; а статский советник не выезжал без шести кляч, коих называл он цугом. Случалось, когда ворота его стояли рядом с соседними, то передний форейтор подъезжал уже к чужому крыльцу, а он не выезжал еще с своего двора. С воцарением Александра дамы везде перестали пудриться, только в Пензе многие из них не кидали обычая носить пудру. Щеголеватостью ни форм, ни нарядов прекрасный пол в Пензе не отличался, ни даже приятною наружностью. Только в первые дни пребывания моего там, на Масляной, две красавицы мелькнули предо мною, как мимолетные видения: одна генеральша Львова, урожденная

Колокольцова, была тут проездом; другая, госпожа Бекетова, урожденная Опочинина, три четверти года жила в саратовской деревне, и скромная добродетель ее часто походила на суровость.

Один почтенный, степенный и богатый человек, Николай Васильевич Смирнов, жил в Пензе прилично и благородно. При малолетнем сыне его был гувернером меньшой брат известного уже шевалье де-Ролена. Не имея ни любезности, ни ума старшего брата, он был гораздо его нравственнее. До революции стоял он с полком в Аяччио, где хорошо знал семейство Бонапарте и выучился по-итальянски. Чтобы не совсем праздно проводить мне время, пригласили его посещать меня и давать мне французские и итальянские уроки; в последнем я не имел времени сделать больших успехов, достаточно, однако же, чтобы впоследствии понимать слова в операх; а мне только и было нужно. Из Москвы сделаны были Евгению Ролену выгоднейшие предложения, и он оставил дом г. Смирнова. Давно уже срок моего отпуска прошел, но не знали, с кем меня отправить, а одного, по глупости моей, не решались; и потому воспользовались отъездом г. Ролена.

Как мне ни жаль было расстаться с родителями, но я сделал сие не без удовольствия, покидая вместе с ним неприятную и неприязненную Пензу. Мы выехали, помнится, 29 мая, в одной из широких и глубоких кибиток, которые употреблялись тогда для дальних дорог. Путевые издержки, разумеется, были на счет моих родителей. Погода была чудесная, дорога как скатерть, я лежал как в колыбели, и хотя сухощавый француз, у которого пересчитать можно было косточки, иногда и морщился от езды, не совсем для него покойной, но только на минуту, а потом опять начинал смеяться и шутить. Рассказам его, и весьма занимательным, не было конца, и мне кажется, ни одного путешествия я так скоро не совершил. До Саранска и далее, до самой границы Пензенской губернии, проворно закладывали нам лошадей, услуживали нам и, как перед дофином Пензенским, снимали передо мной шапки.

* * * * * * * * * *

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

* * * * * * * * * *

Глава V [1804 год]

* * * * * * * * * *

Опять и по той же дороге приблизился я к Пензенской губернии, но уже не ночью, а днем, не в ужасную вьюгу, а среди палящего зноя. Чембар назывался уже городом и был все еще деревней; однако же, пять или шесть домиков, с крышами из досок, в полтора года в нем выросли. В одном из них мы остановились, и пока отец мой пошел по избам, в которых помещались присутственные места, нас посетила сперва нотабельная персона в городе, купчиха Коробчиха, ни дать ни взять Пошлепкина из комедии «Ревизор», пустилась всех ругать, более всех городничиху Реймерс, и потом как ей, так и другим судейшам, одна за другой прибывавшим, кланяться в пояс. Но что все сии уездные оригиналы, против тех, кои ожидают меня в Пензе!

Глава VI

Всю злость свою на этот город излил я при первом его описании; теперь постараюсь быть умереннее, чтобы не надоесть повторениями. Я надеюсь даже быть забавен, с помощью многих чудаков, представителей образа мыслей и духа того времени. Не знаю, благорастворенный ли воздух летний на меня действовал, или, зная Пензу по опыту, я вооружился против нее терпением; как бы ни было, на этот раз прибыл я в нее с какой-то тихой покорностью к воле судеб.

Дня два или три спустя после нашего приезда (однако же, не по сему случаю) город вдруг наполнился и оживился: наступила Петровская ярмарка, которая начинается с Иванова дня, с 24 июня, и продолжается неделю, до 1 июля. Тут увидел я первый раз в жизни сие ежегодное, но для провинции, тем не менее, важное событие.

Внизу под горой, на которой построена Пенза, в малонаселенной части ее, среди довольно обширной площади стоит церковь апостолов Петра и Павла. В день праздника сих святых вокруг церкви собирался народ и происходил торг. Но как жители, покупатели, купцы и товары размножились, и стало тесно, то и перенесли лавки немного отдаль, на пространное поле, которое тоже получило название площади, потому что окраено едва виднеющимися лачужками.

Тут стояли ряды, сколоченные из досок и крытые лубками; между ними была также лубками крытая дорога для проходящих. Везде сквозило, отовсюду могли проникать солнце, дождь и пыль. С утра до вечера можно было тут находить разряженных дам и девиц и услужливых кавалеров. Но покупать можно было только поутру, и то довольно рано: остальное время дня ряды делались местом всеобщего свидания. Не терпящие пешеходства, по большей части весьма тучные барыни, с дочерьми, толстенькими барышнями, преспокойно садились на широкие прилавки, не оставляя бедному торговцу ни пол-аршина для показа товаров. Вокруг суетились франты, и с их ужимками вот как обыкновенно начинался разговор: «Что покупаете-с?» — «Да ничего, батюшка, ни к чему приступу нет». А купец: «Помилуйте, сударыня, да почти за свою цену отдаю», и так далее. Так по нескольким часам оставались неподвижны сии массы, и часто маски в то же время: сдвинуть их с места было совершенно невозможно; не помогли бы ни убеждения, ни самые учтивые просьбы, а начальству беда бы была в это вступаться. А между тем, это одна только в году эпоха, в которую можно было запасаться всем привозным. [10] И потому-то матери семейств, жены чиновников, бедные помещицы, в простеньких платьях, чем свет спешили делать закупки, до прибытия дурацкой аристократии.

Одна весьма важная торговля начиналась только в рядах, но условия ее совершались после ярмарки. Это был лов сердец и приданых: как на азиатских базарах, на прилавках взрослые девки так же выставлялись, как товар. Помещикам и их семействам, съехавшимся почти изо всей губернии, можно было бы, кажется, уметь приятным образом недельку повеселиться. И было бы где: вокруг Пензы, в одной и в двух верстах от нее, есть прелестные рощицы; нет, они предпочитали грязь, пыль и духоту ярмарочную. Одно увеселение, которое похоже на что-нибудь, бывало

в Петров день: это назывался воксал или бал в регулярном саду г. Горихвостова, куда в этот день платили за вход. Сад был не велик; но галдарея, как еще говорили тогда, была преогромная, правда, однако, также дощатая. Она была обита выбеленною холстиной и украшена пребольшущею жестяною люстрой; в окнах же стояли деревянные треугольники, к коим прибивались железные шандалы. Тут довершались победы красоты: статуи, кои как вкопанные сидели на ярмарке, здесь одушевлялись, прихо-дили в сильное движение, при блеске сальных свеч и звуках громкой музыки.

Кстати, об увеселениях. Кто бы мог поверить? В это время было в Пензе три театра и три труппы актеров. Такое чудо нужно объяснить. У нас все так шло с времен Петра Великого: кроется крыша, когда нет еще фундамента; были уже университеты, академии, гимназии, когда еще не было ни учителей, ни учеников; везде были театры, когда не было ни пиес, ни сколько-нибудь порядочных актеров. Право, жаль, что, забыв пословицу: поспешишь да людей насмешишь, мы надорвались, гоняясь за Европой. Итак, в Пензе три театра, оттого что полубарские затеи, забытые в Петербурге, кое-где еще встречались в Москве, а в провинциях были еще во всей силе обычая.

Труппа г. Горихвостова посвящена была играниюопер и исключительно итальянской музыке; особенно славилась в ней какая-то Аринушка. Сия труппа играла даром для увеселения почтенной публики, собиравшейся у почтенного г. Горихвостова. Я к этому обществу не принадлежал, сих певиц не слыхал и крайне о том жалею: это в карикатурном роде должно было быть совершенство.

Григорий Васильевич Гладков [11], самый безобразный, самый безнравственный, жестокий, но довольно умный человек, с некоторыми сведениями, имел пристрастие к театру. Подле дома своего, на городской площади, построил он небольшой, однако же, каменный театр, и в нем все было, как водится, и партер, и ложи, и сцена. На эту сцену выгонял он всю дворню свою от дворецкого до конюха и от горничной до портомойки. Он предпочитал трагедии и драмы, но для перемены заставлял иногда играть и комедии. Последние шли хуже, если могло быть только что-нибудь хуже первых. Все это были какие-то страдальческие фигуры, все как-то отзывалось побоями, и некоторые уверяли, будто на лицах, сквозь румяна и белила, были иногда заметны синие пятна. Эти представления я видел, но что сказать об них? Даже и вспомнить и жалко, и гадко. За деньги (которые, разумеется, получал господин) играли несчастные по зимам. Зрители принадлежали не к самому высшему состоянию.

Самого старинного покроя барин, носастый и брюхастый Василий Иванович Кожин, без всякой особой к тому склонности, из подражания или так, для препровождения времени, затеял также у себя комедь; и что удивительнее, сделал сие удачнее других. Но о группе его потолкуем после; а теперь поговорим о том, что занимательнее, о его домашней жизни.

Почти до шестидесяти лет прожил он холостой, в деревне, редко из нее выезжая, как вдруг в соседстве его появилась одна старая, на помаде, на духах и на блондах промотавшаяся сиятельная чета. Князь Василий Сергеевич и княгиня Настасья Ивановна Долгоруковы, в близком родстве со всеми знатнейшими фамилиями, имея сыновей генералов, при конце дней своих принуждены были поселиться в оставшейся им пензенской деревне. С ними была дочка Катерина Васильевна, сорокалетняя дева; не знаю, была ли она разборчива в Москве, но в глуши, куда она попала, рада-рада уж была, чтоб выйти... за Василия Ивановича: добрые соседи это дело как-то состряпали. Она была воспитана в Смольном монастыре, без французского языка не могла дохнуть, а на нем между соседями ей не было с кем слова молвить. Целый век со старым медведем, хотя смирным, ручным, но прожить в его берлоге! Это ужасно. Дело решено: она купила в Пензе обширный, ветхий, деревянный дом и перевезла в него мужа со всеми его театральными затеями. Благодарю за то судьбу мою: во всякий приезд мой в Пензу они были моей отрадой.

Есть странности, коих прелесть на словах или пером никак передать невозможно: надобно было их видеть. Странности сих супругов происходили от сочетания в них всевозможных противоположностей. У обоих было добрейшее сердце, но в нем дворянская спесь чрезвычайно умножилась княжеским родством. Надобно было видеть их обхождение; слова ты они не знали между собой. Если б он был женат на великой княжне, то, кажется, более почтения он не мог бы ей оказывать; она платила ему тем же, стараясь другим дать чувствовать, что молодая жена обязана уважать старого летами мужа.

Трудно было назвать ее уродливою, а красивою еще труднее: как для красоты женской, так и для безобразия есть некоторые условия; она им всем была чуждою. Похожего на ее лицо я нигде не встречал и уверен, что никто не встретит. Все то, что у других бывает продолговато, у нее было совершенно круглое, и глаза, и нос, и рот. С брюшком, несколько скривленным, она никогда не была, но вечно казалась беременною. Цвет лица у нее был светло-медный, тело плотное, но не регулярное, как у Василия Львовича Пушкина, если в сих записках его кто припомнит. С ним имела она много сходства и в характере: была так же добродушна, чрезвычайно легковерна и так же хотела всех любить и всеми быть любимою. Но, чего в нем не было, она была чрезмерно вспыльчива; гнев ее бывал мгновенен, но ужасен, и казалось, что в угоду ее добрейшего сердца хранится для запаса злость без всякого употребления; но когда нужда потребует, она является, и тогда беда! Самые жесточайшие, язвительные истины осыпают оскорбителя Катерины Васильевны. Вообще, до глубокой старости на ней оставался отпечаток первобытного Смольного воспитания; она сохраняла детскую, милую откровенность. Пороки или, лучше сказать, недостатки ее были многочисленны и безвредны для общества: она была неопрятна, скупа и прожорлива, любила ездить по чужим обедам и под именем ридикюля всегда носила с собою огромный мешок, куда клала фрукты, сласти, конфеты, на сих обедах собираемые, и ими же потом у себя гостей потчевала. В дополнение скажу, что она говорила голосом удушливо-перхотным и к тому же картавила.

Одно не могу я похвалить в ней: ее бесчеловечный эгоизм. Со строгою супружескою верностью, с бесчувствием, с равнодушием хотела она пленять; не разделяя их, возбуждать сильные страсти, сводить людей с ума. Многие прикидывались влюбленными: тогда поглядели бы вы, с каким гордым самодовольствием смотрела она на свои мнимые жертвы! В числе их был и я; а Василий Иванович и не думал ко мне ревновать:

он знал, что полубогиня не может иметь слабостей, и даже соболезновал робкой моей любви. В его отсутствие она делалась иногда гораздо смелее, но, разумеется, до известных границ, которые мы с ее супругом умели ей ставить: когда она казалась встревоженною, изумленною, я становился отчаянно почтительным и удалялся. Не знаю, отчего эта мистификация могла меня некоторое время занимать; я думаю, от скуки.

У таких добрых господ-содержателей труппа не могла быть иначе как веселою, прекуриозною. Кожиным удалось где-то нанять вольного актера Грузинова, который препорядочно знал свое дело; да и между девками их нашлась одна, Дуняша, у которой, невзначай, был природный талант. Катерина Васильевна, помня, как в Смольном сама госпожа Лафон учила ее играть Гофолию, преподавала свои наставления, кои в настоящем случае, мне кажется, были бесполезны; ее актеры могли играть одни только комедии с пением и без пения. Эту труппу называли губернаторскою, ибо мой отец, действительно, ей покровительствовал и для ее представлений выпросил у предводителей пребольшую залу дворянского собрания, исключая выборов, почти всегда пустую.

Завелось, чтобы туда ездили (разумеется, за деньги) люди лучшего тона, какие бы ни были их политические мнения. К Гладкову же в партер ходила одна чернь, а в ложи ездила зевать злейшая оппозиция, к которой, однако же, он сам отнюдь не принадлежал.

Этот раз прожил я в Пензе с небольшим пять месяцев, но делал из нее частые отлучки. Первая поездка моя была вскоре после Петровской ярмарки, Саратовской губернии, Балашовского уезда, в село Зубриловку, о котором было помянуто в первой части сих записок. В проезд наш чрез Москву обедал у нас молодой великий господин, князь Федор Сергеевич Голицын, также читателю знакомый, и взял с моих родителей слово отпустить меня в их деревню к 5 июля, дню именин отца его. за год до того, будучи рижским военным губернатором, князь Сергей Федорович, по какому-то небольшому неудовольствию, вышел в отставку и поехал жить на зиму, как все тогдашние бояре, в Москву, а на лето в свою Зубриловку. В Казацком мне так ее расхвалили, что я с нетерпеливым удовольствием туда отправился.

Мне надобно было сделать 130 верст проселочными дорогами, но я везде находил славных лошадей за умеренную цену. Сперва ночевал я в нашем Симбухине, а потом в тридцати верстах оттуда, в селе Бекетовке, нашел я Хопер почти ручейком, и во всю дорогу редко расставался с его берегами. Если он сам выбрал места, через кои начал протекать, то надобно предполагать в нем много вкуса, ибо они очаровательны; взял бы он немного левее, и он был бы в пустыне, а тут, что за виды, что за рощи, или лучше сказать, что за леса, темные, но не дремучие! Проезжая ими в летний день, дышишь какой-то жаркой, душистой влагой, подобной (но во сто раз лучше) тем парам, которые поднимаются с горячей плитки, когда льют на нее спиртовые духи. Досадно, что я никогда не умел описывать природу, ни чувств, которые она во мне производит; право жаль, ибо, любуясь ее красотами, я всегда делаюсь чрезвычайно добр и вселюбителен. Между тем, по всей дороге беспрестанно находишься в нескольких верстах, иногда даже в нескольких сотнях сажень, от голой степи, которая начинается внезапно и тянется на сотни верст, как великий пост, в одну минуту прерывающий шумную Масленицу. Верно последний ямщик, который вез меня к вечеру, был, как и я, обворожен прелестью воздуха и неба, что, не заметив узкого Хопра, переехал через него, сбился с дороги, и мы попали в степь, где, плутав несколько времени, только после полуночи, почти перед рассветом, мог я приехать в Зубриловку. Там, однако же, по заведенному славному порядку, мне тотчас отвели хорошую комнату с хорошею постелью.

Когда я проснулся и оделся, то было уже около десяти часов утра, и все, для поздравления хозяина-именинника, собирались в залу, где поставлен был завтрак. Я как будто предугадал, что взял с собою мундир; ибо все приезжие гости, соседние дворяне и даже самые сыновья князя были при мундирах, при шпагах и, кто их имел, при орденах. Кому ныне из отставных вельмож будет оказана подобная почесть? Теперь сбылась гадкая русская пословица, что от кого чают, того только и величают.

Хотя ему было не в диковинку, но князь Голицын был тронут сими знаками уважения и вообще со всеми обошелся скорее как с дорогими гостями, чем с людьми, приехавшими к нему на поклонение. Об нем говорить нечего, он ко мне всегда был очень добр; да и сама сердитая княгиня была этот раз со мною безмерно ласкова.

Зубриловка есть одно из немногих мест в России, подобных палаццам и замкам, коими усеяна Польша. Там славянское племя долго и тщетно гнули под феодальные формы: ни Радзивиллы, ни Сапеги, ни Чарторыжские, несмотря на несметные богатства, на многочисленные дружины, их окружавшие, никогда не могли сделаться совершенно независимыми владетелями, как высокие бароны в Германии, Франции и Италии. Их неограниченная, их необузданная власть все оставалась насилие, не закон. В России удельные князья являли когда-то и что-то тому подобное; с истреблением уделизма, с утверждением единодержавия, наместники государевы, начальники городов и областей, с ограниченною властью, получали поместья вместо жалованья и, вероятно, палаты для жительства. Хоромы владеющих поместьями, как и богатых вотчинников, в старинное неприхотливое время могли отличаться от изб простолюдинов только большим размером и большею опрятностью. Мало-помалу блеск двора стал привлекать богатых владельцев в Москву, а искание мест и почестей удерживало их в ней; с улучшением вкуса, с умножением потребностей начали строиться шире и прочнее, и тогда деревянная Москва сделалась Москвою белокаменною. Как видно из истории, не одни опальные царедворцы и воеводы ссылались в свои деревни; но и другие, послужив Богу и царю, удалялись на отдохновение в свои родовые или жалованные имения. Долго существовал сей обычай, и в отдаленных от столицы местах нередко можно было найти маститую старость вельможи, окруженную всеобщим благоговением и отражающую блеск, заимствованный ею от светлого лица государева (я говорю ее языком), при коем она некогда находилась. В такого рода жизни, кажется, нет ничего феодального.

Несколько позже привычка к солнцу не дозволяла далеко отдаляться от лучей его. Тогда, кажется, родилось название подмосковных и умножилась ценность их. Тогда, не переставая быть царедворцем, не покидая любезных ему золотых цепей, мог боярин на лето

освобождаться от их тягости, так, однако же, чтобы, при первом позыве царя или честолюбия своего, мог он скорее возложить их на себя. Во временных убежищах начали, наподобие царских, заводиться в малом виде дворцы и сады, а в отдаленных богатых вотчинах ветхие здания господские стали клониться к падению и заменяться где волостною избой, где домиком для приказчика или управителя.

Но время текло, нравы менялись, и строился Петербург. Сначала, однако же, в новую столицу перенесены обычаи старой, и среди окрестностей первой явилось великолепие, по большей части, уже новых боярских фамилий, в Гостилицах, в Славянке, в Коирове, в Мурзинке, в Мурине, в Парголове. Это было ненадолго, это казалось слишком далеко от двора, и все названные места опустели. Тогда богатые, прекрасные дачи по Петербургской дороге, на царском пути, все разряженные, с обеих сторон вытянулись почтительным фрунтом. Кто бы мог прежде ожидать? И они брошены, и они распроданы под фабрики. Ныне, в самом Царском Селе, в Павловском, в Петергофе или на островах, поближе к Каменному или Елагину дворцам, русская знать в хорошеньких, разубранных уютных дачках гнездится, жмется, как дворня в людских. И эти люди называют себя аристократами!

В старину, то есть, как говорится в России, лет сорок тому назад, все отставные вельможи полагали, что им нигде приличнее жить нельзя, как в отставной столице. Некоторые из них не оставляли ее во все лето, имея в самом городе сады, в десять или в двенадцать раз более иных каменноостровских дач; другие ездили в свои подмосковные, кои продолжали беречь и украшать; немногие, как князь Сергей Федорович, отправлялись в дальние деревни.

Итак, Зубриловка его, равно и лежащее в тридцати верстах от нее село Надеждино, князя Куракина, еще красовались тогда и славились не только во всем околотке, но и во всех соседних губерниях. Что сделалось с вами, Ташань, Батурин, где долго и тихо погасали два фельдмаршала, герой России и гений доброты? Где их потомство, и кому вы ныне принадлежите? А ты, Белая Церковь, место знаменитое в летописях воинственной, вольной Украины, что стало с тобою? Пятидесятилетние просвещенные старания одной русской женщины превратили степь твою в бесконечный прелестный вертоград; ты сделалась добычей горделивой, злой, неблагодарной польки, ее невестки, ненавистницы имени русского, и она обрекла тебя забвению и запустению.

Как в предшествующую ночь, за Хопром, верчусь я все около Зубриловки, и насилу могу в нее попасть. Деревня построена внизу и отделяется прудом и плотиной от горы, на которой стоит господский дом, каменный, трехэтажный. В соединении с двумя большими каменными же двухэтажными флигелями посредством двух предлинных оранжерей и имея подле себя церковь, величиной превосходящую самый большой уездный собор, дом сей, вся эта масса зданий представляются глазу довольно поразительно. Исключая той горы, на которой находятся строения, с левой ее стороны, есть еще две другие гораздо ее выше; все они покрыты густым лесом, а в их промежутках долины, ущелья и пригорки чрезвычайно разнообразят местоположение и беспрестанно производят новые виды. Горы сии наполнены родниками, которые из боков их вырываются сильно бьющими ключами [12].

Легко можно поверить после такого Эдема, какой пустыней должно было казаться, хотя и в лучшем климате, плоское Казацкое: на его равнине только что было гарцевать казакам.

Только вокруг господского дома видна рука искусства, но и тут, в этих бассейнах, каскадах, сильно помогала ей природа. Имение сие было не родовое; князь Голицын купил его и потом три года сряду стоял в нем на бессменных квартирах с двадцатичетырехэскадронным Смоленским драгунским полком, коего он был начальником. Утверждают, что все построения Зубриловки были дело рук солдатских; это извиняется дурным обычаем: полк давался тогда как аренда, и в самом Петербурге начальники гвардии сим дешевым способом возводили себе дома.

Хотя я был в новом месте, однако же в знакомой стороне: все сыновья князя Сергея Феодоровича (исключая Михаила, который служил тогда в Семеновском полку) были налицо. Меньшие, Василий и Владимир, все еще находились в малолетстве; двое постарее их, Павел и Александр, прежние мои соученики, только что взяты из пансиона аббата Николя, где кончили учение [13]; Феодор был камергером и в отпуску, Сергей и Григорий в отставке.

Сей последний при новом государе вступил было в службу, не генерал-адъютантом как прежде, а генерал-майором по армии; но вслед за отцом опять ее оставил. Во время коронации Александра женился он на молодой девице, графине Катерине Ивановне Сологуб, дочери известной при Екатерине красавицы Натальи Львовны и племяннице Александра и Димитрия Львовичей Нарышкиных. Она была из числа тех женщин, кои, к чести прежнего времени и к стыду настоящего, встречались тогда чаще, чем ныне. Их образцом была императрица Елисавета Алексеевна. Приятности лица молодой княгини Голицыной были ничто в сравнении с ее скромной любезностью: не покидая земли, она все казалась на дороге к небу, и если бы могла быть убыль в ангелах, то, я уверен, что из таких существ делали бы их новый набор.

Житье в Зубриловке мне показалось славное; оно напоминало, как богатые и знатные баре живали в старину. Нет лишних прихотей, но всего вдоволь; стол изобильный, сытный и вкусный, прислуга многочисленная, ворота настежь, соседи, мелкие дворяне, так и валят, но не обременяя собою: предовольны, когда хозяин скажет им приветливых слова два–три. Князь Федор, мой милый аристократ, будущий владелец Зубриловки, тогда уже поговаривал об vie de chateau, об удовольствии по временам удаляться в свой замок, среди малого, но избранного круга; толпу же соседей показывать только в важных случаях, на празднествах, как декорацию. Они с отцом имели разные понятия о деревенской жизни.

Пробыв в отсутствии четыре или пять дней, воротился я в Пензу. Она несколько присмирела после тех отзывов, которые сообщены были ей из Петербурга. Столыпина в ней не было, и по заочности не мог бы он так сильно на нее действовать, если б, как Илия возносясь, не бросил он мантии своей, как Елисею, некоему г. Бекетову.

Преемником его был в звании прокурора г. Ламанов, человек тихий и благородный; но в нем оставался он не более полутора года, быв переведен вице-губернатором во вновь учрежденную Томскую губернию. Тогда отставной майор Бекетов, по ходатайству друга своего,

***, произведен в надворные советники и назначен на его место. В уме и познаниях этот человек отстал даже от ***, но в дерзости и безнравственности его самого превзошел.

Он был двоюродный брат знаменитого нашего поэта Дмитриева; к тому же его звали Аполлон Николаевич, поэтому почитал он себя в обязанности быть в знакомстве с музами и вправе судить о литературе. И по этой части был он оракулом в Пензе, то есть его суждения принимались слепо, почтительно, но в то же время невнимательно, как о деле постороннем, ни до кого не касающемся, как речь на непонятном языке. А что это было за глубочайшее невежество!

Первый год своего прокурорства он был довольно умерен, пристоен; мы были тогда знакомы, и он просил меня с скромной гордостью заглянуть в оставленное им для службы его сельское убежище. На возвратном пути из Зубриловки должен я был переменить лошадей в селе его Черкесском, и в отсутствие хозяина, но по его приглашению, пошел смотреть его дом. Он был каменный, двухэтажный и поставлен совсем поперек большой дороги; с правой стороны была роща, с левой сад; малое пространство между ними и домом было еще наполнено двумя откосами или пандусами, в них ведущими. Только подле самого дома, под откосами, с обеих сторон оставлено было для проезда по арке, дабы никто не мог ни проехать, ни пройти, не полюбуясь, не подивясь причудливости г. Бекетова. Внутренность дома отвечала наружности его: везде беспорядок, по-моему, совсем неприятный, везде претензии на странность, все не на своем месте. Например, среди кабинета его нашел я гипсовую статую Амура (я ожидал найти Бахуса) с известною надписью, qui que tu sois, на столике визитную карточку хозяина, на которой написано: pour prendre conge; наконец, на крытой соломой конюшне заметил я honny soit qui mal y pense. И что всего страннее, г. Бекетов прескверно говорил по-французски и не мог почти слова сказать без ошибки.

Описывая первый приезд мой в Пензу, упомянул уже я о госпоже Бекетовой, красоте холодной и суровой, блиставшей, как солнце на снежных равнинах. Такие женщины в многочисленных обществах служат ему только наружным украшением, но в семейной жизни они ее благополучие. Как бы не замечая пороков мужа и слабостей отца, Прасковья Петровна Бекетова обоих почтительно и нежно любила, как долг, для матери была утешение, Провидение для детей, и она осталась до конца жизни набожной, благотворной, любимой и всепочитаемою. Как я всякому люблю отдавать справедливость, то и о самом Бекетове должен сказать, что в поступках против жены его нечем было упрекнуть, равно как и в лихоимстве. Эти две обязанности почитал он священными.

Родители Бекетовой также находились тогда в Пензе. Отец ее, Петр Михайлович Опочинин, был добр и слаб характером. Он был богатый ярославский помещик, но в первой половине жизни, чересчур любя ее наслаждения, как многие другие наши дворяне, с беспечностью истинно русскою, успел все имение прожить [14]; под старость лет в чине статского советника принужден он был принять должность советника Пензенской Уголовной палаты, в те поры еще довольно уважаемую.

О жене его, Александров Федоровне, урожденной Ладыженской, скажу только, что она служила образцом дочери. При воспоминании о прежней роскоши ни жалобы, ни упрека никогда из уст ее не выходило: она имела эту тихую твердость, героизм женщин. Не знаю, право, куда такие жены девались? Ныне малейшая слабость мужа служит жене предлогом его преследовать и, среди собственных беспорядков, еще казаться жертвою. В этом отношении европейские обычаи не морем, не прямо вошли к нам, а через Польшу.

Приязнь матери моей с г-жей Опочининой, подчиненность мужа ее отцу моему, и увещания сына их, служившего в Петербурге, до некоторого времени удерживали буйные порывы против нас г. Бекетова. А этот шурин был ему весьма полезен, ибо находился в самом завидном положении для молодого человека. Ротмистр конной гвардии и любимый адъютант цесаревича Константина Павловича, с приятною наружностью и гибким вкрадчивым характером, он удивительно всем нравился, и мужчинам, и женщинам. Он был ростом невелик, но чудесно сложен, в самом голосе имел что-то привлекательное, хотя в нем ничего не было женоподобного, а разве только один император Александр более его одарен был мужским кокетством. Ни перед кем не унижаясь, он, однако же, никому не показывал гордости, и, вероятно, не любя печальных лиц, сам старался всем улыбаться. Было ли это в нем врожденное благосклонное ко всем чувство, то сие делает честь его сердцу; или в столь молодых летах это уже было следствием расчета, тогда оно служит доказательством тонкого ума. Всякий ищет пути к возвышению; а он не ошибся в том, который избрал. Перед тем зимой я с ним познакомился; но виделся с ним не часто, или мне так казалось, потому что всякий раз обращение его и разговор были столь милы, что я бы его не наслушался.

Я обещал несколько новых портретов, некоторые уже намарал, а остается еще довольно. При представлении их я не буду, как в Киеве, следовать порядку адрес-календаря: Пенза всегда была город дворянский, а не казенный. Но как надобно какого-нибудь порядка держаться, то я разделяю их на врагов, на приятелей и на преданных дому нашему.

В числе первых, к сожалению, находились два семейства, дотоле связанных с моими родителями узами самой тесной дружбы. Одно из них, семейство Ступишиных, состояло из четырех лиц и трех поколений. Я только что говорил об Агнии Дмитриевне, которую видел в Зубриловке; у нее была мать, у нее был муж, у нее была дочь. Сама она была женщина простая, суетливая, не добрая, не злая и великая хлопотунья. Зато мать ее, Елисавета Петровна Леонтьева, была одарена необыкновенным умом, которым прикрывала все недостатки старинного воспитания; будучи малочиновная и небогатая вдова, и не самой строгой нравственности, она умела себя поставить на такую ногу, что никто не смел ей отказывать в знаках наружного уважения. Когда же она единственную дочь свою выдала за пензенского губернатора, тогда похищенное ею право первенства обратилось в законное, неоспоримое.

Иван Алексеевич Ступишин открывал Пензенскую губернию, был первым в ней губернатором. Трудно было найти человека, у которого голова была бы пустее; а между тем он избран Екатериной и, что еще удивительнее, выбор сей нельзя было осудить. Находившись долго в военной службе, он был из числа тех строгих, точных исполнителей даваемых им предписа-

ний, которые бывают полезны там, где умствования могли бы только запутывать дела. Как он был нрава серьезного и весь исполнен чести, доброты и справедливости и как он попал в то счастливое время, когда правительство само поддерживало поставляемых им начальников, то, волею или неволею, все почтительно ему повиновались. К тому же и дел сначала было немного; и в них, кажется, было столь же мало отвлеченностей, как и в мыслях Ивана Алексеевича. Оставив службу, он редко показывался в Пензе, хотя и жил в тридцати верстах от нее, в деревне своей Пановке.

Полученное им довольно большое наследство после брата и пожалованное ему имение, вместе с небольшим родовым, составило ему до полуторы тысячи душ; а как у него была одна только дочь, то и могла она почитаться богатою невестой, особенно в провинции.

Эта молоденькая, беленькая, полненькая дочь его, Александра Ивановна, имела самое приятное из дурных лиц. Ее воспитанием занималась преимущественно умная бабка ее Леонтьева и хотела им прославиться, стараясь одарить ее всем, чего в самой недоставало, и не щадя на то денег. Внучка оправдала ее ожидания: от всех других девиц в Пензе отличалась скромностью, любезностью, знала иностранные языки и по-французски выражалась, как говорили тогда на нем в большом свете; много читала, переводила и казалась чуждою даже маленьким девичьим сплетням. Голос ее был приятный и в согласии с нежностью, с чувствительностью, которые, как имел я случай узнать после, были в ней не столько врожденные, как внушенные иностранными гувернантками.

Никто из молодых людей (которых, впрочем, было немного) не смел к ней подступиться, и если бы маленькое, едва заметное предпочтение не ободрило старшего брата моего Павла, которому она чрезвычайно нравилась, то он довольствовался бы любить ее в молчании. Однако же они поняли друг друга, воспламенились и объяснились; но девица Ступишина, зная уже виды и надежды, не столько родителей, как гордой честолюбивой бабки, просила его до удобного случая хранить их взаимную страсть. И действительно, г-жа Леонтьева, выдав глупую бедную сироту свою за генерал-поручика и губернатора, могла надеяться, что такая внучка будет за канцлером или за фельдмаршалом. А между тем девочке, восторженной от чтения романов, довольно приятно, в тиши уединения, наяву длить собственный роман. Один учитель, француз (эти люди всегда мешаются в любовные дела), который прежде того давал уроки, часто навещал Пановку, отвозил туда письма от брата и привозил оттуда на них ответы. Письма ее были по-французски, а как брат мой на этом языке говорил нехорошо, а писал еще хуже, то тот же самый француз, более со слов, переводил русские его письма, а он уже потом списывал. Когда случилось мне после читать эти послания молодой Ступишиной, то мне казалось, что страсть и искусство выражать ее далее идти не могут; но еще позднее, когда я более начитался романов, нашел в них целые страницы, уже мною читанные. Как все это более переписывалось, чем сочинялось, то никакая любовная переписка названия сего так не заслуживает.

Прошло несколько месяцев, и оба семейства, ничего не подозревая, продолжали свои дружественные сношения и, несмотря на тридцать верст расстояния, довольно часто друг друга посещали. Наконец, робкая дева осмелилась признаться во всем отцу, который одобрил ее желания, и она поспешила сообщить о том моему брату. В нетерпеливой радости своей он обратился к родителям, и они нашли все это делом весьма обыкновенным, естественным. Партия была самая выгодная, неравенство могло только быть в одном состоянии; к тому же в провинции это могло казаться соединением двух династий. Но не так думали Леонтьева и дочь ее; узнав истину от неосторожного старика, они в два-три дня успели совсем сбить его с толку, и когда мать моя приехала к ним с формальным предложением, то госпожа Леонтьева, от имени всех, не весьма искусно, но довольно учтиво сделала отказ.

Можно себе представить, что из того после произошло, видя с одной стороны женщину живую, самолюбивую, как мать моя, а с другой — раздраженную, бранчивую дуру Леонтьеву и дочь ее, и между ними услужливых сплетниц и переносчиц. Более года прошло после этого разрыва, когда во второй раз приехал я в Пензу, и вражда была тогда во всей силе; зато и любовь молодых людей также не угасала, и тайная переписка продолжалась еще года два.

Другое семейство, о коем я упомянул, было некоторым образом продолжением первого. Говоря о молодости отца моего и о первых связях его в Пензе, я назвал Ефима Петровича Чемесова, мужа древних времен. Более тридцати лет существовала у него с отцом моим дружба старинная, непоколебимая. Он был еще довольно молод, когда беспощадный для дворян Пугачевский бунт достигнул Пензы. Все бежали. Он остался, примером своим ободрил некоторых молодых помещиков и, пользуясь доверенностью и уважением, которые имел даже между простым народом, из господских людей, из мещан и из нескольких поселян успел собрать почти целый полк, который вооружил наскоро и назвал уланским; надобно знать, что ни сам он и никто из его сподвижников никогда не бывал в военной службе [15].

С этим войском он выступил против неприятеля, но, к счастью, был так умен и осторожен, что не хотел дать себя и людей своих даром зарезать. Сила мятежников была уже так велика, что при первом появлении его бы истребили; он довольствовался вести партизанскую войну, нападать врасплох на отряды вражьи, отбивать конвои, затруднять сообщения, спасать бегущих от злодеев, сохранять дух повиновения в крестьянах. Он ничего не брал у жителей, ничего не стоил казне, и содержал команду свою единственно отхваченным у мятежников. Удивительно, что такие подвиги не были награждены, но в них самих находил он уже себе награду; ибо этой эпохой, по всей справедливости, всю жизнь свою гордился, насколько времени был он потом провинциальным прокурором и, наконец, воеводой (с ним и прекратилось пензенское воеводство). Так как маленькое тщеславие всегда бывает слабая сторона добродушных людей, то и он не был его чужд: на низком каменном жилье построил он обширный деревянный дом, поныне еще существующий, и сколь возможно лучше, по тогдашнему времени, его убрал; почитал себя представителем царской власти, он назвал его дворцом, и когда в торжественные дни после молебна приглашал он к себе чиновников обедать, то всегда говорил: «Покорно прошу ко мне во дворец».

Большую страсть имел он к чтению: все, что было писано, печатано по-русски, подлинники и переводы, по какой бы части наук, о каком бы предмете то ни

Портрет Филиппа Лаврентьевича Вигеля, пензенского гражданского губернатора.
Неизвестный художник, нач. XIX в.

«...Так как, вероятно, мне не придется более говорить о Саратове, в коем я никогда не бывал, то я позволяю себе сделать небольшое отступление и бросить недовольный взгляд на службу там отца моего. Место, которое он там занимал, было, что называется, самое наживное: в том краю, который называется денежною стороной, как Пенза хлебною, там, где все гласит и поныне о прибыли, он ничего не приобрел, кроме двух друзей или, может быть, только приятелей, совсем не одинакового с ним образа мыслей, но с коими сохранил связи до последнего конца жизни, без чего, по мнению моему, он весьма мог обойтись.
...Что касается до Пензы, то пусть позволят мне часть успехов приписать присутствию в ней моего отца, уважению, которое он в ней приобрел, деятельности его и его советам, которых, к счастью, слушались.»

было, все он прочитал, но все без разбора, без системы, и если б он приготовлен был образованием, то, конечно, был бы ученейшим тогда человеком. Страсть к наукам изобразил очень хорошо в нем Загоскин в романе своем «Искуситель». Но еще более был он падок на ум; умных людей обожал он, и потому нимало не удивительно особенное пристрастие его к единственной сестре своей, вышесказанной Елисавете Петровне Леонтьевой. Несмотря на то, он, однако же, сначала не хотел никакого принять участия в ссоре ее с нашим семейством. К сожалению, вместе с честностью, с благородством души, не соединял он тех строгих, твердых правил, коими руководствовался отец мой; был снисходителен к негодяям: довольствуясь на них не походить, он выслушивал их вранье и жалобы, оспаривал их, потом молчал и, наконец, чуть ли не готов был с ними соглашаться... К тому же он старел, слабел, начинал слепнуть и с каждым днем становился подвластнее хитрой сестре своей. Он не побранился, не поссорился с отцом моим, к тому не было ни малейшего повода; но он вдруг остыл к нему и так остался до смерти своей. Впрочем, с обеих сторон никто не слыхал от них ни малейшей жалобы, ни малейшего осуждения.

Когда отец мой прибыл в Пензу на губернаторство, тогда дворянство, обрадованное его приездом, желая чем-нибудь ему угодить, не нашло ничего лучше, как друга его Чемесова единогласно избрать своим губернским предводителем. Те же самые люди, прибегая к нему потом, старались уверить его, что долг и беспристрастие требуют от него, чтоб он был защитником их прав против насилия; но ему не было случая за них вступаться: никто не думал нападать на них. Желая сколько-нибудь сблизиться с ослепленным другом, отец мой, будучи в Петербурге, настоятельно, убедительно, чрез Кочубея выпросил ему чин статского советника. Сначала это старика было потешило; но Леонтьева скоро успела его уверить, что это сделано было с намерением его унизить, и он почитал это жесточайшей обидой. Я был крестный сын его и, следуя старому обычаю, по духовному родству обязан был его посещать. Как он, так и семейство его всегда встречали меня с распростертыми объятиями.

Семейство сие было многочисленное; у него было четыре сына и пять дочерей. Супруга его, Марфа Адриановна, имела в себе много оригинального, была типом старинной дворянской спеси и фамилии Чемесовых и Киселевых, к коим принадлежала по замужеству и происхождению, почитала выше всех других дворянских родов в России. Она вела жизнь самую праздную; ни деревенским, ни домашним хозяйством, ни воспитанием детей, ни даже угощением посещавших ее, она никогда не занималась; не понимала другой любви, кроме супружеской, не предавалась особенной набожности, не любила выезжать, не думала о нарядах, не умела играть в карты; а между тем, никогда не знала скуки. «Тьфу, пропасть, — скажут иные, — да что же она делала?» А вот что: у ней была чудесная железная память, вместе (чему трудно поверить) с чрезвычайным любопытством и удивительною скромностью. Она любила собирать вести, но не разглашать их; она их копила, прятала и, не обременяя ее, наполняла ими память свою. Она была мастерица выспрашивать; все, что от нее более или менее зависело — служанки, даже мелкие дворянки и чиновницы — не смели к ней являться без короба вестей. Однако же далее Пензенской губернии, из которой она никогда не выезжала, ни любопытство, ни сведения ее не простирались. Зато уже в ней знала она решительно все: год, месяц и день рождения каждого из дворян, у кого сколько душ, сколько земли, сколько долгу и кому он должен. Этого мало, в каждом доме известна ей была вся его подноготная, она знала имена всех дворовых людей и женщин, их родство, их поведение, милостивое или жестокое обращение с ними господ; ничего не записывая, всему вела она верный счет. В этой женщине можно было предполагать много философии, она ни к кому не имела пристрастия и никогда не чувствовала гнева, она была откровенна, правдолюбива и не терпела лжи; но сии качества были иногда бичом общества. Вообще она редко говорила о том, что знала, но иногда совсем неожиданно приходила ей фантазия при всех начинать свои допросы. «Скажите, матушка, сколько вам лет?» или: «Как велико ваше состояние?». Молодые женщины, переходя в зрелые лета, обыкновенно от слов сих бледнели: не было возможности утаить от нее ни одной недели; обличения, доказательства были у нее тотчас готовы. «Неправда, — случалось мне слышать, — я помню, это было тогда-то и так-то». И все сии публичные испытания делались с убийственным хладнокровием неумолимого судьи. Имя Марфы было дано ей очень кстати, ибо ей можно было сказать, как в Св. Писании: «Марфа, Марфа, печешися о мнозих».

Все четыре сына Ефима Петровича служили; один из них достиг генеральского чина, но ни который из них не возвысил его имени, не продлил его рода. Об одной из дочерей его впоследствии должен буду говорить с подробностью.

Людей умеренных, которые не интриговали, избегали ссор с нашими неприятелями, но и не дружились с ними, в глаза и за глаза были почтительны к начальству, но и не искали с ним короткости, одним словом, держались середины, таких людей было немного; почти все они не были родом из Пензы, а находились в ней только на службе. Первого назову я вице-губернатора Сергея Яковлевича Тинькова, человека довольно пожилого, малорослого и тщедушного, доброго и честного, который при Екатерине еще был вице-губернатором в Туле [16].

Его не любили, но он как-то всегда ускользал от пензенской злости. Жену его Анфису Никаноровну, урожденную Анненкову, я бы назвал пензенской Шардоншей: она столь же широка была в объеме, также была нашей вседневной, также румянилась до самых ресниц; два ряда крепких, хотя и зеленых, зубов посредством постоянной улыбки она также всегда выставляла и также любила светские увеселения, то есть хороший, вкусный обед, наряды и бостон.

Вместе с Тиньковым заседал в Казенной палате советник ее, Афанасий Афанасиевич Докторов, двоюродный брат известного у нас генерала. Он был орловский помещик, попромотавшийся, попроигравшийся старый франт, который служил по необходимости. Казались в нем странны не деяния его, а манеры, наряд и какой-то особенный, весьма забавный французский язык. Тогда в платье все было просто, гладко, одноцветно; его же полосатые фраки, пестрые клетчатые жилеты, тканые, вязаные, вышитые, размалеванные, отличали его ото всех; в пятьдесят лет он румянился, сурмил брови, чернил себе волосы. Следуя старинной моде, носил он двое часов или, по крайней мере, две цепочки от них, томпаковые, или симилоро-

вые с брелоками, которые длинно висели из жилетных его карманов и которыми он поигрывал, побрякивал. Перед этим был он директором училищ в Перми и Тобольске, и там имел он случай набрать множество если не драгоценных, то самоцветных каменьев и употребить их на разные мелкие предметы, табакерочки из яшмы и порфира, перстеньки бирюзовые, аметистовые, коими покрыты были его пальцы, и, наконец, две цепочки из разных камешков, которые сверх жилета носил он крестообразно; всего же примечательней в его сокровищнице был огромный лал, который при важных оказиях, в виде застежки, являлся у него на груди.

Человек этот был опасен; он смешил при первом на него взгляде, и селадонство его, его ужимочная учтивость позволяли думать, что можно смеяться над ним безнаказанно. Но беда, если он то заметит; голос его возвысится, глаза нальются кровью, он распетушится, заговорит о шпаге, и заговорит серьезно. Страсть к игре его не покидала, и он в ней почти всегда был несчастлив. Любопытно было видеть, с какой учтивой улыбкой человек этот, обремененный семейством, проигрывал иногда последний свой рубль; все заложить, все продать готов был он, чтобы быть исправным к платежу игорного долга. Своего, кажется, у него ничего не было, и он жил помощью богатого брата глухой жены своей, Варвары Федоровны, орловского Креза, графа Степана Федоровича Толстого. О другом его ресурсе мне что-то совестно говорить; по званию советника Казенной палаты он должен был находиться в рекрутском присутствии, и эта обязанность доставляла ему средства и жить, и проживать. Какие противоречия бывают в человеке! С весьма здравым рассудком Докторов так дурачился и с такою щекотливостью в отношении к чести прибегал к средствам столь беззаконным, можно сказать, столь бесчеловечным!

Дочери его были слегка помазаны светским образованием и чрезвычайно как ломались. В молодости они были несносны своим жеманством, а ныне, в старости, почтенны твердостью, с какой умеют переносить бедность. Одна из них пошла в гувернантки и добросовестно, прилежно и с великим успехом занимается воспитанием девиц; другая всегда имела страсть к живописи, пишет портреты и тем пристойно себя содержит. Право, можно подумать, что дело идет о французских эмигрантах.

По обстоятельствам, более чем по склонности, принадлежал к умеренной партии один из почтеннейших жителей Пензы, действительный статский советник Егор Михайлович Жедринский. В Петербурге провел он всю молодость свою, которую умел продлить за сорок лет. Он служил в гвардии, был только что сержантом в Семеновском полку, как нечаянный брак вывел его в люди. Начальник этого полка, генерал-аншеф и андреевский кавалер Федор Иванович Вадковский, должен был, как говорят, поспешить замужеством старшей из своих дочерей; надобно было сыскать жениха не слишком взыскательного и потом наградить его за снисходительность. Это доставило Жедринскому не только скорое повышение, но и знакомство с людьми лучшего тогда общества в Петербурге. Когда он овдовел, из гвардии-капитанов вышел в отставку бригадиром и приехал потом в Пензу председателем гражданской палаты, то от всех ее жителей постоянно отличался неизвестною им пристойностию в разговорах и вежливостью в обращении, особенно с дамами. Хотя он был весьма уже немолод и некрасив собою, но с любезностию, которой в других тогда не было, умел еще нравиться женщинам. Читал он мало, и так называемый дух философии и правила разврата, непосредственно от него вытекающие, почерпнул он, кажется, из разговоров, а не из книг. Потому-то без малейшего угрызения совести соблазнил он одну сиротку, немку, дворянку Раутенштерн, жившую в доме Чемесовых. Когда состояние ее сделалось несомненно и стыд ее стал всем известен в маленьком городе, тогда она должна была лишиться покровительства своих благодетелей и могла найти убежище только у самого по-хитителя ее чести: вступиться за нее было некому, она была круглая сирота. К счастию ее, человек без сердца, воплощенный грех, прилепился к младенцу, ею рожденному: без того он бы ее прогнал. Верно, уже не ради Христа, коего божества он не признавал, верно, не из сострадания, которого никогда не знал, дал он ей уголок, обязав быть его ключницей и нянькой его ребенка; всегда обременял он ее потом своим презрением, не уважая в ней даже своей жертвы и матери своего сына.

В совершенном заточении, не смея никому показать лица своего, так провела лучшие годы своей жизни хорошенькая, скромная девушка, рожденная для добродетели, которой, раз изменив ей, всегда потом оставалась она верна. Мальчик подрастал, отец отсек первый слог фамильного своего имени и оставил ему название Дринского. По связям, которые сохранил он еще в Петербурге, незаконного сына его записали сержантом в гвардию и даже, следуя тогдашнему злоупотреблению, в малолетстве выпустили капитаном в какой-то армейский полк, стоявший в Пензе. С кончиной Екатерины, с упразднением Пензенской губернии, кончилась как его служба, так и служба несовершеннолетнего его сына.

Нежность к сему сыну, неотступные мольбы его и участие, которое самые равнодушные люди принимали в злополучной судьбе бедной Раутенштерн, в начале царствования Александра заставили седого ловеласа с нею обвенчаться, и более для того, чтобы узаконить сына и дать ему свое имя. Не скоро бедная женщина решилась показаться между людьми, несмотря на свое новое превосходительство, все искала последнего места в обществе и долго еще сидела в нем, потупя взоры, как преступница.

Старику Жедринскому было более семидесяти лет, когда жена его была полна, свежа и имела блестящие взгляды. Но он был еще приветлив, опрятен, говорил неглупо, подшучивал довольно остро и по большей части насчет добродетели, церкви, духовных лиц и обрядов. Несмотря на его ласки ко мне, я чувствовал тайное отвращение от сего повапленного гроба; я все видел печать ада в сардонической улыбке до ушей, обнажавшей беззубый рот его, и мне казалось, что, говоря о нем, совсем не в смысле брани можно было употребить название старого черта. Наказанием его была страсть к игре; от нее он был весь опутан долгами, и это делало его еще искательнее, ко всем ласковее.

Совершенно в его духе, в его правилах был воспитан любимый сын его, Владимир Егорович; но в нем было более чувства и гораздо менее ума, чем в отце. Еще в ребячестве сам родитель наставлял его во всех карточных играх; и в двенадцать лет сидел уже он

с большими за бостоном; впоследствии ученик превзошел наставника, и его выигрыш часто заменял неудачи последнего; в обоих, кажется, недоставало решимости подняться на те смелые спекуляции, от коих единственно по сей части обогащаются. Воспитанный эмигрантом виконтом де-Мельвиль, молодой Дринский изрядно говорил по-французски; стараясь подражать манерам отца своего, он чересчур пересластил, сделался приторен и жеманен. Он слыл красавцем, ему было осьмнадцать или девятнадцать лет, когда увидел я его в первый мой приезд, и я совсем этого не нашел: черты довольно правильные, но совсем обыкновенные, ничего не выражающие, лицо бледное, несколько желтоватое, характер и разговор столь же бесцветные, как и лицо, которое одно только иногда умел он искусно расцвечивать; вот весь он со всем этим, как он был единственный молодой человек в Пензе, то и почитался опасным для женских сердец; и действительно, не столько из собственных злых побуждений, сколько по наущению отца, который думал оживать в нем, успел он завлечь несколько легкомысленных, чтобы хвалиться их слабостью. Прокурор Бекетов также взялся быть его вожатым; но в нем не было довольно энергии, чтобы когда-либо дойти до высочайшей безнравственности.

Беспристрастие, коим я все хвалюсь, к сожалению, не дозволяет, как бы мне хотелось, превознести похвалами людей, которые постоянно показывали приверженность отцу моему. Однако же между ними одни отличались умом, другие честностью и добротою; но были и такие, или лучше сказать такой, в котором ничего этого нельзя было найти. Такого звали Дмитрий Владимирович Елагин. Так же, как г. Жедринский, служил он в Семеновском полку и из капитанов вышел в отставку бригадиром и, так же как он, определен был в Пензу председателем, но только Уголовной палаты. Что-то такое похожее на воспитание оставило на нем едва заметные следы, тогда как дурная компания, посреди коей он жил, отзывалась во всех его суждениях, разговорах и даже телодвижениях. Однако же не надобно думать, чтобы он был забияка, игрок, мот или пьяница; в нем ничего не было такого, что в старину называли гвардейское молодечество, а скорее гаерство, которое можно было находить между нижними чинами во всякой гвардейской роте. Тот, кто бы вздумал назвать его повесой, конечно, захотел бы польстить ему: он просто был пакостник, лгун и пустомеля. Начиная стареть, любил он вспоминать молодость и ко всему придирался, чтобы с восхищением поговорить о царствовании Екатерины, на которую взносил величайшие нелепости, между прочим, будто она удостаивала его разговорами и называла mon enfant. Он был только дерзок на словах и чрезвычайно злоречив; это почти со всеми его поссорило; но в то же время (чего я до сих пор не могу понять), с столь низкими пороками, человек этот был исполнен страха и обожания к отцу моему, который его презирал и даже редко с ним говорил. Отогнать его было труднее, чем верную собаку, и так терпели его, пока к нему не привыкли. Что бы мы ни делали, а все более или менее принадлежим к своему веку: как в молодости моей матери нельзя было жить без шутов, то со всем ее умом Елагин казался ей иногда забавен. Другое еще дело было со мною, когда г. председатель не был удерживаем законами благопристойности; от его россказней, от простонародных прибауток, от сквернословия его часто валялся я со смеху. Простите меня, читатель: я был так молод, а в Пензе была такая тоска! Что касается до службы его, то не знаю, что сказать; а говорили, будто он на пенсии у секретаря своей палаты.

Один бедный выслужившийся дворянин, собою очень видный, женился на доброй, глупой и богатой невесте, дочери Василия Николаевича Зубова, двоюродной сестре князя и графов Зубовых. Иван Андреевич Маленин, в звании городничего, начальствовал в Пензе, когда, при Павле, была она уездным городом, и до некоторой степени напоминал собою прежних ее воевод и губернаторов. Беспечен, хотя и тщеславен, довольствовался он тою порцией величия, которая в сей аристократической республике, как единственному официальному лицу, ему на долю доставалась, и с дворянами довольно ладил. При вторичном открытии губернии он уже в прежней должности остаться не хотел и сделан советником казенной палаты; тогда стал он в ряды других бояр, получив в городе великий вес от роли, которую перед этим играл, от знатного родства, хорошего состояния и большого хлебосольства. Он был мужик честный, правдивый, чистосердечный, но вместе с тем и осторожный: никогда не говорил неправды, но не всегда говорил правду. Его преданность отцу моему, без малейшей подлости, свободомыслящие в Пензе именовали подобострастием, а он не хотел даже брать труда на них сердиться. Маленькое чванство, лошади, псарня, вот все его извинительные слабости. Ученостию ни он, ни жена его не могли похвастаться: домашнего маляра своего называл он в шутку Сократом, уверен будучи, что Сократ был великий живописец. Супруга его, Александра Васильевна, долго полагала, что всех медиков зовут Петерсонами, потому что первый, который ее лечил, носил сие имя.

Господин и госпожа Дубенские, Григорий Львович и Анна Егоровна, привязаны были не столько к лицу, как к месту губернатора, и от одного к другому переходили по наследству. Он был молчалив и довольно угрюм, а она добрая женщина, большая болтунья и первая вестовщица в городе. Между ними существовало странное условие, предписанное мужем: она, которая наедине трепетала от его взгляда, должна была при людях на него покрикивать, а он отмалчиваться и казаться у нее в загоне.

Некто Андрей Сергеевич Мартынов, весьма еще не старый помещик и богатейший жених в провинции, так же как и Дубенские, любил без памяти власть; но светской ему было мало: он прибавил еще к ней духовную и был всегда на бессменных ординарцах, как у епископа, так и у начальника губернии. В его гостиной на первом месте всегда висело изображение архиерея между портретами губернатора и губернаторши, разумеется, господствующими: по мере как назначаемы были новые, высылались они в залу, где, по прошествии двух десятков лет, составилась презанимательная портретная галерея.

Я бы никогда не кончил, если б захотел представить всех странных людей, коими тогда населена была Пенза. Я выбирал любопытнейших из них, а остальных берегу в запасе для будущих посещений. Но об одном человеке не могу здесь умолчать: он был мне слишком памятен.

Тяжкий, горький опыт показал мне, что в нашей России каждый честный, умный и благородно мыслящий человек, коему вверяется начальство, должен иметь своего плута. При определении отца моего,

рекомендовали ему в Москве некоего Арфалова или Арфалоса, бывшего секретарем при курском губернаторе Бурнашеве, человеке известном и почтенном, и вместе с ним оставившего службу: это одно уже говорило в его пользу. Огромная голова, высоко поднятая, твердый голос, смелая поступь, все, что служит вывеской честности, все это к нему могло возбудить доверенность самых опытных людей; но гордость, злоба, хитрая месть и алчность до времени скрывались за этой личиной. Он родом был грек, не знавший, однако же, природного языка своего; но родился ли он в России или в малолетстве вывезен откуда-нибудь? К какому состоянию принадлежал он, где учился и как поступил на службу? Все это умел он задергивать непроницаемою завесой. Он был чрезвычайно умен и трудолюбив, и коварство грека, как броню, облек еще в русское подьячество. Ему нужен был один только человек, начальник его; но и с ним отвергал он обыкновенные средства унижений и лести. С ним позволял он себе иногда отрывистые возражения, но видя настойчивость, отвечал на нее неодобрительным молчанием, за которым всегда следовало быстрое исполнение приказаний. Он старался изучить характер начальника, с каждым днем становиться ему необходимее и мало-помалу успевал уверить его, что за него готов он и в огонь, и в воду. Сильнейший государственный человек, в последние годы жизни Александра следовал этой же самой методе; но Арфалов может почитаться изобретателем ее.

Грустно было видеть, как дерзкий этот мошенник овладел старостью бедного отца моего. По большей части он же был причиной негодования на него, а прикидывался добровольной жертвой, за верность к нему радостно выносящего от всех гонения и таким образом нечестие свое сплетал с честью почтенного моего родителя. Почти со всеми обходился он холодно, сухо; в случае же нужды всегда у него были готовы резкие обидные ответы: какое было ему дело! Будучи только секретарем губернатора, из-за него действовал он, как из-за укрепления; сменят его, что за беда? Он примется за другого. С самого начала возненавидели мы друг друга, никогда не говорили и не кланялись; и как ни молод я был, как ни робок при отце, не страшась его гнева, при первом слове об Арфалове приходила ко мне чудесная смелость, и я принимался его обвинять. Бедность, в которой жил он с своим семейством, была всегда победоносным ответом в устах моего родителя. Только при его преемнике построил он каменный дом и купил деревню.

Чтобы скорее забыть этого человека, отправимся в дорогу, на ярмарку, в Саранск. Она обыкновенно бывает в половине августа, около Успеньева дня, вскоре после Макарьевской, которая от нее была недалеко и оканчивалась тогда к 1 августа. Все на сей последней нераспроданные товары привозились на Саранскую, где и продавались дешевле, отчего она была богаче и многолюднее Пензенской. Сверх того, в уездных городках, на небольшом пространстве, в хорошее время года, ярмарки всегда бывают живее, кипучее, чем в губернских городах; на них что-то похожее на лагерное житье или на ту беззаботную, бесцеремонную жизнь, которую ведут на минеральных водах. Несколько дней, проведенных там с моим семейством, чрезвычайно возвеселили дух мой. Только для того, чтобы показать, как мало в это время дворяне брезгали местами и как они еще были уважены, скажу, что городничим в Саранске был тогда человек известной фамилии, имевший тысячу душ, брат сенатора, Алексей Федорович Желтухин.

В самый день Успения был в Саранске, проездом из Петербурга в Саратов, обер-камергер Александр Львович Нарышкин и остановился в нем на целые сутки. Зачем бы, кажется, человеку, который совсем не был хозяин, предпринимать столь трудные путешествия в дальние свои деревни? Особенно тогда, как на столь великом пространстве, при каждом шаге должен был он встречать недостаток и худое качество съестных припасов? за тем-то именно он и ездил. Крепкое сложение самого русского человека он несколько порасстроил вседневной, изысканной, прихотливой пищей; впрочем, здоровье его цвело, но вкус иногда притуплялся; доктора, вместо диеты, советовали ему путешествовать по России, он должен был проголодаться; одним словом, в Саратов ездил он за аппетитом. Отец мой был с ним знаком, и я, было, забыл, что перед этим, в апреле, он меня ему представил, и первый раз в жизни был я у него в Петербурге на истинно аристократическом бале.

Кому тогда в России не известны были наследственные веселость духа, ум, острота и любезность этих Нарышкиных, не столько потешников, как часто утешителей дальних родственников своих, членов императорской фамилии. Старина еще показывалась в широком их боярском житье, когда уже все удовольствия новой образованной жизни блистали в их беседах; и сия встреча, сие соединение лучшего из двух разных времен, делает их незабвенными. Особенно, говорят, был примечателен Лев Александрович, отец того, о ком пишу; у того, говорят, все подавай на стол и всех давай за стол, и сколько бедных дворян, возвращаясь в свою провинцию, хвалились тем, что у него обедали: они могли думать, что были при дворе, ибо двор и Нарышкины всегда в совокупности тогда являлись мыслям [17].

Александр Львович был уже гораздо разборчивее, а еще более сыновья его.

Но и он сохранял еще в себе тип прежнего вельможества. Он не знал, что такое неучтивость, со всеми, с кем имел дело, не только был ласков, даже фамильярен, без малейшего, однако же, урона своего достоинства. Вообще эти люди с пьедестала своего как-то свободно, безбоязненно нагибались, как будто чувствуя, что упасть им никак невозможно. Будучи и в Петербурге ко всем приветлив, в провинции Нарышкин был особенно любезен с губернатором и его сыном. Тут случился один богатый помещик, Вельяшев, у которого повар почитался и был действительно лучшим во всей губернии; к нему позвал отец мой его обедать, а к себе на вечер и ужин; в дороге тем и другим остался он чрезвычайно доволен. С ним был меньшой сын его, Кирилла Александрович, с которым в Петербурге пришлось мне сказать слова два-три; тут я с ним немного поболее познакомился, но гораздо короче в следующем году.

Возвратясь в Пензу, я опять недолго в ней оставался: отцу моему в сентябре нужно было объезжать губернию, и он взял меня с собою. В столь отдаленное время и в столь отдаленной провинции проезд губернатора мог несколько походить на триумфальное шествие; везде ожидания, везде суета, везде встречи, везде толпы народа, которые стоят с почтением, смотрят с любопытством; во всех уездных городах лучшие

квартиры, во всех деревнях лучшие комнаты господского дома. Обозрение судов, тюрем, дорог, мостов, переправ, множество забот у самих губернаторов отнимали все, что такие путешествия могли иметь для них приятного. Но губернаторскому сыну оставались одни только удовольствия: наперерыв старались угостить его, доставить ему разного рода наслаждения, разумеется, самые грубые, материальные и между ними, сказать ли правду?.. И довольно постыдные, кои юноша, менее пылкий и более целомудренный, чем я, отверг бы с презрением. Но что делать, так уж тогда водилось.

Между селами в Пензенской губернии, Екатериною произведенными в города, считались два: Мокшан и Городище, которые, если возможно, были еще хуже Чембара. Зато Краснослободск, Саранск, и Инсар, по народонаселению своему, по торговле и по числу церквей и тогда уже были достойны названия городов. Многие и поныне смеются над бедностью и ничтожеством всех этих местечек, рассыпанных в России, именующихся городами, забывая, что каждое из них может быть зародышем большого города, и, не примечая великих перемен, от одного только данного им имени в них последовавших. Если бы одни только правильность линий, чистота и порядок их отличали от других казенных селений, то и тем бы они много выиграли. Как часто видим мы людей низкого состояния, мещан, даже простых крестьян, внезапно разбогатевших счастьем и оборотливостью в торговых делах; любовь к родимому месту есть замечательная черта в сих выходцах из бедности; к ней примешивается маленькое тщеславие, и они, на удивление и на зависть земляков, громоздят каменные палаты. Глядя на них и желая не совершенно от них отстать и заслужить имя настоящих горожан, другие также начинают строить опрятные домики и могут иметь надежду с некоторой выгодой отдавать их внаймы судьям и канцелярским. Раздробление имений и потребность общежития также способствуют умножению жителей в сих городках; самые мелкопоместные дворяне все уже не прежние варвары, три времени года потрудясь в поле над хлебопашеством своим, зимой скучают в домиках своих, занесенных снегом; дороговизна губернских городов пугает их бедность, а в уездных вместе с должностными лицами могут они составить нечто похожее на общество.

Разумеется, я здесь говорю не об уездных городах, кои, будучи прибрежны большим рекам, ведут обширную торговлю, или имеют давно заведенную промышленность, которая год от году более процветает, но только о городках, кои, лишены будучи всех способов, кроме тех, на кои я указал, однако же, не падают, а помаленьку все идут вперед. В продолжение почти сорока лет, неоднократно со вниманием проезжая через них, я утвердительно могу сказать, что все эти центрики растут и расширяются. Они порождены великой мыслью Екатерины, от нее ведут свое начало и разве тогда только погибнут, когда исчезнет об ней память. Шестидесятилетняя жизнь для города младенчество, а наши ребята-города, право, не тощают, а приметно укрепляются.

Усердствуя если не благосостоянию, которое доставляют только время и труды, то, по крайней мере, украшению пензенских уездных городов, отец мой выпросил через министров внутренних дел и финансов двести тысяч рублей ассигнациями, с тем, чтобы, раздав их дворянам под верные залоги, на положенные сроки, из капитала и процента, в семь лет выстроить в каждом из девяти городов большое каменное двухэтажное здание с таковыми же флигелями, для присутственных мест и жительства городничего. Мне приятно теперь вспомнить, что все сии города сохраняют поныне памятники полезной заботливости отца моего [18].

Из числа помещиков, коих посетили мы на сем пути, двое-трое жили истинно по-барски; это были братья Хрущовы, Арапов и Вельяшев. Если когда-нибудь случится мне опять встретиться с ними в моих воспоминаниях, то, может быть, скажу об них несколько слов.

Теперь поговорю об одном приезжем из Петербурга барине, у которого в деревне довольно скучно (для меня, по крайней мере) должны мы были пробыть почти сутки. Еще в Киеве, останавливаясь с кавалерийским полком, коим он начальствовал, Михайло Алексеевич Обрезков познакомился с моими родителями. При Павле подвергся он общей участи, был произведен генералом, украшен лентой, потом отставлен и сослан; при Александре опять был принят на службу, но сначала только числился в ней и жил, где хотел. После покойной жены его, урожденной Талызиной, досталось ему с детьми богатое наследство в Пензенской губернии — бесконечная лесная дача, при коей устроил он обширный винокуренный завод; в это имение, которое тогда было единственным источником его доходов, приезжал он по временам хозяйничать.

Отец его был нашим посланником в Константинополе; там нашел он себе жену, в этой странной касте, в этой помеси, составленной из людей всех европейских наций, не имеющих отечества и употребляемых миссиями всех держав; от нее произошел наш Обрезков и, кажется, наследовал всей безнравственности ее родственников. Есть пороки, которые вредят успехам человека, им подвластного, которые даже губят его; есть, напротив, другие, которые способствуют его возвышению, обогащению. Одни только последние имел г. Обрезков. От Востока, где он родился, принял он вместе с жизнию неутолимую алчность к ее наслаждениям; а Европа восемнадцатого века научила его действовать осторожно, но не отступать ни от каких средств к достижению желаемого. Он получил прекрасное светское образование, имел много основательности, особенно расчетливости в уме; но ни единого похвального, благородного чувства, я уверен в том, не ощутил он ни разу в душе своей. Не знаю, чему более можно было дивиться, безумию ли его спеси или бесстыдству его подлости? От одного к другому никто еще, как он, так быстро не умел переходить: сегодня имеет он в вас нужду, хотя не очень великую, и готов вместо ковра расстилаться под ногами вашими; но она удовлетворена, вы ему бесполезны, и завтра же станет он вас мерить глазами и обдаст презрительным, нестерпимым холодом. В Петербурге жил он в самом аристократическом кругу и (еще раз прошу позволения заимствовать у французского языка, чего нет в нашем), владея в совершенстве жаргоном большого света, постоянно в нем удерживался. Там, разумеется, был он умереннее, там с каждым умел он очень тонко оттенять свое обхождение; только вне его предавался он крайностям и готов был плевать на ту руку, которую вчера лизал.

Страсть его (никогда истинная любовь) к женскому полу и желание ему нравиться тогда уже начинали его делать смешным. Ему было за сорок лет; однако же, он

еще очень молодил себя. Он был небольшого роста, тонок, строен и чрезвычайно ловко танцевал; искусственная белизна его лица спорила с искусственною чернотой его волос, и яркий искусственный румянец покрывал его щеки; но раннее употребление косметических средств повредило его коже: она уже тогда казалась выкрашенною подошвой. Ничто не могло быть совершеннее механизма его наряда, и в изобретении его непременно должен был участвовать какой-нибудь скульптор: так было все пропорционально, так все хорошо пригнано, где дополнено, где убавлено; везде шнурование, там винт, там пружина; и в этой броне, в которой выступал он против спокойствия женских сердец, все телодвижения его были так свободны, что никто не мог бы подозревать тут чего-нибудь поддельного. Чтоб открыть все таинства сего туалета, нужен был зоркий, любопытный мой взгляд; по тесноте деревенского дома его я спал с ним почти в одной комнате; он вставал очень рано, а я, притворясь спящим, в открытую дверь полуоткрытым глазом мог прозреть весь этот наряд и даже самую подошву лица его, к утру уже полинявшую и пожелтевшую.

Ту же самую осень посетил он нас в Пензе, остановился у нас в доме, прожил две недели и по собственному выбору помещался в занимаемых мною комнатах; но дверь уже не отворялась, и я мог его видеть только в полном блеске и устройстве. Он вставал всегда рано; иногда, когда я лежал еще в постели, заходил он ко мне и журил за леность, без церемонии садясь ко мне на кровать. Иногда необыкновенные его ласки меня смущали, но он расточал их всему семейству, всему дому и не оставлял без внимания даже любимой собачки моей матери.

Полгода спустя сделан он генерал-кригс-комиссаром. В сем звании оставался он не более двух лет; хищничество его сделалось так очевидно, что, несмотря на сильное покровительство, он удален от должности и предан суду, который, однако же, оправдал его. После того приискал он другое место, где более наживы и менее ответственности, место директора департамента внешней торговли, и очень долго занимал его. В звании сенатора сохранял он военный чин и мундир и продолжал в нем тянуться и пялиться; под конец с размалеванной рожей казался он даже страшен. Но когда производство в действительные тайные советники лишило его эполет, то с отчаяния умыл он лицо, бросил шнуровки и парики, обнажил седины свои и принял человеческий вид.

Несколько лет еще в знакомстве со мною продолжал он оказывать прежнюю благосклонность; все сношения мои с ним должны были прекратиться службой отца моего. При первой встрече после того показал он мне столь удивительное, столь наглое высокомерие, что с тех пор довольствовался я меняться с ним презрительными взглядами. Гораздо после, когда мне счастие несколько улыбнулось, встретясь со мною, вздумал он дружелюбно протянуть мне руку; я обрадовался случаю, вспомня, что у него хиragра, схватил ее и так сильно сжал, что он должен был закричать, после чего отошел я с извинением и поклоном.

Нет, гнусен был человек, и скверна об нем память! Я говорю был, ибо в живых его не почитаю, хотя физически он не умирал. Его гордость, бесчувствие, эгоизм, сребролюбие, разврат без примеси малейшей добродетели ныне жестоко наказаны. Там, где другие находят награду и венец долговременно понесенных трудов, там, где других ожидает уважение людей в высоком чине и глубокой старости, там подавляется он всеобщим презрением. Тот, который всю жизнь прельщениями и деньгами соблазнял невинность и кучу жертв принес своему сластолюбию, на старости пал безоружен в сети, расставленные распутницей, которая без большого искусства умела превратить их в брачные узы. Мгновенно прежний мир исчез перед ним: знакомые, родные, даже дети его оставили. Сим последним должен был он отдать родовое имение первой жены, а награбленное скоро похитила у него вторая. Недуги, телесные страдания посетили его, и на одре болезни он не утешен даже присутствием той бесстыдной женщины, которой он всем пожертвовал: она разъезжает, тешится и редко его навещает. Сколько лет таким образом он уже не живет и умереть не может! Если он сохранил рассудок и память, то ничего ужаснее сего положения я не знаю. Сим примером не хочет ли справедливое небо устрашить ему подобных? Или в милосердии своем еще на этом свете, для очищения от грехов, не послало ли оно ему сей несчастный брак? Я не понимаю, как столь ничтожное воспоминание могло так далеко меня увлечь. Ведь вышел целый эпизод, который, может быть, я весьма некстати здесь вклеил.

Прежде, нежели оставлю Пензу, должен я поговорить о родственниках, которых я в ней имел и о коих я доселе умалчивал, потому что они жили более в деревне, чем в городе. Тетка моей матери была второю женою Михаила Ильича Мартынова, у которого их было три; следственно, только дети второго брака его были довольно в близком с нами родстве. Из них находилось тогда в Пензе двое: Федор Михайлович Мартынов и Наталья Михайловна Загоскина. Первый был не последний в Пензе чудак. О нем нельзя говорить, не объяснив наперед, что такое была супруга его, последняя, как говорили, из своего роду и, кажется, последняя в роде тех женщин прежнего века, коих Фонвизин и Капнист так верно изобразили, а Рахманова так удачно представляла на сцене. Она предпочитала деревенское житье городскому и постоянно имела пребывание в сорока верстах от Пензы, в селении своем Кучках. Там, среди сельской тишины, почти ежедневно свирепствовали бури ее гнева; там все трепетало перед ней, там била она девок, секла мужиков и терзала словами двух взрослых падчериц. Но коль скоро завидит издали приближающуюся коляску или тележку на рессорах, спешит укротить свое бешенство и всякого проезжего, внутренне посылая к черту, встречает с отверстыми объятиями и словами: «Ах, батюшка, отец ты мой родной! Да как тебя Бог занес, да как разодолжил, что пожаловал». Потом, угощая дорогого гостя, выжимала она улыбку на уста и нежным голосом говорила слугам: «Друг мой, голубчик Андрюша, подай это, прими то-то», — а Федя и Андрюша дрожали как лист, ибо при улыбке взоры ее сверкали еще яростью.

Муж ее был совсем тому противное, ни к кому не ласков, ко всем доброжелателен. В обществе иногда бывал он довольно неприятен, всех прерывал, говорил громко, хохотал во все горло. Самый добрый и честный крикун, часто враль, а иногда и лгун по легковерию, пото-му что готов был повторять всякий слышанный им вздор, всякую умышленно сказанную нелепость, нужно ли к этому прибавить, что в Пензе был он первым вестовщиком? С такими склонностями и с такою

женою ему не очень весело было оставаться в деревне, и оттого большую часть времени проводил он в городе, где имел скромную квартиру: зачем ему большая, когда с утра до ночи разъезжал он по гостям, собирал и развозил новости? Впрочем, с сожительницею своею был он всегда в совершенном согласии, потому что злодейка любила его без памяти, берегла и тешила, потому что он был простосердечен, а она хитра, потому что он не имел большого достатка, а она весьма хорошее состояние и, наконец, потому что она одна занималась хозяйством, предоставляя ему в полное распоряжение все время его, которое, как мы видели, он с такою пользою умел употреблять. Глядя на сие супружество, казалось, что видишь союз петуха с кошкою.

Потомство этого Михаила Ильича Мартынова, от всех трех браков, при многих похвальных качествах, отличалось одними общим пороком — удивительным чванством, которое проявлялось в разных видах, смотря по характеру, положению или образу воспитания каждого из происходящих от него лиц. Так, например, Феодор Михайлович чванился тем, что остался старшим в роде Мартыновых и, наподобие сеньоров в немецких княжеских домах (о существовании коих, впрочем, он не ведал), хотел быть главою многочисленного потомства отца своего, требуя от членов сего семейства знаков не только покорности, но и подобострастия, и тем не только не раздражал, даже потешал их тщеславие. Другое было в нем еще забавнее: это притязание на ученость, хотя в Пензе и в то время немногие превосходили его в невежестве. В доказательство просвещенного вкуса и любви к наукам, завел он у себя в деревне кабинет редкостей. Что это такое было, трудно себе представить! Сову ли кто убьет, ужа ли поймает, скорее несет к доброму барину; из одной велит он набить чучелу, кожу с другого натянет на палку. Приятели, родные старались посещать его не всегда с пустыми руками, но не разорялись на покупку игрушек, коими дарили старого ребенка: кто доставит ему заржавленный кусок железа, уверяя, что это отломок секиры или бердыша, найденный на древнем поле битвы; иной привезет ему свиной клык, выдавая его за зуб какого-нибудь редкого американского дикого зверя; из Петербурга насылались ему купленные на толкучем рынке под именем картин намалеванные корки. Немногие совестились и наделяли его довольно порядочными вещицами. Для сего драгоценного собрания не было, однако же, особенного помещения; все это громоздилось в трех низеньких приемных его комнатах, столовой и двух гостиных; поворотиться бывало трудно, и особенно неприятно обедать посреди чучел. Странно в нем и то, что он уверен был и других уверял, будто читал всех иностранных писателей, которого бы при нем ни назвали, только не помнит содержания их творений; когда же начнут ему доказывать, что они никогда не были переведены на русский язык, а другого, кроме его, он не знает, то других возражений, кроме грубостей, он не находит.

Сестра, гораздо моложе его, не совсем была чуждою мартыновской спеси; но сия спесь едва была заметна среди любезности ее, приветливости ко всем.

В Пензе не находилось хозяйки дома более приятной Натальи Михайловны Загоскиной. Замечено, что тяжкие испытания разным образом действуют на людей: они более раздражают злых, а добрых научают терпению и снисходительности. Так было с Натальей Михайловной. Почти в ребячестве выдали ее за человека, хотя молодого, но весьма странного. С самыми кипящими страстями, Николай Михайлович Загоскин любил добродетель и исполнен был религиозных чувств; без родителей, без советов, совершенно свободный, хотел он от силы страстей оградиться неодолимым оплотом, и затворился в стенах монастыря. Там более года постился он, молился и готов был принять пострижение, а плоть все одолевала дух. Добросовестные монахи убедили его предпочесть супружество, как состояние истинно христианское, если не столь святое, как монашество. Как он был весьма не беден, не стар и не дурен собою, то легко было найти ему невесту, и в награду за его добросердечие небо послало ему девочку кроткую, умную и веселую. С ней обрел он счастие, а она только благоразумием и осторожностию могла, наконец, до него достигнуть; неприметно исправляя их, должна была она переносить кучу странностей, которые были следствием борьбы человеческих слабостей с упорною волею победить их. Проведя несколько лет с ним в добровольном заточении, она умела извлечь его из него вместе с народившимся семейством.

Сие семейство уже тогда было многочисленно. Ныне столь известный автор «Юрия Милославского» Загоскин был первым плодом сего брака, и странности, которые первые примеры и первое воспитание в нем оставили, ни временем, ни трением об людей высших сословий не могли быть изглажены. Ему было тогда лет четырнадцать, и уже по тогдашнему обычаю его готовили на службу, хотя учение его не только не было кончено, мне кажется, даже не было начато. Имя Миши, коим звали его, было ему весьма прилично; дюжий и неуклюжий, как медвежонок, имел он довольно суровое, но свежее и красивое личико. Мне он не нравился по тем же самым причинам, по коим многие и теперь имеют несправедливость не любить его: прежде не знал он существования приличий света, а после мало об них заботился. Многие и тогда обижались слишком фамильярным его обхождением. Как истинно русский весельчак, любил он всегда без желчи, без злости, без малейшего дурного умысла подшучивать в глаза над слабостями людей и, таким образом, задевая самые чувствительные струны их самолюбия, часто творил из них непримиримых себе врагов; потом он же удивлялся и готов был сказать: да, кажется, за что бы? Не только тогда, но и гораздо после не мог я подозревать удивительного, оригинального таланта, который так внезапно и ярко в нем развился; при всегдашней его рассеянности, которая давала ему вид легкомыслия, мог ли я предполагать в нем те постоянные, глубокие наблюдения, кои снабдили сочинения его столь живыми, верно изображенными картинами? Кто бы, как ни любил перо его, но кто узнает сердце, которое им водило, тот полюбит человека, я уверен в том, еще более, чем автора. Я скажу об нем, как Иисус об Магдалине: многое должно ему простить, ибо много лю-бил он добро, исполнение своих обязанностей, много любил Бога, отечество свое и весь род человеческий. Его отпускали в Петербург со мною, поручая его братским моим об нем попечениям. Ну, умели же найти ему наставника!

Во время наших сборов явился в Пензе умный, богатый и брадатый Василий Алексеевич Злобин, на обратном пути в Петербург из Вольска и Саратова. Мне теперь совестно вспомнить, как тогда за ним ухаживали: лучшего приема нельзя было бы сделать

вельможе; все чиновники ходили к нему являться, и у губернатора обедал он всякий день, занимая, как приезжий гость, первое место. После того, кажется, трудно новые поколения слишком упрекать в поклонении злату. Однако же, не мне осуждать почести, оказанные Злобину: он в это время самым любезным образом вызвался сделать мне великое одолжение. Привыкнув к неге, он ехал один в просторной четвероместной карете; я захворал, и он предложил мне половину оной, с обещанием дорогой оберегать меня. Наши две зимние кибитки, моя и Загоскина, примкнули к его поезду, и мы 4 ноября отправились в путь.

****

Глава XIV [1807 год]

Великим постом приехал я в Пензу, и великопостные лица встретил я в моем семействе; при свидании со мной на минуту озарились они слабою улыбкой. В это самое время отец мой чуть было не сделался жертвой самой подлой злобы людей.

Министр внутренних дел получил от него собственноручное письмо, в коем, с тоном оскорбленного самолюбия, жалуется он на претерпеваемые им несправедливости и просит исходатайствовать ему увольнение от службы. Граф Кочубей отвечал ему, что он не замедлил бы его просьбу представить на высочайшее смотрение, но что государь отправился к армии; а он, между тем, надеясь, что отец мой переменит мысли, будет ожидать повторения его требования, чтобы препроводить его в главную квартиру. Дело состояло в том, что отец мой к Кочубею совсем не писал и не думал еще тогда выходить в отставку.

В канцелярии его служил некто Тезиков, хороший каллиграф, молодой человек не без способностей, проворный и деятельный, но самой дурной нравственности, особенно известен он был искусством подражать всякому почерку. Секретарь, надеясь на его исправление, не выгонял его, а подвергал частым наказаниям. Губернский прокурор Бекетов переманил его к себе, стал ласкать его, поить и сам иногда пить с ним. Под пьяную руку, чтобы сказать в рифму, видно, затеяли они с ним эту штуку. Полученный Бекетовым отпуск, поездка его в Петербург, приезд его туда, в одно время с получением мнимой просьбы отца моего, не оставляли никакого сомнения насчет участия его в сем подлоге. Какова Пенза?

После письменного объяснения губернатора с министром дело связалось довольно важное. Отец мой не мог скрывать подозрений своих на Бекетова и, кроме как по делам, никакого сношения с ним иметь не хотел. Следствие продолжалось более полутора года; благодаря искусству следователей, наконец, уличенный Тезиков сознался и был сослан в Сибирь на поселение. Я не могу, однако же, похвалить твердости, с которою спасал он честь своего соблазнителя, которого почитал он благодетелем своим.

В два приема познакомил я читателя своего со всею тогдашнею Пензою; сомневаюсь, чтобы он стал благодарить меня за то. На этот раз не могу никого ему представить, кроме одного нового лица, явившегося во время моих частых переездов. Добрый Тиньков, за старостью лет, сам пожелал выйти в отставку; на его место назначен вице-губернатором Александр Михайлович Евреинов, бывший некогда полицеймейстером в Петербурге, человек дрянной, хвастливый и трусливый. Он был женат на одном видном мужчине, Александре Алексеевне, родной сестре огромных Столыпиных, и потому должен был питать, хотя весьма недавнюю, но же как будто наследственную вражду их против нас. Однако же за что-то поссорился он с Бекетовым и назло ему начал сближаться с нашим домом, угождать моим родителям и в это время, действительно, стал несколько благороднее и честнее.

Мне было тогда не до Пензы и до ее жителей: я жаждал только побед, а все молчало из Петербурга и из армии. Вот уже настала и весна, а государь все жил покойно с королем прусским в каком-то Бартенштейне, королева же в Кенигсберге, как будто по доброй воле, во второй своей столице. «Да будет ли конец?» — думал я, а он, к несчастию, был довольно близок.

По великой отдаленности от театра войны, не могли мы иметь никаких частных обстоятельных об ней сведений: из одних ведомостей дозволено нам было узнавать одни официальные известия. Публичности у нас никакой не было, газет и журналов менее чем ныне, и они, подобно европейским, не следили шаг за шагом за политическими происшествиями. Вот почему внутри России мы настоящим образом не знали об опасности, ей угрожающей. Только заметно было, что с обеих сторон приготовляются, с одной к сильному нападению, с другой к такому же отпору. В несколько недель Наполеон успел приобрести неисчислимые перед нами преимущества: к Франции, Италии и Голландии, которые у него давно уже были в руках, присоединил он почти всю Германию и часть Польши, и все это вооружал против нас. Можно сказать, что в двенадцатом году Россия не в первый раз сражалась с целою Европой.

Один раз в неделю, по понедельникам, приходила к нам почта. В один из сих понедельников, в самый Иванов день, когда начиналась Петровская ярмарка, и собрались на нее дворянство и купечество, прочитали мы в московских газетах о сражениях, происходивших 24 мая при Гутштате и 29-го при Гейльсберге. Их выдавали за победы, и все тому поверили. Я уже изверился, они мне показались что-то сомнительны; однако же я увидел в них, по крайней мере, благоприятное начало военных действий.

Самая медленность в сообщении приятных известий меня беспокоила; с нетерпением ожидал я 1 июля следующей почты: ничего! Для развлечения скорбного отца моего, уговорили его поехать на другую ярмарку, которая бывает вслед за Пензенской в Нижнем Ломове и оканчивается 8 июля, в день Казанской Богородицы. Он взял меня с собою, и я опять увидел тут почтенное пензенское дворянство в полном собрании. Городок Ломов менее Саранска, дома в нем плохи; но ярмарка была в нем значительнее и веселее, от того, если можно сказать, что была лагернее.

Там за один раз узнали мы обо всем, и о Фридланде, и о свидании в Тильзите; письма и известия, вероятно, дотоле удерживаемые, так ко всем и посыпались. Нас с отцом поразило как громом, и разве только нас одних; все прочее веселилось, шумело, как бы ни в чем не бывало. Что за толки услышал я, Боже мой! Вот их сущность: «Ну что ж, была война, мы побили неприятелей, потом они нас побили, а там обыкновенно, как водится, мир; и, слава Богу, не будет нового рекрутского набора». Что таким людям до народной чести, до государственной независимости? Были бы у них

только карты, гончие, зайцы, водка, пироги, шуты, балалаешники, плясуны, цыганские песни, вот все их блаженство. Лет пять спустя заговорили они другим языком, но тогда дело дошло до их личности, тогда схватило их за живое. Ненавидеть мне пензенских дворян более чем прежде, было невозможно; но с этого времени, кажется, начал я их еще более презирать.

Из Ломова поехали мы в селение Лашму, к одному весьма богатому помещику и славному гастроному, Николаю Андреевичу Арапову, который приглашал нас на именины супруги своей, Ольги Александровны, 11 июля. Их отпраздновали очень великолепно. Хозяйка, барыня необъятной толщины, почиталась в губернии отменно тонкою в политике и любила о ней говорить. С веселым видом объявила нам она, будто кто-то к ней пишет, что Наполеон, как любезный и учтивый француз, за обедом в Тильзите налил бокал шампанского и выпил за здоровье прусской императрицы. Мне что-то и смеяться не захотелось.

На Петербург, даже на Москву и на все те места в России, коих просвещение более коснулось, Тильзитский мир произвел самое грустное впечатление: там знали, что союз с Наполеоном не что иное может быть, как порабощение ему, как признание его над собою власти. И вот эпоха, в которую нежнейшая любовь, какую могут только иметь подданные к своему государю, превратилась вдруг в нечто хуже вражды, в чувство какого-то омерзения. Я не хвалюсь великою мудростью; но в этом увидел я жестокую несправедливость русских. Мне за них стало стыдно: так презираемые ими черемисы и чуваши секут своих богов, когда они не исполняют их желаний. Все, что человек, не рожденный полководцем, может сделать, все то сделал император Александр. Что оставалось ему, когда он увидел бесчисленную рать неприятельскую, разбитое свое войско, подкрепленное одною только свежею новосформированной дивизией князя Лобанова, и всем ужасного Наполеона, стоящего уже на границе его государства? Что бы сказали русские, если бы за нее впустил он его? И в этом тяжком для его сердца примирении разве не сохранил он своего достоинства? Разве не имел он, побежденный, стать совершенно наравне с победителем и тут явиться еще покровителем короля? Таким ли бедствиям, таким ли унижениям подвергался император Франц II? Что делали его подданные? Делили с ним горе и с каждым новым несчастием крепче теснились к нему и сыновнее его любили. Лет пятнадцать после того наказание Божие едва было не постигнуло нас за неблагодарность нашу к Александру: он был долготерпелив и мстителен, и все вспомянул во дни славы своей. Когда вместе со счастьем возвратилось к нему обожание подданных, на распростертый перед ним народ взглянул он с досадным презрением, и не было слова его потом, не было действия, которое бы его не выражало. Он думал, что с ним можно все себе позволить. Тогда в голове его родились неслыханные еще преступные замыслы против вверенного ему Богом государства, которые уже начал он приводить в исполнение и не имел только времени совершить. Тогда-то народный глас должен был возгреметь ему в услышание; но тогда стоял он на высоте своего могущества, сзывал царей на конгрессы и располагал судьбами народов европейских. Немногие дерзнули робко напомнить ему о священном долге, который он забывал. Народы бывают иногда так же подлы, как и люди.

Срок отпуска для меня давно уже прошел, но по роду службы моей на мне бы не взыскали, если б и год я просрочил. Отцу моему всегда неприятно было продолжительное пребывание мое в Пензе, он все надеялся, что в Петербурге мне праздность скорее надоест; мне самому любопытно было видать, что там делается после столь важного происшествия, слышать, что говорят о нем, и при первом слове о том, изъявил он согласие на мой отъезд. Супруги, находившиеся проездом из Саратова в Москву, предложили мне ехать с ними в четвероместной карете, и мы отправились в конце июля. Чету, которой я сопутствовал, надлежит мне описать.

В самом начале сих Записок говорил я о старых друзьях отца моего, Богдане Ильиче Огареве и Андрее Алексеевиче Всеволожском, пензенском воеводе, который погиб в огне во время Пугачевского бунта. У первого был брат Иван Ильич, одаренный столь же светлым умом, как и мрачною душой; последний оставил трех сыновей, из коих один поселился в Саратове. Алексей Андреевич, саратовский сын его, был женат на Варваре Ивановне, дочери Ивана Ильича Огарева. Эта женщина была вся в отца: без сердца и без красоты, но с умом и с чувственностью, хотела и умела она нравиться некоторым мужчинам. В Саратове господствовала и распутствовала она в глазах ослепленного мужа, который доверчивостью и добродушием превосходил всех мужей на свете. Она занесла меня в список покорных к ее услугам; но по окончании путешествия должна была вымарать. Мне некогда здесь много говорить о ней; придет время и, если сумею, в коротких словах постараюсь изобразить жизнь ее, в которой осуществила она все ужасы новейших французских романов. Этот эпизод берегу я для будущего.

* * * * * * * * * *

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

* * * * * * * * * *

Глава III [1808 год]

* * * * * * * * * *

После недовольного Петербурга, поглядев на беспечную Москву с удовольствием, не совсем для нее лестным, я отправился в Пензу. Подъезжая к Мурому, заметил я что-то неисправное в колесе и взял осторожность поехать тише. Приехав благополучно, увидел я, что если бы сотню сажен далее, был бы я с коляской на боку: железная ось совсем почти была переломлена. Братнину коляску оставил я на сохранение почтмейстеру, к коему случайно имел письмо; беспрестанные починки мне надоели, и я поскакал на перекладных, что мне было не в диковинку. Далее Саранска, когда я выехал со станции Ермоловки, жар сделался нестерпимый, в России в первых числах июня, можно сказать, невероятный: земля и небо казались раскаленными. От совершенного изнеможения, несмотря на частые толчки, я заснул. Когда через час я проснулся, мне показалось, что уже сумерки, и меня кто-то давит; совершенно же очнувшись, я увидел, что черные тучи совсем заволокли небо и до того спустились на землю, что сделались как бы досягаемы для руки. В воздухе, который от сильного их давления стал удушлив, царствовала грозная тишина. Она продолжалась недолго; целые катаракты низвергались на грешную главу мою,

и страшные громовые удары падали так близко, что казалось, искали ее. Ямщик мой беспрестанно крестился и едва управлял лошадями, которые от испуга часто падали ниц. Я потому позволяю себе говорить об этой грозе, что подобной ей в жизни не видывал. Мрак озарялся не одним блеском молний, но и пламенем зажженных ими окрест лежащих деревень. На самой же дороге, верст на десять до первого селения, Пелетмы, не было ни одного места, где бы я мог остановиться. Того не мог я сделать и въехав в селение; ибо все суетились, бегали, и я оглушен был криком женщин, которые вопили об отцах или мужьях, родственниках или соседях, убитых грозою; на самой улице видел я народ, толпящийся вокруг одного из тел. Итак, освещаемый молниями, должен был я ехать далее до станции Кутли. Я никогда не хвалился храбростью, и потому не без труда поверят мне, если скажу, что мало робел во время этого воздушного мятежа. Это много зависит от состояния нервов; когда столь страшные явления не производят жестокого испуга, то рождают обыкновенно какой-то восторг. Его я более чувствовал: блеск, в котором являлась мне смерть, отнимал большую часть ее ужаса.

В Кутле унялись гром и молния; кончилась поэзия грозы, но не прекращалась прозаическая часть ее, проливной дождь, который охолодил воздух. В открытой телеге, пробитый им до костей, дрожал я от лихорадки, а продолжал все ехать далее. В Пензенской губернии везде чернозем; накатанная по нем дорога в сухое время становится тверда, как камень; растворенный же дождевой влагой превращается он в клейкое вещество, которое липнет к экипажам и колесам и отстать более не может; оттого-то тройка славных коней с трудом и медленно тащила мою легкую повозку. Наступила ночь, зги не было видно, беспрестанно встречались овраги и новые промоины, и дорога сделалась совсем не забавна. Между тем грязь, насыпаемая мне копытами лошадей, покрывала весь плащ мой, а на лице моем образовала плотную маску. Проехав последнюю к Пензе станцию Вазерки, налево от дороги увидел я огни в господском доме села Грабовки; измученный, не мог я долее выдержать, велел туда поворотить и решился предстать хозяевам во всем своем безобразии. Действительно, они испугались и не вдруг узнали меня. Как было не принять и не угостить губернаторского сынка? Они садились ужинать, но подождали, чтобы дать мне время умыться. Пока продолжается ужин, дайте мне, читатель, порасскazать вам, кто таковы были владельцы села Грабовки, меня гостеприимно призревшие.

Давно, очень давно прежде описываемого мною времени, близ Пензы жил счастливо один добродушный и богатый помещик, Аполлон Никифорович Колокольцов, степенный, кроткий, всеми уважаемый. Молодая, веселая и прекрасная жена Елисавета Григорьевна и вокруг нее пять цветущих младенцев были радостью его жизни, как вдруг злой судьбе захотелось посетить его жесточайшею из печалей. Внутри России войска весьма редко проходят через города, а еще реже останавливаются в них; беспрестанные войны и великое протяжение границ требуют там их присутствия; когда же невзначай показываются среди жителей, к ним непривычных, то обыкновенно горе мужьям и родителям! После Пугачевского бунта какой-то драгунский полк целый год простоял в Пензе на бессменных квартирах; им начальствовал не старый еще полковник Петр Алексеевич Исленьев, смелый и предприимчивый, рослый и плечистый. Он умел понравиться госпоже Колокольцовой; однако же, сия связь оставалась неизвестною не только доверчивому супругу (мужья суть обыкновенно последние, до коих такого рода тайны доходят), но и всем любопытным кумушкам обоего пола, коими провинциальные города всегда так наполнены.

Наконец, полк должен был выступить, и для любовников пришла минута разлуки. Они, то есть более она была в отчаянии и решилась, по мнению моему, на дело преступное. Желая последний раз угостить мнимого друга, которого полк был уже на дороге, несчастный Колокольцов пригласил всю Пензу на прощальный для него пир в свое село Грабовку. Он едва заметил смущение, в коем хозяйка села за стол; когда же поднялась чаша за здравие отъезжающего, она вдруг встала и, заливаясь слезами, объявила, что не имеет сил с ним расстаться и готова следовать за ним всюду. Все гости поражены были сим театральным ударом, вероятно, приготовленным самим Исленьевым, которому желалось целый город сделать свидетелем торжества своего и стыда почтенного Колокольцова. Сей последний от изумления онемел; любовь превозмогла справедливый его гнев, он пал к ногам виновной, прощая ее заблуждение, именем детей умолял ее не покидать их и его. Она колебалась, когда Исленьев показал в открытое окошко, как солдаты его выносят сундуки и чемоданы, в которые накануне тайком уложила она свои пожитки. Колокольцов велел было дворне своей остановить солдат; Исленьев указал на стоящий вблизи на конях вооруженный эскадрон, готовый по знаку его окружить дом и сделать всякое сопротивление невозможным. Кроме дневного разбоя, трудно такому поступку приискать приличное название. Хозяйка и гости поспешно оставили дом, за час до того шумный и веселый; он опустел и наполнился единою горестью. Будем справедливы к настоящему времени: согласимся, что при нынешнем правительстве и с нынешними нравами столь бесстыдная жестокость не могла бы быть терпима и не осталась бы безнаказанною.

Если не люди, то справедливое Небо почти всегда наказывает преступления. Долго странствовала госпожа Колокольцова, таскаясь беспрестанно по походам за соблазнителем своим; она претерпевала всякого рода нужды, в городах чуждалась общества, но некоторое время все была утешена продолжающеюся его привязанностью. Между тем он, как будто для приличия, женился; законную жену держал в Москве, а наложницу при полку или бригаде на полевой ноге. Время шло и поневоле все более их связывало; она старелась, он холодел к ней; кончилось тем, что она надоела, омерзела ему, и сколь они оба ни желали того, ни он отвязаться от нее, ни она оставить его долго не могли. Наконец, решился он эту Ариадну бросить в нищете где-то на берегу Азовского моря [19].

Там нашли ее дети ее, давно уже совершеннолетние. Соединенными мольбами склонили они оскорбленного отца дать кров у себя в доме блудной жене, более двадцати пяти лет от него отлучившейся. Милосердия двери отверзлись перед ней, а прежняя любовь за нею их затворила. Дело удивительное! Престарелый Колокольцов влюбился в обесчещенную старуху столь же страстно, как некогда в нее же, свою непорочную неве-

сту. Счастие и спокойствие, блиставшие на первой заре ее жизни, осветили опять и вечернюю.

Грабовка была оставлена владельцем своим; он уединился во вновь построенном для себя убежище, в другой, более отдаленной от города деревне; там принял он заблудшую овцу свою. Еще несколько лет до возвращения ее начал он посещать Пензу и, в намерении жить открыто и пышно, построил в ней самый большой, лучший каменный трехэтажный дом, который после отец мой так дешево купил в казну для губернаторов. Кающаяся грешница в нем не бывала: она не могла ожидать великой снисходительности от пензенской публики и потому не смела или не хотела ей показываться, заперлась с мужем в деревне, а он

ность в поступках, зато сухость и холодность, в женщине неприятные. Он же имел некоторые из женских слабостей, был нескромен, легкомыслен, добр сердцем и зол на словах. Он имел некоторую образованность, знал иностранные языки, довольно успешно занимался хозяйственными делами, выписывал все дозволенные газеты, отчасти любил политические новости, а еще более городские и за слишком поспешное разглашение их ссорился иногда с знакомыми. От отца своего получил он по наследству любовь и уважение к моему и всегда сохранял их. Этой связи был он обязан должностью губернского предводителя, на которую выбрали его уездные дворяне, почти все преданные моему отцу и почти везде составляющие большинство.

«...отец мой склонил помещика Колокольцова продать в казну за двадцать тысяч рублей ассигнациями два каменные дома, один трехэтажный, а другой двухэтажный, которые по тогдашнему стоили полтораста тысяч, и успел только за оказанную им умеренность выпросить ему монаршее благоволение. Один из сих домов доселе губернаторский.»

для нее готов был забыть целый свет. Однако же в первые месяцы губернаторства отца моего, старинного ее приятеля и по первой его жене родственника, любезное, даже нежное письмо его к ней, в первый и в последний раз, вызвало ее в Пензу из добровольного ее заточения. Обхождение с нею добродетельной и сострадательной матери моей послужило примером для других женщин. Глядя на сих старых, нежных супругов, подумал я: кто бы мог вообразить, чтобы в промежутке начала и конца согласной их жизни был ужасный, даже отвратительный роман.

Старшему сыну Димитрию Аполлоновичу, женатому на дочери многореченного Богдана Ильича Огарева, Александре Богдановне, отдана была Грабовка во владение еще при жизни родителей. Жена нравом схожа была с отцом, а муж с матерью своею. Она имела все те свойства, кои особенно похвальны в мужчинах, строгие и твердые правила, умеренность в речах, осторож-

К этой чете явился я ночью в запачканном виде. Они уговаривали меня переночевать; я не согласился, ибо всего оставалось мне только 24 версты до Пензы, и насытясь, обогревшись, спешил я кончить мое путешествие. Тогда велели они шестерню лучших лошадей с их конюшни заложить в легкую и покойную коляску, и, несмотря на грязь, на горы и овраги, я благополучно в ней доехал, хотя, впрочем, далеко за полночь.

Я остановился в нижнем этаже опустевшего губернаторского дома. за несколько дней до того отец мой переехал в собственный, деревянный, на Дворянской улице вновь выстроенный дом, не столь большой, как красивый: страсть его к строениям не оставляла его до конца жизни. К перемещению его на новоселье была еще особая причина; в Пензе с любопытством и нетерпением, со страхом и надеждой ожидали одну важную особу, ни более, ни менее как сенатора, как ревизора. Кто знает провинцию, тому известно, сколь великим

это почитается там происшествием. Отец мой придрался к случаю оказать ему учтивость уступкою казенного своего жилища и, не обременив никого постоем, пожить в доме, от которого он был без памяти.

Надобно рассказать, каким образом в первый раз еще во время управления отца моего Пензенскою губернией, велено было ревизовать ее. После отставки Белякова никто не назначен был саратовским губернатором. Временно управлял губерниею вице-губернатор Алексей Давыдович Панчулидзев. Это такое лицо, которое давно желал изобразить я; недоставало только к тому удобного случая.

Кажется, нет ни одного народа ни в Европе, ни в Азии, коего бы представители, образчики, не находились в русской службе и, следственно, наконец, не делались русскими дворянами, отчего сие сословие у нас так отличается от других, чисто русских, и становится помесью всех пород. Некто Давыд Панчулидзе, выходец из Грузии, вероятно, в числе слуг грузинских царевичей, по временам в России поселяющихся, получил какой-то небольшой чин, а сыновей успел определить в казенные учебные заведения, в кадетские корпуса, и они все вышли в люди. Грузинцы вообще не славятся великим умом, но на что он годится? И для успехов не во сто ли раз полезнее хитрость, свойственная всем жителям порабощенной Азии? Старший сын Давыда, Алексей Панчулидзе, с 14-го класса служил в казенной палате и, не покидая ее, дослужился до чина статского советника и должности вице-губернатора. Можно себе представить, какую великую опытность приобрел он в финансовых делах столь богатой губернии. Два раза был он вдовцом и женился в третий раз; но приданое всех трех супруг далеко не было достаточно, чтобы поддержать то великолепие, коим изумлял он в Саратове. Не один принадлежащий ему огромный и поместительный дом, а два или три, соединенные между собою галереями, и при них множество служб, обширный двор и бесконечный сад, почти вне города, занимали более пространства, чем увеселительные замки многих из немецких владетельных князей. Этот очарованный замок служил гостиницей и ловушкой для всех приезжих из обеих столиц и других провинций; во время пребывания их в Саратове каждый из них пользовался в нем помещением, освещением, отоплением, столом и прислугой. Этого мало: библиотека, каждый год умножаемая вновь издаваемыми книгами на русском и иностранных языках, в которую сам хозяин никогда не заглядывал, была к услугам малого числа читающих его посетителей; оркестр, при коем находились два-три немца капельмейстера, должен был при изъявлении малейшего желания тешить столь же малое число любителей музыки; конюшня его, наполненная славными рысаками, и псовая охота были в распоряжении его гостей более чем в его собственном. Возможно ли было устоять против обольщений столь милого хозяина в месте, исключая дома его, лишенном всяких забав?

Все это было для иногородных; для служащих же в Саратовской губернии был он еще более дорог и полезен: карман его сделался каналом, чрез который протекая, Пактол [река в Лидии, с золотым песком] делился на мелкие ручьи и разливался по тощим их нивам. Бескорыстным губернаторам (кажется, был один таковой, Нефедьев) умел он угождать всем, чем, исключая денег, угождать только было можно; с другими ладил он посредством дележа. Все оставались довольны, все восхваляли всещедрого, чудесного вице-губернатора; все знали, к сотворению таких чудес какие употреблял он средства, и все согласно молчали о том. Но вы не знаете о том, читатель; объяснить ли вам сию тайну? Не говоря о множестве других богатых источников, между коими откупная часть, продажа горячего вина, может почитаться не последним, в Саратовской губернии находится один неисчерпаемый кладезь, Елтонское соляное озеро: теперь вы понимаете, я надеюсь. Скажите, что такое казна? Общественный капитал. После того можно ли почитать похищением ее все то, что употреблено для пользы общества? Такими рассуждениями многие, вероятно, извиняли г. Панчулидзева, все те, в коих оставалось сколько-нибудь совести.

Он сам своею особой был вовсе не любезен; мал ростом, бледен, долгонос, угрюм и молчалив; яблонное дерево совсем не красиво, а любят его, ибо плоды его вкусны и сочны. Единственною или, по крайней мере, главною его страстью было расчетливое тщеславие. Никогда, ничего и никого не позволял он себе осуждать; напротив, ко всем порокам был более чем снисходителен, смотрел на них одобрительно, всех запятнанных людей утешал своим участием. Это уже много. Он делал еще более: не восставал даже против честности, никогда не преследовал ее, почитая ее весьма извинительным заблуждением ума и рассчитывая, что, сколь ни постоянно она гонима в России, однако же, по временам честные люди подымаются в ней и делаются сильны.

Пока он после Белякова временно управлял губернией, показалась в ней какая-то повальная болезнь. Действительно ли он испугался или хотел придать более важности своему донесению, но он представил министру, что у него открылась чума. В таких случаях туда, где нет генерал-губернаторов, для скорейшего прекращения зла посылаются обыкновенно сенаторы с особенным полномочием; выбор же предоставляется министру внутренних дел. Князь Куракин предложил государю Козодавлева, преданного ему и им взысканного человека, во время его генерал-прокурорства бывшего обер-прокурором Сената, а потом герольдмейстером. В конце февраля отправился он со свитою чиновников в Саратов.

Такого ли человека, как Панчулидзев, стал бы такой человек, каков был Козодавлев, уличать во лжи или обвинять в ошибке, которая ввела правительство в чрезвычайные, совсем излишние издержки? К тому же, прилично ли было сенатору прокатиться даром и, наделав шуму, подобно синице, не зажечь моря? Все меры приняты, расставлены карантины, оцеплены деревни, а от страшной заразы умерло всего девять человек. Не трудно было к сему числу прибавить нуль, и сколько ни мало оно еще было, уверить в донесении, что если тысячи не погибли, то отчасти государство должно за то благодарить бдительность неутомимого вице-губернатора. Месяца два с половиною прошли прежде, чем сделано было это донесение, тогда только зародыши, самые следы жестокой язвы были совершенно ис-треблены. Мнимая чума совсем кончилась, а началось настоящее, продолжительное, нравственное опустошение Саратовской губернии: Панчулидзев назначен губернатором.

Сколь звание сие ни лестно было для его самолюбия, он, безусловно, принять его не мог. Сделать его

губернатором, лишив его Елтонского озера [20], значило то же, что, подобно Антею, возвысить его, отделив от земли. Что такое был бы он без соляного озера? Самсон без волос. В удовольствие его, управление соляною частью перенесено и причислено к должности гражданского губернатора.

Чтобы продлить на все лето приятное вне столицы сенаторское пребывание Козодавлева, министр внутренних дел придумал испросить ему приказание проездом обозреть Пензенскую губернию, рассмотреть некоторые оставшиеся без ответа прежние жалобы жителей и производящееся дело по подложной просьбе в отставку отца моего.

Тут был еще тайный умысел князя Куракина, как после сие открылось; в секретном письме просил он Козодавлева именем старой дружбы расхвалить все, даже то, что не найдет он слишком исправным. Не мне осуждать его за то.

Об этом отец мой, разумеется, ничего не знал и, слыша, как Панчулидзев превосходил самого себя, как разнообразно потешал он пребывающего в Саратове сенатора, не имея ни средств, ни намерения в чем-нибудь равняться с ним, несколько затруднялся в том, каким образом ему принять избалованного угощениями Козодавлева. При мне более недели со дня на день его ожидали; наконец, приехал он с семейством своим и довольно большою свитой. В уступке для его жительства казенного дома видел он знак отменного к нему уважения и хотел отвечать на то вежливостью, потому отказался, опасаясь, как говорил он, подвергнуть губернатора и кратковременному стеснению. Родитель же мой, как отцы к младшим детям, как авторы к последним своим сочинениями, так прилепился к новому архитектурному творению своему, что уже все лето не хотел с ним расстаться, и я один остался на раздолье в губернаторском доме. Отказ занять его наши пензенские недоброжелатели сочли немилостью сенаторскою, тем более что по приглашению одного помещика, который без ссоры чуждался нашего семейства, остановился он в его доме. О сем помещике не сказал я еще ни слова, и разве здесь придется о нем поговорить.

Осип Петрович и Анна Петровна Козодавлевы родились в одном году и в одном городе; потом встретились, влюбились, женились и, наконец, в одном и том же году оба умерли.

Сама природа приготовила их друг для друга, и судьба споспешествовала их соединению. Столь согласных и нежных супругов встретить можно было не часто; учению апостола касательно браков «да будет две плоти во едино» следовали они с точностью. Действительно, они были как бы одно тело, из коего на долю одному достались кожа да кости, а другой мясо и жир. Каждый отдельно являлся более или менее дробью; только в приложении друг к другу составляли они целое. Оттого во всю жизнь ни на одни сутки они не разлучались; к счастью, Осип Петрович не был воин, не то Анна Петровна сражалась бы рядом с ним. Оба замечательны были одинаковым безобразием, и что еще удивительнее, в обоих оно было не без приятности. Им было тогда за пятьдесят лет; следственно, в молодости это безобразие могло быть и привлекательно, и тем объясняется взаимная их страсть.

Одного семейного счастья недоставало им: у них не было детей. Им заменила их любимая воспитанница. У Анны Петровны была сестра, княгиня Елисавета Петровна Хилкова [21], обе урожденные княжны Голицыны; сей последней Бог не дал ума, коим наградил старшую, зато благословил чрево ее. Одну из ее дочерей, в честь тетки названную Анною, крестила Козодавлева и грудным младенцем взяла к себе с кормилицей. Родную дочь нельзя было более любить, и девочка, называя их отцом и матерью, платила им величайшею нежностью, зато непростительным образом чуждалась, даже гнушалась тех, коим обязана была жизнью. С первого взгляда была она очень хороша собою, стройна как пальма, румяна как роза, бела как мрамор. Приятности, однако же, черты лица ее не имели, и цвет волос у нее был самый странный: видно было, что время из рыжих сделало их темно-русыми, ибо из темноты их все выскакивали яркие искры; они обрусели, как бы речь чужестранца, который бы правильно говорил по-русски, но с иноземным выговором. Воспитана она была хорошо и в семнадцать лет совсем не застенчива, с невинною веселостью не подозревала могущества красоты, и никому не имела желания нравиться. Гораздо после, весьма уже в зрелых летах и будучи замужем за одним князем Щербатовым, как мне сказывали, расчетливость произвела в ней сие желание. Но в то время, никогда не видав петербургских балов, на кои ее не вывозили еще, плясать на саратовских и пензенских казалось ей верхом блаженства.

При отправлении Козодавлева, несколько чиновников дано было в его распоряжение, и на возвратном пути его трое из них находились при нем в Пензе. Флор Осипович Доливо-Добровольский, человек самый деятельный и проворный, был полицеймейстером в Могилеве, когда, при обозрении сей губернии, Козодавлев узнал, оценил и понял его. Он его вытребовал в виде старшего адъютанта, когда ополчился против саратовской чумы. Род Добровольских и Кршижановских в Польше и западных губерниях и Евреиновых в России весьма многочислен; их названия ознаменованы крестом (кршиж по-польски) и будут гласить позднейшему их потомству о доброй воле, с какою израильские предки их приняли христианскую веру. Судя по красивым, но совершенно иудейским чертам лица Флора Осиповича, можно было полагать, что святое миропомазание из семейства его над ним первым совершено было. По происхождению его и по должности, которую он занимал, состояние его могло быть и родовое, и благоприобретенное; денег было у него много, он не скуп был на них, но умел делать из них полезное для себя употребление. В искусстве угождать начальству (не одною ревностною службой), в то время довольно обыкновенном, был он не последний. Особенно имел он дар дарить нужных ему людей и дам, усердно и ловко под именем безделиц предлагая им мелкие драгоценные вещи, которые под именем же безделиц без затруднения могли быть приняты. От сих безделиц, удачно посеянных, собирал он впоследствии весьма полезные плоды. Деятельность не покинула его и в старости: служа в почтовом ведомстве, в сединах и в лентах, и поныне скачет он по станциям, для осмотра будто бы состояния почт в России.

Другой сенаторский адъютант или секретарь был Андрей Петрович Римской-Корсаков, молодой человек небольшого роста, и я готов прибавить, и ума, в котором корыстолюбие только что развивалось, а самолюбие было в полном развитии. Отец его, Петр Воинович, по деревне был соседом графа Аракчеева, который, как известно, в собеседниках своих не искал ни высокого

просвещения, ни любезностей общежития. Он коротко сошелся с старым Корсаковым, потому что тот был великий весельчак, едун и любодей, и выпросил у государя фамильное имя его и права законных детей пяти сыновьям его, вне брака рожденным; в числе их был и тот, о коем говорю. Козодавлев, как человек придворный, любил в нем сына аракчеевского друга, любил трудолюбие его и политическое воспитание, которое надеялся ему дать [22].

Если третьему чиновнику Козодавлев оказывал менее вежливости и внимания, зато любил его паче других. Сего весьма зрелого юношу звали Иван Никитич Белоклоков. Слыхали ли вы когда-нибудь такое название? Уж верно, нет и никогда более не услышите: без рода и без племени, он умер без жены и без потомства. Вышел из тьмы неизвестности, сей малый метеор посиял малое время заимствованным от Козодавлева тусклым блеском и опять после него погрузился во мрак. Он был довольно добрый малый, но неспособный ни на какую должность, кроме той, которая составляет середину между приватным секретарем и камердинером. Если кто вспомнит, что говорил я о бесплодии друга моего Тургенева, тот, конечно, удивится, когда узнает, что я почитаю его родоначальником особого рода людей в русской службе, которых я назову чиновниками-хлопотунами. До него в коллегиях и канцеляриях находились просто люди занятые или праздные, трудящиеся или числящиеся; он вымыслил нечто новое, подобно сим искусным женщинам, которые, при наслаждении пороком, умеют пользоваться всеми почестями добродетели. Последователи в изобретенном им искусстве далеко его опередили. Ныне каждый министр имеет при себе по чиновнику-хлопотуну, редко более одного. Они находятся при нем неотлучно, бессменно дневальными, всегда под рукой; они чинят ему перья, ничего не пишут, кроме пригласительных его записок, рассылают их, исполняют его комиссии по делам службы, равно как и по домашним его делам. Они ходят к нему прямо в кабинет, в спальню, даже далее; им одним является он в халате, иногда в рубашке; при них бреется, умывается. Те, которые пользуются уже неограниченною его доверенностью, проникают вслед за ним в уединеннейшее место его жительства; там, вдали от взоров других докладчиков и толпы просителей, одни они присутствуют при сем тайном восседании и даже тут представляют ему некоторые черновые бумаги. Они гроза курьеров, предмет любезностей директоров, глубочайшего почтения начальников отделений. При испрошении или раздаче наград, разумеется, самые лакомые куски им достаются. Общая страсть их покровительствовать: уставая от беспрестанно согбенного и сжатого положения, они любят расправляться перед теми, кто в них ищет. Но круг министерства, в коем служат, для них слишком тесен: они выпрашивают у своего министра рекомендательные письма к другим; о местах, о чинах, о денежном пособии хлопочут у директоров департаментов; по тяжебным делам, за деньги или даром, ходатайствуют у сенаторов, у обер-прокуроров; за каждое оказанное им снисхождение требуется и от них какая-нибудь послуга, и они становятся настоящими менялами. Этой вечной суете посвящают они все свободное время, которое оставляют им занятия по прямой, или, лучше сказать, по косвенной их обязанности, и это дает им, более чем кому, вид озабоченных людей в столице. После всего сказанного нужно ли более объяснять, какой род должности при Козодавлеве исправлял Белоклоков, один из первых порождений Тургенева [23].

Еще один пензенский помещик сам приписал себя к свите Козодавлева. Я об нем не говорил: дворянство сей губернии так многочисленно, что нет возможности назвать всех членов его вдруг, а только постепенно, при удобном случае, выводить их на сцену. Николай Порфирьевич Дубенский был сын Порфирия и племянник Ксенофонта Гавриловичей, которые оба, если верить преданиям, при уме и некоторых сведениях, имели удивительную, непонятную охоту откармливать свиней. Из этого заключить можно, что ни который из них не мог служить фон-Визину образцом в изображении характера Скотинина. Однако же время охоту сию превратило в страсть, когда поля их покрылись целыми стадами сих животных, и они ростом и дородством стали равняться с кабанами. Если пристально станешь рассматривать лица, то на физиономии детей почти всегда найдешь отпечаток склонностей, которые имели их родители. Желтовато-смуглое лицо молодого Дубенского всегда имело цвет и подобие слегка копченного окорока; из пор его, даже без большого жара, вместо обыкновенной потной влаги, все проступали как бы частицы растопленного сала; сурово потупленный взгляд давал ему тоже некоторое сходство с любимцами его отца; но на этом оно и останавливалось. Кажется, он имел расположение к толщине, если бы желчь, которою он был преисполнен, не поглощала бы и не истребляла в нем зародышей жира до того, что с летами кожа лица его потеряла свою первоначальную влажность.

Виноват, я находил большое удовольствие в его обществе: в Пензе никто не мог равняться с ним умом и знанием; в других местах встречал я много людей умнее его, но злее и завистливое никого не встречал. Он готов был вредить всякому успеху самого доброго знакомого (друзей у него не бывало): получение кем-либо небольшого чина, маловажный выигрыш в карты, любовь к кому-нибудь даже противной ему женщины, все производило его досаду и весьма острые, язвительные насмешки. Умом побеждал он, однако же, иногда злость: он не любил отца моего, но гнушался подлыми его противниками и не хотел мешаться в их интриги. Жена его Елисавета Петровна, урожденная Гартунг, воспитанная в Смольном монастыре, была в Петербурге как-то знакома с семейством Козодавлева; он же сам, выпущенный при Екатерине капитаном, не с большим в тридцать лет был отставным полковником, не видав никогда неприятельского огня. Потому и желал он сразиться, по крайней мере, с опасностями моровой язвы, чрез покровительство жены вызван сенатором к нему в помощь и за великие подвиги в деле сем произведен в статские советники. У него в доме остановился Козодавлев. Всем известно, каким блестящим образом служил он потом, и как внезапно и постыдно упал он с высоты, до коей достиг.

В сношениях своих с отцом моим г-н Козодавлев не подавал повода к малейшему неудовольствию; напротив, как будто нехотя брал первенство перед ним, и часто упоминал о том, что в чине его моложе. Что касается до части угостительной, то он вывел его из затруднения угадывать, что может ему быть приятнее, и сам указал на средство удовлетворить его желания. Он просил губернатора о приказании ежедневно доставлять в его дом нужные для него съестные при-

пасы и вести тому верной счет, по которому при отъезде не оставит он сделать уплату. Так как в Пензе трудно было достать хорошего вина, которым был наполнен погреб отца моего, то он его же просил снабжать оным, обещаясь по возвращении в Петербург в замену прислать ему целый транспорт. Более ничего он не требовал, а то ли дело было в Саратове! Однако же и этого было довольно и было бы даже слишком много, если б пребывание его в Пензе продлилось. Он был человек умный, добрый и просвещенный, с весьма хорошим состоянием, и такое отсутствие деликатности, конечно, было не что иное, как остаток дурных обычаев прежних времен.

Приблизилось время Петровской ярмарки, и обыкновенный съезд на нее чрезвычайно умножился прибытием саратовских жителей и помещиков, приехавших на поклонение сенатору благодетелю. Дворянство, купечество начали в честь его давать праздники, на коих царицею была любимая дочь-племянница, княжна Анна Михайловна. Сделавшись почти домашним у Козодавлевых, я заметил, что они того же ожидают от отца моего, и так уже обремененного чрезвычайными расходами. Я начал его уговаривать; делать было нечего, и он решился дать пир в селе своем Симбухине, который в провинции мог почитаться великолепным. Он думал, что тем и кончится; нимало: Козодавлевым полюбилось пировать на чужой счет, и они уже без зазрения совести стали сами напрашиваться. В июле месяце, несмотря на жары, должно было дать еще два бала: один в собственном доме, в котором жил отец мой, а другой в пустом губернаторском, 22-го числа, в день именин вдовствующей императрицы. Все это, говорили, было ничто в сравнении с Саратовом, где, однако же, пиршества только сопровождали другие, гораздо важнейшие пожертвования. Великая разница в положении двух губернаторов: один только что вступил в должность и имел тысячу средств к вознаграждению себя за убытки, другой ни прежде, ни после не имел ни одного и думал уже об оставлении службы.

Давно уже окончены были ничтожные дела, порученные в Пензе рассмотрению Козодавлева, а он все медлил отъездом, которого мы ожидали с нетерпением, несмотря на ласки, на любезности, нам расточаемые как им самим, так и окружающими его.

Ко всему этому присоединилось еще одно обстоятельство, довольно неприятное и затруднительное. Белоклоков, который играл столь важную и столь низкую роль при сенаторе, затеял влюбиться в меньшую сестру мою Александру. Нравиться ей он не мог: он не был даже дурен, а имел одну из тех пошлых физиономий, которых никогда не замечаешь, которые видишь двадцать раз, каждый раз полагая, что это в первый; но благодарность ли, или женское самолюбие — он казался ей менее отвратителен, чем другим. Козодавлев нимало не затруднился с предложениями обратиться к отцу моему. Это была его любимая дочь. Он жестоко обиделся, но, стараясь не показывать того, только что нахмурился и отослал к матери моей, говоря, что он в эти дела не мешается. Она же, будучи предупреждена, отвечала, что ни за что не согласится прежде восемнадцати лет выдать замуж дочь, которая едва только вступила в семнадцатый год. Кажется, можно было это принять за учтивый отказ; но Козодавлевы упрямились видеть в том отсрочку, и внезапную холодность, которую показывала сестра моя, когда узнала, что дело становится серьезным, почитать застенчивостью, стыдливостью провинциальной девочки.

Наконец, в августе месяце, который у нас считается первым осенним, начались их сборы к отъезду.

На дороге был Саранск и его Успенская ярмарка; нежность Козодавлевых к моим родителям до того увеличилась, что, желая как можно позже с ними расстаться, они начали уговаривать их с ними туда доехать. Больно было отцу моему провожать сенатора, тащиться за ним; но трудно отказывать людям, которые умоляют и в которых имеешь нужду. Итак, после завтрака у нас все вместе отправились мы в путь. На половине дороги, своротив немного влево, приготовлен нам был ночлег у одного помещика, весьма замечательного человека, по его предварительному приглашению.

Благодатный род чудаков, которыми и Москва, и провинция в старину так были обильны, ныне совсем почти исчез. На перепутье, у одного из сих последних могиканов, не могу отказать себе в удовольствии остановиться перед его памятью. Иван Федорович Кошкаров был счастливым смертным: он был всегда весел, здоров, жил почти всегда в деревне, имел тысячу душ. На туловище его, имевшем вид четвероугольного обруба или терема, торчала голова, как бы иссеченная из темно-серого мрамора с белыми крапинами, то есть лицо его было смуглое и рябоватое. Приятную, забавную свою уродливость соединил он с чудеснейшею красотой одной Ольги Васильевны. В первые годы супружества оставалась она ему верною, и оттого, к сожалению, все дети наружностью в него удались. До конца дней своих был он влюблен в свою Оленьку и мог любоваться собою, глядясь в восемь или девять зеркальцев, отражавших его самодовольную харю. Нечто, однако же, любил он едва ли не более жены: музыкальное чувство было в нем врожденное, он имел верный слух и самоучкою изрядно играл на скрипке; ко всем странностям старинного покроя помещика прибавлял он все проказы бешеного меломана. Изредка посещал он Петербург и имел причины всегда там быть доволен сделанным ему приемом: во многие знатные дома нарасхват его приглашали. Он никак не разбирал ни лет, ни звания, со всеми обходился равно фамильярно и, чрезвычайно смешно изъясняясь по-французски, всех называл mon cher. Как кладу обрадовался ему Шаховской, снял с него скорее слепок и по нем удачно успел изваять две оригинальные фигуры — Пентюхина и Транжирина — в своих комедиях. Мне случилось сидеть подле этого Кошкарова, во время концерта знаменитого скрипача Роде; ничего не могло быть забавнее, как видеть огромное его пузо, трепещущее от восторга, и слышать тихо, чуть внятно произнесенные слова: «Батюшка, Родюшка, голубчик, друг мой!» Нужно ли говорить, что у такого человека был отличный оркестр, когда в это время, следуя обычаю, другие помещики, менее его богатые и не имевшие понятия о музыке, заводили свои капеллы. Смешно и жалко было смотреть на поминутные ласки его русскому капельмейстеру, который завел ему роговую музыку, может быть, лучшую в России, и в то же время явно был любовником жены его. Она же, гораздо за сорок лет, все еще совершенная красавица, прекрасно нас угостила. Сенатору и губернатору с супругами, разумеется, отведены были особые комнаты, а нас, других прочих, кое-как уложили спать. На другой день, с раннего утра до позднего

завтрака, потчевали нас музыкой; после того отправились мы далее и к вечеру приехали в Саранск.

Ярмарка в самом разгаре: скачка, шум, крик в небольшом городе, тесное помещение в жаркое время года, все это, к счастью, весьма не полюбилось Козодавлевым; угощение, впрочем, довольно богатого городничего Евсюкова также не слишком понравилось им и, пробыв только два праздничные дня, 15 и 16-го числа, они 17-го нас оставили. Отец мой поспешил обратно в Пензу, куда призывали его и поверка собственных домашних счетов, и накопление дел во время веселой суматохи, произведенной присутствием сенатора. Следствием оной, между прочим, была продажа любимого его нового дома, который построил он экономически, долго отказывая себе во многих прихотях.

Мне также была пора скоро воротиться в Петербург; до зимнего пути было еще далеко, а поздний осенний в тогдашнее время, еще более чем теперь, у нас был настоящая пытка.

Помаленьку стал я сбираться и совсем готов был отправиться, как один весьма приятный случай заставил меня на несколько дней отложить свой выезд. Поутру, 7 сентября, почтмейстер к отцу моему принес с почты пакет, в коем находились государев рескрипт и Аннинская лента. Куракин ожидал только окончательного, требуемого им донесения Козодавлева, чтобы сделать сильное, убедительное представление царю. Это было торжество, победа над врагами, но об одержании ее так много и так долго, право, не стоило заботиться, а не лучше ли бы было давно отойти с миром, особенно тогда, как звание губернатора год от году приметно упадало? Как, однако же, ордена в то время не потеряли еще совсем цену свою, особенно же ленты и звезды, то получение такой награды, хотя довольно поздно, обрадовало моих родителей. Семь лет отец мой был на губернаторстве, и я заставил его засмеяться, когда, поздравляя его с царской милостью, сказал, что он получил ее за семилетнюю войну с негодяями. Многие из его приверженцев хотели давать ему обеды, балы; он отклонил от себя сии почести, ибо с Козодавлевым должен был наперед отпраздновать последний успех свой по службе. В семейном кругу, с малым числом коротко знакомых, провели мы несколько приятных дней.

* * * * * * * * * *

Глава VIII [1810 год]

* * * * * * * * * *

Напрасно останавливался я в Москве в такое время года, когда одних суток достаточно, чтобы испортить всю дорогу. До Мурома доехал я благополучно; за Окой начались дожди, но, по крайней мере, ехал я зимним путем; от Арзамаса же почти все должен был тащиться по голой земле и счастлив бывал, когда выдадутся сотни две сажен грязного льду. В гористой Пензенской губернии каждый овраг превратился в речку, через которую в кибитке на полозьях должен был я почти переплывать. Кое-как, однако же, 20 марта приехал я в Пензу.

Отец мой, для двух- или трехмесячного зимнего пребывания в Пензе, купил на Лекарской улице [24] дом, небольшой, но весьма поместительный. Однако же, как нас собралось много (исключая родителей моих и двух незамужних сестер, жил еще зять мой Алексеев с женою, с двумя сыновьями и учителем), то нам становилось немного тесненько. Но, как говорит пословица, в тесноте люди живут, лишь не в обиде; а мы никто друг друга не думали обижать.

К удовольствию моему, Крыжановский царствовал тирански, деспотически. Он действовал как человек, который убежден, что лихоимство есть неотъемлемое, священное право всех тех, кои облечены какою-либо властью, и говорил о том непринужденно, откровенно. Мне, признаюсь, это нравилось: истинное убеждение во всяком человеке готов я уважать. У каждого, кто имел к нему просьбу, без обиняков требовал он денег; в случае отказа сердился и силою законов, которых он был искусный толкователь, заставлял раскаиваться скупого просителя. Иногда в присутствии пензенских жителей позволял он себе смеяться над недостатком их в щедрости. «Хороша здесь ярмарка! — говорил он им с досадною насмешкой. — Бердичевская в Волынской губернии дает тридцать тысяч рублей серебром губернатору; а мне здесь купчишки поднесли три пуда сахару; вот я же их!»

Что делать? Виноват ли он был, если всегда жил с такими людьми, в таких обществах, где чести, бескорыстию и притворных похвал не слыхивал? Ненадобно также забыть его происхождение: сребролюбие у евреев течет с кровью. Нет в мире народа самолюбивее, нет в мире народа более униженного; в горькой участи его золото — его утешение, его спасение, единственное его могущество. Он любит его более как средство, нежели как цель. Спасительная вода Св. Крещения может скоро смыть с еврея кровавые пятна, на него и на чадех его положенные; но не скоро, разве через несколько поколений, в потомках его вымоет алчность к блестящим металлам. Жители Пензы губернаторство Крыжановского не хотели признавать настоящим, законным управлением; они почитали его междуцарствием, его же самого называли Вторым Лжедмитрием, Тушинским вором.

Надобно признаться, жалки были пензенцы: как новые филистимляне, порабощены были они тогда племенем иудейским. Вице-губернатор, о котором давно уже я говорил, был все тот же еще Александр Михайлович Евреинов. Поведение сего единокровного губернатору могло казаться упреком: председательствуя в Казенной Палате, имея много случаев беззаконно наживаться, он ими не пользовался, хотя чувствовал сильное к тому поползновение, но чем-то был удерживаем. Он был в явном несогласии, даже во вражде с Крыжановским; каждый из них с удовольствием выслушивал всякое злословие насчет неприятеля своего, не позволяя, однако же, ни малейшей шутки касательно предков его. К сожалению, время показало, что честность Евреинова была одна только робость, и что ненавидел он Крыжановскаго, завидуя лишь его смелости.

Сей последний не был из числа тех подлых взяточников, коим нужна одна только прибыль: деньги деньгами, а почесть почестью. На первом, так и быть, пензенские помещики готовы бы были помириться; но необходимость показывать уважение бесстыдному плуту, дерзкому и сведущему в делах, следственно, для них иногда опасному, была для них настоящая мука. Жена его была для них еще несноснее: некогда наемная наложница Василия Степановича Попова, она манерами напоминала польских служанок в жидовских корчмах. Раз, попав на губернаторство, полагала она,

что ей все позволено: от разговоров, от рассказов ее женщины, даже легкомысленные, с негодованием потупляли взоры, некоторые мужчины с омерзением отворачивались, тогда, как другие с подобострастием улыбались. И она же, злодейка, называла это варварством, и непотребное свое просвещение думала распространить в обществе, а между тем, никому не позволяла с собою слишком забываться. Великая искусница была она давать комиссии: отъезжающему в Петербург любителю музыки поручала она купить фортепиано для дочери; отправляющегося в Москву, где дешев пушной товар, просила она прислать ей оттуда шубу; едущие на Макарьевскую ярмарку должны были привезти ей: кто шаль, кто несколько цибиков чаю. Делая сии поручения, всегда прибавляла она: после сочтемся. Тем, кои отказывались, уверяя, что у них едва достаточно денег для собственных издержек, никогда она не прощала.

Мои родители между тем жили спокойно в селе своем Симбухине, в 13 верстах от Пензы. Первое посещение зятя, который привез с собой свежие лавры, человека военного, веселонравного, который зимой умер бы со скуки в деревне, из нее вызвало их. Этот переезд был весьма неприятен Крыжановскому, который ни старших, ни равных себе не любил видеть в своей столице. Однако же, как умел, с обоими обошелся он, хотя сухо, но учтиво, и стал изредка посещать дом наш. Только вот беда: все те, кои без явного неудовольствия держали себя хладно-почтительно в сношениях своих с отцом моим, сделались вдруг к нему отменно нежными; те же, кои не умели скрывать вражды своей, употребляли все средства, чтобы с ним сблизиться и, не смея подступить к нему, обращались к членам его семейства с изъявлениями покорности своей и раскаяния. Как было не простить кающихся грешников? В губернских городах есть обычай, существующей и поныне, по воскресеньям без приглашения собираться на вечер к женатым губернаторам; лишь только отец мой переехал в город, когда приходили воскресные вечера, в небольшом доме его не было почти возможности поворотиться: становилось тесно, душно, тогда как губернатор сидел дома один со своим семейством. Это, как говорили провинциалы, делалось в пику Крыжановскому. Ему бы на то не обращать никакого внимания, а он стал яриться, бушевать, всех упрекать в измене. Извиняясь невозможностью разделить себя на два вечера, затейливые пензяки выдумали, собравшись миром, нахлынуть к нему в субботу, в день шабаша. Эта дурная шутка пуще прогневала его, и в следующую субботу он никого не велел к себе пускать.

Отец мой не искал ни дружбы, ни ссоры с Крыжановским; последней же избежать однако не мог. Господин Миленин (которого читатель помнит, а может быть, и не помнит, все равно) имел столь мало такту, что, сделав обед в честь приезжего генерала Алексеева, позвал на него как нового, так и старого губернатора. Тестю не могло быть неприятно предпочтение, сделанное в этом случае зятю его, который был, как говорят французы, героем праздника; Крыжановский же сильно вознегодовал. К концу обеда, вероятно, разгоряченный вином, стал он с грубостями придираться к хозяевам и к посетителю, человеку не весьма терпеливому. Тот сначала отмалчивался, наконец, вышел из себя, не прибегая ни к каким обинякам, ни к каким колкостям, просто разругал его и чем-то погрозил. Эта угроза имела полезное действие, ибо вмиг охладила запальчивость начальника губернии; а между тем хозяйка была вся в слезах, с другими дамами, тут находившимися, сделалась дурнота. Сие происшествие, весьма маловажное, довольно смешное, было, однако же, как бы сигналом всеобщего возмущения; все взяли сторону более обидевшего, чем обиженного гостя. Ободряя друг друга, с каждым днем пензенцы делались более дерзки, с каждым днем союз против грабителя становился плотнее. Все это казалось прискорбно отцу моему, и он нетерпеливо ожидал весны, чтобы скорее воротиться в деревню.

Это произошло до приезда моего. Как человек служащий, долгом я счел явиться к губернатору, и он обошелся со мной иначе, как с другими. Он принадлежал к новому поколению губернаторов, воспитанных в страхе министров, и в глазах которых всякий мелкий чиновник министерства имеет некоторую важность. Учтивость свою простер он до того, что посетил меня в бане, в которой жил я за неимением другого места.

В числе тех, кои пожелали вновь сойтись с отцом моим, было и семейство предместника его Ступишина, с тех пор, как говорил я об нем, уменьшившееся и умножившееся. Почтенный старик, Иван Алексеевич, отошел в вечность; роман дочери его с братом моим не мог вечно длиться: от беспрестанной разлуки должна была погаснуть любовь, которая менее была в сердце, нежели в голове. Тщеславная бабка Леонтьева, опасаясь, чтобы зрелая, хотя достаточная внучка не засиделась в девках, нашла средство выписать для нее славного жениха. Человек лет сорока пяти, совсем без состояния, армейский генерал-майор Семен Давыдович Панчулидзев, на дороге в Саратов к брату, роскошному губернатору, должен был мимоездом осмотреть невесту. Первое приветствие его было: «Вы совсем не так дурны, как мне вас описывали». После того можно судить о любезности его; но он был крепок и плечист, у него были генеральские шитье и эполеты и несколько крестов в петлице и на шее, и все романические мечты должны были уступить столь надежной сущности. Еще раз не служит ли это доказательством, сколь силен был тогда в России предрассудок чина, и как легко было позолотить его выгодным супружеством. К другим горестям брата моего, находившегося тогда в Финляндии, умеющего искренно и постоянно любить, присоединилось еще известие о сем браке. Более года прошло после того, и госпожа Леонтьева приезжала при мне к матери моей объявить о рождении двух правнуков-близнецов, как бы о новом торжестве своем.

Великих усилий стоило мне с матерью и сестрами убедить родителя моего в том, что служба сделалась для меня невозможною. Лишившись одного сына, он недавно сам ее оставил; получено было известие, что и другой сын его, от благорасположения лично знакомого ему нового военного министра Барклая-де-Толли, ничего не требовал, кроме отставки, и получил ее; наконец, последний сын желал того же. По понятиям тогдашнего времени прискорбна была ему мысль, что нигде в служебных списках и имени его уже не встретится. Успев поколебать его твердость и почти уверен будучи в его согласии, я не спешил с отправлением просьбы.

В конце апреля переехали мы в деревню. Я устроил себе уютный уголок, который старался украсить как можно более цветами; мысленно делил уже я время

на часы, посвященные чтению, прогулкам, сельским занятиям, семейным обязанностям, отдохновению: из будущей жизни своей сочинил я настоящую идиллию. От брата моего, вышедшего в отставку и остановившегося в Петербурге для сдачи отчетов, получили родители мои письмо; это было 13 мая, ужасное число, которое осталось мне памятно. Сим письмом уведомлял он, что министр финансов приказал чиновников, числящихся по его министерству и не занимающих штатных мест, прикомандировать к ассигнационному банку; тех же из них, кои находятся в отпуску и не явятся к сроку, велел исключить из службы. Вместе с тем заботливый брат мой писал, что по сему случаю виделся он с Никитою Ивановичем Пещуровым, управляющим банком, старым знакомым моих родителей, также и читателя моего, если у него память хороша, и что г. Пещуров обещается сделать служение мое с ним как можно приятнее, доставить мне занятие, соответствующее моему чину, и даже по оному выпросить мне жалованье. После того можно себе представить, что родитель об отставке моей ничего слышать не хотел, и что я к поддержанию справедливости моих желаний ничего более сказать не мог. Сборы не могли быть велики для человека, который отправлялся на перекладных. Первый раз еще думал я о Петербурге с отвращением и ужасом и о Пензе с сожалением: какой-то тайный голос уверял меня, что надежды, уже не мои, а отца моего, и на этот раз еще не сбудутся. Как бы то ни было, дня через три-четыре по получении письма от брата моего опрометью поскакал я в Петербург, куда 24 мая и приехал.

* * * * * * * * * * *

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I [1812 год]

Ужаснейшую и славнейшую эпоху нашего времени приходится мне описывать.

Но прежде, нежели приступлю к исполнению обязанности, которую, не спросясь моих читателей, возложил я на себя, будто для их пользы и удовольствия, постараюсь на время потерять их из виду; равномерно и их охотно разрешаю, может быть, от скуки читать сию первую главу. Я буду писать ее единственно для внуков и правнуков братьев и сестер моих; им посвящаю ее и в ней изображу последние минуты примерной жизни того необыкновенного человека, происхождением от которого имеет право гордиться тот из них, который будет сколько-нибудь достоин называться его потомком.

Я приехал в опустелый без него дом. Он мне показался трупом, от которого отлетела душа, хотя унылая, обессиленная, но дотоле все одна, его оживлявшая. В избытке горести, моя мать казалась даже нечувствительною к приезду любимого сына. Выражение этой горести иным могло бы показаться преувеличенным и неестественным только тем, которые не знали беспредельной ее любви к покойному мужу; в Пензе же никто не позволил себе осуждать ее, все изъявляли участие и сожаление; даже дивились, как она могла пережить свое несчастье. Я нашел, что занавески у кровати матери моей, равно как и у окошек ее комнаты, были черные, закрытые, того же цвета были одеяло и чехлы на креслах; этот усиленный траур, этот мрак, которым она окружала себя, все знаки глубокой скорби ее, одни были дня нее усладительны. Она лежала неподвижна, бессловесна. Врачи опасались, что продолжение такого состояния будет иметь самые вредные последствия вообще для здоровья ее, особенно для рассудка, и для того, чтоб выводить ее из онемения, одеревенения, прибегали к средству сильному, к припоминанию причины ее горести. Успех бывал ужасен: нечеловеческий, страшный и тяжкий стон, раздирающий душу присутствующих, начинал выходить из глубины ее груди. Одному только простодушному, святому старцу, епископу Афанасию, самому удрученному болезнями, удавалось врачевать ее душу. Его сердце было исполнено человеколюбия, а уста — нежных, утешительных словес; о предчувствуемом небе умел говорить он как о знакомом почти месте. Слушая его, она тихо проливала потоки слез и чувствовала на время облегчение сердечной скорби своей.

Так продолжалось около двух месяцев. Наконец, Небо послало ей некоторую твердость, и она начертала себе новый образ жизни, которому следовала до конца ее. Ровно двадцать лет осуждена была она влачить свое вдовство, и ничто не изменилось в принятом ею порядке. Она всегда носила черное платье, только по большим праздникам надевала белое. Прежде любила она играть иногда в вист; на карты наложено запрещение в доме ее; не только в какие-нибудь собрания, ни даже запросто ни к кому она не ездила, посещала одни Божии храмы да навещала больных и скорбных. Одним словом, без пострижения, вела она всегда иноческую жизнь. О печали, которая никогда ее не покидала, никому не говорила; зато трудно было дождаться улыбки на лице ее, прежде всегда веселом, довольном.

Возвратясь из Петербурга, как мне рассказывали, покойный отец мой несколько было ожил. Он принялся опять за любимую страсть свою, продолжал отделывать вновь им выстроенную каменную церковь в селе Лебедевке и доканчивать новый, большой деревянный дом в селе Симбухине, который начал возводить он, не имея средств отделать другой каменный трехэтажный дом, тут же давно им построенный. К этому примешалась еще другая страсть. В первой части сих Записок говорил уже я о привязанности его к меньшой дочери, которую любил он паче всех других детей своих: он не видел в ней никаких несовершенств, хотя, к сожалению, они были. Ее призвал он на совет при составлении плана нового строения; она не имела понятия об архитектуре, и так, шутя, наобум стала проводить линии карандашом. Этот странный чертеж решился он привести в исполнение, тешась мыслию, что он творение любимой дочери. К счастью, вышло что-то совсем необыкновенное, но не совсем дурное. Разумеется, и во внутреннем небогатом убранстве следовали ее же вкусу. Наконец, дом поспел, и 14 ноября, день именин его, жители Пензы за 13 верст во множестве приехали праздновать с ним новоселье. Веселились, пили, ели, танцевали, и звуки музыки тут последний раз раздавались в доме нашем.

Конечно, эти строения расстраивали все более семейное состояние; но как они были последнею, единственною его утехой, то бедная, бережливая мать моя не хотела, показывая ему истину, отговаривать его от сих непомерных издержек. Когда дом был совсем окончен, и прекратились его занятия, он опять начал впадать в уныние и тоску; это было совершенно состоя-

ние больного дитяти, которого можно только развлекать игрушками. К Рождеству уговорили его переехать в город; почтительное сострадание вкралось в сердца прежних врагов его: все оказывали ему знаки непритворного уважения; ко всему оставался он невнимателен, равнодушен.

Вдруг 25 января захворал он сильною простудой, перестал выезжать из дому, однако не слег. Отменно досадно казалось ему, что он не может быть на каком-то пире, на каком-то бале, который дворянство, не знаю по какому случаю, хотело дать в Благородном Собрании своем, и там полюбоваться пляскою дочери. Часу в двенадцатом вечера, 27-го числа, когда все улеглись, кроме его, но еще не спали, побрел он в комнату дочерей, присел на кровать меньшой и велел подать новое бальное платье, в котором она должна была явиться на помянутый пир. Посмотрел на него грустно, потом встал и, прощаясь с необыкновенною нежностью, поцеловал обеих дочерей. Середи ночи, часу в четвертом, мать моя была пробуждена каким-то странным шорохом, и при свете лампады, перед образом зажженной, увидела его, как тень бродящего по комнате. Он сказал, что чувствует сильное кружение головы, прилив к ней крови и надеется, что ходьбою оно пройдет. Потом, уставши, прилег на диван и минут через десять страшно захрипел. Его не стало.

С криком бросилась к нему испуганная супруга. Менее чем через четверть часа весь дом был на ногах, и гонцы верхом посланы за священником и врачом. Они явились; к счастью, мать моя находилась тогда в совершенном беспамятстве, и это брату моему дало возможность сказать ей простительную в сем случае ложь, будто в это время покойный на несколько минут открыл глаза и успел причаститься святых тайн. С ее набожностью, без этого успокоительного обмана, она бы промучилась всю жизнь. Через три дня жители Пензы, в том числе множество простого народа, 13 верст провожали тело бывшего начальника губернии, до села Симбухина, где недавно праздновал он временное новоселье, а этот раз поселялся на вечное. Там, в им же построенной каменной церкви сего поместья, которое от первой супруги по наследству ему досталось и носит ее фамильное имя, лежит он, подобно графу Глейхену, близ нее и рядом со второю супругою своей.

Не одна тяжкая печаль ожидала меня в Пензе, но и заботы, дотоле мне вовсе незнакомые. Все имение, состоявшее не с большим из шестисот душ, было опутано долгами, так что десятками тысяч рублей их считалось. Прежде предохранявшая его от разорения, заботливая мать первоначально отказалась от всего и объявила детям, чтоб они спасались, как хотят и умеют, а что ей ничего не нужно. Из двух сестер одна близилась к сорока годам, другая едва перешла за двадцать. Старшая дала обет никогда не отлучаться от матери, совершенно посвятить себя ей и не иметь иных забот. Меньшая никогда их не знала, думала об одних только нарядах и удовольствиях жизни, которые по возможности были ей доставляемы; ничем несколько серьезным не умела заниматься, ни чтением, ни даже рукоделием. Первое горе, ее постигшее, и самое для нее тяжкое, не могла она, по примеру сестры, перенести с покорностью к воле Божией, и отчаяние ее походило на сумасшествие. Наконец, старший брат Павел давно замышлял омыть хотя бы своею кровью незаслуженное пятно, которое правительство и общее мнение наложили на провиантское ведомство, к которому он принадлежал. И для того, еще при жизни отца, умолял он военного министра Барклая-де-Толли, лично его с хорошей стороны знавшего, об определении его по-прежнему и с прежним чином в военную службу. Тот отвечал ему, что воспользуется первым удобным случаем, чтобы выполнить его желание, но что это для него самого даже трудно: ибо с 1807 года не было примера, чтобы кто-нибудь, служивши в провиантском штате, был принят в службу армейским чином. С недели на неделю ожидая решения судьбы своей, он также совершенно не мог приступить к управлению имением.

Итак, вся обуза должна была лечь на меня. Много помогали мне сначала советы старшего опытного брата. Изо всех затруднительных обстоятельств жизни моей, при всей моей торопливости, часто необдуманности поступков, всегда выходил я довольно благополучно. Не смею и подумать, чтобы чем-либо заслужил особое милосердие Божие, но оно одно всегда явно выводило меня из пучины зол, мне угрожавших. Как же мне было не любить и не страшиться этого невидимого всемогущества? Как от всей души не веровать было в него, посреди общего почти неверия? И в этом случае явило оно благодать свою надо мною и над моими, так что к концу года дела наши взяли самый благоприятный оборот.

За Сурой, в большом лесном участке, нам принадлежащем, называемом Кичкилейка, был у нас винокуренный завод. Такого рода заведения обыкновенно дают значительный доход; только нужен хороший присмотр, а его-то последнее время и не было. К тому же десятилетнее существование этого завода истребило лес и разорило мужиков. Необходимость заставила его погасить. После него осталось большое количество медной посуды, которую можно было продать только на вес; к счастью, один добрый сосед, который в это время приступал к такого же рода предприятию, не стал торговаться, а купил посуду почти по той же цене, по которой она нам обошлась, и таким образом можно было выручить несколько тысяч рублей. Еще другие тысячи получили мы благодаря угасшему заводу. Правительство, полагая, что все северо-западные области изобилуют рогатым скотом, обратилось к ним с предложением пожертвовать некоторую часть оного для прокормления собравшейся на границе армии. В Симбирской и в Саратовской губерниях, особливо же за Волгою, было тогда еще более чем ныне, необозримых степей, на которых тысячами паслись стада: для них эта жертва была совсем незначительна. Но для Пензенской губернии, которая так туго заселена, где так мало пастбищных мест, которую мясом по большей части продовольствуют соседи, для нее это было довольно накладно. Приятно было видеть радостную готовность, которую, несмотря на то, изъявило пензенское дворянство в сем случае: она в моих глазах, по крайней мере, была предзнаменованием того великодушного всеобщего, дружного восстания, которое не замедлило потом обнаружиться во всей России. Положено было купить 2 400 быков, по какой бы то цене ни было, и с надежным чиновником, на дворянский счет, отправить к войску, разложив сумму, для того употребленную, на помещиков по числу душ, ими владеемых. На нашу долю пришлось весьма мало, или, лучше сказать, ничего, или лучше сказать, меньше, чем ничего: на нашем заводе были десятки быков, которых

содержание дотоле нам приходилось даром, которые сделались не нужны, а кормить их становилось дорого. Представился единственный случай их дорого сбыть с рук, и я не упустил им воспользоваться.

Один нижегородский откупщик Мартынов за проданную и поставленную ему водку был должен пятнадцать тысяч рублей отцу моему, но под разными предлогами отказывался уплачивать сии деньги, как ни просили его и на него, так что долг сей почитали мы пропавшим. Видно, вдруг ему стало совестно, ибо он прислал мне эту сумму сполна, при письме, в котором объясняет, что, узнав о стесненном положении нашего семейства, хотя и сам находится в затруднительных обстоятельствах, далее откладывать уплаты не хочет.

В душевной тоске и телесном расслаблении, мотаясь, можно сказать, не зная куда, отец мой задумал было поселиться в Москве и для того последнею осенью купил в ней за шесть тысяч рублей небольшой деревянный дом в каком-то переулке, близ Арбата; этот дом намерен был он после себя отдать любимой дочери. В благополучные дни нашего семейства было у матери моей и у сестер несколько алмазов, в том числе одна сохранившаяся брильянтовая нитка, которая имела некоторую ценность и была предназначена старшей сестре более в виде капитала, чем украшения. Той и другой предметы сии были обещаны, а не отданы. Однако же для продажи я счел долгом испросить их согласия, и они, без малейшего затруднения, дали его. Но где было сыскать покупщиков в такое время, когда все, чуя приближение черного дня, берегли про него деньги, а многие даже прятали их? Судьба послала их. Один богатый помещик, Вельяшев, просватал в это время единственную дочь свою за богатого же помещика Ранцова и хотел дать ей приличное обоим состояниям приданое: бриллиантовую нитку купил он у нас за пять тысяч рублей. Сыскался и другой, человек неблагоразумный, неосторожный, которого прозвания не запомню, но которого не мне осуждать: он купил московский дом за десять тысяч рублей, четырьмя тысячами дороже того, что он был заплачен, дом, который, через два месяца спустя, с тысячью других, должен был обратиться в пепел.

Было еще несколько таких неожиданных, благоприятных случаев, о коих говорить не буду и которые помогли мне в полгода совсем почти выпутать из долгов семейство мое. Все эти мелочи, подробности, может быть, вовсе не занимательны, не скажу только для читателей моих (от них уже отрекся я в начале сей главы), но даже и для потомков моих родителей. Но мне не упоминать о них было бы и стыдно, и грешно, когда во всем этом видел я несомненные знаки милосердия небесного к осиротевшему семейству честнейшего человека в мире, которое простодушием и любовью к ближним было его достойно, и к неопытному молодому человеку, пожираемому желанием быть полезным еще более ему, чем самому себе. Один умный человек сказал, что то, в чем черствые души видят один слепой случай, не что иное, как инкогнито Провидения, и что одни чувствительные, благодарные сердца способны его угадывать.

Осенью другие заботы мне представлялись, и тогда, закрыв свою комиссию погашения долгов, все дела при верном отчете вручил я матери моей, которая, изъявив мне свое удовольствие, к счастью, в состоянии была опять успешно и прилежно заниматься ими.

Глава II

Около года Крыжановского не было в Пензе. Грубиян, бесстыдный лгун, грабитель, который явно лез ко всем за пазуху, и непотребная жена его, которые два года наполняли ненавистью и омерзением целую губернию, были живым упреком правительству, таких людей для управления областями употребляющему. Молва об их неслыханных деяниях разнеслась по всем соседним губерниям и достигла столицы. Министерство внутренних дел, как видели выше, раздвоилось, и губернаторы поставлены были более в зависимость министра полиции. Балашов был не из числа тех людей, которых возмущают дела Крыжановских; не знавши его лично, он, кажется, его покровительствовал, и, вероятно, при нем он долго усидел бы на месте. Хорошо, что человек, который пожелал этого места, имел большие связи при дворе и умел о непристойностях Крыжановского распустить слухи даже в гостиных большого света. Таким образом дошло до самого государя, и он велел министру немедленно сменить его. По какому-то инстинктивному благорасположению к такого рода людям Балашов, однако же, спас его от простой отставки, а выпросил дозволение причислить его по особым поручениям к своему министерству. Имея его под рукой, мог он ожидать, что употребит его с большею пользою.

При получении о том известия в Пензе случился довольно забавный анекдот. Будучи тайно предуведомлен о своем падении, Крыжановский стал наскоро сбирать жену свою в дорогу, дабы негубернаторшей ей тут и дня не оставаться. Так как она внутри России никогда еще одна не путешествовала, то он предложил приверженцу своему Андрею Сергеевичу Мартынову быть ее проводником до Москвы, на что сей последний охотно согласился. С этим Мартыновым я уже познакомил читателя, но это было давно, во второй части сих Записок; знакомство, вероятно, забыто, и я осмелюсь вновь его представить. В сем дворянине древнего происхождения и весьма достаточном была врожденная склонность подличать. Во время сборов догадался ли он, или проведал о чем, только отказаться уже не смел. Доехав до Саранска, на первом ночлеге прикинулся он больным, кричал, жалуясь на нестерпимые боли в животе, в голове, не хуже Жилблаза в Роландовой пещере, так что перепугал спутницу свою. Она должна была отправиться одна далее; а он, как Сикст Пятый, вскочив, захохотав, спросил у предстоящих, каково сыграл он комедию? Когда в Пензе спросили его, зачем он так дурачился, он отвечал, что ведь указ об увольнении еще получен не был [25].

Когда же его получили, еще до возвращения Мартынова, то г. Крыжановский, совсем готовый к отбытию, немедля ускакал. Проводов ему не было: его отъезд похож был на побег.

Вскоре прибыл его преемник; но полно, так ли я сказал? Это было не вступление в должность губернатора, а восшествие, воцарение владетельного князя. После смерти князя Сергея Феодоровича Голицына, в начале 1810 года, неутешная вдова его, Варвара Васильевна, решилась удалиться от света в любимую свою Зубриловку, куда из Галиции и привезено было его тело [26].

При ней находились неотлучно младшие сыновья ее, на службе числящиеся, и самый старший, отставной князь Григорий Сергеевич с женою и семейством.

Но как поладить с тем, чтобы, не разлучаясь с нею, могли один продолжать службу, а другой поступить в нее опять? Вот почему князь Григорий, будучи в генеральском чине, начал искать места пензенского губернатора и получил его, вместе с дозволением каждое лето за 130 верст ездить в деревню к матери. Весною и осенью мог он проживать у нее под предлогом обозрения губернии, а зимою могла она приезжать к нему. Меньшие три брата были все камер-юнкеры; только средний, Василий, был пожалован до издания указа о сем звании и состоял в пятом классе, а другие два (Павел и Владимир) после, и имели только обер-офицерские чины. Их определили к брату чиновниками по особым поручениям, а Василия поместили советником сверх штата в губернское правление. Разумеется, все сохранили право жить в Зубриловке, когда они или мать их того пожелают.

Я нашел князя Голицына утвердившегося на своем губернаторско-княжеском престоле. По прошествии шестинедельного траурного срока явился я к нему и был милостиво принят; но и до того не один раз имел я случай его видеть. Моя мать была им отменно довольна: из уважения к званию предместника, он был распорядителем похорон отца моего и потом раз или два в неделю посещал ее. По старинному знакомству как с ним, так и с братьями, по приятностям тогдашней светской их образованности мог я действительно дом его почитать для себя отрадою; но в продолжение пребывания моего в Пензе, не всегда мы ладили, как увидят после.

Большая часть пензенцев были от него без памяти, и как не быть? После смутных времен Крыжановского им казалось, что настал для них настоящий золотой век: губернатор, еще молодой, красивый, ласковый, приветливый, принадлежащий к княжескому роду, почитаемому одним из первых в России, в близком родстве со всем, что Петербург являет высокого и знатного при дворе. Обыкновенно эти люди, когда невзначай попадали в провинцию, чтобы не остаться одним, поневоле сближались с почетнейшими из ее жителей и совсем не скупились на любезности, которыми, по крайней мере, в прошедшее время они славились. В столицах дело было другое; не переставая быть учтивыми, их обращение приметно делалось холоднее со сделанными там знакомствами, и наши добрые люди никак не могли понять причин такой перемены. Итак, мои тщеславные земляки были очарованы: «Ну, подлинно, — говорили они, — можно сказать, что барич так барич, не то что иной, другой какой-нибудь, наш брат рядовой дворянин». Знавши так давно и так коротко всю эту голицынскую семью, я не мог разделять их восторгов, но и не думал стараться умерять их.

«И как такому вельможе захотелось у нас поселиться?» — говаривали иные. Действительно, оно могло казаться странным и тогда, а еще страннее ныне, когда губернаторские места более упали в общем мнении. Восемнадцати лет был он уже генерал-майором, генерал-адъютантом и докладчиком по военному ведомству при императоре Павле; но как один царский каприз создал его, так другой уничтожил, и никогда уже с тех пор не мог он подняться. Когда при Александре воротились все изгнанные отцом его, то он стал проситься в службу при особе государя; нашли, что он годится только в действительные камергеры; а как и это звание почиталось тогда во сто раз важнее, чем ныне, то он охотно его и принял. Заметив, что этот титул совсем не в почете у нового царя, стал проситься в военную службу прежним чином, и его приняли с состоянием по армии и с нахождением при отце, тогда рижском военном губернаторе; с ним вместе опять вышел он в отставку. После того, во время первой милиции 1807 года, не вступая в действительную службу, находился он при нем же по каким-то поручениям; но как видно знали, что он тут (как и везде) ничего не делал, то и сочли достаточным дать ему Аннинский крест на шею. В армию против австрийцев с отцом он не поехал, а остался при матери. Большого света он не любил, хотя в нем везде был принят, но вовсе не замечаем. Государь, который его лично знал, был весьма плохого мнения об его способностях и только вследствие одного сильного ходатайства [27] назначил его губернатором, с переименованием, однако же, в действительные статские советники. И наши пензенцы находили, что он спустился на губернаторство.

Будучи малолетним, около года прожил я у Голицыных в селе Казацком и, кажется, довольно верно изобразил характер княгини. Полагая, что того не забыли читавшие меня, почитаю излишним как повторять сказанное мною, так и указывать на него. Оба они, мать и сын, не очень любили видеть равных себе, ибо между ними находили по большей части превосходящих их в образованности. Гораздо приятнее им было окружать себя существами подчиненными, подвластными; ей — деревенскими барынями и барскими барынями; ему, пока он ни над кем не начальствовал, — избранными холопами, из которых творил он собеседников. В отдаленном краю, где сходятся две губернии, Саратовская и Тамбовская, и по соседству с Пензенской, создала себе княгиня Голицына маленькое царство, которое, по назначении сына ее в правители, чрезвычайно умножилось присоединением к нему целой губернии.

Наш князь Григорий Пензенский был аристократ совсем особого покроя, совершенно отличный от брата своего Феодора, который настоящей тогдашней аристократии служил образцом. Он находил, что не иначе можно блистать, как в столице и при дворе; а как все усилия ума его, которого у него было довольно, к тому были направлены, то он совершенно и успевал.

Много способствовал ему выгодный брак с единственною дочерью фельдмаршала князя Прозоровского, у которой было 14 тысяч душ, из коих после едва ли осталась у нее десятая доля. Его ласково-вежливое обхождение не допускало, однако же, никакой короткости с теми, с кем он иметь ее не хотел. Старший же брат, напротив, охотно балагурил, врал, полагая, что со всеми может безнаказанно быть фамильярен. Он любил угощать у себя, попить, поесть, поплясать. По-моему, он был прав: такими только манерами можно было тогда понравиться в провинции; grand-genre князя Феодора там бы не поняли. Два брата были верным изображением — один новейшего аристократизма, заимствованного у Запада, другой — старинного русского барства. Только, к сожалению, легкомыслием, прихотями, странностями он совсем не походил на древних бояр, которые от толпы обязаны были отличаться основательностью в мыслях, обдуманностью в поступках.

Наш губернатор был чрезвычайный оригинал, и главные черты его характера непременно я должен

здесь представить. С природною смышленостью, русские равно способны и к изобретательности, и к переимчивости; но с природною же их ленью и с навыками, которые даны им лет полтораста тому назад, превратились они совершенно в постоянных подражателей всего западного. В каждом из нас более или менее есть что-то обезьянное, кого-нибудь или что-нибудь должны мы непременно копировать; наш Голицын всех нас превзошел, избрав себе не один, а несколько образцов. Ему было лет двенадцать, когда умер дедушка Потемкин; он очень хорошо мог помнить открытую грудь, босые ноги, халат нараспашку, в котором принимал он первых вельмож, сырые репу и морковь, которые, всем пресыщенный, при них же он грызал; помнил также царскую его представительность и все алмазы Востока, коими потом он осыпался. До губернаторства не имел он случая, подобно ему, являть попеременно такую простоту и такое величие. Жаль только, что он не имел сокровищ, коими владел его дед-образец: из десяти тысяч душ, после смерти отца разделенных между семью братьями, на долю его досталось не слишком огромное состояние, и он проматывал его, стараясь, елико возможно, не отставать от великолепного князя Тавриды.

Известно, что император Александр умел скрывать свой гнев и народу являл всегда одну милостивую улыбку. И это довольно удачно умели мы перенять. По воскресным дням, вместо собора, князь с своею княгиней предпочитал ездить к обедне в женский монастырь; там от святых ворот до храма было пространство, которое надобно было проходить пешком и которое наполнено бывало народом, и он шествовал об руку с супругою, ласково кланяясь направо и налево восторженной толпе. Княгиня Катерина Ивановна, жена его, урожденная Сологуб, своею кротостью и благовидностью, совсем не думая о том, была действительно сколком с Елисаветы Алексеевны.

Он любил ее и уважал и всегда был ей верен, но полагал, что владетельной особе для вида необходимо иметь метресс, как их тогда называли. Он слыхал о Людовике XIV, и кто же из находившихся тогда при дворе не слыхал о нем? Две пожилые женщины, одна вдова, другая дева, влюбились в князя, и он обрадовался тому, как способу в глазах света сих мнимых наложниц выдавать за настоящих.

Род *** есть один из древнейших в русских родословных книгах. Последний, кажется, из него, надворный советник Лев Васильевич жил в Пензе. Он был старичишка весьма неглупый, маленького роста, с маленьким в морщинах лицом и со сверкающими плутовскими серыми глазами. Известен был он как скряга, ростовщик и бесстыдный подлец, который, искусно раздражая своих должников, часто терпел от них побои, дабы заставить их после заплатить себе за бесчестие и увечье. Зато от 150 душ нажил он более тысячи и вместе с полумиллионом денег оставил их меньшому сыну и детям вдовы старшего. Эта вдова, опекунша малолетних наследников, Александра Степановна урожденная Топорнина, была действительно топорной работы, баба здоровенная, провинциалка с ног до головы и, кажись, простая, но, как говорили тогда, себе на уме. При жизни свекора, который умер незадолго до прибытия Голицына и который ей ничего не давал, с собственным малым состоянием жила она скромно, скудно, об ней мало было слышно, и презрение к покойному, ею совсем незаслуженное, как будто разливалось и на нее. Тут она воспрянула: заметив, что Голицыну очень хочется, чтоб его обожали, стала прехладнокровно его обожать; начала для него делать обеды, принимать гостей; за то он пожаловал ее маркизою де-Монтеспан, и, помнится, я подсунул ему этот титул. Она всегда составляла его партию в бостон, и как лучше его играла, то всегда обыгрывала; сверх того, давала ему деньги взаймы, только за высокие проценты и на верные векселя, за что к первому ее титулу он прибавил второй, мадам ла-Рессурс. Вот, кажется, чем ограничивались любовные связи Монтеспан с пензенским Людовиком. Ни про нее, ни про ее свекора я доселе ни слова не сказал; но пензенское дворянство неисчислимо и, право, всех не припомнишь.

Другая связь была гораздо интереснее. Сестре многореченного в предыдущей части Алексея Даниловича Копиева, девице Александре Даниловне, было гораздо за сорок лет; нескромная толщина тела и смуглость ее не молодили, но для пылких сердец нет возраста. В молодости она полюбила какого-то майора Неймича, а смерть похитила ее возлюбленного, когда он готовился быть ей супругом. Убитая горестью, она хотела идти в монастырь, убежище всех мучениц чувствительности. Чтобы приготовить себя к тому, оставила она свет, надела черное платье, постом и молитвой старалась заглушить память об ожидавшем ее блаженстве; устремившись мыслью к Богу, надеялась забыть боготворимого. Время, видно, истребляет все впечатления, все воспоминания (кроме моих). Оно успокоило ее сердце, а свет приманил ее опять к себе, но когда пленяться ей было еще легко, а пленять уже поздно. Никогда еще у брата с сестрой не было менее сходства, как у этих Копиевых. Она была тиха, скромна и до того не злоречива, что когда один раз при ней стали говорить о человеке, уличенном в отцеубийстве, она вскрикнула: ах как он дурно сделал! Никого не могла она ненавидеть, но зато слишком расположена была любить. Чтение французских романов пуще воспламенило ее воображение; в мнении ее мадам Жанлис оспаривала первенство у мадам Сталь и всегда одерживала верх; главною же ее любимицей была мадам Коттен. Уважая ее добрые, милые свойства, никто из провинциалов не хотел заметить ее смешной стороны и для потехи показать чувство, которого не имел. Напрасно: это оживило бы ее тоскливое существование. Наконец явился спаситель — это был Голицын. Возбужденною в ней страстью он гордился, смеялся над ней, выставлял ее на позор, а она не в силах была ее скрывать. Она вся предалась ей; не суждено было ей узнать сущности любви, она прилепилась к ее призраку. В уме у нее недостатка не было, и она должна была заметить, что все это вздор и что она сделалась посмешищем целого города; но что делать, так и быть! Она тешилась в мечтах и, казалось, говорила: обманывай, обманывай меня, ради Бога не переставай! Ее посвятил он в девицы ла-Валлиер. И, что всего забавнее, он заставлял жену показывать чрезвычайную холодность к обеим сим дамам. Я воображаю, как этой почтенной женщине тяжело было в угождение ему дурачиться.

Продолжая примеры свои брать свысока, он захотел быть и преобразователем Пензы, как Петр Великий. В чем же состояли предпринятые им перемены? Он нашел в одежде мужчин и женщин много отсталого, запоздалого; легкими, но часто повторяемыми шутками насчет их нарядов он многих заставил переодеться

по моде. Странность экипажей также не избегла его замечаний и насмешек; скоро начали исчезать старые колымаги и четвероместные дрожки-линейки, столь удобные для живущих в провинции недостаточных семейств. Все крепко держались привилегии, данной первым чинам до статского советника включительно, ездить цугом или шестерней; штаб-офицеры ездили четверней, а обер-офицеры не смели у себя впрягать более пары лошадей; тут было нужно нечто похожее на насилие, чтоб у пятиклассных отпрячь пару и припрячь ее к каретам людей четырнадцатого класса. У этого человека ни о чем настоящего понятия не было. Таким образом, с одной стороны, стараясь распространить все новосветское, с другой он любил придерживаться старины, во всем что только могло умножить личное его величие. О Святках всегда создавал он маскарады и на них являлся один без маски, в богатом длинном платье старинных русских бояр, стараясь разыгрывать их роль, тогда как все другие, в угождение ему, были в личинах и как можно шутовски наряжены: ему казалось, что все это дворня, которая на игрище тешит своего боярина. А иногда так у себя дома облекался он в тот же аксамит, бархат и парчу. Сиятельный изволит тешиться, говорили иные с подобострастием, а некоторые уже с насмешливою улыбкой.

Куда какой он был затейник, этот князь Григорий Сергеевич! Кого бы, вы думали, поставил он в число образцов своих? Давида, иудейского царя-пророка. В первой молодости, говорят, выучился он довольно изрядно играть на арфе, потом бросил ее, и на губернаторстве уже, видно от нечего делать, принялся опять за сие музыкальное искусство. По утрам находили его иногда в каком-то костюме, драпированного, за этим инструментом, с звуками коего сочетал он голос свой и на напевы разных песен или арий, «При долинушке стояла», «Выйду ль я на реченьку» или «Lison dormait dans un bocage», воспевал он псалмы. Вообще, он имел не большую склонность к набожности, а вкус к церковным обрядам. В деревне, как уверяли, наряжал самого себя и любимейших слуг в стихари, певал с ними на клиросе и читал апостольские послания. Утверждали, что он читает духовные книги; я уверен, что одни только литургические, зато уже других никаких в руки не брал. С этой стороны, то есть со стороны любви к церковно-служительству, опять сближался он в сходстве с высокомощным дедом своим.

Нужно ли говорить, что он составил себе двор? Между прочим, для молоденьких писцов канцелярии своей, из низкого происхождения, нанял он где-то танцмейстера, одел их на свой счет и представил в свете, где все девицы обязаны были с ними танцевать. Он называл их своими камер-юнкерами, и они отличались от других однообразным цветом жилетов. Секретарь жаловался, что некому переписывать в канцелярии, что они ничего делать не хотят; он велел набрать других, их считать сверх штата, и дал им от себя содержание.

Всему, что до него относилось, умел он давать какой-то державный вид. Занеможет ли у него жена, по всем церквам велит он служить молебствия о ее выздоровлении. Родится ли у него сын, он своеручно пишет церемониал его крестин: от губернаторского дома до собора по улице несут младенца на подушке, окруженного разряженными повивальною бабкой, нянькою, кормилицей и для прислуги девочкою; впереди и сзади два ливрейные лакея; курьер открывает шествие, другой замыкает его. Весною, при отправлении в Зубриловку (за 130 верст) семейства, свиты, живущих, дворни и конюшни, соблюдались также официальные формы, составлялся также маршрут, поезд делился на три отделения, назначались роздыхи, ночлеги, и по дороге рассылались копии с письменного распоряжения.

При таких мелочных, но многоразличных занятиях, когда ему было входить в дела по управлению губернией? Он решительно ничего не делал. Тот же плут Арфалов, уже не секретарь губернаторский, а советник губернского правления, который вкрался в доверенность к отцу моему, который сдружился с Крыжановским, при нем самовластно всем заправлял.

Человек этот был и не глупый, и не злой; умным и добрым опять назвать было его нельзя. Да что же был он? Да так, Бог знает что-то такое. Только утвердительно могу сказать, что в нем не было ни искры чувства, ни капли рассудка. Проказам, причудам его не было конца. Меня, признаюсь, часто они весьма забавляли; но иногда, глядя на них, становилось и досадно, и скучно.

С удивлением должно заметить, что все члены не одного этого семейства, но всего многочисленного, бесчисленного рода Голицыных, более или менее все на один покрой: довольно не глупы, иные весьма остроумны, веселонравны, храбры, услужливы; все это прекрасно... Правда, когда загорится война, они бросаются в службу, во многих из них удальство пробуждается; видно, что кровь литовских героев кипит еще в их жилах; но настанет мир, они погружаются в прежнюю праздность. Это напоминает дикие времена их великих предков; но в нынешний век, именующий себя просвещенным, не совсем это ловко. Весьма немногие из них (а их так много!) пытались быть поэтами, музыкантами, даже живописцами; ни один не стал выше посредственности, ни один не обещает России хорошего полководца или искусного государственного человека. Я все говорю не о прошедшем, а об настоящем.

Некоторые из внуков Гедимина явились при Василии Дмитриевиче в Московской России, когда, после кровавого хаоса, начинала понемногу принимать она тень устройства. Сперва женились они на дочерях великокняжеских, сроднились потом с другими русскими князьями и породили Голицыных, Куракиных, Корецких, Трубецких и иных. Впоследствии потомство их, размножаясь, стало наравне, не выше, не ниже, других княжеских семейств племени Рюрикова. В истории Голицыных что-то не видать [28] до правления Софии Алексеевны; при ней любимец ее Василий Васильевич между ними вдруг вырос, как великан. Могущество его в государстве равнялось силе его ума. Сия чета должна была вместе пасть в борьбе с юношей, сильнее ее и гением, и правами. Карая достойных его противников, Петр Великий всеми мерами возвышал крепких мужей, сподвижников своих, как все великие государи, которые не страшатся соперничества с необыкновенными людьми своего государства. При нем два брата, близкие родственники погубленного им Голицына, заняли первые места, один в армии, другой во флоте, оба в думе государственной; он осыпал их богатствами, а они покрыли себя славою, коей блеск разлился на всех однофамильцев их, тогда еще не столь многочисленных. Пять лет после его кончины

воцарилась Анна Иоанновна; при ней русоненавистник Бирон между русскими искал преимущественно высоких жертв; имя Голицыных паче других тогда возносилось, и казнь и заточение сделались уделом главнейших из них. Зато наступило для них время нового рода знаменитости, всенародной любви и участия. Пережившие жестокие гонения с торжеством возвратились ко двору Елисаветы. С тех пор их порода приметно стала меркнуть, хотя еще далеко было до нынешнего полного ее затмения: они все более плодились и мелели. Во второй половине прошедшего столетия только трое из них сделались известными: первый — фельдмаршал князь Александр Михайлович, которого по доказанному неискусству пришлось отозвать от начальствования армией, несмотря на взятие им приступом пустого, никем не защищаемого Хотина с брошенными пушками; другой, также князь, — Александр Михайлович, плохой дипломат, которого из вице-канцлеров перевели в обер-камергеры; наконец, третий — князь Сергий Федорович, отлично храбрый генерал, которого судьба, к счастию или к несчастию его, никогда не допустила показать себя хорошим полководцем. Еще был четвертый — князь Дмитрий Михайлович; честь и хвала ему, воздвигнувшему себе памятник — Московскую Голицынскую больницу.

Взысканные царскими милостями, обогащаемые царскими щедротами, немногие из них умели, по крайней мере, умножать собою блеск двора. Век Екатерины был для них особенно пагубен именно потому, что она особенно к ним благоволила. Несмотря на ее философствование, в Царском Селе ей хотелось Версаля; в ее угождение из Голицыных богатая молодежь разъезжилась по чужим краям и во Франции обрела рай, по возвращении же награждаема была камергерством и камер-юнкерством. Из-за границы вывезли они новые понятия о преимуществах аристократии и стали почитать себя по крайней мере наравне с дюками и пэрами той земли, где их величали принцами; начали, и не одни, свой новый аристократизм прилаживать к русскому боярству; начали явно пренебрегать не столько еще простым народом, как мелкими, хотя бы и старинными, дворянами и стараться понизить их до своей домашней прислуги, которую, выводя в мелкие чины, старались с ними сравнять. В их предприятиях большою помощницею была княгиня Наталья Петровна, умная и гордая женщина, с твердым, даже крутым нравом, вошедшая в их семейство: она лучше всякого мужчины умела поддержать на некоторой высоте род их, клонившийся к падению. Они, не думая о том, хотели вводить к нам все то, что, раздражая самолюбие средних классов, породило ужасную революцию 1789 года.

А между тем, некоторые отдаленные ветви и тогда уже не цвели, а прозябали пустоцветом в провинциях, вдали от твердого еще своего корня. В Саранске было пять бедных Голицыных, родных братьев и двоюродных князю Сергею Феодоровичу, из которых трое не служили. А как они, так и другие неимущие их соплеменники, несмотря на свою малозначительность, кичились своим именем и полагали, что после императорской фамилии их род есть первый в России! Кто это вложил им в голову? И не странно ли, что с такими предрассудками соименные им, счастливые и могущие в Петербурге без всякой причины чуждаются их? Сколько раз приходилось мне от них слышать: «Да, они тоже Голицыны, да только не из тех». Да из каких же? Леность, тщеславие и мысль, что их имя выше достоинств, приобретаемых заслугами, все более и более отдаляют их от дороги, по которой могли бы они дойти до прежней высоты. Множатся же они не по-княжески, а по-мещански. Потому-то части богатого наследства предков едва ли доходят до третьего поколения, от беспрестанного дележа, от безрассудности, нерасчетливости, неимоверной жажды к наслаждениям, одним словом, от мотовства потомков. Особенное свойство этого уже не рода, а народа, есть страсть не столько к женщинам, как к женитьбе, какое-то матримониальное бешенство, которое, впрочем, чрезвычайно для них бывает полезно; женитьба всегда восстановляет разрушенное их состояние. Можно, но трудно найти немца или Голицына, который бы женился не по расчету, на бедной девице; они так стерегут богатых невест, как Ливония и Литва в старину добычи всегда искали в России. Имя Голицыных, несмотря на то, что носящим его скоро нужно будет сделать особую перепись или ревизию, и поныне имеет еще некоторую цену в глазах провинциалов, хотя, с другой стороны, насмешливые прозвища рябчиков, куликов показывают, что она много понизилась. И хотя бы брачными союзами приобретаемые имения сохранялись в роде! Но нет, они также истребляются для поддержания великого имени великою роскошью. Наконец, что такое ныне Голицыны? Люди, которые, не хотевши знать ни подчиненности, ни трудов, ни порядка, по получении первых офицерских чинов оставляют службу, женятся, чванятся жениным имением, проживают его, множатся и плодятся. У одного князя Григория Сергеевича, о котором я здесь так много говорил, пять сыновей малочиновных, отставных, женатых, невоздержных и плодородных. Все вкупе представляют они нечто, как бы чудище обло, озорно, о тысяче зевах, поглощающих плоды долголетних усилий трудолюбивых семейств, но которые насытить его не могут; или как бы все ширеющий канал, чрез который богатства земли только что протекают. В этом только отношении, конечно, они полезны государству; ибо, приводя в движение расточаемые ими капиталы, они способствуют развитию промышленности; да сверх того, при беспрестанном переводе имений из рук в руки, пошлинами обогащают казну. И пусть бы, так и быть, разорялись сами в России; этого им мало: с некоторого времени начали они и ее разорять. Самые богатейшие из них[29] продают здесь свои имения, селятся за границей, переводят туда миллионы и передают их в руки иезуитов, лютейших врагов Православия. Если между русскими захотите вы узнать изменников вере отцов своих, не ищите их в других семействах, их там нет; всех найдете вы между одними Голицыными обоего пола.

Увы, все, что сказал я о сих падших, до некоторой степени может относиться и до большей половины моих соотечественников из дворян, почитающих себя просвещенными, разумеется, только в гораздо уменьшенном виде.

* * * * * * * * * *

Глава III

Менее полуторы тысячи верст отделяют Пензу от Петербурга. В нашем необъятном государстве, кажется, пространство не слишком великое, а насчет любопытных известий оттуда мы жили, словно в Иркутске.

Горизонт наш был весьма ограничен; еще менее, чем в Москве, думали мы о том, что нас ожидает, и вседневный вздор, который слышал я вокруг себя, неприметно успокаивал волнуемую страхом душу мою.

Первая важная весть, которую получили мы в конце марта, была о неожиданных отставке и ссылке Сперанского; но эта весть громко разнеслась по всей России. Не знаю, смерть лютого тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость. А это был человек, который никого не оскорбил обидным словом, который никогда не искал погибели ни единого из многочисленных личных врагов своих, который, мало показываясь, в продолжение многих лет трудился в тишине кабинета своего. Но на кабинет сей смотрели все, как на Пандорин ящик, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою все наше отечество. Все были уверены, что неоспоримые доказательства в его виновности открыли, наконец, глаза обманутому государю; только дивились милосердию его и роптали. Как можно было не казнить преступника, государственного изменника, предателя и довольствоваться удалением его из столицы и устранением от дел! Не менее того сию меру, слишком строгую, если человек был безвинен, торжествовали как первую победу над французами. Многие, помню, приходили меня с этим поздравлять, и, виноват, я принимал поздравления.

Непонятно также казалось молчание, хранимое ведомостями о столь важной перемене, тогда как они всегда возвещали об отставке чиновников, невысокие места занимавших. Оттого многие не хотели верить своему счастию, пока из соседнего Нижнего Новгорода, совсем не ужасного места заточения его, не были получены точные сведения о прибытии его туда, о снисходительном приеме, сделанном ему губернатором, и об уединенном образе жизни, который он начал там вести. Между тем слух о его измене, настоящей или мнимой, распространился и между простым народом: не подозревая того, летом отправился он взглянуть на Макарьевскую ярмарку; проходя гостиным двором, он едва не был умерщвлен разъяренною чернью и спасся через лавку знакомого ему купца. Главное тогда областное начальство, желая будто спасти дни его, а вероятно, движимое местию, отправило его на жительство в холодный, скучный губернский город Пермь.

Уже давно все это было, уже давно нет того, кто был благом и казнию Сперанского, его самого уже нет, а повесть об его изгнании все еще остается для нас загадкою и, вероятно, даже потомством нашим не будет разгадана. В преданиях русских она останется то же, что во Франции история о Железной Маске. Я полагаю, что он был виновен, но не совсем. Сопровождая Александра в Эрфурт, он был очарован величием Наполеона; замечено уже, что все люди, из ничего высоко поднявшиеся, не смея завидовать избраннику счастия и славы, видели в нем свой образец и кумир и почтительнее других ему поклонялись. Мало заботясь об участи отечества, будучи уверен, что Наполеон одолеет нас, мог он от последствий сей войны ожидать чего-то для себя полезного, мог питать какие-нибудь неясные надежды; но, чтоб он вошел в тайные сношения с неприятелем, это дело невозможное: он был слишком осторожен. Как ни воздержан был он в речах своих, но приятных, сильных своих ощущений при имени нашего врага он скрывать не мог. В глазах людей, окружавших царя, и особенно сестры его, Екатерины Павловны, это одно уже было великое преступление и было важнейшим орудием к обвинению его. В беспокойстве духа, в котором находился государь при ожидании великих событий, предался он подозрениям и решился величию обстоятельств принести великую жертву. Вся Россия требовала ее, и на этот раз только в гласе народа послышался Александру глас Божий. Иначе я этого дела объяснить не умею.

Не помню, какой-то французский писатель (ныне их так много), но уже верно не добрый человек [30], сказал, что в несчастиях самих друзей наших для всякого из нас есть всегда какая-нибудь отрадная сторона. Мне кажется, напротив: я не скрою, что падение Сперанского мне было приятно, ибо я разделял общее мнение об нем; но с тем вместе, вспоминая его счастливые дни, представляя себе страдания его при переезде из одной ссылки в другую, под проклятиями народными, грустное чувство, против воли моей, закрадывалось мне в сердце.

* * * * * * * * * *

Сколько лет семейство мое праздновало 12 июня, день рождения покойного родителя нашего! В этом году матери моей угодно было, чтобы сей день отпразднован был печальным обрядом поминовения над его могилою. Ни сама она, ни меньшая сестра, по совершенному расстройству нерв, не могли там находиться. Мы одни с старшею сестрой отправились в село Симбухино и встретили там архимандрита и соборных протоиереев с церковным причтом. По окончании обедни и торжественной панихиды довольно роскошно угощали мы их трапезой, в доме, недавно отделанном покойником. Горесть мою время смягчило, ослабило, и во время богослужения молился я усердно о душе давшего мне жизнь, но признаюсь, без чувства первой глубокой печали. Во время же обеда и совершаемой по нем тризны, вдруг почувствовал я сильное волнение в груди; непонятные мне грусть и тоска овладели мною, и, стараясь скрыть невольные слезы, я даже зарыдал. Дело чудное: в сем тяжком чувстве был какой-то и восторг. Пусть не верят предчувствиям, пусть смеются над ними, а мне столько раз возвещали они печали и радости, что я принужден в них верить. Наполеонова армия в этот день переправлялась через Неман.

С конца мая в Пензе царствовала мертвая тишина: все помещики разъехались по деревням, и сам губернатор Голицын, пользуясь данным ему правом, с семейством и братьями жил у матери в Зубриловке. Я тоже только два раза в неделю покидал Симбухино, чтобы навестить мою мать, которой отсоветовали жить в деревне и которая, оставив прежде занимаемый ею собственный дом, где, как говорила, лишилась она своего счастья, жила на горе, близ рощи, в самом уединенном углу Пензы, в небольшом домике, состоящем из трех или четырех келий. Я не скучал деревенскою жизнью и моим одиночеством; занимался хозяйством, читал книги из множества в последнее время отцом моим накупленных, гулял по саду, им насажденному, бродил по рощам, наше селение окружающим, иногда для перемены ездил верхом.

Ничто не говорило о войне, лето стояло прекраснейшее, и все было так успокоительно. Перед ярмаркой, к 24 июня, все опять начали сбираться.

В это время был тут, не помню из армии или из Петербурга, какой-то свитский полковник Энгельсон, проездом в Оренбург. Он всем рассказывал, что ничего еще не слыхать о разрыве с Наполеоном, что посол его Лористон все еще находится в Петербурге и со многими бьется об заклад, что войне не бывать, и что сам он полагает, что без нее дело обойдется. Я не видел его, но слышанному поверил с провинциальным легковерием. Находят же на людей дни глупости, и на меня чаще, чем на других. Газеты наши, правда, были скромнее, нежели когда-либо; однако же и в них видели мы, что Наполеон прибыл в Дрезден, что он председательствует в сонме королей, как бы для совещания о великом предприятии, что сам тестюшка, император Австрийский, явился тут более в виде главного вассала, чем союзника его, и, наконец, что король Прусский (точные слова газеты) всячески старается ему угодить и ни в чем не посмеет отказывать. И после того думать, что громовые тучи, со всех концов сошедшиеся, сгустившиеся, нависшие, без столкновения опять разойдутся! Однако же, оно было так и, что всего страннее, в Вильне точно так же, как и в Пензе. И если бы даже предполагать возможность возобновления союза с этим человеком, то можно ли было надеяться, что сие будет без величайших пожертвований для чести и выгоды России? А в таком случае всякому благородно мыслящему русскому должно было желать войны, как последнего, отчаянного средства. Но мы были, как боязливые люди, которые, встречаясь с чем-нибудь ужасным, закрывают глаза.

Ярмарка была чрезвычайно многолюдна и шумна. Сделавшись сперва гораздо спокойнее, стал я и повеселее: не отказывался от званых обедов и даже в Петров день, 29 июня, конец кратковременной ярмарки, хотя будучи в трауре и не имел права быть на бале, который дворянство давало во вновь выстроенной большой галерее, разгуливал, однако же, в освещенном вокруг ее саде и все видел. Я попросил бы читателя припомнить себе некую Катерину Васильевну Кожину, урожденную княжну Долгорукую, жену любителя и содержателя театра, а тут уже вдову, которая, имея гораздо более сорока лет, любила еще невинным образом пококетничать. Она избрала себе в обожатели равного себе, князя Василия, одного из меньших братьев губернатора Голицына: он будто бы влюблен был в нее, а я будто бы ревновал. Где-то на вечере, 30 июня, пригласила она обоих нас на следующее утро к ней завтракать; а мы уговорились между собою, чтоб играть у нее роли, ему торжествующего, а мне отчаянного любовника. В приятном ожидании этой комедии заснул я, не зная, что на другой день меня ожидает.

Глава IV

Часу в одиннадцатом утра, 1 июля, зашел я к Голицыным, которые жили отдельно от брата в купленном их матерью особом доме. Я стал торопить князя Василия, чтоб он скорее одевался, и мы совсем готовы были в поход, как вдруг вбежал самый меньшой из братьев, Владимир, всегдашний повеса и вечный хохотун, в столь смущенном виде, что, вероятно, он раз в жизни только его имел. Он пришел от князя Григория, и вот что он нам рассказал: чиновник, посланный от губернатора с гуртом быков, пожертвованных дворянством, не мог довести их до места назначения, ибо довольно далеко от него встретил он армию, поспешно ретирующуюся, и с трудом мог добиться, кому их сдать. Он воротился на курьерских и сказывал, между прочим, что Наполеон уже в Вильне.

Я был поражен известием, но не менее того изумлен действием, которое произвело оно на Василия Голицына: он побледнел, и право не от страха, и выронил из рук трость, которую держал. Как? И это те легкомысленные мальчики, которым отроду серьезная мысль не входила в голову! О, Господи, подумал я, дай, чтобы вторжение французов во всех произвело подобное действие, и мы спасены. «Нет, видно, нам сегодня не идти к Кожиной», — сказал Василий. «И я тоже думаю», — отвечал я, и мы послали слугу с извинением.

Задумавшись, медленными шагами пошел я домой, и вот как рассуждал я. Невозможно, чтоб армия так быстро отступала, не проиграв генерального сражения: теперь где она остановится? Этому человеку открыт путь вовнутрь России, и что с нами будет! Я один занимал собственный дом, в коем скончался отец мой, довольно далеко от наемной квартиры, которую мать моя занимала, и все применил, чтобы идти к ней, не зная, как ей объявить нерадостную весть; но я нашел, что она об ней уже знала, и гораздо более меня.

Почта из столиц обыкновенно приходила по понедельникам, чем свет; в этот день, который также был понедельник, она опоздала несколькими часами. В Московских Ведомостях, которые привезла она, находился рескрипт государя на имя графа Салтыкова, председателя Государственного Совета, который можно было почитать объявлением войны [31].

В прибавлениях припечатано было известие о попятном движении корпусов первой армии, дабы более сосредоточить ее. Рескрипт был от 13 июня из Вильны; пока он дошел до Петербурга, оттуда до Москвы, там напечатан, и по почте у нас получен, прошло 18 дней. Газеты поспешили доставить к матери моей и до меня еще успели ей прочитать их.

Нельзя мне было не удивиться внезапной перемене, которую нашел я в ней. Она с мужем похоронила свое счастье, все радости свои и почитала себя чуждою всему, что происходит в мире сем. Так оно и было, пока голос отечества не отозвался в сердце ее; погибель, ему грозящая, дала ей почувствовать, что на свете есть еще, что ей любить, за что ей страшиться. Она как будто ожила и вместе с тем укрепилась верою: я нашел ее почти спокойною. Видя мое уныние, она сказала мне только: «Молись, молись; поверь, это одно только может спасти нас». Итак, появление врага особ разного пола и возраста в один миг заставило забыть и горе, и веселье.

К печальному и великому как часто примешивается и смешное. Вскоре после меня приехала к матери моей разгневанная Кожина и самым неучтивым образом принялась упрекать меня в неучтивости: она никак понять не могла, что с полученным известием может иметь общего приготовленный на славу ею завтрак; я даже не хотел и слушать ее. Наконец вступилась за меня мать моя, которая гораздо старее ее была летами и, подобно ей, не была воспитана в Смольном монастыре, но гораздо ее богаче была умом и чувствами. Она сказала ей: «И, матушка, полно, об чем тут толковать! Да пропадай твой завтрак; до него ли, помилуй». Тогда меня она оставила в покое.

По прочтении газет у меня немного отлегло на сердце. Стало быть, армия цела, сказал я сам себе; да еще их

четыре, как вижу из газет; первою и второю начальствуют Барклай и Багратион, третья, резервная, под начальством Тормасова, а четвертую из Молдавии ведет Чичагов. Если б им сойтись на каком-нибудь укрепленном пункте, то, кажется, трудно будет Наполеону разбить их. Не менее того ободряло меня совершенное перерождение большей части наших помещиков: они не хвастались, не храбрились, а показывали спокойную решимость жертвовать всем, и жизнию, и состоянием, чтобы спасти честь и независимость России. Весьма немногие не об ней думали, а о своей особе и о своем ларце, и те втихомолку только вздыхали. Все это похоже было на чудо, совершающееся в глазах наших.

Я опять уехал в деревню, но жизнь моя там не была уже, как прежде, спокойна и безмятежна; часто не понимал я, что читаю, и, прогуливаясь, иногда сбивался с дороги. Более всего страшил меня поносный мир после решительной победы над нашею армией. В город ездил я только по почтовым дням за новостями; в газетах ничего не видел такого, что бы могло умножить наши опасения, зато и ничего утешительного в них не находил. Казалось сперва, что войска наши хотят упереться на Двину; но потом заметно было, что и за эту линию намерены перейти. Так оно было по 19 июля.

В этот день к вечеру приехала навестить меня семидесятилетняя старушка, мамушка моя, Аксинья Ивановна, которую можно найти в начале моих воспоминаний о давно прошедшем. Между разговорами сказала она мне, что в городе большая суматоха, что пришел, дескать, указ, и назначен престрашный рекрутский набор, по четыре человека со ста душ. Это меня озадачило. Что-то не к добру, подумал я: ведь это почти поголовщина. Ночью я мало спал и рано поутру поскакал в Пензу.

Дело совсем не было так страшно, как я вообразил себе. Никакой победы француз еще не одержал над русскими, но 18-го числа получен был с курьером знаменитый манифест из Полоцка от 6 июля, в коем государь, величая дворян Пожарскими, купцов Миниными и духовенство Палицыными, всех призывает к оружию. Ему неизвестно, кажется, еще было, что силы, Наполеоном против нас собранные, несметны: шестьюстами тысяч воинов предводительствовал этот искусный и счастливый полководец, и его европейская орда посильнее была Батыевой. И, о диво! Этот манифест, sauve qui peut, который мог бы привести в отчаяние жителей другой страны, вдруг возвысил дух наших сограждан. Они увлечены были величием зрелища, в коем отечество наше готовилось сразиться с целою частью мира, и почувствовали, что хотят и должны быть в нем действующими лицами.

Губернатор дожидался только распоряжений правительства, чтобы созвать дворянство; они получены с почтою 22 июля. Народное ополчение должно составиться из трех главных отделений; главноначальствующими над ними назначены: в Петербурге — прибывший из Бухареста князь Михаил Ларионович Кутузов, в Москве — граф Растопчин, в Нижнем Новгороде — граф Петр Александрович Толстой, бывший военный губернатор в Петербурге, бывший посол в Париже; по полученным в тот же день известиям сей последний прибыл уже к месту назначения своего. В состав третьего отделения входила и Пензенская губерния, которая одна должна была выставить 10 тысяч ратников.

По письмам из Москвы, с тою же почтой полученным, узнали мы, что государь, оставив армию, явился к ней печальный, встревоженный. Описывали в них почтительное к нему сострадание дворянства и купечества, трогательные их сцены с ним; как один смелый купец подступил к нему и сказал: «Батюшка, посмотри, здесь сколько нас, а в России у тебя нас в тысячу раз больше, когда ни одного не останется, когда всех перебьют, тогда только унывай».

Между тем, сгорая огнем любви к отечеству, отважный, неутомимый Растопчин всеми силами раздувал благородное пламя между жителями вверенного ему города; он успел в них пробудить давно уснувший в лени и праздности доблестный дух предков их. Подобно нашим знатным, был он воспитан за границею и знал в совершенстве иностранные языки, но тем отличался от вельможных, что славно выучился и отечественному, и не гнушался даже простонародным. Он пригодился ему, когда среди волнения, произведенного грозными обстоятельствами, ежедневно разговаривал он с народом посредством печатных афишек, которые приправлял он разными прибаутками и коими веселил, ободрял и воспламенял его к добру. Это была не война обыкновенная государства с государством, а великое восстание, общее дело, в котором необходимо было и простой народ сделать участником.

Все с тою же почтой семейство наше обрадовано было письмом от брата из армии. Более месяца не имели мы об нем никакого известия после последнего письма его из Москвы. Он уведомлял нас, что пользуется особым случаем писать к нам, а что сообщения весьма затруднены. Мы не понимали, отчего это вероятно, чтобы внутри государства не знали наверное, что происходит в армии.

Известия из нее, официально объявляемые, становились, однако же, живее и любопытнее. Поражениям французов Платовым при Мире, Остерманом при Островне и Багратионом при Дашковке мы что-то плохо верили и почитали их более стычками, в которых едва удалось неприятелю дать отпор. Я был не великий стратег и не умел понять, что дело Багратиона стоит великой победы; ибо он пробился сквозь французскую армию, чтобы соединиться с Барклаем, тогда как намерение Наполеона было непременно отрезать его. Но первая, настоящая победа графа Витгенштейна при Клястицах всех чрезвычайно восхитила. Не было обеда, даже семейного, на котором бы не пили за здоровье победителя. Имя его, дотоле вовсе неизвестное, с шумом пронеслось по всей России; все находили, что спасение часто приходит к нам оттуда, откуда мы его не ожидаем, и оттого еще более утверждались в вере на помощь Всевышнего.

В Москве, после посещения, сделанного ей государем (который, пробыв два дня, отправился в Петербург), все закипело, все запылало усердием к великому делу спасения отечества. Все в ней делалось на широкую руку. Но боярское тщеславие и тут не забыло себя выказать: молодые люди, знатные и богатые, не владеющие, однако же, миллионами, метившие в вельможи или, лучше сказать, по праву наследства почитающие себя ими, предложили на свой счет сформировать полки, с тем условием, чтоб они назначены были их шефами и полки носили их имена. Отставной гвардии ротмистр граф Салтыков, добрый малый, о котором мне случалось упоминать, сын графа Ивана Петровича,

обремененный долгами, взялся поставить гусарский полк; казачий конный полк начал собирать надменный мальчик граф Мамонов, который впоследствии от спеси сошел с ума, сын одного из любимцев Екатерины, первый из Мамоновых родившийся графом; камер-юнкер князь Николай Сергеевич Гагарин хотел набрать егерский полк, а Николай Никитич Демидов, всех их вместе гораздо богаче, чтобы не отстать, довольствовался простым пехотным. Купцы не брались формировать полки, но так и посыпали золотом. В Петербурге без шуму, без преувеличения, без возгласов дело шло точно так же: не щадили капиталов, поспешно и деятельно собирали и вооружали войско.

Дошла и до нас очередь. В конце июля съехалось дворянство, чтобы приступить к расчету сумм, потребных на обмундирование и вооружение десяти тысяч воинов и к назначению мер для исправного собирания их с помещиков по числу душ, ими владеемых; также должно оно было поспешить избранием как начальника всего ополчения, так и полковых и сотенных начальников. Дело пошло как нельзя лучше. Отставных военных штаб-обер-офицеров не было и десятой доли против нынешнего, а все-таки их было много; не сыскалось ни единого, который бы пожелал остаться дома, все явились на службу. Однако же для пополнения всех мест их было недостаточно; дозволено было гражданским чиновникам, служащим и отставным, вступать в ополчение, только с потерею двух или трех чинов; это никого не удержало: сотни предложили свои услуги. И это были не одни помещики и дети их: канцелярии присутственных мест начали пустеть. Наконец, множество семинаристов, сыновей священников и церковнослужителей бросились в простые рядовые, впрочем, уверены будучи, что, как людей письменных, грамотных, не замедлят их сделать урядниками.

Начальником Пензенского ополчения был выбран отставной генерал-майор Николай Федорович Кишенский, который давно уже не служил, однако же был еще не стар. Он решился жениться на чрезвычайно безобразной и хворой единственной дочери Александра Васильевича Салтыкова, не знаю почему прозванного а-ля-Кок, который умер, не успев промотать последнее имение свое, тысячи полторы душ в селе Бессоновке, под самой Пензой находящемся. Госпожа Кишенская прожила недолго и, умирая, все имение отказала мужу. Он был человек дюжий, широкоплечий, довольно простой, ласковый, даже чересчур, ибо обходился со всеми, как говорится, запанибрата. Его генеральский чин, мужественный вид, обходительность и большое состояние решили выбор дворянства.

Многие из помещиков опасались, что приближение французской армии и тайно подосланные от нее люди прельщениями, подговорами возмутят против них крестьян и дворовых людей. Напротив, в это время казалось, что с дворянами и купцами слились они в одно тело.

Ничто так не раздирает душу, как зрелище обыкновенных рекрутских наборов: отовсюду слышны стон и вой. Мирные поселяне, от самого рождения привычкою прикованные к земле, не имеют других желаний, кроме хорошего урожая; повышение, слава суть для них слова непонятные; вдруг отрывают их от всего родного, привычного; они трудолюбивы и не знают боязни, но неведомое ужасает их; все ближние их заживо хоронят; что удивительного, если горький плач и ропот всегда бывают при исполнении сего насильственного действия? Тут, при наборе ратников, видели мы совсем тому противное; радость была написана на лице тех, на коих пал жребий; семейства их, жены, матери осыпали их ласками, целовали, миловали, дарили чем могли. «Голубчик, ведь ты идешь за нас да за Божье дело», — повторяли они.

Названия дружин, ратников ополчения, совершенно отечественные, всем были приятны. Самый наряд ополченных, совсем уже не богатый, но отличающий их от линейного войска, чрезвычайно всем понравился. Он состоял из казацкого платья, кафтана и шаровар светло-серого простого сукна с зеленым воротником, цветом пензенского герба. Офицеры и их начальники имели право носить тонкое сукно и наплечники (имя, которое хотели дать тогда эполетам); ратникам же, имеющим бороду, дозволено было и даже велено не брить ее. Вооружение состояло из самых простых сабель и пик; других оружий достать было негде и не на что; правительство обещало само доставить их. Наконец, шапка, украшенная медным крестом, к которому, подобно Людовику XI, многие из ратников прикладывались, прежде чем ее надевали, довершала давать этому сборищу вид воинства Христова. Все это было в таком восторженном состоянии, что, право, описать его нельзя.

Читателю покажется удивительным, что при описании всеобщего сильного движения умов я ничего не упоминаю о себе. Человек этот, видно, толковал все о любви к отечеству, пока дело не дошло до опасности, скажет он. Я никогда не хвастался храбростью, и мне приятно думать, что сограждане мои в этом году превзошли меня в патриотических чувствах. Но в прекрасном чаду, в котором кружились тогда все головы (и который, увы, в следующем же году рассеялся), никто не думал о жизни; и мне оставалось, никого не возбуждая, следовать только общему примеру: я так и сделал. Ни с кем не посоветовавшись, пошел я к генералу Кишенскому и предложил ему себя, не имея никакого понятия о фронтовой службе и полагая, что под неприятельским огнем все равно быть, начальствуя ли взводом, исполняя ли приказания начальника. Я сказал ему, что мне бы приятно было находиться при его высокой особе. Тогда, приняв вид уже главнокомандующего, объявил он мне, что число желающих окружать его очень велико и что потому затрудняется он исполнить мою просьбу. Не обидясь отказом человека, с которым несколько дней перед тем, опасаясь скуки, я не охотно вступал в разговоры, так почтительно, так убедительно повторил я свою просьбу, что, наконец, изъявил он согласие и через два дня велел подать просьбу.

Но в тот же день успел он рассказать в городе о молениях моих, о моей настойчивости. Если не обманывает меня самолюбие, то я вижу тут маленькое его хвастовство: в Пензе не прослыл я человеком слишком низкопоклонным. Разумеется, на другой же день дошло это до матери моей, которая, призвав меня, слезно стала убеждать оставить мое намерение. Она обратила ко мне сию для самолюбия моего не совсем лестную речь. «Послушай: брат и зять твой на войне, имение расстроено, ты видишь, в каком я положении, мы с сестрами твоими без тебя совершенно сироты; я знаю, мужчинка ты ледащий, да все-таки мужчинка; пока ты тут, все-таки есть у нас опора и защита. Подумай, и в крестьянской семье последнего не берут

в рекруты; много ли в войске одним собою ты прибавишь? Ну, если Всевышнему так угодно, чтобы злодей добрался до нас, тогда удерживать тебя не буду, ступай с Богом, я сама благословлю». Не знаю, на моем месте кто-либо другой поступил ли бы иначе, как я. Скоро представился случай в этой экстраординарной службе и мне не остаться бесполезным.

С тою же почтительною покорностью, с которою ходил я просить генерала Кишенского, пошел я благодарить его за данное мне позволение и объяснить невозможность воспользоваться им. В Пензе, где дворянство почти всегда не в меру было спесиво, и где состояние всегда предпочиталось чинам, вы бы с удивлением увидели почтение и послушание, оказываемые людьми довольно богатыми, вступившими в ополчение, тем, кои становились их начальниками. Самолюбие было первою жертвой, которое дворянство в этот чудный год предавало закланию на жертвенники отечества. Самый простой народ сделался гораздо смелее в поступи и речах [32], за то в действиях никогда не показывал такого повиновения. Право, глядя на все это, сердце не нарадовалось. Это всегда спасало Россию и отличало от других государств, как, например, от Польши или от Франции: там лишь народ почует, что узда опущена и что он делается нужен, начнет шуметь, бурлить, и с ним не сладишь.

В первой половине августа начали появляться у нас еще не эмигранты из захваченных Наполеоном областей (дотоле все были одни так называемые польские губернии), а ссыльные по высочайшему повелению.

Первою из них была графиня Рыщевская, урожденная Холоневская, богатая и пожилая полька, которая слишком много любила заниматься политикой. Волынский губернатор, Михаил Иванович Комбурлей, не мог остаться равнодушен, зная о воззваниях ее к помещикам, когда неприятельская армия показалась в России: по праву, ему данному, в критических обстоятельствах, в коих находилась его губерния, он именем государя отправил ее во внутренние губернии, и Пензе досталась она на долю. Некоторые, только весьма немногие, обвиняли Комбурлея в жестокости к слабой женщине, знатной и образованной; но вскоре все ее раскусили. В ней был самый злой полонизм, умеряемый светским знанием и приятным обхождением, и если в глубине России, в заточении своем, она не хотела скрывать ни желаний, ни надежд своих, видя себя окруженною народом, вооружающимся для сопротивления их исполнению, то можно посудить о деяниях ее, когда она находилась на свободе и на Волыни. Она наняла самый лучший дом в Пензе, привезла с собой славного повара и сделала визиты всем дамам, из коих весьма немногие их отплатили ей. Мать моя, которая ни к кому не ездила и, не зная иностранных языков, не могла с ней объясняться, передала ее моему угощению. Мы очень хорошо сошлись; было нам о чем потолковать. Я должен был прикидываться разделяющим не чувства ее, а мнения насчет неизбежного падения России. Но, однако же, всегда оканчивал я тем наши разговоры, и начинал, как умел, указывать на средства к ее спасению и даже возвеличиванию. Сии часто повторяемые, однако же, начинали ее сердить, и как она была женщина умная, то и не могла не догадаться, что я всепокорнейше ее дразню. Она не вытерпела и стала мне грубить; я тоже снял маску и самым учтивым образом язвил ее национальное самолюбие. Мы, слава Богу, наконец совсем поссорились.

Другой изгнанник был француз в русской службе, полковник Радюльф, который сослан был за то, что не согласился идти воевать против соотечественников. Все косились на него; а мне понравился он, как человек скромный, честный, который, не принадлежа к дореволюционной Франции, хотел исполнить долг свой; в самой ссылке его видел я одну меру предосторожности правительства. Третий, вероятно, по ошибке попал в Пензу: его бы следовало отправить в Нерчинск, ибо он был совершенно каторжный. Я слыхал и читывал о санкюлотизме, бывшем в ужаснейшие и отвратительнейшие дни французской революции, а не имел об нем настоящего понятия; он мне предстал в лице г. Магиера [33]. Наглость и дерзость, безнравственность и неверие перешли в нем за границы возможного. Не понимаю, как пустили его в Россию, а еще менее, как одна нежная и попечительная мать могла поручить ему воспитание любимейшего сына. Мальчик, с сердцем нежным и благородным, с умом быстро понятливым и любознательным, с дарованиями необыкновенными, которые могли бы послужить к чести и пользе отечества, от пагубных правил, почти в младенчестве внушенных ему сим отравителем, сделался почти преступным и кончил несчастную жизнь, едва перешед за обыкновенную половину пути ее. И в глубокой старости гордая и упрямая мать не хочет сознаться, что она была главнейшею, единственною виной погибели сыновей своих. Я бы ее назвал, но теперь еще не до нее. В последнее время находился он при образовании безобразного сына уродливого графа Хвостова, которого шурин, князь Алексей Иванович Горчаков, управлял тогда министерством военным, на время командования Барклаем одною из действующих армий. Вслушавшись в дерзкие речи его, Горчаков счел его опасным и отправил в Пензу; а он там рассказывал, будто это сделано было с намерением разорвать любовные связи его с какою-то кузиной, княжной Горчаковой, как всякий француз, который самохвальству своему честь женщины приносит в жертву. Но никто не хотел ему верить.

Накануне Успеньева дня пришли мне сказать, что некто Мордвинов желает меня видеть. Я оделся наскоро, чтобы к нему выйти, и, взглянув на него, изумился: я не имел понятия о необыкновенной красоте, которую может иметь старость. Передо мною был человек не с большим лет шестидесяти, невысокого роста, одетый с изысканною опрятностью, в черном фраке не нового покроя, с расчесанными и на обе стороны распущенными белыми волосами, с чрезвычайною живостию во взорах, с удивительною приятностию в голосе, что-то напоминающий собою Вакефильдского священника Вальтер Скотта: передо мною был прославившийся в государстве Николай Семенович Мордвинов. Приехав накануне вечером в Пензу, он с семейством своим, состоящим из жены, трех молодых дочерей и малолетнего сына, остановился в каком-то заезжем доме, в нижней части города. Неизвестно, по каким причинам, находясь в службе, намеревался он провести у нас всю зиму и для этого искал для себя удобную квартиру. Как лучший дом был занят полькою Рыщевской, ему указали на наш, который не велик и не красив был, однако же чрезвычайно поместителен; но мать моя, переехав из него, не хотела ни отдавать его внаймы, ни сама возвращаться в него, а оставить его в том виде, в котором он находился в минуту кончины отца моего. Смущенный внезапным появлением

г. Мордвинова, я не умел порядочно с ним объясниться и почтительно повел его показывать ему комнаты. Он остался доволен как числом, так и расположением их и вдруг спросил меня о цене. Еще более смешавшись, я запросил 1500 рублей в год, сумму тогда необъятную в провинции, в надежде, что он начнет торговаться, и я могу отослать его к настоящей владелице дома. Но он этого не сделал и вмиг согласился дать мне требуемую сумму. Тогда решился я объявить ему, что мне нужно переговорить о том с матерью, а он сказал мне, что за ответом сам придет к ней после обеда. Скорее побежал я к ней и не без труда мог получить ее согласие, представляя ей, что само небо, кажется, со всех сторон посылает нам средства к скорейшей уплате долгов наших.

Неожиданный приезд столь знаменитого человека, как Мордвинов, бывшего морского министра, настоящего председателя одного из департаментов Государственного совета, в другое время взволновал бы весь наш губернский город. Тут этого не было. Голицынская спесь заставила губернатора оказать приезжему совершенное невнимание: чтобы не совсем показаться ему неучтивым, поспешил он уехать на ярмарку в Саранск. В Петербурге от Мордвинова совершенно зависело принадлежать к высшей аристократии, но он любил делать все по-своему. Женившись в Ливорно на скромной девице, дочери английского консула Кобле, всегда вел он с нею жизнь довольно уединенную, в кругу своего семейства, в кругу близких и дальних родственников, старинных, просвещенных и достаточных дворян, которые не думали гоняться за знатностью; охотно принимал он у себя также ученых, артистов и литераторов. Оттого между аристократами прослыл он вольнодумцем, республиканцем; внутри России почитали его усердным, смелым патриотом. Ничего этого не было. У него была страсть риторствовать, изумлять довольно смелыми, на Западе совсем не новыми мыслями; но сильных внутренних убеждений, но положительных, твердых мнений ни о чем у него не было. Пожалуй, это можно назвать беспристрастием, умеренностью. Например, он был одним из основателей «Беседы российского слова» и почитался задушевным другом русомана до безумия, Александра Семеновича Шишкова, нового государственного секретаря; в то же время всем известны были связи его со Сперанским, и он явно и громко порицал строгость, употребленную с сим падшим временщиком. Неизвестно, немилость ли к нему двора, или его собственное неудовольствие на правительство заставили его выехать из Петербурга. Так, по крайней мере, казалось; и это в тогдашних обстоятельствах, вместе с внушениями Голицына удержало дворян от изъявлений знаков должного к нему уважения, от которых, впрочем, и сам он уклонился. за год перед этим, рассчитывая на плодородие Пензенской губернии, купил он в ней тысячу душ; но имение было малоземельное, и он никакого почти не получал с него доходу: он хотел накупить земель в Саратовских степях, чтобы переселить туда половину крестьян, и, по словам его, вот была причина появления его между нами.

Итак, я стал тесниться в бане, на одном дворе с матерью моей, оставив чертоги свои; но по приглашению нанимателя иногда посещал их. Супруга его, Генриетта Александровна, милая и почтенная дама, в уединении своем (ибо никто к ним не ездил) всегда мне была очень рада; но молоденькие мисс Мордвиновы были отменно дики и, казалось, страшились дуновения мужчин. Самого же Николая Семеновича я всегда слушал с жадным любопытством и, кажется, иногда понимал; я находил много ума, бездну познаний, но, признаюсь, толку никакого. К несчастию моему, осенью маленькое семейное его общество умножилось прибытием к нему одного молодого ученого, весьма почтенного Гульянова, который впоследствии сделался так известен соперничеством с Шампольйоном в объяснении гиероглифических знаков. Он все рассуждал со мною о санскритском языке, которого даже названия я дотоле не слыхивал. Не подозревая, что он говорит со мною о прародителе нашего русского и всех славянских языков, мне казалось, что дело идет о Священном Писании, sancto scripto, и это недоразумение, обнаруживая все невежество мое, совершенно погубило меня в мнении Мордвинова; я заметил это и совсем отстал от дому его.

Со всеми этими приезжими я как будто потерял из виду великий предмет, который тогда всех и каждого беспрестанно, исключительно занимал, как будто позабыл о войне. Правда, недели две уже никаких почти о ней известий не было, все как будто поумолкло, попритихло, и что-то такое похожее на надежду стало оживлять нас. Мы знали или, лучше сказать, слышали, что две главные армии, Барклая и Багратиона, должны были соединиться или уже соединились под укрепленным Смоленском, над трудною переправой через Днепр. Этот оплот был упование наше, мы в нем для Наполеона видели столпы Геркулесовы, за которые сила его не прорвется.

Между тем губернатор отправился в Саранск совсем не на ярмарку, а более для свидания с главноначальствовавшим над ополчениями графом Петром Александровичем Толстым, для совещаний с ним и для принятия его приказаний по делу вооружения. В воскресенье 18 августа (мне так памятны все эти числа), день был прекрасный, вечер теплый и ясный, и мне почти было весело, гуляя по городу, вдруг повстречался я с канцелярским чиновником, любимцем Голицына, которого брал он с собою.

— Вы уже опять здесь, — сказал я ему, — как вы скоро воротились!

— Да что делать, — отвечал он, — беда, пришло ужасное известие, была большая резня, и в самый день Преображения французы штурмом взяли Смоленск; граф в отчаянии поспешил обратно в Нижний Новгород, и нам уже без него в Саранске ничего не оставалось делать.

Было уже поздно; как одурелый побрел я домой и не зашел к матери, чтобы не испугать ее отчаянным видом своим.

Это был третий электрический удар, который раздался по всей России, который, поражая печалью сердца русских, как будто всякий раз все более возжигал в них мужество и усердие защищать отечество. На другой день, в понедельник 19-го числа, многие сбежались на почту, в том числе и я. Вот какие вести привезла она нам: государь отлучался из Петербурга для свидания в Абове со шведским кронпринцем, бывшим французским генералом Бернадотом. Хотя то и показалось нам несколько унизительным для императорского достоинства, но такое согласие успокаивало нас насчет опасности для Петербурга и нашей крайней северной границы.

Узнав о взятии Смоленска, государь прискакал обратно в Петербург, чтобы назначить искусного полководца, старика князя Кутузова, главнокомандующим над всеми действующими армиями. Приписывая все неудачи наши разброду, в котором как будто они находились, мы ободрены были мыслию, что главная власть сосредоточится в одних руках; жалели только, что не ранее о том подумали. К тому же, самое имя Кутузова напоминало Екатерину и победы.

В это время были у меня еще другие заботы, в которых, к удовольствию моему, мать моя принимала деятельное участие. Покойный отец мой, не столько из усердия к православию, как по известной читателю архитектурной его страсти, в продолжение пяти лет, исподволь, экономическим образом сооружал в приданом матери моей селе Лебедевке каменную небольшую, но хорошенькую церковь во имя Владимирской Божьей Матери, коей икона была ее же родительским благословением. Строение церкви было окончено, и она внутри совсем почти была отделана, когда смерть его постигла. Лето прошло у нас в сборах; надобно было, наконец, подумать о ее освящении, и для совершения того мать моя назначила 26 августа, день, в который празднуются чудеса сказанной иконы. Обряд сей, в селениях всегда радостный, веселый, призывает к себе обыкновенно всех соседних помещиков и их крестьян и долго остается у них в памяти. Тут, к сожалению, ничего этого не было.

У всех на уме было тогда одно только: Москва. Более двухсот верст еще отделяли ее от неприятеля; большая, сильная армия, еще не истребленная, находилась впереди ее, и, как утверждали, все ее жители готовы были пасть с оружием в руках. Но буря шла прямо на нее; сколько раз уже потоки литовских, польских и татарских полчищ истребляли ее! Какая ждет ее участь? Мы хотели верить спасению ее и не могли. Нашему воображению представлялась она венчанною мученицей, с христианским терпением, спокойно ожидающею неизбежной казни. О, как величественна и прекрасна была она тогда в глазах наших, сия родная Москва, наша древность, наша святыня, колыбель нового могущества нашего! Нет, разве только дети в последние минуты жизни обожаемой матери могут так трепетать, видя приближение конца ее.

Итак, в самый день Бородинской битвы, 26 августа, происходило у нас, в шести верстах от Пензы, освящение нового храма. Маленький дом не был достаточен для помещения прибывших из города гостей; для большей половины их стол был накрыт в особливой палатке. Воздух был теплый, удушливый, и ни один листок не колыхался; небо было темно-серого цвета, и сквозь облака ни единое голубое пятнышко не проглядывало. Преосвященный Афанасий, хворый старец, с добродушным взглядом своим и грустною улыбкой совершал богослужение, по слабости нервов он не мог выносить громогласного пения, и оттого в голосе певчих было нечто заунывное. Все было тихо и печально. Мать моя в этот день старалась укрепиться духом и в первый раз после кончины супруга нарядилась в белое платье; во время служения не проронила ни одной слезки, не испустила ни единого вздоха, но когда вместо многолетия создателю храма возгласили вечную память, она упала замертво и верно бы расшиблась, если бы не успели ее поддержать. После того была одна неожиданно трогательная минута: когда вокруг церкви понесли икону Владимирской Божией Матери и запели ей известный тропарь: «Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприемше чудотворную Твою икону... Молися воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей», все от первого гостя до последнего мужика в один голос зарыдали.

Грустно подумать, что в это самое время и в этой самой Москве, для нас провинциалов столь священной, находились люди без ума и без сердца, которые смотрели не только равнодушно на приближение врага, но еще радовались тому. После описанного мною, дня через два мог я в том удостовериться. В день Ивана Постного, 29 августа, мне сказали после обеда, что из Москвы приехали два пензенских помещика, года три туда переселившиеся. То были: Савва Михайлович Мартынов и Владимир Егорович Жедринской. Последний, провинциальный франт и соблазнитель, несколько уже знаком моим читателям. Первый был в некотором с нами свойстве: отец его, Михаил Ильич, был женат на тетке моей матери, и дети от сего брака приходились ей двоюродными; будучи уже стар, вступил он в третий брак с дочерью какого-то подьячего Дрындина, и последним плодом оного был этот Савва. С ребячества был он примечателен гнусным безобразием и чрезмерным самолюбием; в первой молодости, получив первый офицерский чин и владея только ста душами, оставил он службу и начал думать о средствах заменить искусством скудость даров фортуны. Он начал, как говорится, служить четырем королям и веровать в одного Вольтера, которого, выучившись по-французски, он одного только прочитал: можно посудить о его правилах и религиозных чувствах. Посвященный, наконец, во все таинства картежной игры, он приметно начал разживаться; удачно и расчетливо выставляемая им роскошь и смелая болтовня дали в Пензе большой ему вес. Но он оставил ее, ибо Москва представляла ему гораздо богатейшую добычу. Жедринской, малый простой, пошел к нему в опеку, но никогда не мог подняться до высоты его, хотя, впрочем, и гениальность Мартынова не простиралась далее обмана и фанфаронства. Оба они в Пензе щеголяли французским диалектом; у Жедринского был выговор лучше, зато Мартынов говорил бегло и безошибочно: это, вероятно, дало им надежду, что Наполеон, покорив Россию, назначит их, прапорщика и титулярного советника, префектами в завоеванной им провинции. Вот к каким людям побежал я за известиями, может быть, утешительными! Я нашел их в самом веселом расположении духа; на вопрос мой отвечали они мне, что оставили Москву, так сказать, почти накануне ее сдачи. «Согласитесь, — улыбаясь, сказал мне Мартынов, — что смешно и безрассудно противиться великому человеку, у которого полмиллиона войска и две тысячи пятьсот пушек». Негодование оковало мне язык; но, видно, глаза мои выразительно говорили, ибо в обоих скоро заметил я смущение и досаду. Не говоря ни слова, встал я и вышел, и долго молчание мое с ними не прерывалось. И эти люди прямо из православной, подумал я; ну, если подобных им много там? А впрочем, что за важность: и в самих Божьих храмах, по небрежности церковнослужителей, часто разводятся крысы и всякая гадина. Однако же их слова навели на меня неизъяснимую тоску, которая могла несколько быть рассеяна только трудными занятиями, мне предстоявшими.

Во всякой из ополчающихся губерний учреждался комитет для принятия и хранения как от дворянства поступающих, так и другими сословиями жертвуемых сумм, для производства жалованья ратникам, для обмундирования, вооружения и продовольствия их, до выступления в поход за пределы губернии; одним словом, для каждого ополчения учреждалась особая комиссариатская и провиантская вместе комиссия. Председателями сих комитетов везде были губернские предводители дворянства. Но по несогласиям пензенского Колокольцова с губернатором, сей последний выпросил у графа Толстого, чтоб от дворянства был выбран особый председатель. К 1 сентября собралось оно для выборов на убылые места поступивших в ополчение, и так поспешно поворотило делом, что в два дня все было кончено.

Комитет пожертвований для ополчения должен был состоять из председателя и трех членов, одного от правительства, другого от дворянства, третьего от купечества. В председатели выбран был бывший Екатерининский гвардии капитан, отставной бригадир Николай Степанович Кашкаров, человек лет около шестидесяти, родной дядя описанного мною меломана того же имени. Трудно сказать, чего более был он достоин: любви или уважения. В действиях и речах его было нечто особенно благородное, отличающее его от других дворян. Членом избрали дворяне отставного гвардии поручика, Алексея Гавриловича Караулова, человека довольно пожилого, степенного, который слова выпускал на меру и на вес, у которого немного было идей, но довольно смыслу, чтобы по-пустому не говорить. Купцы посадили в комитет торговца, не весьма богатого, доброго и толстого простяка, Петра Васильевича Козицына. Не знаю, какие были толки у матери моей с князем Голицыным; но в одно утро предложили они мне место члена от правительства в сем комитете. Я принял это предложение с удовольствием и благодарностью; ибо тяжело бы мне было во всеобщем движении оставаться простым зрителем всего происходящего. Я продолжал числиться в Министерстве финансов и в отпуску, и об этом назначении мне стоило только уведомить мое начальство. Сверх того, в наш комитет назначены были секретарем Иван Ефимович Афанасьев, малый проворный, великий писака, и казначеем Андрей Сергеевич Мартынов, помещик весьма достаточный, известный губернаторский и архиерейский угодник, самый добрый и откровенный из подлецов и трусов.

Заседания наши открыли мы в понедельник, 2 сентября, день также весьма памятный в этом году. Среди занятий наших мы, однако же, нетерпеливо ожидали прибытия почты; она пришла и привезла нам, увы, последние московские газеты. В них прочитали мы реляцию о великом Бородинском деле 24 и 26-го чисел; узнали, что поле битвы осталось за нашими и... не смели радоваться. Кто победитель? Кто побежденный? Этого определительно сказано не было, и сие недоумение нас пуще тревожило. А между тем, воздух охолодел, дождик лил ливмя; город был наполнен приезжими, и по грязным улицам его в этот день скакали они из дома в дом, в какой-то тоскливой суете.

Куда как всю эту неделю тяжело было у меня на сердце. К счастью, заботы по новому временному служению моему оставляли мне немного часов для грустных размышлений. Набор ратников почти уже кончился; с одной стороны требования, а с другой деньги начали поступать к нам в большом количестве; надобно было наскоро завести канцелярский порядок и счетную часть; с помощью моих добрых товарищей, в сем деле столь же неопытных, как и я, все как-то уладилось. В русской земле, когда нужда того потребует, все должно скоро вскипеть и поспевать.

Как странно было видеть в продолжение этой недели, что при постоянно сырой, ненастной погоде, на пензенских улицах затрудняется проезд от множества неизвестных экипажей, запачканных, забрызганных грязью, карет, колясок, колымаг и целых дорожных обозов. Мы сначала подумали, что все семейства уездных помещиков решились поселиться в губернском городе; но вскоре узнали, что то были эмигранты из Смоленской губернии, которые хотели у нас приютиться и с трудом искали квартир: за довольно большие деньги находили они себе помещения в небольших домах мелких чиновников и мещан в нижней части города.

Никто не хотел или не умел в их появлении между нами видеть одно из чудес царствования Екатерины. Древний русский город Смоленск, в несчастное время смут Лжедимитриев и междуцарствия, сделался добычей Польши; силою оружия царь Алексей Михайлович возвратил его опять России, но в короткое время польского владычества он до того ополячился, что еще внучка сего самого Алексея Михайловича, государыня Елисавета Петровна, к кому-то писала: «Как мне быть со смольянами? Я ли их не тешу? Но как видно по пословице, как волка ни корми, он все в лес глядит». Настоящей преемнице ее, Екатерине Второй, которая не тешила и не угнетала их, достаточно было тридцати четырех лет, чтобы совершенно перелить их в русских, да еще в каких! Самых верных и преданных престолу и своему истинному отечеству.

Такими явили они себя в начале этой войны. Некоторые помещики сами собою вооружили дворовых людей и крестьян и составили из них небольшие партизанские отряды, которые при переходе французов тревожили их, нападали на их обозы и захватывали отсталых, и таким образом подали пример и мысль о партизанской войне и всеобщем вооружении. Один из них, доблестный Энгельгардт, попавшийся в плен, правосудным французским начальством был расстрелян. Семейства свои, после падения Смоленска, с полною доверенностью отправили они в самую глубь родной России. Сначала не могли они слишком быть довольны гостеприимством Пензы; но вскоре потом, как объясню я далее, поступлено было с ними истинно по-братски.

Приблизился, наконец, тот день, в который, лишившись последней надежды спасти наше сокровище, мы вместе с тем освободились от всякого страха: день сильного перелома, в который война совершенно превратилась в отечественную, в народную, и для пришельцев наступило время погибели.

Глава V

В воскресенье, 8 сентября, день Рождества Богородицы, пошел я на поклонение губернатору. Я нашел его в зале, провожающего князя Четвертинского. Я худо поверил глазам своим, и у меня в них помутилось. Не будучи с ним лично знаком, много раз встречал я в петербургских гостиных этого красавца, молод-

ца, опасного для мужей, страшного для неприятелей, обвешанного крестами, добытыми в сражениях с французами. Я знал, что сей известный гусарский полковник, наездник, долго владевший женскими сердцами, наконец, сам страстно влюбился в одну княжну Гагарину, женился на ней и сделался мирным жителем Москвы [34]; знал также, что, по усиленной просьбе графа Мамонова, он взялся сформировать его конный казачий полк. Какими судьбами он в Пензе? Что имеет он с нею общего? Оборотясь к одному из братьев Голицыных и на него указывая: «Что это значит?» — спросил я. «Он приехал, — отвечал он мне, — навестить жену свою, которая теперь с матерью находится в Пензе, проездом в Саратовское имение». — «А что армия?» — спросил я. «Он видел ее на Поклонной горе, где собирались, кажется, дать последнее решительное сражение». Приезд Четвертинского мне все сказал. Он не хочет быть дурным вестником, подумал я, и на день, на два оставляет нам еще надежду.

Целый день ходил я как шальной, избегая, елико возможно, делать вопросы. Вечером навестили меня братья Ранцовы, из коих старший был некогда моим товарищем в Министерстве внутренних дел; вид их показался мрачен и угрюм. Говоря о том, о сем, «завтра понедельник, — сказал я, — что-то привезет нам завтрашняя почта?» — «Нет, — сказал мне младший Ранцов, — не ждите ее, она уже не придет», и... объявил мне истину. Четвертинский не мог скрыть ее от губернатора, а сей скромный человек сказал ее на ухо двум или трем столь же скромным людям, так что к вечеру, кроме меня, почти весь город знал, что Москва сдана без бою.

* * * * * * * * * *

Город Пенза между тем, с каждым днем становился многолюднее. Из первых приезжих Мордвинов никуда не показывался, а Рыщевскую все бросили [35]. После смольнян из всех уездов семейства помещиков, действительно, начали прибывать и как будто спасаться в губернский город. В числе их можно назвать и самое княгиню Голицыну, мать губернатора, которая к сыну на всю зиму переселилась из Зубриловки. С половины сентября стали наезжать уже московские эмигранты, а в следующем месяце в великом множестве начали, как говорил народ, пригонять пленных. Наконец, поворотиться у нас было трудно.

Приезжие москвичи почти все были люди достаточные, владеющие в Пензенской губернии или в соседственных с нею хорошими поместьями и ни в чем не могли нуждаться. В домах, пензенскому обществу, так называемому лучшему, вовсе неизвестных, но не менее опрятных, теплых и просторных, принадлежащих купцам и некоторым чиновникам, нашли они себе удобные квартиры, и таким образом самим жителям открыли сокровенные от них богатства.

Но бедные смольняне, в таком дальнем расстоянии от имений своих, истратившие взятые с собою небольшие суммы, угрожаемы были совершенною нищетой. Тут дворянство наше в отношении к ним явило себя истинно достойным своего имени: всякий, кто только мог, потеснился, чтобы дать у себя место хотя одному смоленскому семейству; разумеется, что для дорогих гостей стол был готовый; что овощи, картофель, репа, горох, мука, крупа для людей, а сено и овес лошадям были даровые. И это довольно накладное гостеприимство сопровождалось ласками, приветствиями, которые давали ему еще более цены. Сколько раз мать моя упрекала меня за поспешность, с которою отдал я дом наш Мордвинову. «Три семейства, потеснившись, могли бы в нем поместиться, — говорила она, — а от полутора тысячи рублей мы не разбогатеем». Однако же представился случай быть полезными смольнянам. Одна госпожа Повалошвейковская выдала дочь за господина Гернгросса; не только с нею и с зятем своим, но и с его матерью и тремя сестрами, полоцкими жительницами, приехала она; трудно было такой гурьбе поместиться, и она согласилась жить в селе Симбухине, в старом господском доме нашем, где, разумеется, все провизии были к услугам ее. Тут у нас на то была еще особая причина: брат этого Гернгросса был полковым командиром Митавского драгунского полка, коего генерал Алексеев был шефом, и он с женою жили в большой дружбе с сестрою моей и зятем. Но о сих последних давно уже не сказал я ни слова, как будто вовсе о них позабыв.

Не скоро могли мы получить известия из Петербурга, который был отрезан от нас неприятельскою армией; только во второй половине в сентябре установилось с ним регулярное сообщение чрез Ярославль, Кострому и Нижний Новгород. Письмом, полученным наконец по почте сим новым трактом от сестры Натальи Филипповны были мы насчет ее несколько успокоены; предыдущие неизвестно куда пропадали. До свидания в Абове государя со шведским кронпринцем войска в Финляндии оставались неподвижны; но после того велено им, двум пехотным дивизиям и одной кавалерийской бригаде, быстро двинуться в Петербург. Едва лишь успели они туда прийти, как им приказано готовиться к дальнейшему походу. Петербургское ополчение с такою неимоверною поспешностью было набрано, выучено и вооружено, что оно готово было присоединиться к прибывшему из Финляндии войску, чтобы вместе с ним выступить к Полоцку для подкрепления корпуса графа Витгенштейна. Зять мой, Алексеев, простоял недели полторы с бригадою своей в Новой Де-ревне, прежде занимаемой кавалергардским полком, и вместе с ополчением оставил Петербург 8 сентября. Тогда бедная сестра на всю зиму осталась в нем одна. Не было возможности ехать к родным. Государь приказал отвести ей славную генеральскую квартиру в кавалергардских казармах, с отоплением и с освещением, а сыновей ее велел принять в Пажеский корпус, и ими одними была она только утишена. Вот о чем уведомляла она нас в письме своем.

О Москве получали мы сведения самым странным образом. Когда неприятель вступил в нее, оставалось еще в ней, говорят, до двадцати тысяч жителей: одним не с чем было подняться, других, не предуведомленных, застали французы врасплох; другие же полагали, что им нечего их бояться; а иные, питая преступные надежды, даже ожидали их с нетерпением. Но когда, на второй или на третий день по вступлении, в войске Наполеона беспорядок и своеволие возросли до такой степени, что начался дневной разбой; когда ни пищи в домах, ни одежды и обуви на улицах солдаты не оставляли несчастным жителям, тогда всякий из них, кто мог и как мог, старался спастись бегством. Помещики многих губерний, в том числе и Пензенской, посылали мальчиков в Москву и отдавали их там в ученье к мастеровым; многие из них подросли и воз-

мужали. Они первые, как говорили они, дали тягу; вал, на великом протяжении окружающий Москву, так низок, что везде могли они легко перепрыгнуть или даже перешагнуть через него; далее лесами и болотами также не трудно было им прокрасться. Покрытые рубищем, пробирались они в родину, питаясь мирским подаянием. В Пензу один за другим пришло их несколько, и, между прочим, в наш дом двое, портной и сапожничий ученик. В некоторые дома призывали их для расспросов; от них узнали мы много подробностей о неистовствах, творенных врагами в падшей столице: например, об осквернении святыни, как знаменитую часовню Иверской Богоматери превратили они в нужное место; потом, как из лени и прихоти, чтобы не делать крюку, переходя через Каменный мост, заставляли они дюжих мужиков переплывать через Москву-реку, неся их на спине своей. Никого из французов столько не обвиняли они в жестокостях, как тех, кои, по словам их, хорошо умели по-русски, хотя плохо выговаривали: всякий понял, что они говорят о поляках. В продолжение сентября ежедневно сотни людей бежали из Москвы, так что из тех, кои видали не совсем торжественный въезд Наполеона, едва осталась десятая доля, чтобы быть свидетелями его ужасного выезда.

Можно себе представить, что породили во всей России рассказы людей, по всем направлениям из Москвы бежавших. Но еще до того, при получении первого известия о взятии ее, показалось между русскими, особенно между дворянами, нечто страшное, давно небывалое: в них загоралась неутолимая, казалось, жажда мести. Москва перестала для них существовать; оплакав как следует родимую, они с некоторою радостью смотрели, как злодеи терзают труп ее, мысленно приготовляя ей кровавые поминки и, как будто предчувствуя, что недалек день мщения. Все опасались одного — мира с Наполеоном, и продолжение войны возвеличило в глазах их Александра. Дело странное, непонятное! Едва Наполеон успел войти в Москву, как внутри России все начали видеть в ней западню для него и желать, чтоб он долее в ней оставался. Надобно было видеть тогда, что при одном имени его делалось с большею частью русских: черты лица оставались неподвижны; но чело являло гнев, и уста шептали угрозы. О, вечно памятный Наполеон! Могущий, славный наш враг, гроза и жертва наша, каких чудес ты не творил! Тебе одному дано было народу бешеному, яростному в пылу сражений, но вообще беспечному, незлобивому, равнодушному, забывчивому, вдохнуть на время всю спокойную, неистощимую корсиканскую твою злость.

Зато что может сравниться с добрым согласием, которое с самого начала войны, как сказал я выше, стало водворяться между всеми состояниями? С силою веры в промысел Всевышнего, их оживлявшей, не слабевшей, а беспрестанно возраставшей с несчастными событиями, которые другой народ ввергнули бы в отчаяние? Прекратились все ссоры, все неудовольствия; составилось общее братство, молящееся и отважное. Время быстро протекшее! Время вместе ужасное и блаженное, когда, возлюбив друг друга, едиными устами и единым сердцем не переставали мы призывать великое имя Его, нашего Бога и Спасителя! Кто видел это время, тот по гроб его не забудет.

Всю осень, по крайней мере, у нас в Пензе, в самых мелочах старались выказывать патриотизм. Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались. Что касается до нас, мужчин, то, во-первых, члены комитета, в коем я находился, яко принадлежащие некоторым образом к ополчению, получили право, подобно ему, одеться в серые кафтаны и привесить себе саблю; одних эполет им дано не было. Губернатор [кн. Ф. С. Голицын] не мог упустить случая пощеголять новым костюмом; он нарядился, не знаю с чьего дозволения, также в казацкое платье, только темно-зеленого цвета со светло-зеленой выпушкой. Из губернских чиновников и дворян все те, которые желали ему угодить, последовали его примеру. Слуг своих одел он также по-казацки, и двое из них, вооруженные пиками, ездили верхом перед его каретою.

В столь смутное время где было собираться большому обществу? Кому была охота делать званые вечера? Однако же туземные и приезжие, на столь небольшом пространстве скопившиеся, скоро ознакомились и, чтобы разделить горе свое, а иногда и забыть о нем, часто запросто навещали друг друга и ездили из дома в дом; и оттого везде можно было найти толпы людей. Московские... как бы назвать их? Из учтивости, par courtoisie (как сыновей английских пэров именуют лордами), назову их аристократы, держали себя несколько поодаль, неохотно искали знакомств и все более лепились около князя-губернатора и его семейства; однако же, при встречах со всеми были вежливы и ласковы без притворства. Примечательных лиц между ими не было; и все-таки тех, коих не забыл, долгом считаю здесь представить. Об аристократии же, которую и я сам признавал за настоящую, которая никого не чуждалась, всех искала привязать к себе, буду говорить после.

Был у нас некто Андрей Михайлович Рябинин, сын вице-адмирала, действительный камергер, который очень хорошо говорил по-французски, имел достаток и был женат на княжне Шаховской. Из всех условий сих, с точностью выполненных, легко ему было состряпать себе русскую знатность, и он пользовался всеми правами ее бесспорно и самодовольно, даже в самой Москве. Супруга его совсем не миловидная, еще более его, казалось, дорожила сими законно приобретенными правами.

Другое семейство у нас, именем к аристократии более принадлежащее, были Шереметевы. Оно состояло из Сергея Васильевича [36], отставного коллежского асессора, самого доброго и простого человека, из матери его, из жены его Варвары Петровны, столь же доброй и нельзя сказать гениальной женщины, которая некогда, под фамильным именем девицы Алмазовой, сияла красотой, и наконец, из сестры его, Катерины Васильевны, которой природа отказала в красоте и щедро наградила необыкновенно приятным, неувядаемым умом.

К этой, тогда кочующей аристократии принадлежал, кто бы подумал? Доктор Скюдери, не потому, что он был искусный врач, не потому, что он был весьма хороший и любезный человек, а потому, что он ездил во все первые московские дома и женился на русской девице Храповицкой, которая с сими домами была в каком-то дальнем родстве.

Не из одних Москвы и Смоленска были у нас эмигранты: из отдаленнейшего края, из Литвы, из Грод-

ненской губернии, прибыла в Пензу вдовствующая княгиня Четвертинская. Она помнила мученическую смерть мужа своего, убитого варшавскою чернью за настоящую или мнимую любовь к России; помнила отеческую нежность Суворова к ее семейству, неисчетные благодеяния, коими оное осыпала Екатерина. Не говоря уже о поместьях, ему дарованных, две несовершеннолетние падчерицы ее сделаны были фрейлинами, а малолетний пасынок и два младенца-сына пожалованы прямо офицерами гвардии. Все это были преступления в глазах поляков, и она могла страшиться их мести; к тому же, вероятно, она помнила еще священные обязанности, налагаемые благодарностию, и сыновей своих, не поступивших еще на службу, хотя весьма уже взрослых, преданных душою врагам России, не хотела допустить присоединиться к ним. Для того, сама не зная куда, решилась ехать внутрь государства. Где-то узнала она, что родная сестра ее Рыщевская сослана в Пензу, и туда направила путь. Тут нашла она не ее одну, но еще и пасынка своего, о коем упомянул я в самом начале сей главы.

Род князей Четвертинских происходит от русских государей, от святого Владимира и от правнука его Святополка, князя Черниговского. Потомство последнего, а их предки имели уделы в Волынии и сделались подвластны Литве, когда, в несчастное для России время, этот край отделился от нее. Потом, подобно единокровным князьям внутри России, размножаясь, они беднели. При польском правительстве они ни разбогатеть, ни высоко подняться не могли: ибо ни один из княжеских родов в западной России столь долго не стоял за веру отцов своих, столь упорно не боролся с насилиями и прельщениями иезуитов, так что еще при Петре Великом Гедеон, князь Четвертинский, был православным митрополитом в Киеве; наконец, и они, и уже верно самые последние, впали в католицизм и возвысились в почестях. Кто знает? Для самолюбия их было лестно вспомнить, что предки их восседали некогда на престоле, сделавшемся столь блистательным, и оттого-то, может, в разных ветвях сего рода встречались люди, увлекаемые чувством любви к истинному своему отечеству. Не был ли в числе их и князь Антоний, заплативший жизнию за подозреваемое в нем чувство сие? Не низкая доля ожидала семейство его в России.

Старшая дочь его, Жанетта, оставалась долго безбрачною. Привязанность к ней цесаревича Константина Павловича до того простиралась, что, хотя он был уже женат, хотел он развестись со своею Анною Федоровною, чтобы на ней жениться. Вдовствующая императрица всеми силами противилась сему союзу и напрасно; ибо этот брак был бы в тысячу раз приличнее, чем тот, в который он после вступил [с Жанеттой Лович]. Блестящие партии представлялись для этой княжны, но с честолюбивыми своими надеждами она отвергала их.

Меньшая дочь в самой нежной молодости выдана была за Димитрия Львовича Нарышкина. Родство с царствующим домом, высокие, первые должности при дворе, пятью поколениями постоянно, беспрерывно занимаемые, и великое богатство, между ними в целости сохранившееся, составили бы везде действительную знатность, а у нас могла она почитаться дивною. Такими преимуществами пользовалась эта отрасль Нарышкиных, и вот начало поприща, на кое вступила сия молодая женщина. Кому в России неизвестно имя Марии Антоновны? Я помню, как, в первый год пребывания моего в Петербурге, разиня рот, стоял я перед ее ложей и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех. О взаимной любви ее с императором Александром я не позволил бы себе говорить, если бы для кого-нибудь она оставалась тайной; но эта связь не имела ничего похожего с теми, кои обыкновенно бывают у других венценосцев с подданными. Молодая чета, одних лет, равной красоты, покорилась могуществу всесильной любви, предалась страсти своей, хотя и с опасением общего порицания. Но кто мог устоять против пленительного Александра, не царя, а юноши? Кто бы не влюбился в Марью Антоновну, хотя бы она была и горничная? Честолюбие, властолюбие, подлая корысть были тут дело постороннее. Госпожа Нарышкина рождением, именем, саном, богатством высоко стояла в обществе...; никакие новые, высокие титла, несметные сокровища или наружные блестящие знаки отличия не обесславили ее привязанности.

Славное житье было тогда меньшому их брату, князю Борису Антоновичу, молоденькому полковнику, милому, доброму, отважному, живому, веселому, писаному, как говорится, красавчику. В старости сохраняем мы часто привычки молодости; а в молодости всегда остается у нас много ребяческого. Так и Четвертинский, служивший в Преображенском полку, все бредил одним гусарским мундиром и легкокавалерийской службой, пока желания его, наконец, не исполнились, и его перевели в гусары. В любимом мундире делал он кампании против французов и дрался с той храбростью, с какою дерутся только поляки да русские. Во время мира, пресыщенный наслаждениями, дарами Марса и Амура, он начинал уже скучать жизнью, как вдруг настоящая любовь опять оживила его; скоро сделалась она законною, и он с молодою женою поселился в Москве.

Тут опять настигла его война среди первоначальных восторгов счастливого супружества; он, однако же, не отказался сослужить еще службу России; но как полк, над коим принял он начальство, пошел в Ярославль и не прежде следующей весны мог быть сформирован, то и предпочел он ехать отыскивать отправленную им жену туда, где он ее настигнет. Между тем военные обстоятельства приняли для нас благоприятный оборот, и защищать Россию уже было нечего; тогда, махнув рукой славе и почестям, сказал он себе: «J'aime mieux ma mie, o gue!» и на время остался у нас.

Молодая княгиня Четвертинская была из тех женщин, коих стоит любить. Не знаю, как сказать мне о ее наружности? Если прямой, гибкий стан, правильные черты лица, большие глаза, приятнейшая улыбка и матовая, прозрачная белизна неполированного мрамора суть условия красоты, то она ее имела. С особами обоего пола была она равно приветлива и обходительна. Ее звали Надежда Федоровна; но для мужчин на челе этой Надежды была всегда надпись Дантова ада: «Оставь надежду навсегда» [37]. Кто кого более любил, муж или жена? Право, сказать не могу.

Она приехала в Пензу с матерью своею. Сия последняя была столь долго в Москве известная Прасковья Юрьевна, урожденная Трубецкая, родная племянница фельдмаршала Румянцева-Задунайского, в первом

замужестве за полковником князем Федором Сергеевичем Гагариным. Странная встреча случаев! Отец княгини Четвертинской погиб, быв умерщвлен в 1794 году, во время варшавского возмущения, почти в один день с отцом мужа ее. Неутешная молодая вдова, мать нескольких малолетних детей, взята была в плен и в темнице родила меньшую дочь, как где-то сказал я; вместе с другими была она освобождена Суворовым после взятия Праги. Долго отвергала она всякие утешения, в серьге носила землю с могилы мужа своего; но вместе с твердостию имела она необычайные, можно сказать, невиданные живость и веселость характера; раз предавшись удовольствиям света, она не переставала им следовать.

Она жила в Москве, в странном городе, где на все смотрят, всему подражают, все делают в преувеличенном виде. Правнуки степенных княгинь и боярынь, редко покидавших свои терема, пользовались в нем совершенною свободой, смею даже прибавить, излишнею. Сбросив иго старинных предрассудков, они часто не хотели повиноваться и законам приличия. Тридцать или сорок лет спустя, родился коммунизм и показались львицы; но тогда никто не мог иметь об них понятия; однако же, название бойких московских дам и барышень и тогда вселяло страх и уважение в провинциалках, не смевших им подражать. Смотря беспристрастно, я нахожу, что нравы были дурны, но не испорчены; я полагаю, судя по холодности русских женщин, что греха было мало или и вовсе его не было, но соблазна много. Худо было то в этом жестоком и снисходительном городе, что клевета или злословие не оставляли без внимания ни одной женщины. И все это делалось (и делается) без всякого дурного умысла; все эти примечания, выдумки совсем не были камнями, коими бы хотели бросать в грешниц; ибо каждый знал, что он сам может быть ими закидан. Радуясь чужому падению, казалось, говорили: нашего полку прибыло. Чтобы сохранить чистое имя, должны были женщины приниматься за pruderie, что иначе не умею я перевести, как словом жеманство. Их число было немалое, но их не терпели и над ними смеялись, тогда, как торжество и победы ожидали истинно или мнимо виновных. Прасковья Юрьевна, которая всему охотно смеялась, особенно вранью, никак не хотела рассердиться за то, что про нее распускали.

Но время шло, дети росли, и когда она совсем почти начинала терять свои прелести, явился обожатель. То был Петр Александрович Кологривов, отставной полковник, служивший при Павле в кавалергардском полку. Утверждают, что он был в нее без памяти влюблен. «Ou l'amour, va-t-il se nicher? Любовь, куда тебя занесло?»— хотелось бы сказать. А между тем, оно было так: надобно было иметь необыкновенную привлекательность, чтобы в утробе этого человека расшевелить нечто нежное, пламенное. Дотоле и после ничего подобного нельзя было в нем найти. В душе его, в уме, равно как и в теле, все было аляповато и неотесанно. Я не знавал человека более его лишенного чувства, называемого такт: он без намерения делал грубости, шутил обидно и говорил невпопад. Любовь таких людей бывает обыкновенно настойчива, докучлива, неотвязчива. Во Франции, говорят, какая-то дама, чтобы отвязаться от преследований влюбленного, вышла за него; в России это не водится, и Прасковья Юрьевна не без причины согласилась отдать ему свою руку. Как все знатные у нас, не одни женщины, но и мужчины, не думала она о хозяйственных делах своих, которые пришли в совершенное расстройство. Она до безумия любила детей своих; мальчики вступали в тот возраст, в который, по тогдашнему обычаю, надобно было готовить их на службу, девочки с каждым годом милее расцветали. Как для них не пожертвовать собою? Как не дать им защитника, опекуна и опору? Вообще же женщины любят любовь, и не так, как мы: видя ее к себе в существах, даже им противных, не могут отказать им в участии и сострадании; а там, поглядишь, они уже и разделяют ее. Кологривов имел весьма богатое состояние, да сверх того, несмотря на военное звание свое, был великий хлопотун и делец.

На полдороге между Пензой и Зубриловкой было у него обширное поместье, село Мещерское, на три версты растянутое. Туда пробираясь, остановился он на всю зиму в Пензе с семейством, то есть с женою и с двумя падчерицами, княжнами Софьею и Любовью, с ними вместе жили и Четвертинские.

Я написал почти историю этого дома оттого, что он сделался моею отрадой: бывало, погрустят о Москве, а там и примутся за хохот, за растабары, и нечувствительным образом забудешься, и, хотя на время, уйметься сердечная тоска.

Польско-французская компания, несмотря на родство, очень редко тут показывалась: сборным местом ее был дом госпожи Рыщевской. Прибытием в октябре пленных французских офицеров сделалось в нем большое приращение, но не умножились приятности и достоинство его. Все эти господа были в поношенном, а местами истертом и изорванном платье; беде этой помочь легко, лишь были бы деньги, а Рыщевская не жалела их, чтобы обмундировать любезных французов. Но манеры их и казарменные речи поправить она не могла; все они от сохи перешли прямо к ружью и шпаге, воспитаны были в лагере и не могли произнести ни одного слова, не сопровождая его слишком энергическими, непристойными терминами, так что сама Рыщевская, кажется, принуждена была, наконец, отказаться от их посещений.

Глава VI

Наступила глухая осень. Желание русских исполнялось: Наполеон не трогался с места; казалось, его взяло какое-то раздумье. Мы не могли знать причин его нерешимости, да, лучше сказать, и ничего не знали о том, что происходит в армии. Известия о ней, печатаемые в петербургских газетах, которых никто прежде у нас не получал, делая великий объезд, приходили к нам весьма поздно. Мы знали только, что в селении Леташевке, на Калужской дороге, находится главная квартира новопожалованного фельдмаршала Кутузова. Надежда, между тем, закралась и ко мне в сердце и с каждым днем более возрастала. Про себя проходя мысленно историю чудного града Москвы, вспоминал я, вычитывал все татарские, литовские и польские нашествия, которые, разрушая ее, об нее сокрушались. Сходство между настоящим и давно прошедшими событиями становилось очевидно, когда непобедимые воины бродили голодными стаями по опустошенным окрестностям обгоревшей столицы и всегда почти делались жертвами неустрашимости даже попов и деревенских баб. Как было твердо не уповать на помощь небесную!

О первом настоящем успехе нашего войска узнал я первый и пресмешным образом. Был некто майор Францов, обрусевший поляк немецкого происхождения, который, всю жизнь прослужив в гарнизонных полках, сделался, наконец, командиром Пензенской штатной роты, и на этом покойном месте надеялся окончить век. Но в 1811 году роты сии были взяты из-под начальства губернаторов и послужили основанием составлявшегося тогда корпуса внутренней стражи; и бедный Францов, здоровый еще телом, но вечный инвалид умом, надев эполеты, должен был опять приняться за фронт. Замечателен был он также великим неведением своим и, кажется, был не из храброго десятка: когда в 1812 году потребовали и внутреннюю стражу, и она стала в ряды сражающихся, не знаю, как Францов ушел это делать, только беспрестанно, не вдаваясь в опасности, отводил и приводил он какие-то команды и рекрутские партии. Не помню, 16 или 17 октября сказали мне, что он приехал из Рязанской губернии; я скорее к нему, и он встретил меня радостною вестью о поражении французов, о котором достоверно слышал он в Рязани. «Да где это было, и кто командовал?» — спросил я его. «Да кому же? Наш генерал-майор Русанов». Это был окружной генерал внутренней стражи и его начальник, и он выше его никого в армии не полагал. «Да это просто вздор; охота же мне слушать дурака!» — с досадою подумал я. Не менее того, в тот же вечер не утерпел я, чтобы не объявить о пустой вести некоторым знакомым; одни смеялись, а другие, хватаясь за все, что льстило их надеждам, находили, что тут может быть и правда. На другой же день всех взяло тревожное любопытство: стали разведывать, сторожить всякого приезжего, какого бы звания он ни был, расспрашивать его, и дня через два узнали, наконец, что Францов не совсем соврал и что, действительно, не Русанов, а Бенигсен 6-го числа при Тарутине, одержал великую победу над Мюратом. Это было только прелюдией других, еще более важных, более радостных известий.

Домоправители, приказчики оставленных в Москве господских домов, из нее бежавшие, жили, однако же, не очень вдалеке от нее.

Другие, из усердия, чтобы спасти господское добро, не покидали ее и претерпевали все мучения и нужды, коим подвергнута была горсть оставшихся в ней жителей: некоторым из них удавалось разжалобить полковников и офицеров и под их защитою сберегать имущество, их хранению вверенное. Первые кинулись в Москву, коль скоро узнали только, что она очищена от неприятеля, те и другие, приведя в известность, сколько чего погибло и что сохранилось, поспешили с нарочно-посланными отправить донесения свои к владельцам в места их пребывания. Один из сих посланных первый прискакал в Пензу к Кологривову, рано поутру, 22-го числа, в день Казанской Божией Матери.

Можно себе представить чувство радости и печали вместе при получении сопровождаемого подробностями привезенного им известия.

Церкви в этот день наполнены были народом, и благодарственным молебнам не было конца. Нашим москвичам посчастливилось: почти у всех уцелели дома; некоторые были деревянные, а пламя, которое вокруг все пожирало, как будто с осторожностью обошло их. Этого мало: в иные снесены были, среди всеобщего разгрома, захваченные дорогие вещи, картины, зеркала, бронзы, целые библиотеки книг, которые французы, при великой поспешности, с какою выходили, увезти с собою не имели средств. Разбирать, кому вещи эти принадлежали прежде, не было возможности, и они остались собственностью тех, к кому попали.

Прощание Наполеона с Москвою было жестокое, варварское; одни только вандалы, без всякой нужды, любили истреблять памятники древности. Всякого рода славы хотелось этому человеку, даже Эрострата и Омара. Он задумал внутренность холма, на коем поставлен Кремль, начинить тысячами центнеров пороха, дабы в одно мгновение, знаменующее его отбытие, разрушить создание веков; в бешенстве неудач ему так и хотелось вырвать самое сердце России. Но Бог не попустил: целые водопады, по сказаниям самих французов, низринулись с неба на землю, чтобы в утробе ее затушить адский огонь. Угол Арсенала, часть стены и Никольской башни взлетели только на воздух; но, о чудо новое, не только икона, на башне висящая, даже стекло ее покрывающее остались невредимы. Велик ли был в эти дни великий Наполеон, когда в действиях своих являл одну только злость бессилия? Пусть о том посудят нынешние его почитатели. Он еще не пал тогда, и здесь еще не место выговорить последнее слово беспристрастного суждения моего о нем.

Но куда он направит теперь разрушительный свой ход? Куда он пойдет? Он пошел, куда повела его рука Божия. Она под Малым Ярославцем заслонила ему дорогу во внутренние области, в изобильную и теплую Украину, и насильно поворотила его на тот самый путь, где незадолго перед тем земля стонала под шагами шестисоттысячной его армии, где от приближения ее все гибло, все превращалось в пепел, где, слепое орудие Провидения, он сам себе готовил гибель. Когда с неописанною радостью узнали у нас о том, то все вскрикнули: «Ну, теперь ему конец!» «Нет, еще не совсем, — ответ был свыше, — но он уже недалек».

От добрых вестей, одна за другою быстро следовавших, не вдруг мы опомнились; но когда, в начале ноября, мрачные тучи совсем закрыли от нас небо, и снег покрыл вдруг всю землю, когда зима, с своими ужасами, прежде обыкновенного времени к нам поспешила, нам показалось тогда, что горизонт совершенно прояснился. По мере удаления Наполеона угрюмость стала исчезать с лиц наших, морщины со лбов; но, увы, как будто понемногу начал слабеть и энтузиазм моих соотечественников. Таков-то еще народ русский в своей незрелости, от барина до мужика: беда проходит, беда едва прошла, а ее, как будто бы уже никогда и не бывало.

В день именин моих, 14 ноября, получил я прекрасный подарок: мне принесли первый нумер вновь выходящей московской газеты, и я нашел в ней подробности как о расстройстве, о всех беспорядках быстрого побега Наполеоновой армии, так и о столь же быстром преследовании ее самим Кутузовым, о новых подвигах прославившихся в эту войну партизанов: Давыдова, Сеславина, Фигнера; о летучих стаях казацких, которые со всех сторон теребили бегущих, пока не уступили их хищным зверям и птицам, псам и коршунам. Казалось дело конченным, и погибель врагов наших неизбежною.

Еще более утвердились мы в этом мнении, когда 22-го числа получили мы известие о деле, бывшем 4-го под Красным. Ужасный северный ветер, как гнев Божий, внезапно настиг еще многочисленные толпы

несчастных, полуодетых, полуобутых. Одни, еще согретые мужеством, отстреливались; другие, не в силах владеть оружием, роняли его из окоченелых рук и тысячами сдавались. Небо явно споспешествовало нам: стихии сделались нашими союзниками, от проливного дождя, спасшего древний Кремль, до жестокого мороза, близ Смоленска истребившего большую, лучшую часть неприятельской армии, едва прошло три недели.

Все оживилось, все радостно зашумело у нас. В злобе, еще не совсем угасшей, никто из нас не подумал пожалеть о тысячах несчастных жертв, насильно против нас привлеченных, во всех них видели мы еще лютых зверей, в погоне за коими ни единого Кутузов не должен был пощадить.

Губернатору Голицыну давно уже хотелось поплясать; но в обстоятельствах, в которых находилась тогда Россия, бал мог бы почесться верхом неприличия. Тут показалось ему, что все находятся в одинаковом с ним расположении, и он всех, туземных и приезжих, поспешил пригласить на большую вечеринку в день именин жены своей, 24 ноября. Губернаторский дом довольно велик, а в комнатах его едва продраться было возможно. Веселее и забавнее этого бала я не видал: он был вместе и раут, и маскарад без масок. Многие из мужчин, находя, что на именинный вечер к губернаторше, к княгине, приехать не в гражданском мундира будет слишком непочтительно, явились в нем при шпагах; другие дерзнули облечься опять во вражий костюм, во фраки, и сам хозяин в этом случае послужил им примером (казачий кафтан успел уже ему надоесть); ополченные, затянутые, с эполетами и саблями, имели довольно воинственный вид; другие же, в том числе и я, в широких серых или зеленых зипунах казались несколько мужиковаты. Еще более пестроты являлось между прекрасным полом: большая половина дам была красивее в сарафанах и повязках; другие же, по склонности к перемене, нарядились по последней известной им моде; пожилая полька Рыщевская была в чалме и казалась бунтующим турецким пашою. Эмигрантки одеты были слишком скромно; однако же, заметно было, что смольянки, по недостатку в деньгах и в модных торговках, надели доволь-но поношенное простое платье, тогда как гордые московки для пензенского общества не захотели позаботиться о туалете. Но кто бы в каком наряде ни был, внимание мало обращалось на то; угощение, освещение были славные, и все плавали в удовольствии, в веселье.

Праздник этот был только сигналом других увеселений, продолжавшихся во всю зиму; Голицыну удалось заманить в Пензу и остановить в ней два богатых увеселительных семейства, которые некоторым образом как будто одно из себя составляли; об одном из них упомянул я мельком.

Два сестры, девицы Машковы, Ольга и Елисавета Александровны, были выданы замуж, одна за Николая Андреевича Арапова, другая за некоего г. Улыбышева. О первой я уже говорил, когда попал к ней в деревню в то самое время, как получено было известие о свидании Наполеона с Александром в Тильзите. Она имела рост высотой, осанку важную, тело обширное и ошибалась, почитая столь же обширным и ум свой. Муж ее был старинный дворянин, богатеющий откупами, к тому же знаменитейший гастроном, и что почти всегда с тем неразлучно, и сам искуснейший повар во всей нашей околотке. С большим состоянием супруги скорбели о том, что не имеют детей, то есть не могут сохранить их. Уже четырнадцать душ Ольга Александровна народила Николаю Андреевичу, и ни единого живого детища у них не оставалось, как вдруг употребила она с великою пользою одно указанное ей средство: велела пригласить первого встречного быть восприемником новорожденного ею пятнадцатого младенца, и по его имени назвали его Пименом [38]. Первый шаг только труден; все последующие затем семь или восемь человек детей обоего пола остались живы и здравы, крепки и толсты. В 1812 году истощилось уже плодородие г-жи Араповой; но она все казалась еще беременною и, подобно Mere Gigogne, бывало, того и гляди, что из кармана выскочит у нее ребенок.

Другая сестра, Елисавета Александровна, нисколько на нее не походила. Она была коротенькая, полненькая, смугленькая, картавая бабочка, исполненная живости и приятного ума. Сильные страсти обуревали жизнь ее. Девочкой выдали ее за глупого и пьяного Улыбышева, который, следуя древнему русскому обычаю, только между нетрезвыми сохранившемуся, иногда ее бивал; и без того был он ей давно уже противен. Тогда вице-губернатором в Пензе был поэт князь Иван Михайлович Долгоруков, прозванный Балконом по нижней челюсти необычайной величины, выдвигающей в виде сего архитектурного прибавления столь же большую губу. Это безобразие не помешало Улыбышевой влюбиться в него. Давно замечено уже, что одни женщины способны плениться красотами душевными или умственными предпочтительно наружным. Ревнивый муж, вооружась многовесной дубиной, дождался соперника своего у подъезда, при выходе из присутствия, и с таким бешенством внезапно напал на него, что едва за бесчестие свое не заставил заплатить его жизнью под сильными ударами палки, если бы не подоспела помощь. Изувеченный Долгоруков стал обвинять его в замышляемом смертоубийстве; а тот в оправдание свое представил все любовные письма жены своей, которые посредством подкупа умел он достать. Из этого возник длинный, ужасный уголовный процесс, прекратившийся уже в Сенате смертью, постигшею обвиняемого Улыбышева. Письма поныне находятся при деле, и не так давно с великим удовольствием имел я случай читать их в подлиннике. Нельзя не подивиться странным, новым, оригинальным оборотам и выражениям, которые сила чувства внушила страстной женщине на русском языке, на котором особы ее пола тогда порядочно писать не умели. Родственники тщетно старались истребить сии любопытные документы; а, по-моему, их следовало бы напечатать без имени. Предание еще было живо, когда я узнал ее, и оттого казалась она мне еще милее.

Если Елисавета Александровна не была примером верности супружеской, зато могла служить образцом материнской нежности к единственной дочери, которую имела от ненавистного мужа и которая, право, этого не заслуживала. По соседству с удалившейся от света Улыбышевой жили в чудесном согласии два брата Хрущовы, из которых у каждого было по тысяче душ крестьян. Старший, Петр Петрович, был красив и виден собою; другой же, Александр Петрович, хотя и гораздо моложе его, наружностью похвастать не мог. Старший чрезвычайно понравился еще нестарой матери, меньшего полюбила семнадцатилетняя дочь. Как быть в этом случае? В столь близком родстве два

брака могли быть дозволены только всемогущему Наполеону среди не совсем еще христианской Франции. Обязанностями религии Улыбышева пожертвовала обязанностям матери: дозволила дочери своей вступить в законный брак с меньшим Хрущовым; а сама всю жизнь осталась в незаконной связи со старшим. Доброе согласие от времени все более умножалось между сими двумя четами; они не покидали деревни, и четыре имения, скопившиеся, так сказать, в одних руках, дали им возможность посредством бережливости, винокурен и откупов в несколько лет удвоить состояние свое. Зависть стала приписывать их успехи деланию фальшивых ассигнаций; но одни только бессовестные усиливались верить этой глупой клевете. Все было хорошо, богато и пристойно в доме сем, кроме молодой хозяйки. К несчастью матери, она вся была в отца: имела грубые манеры простой крестьянки, и, что еще хуже того, от скуки ли посреди однообразия деревенской жизни, или по наследственной, врожденной к тому склонности, спозаранку начала она явно придерживаться хмельного. Пить и родить, вот все, что Агафья Ивановна умела делать в жизни сей, и в сем последнем занятии, кажется, перещеголяла даже тетку свою Арапову.

Не должен ли я просить извинения у читателя в том, что позволил себе представить здесь, может быть и не у места, сии два семейства, совсем не из исторических лиц состоящие, и в описание грозного 1812 года вклеить эпизодом незанимательную повесть о них. Но от воспоминаний сего года я никак не могу отодрать их, ибо они стоят на самом рубеже, отделяющем мрачное, гневное отчаяние наше от безумных удовольствий, которыми как будто хотели истребить мы память о горе, только что минувшем. Во всю зиму, еженедельно раз у Голицына, раз у Арапова и два раза у Хрущовых плясала вся Пенза со всеми, невольно ее посетившими. Большую ролю на сих балах играла одна московская старая девка и франтиха, Наталья Павловна Дашкова. С отцовской стороны была она двоюродная сестра Араповой и Улыбышевой, которые оказывали ей знаки глубочайшего уважения по той причине, что с материнской стороны была она также двоюродная сестра кн. Ивана Сергеевича Барятинского, женатого на Гольштинской принцессе. Позорная хроника московская, никак не осуждая ее, утверждала, будто родственные связи с князем сим скрепляла она другими приятнейшими узами. Не оттого ли почитала она себя знатною и с таким пренебрежением говорила не только о провинциалах, даже о москвичах, не принадлежавших к ее обществу? Мы, было, сначала подружились с ней, и она любила рассказывать мне о блестящей ампирее, в которой жила; но как я провел молодость в Петербурге, оттого что-то плохо веровал в преимущества московского бомонда, едва признавал его существование и не сумел этого скрыть от нее, то она совсем ко мне охолодела.

* * * * * * * * * *

Глава VII [1813 год]

В болезненном состоянии, в котором находился я при наступлении 1813 года, как сказал я выше, утешали меня вести, получаемые уже из-за границы; ибо во второй половине декабря заняты нашими войсками восточная Пруссия и даже Варшава в самый день Рождества; как вдруг был я встревожен и сильно огорчен одним неожиданным и для русской чести постыдным происшествием, о коем хотелось бы мне, но не смею умолчать.

Из полков новонабранного Пензенского ополчения один только формировался и стоял на квартирах в губернском городе, другие размещены были в уездах. Двое из начальствовавших над ними полковников, люди через меру расчетливые, нашли, что о прокормлении ратников много заботиться нечего и что, при всеобщем усердии жителей, они без пищи их не оставят, а между тем исправно принимали и клали себе в карманы суммы, из нашего комитета отпускаемые для продовольствия воинов. Название одного я, к счастию, позабыл; имени другого не скрою.

Иван Дмитриевич Дмитриев был приглашен, упрошен оставить кавалергардский полк, в котором дослужился до полковничьего чина. По моему мнению, неправы были господа офицеры, а он совсем не виноват, если, будучи сыном бедного помещика Мокшанского уезда, попал он нечаянно в такой полк, где тогда одним богачам служить было под силу, и что для поддержания требуемого великолепия должен был он прибегать к так называемым непозволительным средствам. Дело не обошлось без драки, разумеется, не рукопашной. Говорят, он был не труслив и между военными товарищами своими; в провинции же, среди мирных земляков, смелость его часто доходила до дерзости. Что удивительного? Все на свете, даже уважение сограждан, должен был брать он с бою; самые дары фортуны мог он не иначе похищать, как насильственным образом: вот отчего всегда находился он в бранном состоянии. Простое воровство в обществе презирается: необходимо надобно несколько облагородить его разбойничьими формами. В Москве, главном центре тогдашних картежных операций, поселился г. Дмитриев и подвизался там в сообществе с родственником своим Саввою Мартыновым, мною не раз упомянутым. Он оставил ее в 1812 году, когда в ней ничего ему делать не оставалось, и прибыл в Пензу, где удальцу сему предложен был полк.

Оба полковника сии прежде всего принялись за полковую экономию. Пока средства не истощались у жителей, ни они, ни ратники роптать не смели. Но когда голод привел их в отчаяние, последние возмутились, из своей среды выбрали себе начальников, а офицеров перевязали и, вероятно, сделали бы то же с полковниками, если бы сии последние заблаговременно не успели спастись бегством.

Сие происходило в двух городах, Саранске и Чембаре, полтораста верст один от другого отстоящих. Ни бесчинства, ни грабежа не было, воины требовали одной пищи и, понаевшись, сделались спокойнее и смирнее. Ужасу было много у нас в продолжение двух или трех дней. Но скоро подоспели другие ополченные, сам граф Толстой прискакал в Саранск, и мятеж утушен без кровопролития. Дело обошлось как нельзя лучше: виновных не нашлось, полковники с глазу на глаз названы мошенниками, а рядовым перед фронтом объявлено, что их хорошо будут кормить; но если впредь что-нибудь подобное они затеют, то десятый из них будет расстрелян; все же дело под шумок представлено выше действием неудачного подговора каких-то небывалых лазутчиков. В половине января бунтовавшие и уже покорные, равно как и разруган-

ные, связанные и уже освобожденные, и начальствующие преспокойно отправились вместе в дальний поход по направлению к Киеву.

С отбытием ополчения, казалось, что занятия нашего комитета, кроме приготовления отчетов, должны бы были прекратиться; нимало. Не зная, достанет ли у немцев довольно смелости, чтоб явно присоединиться к нему; с другой стороны, видя, с каким рвением и поспешностью, по единому слову его, земля русская рождает и образует рати, желая иметь достаточный запас воинов, в случае несогласия с немцами, — государь повелел, чтобы набрано было, под именем резерва, второе ополчение, только вполовину меньше первого. Из него велено отделить несколько штаб- и обер-офицеров, если не в ратном, то во фронтовом деле искусившихся. Геройский жар в некоторых успел уже погаснуть, и они охотно воспользовались случаем на несколько месяцев еще остаться, не покидать родимого края. Не оставалось более военных людей, высокое звание носящих, и надлежало довольствоваться менее чиновными. Казань избрана местом пребывания главного начальства нового ополчения, и оно поручено отставному артиллерийскому генерал-майору Дмитрию Александровичу Булыгину, с теми же правами, кои присвоены были графу Петру Александровичу Толстому.

Я знавал этого Булыгина, только немного. Он слыл весьма умным; об этом судить я не могу, ибо внимание мое не столько обращено было на его речи, сколько на наружность. Отец его был женат на придворной калмычке, и образ ее, в преувеличенном виде, резкими чертами напечатан был на лице сына. Говорили также, что он был отличный артиллерист, добрый и честный человек.

Губернским же начальником, вместо отбывшего генерала Кишенского, выбран был у нас отставной бригадир, граф Федор Андреевич Толстой; как говорилось в старину между военными: за неимением маркитанта блинник служит. На вопрос (если мне сделают его): какой это был Толстой? — вместо ответа отошлю я читателя к краткой родословной сей многочисленной ныне фамилии, здесь ниже в особой выноске помещенной [39].

Он и некоторые из братьев его служили припеваючи при Екатерининской гвардии до капитанского чина, потом вышли в отставку бригадирами, поселились в Москве и стали искать богатых невест; употребляли самые легкие и простые средства, чтобы быть счастливыми. Ему посчастливилось более других: со Степанидою Алексеевною Дурасовой, на коей он женился, приобрел он большой достаток. Даже для умеренного удовлетворения его вкусов надобно было много денег, и он бы разорился, если бы не был удержан бережливостью, можно сказать, скупостью жены своей. Он был несведущий, а не менее того страстный антикварий и собиратель всякого рода редкостей. Но как при покупке картин, манускриптов, медалей всегда руководствовался он советами сведущих людей, то в собрание его немного попадало ничтожных вещей, и оно наполнено было драгоценностями. По природе мягконравный, он всегда казался весел, оставался спокоен духом и оттого-то, кажется, и поднесь тянется жизнь его. Воин был бы он плохой, и если вступил в ополчение, то, вероятно, для того, чтобы несколько времени, хотя бы с серым кафтаном, пощеголять генеральскими эполетами.

Супруга его решительно была и нелюбезна, и немиловидна. Она по матери была в числе наследниц знаменитого Твердышева, простого мужика, который с пятью только рублями, но с умом и честностью, с неимоверною деятельностью, изворотливостью и смелостью начал созидать огромную фортуну свою. Он соорудил двадцать шесть железных и медеплавильных заводов, тем оживил и обогатил заброшенный дотоле Оренбургский край, и каждой из четырех племянниц своих, Дурасовой, Пашковой, Бекетовой и Козицкой, сверх сказанных заводов, оставил по шестнадцати тысяч душ крестьян. Каждый обломок раздробленного после них имения стоит еще не менее миллиона.

Графиня Толстая, подобно деду не наживала богатства, а только умела сохранять его; заботливость ее о том назову я чрезмерною, даже непристойною. В продолжение всего времени, что Москва занята была французами, на свет Божий не смотрела она, кляла Растопчина и о том только жалела, что Наполеона не приняли с честью и не дозволили откупиться от него посредством сильной контрибуции. Мне случилось обедать у них в тот самый день, в который получила она известие о том, что великолепный дом ее на Большой Дмитровке остался цел, что сделаны в нем некоторые повреждения, зато весь он загроможден нанесенными в него дорогими предметами; как сохранившемуся, так и приобретенному при донесении приложена была опись. Во время чтения улыбка показалась было на лице ее, как вдруг залилась она слезами, воскликнув: «Я никак не нахожу тут прекрасного тюфяка, моего, обшитого шелковой объяринной материей; злодеи погубили его!» Всех изумило и всем показалось это чрезвычайно гадко. Впоследствии единственную дочь свою выдала она за единственного графа Закревского.

Итак, наши помещики покряхтели, поморщились; но делать было нечего, принялись опять за набор людей и за пожертвования; через то на неопределенное время должно было продлиться существование нашего комитета. Это испугало почтенного председателя нашего Кашкарова. Более двадцати лет был он в отставке с бригадирским чином, изредка показывался в Москве и, хотя был холостой, совершенно свыкся с деревенскою жизнью. Долг дворянина в тяжкий год для отчизны вызвал его опять на временную службу; но бедствия миновались, дни становились все длиннее, солнышко краснее и ярче, и все тянуло его в мирное убежище, где жил он отцом и благотворителем дворни и крестьян. Ему не стерпелось, он отказался от места и сказался больным.

В великое затруднение поставлен был губернатор Голицын. По вздорным несогласиям с губернским предводителем Колокольцовым, как сказал я выше, умел он, чрез посредство главноначальствовавшего графа Толстого, совершенно устранить его от сего председательства. Тогда надлежало на место Кашкарова вызвать старшего по нем кандидата, который был ему во сто раз противнее Колокольцова. И кто же был сей кандидат? Отставной уже тогда обер-прокурор Столыпин, высокомерный, высокорослый человек, о котором что-то очень давно я ни слова не упоминал. С тех пор, как в сих Записках расстался я с ним, продолжал он служить экспедитором или начальником отделения в канцелярии министра юстиции и по возможности вредить моему отцу. Наконец, назначен он

обер-прокурором в один из московских департаментов Сената и находился там в виде делегата Сперанского. Если сей последний имел намерение через него распространить что-нибудь в древней столице, то весьма ошибся в своих расчетах: Столыпин, всегда покорный, преклонный перед государственными властями, вооружался только против местных. Главнокомандовавший, фельдмаршал Гудович, заседал тогда в Сенате и в нем хотел деспотствовать точно так же, как и в городе; может быть, весьма основательно противился Столыпин его незаконным требованиям; но в протестах своих употреблял выражения столь грубые, столь дерзкие, что дал старику все право справедливо жаловаться на него самому государю. Еще за полгода до падения Сперанского, несмотря на его покровительство, был он отставлен и поселился в своей пензенской деревне. В начале сентября 1812 года внезапно явился он на дворянском съезде и действовал так быстро и так тайно, что едва не попал в председатели комитета для пожертвований. Дворяне имели только в виду его рост и его чин, и ахнули, когда им объяснили, что они выбрали друга и соумышленника подозреваемого в измене Сперанского. Голицын, яко знатный, почитал себя в обязанности ненавидеть сего последнего и, желая показать то Столыпину, обошелся с ним неучтиво; тот, кажется, отвечал ему тем же.

Недели полторы или две губернатор все медлил с извещением его об отбытии Кашкарова и с приглашением занять его место. Бумага о том была уже подписана, а он не решался ее отправить, и надеялся, что наступившая совершенная распутица воспрепятствует Столыпину скоро приехать. Между тем, по званию старшего члена, вступил я в должность председателя. Кто поверит, чтобы мне, молодому человеку, совсем не польстила временная честь наследовать старику бригадиру? Но с нею сопряжены были затруднения, которые должен буду здесь объяснить.

Между оставшимися от первого ополчения для образования нового находился один отставной конной гвардии штаб-ротмистр, Федор Иванович Левин. Человек был он еще довольно молодой, весьма неглупый, исполненный чести. Друг порядка, без малейшей подлости, всегда оказывал он должное уважение начальству, что в нынешнее время непременно бы названо было холопством. Жаль только, что, при столь похвальных свойствах, чрезмерная живость в крови часто затмевала у него рассудок, так что название «взбалмошный» как бы нарочно для него было придумано. Ему поручено было сформировать конницу второго ополчения, то есть всего только два эскадрона, и он захотел блеснуть ими перед пензенской публикой. Для того затеял он для них какие-то куртки, с широкими светло-зелеными отворотами и красным кушаком, сабли, медные эполеты и меховые, за неимением медвежьих, собачьи шапки. Все это шутовство, по его счету, должно было обойтись в сорок пять, а, наверное, стоило бы не менее семидесяти тысяч рублей; тогда как по распоряжениям главного в Петербурге комитета, под председательством Аракчеева, все должно было ограничиваться пиками и простыми серыми кафтанами. В сем виде конный полк первого ополчения вышел и в поход.

По связям своим с губернатором Голицыным и губернским начальником Толстым Левин без затруднения склонил их утвердить его затеи; князь отнесся к нам о том, а граф потребовал денег. Я не знал, что делать. Осторожный, даже боязливый член от правительства, Караулов, прикинулся больным и не участвовал в заседаниях; безграмотный купец Козицын сделал бы только то, что я приказал бы ему, следственно, я оставался совершенно один, и вся ответственность лежала на мне. Немногие наличные дворяне тайком убеждали меня понапрасну не сорить деньгами; и мне самому не хотелось поплатиться, может быть, целым имением за чужие прихоти; но я определен был правительством, то есть губернатором, и трудно мне было опять идти против него. Я не отказывал и не соглашался и старался выиграть только время; к счастью, Левин, не полагая возможным какое-нибудь с моей стороны сопротивление, делом не торопил. Насчет нелепых требований его решился я одним вечером объясниться с губернатором; тот отвечал мне ласками и шутками. Тогда составил я себе план и хотел действовать смело.

На следующее утро, когда еще лежал я в постели, в мою низенькую комнату ввалилось огромное туловище Столыпина без всякого предварения. Это было в начале апреля. Не дождавшись официального извещения, он решился сделать более ста верст по непроходимым дорогам, там завязая в глубокой грязи, там проплывая быстрые потоки, и, ни с кем не увидевшись, показался мне первому. У меня голова закружилась, так озадачил он меня и неожиданным появлением своим, и расточительностью похвал: от имени целого дворянства благодарил он меня; и защитник-то я был прав его, и блюститель его выгод. «Да я еще ничего не сделал», — отвечал я. «Все равно, вы медлили и хотели сумасбродам дать время образумиться. И я приехал вам на помощь, приехал выручать вас». Что было делать? Поневоле пришлось сойтись с врагом отца моего, с недругом целого моего семейства и против человека, дотоле мне благоприятствовавшего.

Столыпин не замедлил вступить в должность, и первым действием его, вместе с комитетом, был отказ в удовлетворении фантазий г. Левина. Но, против обыкновения своего, согласно с моим желанием, сделал он его в умеренных и почтительных терминах, с сожалением представляя всю невозможность исполнить требование начальства, по неимению на то достаточных прав. Вскоре получили мы ответ, полный угроз и писанный самым повелительным тоном; Левин являлся также в заседание комитета с дерзостью объявить гневную волю губернатора. Тогда Столыпин задумал посещение и слова его внести в журнал, а комитет объявить в опасности: этому человеку везде хотелось каких-то конституционных, чтобы не сказать, революционных форм. Я восстал против того, доказав ему, что это будет чересчур смешно и скандально.

Была тогда страстная неделя. Столыпин сам марал возражение и, чтобы выслушать его, в Великую Пятницу, под предлогом нездоровья, пригласил меня к себе в дом. Меня несколько удивило, что определение и отпуск уже написаны были набело. С видом самодовольствия, охриплым голосом своим начал он мне читать свое творение; не подозревая никакой хитрости, видел я тут одно только авторское наслаждение; а он, злодей, с умыслом искусно пропускал все резкие, язвительные места, против которых я мог бы восставать. Чтобы кончить все перед праздником, он рассеянно предложил мне скорее подписать бумаги; я то

и сделал. На другой день поступил он также с членом от купечества Козицыным, призвал его к себе, показал только свою и мою подписи, а тот, по обыкновению своему, под ними всепокорнейше подмахнул и свое купеческое прозвание. Притворная болезнь г. Караулова все еще продолжалась, и сею искусною, по мнению его, уловкою он выиграл одно только то, что с обеих сторон на него досадовали.

В светлый день Пасхи был я с поздравлением у сиятельного. Он похристосовался со мною ласково, только слегка пошучивал насчет новых связей моих, но не получал еще нашей бумаги, а если и получил, то, верно, не распечатывал еще; сие последовало на другой день. Он был человек, нельзя сказать, добрый, но легкомысленный, рассеянный, который ничего не умел делать серьезно, особенно сердиться. Тут, говорят, он на себя не походил: ярился, свирепствовал, — и было от чего! Он объявил, что никогда уже со мной не увидится и не велит к себе даже на крыльцо пускать. А за Козицыным послал на другой же день.

— Как смел ты, купчишка мерзкой, написать ко мне ругательную бумагу? — сказал он ему.

— Да возможно ли, да как бы осмелился я это сделать? О семи, что ли, я головах?

— Да чья же это подпись?

— Ох, виноват, согрешил: мне велели подписать, а я и сам не знаю, что подписал.

— Да как же ты не читавши, подписываешь?

— Да что делать? Умилосердитесь, батюшка, ваше сиятельство! Человек я темный: если бы я стал читать, ведь все бы равно, ведь я ничего бы не понял.

Голицын расхохотался.

Не житье было тогда Столыпину в Пензе. Те, которые тайно одобряли поступок сего нового Мирабо, явно не смели того показывать. Другие как будто боялись зачумиться близ него; иные позволяли себе делать ему грубости.

Так времена переходчивы. Смирный граф Толстой более всех петушился, хорохорился; в доме у зятя его, мужа сестры его, вице-губернатора Евреинова, он до того разъярился, что схватил его за ворот. Он был холоден и тверд, как гранит; я это сказал ему, и это, кажется, весьма его потешило.

Мое положение было также не совсем приятное. Мне бы обидно было уподобиться Козицыну; я ни от чего не отрекался и не хотел признаться в том, что также, как и он, не читавши подписал бумагу; даже самому Столыпину не сделал ни малейшего упрека. Кому-то из друзей моего семейства вздумалось выдавать меня за невинную жертву, опутанную сатанинскими сетями Столыпина; так, по крайней мере, дело представлено моей матери, которая крайне скорбела о происходящем. Все-таки невесело было видеть, что люди смотрят на меня с горделивым состраданием.

Новые перуны готовил на нас Голицын, но не сам хотел грянуть ими, а грозу вызвал из Казани. Несколько дней писали, писали у него, сочиняли ужасную бумагу к главноначальствовавшему генералу Булыгину, и отправили ее с нарочным. В ней представлен бунтовщик Столыпин как человек весьма опасный в настоящих обстоятельствах. «Будучи в тесной связи с предателем Сперанским, может иметь он и тайные сношения с Наполеоном. Вот почему, вероятно, старается он препятствовать скорому образованию нового ополчения, и особенно Левинских эскадронов, которые могли бы нанести последние удары неприятелю». О других членах ни слова не сказано.

Дороги были ужасные, ручьи, речки и реки выступили из берегов своих и покрывали поля; во многих местах не было переправ, и пятьсот верст надобно было сделать курьеру. И потому-то более двух недель прождали мы, пока получили ответ от Булыгина, который был довольно благоразумен. Приписывая все несогласия, неудовольствия, недоумения нарушению общеутвержденного порядка при назначении председателя в комитет, для восстановления его он требовал, чтобы губернский предводитель занял сие место. А этот предводитель, как не раз уже сказал я, был Димитрий Аполлонович Колокольцов, которого Голицын не терпел единственно за то, что исподтишка он иногда трунил над ним. Но все-таки в глазах его, это было лучше, чем Столыпин.

Сей последний дня два-три хотел было воспротивиться распоряжениям Булыгина, и собирался писать уже протест, как вдруг ото всего отступился. Мне первому, как уверял он меня, объявил он за тайну, что замыслил жениться, просватан и даже помолвлен на Вере Николаевне... Сие единственно заставляет его бросить эту дурацкую распрю. Он спешит в деревню, где после отца остался ему огромный дом; в нем станет ожидать будущего тестя, невесту и все их семейство, и там надеется без промедления сыграть свадьбу. На другой день все о том узнали, и в обществе Голицына не оставили приписать сей союз духу революционной партии Сперанского, не совсем еще в России подавленному. Сватовство происходило в доме нашем; постоялец, несмотря на известную скупость свою, заплатил мне за весь год, хотя прожил в нем не более девяти месяцев. Из конурки своей перебрался я в него опять и принялся жить на просторе.

Никаких более сношений с тех пор у меня с Столыпиным не было, и ни разу в сих Записках не придется мне упомянуть об нем. Потому-то мне хочется досказать здесь биографию его. Говорят: женишься — переменишься; после женитьбы сделался он осторожнее и гибче и, переходя из одной крайности с другую, изумлял раболепством своим перед министрами юстиции и финансов. Он вступил опять в службу обер-прокурором и был, наконец, сенатором в Петербурге. С сердцем, источенным червем честолюбия, и с телом, пожираемым худосочием крови, он долго прожить не мог и умер при Александре, не имея еще сорока пяти лет от роду.

Между тем, левинская история все не кончилась. Губернский предводитель Колокольцов, пользуясь отпуском, жил в деревне, и место его заступал уездный предводитель, Николай Степанович Ермолаев, милый и кроткий чудак, действительно, а иногда притворно рассеянный, который в делах, как и в разговорах, своим уступчиво-упорным обхождением не допускал возможности рассердиться на него. за отсутствием Колокольцова, по предложению губернатора, занял он место председателя комитета. Он не одобрял поступков Столыпина; не спешил, однако же, и повиноваться: еще успеем, сегодня да завтра, подождем да погодим, все откладывал, все медлил. Начинали уже меня в том обвинять и из жертвы произвели в соблазнители. Таким образом, прошло еще дней десять.

Вдруг Колокольцов явился к должности, хотя срок отпуска его еще не кончился. Представился единственный случай подразнить ему Голицына, и он не хотел

его упустить. Ермолаев опрометью бежал от нас.
С первой минуты Колокольцов, дотоле довольно робкой и покорный, как возмутившийся трус, объявил намерение противиться неправильным требованиям губернского начальства. Дабы сколько-нибудь законным образом оградить себя от буйных набегов Левина, как говорил он всем, перенес он присутствие комитета в депутатское собрание и на столе поставил зерцало. Озлобленный Караулов, видя, что нимало не угодил тем, что устранил себя от соучастия в дерзостях Столыпина, выписался из больных и вновь засел у нас, с желанием усилить оппозицию. Купеческое сердце Козицына умел я тронуть, предрекая разорение скудной лавке его, в случае какого-нибудь взыскания. Видя тогда, что большинства будет достаточно, чтобы не попустить нападчикам нашим восторжествовать при составлении нового определения, вошел я с особливым мнением. В нем один соглашался я на выдачу большой суммы, уступая воле пославшего мя и убедившись, наконец, в пользе и необходимости собачьих шапок и красных кушаков. Мне непременно нужно было примириться с Голицыным, как для того, чтобы успокоить бедную мать мою, так и по другим причинам, которые гораздо после должен буду объяснить.

Губернатор не знал, что ему делать. Все это ему надоело, и человек был он весьма не упрямый; но Толстой и Левин подбивали его, стараясь ему доказать, что он совсем останется в дураках, если прекратит свои настаивания.

В половине мая из главной императорской квартиры пришло примирение-развязка всему делу: приказание распустить это ополчение и ратников возвратить по домам. Все чрезвычайно обрадовались тому, кроме Левина, который один остался с носом и с убытком: ибо многое для эскадронов своих уже закупил, иное заказал, в уверенности, что дворянские деньги уплатят сии издержки, и все за бесценок должен был сбывать.

Из чего же спорили, ссорились? Из чего вся эта возня? Не менее того сия буря в нашей луже без малого три месяца сильно волновала ее. Вот так-то между людьми. Шести недель было для нас достаточно, чтобы свести все наши счеты; вышло, что, за удовлетворением потребностей обоих ополчений, осталось еще 150 тысяч рублей ассигнациями, которые для приращения положены в Приказ Общественного Призрения. Сбережение, по крайней мере, половины этой суммы имею, кажется, я право приписывать себе; ибо, при беспрестанной перемене председателей и отлучки члена, я один постоянно отстаивал ее. И что же? На первых дворянских выборах положено небольшой капитал этот превратить во вспомогательную кассу для неимущих и задолжавших дворян, дабы за малые проценты ссужать их небольшими суммами, а комитету объявить благодарность дворянства. Но и этого спасибо я не получал, равно и ни малейшего изъявления благоволения от правительства за временную, однако же, довольно заботливую тут службу мою. Так-то всегда со мною было и после; так, видно, у меня на роду написано. Я не ропщу; это, видно, компенсация, ибо сначала все приходило мне даром.

Если подробности, в кои входил я, найдут излишними и пустыми, я с этим не соглашусь. Я пишу воспоминания свои, и это дело занимает в них просторное место. В отдалении тридцати лет, описание обстоятельств его нахожу я даже забавным, и таким, по мнению моему, должно оно казаться читателю. К тому же оно изображает состояние, в коем находилась Россия после сильной брани и тревог, во время продолжительного отсутствия государя своего, когда при слабом управлении председателя Государственного Совета, Салтыкова, царствовало в ней нечто похожее на безначалие.

Военные происшествия перестали столь сильно занимать нас, провинциалов; слухи и известия о движении армии из-за границы стали все позже доходить до нас; во мне любопытство и участие никак не уменьшались. Русские войска безостановочно так и катились по следам полчищ наполеоновских, растаявших как воск от лица Господня. Бывало, в ведомостях только и читаешь, как они заняли то Кенигсберг, то Варшаву, то Берлин, то Гамбург, то Дрезден. Прусская монархия всем составом своим примкнула к нам; но она только одна. Разобиженный, униженный, не менее правдивый и достопочтенный король ее, укрепясь духом, в Бреславле наскоро подписал мир и поскакал в Калиш, чтобы пасть в объятия великодушного, уже счастливого Александра, который в глубине души не переставал быть его союзником. Сердце мое исполнено было надежд и благодарности к промыслу Всевышнего.

Одно только смущало меня: это было явное пристрастие, которое государь оказывал враждовавшим нам полякам, во время последнего похода, более чем когда ознаменовавшего себя жестокостями против русского народа. Это не было прощение, христианское забвение зла, а скорее походило на любовь, на награду. По его особенному приказанию Рыщевская освобождена и весною провалилась от нас.

Вскоре после нее стали покидать нас и другие наши посетители. В числе их находилось и семейство Кологриво-Гагаринское, к которому принадлежал и князь Четвертинский. Главе семейства сего, как сказал я выше, принадлежало село Мещерское, по дороге к Зубриловке, в верстах в сорока не доезжая ее. Там не было приюта; но в продолжение зимы, с русскою поспешностью, настроено множество отдельных деревянных хором, так что к лету для всех готово было просторное помещение. Я принял приглашение прогуляться туда на несколько дней, пока приводились к концу отчеты по делам и суммам комитета моего.

На обратном пути остановился я переночевать в селе Бекетовке, принадлежащем помещику того же имени, только не Аполлону Николаевичу, неугомонному и многореченному прокурору, который давно уже был в отставке и жил смирно. Вот еще новое лицо, новый член бесчисленного пензенского дворянства, которого не случилось еще мне назвать.

Жизнь Алексея Матвеевича Бекетова и сам он похожи были на те образцовые письма, которые можно находить в письмовниках: слог чист, все правильно, и все формы соблюдены. Он не был ни скуп, ни мотоват, ни с кем не заносчив, ни подобострастен, имел хороший рассудок, хорошее состояние — всего вдоволь, ничего лишнего. В Пензе, преисполненной тогда одними чудаками, совершенное отсутствие оригинальности одно только делало его оригиналом. Странно было только то, что супруга его Анна Матвеевна, урожденная Солнцова, была вся в него, даже лицом; а как она носила одинаковое с ним отчество, то можно было подумать, что он женат на родной сестре своей.

Если сия чета, о которой с душевным уважением я вспоминаю, прошла сквозь мир сей, не возбуждая в нем особенного внимания, зато из шести человек

детей ее было одно чадо, весьма примечания достойное. Три сына были на войне, а из трех дочерей одна была только замужем: полно, так ли я сказал? Безошибочно можно было ее назвать женатою. У Катерины Алексеевны Дмитрий Васильевич Золотарев, наш симбухинский сосед, был плохой мужичишка, но отличный хозяин, которого умела употребить она с большою пользой, определив его приказчиком над общим их имением и предоставив себе главное над оным распоряжение. Природа делает такого рода ошибки; но они случаются так часто, что, право, можно подумать, будто она творит сие с умыслом. Она дала Катерине Алексеевне то удальство, которое львицы нынешнего времени приобретают только искусством. Ее откровенный вид, всегда веселое лицо и дебелость, довольно преувеличенная с первого взгляда, заставляли предполагать в ней много простодушия и даже какую-то рыхлость в характере. Это было обманчиво: твердость воли была у нее мужская, и злоязычие ее всегда бывало остроумно. Паче всего любила она упражнения нашего пола. Сколько раз видели ее по дороге стоймя в телеге, с шапкою набекрень, погоняющую тройку лихих коней, с ямскою приговоркой: «С горки на горку, даст барин на водку».

Откуда ни возьмись ей под стать одна иностранка, поселившаяся в доме ее родителей. за весьма умеренную цену нанялась она быть гувернанткой при двух взрослых, почти двадцатилетних, меньших сестрах ее. Француженка с немецким прозванием, мадам Гоф, — все в ней казалось загадочным. Она была малого роста, худая, дряблая, косая, в морщинах и имела голос мужающего отрока. Так же как у Золотаревой, были у нее все склонности не женские: чрезвычайно любила играть в бильярд и курить трубку, и оттого-то у сих женщин свелась самая тесная дружба. Времена были старинные, варварские, всем это казалось зазорно; нынешнее новое, смелое женское поколение может почитать их своими прародительницами.

С Золотаревой были у нас лады, но француженке я не полюбился, и она старалась нас поссорить. С первою бывало мне очень весело, можно было похохотать с нею и над нею; но когда подле этой соседки появилась мрачная сова, и мы с сею последнею не могли скрывать взаимного друг от друга отвращения, то знакомство наше на время прекратилось. Когда разгорелась война, то на француженку стали падать какие-то подозрения: она часто начала посещать Рыщевскую и водиться с французами, которые были сосланы. В обеих наших столицах не бывала, ни в каком другом доме прежде она не живала, никто не знал ее, и за год до войны она как будто с неба свалилась в Пензу. Голицын хотел было ее выслать, но его упросили, а меня стали подозревать в склонении его к сей строгой мере; я же, напротив, находил, что в расположении, в котором были мы, никакой лазутчик не мог быть опасен; напраслина всегда была моя участь. Весною г-жа Гоф сама уехала с г-жою Рыщевской, и только года два спустя узнали настоящее ее фамильное имя. Она писала из Вены, что обстоятельства, о которых она умалчивает, заставляли ее некоторое время искать убежища в России, и подписалась — графиня Куденговен: это название одной из известнейших и знатнейших австро-баварских фамилий. Ее уже не было, когда я решился посетить Бекетовку; самого хозяина не было дома, и по усильному приглашению почтенной хозяйки согласился я переночевать.

Рано поутру послышались мне голоса в соседней комнате, от которой отделен я был запертою дверью. Семейство собралось в кабинете отца читать вслух только что полученные из Пензы «Московские Ведомости», и до меня невнятно доходили слова: сражение, Кутузов, Витгенштейн. Это совсем прогнало у меня сон; я наскоро оделся и за чаем узнал множество новостей. Дивному Наполеону достаточно было трех-четырех месяцев, чтобы набрать новые, огромные силы, поднять их на Россию и сразиться с нею в самом сердце Германии. И уже не должен был он встретить искусного, престарелого победителя своего, который в это самое время на одре болезни исчезал, озаренный своей славой. Как всякому сыну отечества, прискорбна мне была утрата, им сделанная; но утешение являлось вместе с горестью; Люценское сражение выдали нам за победу; присоединясь к нам, вся Пруссия восстала, и войсками предводительствовал недавно прославившийся полководец.

Театр войны так отдалился от нас, что только в конце мая получены были нами известия более чем через месяц после происшествия: о железных дорогах и даже о пароходах тогда еще у нас и помину не было.

Лето прошло почти неприметным образом. Война продолжалась вдали, реляции искусно умели скрадывать наши уроны, в них находились все названия немецких городов и, после прошлогодних тревог, это казалось обыкновенным бранным состоянием, которое дотоле для России никогда почти не прекращалось. Только не могли понять земляки мои, отчего мы все вертимся на одном месте, не подвигаясь ни взад, ни вперед; неведение иногда бывает дело весьма полезное. Немногим, которые, подобно мне, несмотря на сходство имен, знали, что Бауцен далеко отстоит от Люцена, не хотелось сознаться, что, вероятно, мы принуждены были много отступать.

Я редко посещал Пензу. Мать моя, построив себе небольшой домик в подгородном селе Лебедевке, туда переехала, а я поселился опять в том же Симбухине, в семи верстах от нее; следственно, в город мне почти и не зачем было ездить. Сии два–три месяца были если не приятнейшим, то едва ли не спокойнейшим временем в моей жизни.

* * * * * * * * * *

Глава VIII

* * * * * * * * * *

Один из отличавшихся в сию знаменитую войну находился тогда у нас, среди нашего семейства: это был зять мой Алексеев. Жена его, по недостаточному состоянию, долго жить в Петербурге не могла; поручив Богу двух малолетних сыновей и оставив их в Пажеском корпусе, еще в марте месяце приехала она к нам в Пензу. Генерал же Алексеев находился в сражении при Люцене и получил сильную контузию в ногу. Этот совершенно русский человек не умел как-то угодить возрастающему тогда в могуществе немцу Дибичу, имел некоторые неприятности и воспользовался заключенным перемирием, чтобы отпроситься домой, отдохнуть, полечиться и навестить жену и родных. С июля месяца жил он в Пензе. Неблагорасположенные к нему в главной квартире воспользовались его отсутствием, чтобы вместо какой-нибудь лестной награды испросить ему подарок

в десять тысяч рублей, да Прусский король дал ему орден Красного Орла второй степени. Когда пришла к нам весть о новых русских победах, сильно забилось в нем ретивое. Несмотря на неудовольствия, которые он уже имел и которых еще ожидать мог, его так и позывало в армию. Как ни старались его удержать, в половине октября отправился он по пути к Киеву, а мы с сестрой провожали его до Чембара.

Верстах в пятидесяти от Чембара, через степные и малонаселенные места, находилась Зубриловка. Князь Феодор Голицын, которому селение сие досталось по разделу, на зиму с семейством своим уединился в нем и, верно скуки ради, меня убедительно приглашал навестить его. Пользуясь соседством, дал я сестре одной отправиться обратно в Пензу; а сам, несмотря на неприятности осенних дорог и погоды, отправился к нему.

Я приехал поздно вечером и нашел его вдвоем с женой в слабо освещенной комнате нижнего этажа. Они умирали со скуки, и нет ничего удивительного, если приезд нового лица, человека сколько-нибудь образованного, их обрадовал. Тут только, могу сказать, познакомился я с этою княгиней; в петербургской многолюдной ее гостиной, где на софе, как на троне, председала она, это дело было невозможное; там можно было довольствоваться от нее двумя-тремя словами, как от особ царской фамилии. Она имела все свойства европейских аристократок прежнего времени: вместе с умом и добротою была холодна и надменна; делалась любезна только с короткими людьми. Такие женщины своим примером поддерживали лучшее общество, но в провинции они не годились. Учтивость без малейшей улыбки, которую княгиня Голицына оказывала соседкам своим, им казалась обидною; и они вместе с мужьями своими перестали тут показываться. Домашний весьма тесный круг, составленный из наемных иностранцев и иностранок, был единственным обществом знатной четы.

Но саженях в семидесяти от ее жительства можно было еще иногда встречать барынь, прежних частых посетительниц Зубриловки. Там, подле церкви и близ праха супруга, старая княгиня построила себе небольшие деревянные хоромы, как внутри, так и снаружи отлича-ющиеся совершенною простотою, и в них поселилась, большие палаты предоставив сидящему на княжестве наследнику своему. Пока мы вечером разговаривали, хозяин получил от матери маленькую записку, в которой поручает она ему пригласить меня на другой день к ней обедать. Я во вдовстве еще не видал ее; хотя она приезжала в Пензу, но редко кому показывала светлое лицо свое.
Не предвидя ничего для себя неприятного, без малейшей боязни пришел я к ней. Она встретила меня с какою-то язвительною улыбкой, превратив старинное, знакомое ты в учтиво-укоризненное вы. Когда я уселся против нее, вопросила она меня, часто ли я получаю письма от друга моего Столыпина? Я отвечал, что имел сношения с ним по службе, но переписки никогда [40]. Тут пустилась она всячески поносить его и меня, утверждая, будто из подлости, из пустой надежды на покровительство Мордвинова (тогда не служащего), решился я попрать все обязанности сына и приятеля, не убоялся оскорбить два семейства, коим злодействовал Столыпин, и тому подобное. Я призвал на помощь все достоинство свое, стараясь ей напомнить, что я уже не тот отрок, которого знала она в Казацком, а едва ли не юноша, зауряд. Куда тебе! Глаза у нее засверкали, губы затряслись и, после минутного молчания, она вскрикнула: «Да знаешь ли, что ты у меня в руках? Знаешь ли, что я могу с тобою сделать? Могу велеть разложить тебя и высечь». Я вспомнил то, что слышал про подвиги ее молодости, и обмер. Сын ее, мигая мне глазом, бросился к ней с словами: «Полноте, матушка, ведь они давно с братом помирились; дайте и вы ему вашу руку поцеловать». Делать было нечего, я подошел, а она то подавала, то отдергивала руку свою. Через минуту пришли сказать, что обед готов; она встала, уверяя, что меня не надобно за стол пускать, а между тем сама повела к нему и посадила подле себя. за обедом повторяла, что мне не надобно есть давать, а всякого кушанья сама накладывала мне на тарелку. Такие взбалмошные злы не бывают: это доказывает, что сердитые женщины в существе всегда предобрые; только избави Бог и от них. Невестка была свидетельницей сей трагикомической сцены и от нее, конечно, не менее меня страдала: она вся была исполнена важности и приличия и, верно, в жизни ни разу не забывалась. Между нею и свекровью находилось как будто целое столетие; одна казалась боярыней времен Елисаветы Петровны, другая — дамой двора Елисаветы Алексеевны.

Вечером объявил я любезному хозяину моему, что Зубриловка его становится страшна, опасна и что на другой день, рано поутру, намерен я бежать из нее. Он уверял меня, что мать его опомнилась, в отчаянии от случившегося и хочет удвоенными ласками меня заставить забыть его. На безлюдье Фома — человек, готов я сказать, может быть, с излишнею скромностью: оттого-то хозяева мои употребили все убеждения, чтобы удержать меня долее, и я пробыл целую неделю в добром согласии с обеими княгинями. Грязь замерзала от сильных утренников, а днем солнце сияло на чистом небе, и прогулки по рощам были не без приятности.

Не прошло еще пяти лет, как князь Феодор был женат на пребогатой единственной дочери фельдмаршала князя Прозоровского; затеи его не успели еще расстроить имение, и разорение даже издали еще не грозило ему. От великолепий двора по временам отдалялся он, чтобы менять их на пышности собственного великокняжеского житья, которое намерен был завести он в отдаленном поместье. Ему хотелось, чтобы замок его походил на Павловский дворец; и средний и верхний этаж его в это время переделывались самым великолепным образом, а сам он покамест помещался в нижнем, который также с большим вкусом и роскошью отделан. Этого мало: огромный, красивый пруд хотел он обратить в широкую речку; для открытия видов делал просеки и рубил славные деревья в степных местах, где лес ценится золотом; одним словом, знатным образом куролесил. В этом состояли его деревенские занятия; княгиня занималась детьми, чтением классических авторов и изучением древней истории; хозяйством, кажется, никто. Право, жаль мне было на все это смотреть.

Может быть, читатель подивится терпеливости моей в отношении к Голицыным. Чтобы оправдать себя перед ним, должен я войти в некоторые подробности, в описание некоторых семейных и провинциальных сплетен, коими, может быть, ему наскучу; но что делать? Без этого я никак обойтись не могу.

Да вспомнит читатель старинного друга, потом недруга отца моего, Ефима Петровича Чемесова; его уже не было на свете; о нем и о супруге его я много говорил, а о семействе его едва упомянул. Из трех меньших дочерей его средняя, Марфа, была не красавица; но миловидность ее была лучше красоты. Ее черные, огня исполненные глаза и самая приятная улыбка были отменно привлекательны. Она хорошо умела воспользоваться воспитанием, полученным в Екатерининском институте; со всеми была отменно любезна и умом превосходила все семейство свое. Честолюбивая тетка, Елисавета Петровна Леонтьева, которую также прошу не забывать и которая брата моего не допустила жениться на внучке своей Ступишиной, имела на племянницу великие виды. Не знаю, по какому случаю были у нее давнишние, короткие связи с княгинею Варварой Васильевной Голицыной, и в Пензе выдавала она себя за опекуншу трех маленьких сыновей ее, братьев губернатора. Она положила одного из них непременно женить на Марфе Чемесовой, и старший, Павел, оказался более других к тому склонен. Такой жених, право, не мог почитаться находкой; в нем не было ни крошечки ума, а тьма пороков. Лицом не совсем дурен, был он записной и несчастливый игрок, любил лишнее выпить и в отношении к женскому полу вел жизнь самую развратную. Ни мысли, ни движения благородного, а уже способностей никаких. Семейство его не было ослеплено насчет его недостатков, а со всем тем голицынская гордость сильно возмутилась, когда изъявил он желать соединиться браком с простою дворянкою. Сначала мать слышать не хотела, но как это было в самый разгар войны, и молодой человек вступил в ополчение, то, дабы выиграть время, изъявила она согласие, с условием, чтобы свадьбе быть по заключении мира. А между тем жених так захворал, что все тело его покрылось злокачественными ранами, и вместо армии, среди зимы, должен был он ехать лечиться на Кавказ.

В то же время другое горе посетило голицынскую семью: любимец княгини, Василий, почувствовал также необоримую склонность к девочке, можно сказать сиротке, воспитывавшейся в доме у брата его Григория. Это уже было дело совсем нешуточное; моложе Павла четырьмя годами, Василий совсем был не чета старшему брату, во всем брал первенство перед ним, и если взять в соображение и чины, то и тут стоял выше его, будучи камер-юнкером пятого класса, когда тот находился в десятом; в самом обращении с ним он как будто удостаивал его братством. Хотя в нем не было ничего необыкновенного, но, по мнению матери и братьев, ему предстояло самое блестящее поприще, и также подобная женитьба ожидала его в будущем. Война и это дело поправила: он вступил в Пензенское ополчение и отправился с ним в поход.

История красотки, к ногам которой Василий Голицын надеялся по возвращении бросить лавры свои, вероятно, потому мне кажется занимательною, что в воспоминаниях моих занимает важное место. Лет двадцать тому назад мне бы еще приятно было ее рассказывать, под пером моим ей бы конца не было; а ныне, да успокоится читатель, мне нетрудно будет ее сократить.

Дочь пребогатого и презнатного польского пана, князя Ксаверия Любомирского, Клементина влюбилась в шляхтича Петра Крогера, сына одного из управителей отцовских имений, бежала с ним и против воли отца с ним обвенчалась. Жестокое наказание, как бы самим небом ниспосланное, было последствием сего детского неповиновения-преступления, которое в глазах моих извиняется силою любви. Отец никогда не хотел ее простить, лишил наследства и выделил ей только законную часть из имения умершей матери. В продолжение немногих лет неблагодарный муж, которому всем она пожертвовала и который всем ей был обязан, успев присвоить себе все небольшое имущество ее, прогнал ее и отнял у нее даже двух малолетних детей, дочь и сына. Лишившись всего, где было искать ей утешений, если не там, где все несчастные находят его? Она нашла убежище в женском Кармелитском монастыре, в городе Дубне, Волынской губернии, и спустя несколько времени в нем постриглась.

Во время предпоследней войны нашей с французами, когда наши поляки не смели еще и думать, чтоб им возможно было отделиться от России, белорусский помещик Петр Крогер вступил в милицию, которою в этом краю начальствовал князь Сергей Феодорович Голицын. Человек был он проворный, полюбился ему и приплелся к его свите. Случись, что брошенная им жена находилась в родстве, и весьма недалеком, с невесткою князя, женою Григория, урожденною Сологуб. Сия последняя, благочестивая и сострадательная, выпросила к себе у Крогера несчастную девочку, дочь его, которая не получала никакого воспитания, и он отказать ей в том не смел, а может быть, и рад был освободиться от дочери, как от обременительной заботы.

Когда первый раз увидел я в Пензе эту девочку, которую звали Теофила, ей было дет шестнадцать, но в суждениях и разговорах она была еще совершенное дитя. Создавая ее на славу и украсив всеми наружными прелестями, сама природа, видно, так залюбовалась своим произведением, что в рассеянности забыла ей дать многое, которое для женщин в жизни бывает не излишним. То же самое делали и люди: пораженные ее очаровательною красотой, не думали справляться, под этою небесною оболочкой есть ли чувство и ум? Просто как совершенством творения величайшего из артистов, долго любовался я сим цветком, который все пышнее в глазах моих распускался. Братья Голицыны все до единого были люди весьма любострастные; но истинная любовь ни одному из них не была известна: семейства менее поэтического я не знавал. Василию полюбилась девочка, препятствий желаниям своим он еще не встречал, и потребовал дозволения жениться на ней. Она же, без всякой особой к нему склонности, охотно была на то согласна; но когда, после отъезда его, запрещено было ей о том думать, она нимало не огорчилась. Все это была семейная тайна, о которой я не имел никакого понятия, тогда как сватовство Павла на Чемесовой было известно целому городу.

Ненадобно было полагаться на действие времени, забвение, охлаждение двух влюбленных; нужно было воспользоваться их отсутствием, чтобы приискать женихов для их невест, а где их было взять тогда? Губернатор Голицын подметил необыкновенное удовольствие, с которым слушал я милый вздор из уст их воспитанницы, стал подозревать чувство, которого во мне вовсе еще тогда не было, и ожидал его развития, чтобы поощрить его; история со Столыпиным на время все это остановила.

Вскоре после примирения нашего не мог я не заметить, что как будто невзначай мне случается часто оставаться наедине с молоденькою красавицей, дозволяется делать прогулки и пешком и в коляске за город с нею и с немкою, более нянькою, чем гувернанткою, что в обращении со мною она сделалась скромнее, что от малейшей похвалы, у меня вырывавшейся, она улыбается, краснеет и потупляет глаза; эдак она мне еще более нравилась. Да что же? Подумал я, почему бы мне прелестною подругой не украсить жизнь мою, которая в будущем является мне столь одинокою и тоскливою? Я шутя начал говорить о том матери моей; она сильно и гневно восстала против намерения моего. Живши долго в Варшаве, в Люблине, наконец, в Киеве, имела она сильное предубеждение против полек: все они кокетки, неверные жены, твердила она. Я знал, что в важных случаях воля ее бывает очень тверда, и, дабы положить всему конец, решился переехать в наше Симбухино. Напрасно: препятствия раздражили меня; в бездействии, в уединении деревенской жизни воображение мое пуще воспламенилось, и все мелькал передо мною чудесный образ; то, что едва зародилось в сердце, развилось в голове. Так-то, я думаю, почти и всегда бывает с любовью.

Когда осенью воротился я в Пензу, то эта была уже настоящая страсть. Описывать ее не буду, во-первых, потому, что теперь не сумею, во-вторых, потому, что как-то совестно в нынешние лета мои за это приниматься. Если бы, паче чаяния, читатель захотел узнать о том, то пусть раскроет любой роман: там изображено все то, что я перечувствовал. Мне кажется ныне, что это должно походить на сон, в который погружает опиум после сильного его приема; в опьянении, которое он производит, чувствуешь, говорят, неизъяснимые муку и блаженство. Вообще, изо всех моих воспоминаний это одно, которое постоянно я отталкиваю. Любовь есть беспрерывное самоотвержение; но когда разгоряченное самолюбие восторжествует над ней, она становится ненавистна. Никогда еще в жизни не играл я столь глупой роли; в провинции всякий несчастный любовник казался смешон, и я был баснею Пензы. А отчего я был несчастлив? Оттого единственно, что был покорный сын.

Итак, любовь была причиною, истребившею во мне дух оппозиции. На Голицына в начале зимы я никак жаловаться не мог; он как нельзя более был доволен моею покорностью и часто шутил со мною насчет моей страсти. В случаях объясниться с Теофилой у меня недостатка не было, но я не решался; когда же сие сделалось против воли моей, она отвечала мне глупою улыбкой, которую назвал я невинною и прелестною и принял за согласие. Вскоре потом все переменилось. В январе получил я, наконец, согласие матери моей, и она поручила сестре моей Алексеевой сделать формальное предложение Голицыну; он отвечал, что у воспитанницы его есть отец, который один может располагать ее судьбою, что он в конце марта должен приехать в Пензу, следственно, переписка об этом предмете будет напрасна, а что по приезде его он сам берется быть моим сватом. Вместе с тем просил он сестру мою, чтоб она убедила меня воздерживаться от прежней короткости с невестою; ибо дело, становясь серьезным и будучи нерешенным, должно оставаться тайною, иначе было бы неприлично в глазах публики. Пензенской публики! Я, как дурак, поверил и дня два или три был совершенно счастлив.

Вдруг увидел я, что моя возлюбленная совсем от меня отворачивается и всегда так окружена, что нет для меня возможности лишнего слова с нею молвить. Я подумал сперва, что это какой-нибудь брачный этикет, мне вовсе неизвестный, но вскоре потом со всех сторон начали обращаться ко мне в вопросом: «Скажите, правда ли, что вы сватались, и вам отказали?» Легкомысленный и нескромный Голицын двум или трем знакомым успел рассказать, что он лучше от меня отделаться не умел, как выдумать приезд Крогера. Мне показалось, что все это было сделано с намерением меня одурачить. Мое положение сделалось ужасным: я кипел досадой и не смел показывать ее; это значило бы навсегда проститься с надеждой, которая одна только живила меня тогда. Я не прервал знакомства с домом губернатора, но когда, разговаривая с ним, выжимал на уста улыбку, глаза мои горели негодованием. Заметив это, раз опуская голос, так, чтобы окружающие не слыхали его, сказал он мне: «Пожалуйста, ничему не верьте, имейте только маленькое терпение, мы всем этим делом поладим».

Вот что было причиною этой внезапной перемены. Осенью пришли слухи, что Павел Голицын умер на Кавказе; он действительно умирал, но ожил и здоровый в декабре явился к матери в Зубриловку; там наложили на него секвестр и в Пензу не пустили. В это же время губернаторша Голицына с целым семейством ездила навестить свекровь; приезжий нашел, что девица Крогер выросла, похорошела и сказал, что она ему очень приглянулась. Тогда между членами этого семейства родилась новая комбинация. «Нет германской принцессы, руки которой бы брат Василий не был достоин, но для глупого, пьяного, гнилого Павла чего же лучше? — красотка, как бы уже принадлежащая к семейству и по матери в родстве со всею польскою знатью. Состояние, правда, весьма небольшое, но для человека, которого нельзя показать в столице, и его будет достаточно; главное же, чтобы спастись от пензенского родства и одним махом сделать два удара». Тогда, кажется, положено бросить веденную на меня атаку, а напротив, поставить себя в оборонительное состояние. Не понимаю, отчего нескоро последовало исполнение общего приговора. Она все делала по приказу: не было ни мыслей, ни чувств, ни воли в этом жалком, прекрасном создании, а он всегда был существо самое бесхарактерное, неосновательное.

Спешу кончить роман сей, которого я был весьма не блестящий герой, с тем, чтобы вперед никогда о нем не поминать. Когда уже меня не было в Пензе, ровно через год после предложения моего, совершился ненавистный мне брак. Василий Голицын возвратился почти накануне свадьбы; братья не поссорились; я повторяю: они не знали истинной любви. Что касается до меня, то нескоро мог я забыть близость недостигнутого блаженства. Бывало, когда случится мне сделать доброе дело, или сердце мое исполнится сострадания к несчастию ближнего, или внезапно чувство набожности наполнит душу мою, — в эти редкие и прекрасные минуты жизни моей, бывало, всегда посетит меня нежный образ Теофилы и напомнит мне время чистейшей любви. Но, наконец, призрак исчез навсегда. Увы, зачем увидел я ее вдовою, лет через двадцать после ее замужества! Если бы, по крайней мере, и стан и черты ее вовсе изменились, я бы мог еще уверить себя, что вижу совсем иную женщину; но нет, почти все то же, а со всем тем — как сказать мне?..

В прекрасной Теофиле, или Феофиле, увидал я настоящую Фефелу. Заимствуя выражение у французов, скажу, что я нашел в ней горькую дуру.

Известие о знаменитой Лейпцигской битве, самой решительной изо всех бывших в эту войну, получено у нас в половине ноября. Со всех концов Европы собрались тут сражающиеся: с четырех сторон, четыре армии устремились на один пункт сей, защищаемый Наполеоном. Французы приписывают потерю этого сражения какому-то капралу, который поспешил взорвать мост и чрез то предал бегущих в руки неприятеля; да ведь надобно же было наперед, чтоб они обращены были в бегство. Тут нельзя уже было взвалить вину на морозы, а очевидцы уверяют, что после того ретирада их совершенно походила на прошлогоднее бегство из-под Красного. Кажется, французы взяли девизом: победить неприятеля или бегом бежать от него; надобно отдать им справедливость, они великие мастера бороться с истиной. С другой стороны, немцы в этом деле и поныне почитают себя единственными победителями, забывая, что с ними вместе сражалась вся огромная русская армия, сражались шведы, венгры, славяне по всем наименованиям, даже из отдаленных месте башкиры и татары. И кто был душою, двигателем, можно сказать, главою этого бесчисленного сборища, между которым так трудно было сохранить согласие? Кто поставил на ноги прусского короля? Кто вытащил на поприще великих событий самого мирного австрийского императора? Кто, если не наш молодой Агамемнон, как в стихах назвал его Жуковский, если не тот, над которым в этот день и в последующее за ним месяцы видимо сияла благодать небесная?

У нас в провинциях от этой вести и от многих других, быстро одна за другою получаемых, только что с ума не сошли от радости. Давно ли, кажется, дрались наши на берегах Москвы-реки, и вот уже они на Рейне и, в свою очередь, Франция угрожается нашествием иноплеменных! Если Наполеон не совсем рехнулся, он поспешит заключить мир. И в этих провинциальных суждениях, право, было более благоразумия, чем в его тогдашних действиях. Особенно нашим пензенским приятно было узнать, что их ополчение участвовало в славной битве и что из их родных никто в нем не погиб. Ополчение это, принадлежавшее к армии Бенигсена, направлено было потом к Гамбургу, а малая часть его причислена к гарнизону, занявшему Дрезден.

Все располагало моих дворян к веселостям; но в предшествующем году они крепко поиздержались, а без денег как можно веселиться? Не смотря на то, к Рождеству, откуда взялись наши помещики: изо всех уездов понаехали, и пошла потеха! От самого Рождества вплоть до последнего дня Масленицы только два дня были без пляски, в том числе один Сочельник. Весело проживался Голицын и других в мотовство умел втягивать. Из Зубриловки, по его вызову, приехал и брат его, князь Феодор с супругой своею; но она ни с кем почти не говорила, ни на что не хотела смотреть и вскоре потом уехала.

Что я делал в это время общего сумасбродного разгулья? То же, но иначе, — сумасбродствовал! Я ничего не ведал о замышляемых браках Василия и Павла Голицыных, никак не подозревал, что Теофила невеста трех женихов, и все еще предавался слабой надежде. Она в таких случаях настоящее зло и похожа на продолжительные предсмертные страдания, когда человек невольно хватается за жизнь; скорое ее пресечение делается тогда счастьем. Если бы не глупая страсть, я, кажется, всю эту зиму плавал бы в радостных восторгах: Россия наша везде торжествовала! Но что делать? Никогда еще судьба не дала мне вполне насладиться удовольствиями жизни, и в розы, которыми изредка украшала ее, всегда вплетала самые колючие терния.

Глава IX [1814 год]

Прошла зима, первые месяцы 1814 года; наступила русская весна, мартовская великопостная оттепель; все возвещало скорое появление жизни. Но праздник Светлого Воскресения, в самом конце марта, встретили мы невесело: воротилась стужа с ветрами, метелями и непогодою. К тому же и самые известия из армии почитали мы неудовлетворительными, — мы, уже избалованные постоянными и быстрыми успехами. Казалось, что союзная армия разгуливает по Франции, напрягая все силы, чтобы где-нибудь прорваться к Парижу, но что везде, где только встретится ей сам, всюду покажет еще себя прежним, несокрушимым Наполеоном. Так было гораздо за половину апреля месяца.

В это время создал я себе новую забаву, вовсе непохвальную: я зол был на все человечество, и кого бы ни было сердить, огорчать сделалось для меня наслаждением. Я избегал сосланных французов, Радюльфа и Магиера, а еще более пленных; тут начал я сближаться с ними, их посещать и принимать у себя. Ни Рыщевской, ни сестры ее Четвертинской, ни которого из поляков и даже из москвичей, которые с ними были знакомы, давно уже не было, а в наших случайный патриотизм не успел еще довольно простыть, чтобы с ними водиться. По-русски ни один из них не знал ни слова, иностранных газет мы не получали; откуда было им знать, что происходит в мире, и я был для них газетой. Особенно примечателен был пленный полковник Пион, который молодым солдатом с молодым генералом Бонапарте, воевал еще в Египте, был им замечен, отличен, всегда лично ему известен и находился потом во всех с ним кампаниях. Другие пленные также говорили о Наполеоне с восхищением, но в этом преданность доходила до изуверства, и я увидел, как человек из другого человека может сотворить себе Бога. Я всегда спешил возвещать ему наши успехи, а он бесился и отвергал истину моих слов.

— Ведь это не мое, а напечатано в ведомостях.

— Да ваши газеты лгут, так же как и наши.

— Может быть, и я готов согласиться, что французы везде бьют русских, — отвечал я, — только странно, что под их ударами они все идут вперед от Москвы до Рейна и далее.

Он перестал со мною видеться и другим заказал. Но нет, любопытство его проняло, и он опять ко мне явился. Я заговорил с ним о делах совсем посторонних войне, он, верно, подумал, что мне нечем перед ним похвастаться, и решился меня вопросить. «Я ничего не скажу вам: вы мне не верите, все сердитесь, а мне совсем не хочется вас печалить», и таким образом заставлял его умолять меня о вестях, а я с некоторою прикраскою их сообщал ему. Бедняжка! Ныне, право, мне жаль его.

В конце апреля, помнится 28-го числа, на безоблачном небе запылало вновь яркое солнце. В этот же день какой-то приезжий или проезжий из Петербурга

кому-то сказал, что Париж взят штурмом и, подобно Москве, другой день как горит: верно, ему этого хотелось. Победа! Торжество! Но не такое, какого бы я желал. Для других было все равно, и радостная весть из уст в уста везде разнеслась. На другой день к вечеру, с присланным от министерства курьером получил губернатор предписание распорядиться о совершении благодарственного молебствия по случаю сего чрезвычайно важного события. К предписанию приложены были два печатных листочка. В одном находилось известие, что Париж сдан на капитуляцию, после сражения, бывшего под стенами его, и что русский генерал Сакен назначен военным его губернатором. В другом было объявление Парижу и Франции, что союзные монархи более не намерены входить в какие- либо условия с Наполеоном и членами его семейства: оно подписано одним только Александром, которого имя гремело тогда во всех концах мира, и скреплено Нессельродом, коего имя и в России тогда было вовсе неизвестно. Дальнейших подробностей мы не могли еще иметь; но и этого было довольно и гораздо лучше слухов, при-шедших накануне.

Вот тут-то Россия заликовала и, правду сказать, было чем возгордиться! Что бы ни говорили немцы, все главное дело сделано русским царем и русским войском; те, которые полтора года перед тем по Владимирской дороге отступали к Клязьме, готовы были потянуться к Лоаре.

Губернатор хорошо сделал, что на несколько дней отложил молебствие, дабы поболее дворян могли к нему съехаться, и через то придан ему был вид более торжественный. Но вместе с тем ему хотелось, чтобы дан был великолепный пир, обед и бал; это уже было неуместно. Съехавшиеся помещики на радостях из кошельков и шкатулок потащили последнее; кто-то указал им на средство сделать лучшее употребление из значительной суммы ими собранной. Отделив некоторую часть на какое-нибудь простонародное увеселение, все остальное должно было принадлежать вдовам и сиротам, инвалидам, увечным, страждущим, нищим, так что в этот памятный день не оставалось в городе ни одного человека, который не ощутил бы радости. В эти дни я опять было полюбил Пензу: я не слыхал ни одной хвастливой речи, а все казались исполнены трогательного умиления и благодарности, как к небесному, так и земному Создателю их благ.

В воскресенье 3 мая, день именин и рождения матери моей, у нас в доме был семейный, а в городе общественный праздник. В этот день мать моя была почти весела, и я почти забыл сердечное свое горе. Поутру соборный храм не мог вместить в себе стекшегося народа, и он густыми толпами теснился вокруг него, и все мы с восторгом внимали победную песнь поющим. Купцы и откупщик угощали потом народ пивом, водкой и пирогами.

Между губернаторским домом и собором был просторный, пустой квадрат, который Голицын засадил березами, и на них, как нарочно, к этому дню распустились листья; на этом месте сочинили кой-какую иллюминацию. В середине горел щит, на коем выставлены были слова: Париж, 19 марта и вензелевое имя государя, и он окружен был рамкой из разноцветных стаканчиков, разумеется, раскрашенных. Вечером в этом небольшом пространстве вся Пенза старалась уместиться. Поодаль, в темноте, заметил я французских пленных, ласково подошел к ним, но не утерпел, чтобы, указывая на щит, не спросить Пиона, все ли он еще сомневается. «Вы, может, правы, — отвечал он, — а я все-таки не могу поверить». Я улыбнулся и вспомнил Чванкину «Хвастуне», комедии Княжнина; «Знаю, да не верю», — также говорит она.

Надобно признаться, что и нам едва верилось: все то, что прочитали мы в полученных на другой день газетах, казалось обворожительным сном. Как? Бурбоны провозглашены, и Наполеон изъявляет согласие отказаться от престола! Да это конец революции, конец всем бедствиям. Мир мирови дарован, и источником благоденствия Европы, будущего ее спокойствия все-таки останется наша Россия. О, как попрал Господь гордыню народов западных, и как высоко вознес Он наше смирение!

Через несколько дней должен был я находиться на другом празднестве, хотя частном, но более великолепном. Зимой из Петербурга к Феодору Голицыну приехал погостить Рибопьер, друг его и родственник по жене, урожденной Потемкиной, со всем семейством. После парижских известий кому была охота оставаться в глуши! Все спешили показаться на свет и, на прощанье с Зубриловкой, князю Феодору хотелось задать огромный пир; для того избрал он день рождения Рибопьера, 13 мая. Он как можно более разослал приглашительных грамот, и я получил собственноручную записку от самой княгини. Мне бы не ехать; но губернатор отправлялся туда на все лето со всем семейством своим, и мне хотелось хоть бы еще погля-деть на нее.

Пир был пребогатый, только не гостями: из приглашенных немногие на него приехали. Наши дворяне начинали уже чувствовать, чем обязаны своему, начинали уже считаться с боярами. Однако же человек до пятидесяти было за обедом; в том числе из соседних уездных городов несколько пленных французских офицеров. Один из них, вероятно, полагая, что Россия разделена на мелкие княжества, также как Германия, в которой он воевал, почитал себя в гостях у владетельного герцога и весьма искренно поздравлял меня с особою милостью, которою, по замечаниям его, я пользуюсь у его светлости; я не оставил этим потешить доброго и чванного нашего хозяина. Вечером, на всех возвышенных местах горели смоляные бочки; вся роща была освещена плошками, и по ней в разных местах раздавались песни разных народов европейских: там были русские песельники, коих нетрудно было найти; там труппы тирольцев, итальянцев, славян и других, все набранные из пленных солдат разнородной разрушенной Наполеоновой армии. На щитах в одном месте видно было 19 марта, в другом 13 мая: свобода Европы и рождение Рибопьера. Когда он был моим начальником (он оставил уже должность свою в Министерстве финансов), держал он себя так высоко, что мне трудно было коротко узнать его; тут же, в Зубриловке, где после празднества еще оставался я несколько дней, мог я измерить всю пучину его ничтожества.

Возвратись в Пензу, пошли у нас советы, что мне из себя сделать. Я в службе себя более не почитал: по поступлении в Пензенский комитет для пожертвований, просил я министерство уволить меня из оного вовсе, а получил увольнение, верно по ошибке, для продолжения занятий по сказанному комитету, и это недоразумение впоследствии было для меня весьма полезно. Мать моя, тайно радуясь моим любовным неудачам, весьма желала, чтобы для развлечения оста-

вил я Пензу; но я, сколько мог, тому противился. Она доказала мне, наконец, сколь несбыточны мои мечты, и самого заставила желать удалиться.

Но меня в сторону, и несколько слов о моих военных родных. Зять мой, Алексеев, никак не мог догнать армии, которая двинулась из Лейпцига прежде, чем выехал он из Пензы. Путем-дорогой остановился он в Дрездене, у царствующего тогда в Саксонии князя Репнина, и с ним некоторое время пропировал, до чего оба были великие охотники. Явясь в армию, находился при осаде Метца и вскоре там узнал о взятии Парижа, куда поспешно и отправился: следственно, прокатался даром. Брат же мой Павел в начале 1813 года назначен был комендантом Варшавского известного укрепления Праги, а потом опять находился в армии, где в сражениях, вероятно, успел отличиться: ибо во время двух кампаний получил две шпаги, Аннинскую и золотую за храбрость, Владимирский крест с бантом, Аннинский на шею, да прусский Пур-ле-Мерит и французский Почетного Легиона в петлицу и, наконец, чин полковника. От обоих получили мы радостные, веселые письма из Парижа.

Конечно, и холодный Петербург ощутил восторги не менее чем у нас в провинциях. Там начали приготовляться к торжественной встрече миротворца-победителя. Совет, Сенат и Синод в совокупности определили поднести ему титул «Благословенного»; два верховных государственных сановника должны были ехать ему навстречу с поздравлением и изъявлением верноподданнической благодарности, и, наконец, для сего же предмета вызваны в Петербург изо всех губерний депутаты от дворянства. Все это весьма милостиво и кротко он, однако же, отверг. Что побудило его к тому? По усилившейся в нем набожности, может быть, желал он только наград небесных и пренебрегал величием мирским? Или, несмотря на нее и на мнимый свой либерализм, среди успехов своих, помнил еще зло и никаких почестей не хотел принимать от подданных? Гордость ли или смирение заставили его сие сделать? Это единому Богу известно.

Ничего о том не зная, у нас в Пензе, около половины июня, дворянство чрез губернского предводителя сделало мне приглашение отправиться в Петербург, чтобы там вместе с генерал-майором Сергеем Адамовичем Олсуфьевым и действительным статским советником Платоном Богдановичем Огаревым, сыном не раз реченного мною Богдана Ильича, составить от него депутацию к царю. Предложение было слишком лестно, чтобы отказаться от него. Я готов был это сделать под предлогом, что, исключая подорожной без пошлин, дворянство не соглашается ничего мне дать на путевые издержки; но мать моя объявила, что в этом случае заменит она дворянство. И так дело решено; я опять еду в Петербург и опять делаюсь искателем фортуны.

Между тем мать моя и сама делала сборы к отъезду: она хотела с двумя дочерьми ехать в Киев, чтобы поклониться там святым угодникам и взглянуть еще на место, где провела столько счастливых дней. Третья сестра, Алексеева, должна была ей сопутствовать, дабы из Киева отправиться навстречу к мужу. Отслужив молебен 23 июня, благословясь пустились они в путь. Я остался совершенно один; не было для меня ни малейшей причины длить мое пребывание в Пензе, но начиналась ярмарка, и она послужила мне предлогом пробыть в ней еще несколько дней.

В Москву дотоле обыкновенно езжал я по Владимирской дороге, на этот раз захотелось мне испытать езду по Рязанской, которая была несколько длиннее, но за то, говорили, гораздо лучше и покойнее. Чтобы укоротить ее, я задумал ехать не на Чембар, а проселочными дорогами на Зубриловку: разницы было всего верст двадцать или тридцать; но да позволено мне будет не сказать здесь, почему я предпочел ее. В день Сергея чудотворца, 5 июля, выехал я, наконец, из Пензы.

В Зубриловке царствовала совершенная пустота: в ней нашел я одного Павла Голицына, которого никак еще не думал подозревать в соперничестве. Старая княгиня, так же как и мать моя, уехала на богомолье в Киев и для свидания с сестрой своей Браницкой. Князь Феодор со всем двором своим отправился в подмосковную, в Петербург или в чужие края: в день отъезда своего он еще, наверное, не знал. Оставшийся в Зубриловке единственный член голицынской фамилии, не знаю почему, отказался ехать со мной до селения Макарова, в десяти верстах от нее лежащего. Оно принадлежало брату его, нашему губернатору, который с семейством своим на все лето там находился. Оно было на самой дороге, пролегающей оттуда в Тамбов, и объехать его было бы странно. Вот тут-то насмотрелся я его княжеских проказ. Хоромы деревянные, не весьма большие, но которые стоили очень дорого, ибо беспрестанно перестраивались, прислонены были к хорошенькой рощице и были местом жительства владельца. Маленький двор, составленный из увезенных им писцов губернаторской канцелярии, одет был единообразно, в казачьи кафтаны серого цвета из холщовой материи с синим холстинным стоячим воротником, на котором белыми нитками было вышито слово «Макарово», потом дворня, разделенная на три класса, из коих каждый отличался цветом жилета; по праздникам производство в сии классы и допущение к целованию руки; лакейские балы, в которых, исключая князя и княгини, должна была еще принимать участие и самая мелочь из соседних дворян, и на которых, вместо лакомства, подавались брусника и моченые яблоки, — и многое множество других нелепостей. Все это было странно, смешно, но в расположении духа, в котором я находился, мне совсем не казалось забавно. Я дал слово читателю не докучать ему более моим любовным вздыхательством, и потому скажу только, что тяжело мне было оставаться несколько дней в этом Макарове, а, может быть, еще тяжелее было расстаться с ним.

* * * * * * * * * *

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

* * * * * * * * * *

Глава V [1816 год]

* * * * * * * * * *

В первый раз после пожара, осенью 1816 года, государь посетил Москву, которая из развалин начинала подыматься. Он оказал себя в ней чрезвычайно милостивым и щедрым. Один указ, им подписанный там, всех крайне удивил. В нем было сказано, что, по дошедшим невыгодным слухам о Сперанском и Магницком, они были удалены от должностей, но дабы дать им возможность оправдать себя, назначаются они: первый гражданским губернатором в Пензу, а последний

вице-губернатором в Симбирск. Они были не только отставлены, они были сосланы, следовательно, наказаны; за что же, неужели по одним только подозрениям? А это походило на право выслуги, дарованное разжалованным. Вместо того чтоб объясниться, это дело стало еще темнее.

О Сперанском совсем почти забыли, а когда вспомнили, то уже начали жалеть о нем. Не знаю, назвать ли это добродушием русских или слабодушием их? Он два года прожил в Перми, никем почти не посещаемый; но человек с высокими думами уединение всегда предпочтет обществу необразованных людей. В бездействии, в унынии, он обратился, говорят, к Богу, подателю всех утешений, и занялся переводом «Подражания Иисусу Христу» Фомы Кемпийского. Я стараюсь уверить себя, что тут не было лицемерия, желания сблизиться вновь с набожным императором. Он не нажил богатства: все имущество его состояло в небольшой деревне близ Новгорода, в которую, по ходатайству соседа — Аракчеева, дозволено ему было переселиться. Оттуда, вероятно, пошли переговоры. Изо всех отдаленных губерний мысль о Пензе его менее пугала: она находилась вне больших путевых сообщений; ее уединение, здоровый воздух ему нравились, там же находилось преданное ему семейство Столыпиных.

Теперь несколько слов о его предместнике.

В 1815 году скончалась княгиня Варвара Васильевна Голицына. Из собственных доходов уделяла она большую часть сыну своему, дабы он мог княжески поддерживать губернаторство свое; с ее смертью лишился он этих средств. Дворянам между тем успели надоесть его совсем незабавные проказы. Он ничем не занимался; Арфалов же, бывший секретарь отца моего, в Пензе сам и правил, сам и грабил (как Вяземский сказал о Пестеле) и величался над дворянством, которое начало громко роптать и самому губернатору оказывать холодность и пренебрежение. И без того уже скучал он обязанностью жить в Пензе: у всех этих Голицыных не было никакого постоянства ни в мыслях, ни в действиях; одни прихоти всегда сменялись другими. В начале лета 1816 года князь Григорий Сергеевич по просьбе уволен от службы, и место, им занимаемое, более трех месяцев после него оставалось праздным. Видно, тогда уже намерены были назначить Сперанского.

Вспоминая прошедшее, мне как будто не верилось. По известиям из Пензы, Сперанский полюбился там своею кроткою и умеренною обходительностью. Управление ладьею после стопушечного корабля не могло казаться важным опытному моряку: оттого-то он мало входил в дела, подобно предместникам своим, предоставляя большую власть Арфалову, в котором помещики начинали уже видеть неизбежную судьбину. Губернаторское место почитал Сперанский почетною для себя ссылкой. В этом случае я согласен был с его мнением и находил, что определением его оно более унижено, чем возвышено.

Возращаясь к Пензе, мне самому перед собой делается совестно: ибо, давно не говоря ни слова о моем семействе, я как будто совсем его забыл. В это спокойное время никаких больших перемен в нем не последовало, исключая одной, о которой буду говорить ниже. Брат и вторая сестра моя с мужем продолжали за границей пользоваться огромным содержанием, жили там припеваючи, свободно разъезжали из Мобежа и Ретеля в Париж и Брюссель, одним словом, катались по Франции, как сыр в масле. Все более стареющая мать моя терпеливее переносила вечную разлуку с единственным другом сердца своего. Старшая сестра моя, Елисавета, находясь при ней неотлучно, одна заботилась об ее успокоении. Ей перешло гораздо за сорок лет, и она имела уже все маленькие слабости старых девок, между коими маленькое тщеславие занимало не последнее место. На публичных балах Сперанский всегда открывал их с нею польским, а у себя водил к столу, как старшую в чине по матери. Это делало ее совершенно счастливою, и она осталась поныне самою сильною защитницей незабвенного Михаила Михайловича.

Меньшая сестра моя, Александра, Москву и Петербург видела только мельком и всю жизнь провела в провинции; в ней было несколько странностей, но и в них не было ничего столичного. Ей уже исполнилось двадцать пять лет, и я полагал, что ее ожидает одинаковая участь со старшею сестрой; однако же, она умела сыскать себе жениха в Пензе.

От времени до времени на показ читателям все вытаскиваю я пензенских дворян и все не могу кончить, потому что я делаю сие только в случае крайней необходимости. Я не говорил еще о семействе Юматовых, состоявшем из матери-вдовы, трех замужних дочерей и трех сыновей. Старший, Степан Иванович, был женат, второй, Димитрий, был сумасшедший; а третий, Петр, еще чрезвычайно молод. У них, вместе у матери с детьми, было более полуторы тысяч душ в Саратовской губернии, где летом жили они в родовом селении Юматовке, а на зиму приезжали в Пензу. Анна Димитриевна Юматова была предобрейшая женщина, зато уже чересчур проста. Раз случилось, что один учитель из гимназии, желая похвастаться ученостью, рассказывал при ней, как город Помпей завалило пеплом из Везувия, и она несколько ночей потом не могла заснуть в беспокойстве, чтобы подобная беда не случилась с Пензой. Никакого воспитания детям она не дала и не могла дать; только меньшой, семнадцатилетний мальчик, с ополчением ходил на войну, был в Дрездене, в Лейпциге и в Гамбурге и между военными за границей немного понатерся. Возвратясь из похода, сделался он первым пензенским танцовщиком и франтом. Он как-то полюбился сестре моей и предложил ей руку. Мать моя не хотела согласиться по многим причинам: во-первых, потому что над семейством Юматовых смеялся весь город, и потому, что жених, четырьмя годами моложе невесты, был только что коллежский секретарь, а чин в это время был еще преважное дело. У нас пошла о том переписка, и я старался склонить мою мать на согласие, представляя ей, что для девицы, начинающей перезревать, хороший дворянин, добрый человек, имеющей пятьсот душ, может почитаться находкой. В июле месяце 1816 года совершился сей брак.

* * * * * * * * * *

Глава XII [1819 год]

* * * * * * * * * *

Я выехал 21 июня после завтрака. Сто верст до Арзамаса были только незнакомою мне дорогой; далее были все места, не раз в сих Записках упомянутые. Рано поутру 23-го прибыл я в Пензу, но не нашел в ней

матери моей. Мне дали почтовых лошадей, я отправился в Лебедевку и встретил ее, выходящую после обедни из церкви Владимирской Божией Матери, которой явление в этот день празднуется так же, как 26 августа. Кажется, первый раз еще во вдовстве ощутила она полную радость. за неделю до меня приехал брат мой Павел, которого не видела она семь лет; после него сестра Алексеева с мужем, столько времени прожившие за границей; потом два внука, сыновья его, молоденькие офицеры, только что из Пажеского Корпуса выпущенные; наконец, мой приезд довершил ее благополучие. Для выражения его у меня не было даже слов; с одного на другого из нас в молчании переводила она глаза, исполненные слез благодарности к Небу. На сем фамильном съезде недоставало только одного члена семейства нашего, малолетнего сына покойного брата Николая Филипповича, который воспитывался в Воронеже, у родных своих Тулиновых. Посла обеда поехал я в Симбухино поклониться могиле отца моего, воротился ночевать, а на другой день, 24-го, все вместе переехали мы в Пензу, где по сему случаю нанята была для нас большая, поместительная квартира.

Пенза из числа тех городов, которые в спокойнодеятельное царствование Екатерины, как бы из недр земли, подобно лаве или нефти, воспрянули, а потом остыли, окаменели и остались в том виде, в котором застала их кончина ее. Через двадцать, через тридцать лет, кто бы ни приехал в Пензу, увидит ее точно в том же виде, в котором я нашел ее в начале 1802 года. В продолжение почти полувека пять, много шесть каменных зданий построено только на местах сломанных, обветшалых, но величиною им равных домов. А между тем, город довольно красив; но, не имея ни обширной торговли, ни промышленности, и поддержанный единственно барским житьем помещиков, он подняться не может. Отчего же не с большим в десять лет, после открытия в нем губернии, он так внезапно вырос? Этот вопрос также можно сделать по отношению к самой Москве. Исключая великого множества старинных церквей, какими великолепными зданиями украсилась древняя столица даже во дни Елисаветы? И умножилось ли число их в царствование Павла и Александра? Все, все, принадлежит в ней к веку Екатерины, который без преувеличения был для России веком Перикла и Августа. Каким творческим могуществом была одарена эта женщина! Как бы от одного дыхания ее возникало у нас все громадное, и это без разорения народа, без отягощения казны!

В составе общества [в Пензе], после пяти лет, также не нашел я никаких перемен. В наших отдаленных губерниях дворянские поколения следуют одно за другим, но названия их остаются почти все прежние. Правда, иные из них проматываются, беднеют от наследственных разделов; зато другие, часто их сыновья или внуки, посредством женитьбы, откупа или каким-либо другим позволенным или непозволенным средством опять наживаются. Таким образом, имения, переходя из рук в руки, от одной фамилии к другой, все-таки по большей части остаются собственностью одной касты, освященной временем, составленной из людей, носящих давно известное имя. Они смотрят довольно спесиво на чиновников, насылаемых к ним из столиц; перед одними откупщиками, из какого бы состояния те ни были, готовы они преклонять выю.

Главное влияние на общество в губернских городах имели некогда губернаторы. Мы видели, как легкомысленный Голицын заставлял Пензу наряжаться и плясать даже во время ужасов Отечественной войны; более для ее пользы он сделать не умел. На его место приехал Сперанский, ненавистный всему русскому дворянству. Он ударился с собою об заклад, что заставит его обожать себя, и заклад выиграл. Этот цвет бюрократии был в Александровской ленте, следственно вельможа по прежним понятиям; недавно управлял он государством. К такому человеку невольное чувствуется уважение; оно ограждало его от скучных, беспрестанных посещений людей, ему вовсе не равных по уму и знанию, хотя двери его были всегда на отперти, хотя всем был он доступен. Так иные государи не имеют нужды в страже, хранимы будучи народною любовью. Действительно, он казался Наполеоном на острове Эльбе. Может быть, к счастью, немногим дано понимать превосходство перед собою необыкновенных людей, постигать их высоту; число их завистников и врагов без того было бы слишком велико. Одни звездочеты могут измерять небеса и с точностью определять расстояние солнца от земли, или, по крайней мере, люди, имеющие некоторое понятие об астрономии. Кому в Пензе было оценить великие свойства Сперанского и все его недостатки? Закатившееся туда солнце, сверх того, подернуто всегда было облаком задумчивости и тем еще более скрывало свой блеск. Его тихий, приветливый голос и печальный взгляд до того обезоружили жителей, что они прощали ему явное невнимание его к их делам. Он брезгал своею должностью, когда бы ему следовало поднять ее до себя; мне кажется, так было бы лучше. Подобно Наполеону, не мог он со своей Эльбы мигом шагнуть в Петербург: ему нужно было пять лет, и то через Сибирь, куда в начале этого 1819 года назначен был он генерал-губернатором, чтобы воротиться в него, только уже не на прежнее могущество.

На его место назначен был также опальный друг его, Федор Петрович Лубяновский, который и прибыл в Пензу месяца за полтора до приезда моего в нее. Он никогда так высоко не поднимался, как Сперанский, был неодинакового с ним характера; только участь их во многом имела сходство. Отец его (протоиерей Петр, говорили) принадлежал к малороссийскому дворянству. Я повторяю вопрос: до Екатерины существовало ли малороссийское дворянство? Были богатые и небогатые владельцы, чиновные и нечиновные, и наконец, простые казаки. Родственник его (да полно, не родной ли дядя?), Захар Яковлевич Карнеев, весьма умный человек, впоследствии сенатор, открыл ему дорогу по службе. Будучи в тесной связи с мартинистами, он поручил его милостям фельдмаршала Репнина, великого их покровителя. Последний записал его сперва в Измайловский полк, а потом взял к себе адъютантом. Сначала, при Павле, князь Репнин был честим, но вскоре потом, как и все другие, попал к нему в немилость и принужден был оставить службу со всеми своими адъютантами. Он сохранил, однако же, довольно кредиту, чтобы внуку своему (что тогда было весьма трудно) выпросить дозволение ехать за границу; с ним и Лубяновский путешествовал по Германии и Италии. Дабы сколько-нибудь умножить благосостояние свое, он с пользою для себя употребил свободное время, стал переводить довольно изрядным русским языком

тогдашних немецких мечтателей, Юнга-Штиллинга, Сведенборга и, между прочим, «Тоску по отчизне». По возвращении молодой Репнин женился на Разумовской, двоюродной сестре графини Кочубей, жены министра. По всем сим украинским связям Лубяновский, в чине коллежского асессора, попал к последнему в секретари. Должность эта была важная, ибо министры тогда не имели не только директоров, но даже и правителей канцелярии. Тогда Лубяновский познал истинное призвание свое: он не рожден был ни богословом, ни сектатором, ни литератором, а весьма искусным администратором и судьею. Без службы самые прежние произведения его остались бы неизвестны; но как все губернаторы имели до него дело, то всякой из них рад был угодить ему покупкою за дорогую цену сотни экземпляров совсем нераспроданных его творений. Сие было слабым началом сделанной им огромной фортуны, по примеру начальника его Кочубея.

Он так быстро поднялся и так много прославился, что уже в 1809 году сам государь избрал его руководителем молодого принца Ольденбургского по правительственной части. Он пожалован статс-секретарем и вместе с тем назначен директором департамента путей сообщения. В Твери с Болотниковым разделили они между собою власть. Один забрал к себе в руки часть придворную, другой начал почитать себя главным директором путей сообщения и генерал-губернатором трех губерний, забывая, что принц только второстепенное тут лицо, и не угадав, что высокоумная великая княгиня долго не потерпит самоуправной власти двух наставников. Болотникова скоро умела она спровадить, умом же Лубяновского уважала и несколько времени выносила его. Но ум имеет разные свойства, и в числе их есть такт, врожденное чувство приличия, которое иногда приобретается и навыком; а этот человек был его вовсе лишен. С каждым днем становясь более дерзким, более повелительным со светлейшим начальником своим, он раз до того забылся, что самой великой княгине сказал что-то такое, чего бы не могла вынести и жена частного человека. Вообще замечена как между многими из коренных жителей Москвы, так и, начиная с архиереев, почти во всех воспитанниках духовных академий и семинарий, какая-то беспощадность к чужому самолюбию. Екатерина Павловна не задумалась и в тот же день отправила курьера к государю с просьбою, чтобы Лубяновский был удален от должности, или ей самой дозволено было оставить Тверь. Во удовлетворение ее требования он был отставлен от службы с тем, чтобы, пока она жива, он принят в нее быть не мог. Она скончалась во цвете лет, и через четыре месяца после ее кончины он назначен в Пензу губернатором.

Я нашел его посреди первоначального любезничания с помещиками. Почитая себя тут более оседлым, чем Сперанский, он замышлял следовать совсем иной системе и стараться исправлять все упущения, сделанные в управление его и Голицына. Он начал жить довольно роскошно и открыто, чему много способствовало большое состояние Александры Яковлевны, дочери генерал-майора Якова Даниловича Мерлина, на которой успел он жениться еще до отставки своей. Она была женщина довольно капризная, только добрая и совсем невзыскательная. Новый губернатор казался совершенно доволен, ибо мог говорить высокопарно, обильно и протяжно, везде встречая молчаливых и покорных слушателей. Это происходило не от уважения, не от страха, а оттого, что предметы, коих касался он, хотя довольно обыкновенные, выходили, однако же, из круга понятий большей части тогдашних дворян, кои преимущественно занимались сельским хозяйством, псовою охотой и внутренними политическими пензенскими известиями. Только дурачества, ребячества, как было при Голицыне, следов не осталось. Вообще Пенза находилась между приятным воспоминанием о Сперанском и еще приятнейшими ожиданиями от Лубяновского; все сулило ей блаженные дни, и если они не пришли, не знаю, кого в том винить.

Лубяновский отменно ладил тогда с моими и, видя во мне как бы преемника своего преемника в департаменте, им образованном, Серебрякова, к ласкам своим примешивал особое уважение.

На все, что живо напоминает нам былое, мы смотрим с удовольствием: я нашел ту же ярмарку, которую знал лет около двадцати, тот же вокзал в Горихвостовом саду, те же из лубков сколоченные грязные лавки на нижнем базаре, встретил несколько добрых, давно знакомых мне людей, их посетил (а не могилы их, как лет двадцать спустя пришлось мне сие сделать). Наружный вид доброго согласия и спокойствия, который царствовал в это время, и атмосфера, упитанная радостью, которою дышал я посреди многочисленного тогда семейства моего, делали пребывание мое в Пензе столь необычайно приятным, что мне желательно было продлить его, по крайней мере, еще на месяц. Но я опасался огорчить и рассердить начальника моего и должен был 5 июля оставить сей город, получив от родительницы моей обещание приехать дней через десять со всем семейством навестить меня и посмотреть на Нижегородскую ярмарку.

* * * * * * * * * *

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

* * * * * * * * * *

Глава X [1828 год]

* * * * * * * * * *

Вот и для меня пришла пора сбираться в поход, отправляться на всегдашнее жительство в неизбежную Пензу, места печальной родины моей, как говорит стих Пушкина. Лучше бы, подумал я, отправиться мне куда-нибудь на вечное жилище: там, по крайней мере, под землею, мог бы я оставаться совершенно спокоен. Только к концу июля удостоверился я, что мне решительно отказано в щедротах царских, и намеревался выехать тотчас после Успеньева дня; но сестра уговорила меня провести с ней день ее именин, 26 августа, и я только 28 августа оставил Москву.

Глава XI

В ночи с 4-го на 5 сентября я остановился на станции Кутле, в пятидесяти верстах от Пензы, во вновь построенном, весьма поместительном и порядочно прибранном почтовом доме. Мне стало грустно, когда рано поутру выглянул я из окна: от первого утреннего мороза побелели все крыши. Но по мере приближения

к Пензе воздух совершенно разогревался, и мне на душе стало повеселее: я думал о моем семействе и об удовольствии, которое приезд мой принесет, между прочими, старшей сестре моей Елисавете, в тот день именинице.

Подымаясь по горе Лекарскою улицей и приближаясь к низенькому на ней дому нашему, я вышел из каретки и пошел пешком.

У растворенного окна увидел я сидящую мать мою, которая любовалась ярким солнцем, не обращая внимания на проходящих, и оттого или не узнала меня, или не заметила. Через ворота вошел я на двор и велел позвать сестру; она бросилась меня обнимать, а потом пошла предупредительно обо мне докладывать. Предосторожности напрасные! Как радость, так и печаль только скользят по сердцу старцев: ту и другую сильно чувствовать они уже не в состоянии. Конечно, мать моя была растрогана моим приездом, обрадовалась, а во мне умножилась печаль, смотря на признаки разрушения, обозначенные на ее лице. Ей был семьдесят седьмой год от роду, а казалось лет девяносто.

В нраве ее последовали также большие изменения. Она сохраняла твердость воли, по-прежнему оставалась главой своего семейства и дома; но прежде светлый рассудок ее не допускал ни до каких излишних, несправедливых требований, а тут летами, болезнями и душевными страданиями он был обессилен, и они породили в ней своенравие и прихоти почти детские, с коими сообразоваться, кои удовлетворять было весьма трудно.

Старшая сестра с удивительным самоотвержением посвящала ей все свое существование, была при ней безотлучно и жила только ее жизнью. Ей было гораздо за пятьдесят, а она все называлась Лизанькой и находилась, как говорится, на побегушках. Ею распоряжались, ее бранили, как девочку. Но иногда старушка-мать, взяв ее обеими руками за голову, говорила: «Сокровище мое, подпора ты моя, что бы я была без тебя в моей слабости?»

Одною из главных причин мрачности духа моей матери было расстроенное положение ее хозяйственных дел. В 1820 году не было у нее ни одной копейки долгу, а тут не было ни одной принадлежащей ей крестьянской души, которая не была бы заложена. Как это случилось? Брату, когда он женился, необходимо было к приданной жены его деревне прикупить душ полтораста. Денег у него не было, он заложил собственную и уговорил родительницу также заложить и часть ее имения. Проценты в казну выплачивал он сам, а долговой капитал пока лежал на ней. К тому же есть слабости весьма извинительные в женщинах добродетельных: их тщеславие имеет предметом не себя, а мужа и детей. Мать наша желала, чтобы фамильное имя вечно любимого, незабвенного супруга было прославлено сыном и внуком, носящими сверх того имя его, при крещении им данное. Для того ничего не щадила она, чтоб одного поддержать на губернаторстве, как думала она, а другого в звании офицера гвардии; то и другое по старинным понятиям ее было очень важно. Между тем, были и неурожайные годы; да и умственные силы ее несколько слабели, а она хотела сама одна управлять своими делами и принуждена была прибегать к займам. И вдруг тот и другой остановились на поприще: один в зрелых летах, другой в первой молодости.

Я всегда был любимым ее сыном; нежность ее ко мне не уменьшилась, зато ее требования увеличились до чрезмерности. Живши с нею, когда был гораздо моложе, я пользовался совершенною свободой в поступках; тут же без спроса не смел я отлучиться со двора. Я мог посещать только тех, кои были ей угодны. Когда для поддержания здоровья ходил я прогуливаться пешком, за мной издали всегда следовал слуга, обязанный смотреть, чтобы на меня кто-нибудь не наехал или чтоб я не зашел в какое-нибудь неприличное место. Впадая почти в ребячество, и во мне хотела она видеть мальчика. Можно себе представить, как мучителен был для меня такой образ жизни. Я безропотно покорялся ему и не делал никаких попыток, чтоб от него освободиться, зная, что, при ее горестях и хворости, малейшее неповиновение мое убьет ее. Мое поведение почти никого не удивляло и казалось самым естественным: непреклонность родительской воли и неограниченность детской покорности пока все еще сохранялись в нравах.

С приближением зимы становилось для меня еще тягостнее. Остывшая кровь в жилах моей матери требовала большой наружной теплоты: только летнею порой и в красные дни при начале осени открывались ее окна, и она любила греться на солнышке. Но коль скоро наступала глухая осень, все закупоривалось, и она никуда не выходила из малой горницы, жарко натопленной, где, лежа на диване, принимала барынь, посещавших ее из уважения, можно даже сказать, из благоговения. Духота была смертная, невыносимая; а как было жаловаться, когда и посторонние ее переносили? Со мной нередко бывали дурнота и головокружение.

В начале ноября получено печальное известие о кончине императрицы Марии Феодоровны. Государь успел еще приехать из армии, чтобы закрыть ей глаза. Благотворная деятельность сей незабвенной женщины почти ежегодно населяла наши внутренние области примерными супругами и матерями. Воспитанные под ее личным наблюдением девицы, вместе с хорошею образованностью наученные всему доброму, распространяли добрые нравы в семействах, в кои возвращались. Страждущее человечество было также предметом ее неусыпных забот. Из множества примеров выберу я один на выдержку. В Мариинской больнице лежал один старый бедный мещанин. У него антонов огонь показался на ноге, ее следовало отнять; но он не соглашался и хотел так умереть. Императрица подошла к его постели и, желая спасти его жизнь, стала увещевать к выдержанию страшной операции. «Матушка, кабы при тебе: я бы, кажется, выдержал». Оборотясь к доктору, спросила она, когда думают к тому приступить. «Да завтра поутру; позже будет опасно». «Буду», — сказала она и сдержала слово. Страдалец и тем не был доволен и требовал, чтобы, во время мучений его, она дозволила бы ему держать ее руку. Она согласилась и на то. Пусть сыщут где-нибудь пример такого мужественного человеколюбия!

В конце ноября из Москвы был я извещен, что там, наконец, получено предписание назначенные мне в пособие три тысячи рублей ассигнациями выдать из Московского уездного казначейства. Это подало мне новые мысли. Я подумал: «Малый остаток сбереженных мною денег от керченского жалованья присоединив к этой сумме, могу я несколько месяцев, даже боле полугода, провести приятным образом в Москве

на свободе; а там что Бог даст, ворочусь опять в Пензу, поступлю решительнее, зароюсь в деревне у брата и там, по крайней мере, обрету покой».

Чтобы получить дозволение моей матери, мне непременно нужно было скрыть от нее мои намерения. Я представил ей желания и надежды, коих вовсе не имел, заговорил о поступлении в службу и без затруднений получил ее благословение и согласие.

Итак, 9 декабря отпустила она меня, а 12-го числа прибыл я в Москву.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В сию Суру впадает, однако же, родимый мой Ардым.

[2] Тогда егерских полков не было, а семь или восемь батальонов составляли корпус, которого шефом был обыкновенно один из отличнейших генералов. Батальоны назывались нумерами.

[3] Я обоих знавал и помню. Первый из них был мой крестный отец.

[4] Полицеймейстеры были тогда в одних только столицах.

[5] В других губерниях: Арзамас, Ардатов, Алатырь, а далее Чебоксар, Уфа, Бугульма и Белебей суть чисто татарские названия. Надобно же было за ними поставить немецкий бург — Оренбург!

[6] Аркадий Алексеевич Столыпин (1778–1825) — один из ближайших друзей Сперанского, обер-прокурор Сената, затем сенатор. Был женат на дочери знаменитого Николая Семеновича Мордвинова, Вере Николаевне. Сестра его — Елизавета Алексеевна Арсеньева — была бабкой Михаила Юрьевича Лермонтова, а сын его — друг Лермонтова — «Монго» Столыпин. (П.Б)

[7] Во время величайших несогласий с председателем мы имели дело в Гражданской Палате. Родители мои не хотели против него подать подозрение и, несмотря на то, он судил бы против нас, если бы наши требования были несправедливы; но наше право было неоспоримо, и он решил совершенно в пользу нашу.

[8] Житье г. Горихвостова под именем Рукавицына очень удачно описано в «Искусителе», романе Загоскина. Там же очень верно изображены бывший при Екатерине губернатор Ступишин и родственник его Еф. Пётр. Чемесов, под именем Двинского.

[9] Нельзя обвинять Столыпина, что первый бросил он в Пензе зловредные семена; но очень удачно сделал он первую вспашку на почве, самой удобной для восприятия разрушительных идей.

[10] Замечательно также, что пензенские купцы, коих число и состояние столь малы, перед самою ярмаркою стараются выписывать свой товар, зная наперед, что только в это время может он почти весь быть распродан. И оттого-то в остальные месяцы года в Пензе ничего почти нельзя было найти.

[11] Брат его Иван Васильевич был при Александре обер-полицеймейстером в обеих столицах.

[12] Нас князь Сергий, третий сын хозяина, повез кататься в открытых линейках, чтобы показать нам окрестности. Мы остановились и вышли погулять по одной долине, исполненной благоухания и пересеченной светлыми бегущими ручьями. Я бы назвал ее долиной счастья, готов бы построить там домик и оставаться в ней век. С нами первой гостьей была генеральша Агния Дмитриевна Ступишина, наша пензенская и бывшая губернаторша; она не могла понять, зачем мы тут остановились. «Помилуй, батюшка, князь Сергей Сергеевич, куда ты нас это завез, — сказала она, — али деревьев-то не видали, али травы?» Меня так и взорвало.

[13] Что это было за ученье! Все воспитанники этого пансиона, которые знают что- нибудь, начали учиться уже по выходе из него.

[14] Не знаю, дозволено ли порицать слабость, когда она делается почти всеобщей и когда, так сказать, она есть действие местностей. Стесненные в известных границах, во всем размежеванные, западные народы давно уже принуждены рассчитывать. Но в России все еще так беспредельно, и власть царя, и настоящие границы, и будущее ее предназначение, что неудивительно, если в коренных ее жителях так много преувеличенного и все так делается на широкую руку. Более всего это выказывалось в Москве. Но подождем: уже и в ней ультрамотовство приметно уменьшилось; число помещиков в России, наверное, удесятерилось с тех пор, а число промотавшихся, конечно, не составляет и десятой доли против прежнего. Не доказывает ли это, что немцы не напрасно нас обрабатывают?

[15] Не доказывает ли это, что всякий русский в один миг из мирного гражданина может превратиться в смелого воина? И после того как не видеть, сколь бесполезен отяготительный, изнурительный для государства обычай держать в мирное время полмиллиона под ружьем? Мне кажется, достаточно бы было одних кадров, когда могучий голос царя может в короткое время и пятого от сохи вызвать к оружию. Неужели солдаты только для потехи и помпы царей? Тогда это тягостнее, чем роскошь десяти дворов. Мне все кажется, что славянское племя, разумеется, кроме поляков (которые в нем выродки), имеет в себе что-то молочное, что-то белое, свежее, пресное. Турки, равно как и немцы, берегут его в погребе, в преисподней; пруссаки квасят его, гноят, чтобы сделать из него какой-то сыр; но там, где оно свободно, появление неприятеля кипятит его, как огонь, оно клокочет, и горячие его волны, как лава, поглощают врагов.

[16] Утешительно было бы думать, что добродушие доставляет долговечие. Тиньков недавно только что умер 97 лет.

[17] Кто бы мог ожидать! Когда я сие пишу, ни одного Нарышкина нет при дворе, хотя еще их довольно есть в России. Когда все при дворе, то, видно, Нарышкиным нет уже там места.

[18] Я забыл сказать, что отец мой склонил помещика Колокольцова продать в казну за двадцать тысяч рублей ассигнациями два каменные дома, один трехэтажный, а другой двухэтажный, которые по тогдашнему стоили полтораста тысяч, и успел только за оказанную им умеренность выпросить ему монаршее благоволение. Один из сих домов доселе губернаторский.

[19] Мерзкие поступки не мешали Исленьеву быть отменно храбрым и искусным воином. Его неимоверному мужеству приписывал отчасти Суворов удачный штурм Праги.

[20] В то время доходные статьи казначейства находились в ведении местных вице-губернаторов, которые в этом отношении подчинялись непосредственно министру финансов; в остальном вице-губернаторы подчинены были губернаторам.

[21] В Москве я слышал, что эта женщина была гениально глупа. Ее кто-то уверил, что преставление света будет в тот год, когда Светлое Воскресение придется в Великий Четверг, и при начале каждого года она с трепетом о том справлялась.

[22] Из последней должности, которую занимал этот Римский-Корсаков, Волынского гражданского губернатора, был он навсегда выгнан.

[23] В новейшее время в сем роде более всех были замечательны два человека; Николай Феодорович Рёмер и Гаврило Степанович Попов.

[24] Не ранее как в царствование Екатерины II приехал в Пензу первый лекарь Петерсон, он же и аптекарь. Он поразбогател, выстроил дом и каждой из трех дочерей своих, которых выдавал за вновь поселившихся там по временам медиков, построил в приданое по дому на той же улице, которая от них и получила название Лекарской. Петерсон, как скипетр, держал Эскулапов жезл, и размножившееся его семейство располагало жизнью и здоровьем обывателей. Им прописывались лекарства, и у него же они приготовлялись: какая убийственная монополия!

[25] Чистосердечие в таком поступке отнимает у него почти всю гадость. Обман и подлость суть пороки, которые татарщина ввела между смышлеными предками нашими. Провести, надуть совсем не значило просто обманывать, а слыло доказательством тонкости и превосходства ума. Все это ныне чрезвычайно редко встречается, разве между мелкими купцами и простым народом.

[26] Он начальствовал там вспомогательною армией Наполеону против австрийцев, в известной войне без сражений. Мир был заключен, армия мало-помалу возвращалась, и он скончался в минуту отъезда своего.

[27] Марьи Антоновны Нарышкиной, которой муж, Дмитрий Львович, был родной дядя жены Голицына.

[28] Я, было, забыл, что после Годунова, Лжедимитрия и Шуйского был один Голицын в числе искателей русского престола, тогда как смешная его претензия никем не была поддержана, тогда как Мстиславский, правитель России, и Пожарский, спаситель ее, не дерзали посягнуть на то.

[29] Родные племянники и единственные наследники нашего Креза, бездетного князя Сергея Михайловича, который необыкновеннымдобросердечием заставляет часто забывать глухую спесь свою

[30] Этот неизвестный писатель был известный Ларошфуко. Сию грубую ошибку со стыдом пополам спешит исправить не издатель, а сам сочинитель Записок.

[31] Некоторые люди находили, что рескрипт этот показывает большую робость, потому что Наполеон в нем не был разруган. Я заметил им, что человек, который говорит, что не положит оружия, пока единый неприятель останется в земле его, напротив, должен быть исполнен твердости и решимости.

[32] Я помню одного старого слугу, который со своими господами довольно свободно вступал в разговоры и сам с молодым барином попросился в ополчение. «Что это, господа, — говорил он, — ведь это все государь, да Константин Павлович, народ молодой, нам накуролесили: раздразнили мужика сердитого, а теперь что делать, хоть головы положим, пойдем выручать их». Другой слуга, при котором рассказывали, что Барклай не поладил с Константином Павловичем и отправил его в Петербург, сказал: «Да ведь он прав, этот Барклай; уж не до поросят, коли саму свинью палят».

[33] Магиер — воспитатель Никиты и Александра Муравьевых, сыновей писателя и сановника М. Н. Муравьева и его жены, рожденной баронессы Е. Ф.Колокольцовой. (П.Б.)

[34] Кн. Б. А. Четвертинский (брат М. А.Нарышкиной, от которой имел дочь Александр I) женат был на Над. Фед. Гагариной (1791–1883), сестре В. Ф. Вяземской, жены поэта П. А. Вяземского, приятельницы Пушкина.

[35] На другой день по получении известия о взятии Москвы праздновала она у себя сие счастливое событие с двумя французами, Радюльфом и Магиером. Все комнаты были освещены. Но радостное спокойствие сего торжества было внезапно нарушено. Град камней из карманов и рук двух человек, ехавших мимо верхом, посыпался в ее окна, и все стекла разбил вдребезги; верховые ускакали потом неизвестно куда, и никогда не могли их отыскать. Через несколько времени мне одному открылась тайна, но я никому не объявлял о ней, не из скромности, а из опасения быть подозреваемым в получении. Это были: один молодой малый, прежде бывший у меня в услужении, родными моими отпущенный на волю и находившийся тогда канцелярским служителем в губернском правлении, а другой приятель и товарищ его в том же правлении. Оба они поступили в ополчение, а из него перешли в настоящую военную службу.

[36] Дочь его, тогда в пеленках, ныне за первым богачом нашим графом Димитрием Николаевичем Шереметевым.

[37] Известнейший наш поэт в досаде сказал то же о петербургских дамах.

[38] Этот Пимен Николаевич всегда оставался примечателен своими смирными странностями, бесплодием ума и тела. Им заключился ряд несовершенных произведений Ольги Александровны, и вся жизнь его отзывалась сим несовершенством. Вечно хлопотал он около словесности, гражданской службы и красивой жены: слывет литератором и деятельным чиновником и мужем, но в исполнении всех принятых им обязанностей оказался совершенно несостоятельным.

[39] У первопожалованного графа Толстого, в истории Петра Великого столь известного Петра Андреевича, любимца его и преданного ему до готовности к преступлениям, было два сына, Иван да Пётр, которые при Анне Иоанновне попали в немилость. Старший Иван был сослан в Архангельск, где от скуки женился на дочери какого-то неважного чиновника и прижил с нею семь сыновей. Все они последовали его примеру, все, переженившись, оставили потомство; один из них, Андрей Иванович, подражание довел до совершенства, имел также семь сыновей, в том числе и нашего Федора Андреевича. Другая линия, от Петра происходящая, не была так плодуща, оттого сохранила богатство и знатность, тогда как прочие графы Толстые ныне в Москве стали на ряду и едва ли не ниже простых дворян.

[40] Думала ли она, что внук ее, сын князя Феодора, будет некогда женат на дочери этого Столыпина.

Пётр Иванович

ЮМАТОВ

(1795–1871)

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА 1813–1814 ГОДОВ

Текст печатается по публикации
в журнале «Земство»
(Пенза, 1996, № 1)

Дворяне Юматовы принадлежали к нечиновному, небогатому и незнатному, но старинному саратовскому и пензенскому роду. Пётр Иванович (1795–1871) родился в Инсарском уезде Пензенской губернии. На пензенской земле прошла вся его жизнь, в неё он врос родственными связями. Его отец был однокашником по кадетскому корпусу и однополчанином Ф. Л. Вигеля, тогда губернатора, который часто у Юматовых бывал. На губернаторской дочери Александре Филипповне (1791 – после 1829), сестре известного мемуариста, Пётр Иванович женился (1816). Его внучка Мария Дмитриевна (р. 1859) была замужем за сыном пензенского губернатора А. А. Панчулидзева Давидом Александровичем (р.1850), уездным пензенским предводителем, племянником писателя М. Н. Загоскина. В 1831–32 годах сам Пётр Иванович был сердобским предводителем.

Необыкновенным, историческим событием его жизни было участие в Пензенском ополчении в пору войны с Наполеоном, в заграничных походах русской армии. В 17 лет он попал из нашего захолустья в Европу. «Возвратясь из похода, сделался он первым пензенским танцором и франтом». (Ф. Ф. Вигель).

Мемуары отличаются замечательным русским языком и слогом, увлекательным бытовизмом. Пётр Иванович, хотя и был ровесником многих будущих декабристов, вынес из заграничного похода не революционные идеи, а хозяйственные нововведения: как хранить масло и молоко, как перегонять овец, как пасти свиней, не губя пашни и посевов. Автора воспоминаний можно, без сомнения, отнести к умам положительным и деятельным, к огромному пласту помещиков, живших и работавших в своих усадьбах, не ретроградов и не мракобесов, а здоровых, разумных консерваторов и делателей, обустраивавших землю и государство. Эти помещики редко брались за перо.

«Воспоминания» были написаны в 1860-х годах и впервые опубликованы в «Трудах Саратовской учёной архивной комиссии» в 1890 году.

***

Воспоминания эти писаны мною для моих детей, которые желали иметь на письме то, что я им рассказывал о моей прошлой жизни.

Памятен мне, прежде всего уездный город Инсар (Пенз. губ.): в нем жил мой отец [1], бывший помещиком одной деревни в здешнем уезде и владельцем сенных полян на реке Иссе. Дом наш находился противу церкви Рождества Христова. Он был деревянный, дубового толстого леса, вершков 12 и 14 [2] в отрубе, старинной архитектуры, с крышею из кленового гонта. [3]

Стены не были обшиты снаружи тесом, как это делается ныне, по той простой причине, что в то время (в 1760–70-х годах), как строился дом, пиленый тес едва был известен и пил двуручных было не много, а о пильных машинах и слыхом не слыхать было, если же употреблялся на какие поделки тес, то колотый и оттесанный топором и редко строганный настругом (таким тесом была обита означенная церковь Рождества), причем тесницы ставили стоймя, с узорными вырезками на концах, закрывавшими сверху тесницу, что делало вид карниза.

Колотый тес был в употреблении от обилия леса: дремучие непроходимые рощи представляли неистощимый запас для редкого еще народонаселения, которое и пользовалось им без разбору. Так, например, вместо нынешних плетней из хвороста, селения огораживались тыном, то есть 8 и 9 вершковый лес кололи пополам в три аршина длины, а нижний конец затесывали в виде кола и таким образом на городьбе ставили одну половинку к другой так плотно, чтобы не мог пролезть и цыпленок; сверху же стойки раскалывали и запускали в них тонкие жерди, чтобы нельзя было вынимать их и раскачивать.

Наш дом состоял из сеней величиной аршин четырнадцати в квадрате, разделенных пополам на вход лакейский и девичий; в них были сделаны и небольшие кладовые. Другой угол дома, с подъездного парадного крыльца, был разделен на две комнаты — лакейскую и кабинет; из обеих этих комнат был вход в залу, имевшую пять окон по фасаду; за ней гостиная в четыре окна; в противоположной же части дома, за коридором, распределялись внутренние комнаты, с поперечным темным же выходом в комнату няни моей и мою, так что я всегда трусливо ходил в этой темноте. Расположение внутренности дома врезалось в моей детской памяти столь явственно, что я могу и теперь еще составить его план, хотя мне было только три года, когда меня вывезли отсюда, и после того я уже более его не видал.

Отец мой жил в этом доме довольно долго, состоя на службе в г. Инсаре городничим, товарищем воеводы и предводителем дворянства. Здесь же родился и я, и от трехлетнего возраста сохранил в воспоминании все предметы, живые и неодушевленные, бывшие на моих глазах: помню в киоте за образами вербу с вишенками, которой мне не давали играть; помню палисадник перед домом, выходивший на улицу: он был засажен малиной, смородиной и черемховыми кустами, в которых я беззаботно наслаждался плодами зрелыми и незрелыми; помню друзей и приятелей моего батюшки — крестного моего отца Максима Петровича Литвинова, мужественной наружности, с кривым глазом, Александра Ивановича Еникеева, огромного мужчину с татарской физиономией, гладко остриженного под гребенку и с чрезвычайно выпуклыми глазами; помню городничего В. Я. Фонкерпена и его соловеньких лошадок, на которых он часто меня катал, ухаживая за всем нашим семейством, в надежде получить руку племянницы моего батюшки, в чем, однако, ему было отказано; помню наши городские сани из белой жести, с боками, вытисненными узорами, раскрашенные зеленой и красной краской; помню нашу вороную лошадь, известную под именем саратовской, чрезвычайно шибкой рыси, и как бывало няня, катаясь со мной, говаривала кучеру: «что ты, Иуда Иванович, так закатываешь: ведь у меня с барчонком ажно дух захватывает на морозе»; помню Анну Федоровну Макарову, небогатую дворянку старушку, которая ежедневно бывала у матушки гостьей и всегда веселая, в особенности, когда по вечерам в гостиной собиралась семья наша и немногие посторонние: в этих беседах только и слышен был голос Анны Федоровны, и все смеялись от души, так как эта старушка, при большом уме, обладала чрезвычайной остротой и юмором; ее всегда отвозили домой на нашей лошади и всегда поздно ночью, что крайне не нравилось людям и кучерам, избалованным в добром дворянском доме: так, когда однажды зимой повезли Анну Федоровну в розвальнях на одной лошади, кучер, может быть в расхмель, а может и с похмелья, в ухабе, будто нечаянно упал с козел, выронил из рук вожжи — лошадь поскакала, и бедная Анна Федоровна намаялась от испугу, однако же цела и невредима добралась до своего дома, после того просила, однако, Савелья Матвеевича кучером с ней не посылать.

Инсарский уезд был уже и тогда наполнен жившими здесь значительными дворянскими фамилиями, из числа коих Арапов, Улыбышевы, Мошковы, Хрущевы, Бахметьевы, Вельяшевы были приятными посетителями батюшки [4], сам же он никуда не выезжал, лишившись вовсе зрения. В этом несчастном положении он находился лет пятнадцать. Но каждое воскресенье из его приятелей непременно кто-нибудь приезжал к обеду; в иной праздник даже очень много собиралось гостей: как сказывали, обедывало до ста человек. У батюшки была своя музыка, которую я очень помню; из инструментов особенно занимал меня виолончель: я не пропускал случая пощелкать толстыми его струнами, когда позволял музыкант. По зимам нередко были балы, на которые собиралось человек полтораста гостей; тут всегда отличался один небогатый помещик А., маленький ростом,

с рыжими искрасна волосами, тщедушный, но удалой и выделывавший на славу казачка.

Среди тихой патриархальной уездной жизни я заметил в один день необыкновенную суету в доме; лакеи сновали вперед и назад, девушки тоже, кто запирал ларцы и скрынки, кто связывал узлы с каким-то мягким бутором. Все это для меня было необыкновенно; спрашиваю няню, что это все бегают? «Нишни, милый, — отвечает она, — собираемся в Москву». «Как, няня, и меня возьмут?». «Возьмут, родимой, и я с тобой поеду». И вот настал радостный день отъезда.

Помню, что все наше семейство размещалось в четырех кибитках; не знаю, долго ли ехали, но ехали все на своих лошадях — до самой Москвы. Не знаю, в какой части города стояли мы в Москве, но помню, что нас посещали Лаговщины и Ветровы; помню, что однажды батюшка, имевший большой поташный завод и, продав, вероятно, большую партию, получал от купца деньги золотыми, поставленными кучками; эти золотые были с крестами, следовательно, чекану императрицы Екатерины [5]; помню, как старик-продавец клюквы, неся на голове лоток, распевал: «ай по ягоду, по клюкву, по красную по крупну; Марья Ивановна, московская барыня, клюковку с лотка покупала, сахарцом посыпала, денежки платила, дружбу-любовь водила». В то время клюква и калужское тесто были народным лакомством [6] и имели большой расход.

По возвращении из Москвы, не могу сказать, долго ли мы пробыли в Инсаре, но в 1801-м году всей семьей уже находились в Сердобском уезде, где был выстроен новый, весьма большой дом и складена каменная церковь иждивением батюшки. И здесь мы были посещаемы соседями, из коих Челюскины, Рылеевы, Ножневы были к нам в близких приязненных отношениях. Приезжало также много небогатых помещиков: один из них, Т., любил выпить чарочку, а другой, Л., был, напротив, весьма воздержан. Т., в синей суконной сибирке с огромными медными пуговицами и подпоясанный гарусным кушаком [7], приезжал на беговых дрожках аккуратно каждый четверг на базар, а отсюда заезжал к нам обедать, также и по воскресеньям. После обеда батюшка, бывало, спрашивает по секрету на ушко соседа: «что Т., покраснел или нет?», то есть, достаточно ли подпил за обедом; если Л. отвечал «да», то Т. позволялось отправиться к Сергею Потаповичу, нашему управителю, потолковать о хозяйстве (чтобы избавиться от его докучливости). А между тем, и Т. от этого был не в убытке: у Сергея Потапыча в подвале стояли сороковые бочки с вишневкой, клубнишником, яблоновкой, смородиновкой, и вот за разговором Сергей угостит Т. донельзя. А как по тогдашним законам дворянам дозволялась домашняя выкурка вина [8] и вместо девяностоведерной пропорции в действительности выкуривалось четырежды девяносто, и притом можно вообразить и крепость вина, когда четверть ржи и другого хлеба намеривалось в девять мер лукошниками, что составляло на нынешнюю меру, конечно, одиннадцать мер, и брали с такой четверти по четыре ведра, а остальное, называемое погонь, раздавали без расчету крестьянам, — то таких наливок Потапыч давал Т-у штофчик и на дорогу.

Базар в селе — дело важное: отовсюду съезжается народ, вместе с товаром привозят и различные вести, причем с продажей и покупкой или меной являются неизбежно попойка, ссора и мир. На камзолинском базаре [9] господствовал за то время не исправник или заседатель, а полковник Ж. Он был охотник попить сам и подпоить других, кто бы ни попался; наслаждением его было, в особенности, перессорить между собою мелких помещиков; если же кто упирался, не шел на ссору, то он сам впадал в азарт или, бывало, на базаре же зовет его к себе в деревню и непременно заставит попробовать нагайки своего Тингая (так звался его любимый псарь). Но в последнее время из соседей один молодой дворянин, выйдя в отставку из военной службы, познакомился с полковником, и при первых оргиях на базаре повел на него атаку, в защиту своих крестьян, и так храбро, что полковник отказался от дальнейших набегов.

Про этого полковника рассказывали много анекдотов вроде следующего. Дом в его деревне был выстроен на горе; под горою протекала река, а за рекой шла проезжая дорога. Хозяин дома усвоил себе невинную привычку, состоявшую в том, что когда он сидел на балконе, то всякий, проезжающий по дороге за рекой, обязан был остановиться, сойти с экипажа и, сняв шапку или шляпу, поклониться полковнику; неисполнение этого извинялось лишь проезжающим издалека, соседям же это даром с рук не сходило. Однажды у полковника, по окончании жнитва ржи, были собраны крестьяне попировать, попить зелена вина и бражки-пивца мореного; вино, как известно, было домашней сидки на собственной винокурне, а в пиво для расхмелю подливался винный погонь, подслащенный медом: пивцо делалось разбористое с перушком, ибо погонь вина был несравненно крепче нынешнего полугара. Это угощение производилось перед балконом полковника, на котором он сам присутствовал, потягивая пуншик с французской водочкой. Попойка была в разгаре, и бочки винные и пивные потребителями были уже опростаны и стояли на днах стоймя, как доказательство в успехе хозяйского угощения и усердного старания потешить его по пословице: хозяина почтить — весь день пропить.

В это время за рекой ехал на телеге священник из недальнего села и, не останавливаясь, проехал уже господский дом. Полковник удивился дерзости и своевольству священника, не исполнившего известного правила. Взволнованный этой выходкой, он гневно закричал: «Тингай!» Надо сказать, что Тингай был у него в должности дворецкого, кравчего и главного псаря и в точности исполнял все приказания своего повелителя, хотя бы эти приказания были и позорны, и бесчестны. На возглас своего барина безотлучный Тингай, с подобострастием, отозвался: «Чего изволите?» Полковник мановением руки указал на вольнодумца-священника, проговорив: «Видишь — его!» — «Вижу, сударь, и исполню». Тотчас Тингай кидается на коня и с огромной нагайкой в руке и двумя удалыми спутниками скачет вслед за священником; тут только последний вспомнил о законе полковника, догадался, что трое вершников скачут за ним, и не в его пользу, и не к добру, ударил лошадь, поехал шибко, но мог ли уехать от трех быстрых лошадей скакунов. Вмиг наездники остановили его, и Тингай требовал, чтобы он предстал пред очи его высокоблагородия, г. полковника; священник отказывался, не соглашался и, как видно по делу, с настойчивостью. Чтобы победить его упорство, Тин-

гай хватил его нагайкой; священник в свою очередь выхватил кистень и начал отмахиваться (кистень состоит из аршинного ремня, привязанного к череню аршинной же длины; к концу ремня прикреплен деревянный шар, корневой или дубовый, вершка два или три в диаметре).

Все это происходило на виду полковника, удивленного и крайне раздраженного сопротивлением священника. Но наперсники его превозмогли, взяли под уздцы лошадь и привели пленного пред грозного хозяина, который и начал, обычным порядком, допрашивать мнимого преступника. Когда же священник, вместо повинной, стал сам держать крепкую речь, то полковник, судья в своем деле, указал Тингаю на священника и бочку, прибавив: «Туда его и под гору». В одно мгновение выколотили дно у бочки, нахлобучили на попа, заколотили опять дно и скатили бочку под крутую гору. Проделка эта возбудила продолжительный и неистовый хохот трехсотенной пьяной компании. Пока потешались, бочка скатилась в самую реку, хотя и неглубокую в этом месте, но, к несчастью священника, угодила открытой втулкой на дно реки, и он задохся. Когда наступила пора гостям расходиться по домам, полковник приказал освободить священника. Приступили к бочке, отколотили дно, с криком: «вылезай, батька», но батька молчит; наконец вынули покойника и принесли к хозяину к балкону; приказано: мертвое тело затоптать в тину в озере, телегу сжечь, а лошадь на псарный двор в суп собакам.

Такой подвиг не мог, однако, остаться тайной: крестьяне перешептывались и переговаривали между собою, так что слух дошел до исправника. Капитан-исправник приезжает с судом и понятыми, которых оставили в селе, а сам явился к полковнику, как гость. Хозяин тотчас взялся за угощение: принесли пунш, и пошел кутеж. Но все это не удержало исправника спросить о попе: куда он поехал из селения и когда. Тогда полковник разразился на исправника ярым гневом, обещался повесить его на провесный балык [10] на первой осине, предложил лучше не касаться глупого, по его мнению, дела, вложил ему в карман триста рублей ассигнациями и приказал ехать от себя не оглядываясь. Сказано и сделано.

Вот и другой случай, рассказанный мне о том же полковнике. В близком от него расстоянии жил тоже отставной полковник, семейный человек, весьма почтенный и уважаемый всеми; с моим батюшкой он был в самых дружеских отношениях. В чем-то он провинился пред полковником Ж., по мнению этого последнего, и значит, по непреложенному суду его, следовало наказать Р. Тотчас отдано приказание верному Тингаю собрать барщину на коней, и немедленно является до двухсот конников, кто с косой, кто с вилами, дубиной, кистенем. Вся эта ватага отправляется в набег под главным начальством самого полковника Ж., останавливается и оцепляет кругом небольшую деревеньку в 50 душ, принадлежавшую доброму Р. Тут посылается к нему парламентер с предложением явиться к Ж. с повинной; Р., увидев, что от пьяного и буйного ждать добра нечего, кинулся на лошадь верхом без седла, пролетел стрелой мимо цепи и прямо к моему батюшке с просьбой об участии.

Батюшка отправил Р. на свой хутор верстах в восьми от села и послал Сергея Потапыча к полковнику Ж. в его лагерь, просить убедительно посетить его. Как ни был азартен полковник, но уважил батюшку и тотчас к нему явился, так как место атаки отстояло не более, как на пять верст. Батюшка успел кротостью уговорить полковника если не совсем оставить претензию на Р., то отложить ее до утра, на что он и согласился и затем уехал домой. Проводя его, батюшка немедленно взялся за Тингая, объявил ему, что Р., как он слышал, поехал в Саратов с жалобой и что необходимо снять скорее крестьян с цепи и уничтожить всякую огласку и тем охранить барина от худых последствий. Тингай в точности исполнил совет батюшки и, отпустив крестьян домой, урезонил и самого барина, и на третий день полковник приехал благодарить слепого кума (так он называл батюшку, быв действительно восприемником моего брата) за добрый совет. Оба эти происшествия относятся ко времени с 1795 до 1802 года и были уже последними подвигами полковника. Губернатор Беляков положил конец буйному его произволу; оставались за ним только погулянки на базарах в селе Камзоле и то более его дворовыми людьми, еще не совсем укрощенными в проделках.

Время детского моего возраста текло приятно, почти на полной свободе. С трудом, бывало, отыщет меня няня, когда я после чая со сдобными булками или кренделями домашнего печенья, как стрела, улетал в огород, где меня прельщали гороховые стручки, бобы и огурцы, которыми я и пользовался свободно; но на красневшиеся из-за стекол в оранжерее персики мне приходилось только любоваться, ибо дверь была под замком и ключ хранился у батюшки. Перед обедом, когда начинал уже появляться голод, я отправлялся в кухню добыть чего-нибудь перекусить, и в этом никогда не было отказу от доброго Семена Семеновича, главного кухмейстера, да и было чем угостить или удовлетворить моему желанию: обилие тогдашней стряпни на кухне было поразительно. Я не говорю уже о ежедневном семейном обеде: он всегда был материален и сытен; но вот краткий отчет об обеде для гостей: он состоял из двух горячих — щей и супа, консоме тогда не знали, — были супы из кур с рисом, с клецками, с макаронами, вермишелью, потрохами; к ним два пирога. Затем два иногда холодных, большею частью винегретов, которые приготовлялись так: делалась из теста муфта, обмазывалась чухонским маслом [11] и оклеивалась фигурами разных колеров, вырезанными из бархата, тафты, цветной бумаги; фигуры эти изображали животных — козелков, зайцев, баранов, птиц, цветы, плоды. В такую изукрашенную муфту, поставленную уже на блюде, накладывали винегрет из разных мяс и рыб с пикулями [12], которые тогда имели свои названия, по различию огородных овощей, из которых были приготовлены. За винегретами следовали соусы, двух, четырех, иногда и более сортов. На жареное подавалось по два и по три сорта птиц и баранина, телятина же тогда мало употреблялась: ее считали как бы запрещенной уставом церкви, кроме праздника пасхи; блюда жареного ставили попарно в строгой симметрии. Пирожные готовились более мучные, с миндалем, разных фигур и видов; на блюдах являлись целые дома, корзины, деревья, обложенные мелкими штучками печенья.

На стол же для параду и украшения ставились, так называемые тогда, филейные доски. Это были рамки из посеребренной или позолоченной меди около де-

ревянной доски в пол-аршина в квадрате, закрытой сверху цветным стеклом, а вокруг вставлялись изредка бронзовые же, вершка в два вышиною, колонки, на которых с одной на другую на проволочной цепочке привешивались фестонами хрустальные подвески разных фигур. Таких филейных досок ставилось, смотря по длине стола, по четыре и более, одна подле другой, и вокруг них расставлялись уже миски и блюда с кушаньями, в строгом симметрическом порядке, а между блюд размещались белые и красные вина и различные наливки.

Угощение начиналось всегда в неизменном порядке с холодных, а потом уже подавались супы, пироги, соусы, жареное и пирожное. Кушанье подносили гостям не к ряду, как ныне, а по старшинству или почету хозяина к гостям. Можно вообразить, какая была толкотня и замешательство: некоторых обносили, а некоторым и вовсе не подавали; бедные малочиновные с большого пира иногда отправлялись голодные и доедали уже дома; при этом, по неизбежной мешкотности прислуги, можно вообразить, сколько времени доставалось высидеть за столом. Десерт за обедами не подавался: для него в гостиной накрывали особенный стол, на который и ставились разные сласти. Варенье подавалось на блюдечках с одной ложкой на каждом, так что эта ложка была для всех гостей общей — люди тогда не так были брезгливы и разборчиво-осторожны, да, может быть, и причин менее было нынешнего к опасениям.

Действительно, я не запомню из тогдашних физиономий ни одной, изуродованной цингой или другой болезнью; вообще натура человека, даже просвещенного, тогда не так была изнежена и расслаблена, как нынче; хилых существ было видно мало, а напротив, здоровый румяный цвет лиц обоего пола был порукою их здоровья и крепости. Но в общежитии и тогда уже принята была известная манера вежливости. Каждый посетитель, входя в гостиную, был обязан подойти к ручке ко всем дамам, сколько бы знакомых его тут ни было; иная ручка, может быть, и не очень чисто была вымыта, а иная и чересчур некрасива, но это все было нипочем. Обычай исполнялся беспрекословно, не поцеловать у знакомой дамы ручку значило нанесть ей страшную обиду; не было ничего мудреного, если б муж, сват или брат вступились за мнимо обиженную. Но дуэлей тогда было мало на слуху, а всегда приступали к делу ближе и скорее, — за придирки следовала или пощечина или потасовка; большею частью подобные случаи были вспышкой; радушный хозяин спешил примирить поссорившихся гостей, и затем добрые наливки окончательно заливали гневы, так что, приехав домой, сами ссорившиеся уже не помнили о происшедшем, разве кто из посторонних припомнил им насмешку, что вот-де что между вами случилось.

В 1803 году, в июне месяце, начали поговаривать у нас в доме о путешествии в Ломов на богомолье и ярмонку. Сборы и приготовления продолжались довольно долго, да и нельзя было иначе по тогдашнему времени и обычаю. Надо было для семьи и прислуги заготовить для пути все потребности, если же бы что забыли взять с собой из дома, то на дороге уже добыть было нельзя, кроме прекрасного воздуху, хорошей воды, дичи и рыбы. Действительно, мне кажется, температура была тогда не так сурова, как нынче: настанет, бывало, весна, самая благотворная, во всей природе разливается теплота, с перепадающими по временам дождями, оживлявшими всю растительность; в конце мая или июня начинались жары, а с половины августа воздух освежался. Словом, все было не так, как ныне — апрель теплый, а май холодный, с беспощадными морозами; тогда в Сердобском уезде выспевали на бахчах в изобилии и дыни, и арбузы нисколько не хуже нынешних камышинских, а геодезы говорят, будто магнитная стрелка с 1785 по 1845 год показывает на 2 $^{1}/_{2}$ градуса разницы.

Почтовых лошадей нельзя было в то время доставать, даже и вольных, особенно, когда их требовалось в запряжку более двадцати; ибо населенность была еще редкая, так что тридцать и более верст на проездах не было селений. Поэтому, отправляясь за полтораста верст и делая на своих лошадях шагом не более двадцати верст в станцию, везли с собою и овес для лошадей, и провизию для людей. Так отправлялись и мы в шести экипажах с тремя телегами; на последних помещались палатки.

Какое было для меня раздолье и удовольствие, когда мы останавливались в полдень для обеда и для покормки лошадей. Место для этого выбиралось преимущественно на лугу у воды и притом, если можно было, у леса; тут расстанавливали экипажи и обоз в таком порядке, как иногда нынче располагаются цыганские таборы. Еще, бывало, не успеют остановиться, как я, брат и сестры [13], выскочив из экипажей, уже бегали по шелковистой траве: пестрота цветов, бабочки, а иногда и клубника завлекали нас далеко. Между тем, пока кучера отпрягали лошадей, спутывали им передние ноги путами и пускали на луг щипать траву до дачи им овса, батюшка отдавал приказания: «Иван, возьми ружье, посмотри, нет ли уток или другой дичи; а ты, Семен, с Поликарпом ступайте с бреднем», — и они отправлялись на поиск вольной провизии. В то же время повар разводит огонь, становит таган, а на него огромный медный чайник (тогда самовары были в особой чести и употреблялись только в домах).

Девушки и камердинер батюшки, Яков Иванович, расстилали на лугу ковры, а на середине их накрывали скатерть и расстанавливали чайный прибор и все чайные принадлежности. Тогда отправляли отыскивать нас, и мы возвращались с поисков добычи от великолепной щедрой природы: ягоды, цветы, пахучие травы были наградой нашего набега; цветы и травы разбрасывались около ковра и распространяли благоухание. Вся семья садилась на ковры вокруг чайного прибора — пить чай.

Между тем повар из привезенной и приобретенной провизии готовил обед: если на кормежку останавливались в 8-9 часов, то обед готовился к 12 часам. Он состоял из гораздо большего числа блюд, нежели готовилось дома, из опасения, как бы которое кушанье не оказалось неудачным. Подавали суп или кашицу, ветчину, ботвинью, которую везли в бутылках, к ней рыбу сушеную и распаренную в горячей воде, вяленые индейки и поросята, наконец, жареную птицу или рыбу, так что, бывало, соскучишься от продолжительного подавания яств, из коих более половины оставались нетронутыми. Уборка и укладка всего разобранного для обеда требовали опять много времени. После обеда надо было господам отдохнуть и людям пообедать. В этот промежуток собирали с лугу лошадей, привязывали к телегам и задавали овес. Таким образом, кормежка продолжа-

лась не менее шести часов, и съезжали с места в дальнейший путь не ранее четырех-пяти часов пополудни, когда дневной жар уже охлаждался, а часам к восьми останавливались на ночевку поблизости селения, за околицей, на лугу же. Так ехали мы полтораста верст не менее как три–четыре дня.

Наконец увидали мы и цель путешествия — знаменитый Ломов. Не доезжая верст пять посланы были два квартирьера верхами на отложенных с пристяжек лошадях с приказанием осмотреть свободное место лагеря, узнать, чьи фамилии приехавших заняли места, и нет ли мест свободных между знакомых ставок. По возвращении сих посланных кортеж наш отправился на предназначенный пункт, где и остановились экипажи. Из них велено было ничего не вынимать, пока не разберутся с телег привезенные палатки, которые и были расстановлены одна подле другой. Одна из них, разделенная на четыре части, составляла спальную и туалетную семьи и кабинет батюшки, а другая, более просторная и разделенная внутри, составляла приемную, столовую и гостиную. К стенам поставлены были на козлах доски, покрытые коврами: они служили диванами, с пособием нескольких походных складных стульев; в таком роде были и складные столы. За этими двумя палатками ставилась третья — детская палатка, за нею, уже в некотором отдалении, палатка четвертая — для горничных девушек и кухни. За палатками ставились экипажи и коновязи для лошадей. Такими группами палаток на берегу реки или ручья занималось приезжающими пространство на версту и более и имело вид лагеря. Раскрашенные масляной краской различных цветов и узоров палатки представляли красивую картину, особенно в некотором отдалении.

По устройстве всего и по приведении в порядок походного хозяйства внутри и вне палаток началась забота об туалетах, женских и мужских, а по устройстве и этих принадлежностей приступили к сношениям с знакомыми, приехавшими на ярмонку: посылались лакеи узнать о здоровье и доложить о приезде, за этим начались и личные посещения. Тут в беседах главный разговор велся о том, кто намерен купить и сколько чего, нет ли слухов о ценах; далее — приехали ли такие-то и такие-то фамилии, то есть те, на которых имелись виды, и проч. Главнейшая цель дворянских фамилий в посещении Ломовской ярмонки заключалась в составлении браков — тут были и играли главную роль женихи и невесты.

Когда открывалась ярмонка в так называемых рядах, то на прилавках размещались госпожи покупательницы, беленые и нарумяненные, некоторые полные, белые, с естественным цветом лица, но все-таки притертые для моды, что же касается до престарелых, тощих и смуглых лиц, то их, несчастных, просто наштукатуривали. Лучшие платья и блонды украшали девиц и молодых и немолодых вдовушек; в ушах блестели бриллиантовые серьги; на пальцах выставлялись напоказ такие же кольца, а на шее жемчуг, словом, тут было выставлено все богатство девицы-невесты, в оправдание пословицы «товар лицом продается». Родители были в свою очередь настолько заботливы, что заблаговременно изготовляли отдельные записки и духовные завещания на то приданое, которым намерены были наградить своих дочек-невест, и эти бумаги брали с собой на случай сговора и для удостоверения женихов.

Не были в бездействии и женихи: они расточали все усилия к роскоши и любезности, в особенности те из них, которые приезжали из отдаленных губерний и о состоянии которых на подвижной Ломовской бирже курс доверия не был достаточно определен верными сведениями. Если съезжалось семейств сто и более, то сколько бывало здесь суматохи! Обеды, вечера, прогулки мимо палаток не прекращались, бесконечные рекомендации новых лиц, осведомления о них, запутанные неясные ответы приводили в затруднение, а иногда и отчаяние заинтересованные лица; тут втеснились и клеветы, и хвалы, и сплетни, и уверения с хорошей стороны, и предостережения от беды и напасти, а сами рассказчики между тем промышляли в свою пользу; не обходилось без ссор и скандалов на каждом шагу.

Бывали и комические сцены, как, например, следующая: один молодой человек, дворянин, слыл некоторое время львом ярмонки. Он был высокого роста, стройный, с приличною наружностью. Носил он синий фрак с светлыми желтыми пуговицами; лиф у фрака сзади на спине с пуговицами был, по тогдашней моде, доведенной им до крайности, почти под лопатками, полы фрака далеко ниже колен, а спереди талья под ложечкой; воротник сзади, приподнятый выше шейного платка, почти закрывал весь затылок, жилет белый с красным поджилетником, вязаные шерстяные триковые палевые панталоны, в обтяжку, опущены в сапоги личные козловой кожи, востроносые и с белыми отворотами. В этом костюме, с взбитым коком из волос на припудренной голове, молодой человек расхаживал по ярмонке с лорнетом в руке, с полным сознанием достоинства и в полном убеждении на успех и победы.

В числе приезжих было семейство Х. Двое молодых людей этого семейства, сыновья зажиточных родителей, имели при себе, по тогдашней привычке богачей окружать себя домашними шутами, какого-то штукаря Господова. Из зависти ли, или просто для насмешки они нарядили этого Господова точно в такой же костюм, какой был на господине Н.; разница была в том только, что Господову дали вместо лорнета огромное зажигательное стекло. И вот этот искусственный двойник стал преследовать его всюду, не только в рядах ярмонки, но даже и при посещении палаток. Последствием этого было то, что в половине ярмонки Н. уехал восвояси, а Господов, в утешение и удовольствие своих патронов, остался победителем, удержав за собою поле битвы.

Купцы, в свою очередь, не дремали. Когда собиралось общество в рядах и прилавки занимались невестами, разукрашенными и разряженными, и около них толпились молодые и пожилые ловеласы, они предлагали свои товары дамам и девицам и в то же время спрашивали одобрения женихов, и обратно, предлагая товары женихам, спрашивали одобрения невест. Таким образом подстрекалось самолюбие, тщеславие, чванство, усилие доказать на деле свою состоятельность, страсти и ухищрения, и деньги сыпались в карманы купцов безотчетно; пользуясь таким благоприятным случаем, они сбывали всякую дрянь; залежавшиеся вещи шли за высокую цену, и в заключение, когда кончалась как торговля купцов, так и торговля женихов и невест, первые возвращались с барышами и деньгами, а вторые, прежде всего, без денег и с вещами или дурного качества, или

такими, которые им вовсе не нужны, а главное, одни из них с приятными надеждами и победами, другие обманутые, с горестью в сердце.

К счастью, все это не могло относиться к нашему семейству. Брачная спекуляция не входила в состав видов батюшки: старшей сестре не более восьми лет, а старший брат был в Петербурге записан в кавалергарды; цель старика было помолиться чудотворной иконе Казанской Божьей Матери в здешнем монастыре и повидаться с родными и знакомыми. По исполнении того и другого палатки наши были сняты и уложены, и мы вступили в обратный поход таким порядком, как ехали сюда.

Однажды остановились мы кормить на таком месте, где не было подножного корма для лошадей, а между тем в версте виделся стог сена; батюшка приказал из него взять сколько было нужно и по цене, чего стоило сено, завязать в ветошку медные деньги, а к ветошке привязать длинное мочальце; узелок этот велено было положить в стог сена так, чтобы хозяин по выпущенному мочальцу мог заметить уплату. Видя все это, я сначала не понимал, что тут делают; но когда мне растолковали, то предложил мое мнение привязать за мочальцо воробья, по которому хозяин и узнает о сделанной ему уплате. И люди и батюшка посмеялись моему предложению.

Надо сказать, что старик мой батюшка был человек беспримерной честности, религиозный и целомудренный даже в холостой жизни. Расскажу случай, бывший с ним в Петербурге. Находясь сержантом с полком в лагере для учения, прихожу я однажды, — рассказывал он, — к себе на квартиру и после обеденного стола лег отдохнуть; вдруг, уже заснув, я почувствовал, как будто муха бежит у меня по щеке, но как ничего такого не было, то лег вторично; но не успел заснуть, как в другой раз почувствовал то же самое. Я вскочил и увидел перед собою молодую женщину, весьма изрядную собою. «Милостивый государь, — сказала она, — не вините никого в причиненном вам беспокойстве, это я провела мокрой ниткой по щеке вашей, имея в виду провести с вами время в уединении». С этими словами она бросилась обнимать меня и целовать.

Я был вне себя и довольно грубо сказал, что никакой ее ласки не хочу и шутить с нею не намерен. Затем, оставив постель, я начал укорять ее в неверности мужу (это была жена майора) и в поступке, неприличном женскому полу, и удалился поспешно в лагерь, благодаря Бога, что он избавил меня от греха и худой славы.

Вот еще другой, бывший с ним же, случай, рассказанный им самим. Мне было, — говорит он, — не более двадцати двух лет, когда меня перевели в сухопутный шляхетный кадетский корпус и, по представлению полковнику директору корпуса князю Борису Григорьевичу Юсупову, произвели по корпусу в чин фельдфебеля, вместе с сержантом бароном Филиппом Вигель [14], с капралом Андреем Лопухиным, а в сержанты были в то же время произведены Осип Ушаков, Николай Чаусов, Иван Притчин, Иван Караулов, Семен и Аким Сулимы. Однажды, когда я занимался в моей каморе делами, часу в третьем ночи, вошел ко мне мальчик с просьбою, чтоб я вышел на галерею для некоторой нужды. Выходя за ним в узкие темные сени, я спросил его, куда он меня ведет и зачем. Здесь дожидается вас девица, сказал он.

И в самом деле, тут же бросилась ко мне на шею женщина со слезами: то была дочь капитана, семейство которого я иногда посещал — девица, прекрасная собой. «Извините меня, говорила она, — в моем отважном поступке, я пришла к вам, не быв более в состоянии переносить любовь к вам и тоску сердца». Я был уже в ее объятиях; но мне было известно, что молодым женщинам строго запрещалось ходить в корпус, и притом особенной склонности я к этой девице не имел, и так, сделав ей строгий выговор за ее неосторожность, я возвратился в мою камору, заперся и продолжал писать.

Какие великие люди не поклонялись женщинам и не падали перед ними, но и подобные примеры воздержания и строгой нравственности в описываемое время, может быть, были вовсе не редкость.

У батюшки была еще и другая добродетель — аккуратность и расчетливость; благодаря им и своей честности, он в мнении всех своих знакомых оставил о себе память честного и благородного человека.

По возвращении из Ломова в деревню началось наше ученье. Нанят был француз — мосье Леруж — вандеец, эмигрант, капитан королевской службы, мужчина лет шестидесяти, толстый, высокого роста, седой, почти всегда красный (цвет лица соответствовал его фамилии) после двух рюмок водки, с физиономией Бурбонов или Конде. Он был наставником во французском языке двух моих сестер, брата моего Дмитрия и моим. В назначенные часы собирались мы в классной комнате. В 9-ть часов утра был урок по диалогам наизусть, в 10 часов мосье Леруж изволил выходить вместе с нами в столовую завтракать, тут он выпивал свою порцию водки — рюмку чуть не с нынешний квасной стакан, закусывал, чем случалось, но преимущественно паровой редькой, потом отправлялись в класс на продолжение уроков. Учитель спрашивал из диалогов по-русски, а мы отвечали по-французски, и конечно, где впопад, а где и нет, но без дальних претензий со стороны Леружа. Через полчаса уроки замолкали, начинались рассказы учителя, и конечно, на русском ломаном диалекте, о том, как живут во Франции; мы слушали и смеялись на умор. К 12-ти часам учитель начинал сердиться на нас за насмешки, но тут было уже время оканчивать классы, и мы отправлялись к обеду, после которого мосье Леруж ложился почивать, а я с братом отправлялись в сад, где всегда ожидали нас мальчишки фавориты — двое сыновей приказчика Сергея Потапыча, получавшие от нас подачки от обеда. Задобрив их таким образом, отправлялись мы в смородину, к огурцам, моркови, бобам; насытившись всеми этими продуктами, отправлялись на конный двор на поиски в соломенных поветях воробьиных гнезд, душили несчастных десятками хуже голодных кошек; а после этих подвигов возвращались в класс на 2 часа для переводов и чистописания.

Можно вообразить, как шли эти уроки после глубокого сна и, может быть, с похмелья учителя и после нашей беготни и полученных нами царапин: написанные нами каракульки могли бы быть обличителями успехов наших занятий. В 6 часов кончался класс, и мы отправлялись в столовую пить чай. Федосья Петровна, приказчица, приносила целое решето свежего печенья, кренделей, булок, калачиков, сухарей, которые мы употребляли на славу. Через час, после беганья в саду или где попало, нас с братом отыскива-

ли и приглашали к батюшке для получения порции сластей — арбуза или дыни, вишен, персиков или привозных из Саратова яблок, груш, а иногда и для выговора за какие-нибудь наши неумеренные шалости. Как бы то ни было, но время было блаженное, мы наслаждались как дети настоящим, а о будущем и в голову не приходило.

Но всему бывает конец, так и нашей деревенской жизни. Найдя, что образование наше не может совершиться в деревне, батюшка решился переехать в Пензу. Здесь мы прожили с месяц на квартире, а потом купили дом (деревянный с антресолями) у Анны Ивановны Ознобишиной в Верхней Пешей улице, за 2500 рублей ассигнациями. Это произошло в половине лета. Осень этого года и начало зимы прожили мы весьма приятно; всегда были гости, хотя батюшка, по слепоте своей и нездоровью, не мог у себя в кабинете принимать многих. Частым его посетителем был его соученик по кадетскому корпусу и сослуживец Филипп Лаврентьевич Вигель, впоследствии отец жены моей, состоявший тогда в Пензе гражданским губернатором; приятельницами матушки были Александра Гавриловна Дубенская, Надежда Карповна Копьева, Анна Николаевна Смирнова, Александра Васильевна Миленина, урождённая Зубова, родственница нам по Олимпиаде Николаевне Зубовой. Старшая сестра моя, весьма умная и по-тогдашнему образованная девушка, очень приятной наружности, но в высшей степени скромная, имела много женихов, которые всячески ласкали меня и брата.

В это время занемог батюшка; его пользовал доктор Христиан Иванович Бухман, лучший тогда медик; на консультации были приглашаемы и другие доктора: Яков Матвеевич Европеус, Петр Петрович Петерсон [15], но все пособия и усилия были тщетны; он скончался тихою смертью. Это произошло в январе 1805 года; тело его перевезли в любимую его Юмку и оно погребено у каменной церкви Рождества Христова, сооруженной им на свой счет. После погребения отца мы целый год прожили в деревне, а когда опять переехали в Пензу, то тотчас отдали меня и брата Дмитрия в пансион Галье, француза, тоже эмигранта.

В 1806 году я был определен на службу в пензенское губернское правление. Несмотря на то постоянно являлся и в пансион, но ученье шло плохо. В 1810 году я начинал понимать мои недостатки, встречаясь с товарищами и сверстниками и затрудняясь в разговорах, так как многого и многого я не понимал, хотя и они звезд с неба не хватали. Это положение крайне меня беспокоило; я не знал, как восполнить мои недостатки в сведениях. Раз случилось мне взять в руки Московские Ведомости, где я напал на публикацию о продаже книг вновь отпечатанных; из них одна заинтересовала меня: это был Плутарх для юношества или жизнеописания славных мужей древности. С неописанным восторгом пришел я к старшей сестре и сказал ей о находке, которую желал бы читать; она с первою же почтою, на собственные деньги, выписала мне Плутарха. Прочтя эту книгу с наслаждением, я получил охоту ознакомиться с историей, и она обратила мое внимание на распределение государств в Европе, что повело и к изучению географии; но иностранные языки я знал еще мало.

1811 год застал меня в неопределенном положении. Везде слышно было о французах, об их военных действиях, о бывших неудачах русских армий. Все были озабочены политическими обстоятельствами. К концу года предположения и неприятные предчувствия усилились. Наступил 1812 год, и с ним сомнения и ожидания разъяснились. Наполеон, с 500000-ной армией перейдя русские границы, двинулся быстро внутрь государства. Битва под стенами Смоленска и внутри города кончилась оставлением его неприятелю, армия наша отступила к Бородину: здесь опять борьба на жизнь и смерть. После жестокого кровопролитного боя под командой Кутузова наша армия опять отступила по дороге к Москве.

Вести об успехах неприятеля и наших отступлениях приходили ежедневно, а иногда и два раза в день; все впало в уныние, все спрашивали друг друга, нет ли каких новостей, с тоскою и отчаянием в сердце, прибавляя: «уж не близко ли Москвы неприятель, не обложена ли Москва, неужели не устоит Москва? неужели Царь допустит разорение Москвы? нет ли какой измены?» В душевном волнении дворяне и народ отправлялись от мала до велика в храмы и здесь с коленопреклонением, изливая слезы, молились о спасении земли русской, матушки белокаменной Москвы. Когда же на эктении литургисавший взывал к Вседержителю о избавлении от нашествия иноплеменных, тогда слышались громкие рыдания всех находившихся в церкви. От обедни большая часть стремилась к почтовому дому справляться, не пришла ли почта, нет ли курьера? Зловещее предчувствие поражало всех и каждого, все спрашивали: почему не берут еще рекрут, почему всех нас не ведут на защиту земли нашей, все готовы жертвовать собой, умереть сладкою смертью за отечество, отдать все имущество за спасение веры, царя и отечества.

Наконец получен высочайший манифест императора Александра, которым объявлялось, что император Наполеон с французской огромной армией вторгся в пределы России, и делалось воззвание к верноподданным о защите отчизны. Воззвание это нашло отголосок и в вельможе, и в крестьянине: предложено для усиления армии составить ополчение из помещичьих крестьян, а в звание офицеров приглашены сами дворяне. Патриотизм проявился в полном смысле слова: все воспламенилось, все закипело усердием к отечеству и местью на врагов; на устах каждого носились слова: Пожарский, Минин, земля русская, Москва, Батюшка Царь, помоги нам, Господи. Не говоря о классе образованном, о взрослых простолюдинах, крестьянские мальчики, младенцы собирались на улицах в кучки, уговаривались играть в французов, становились на две стороны, на одной стороне были русские, а на другой мнимые французы, но на последнюю становились не иначе, как по жеребью или назначению и непременно с обязательством при нападении русских отступать; так что игра кончалась всегда торжеством русских и криком ура. И сколько было примеров огромных пожертвований, сколько самоотвержения.

В комитеты, учрежденные по городам для составления ополчения, дворяне сами являлись наперерыв, в особенности бывшие в военной службе и недавно ее оставившие. Вместе с другими записан был и старший брат мой Степан, но как в это время он уже был женат [16], а матушка в преклонных летах и слабого здоровья, притом при ней были две сестры девушки, и имение в разных местах, то, с разрешения матушки, я с братом Дмитрием [17] оставили статскую службу

и вступили в ополчение, от которого и был уволен старший брат, с оставлением в должности уездного судьи в Инсаре. При содействии тогдашнего губернатора, князя Сергея Григорьевича Голицына [18], мы были назначены в 3-й пехотный полк, формировавшийся в городе Инсаре под командою полковника Марка Васильевича Кушнерева. Чтобы явиться к нему, надо было обмундироваться и завестись всем необходимым; это я начал покупкою лошадей верховой и вьючной, для чего отправился в село Бековo, а оттуда в село Засецкое — имение Мерлина [19], у которого был тогда знаменитый конный завод, преимущественно верховых лошадей; много мне их показывали, но цены назначались высоки, не по моим деньгам; поэтому я отправился отсюда в село Аркадак и там купил степную выдержанную гуртовщиком под седло лошадь, которая мне весь последующий поход служила как нельзя лучше.

Возвращаясь из Аркадака в Пензу, под самым городом, я встретил князя Мансырова; спрашиваю его: «Что нового». Он едва намекнул, как я уже угадал горькую весть, что Москва взята французами. Признаюсь, никогда в продолжение моей жизни не ощущал я того, что было тогда со мною: остолбенев, я бессмысленно стоял некоторое время, потом вдруг побежал, оставив повозку за собой. Мансыров остановил меня. «Все горюют, — сказал он, — и все собираются возвращать Москву». При слове «Москва» я опомнился, сел в повозку и приехал домой.

Здесь нахожу у матушки гостей — Анну Фроловну Печерину с маленькой дочкой и молодого мужчину в синем фраке, лет 32–35. Куда как некстати показалось мне это посещение; однако ж матушка меня познакомила с гостем; на другой день он опять приехал; мы провели с ним день, а к вечеру сестра моя Капитолина сказала, что этот гость, г. Ч., саратовский помещик, ищет ее руки. По привязанности моей к сестре, эта новость запала мне в душу тяжелым камнем; в раздумье о будущности ее я всю ночь почти не спал, поутру же, когда еще не успел одеться, сестра прислала за мной свою фрейлину — Настасью. Как скоро я взошел, она начала объяснять мне свои мысли, выставляя и выгоды и невыгоды сделанного ей предложения и требуя моего совета. Это польстило моему самолюбию, но я не решился отвечать необдуманно. Со слезами на глазах я ушел от нее в залу, измерив ее, бегая из угла в угол, наконец, с теми же слезами возвратился к сестре, упал перед ней на колени и уже не советовал, а просил и умолял ее согласиться на брак, в убеждении, что жених человек солидный, что мы идем в поход, что на старшего брата надеяться нечего, что матушка и она с меньшой сестрой останутся в такое ужасное время в беспомощном положении, что, выйдя замуж, она и сама будет пристроена и счастлива и не покинет, в случае нужды, матушку и сестру Марью. Мои ли слова, или ее собственная решимость имели последствием, что жениху дано слово, и слава Богу. Выйдя замуж, сестра была весьма счастлива. Я же, после помолвки, отправился в полк. Полковник тотчас назначил меня в роту субальтерном [20], и я немедленно принялся учиться фронту и службе, вовсе мне новой и неизвестной. Это было, кажется, в исходе сентября 1812 г. — мне шел тогда семнадцатый год.

Едва всмотрелся я в мои военно-учебные занятия, как полковник призывает меня к себе и приказывает отправиться в Ломов для набора ратников в помощь к майору Зимнинскому. В исполнение этого приказания я прибыл в Ломов и должен был приняться за совершенно новое для меня занятие. Майор был болен и в присутствие набора не ходил, почему весь прием 800 человек остался за мною. Благодаря обязательности майора Евреинова, который при этом вразумлял меня, люди были приняты и постепенно отправлялись партиями в Инсар; с последнею отправил я прапорщика Белелюбского, а на другой день, закончив дела по приему, выехал и сам тоже в Инсар, располагая догнать здесь партию. Но каково было мое удивление, когда, отъехав верст с 20 от Ломова, я нашел моих ратников спящими в кустах, а офицера полураздетого в телеге. Это меня встревожило, спрашиваю: «Почему партия остановилась здесь, а не на втором переходе, где она должна бы быть по маршруту», — и получаю в ответ от полустарого Белелюбского, что люди отзываются усталостью, а некоторые отправились к домашним проститься с семействами верст за 7–10. Делать было нечего: я отдал приказ нескольким человекам ехать на подводных лошадях за отпущенными, с тем, чтоб выслать ратников на их домашних подводах и догнать как можно скорее, а сам повел партию. Не доходя до Инсара все люди собрались; я сделал им перекличку и представил партию сам.

Полковник, осмотревши людей, остался набором и исправностью доволен и отдал благодарность в приказе по полку. Вскоре все роты были укомплектованы, и я был назначен в 4-ю роту 2-го батальона, в которой ротным командиром был поручик Т., вышедший в отставку из кавказского корпуса, знавший хорошо службу, но горький пьяница и буян. Меня он полюбил, и когда находился в трезвом состоянии, занимался учением роты.

Я поневоле должен был вникнуть во все подробности по учению и управлению ротой, ибо, когда мой командир был, как говорится, не в себе, то учение оставалось за мной одним и поротно, и на полковом плацу. К счастью, при мне находился нанятый мною, собственно для моего наставления, отставной унтерофицер, который был в этом случае моим учителем. Обмундировка ратников состояла у офицеров в сером суконном казакине с такими же шароварами (причем у офицеров и унтеров воротники и лампасы были зеленого цвета), а по казакину ременный пояс с пряжкою; у простых ратников были пики трех аршин длиною, а у офицеров сабли, кто какую имел, и надо сказать, очень плохие, так что некоторые клинки из простого железа гнулись, как моченое лыко. Я с братом жил в доме старшего брата Степана, и в это время к нам приехала из Пензы матушка с сестрою Марьей.

Здесь я должен рассказать событие, которое до сих пор свежо в моей памяти. Перед нашим домом была деревянная церковь Рождества Христова и тут же порядочная площадь, на которой происходило и учение моей роты. Не помню, когда именно, но кажется, в первых числах декабря (8 или 9) вышел я к роте и, приготовив ее, повел на полковой плац, против квартиры полковника. Он жил в доме Головизнина, недалеко от чугунного завода Марьи Васильевны Никоновой. На плацу не нашел я, однако, ни одного офицера при ротах, хотя был в сборе весь полк, состоявший из четырех батальонов, в каждом по четыре

роты в 180 человек. Вместо того, чтобы стоять фрунтом побатальонно и ротно, люди с пиками в руках бегали из одной кучки в другую, некоторые лежали, по временам слышен был какой-то ропот; моя рота тоже начала расходиться. Спрашиваю фельдфебеля: «Что значит этот беспорядок?» «Да что, ваше благородие — бунтовать хотят», — отвечал он.

Тотчас пошел я к полковнику; но нахожу дом его окруженный ратниками, которые требовали, чтобы он к ним вышел. С большим трудом пробился я сквозь толпу, однако, к удивлению моему, вхожая дверь была заперта и никого не впускали. После долгих переговоров, чтоб меня впустили, наконец поручик Дмитрий Михайлович Мещеринов отворил дверь настолько, что я мог пролезть, имея саблю наголо, и по входе моем тотчас задвинули опять запор.

Тут я нашел всех офицеров полка, рассуждающих, что делать? На спрос мой, что все это значит, узнаю, что ратники не хотят учиться и объявили, что не пойдут в поход, которого ожидали со дня на день, в убеждении, что ополчение собрано не по воле Государя, а по воле самих дворян и с тем, чтоб, приведя их перед французскую армию, продать безоружных Наполеону, а он, как пленных, отошлет их воевать за него в другие немецкие земли, точно так же, как продали Москву, а в доказательство самовольства дворян они представили то, что, вопреки узаконенного обычая, у них ни лбов, ни бород не брили, к присяге не приводили, обмундировка не рекрутская, а крестьянская, и — главное — не объявляли им печатного указа Царя, за золотой печатью. Все эти дикие нелепости были следствием, как полагали, интриг Наполеона, который действовал чрез шпионов, рассеянных тогда по всей России во множестве, в особенности евреев и обрусевших поляков.

Как бы то ни было, в этом нелепом убеждении ратники настоятельно требовали выхода к ним полковника и всех офицеров, по неудовлетворении же их требования начали пиками бить стекла в окнах, которые не были закрыты ставнями, и затем вдруг раздался крик нескольких голосов: на завод, на завод, за соломой; обложим дом и зажжем: пусть сгорят окаянные предатели. В эту минуту подходит ко мне полковник Кушнерев и дает запечатанный пакет, довольно толстый, сказав: извольте отправиться немедленно курьером в Пензу и представить это донесение губернатору и дивизионному ополчения (первым был тогда камергер князь Григорий Сергеевич Голицын, а вторым генерал-майор Николай Федорович Кишинский). Я докладываю полковнику, что ратники могут у меня отнять пакет, и потом, где взять лошадей. «Пакет извольте спрятать и беречь, а лошадей добудьте где знаете», — был ответ.

Офицеры присоветовали мне расстегнуться и заложить пакет за спину под мундир. Полковник дал это поручение мне, как кажется, потому, что моя рота была сформирована лучше других и волнения в ней не замечалось, значит, оставалась некоторая доверенность роты к Т. и ко мне, а главное, потому, что я в самом пылу бунта и раздражения прошел между всего полка невредимым и последний пришел в дом, почему заключили, что и обратно меня пропустят скорее, чем другого, а на расторопность и сметку мою полковник тоже надеялся.

Таким образом, я выпущен был в те же двери, в которые был впущен; но едва показался в толпе, как она меня обступила с криком: «Куда идешь, зачем?» Я отвечал: «Иду домой, к матушке, обедать». «Врет, обманывает молокосос», — и некоторые начали уже толкать меня, а один разорвал на мне застежки мундира и вытащил книжку с деньгами, коих было около тысячи рублей красненькими ассигнациями; толщина книжки была причиной алчности и дерзости грабителя, вероятно, полагавшего вместе с деньгами найти еще какие-нибудь приказания на бумаге; не успел он вырвать мою книжку, как другие стали у него отнимать и начался дележ моих денег. В эту критическую для меня минуту, когда судьба поставила меня лицом первого в жертву неистовой толпы, вдруг выбегают двое ратников, Егор Устинов и Федор Филимонов (отданные из нашего имения), и останавливаются около меня с криком: «Не трогайте, это наш барин!» К ним присоединилось еще четверо ратников, принятых из села Пушкина, которых всех, как славных ребят, Т. и я любили и сделали их урядниками. Все шестеро выручили меня из толпы и, окружив, повели, под охраной пик, с криком: «Не трогать, не дадим обижать». Но в это самое время один здоровый ратник, просунув между моих охранителей руку, схватил за полу шубу мою, накинутую на плечи, и сдернул ее с меня в одну минуту. Защитники мои бросились было отнимать ее, но, чтобы предупредить схватку, я упросил их оставить это дело, хотя шуба и была ценная даже по тогдашнему, — на тумаковом меху [21], не хуже доброй собольей. Тогда мы пошли дальше краем дороги, стараясь миновать бунтующей толпы.

Между тем ратники, человек более ста, бегавшие на чугунный завод за соломой, хотели уже обкладывать ею дом и зажечь; но другие, непьяные, остановили, говоря, что огонь не шутка, хотя и зимнее время, но может сделаться большой общий пожар и причинить несчастье другим невиновным. Во время этого спора человек тридцать, помогая друг другу, влезли по углу дома на крышу, просунулись слуховым окошком на чердак и с пиками в руках спустились в комнаты дома, тут началась развязка. Офицеры стали отмахиваться саблями и рубить по пикам, по длине коих ратникам неловко было действовать в тесных комнатах, поэтому они решились отворить двери и вышли на площадь. Тут на первого напали на полковника; разбили ему голову до крови, так, что она потекла ручьем на мундир, сорвали с него ордена, и один из ратников надел их на себя и провозгласил: «Я теперь ваш полковник, меня слушайтесь; более никого не бить, слышите! ведите в тюрьму — там допросим». Но уже несколько офицеров были переранены в кровь. Мгновенно бунтующая толпа хлынула рысью, ведя под руки офицеров; дойдя до меня, пересекли мне дорогу, и тут я увидел полковника и офицеров окровавленных. Один офицер сказывал, что полковник невидимо вышел из своего дома и спрятался в доме Головизнина, и что будто здесь нашли его ратники, по указанию майора Зимнинского, когда ратники ворвались в дом, где я оставил офицеров. Этому событию я уже не был свидетелем, потому достоверно и не знаю, где был взят полковник, но, вероятно, вместе с офицерами, ибо уходить в другой дом ему было некогда, да кажется, что и дом Головизнина тот самый, где квартировал полковник и где все мы были вместе с ним.

Предоставляю вообразить другим мое положение; имея под мундиром пакет с донесениями, я думал:

что, если обыщут и найдут его у меня, что будет? но Бог сохранил меня: защитники мои довели меня до моего дома благополучно и сдали меня на руки человеку моему Родиону Михайловичу, приказав строго беречь меня и приговорив, что он будет отвечать за барина, а что сами они пойдут выручать Дмитрия Ивановича; действительно, они выручили моего брата и спрятали на кожевенном заводе, принадлежавшем батюшке, в двух верстах от Инсары. По пришествии моем в дом я увидел в нем полное разрушение: тогда как толпа ратников атаковала дом полковника, прочие кинулись артелями разбивать кабаки и дома, в числе коих напали на дом брата моего Степана, где мы жили. Мебель, сундуки, шкапы — все было разломано, имущество расхищено, стекла выбиты, двери, большею частью наружные, выломаны, даже полы были взломаны в предположении, что там спрятано какое-нибудь добро. К счастью, матушка с сестрой были вывезены благополучно из города на кожевенный завод.

Начинало смеркаться; мне надо было ехать в Пензу; а лошадей не было, кроме одной. Эту лошадь камердинер Родион Михайлович запряг в простые сани, присоветовал мне снять с себя мундир, накинуть нагольный тулуп, обернуть ноги онучами и надеть лапти (мундир же и прочее связали в узел и спрятали в конюшне в сенной трухе), в сани постлал немного соломы, на которую я и лег, а сверху меня закрыл соломой же и около меня воткнул железные вилы стоймя, затем, пригласив повара нашего Федора Семенова, сел с ним на облучки саней и какими-то глухими переулками вывез меня благополучно из города, — и тут только я вылез из моей соломенной тюрьмы. На 4 или 5 версте нам встретились три огромные господские повозки, ехавшие в город; предполагая, что это должно быть большое семейство, я остановил первую повозку и на вопрос мой узнал, что это семейство Селунских, — жена полковника Селунского с дочерьми и малолетними сыновьями; муж ее был командиром 1-го полка ополчения, формировавшегося в городе Саранске. Желая скрыть от ее людей мое настоящее положение, я начал объясняться с ней по-французски, но она плохо понимала, наконец, сказал ей, чтоб она решительно в Инсар не ездила, а воротилась для спасения себя куда знает; сам же, не теряя времени, поехал далее.

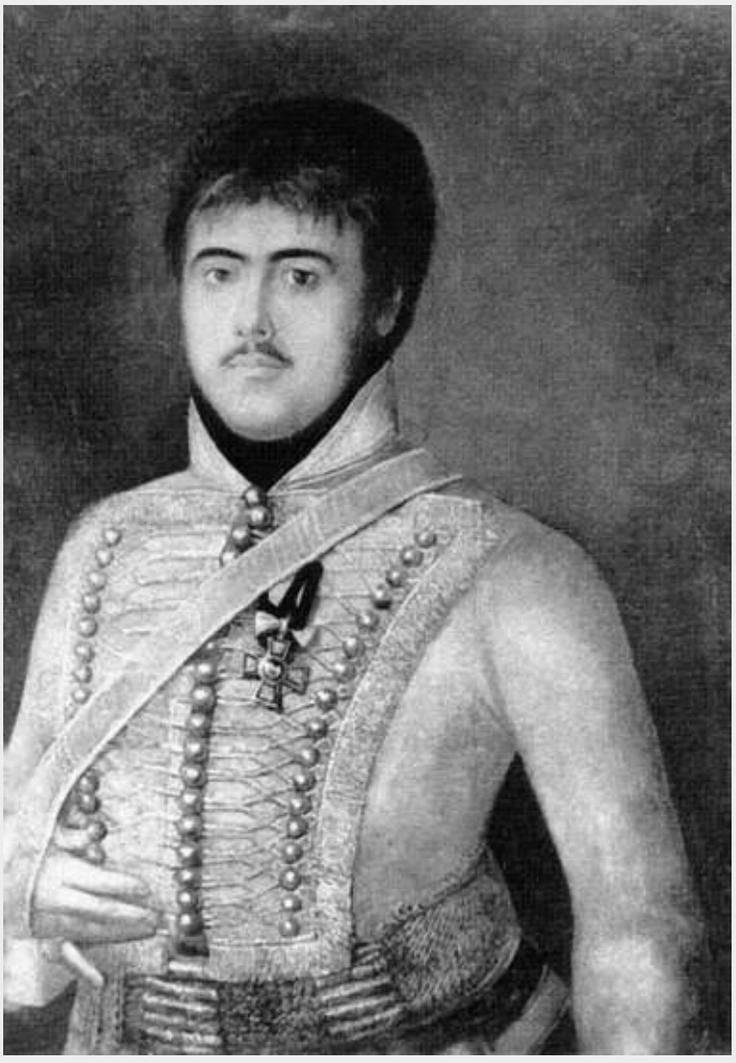
С самого выезда моего из Инсара погода была ужасная, дорогу завалило снегом, так что несколько раз я ее терял и уже часов в 12 приехал в село Хитрово, в имение Петра Андреяновича Вельяшева [22]. Подъехав к дому, вхожу в прихожую; но лакеи, видя мою одежду, не хотели докладывать барину, что я желаю его видеть и отсылали меня к священнику, предполагая, что я семинарист. Это заставило меня позвать Федора Семенова, который несколько лет тому назад вышел из дома Вельяшева, где он учился в поварах — люди узнали его и уже по его словам доложили барину; я нашел его в кабинете, сказал ему кто я, куда послан и по какому случаю; все это очень озадачило старика, он радушно предложил мне угощение — чай, ужин, но я от всего отказался, и только просил дать как можно скорее лошадей и провожатого, что он и исполнил.

В селе Бибикове, нашем имении, я нашел в избе у старосты матушку и сестру, спасенных людьми. После первой радости свидания они рассказали, что кучер Поликарп Лукьянов запряг лошадь в зимнюю повозку тогдашнего солидного размера, накладенную пожитками, в которой поместилась матушка, сестра и барская барыня матушки Прасковья Петровна, на козлах же сели Поликарп и лакей Никифор Козмин, и таким образом на одной лошади, по занесенной снегом проселочной дороге, приехали они из Инсары в Бибиково, т. е. сделали безостановочно сорок верст с тяжестью до шестидесяти пудов; поэтому можно судить о силе лошади; таковы были тогда конские заводы у помещиков; в нынешнее время и признаков этих заводов уже не осталось, несмотря на все меры, принимаемые коннозаводчиками к распространению сильных лошадей; причина та, что нет уже тех обширных степей с ковыльными травами, которые представляли обильный корм и пространное пастбище, так что, если, бывало, табун лошадей шарахнется (чего-либо испугавшись), то пастухи не скоро могли догнать их; случалось, что они даже убегали верст за сорок. Прежде четырех лет лошади не знали конюшни, оставаясь на корму в естественном положении и развиваясь на свободе вместо выправки их нынешней гимнастикой, в запряжку же употребляли их не ранее шести лет, и то еще не считали такую лошадь вступившей в настоящую силу; вот почему тогдашние лошади служили хозяину до тридцати лет; несмотря на то, удивительно, что эти самые лошади в езде с первой запряжки были чрезвычайно смирны.

Пробыв в Бибикове часа полтора, покуда собрали и запрягли лошадей, я отправился в Пензу. Здесь я немедленно явился к дивизионному командиру, генерал-майору Кишинскому [23], и вручил ему донесение полковника. Прочитав бумагу, генерал при мне же поехал к губернатору, сказал адьютанту Саврасову, чтобы собрался конный полк ополчения к его квартире на площадь, а мне приказал пополнить мою обмундировку и затем отправиться в полк. Таким образом, с неделю пробыл я в Пензе, куда приехала матушка с сестрой и братьями, и когда возвратился в полк, то уже нашел здесь нового полкового командира (Кушнерев вышел за болезнью в отставку) — подполковника Петра Алексеевича Бекетова [24].

Тут я узнал, что для усмирения бунтовавших ратников, по распоряжению гражданского губернатора, истребованы были военные команды из войск, бывших тогда на походе через Пензенскую губернию в г. Орел, из корпуса генерала Лобанова-Ростовского, с коими прибыл на место генерал-майор Адамович и из Саратова бригадный командир внутренней стражи, полковник Румянцев, с 136 человеками гарнизонной команды и казаков. По усмирении ратников в Инсаре команды эти были разделены и обращены в города Саранск и Чембар против возмутившихся и там ратников 1-го и 2-го полков ополчения, а когда и здесь водворился порядок, то, по распоряжению командующего корпусом ополчения, генерала графа Петра Александровича Толстого, был прислан полковник Николай Николаевич Муравьев для производства следствия и учреждения военно-судной комиссии. К нему был присоединен, в звании депутата от граждан, присланный от пензенского губернатора для увещания ратников надворный советник Ларионов, а по Саранску губернский стряпчий Степан Матвеевич Попов.

По следствию оказалось, что возмущение возникло от ложных слухов, дошедших от одного ратника



Портрет Николая Фёдоровича Кишенского.
Неизвестный художник, 1820-е гг.

«...В эту минуту подходит ко мне полковник Кушнерев и дает запечатанный пакет, довольно толстый, сказав: извольте отправиться немедленно курьером в Пензу и представить это донесение губернатору и дивизионному ополчения (первым был тогда камергер князь Григорий Сергеевич Голицын, а вторым генерал-майор Николай Федорович Кишинский).»

Федора Петрова, который, быв послан в Пензу, слышал там от рекрутской жены, имя которой не запомнил, что будто читали на базаре указ о распущении ополчения, о чем Петров, возвратясь в Инсар, объявил двум ратникам, Егору Попову и Якову Федорову. Сверх того, приезжавшие из нижнеломовского уезда села Есиневки люди рассказывали, что они давно ждут возвращения своих ратников, так как в Тамбове распущена милиция, и прибавляли еще, что ратников к присяге не велено приводить, а без присяги в поход не поведут, что поэтому и поневоле их распустят. Такое разглашение имело последствием то, что когда дан был приказ о выступлении в поход, то ратники 3-го полка 1-го батальона 1-й роты потребовали присяги и именного повеления, после чего полковник Кушнерев, выйдя перед фронт, увещевал воинов к послушанию, но как это оказалось безуспешным, то приказал взять двенадцать человек под арест и отправился на свою квартиру. Но затем более чем половина полка отправилась в город толпою, забрала пики и начала разбой кабаков и домов обывательских, а остальные остались около квартиры полковника, начали в доме бить стекла, ворвались в комнаты, перехватали офицеров и полковника, били его и некоторых офицеров до крови, потом отвели в тюрьму, разграбили полковую сумму (ассигнациями до тридцати тысяч рублей), так что вместе с пограбленным в городе имуществом цифра похищенного восходила до ста тридцати тысяч ассигнациями.

По этому следствию военно-судная комиссия распределила ратников к наказанию на три категории: из всех трех полков тридцать два человека определено, наказав кнутом, сослать в каторжную работу, двести восемьдесят человек, прогнав шпицрутенами, отправить на дальние гарнизоны, и наконец, до 800 человек наказать перед полками палками. Присуждение и приведение в исполнение конфирмовал дивизионный командир ополчения генерал-майор Василий Петрович Титов, поступивший на место генерала Кишинского, вышедшего в отставку. В числе причин, усиливших развитие бунта, можно полагать отсутствие дисциплины, несохранение субординации ратников к офицерам; из последних, некоторые из ротных командиров, небогатые люди, отпускали ратников по нескольку раз домой к родным, получая за это гостинцы из съестных припасов и деньги, о действительном же разграблении казенных денег тайна осталась за тогдашним полковым казначеем Алексеем Федоровичем Реновым.

При наказании преступников кнутом я не присутствовал, но когда осужденные проходили под шпицрутенами, то их крики, ослабевавшие по мере изнеможения и утраты последних сил, помещение изнеможенных на опрокинутые дровни для окончания положенного числа ударов, истекающая кровь, даже смрад крови (ибо был теплый день без ветра) — все это глубоко потрясло меня, и при первом возможном случае я поспешил оставить место наказания, прося Бога изгладить у меня из памяти виденное; но и теперь, обсуждая хладнокровно это наказание, я не могу не пожелать, чтобы оно заменено было другим.

По окончании наказания и по приведении в порядок полка мы выступили в поход под прикрытием 150 человек башкир, так что половина их шла в авангарде, а другая в арьергарде, а пики везли на подводах в нескольких переходах позади полков. Тяжел подъем в русских путешествиях вообще, подъем же полка, худо дисциплинированного, в особенности! С 10-ти часов утра поднялась страшная погода при морозе градусов в 20; дорога была занесена снегом; между тем люди, кроме ранцев, несли на себе много ненужных вещей и разной провизии вареной, соленой, жареной и каленой, данной им сродничками на дорогу; на 12–14 версте многие стали уже отставать и перемешались с чужими ротами; то же было и с обозом. Под ночевку было назначено три или четыре селения; люди поместились на квартирах, кто куда попал; помню, я с братом и двумя офицерами, Дмитрием и Егором Михайловичами Мещериновыми, остановился на одной квартире, куда мы пришли часов в 10-ть вечера, усталые донельзя. Для меня все это было новое дело: почти наполовину время, в прежней домашней жизни, я ходил в шелковых чулках и башмаках, и вдруг перейти в сапоги с шерстяными чулками, промаршировать по морозу и вьюге двадцать верст и вместо лимонаду и шеколаду разрешить на ерофеич, — как хотите, важная перемена в жизни 17-ти летнего мальчика, но тогда и в голову не входило мне моё будущее: я беззаботно предавался судьбе без дальних соображений.

Мы вошли в просторную и теплую избу, освещенную лучиной. Дмитрий Михайлович, как отставной поручик из гусарского полка Шевича, был привычен к походам: он скомандовал зажечь наши свечи и подавать самовар, чему я чрезвычайно обрадовался, во-первых, потому, что с непривычки дым начинал мне есть глаза, а чай после перехода, озноба и усталости — истинное наслаждение. Фадей, камердинер Мещеринова, проворно подал самовар — и началось распивание чая. Вдруг слышу возглас Д. М-ча (державшего бутылку в руках). «Петр! (так он меня звал) знаешь ли, в этой бутылке сколько добра и зла?» — «Нет, не знаю». — «Попробуй, может и узнаешь». С этими словами он влил мне чего-то в чашку.

Спрашиваю: что это?

— «Французея! Покуда мы с тобой, учись, друг, познавать добро и зло: ты юноша неопытный, — мне хочется тебя помуштровать. Пей». — Я попробовал и поморщился.

М. был немного близорук, устремил взгляд на меня и спрашивал: что? — Невкусно, говорю. «Вот видишь, — продолжал он, — подольешь в меру — добро; перельешь лишнее — будет зло, и будешь пьян; я чай, тебя учили не упиваться вином, в нем же есть блуд; пьяный человек никуда не годится, готов на всякое зло и неспособен ни на какое добро, — помни это, друг Петр; а чашку-то дай мне, я ее допью».

Этот почтенный человек во весь поход наблюдал за мной, вразумлял меня и действительно любил; я тогда привык к нему как к охранителю моему и благодетелю, посланному мне свыше: тогда я уважал его, а теперь вспоминаю с благоговением, как о личности добродетельной; да и офицеры всего корпуса уважали его. После чаю опять послышалась его команда и тому же Фадею: ужинать, Фадей! — Увидев, что поданы в кастрюле щи, я удивился, как успели так скоро сварить их, и узнал, что их сварили еще в Инсаре, разлили в бурачки и из одного замерзлого теперь разогрели. За щами подали жареную индейку, а перед столом принесена была бутыль, обшитая войлоком, из которой Мещеринов налил мне

в рюмку что-то густое. «Ну-ка, Петр, попробуй и этого!» Я глотнул полрюмки, — это был ерофеич, но густой, как постное масло: от морозу водянистые части замерзли и не выливались из бутылки, а спирт сгустился; следовательно, вместо полрюмки хватил целую, что во время ужина в теплой избе меня порядочно разобрало. Я лег спать на передней лавке, все прочие тоже разложились и заснули.

Через час меня будит мой Родион Михайлович. Я просыпаюсь, смотрю и не верю себе: передо мною стоит следователь ратников, Николай Николаевич Муравьев; выехав из Инсара, он долго плутал в погоду и, попав в селение, устремился на первый огонь в окне; ему сказали, что тут стоят офицеры, поэтому он и вошел. Поздоровавшись со мной, он запретил будить товарищей и самому приказал ложиться и спать, просил только для себя чаю и, если есть, рому. Я не послушался его, сам сделал чай, добыл ром, а между тем полковник влез на печь, туда ему Родион и подал чай; согревшись, он настоял, чтоб я спать ложился, а когда мы проснулись, то его уже не было: он поехал далее.

Поутру ударили сбор: надо было сделать перекличку. Каково же было мое удивление и замешательство, когда ратников оказалось в роте лишь наполовину, а вместо недоставших были из других рот.

Что можно было подумать: действительно ли мои заночевали в других ротах, или некоторые бежали; но делать было нечего. Отойдя от квартир верст восемь, на переходе, когда весь полк соединился ротами, полковник остановил полк на привал, приказал ратникам перейти каждому в свою роту и ротным командирам сделать перекличку по спискам: к счастью, все оказались налицо, и известно бежавших не было.

Так начался поход и продолжался переходами верст 20–25 в день, под прикрытием башкир, которые своими грубыми, дикоазиятскими выходками много забавляли нас; шутки их с ратниками производили много смеху. Я не любил ехать в санях или верхом, как многие делали из офицеров, но всегда шел перед полком вместе с музыкантами и песельниками. Стараньем полкового адъютанта Дмитрия Яковлевича Федорова и батальонного Ивана Тимофеевича Шишкина был сформирован порядочный хор песельников; главную роль играл запевало Журавлев, не помню из чьего имения принятый, но бывший женским портным — прегорький пьяница; но дискант имел такой, какого я не слыхивал — звонкий, чистый, как колокольчик. Никогда не забуду, как разливался он соловьем, где-нибудь в уединенной роще. Любимые его песни были: «О чем ты, Маша, плачешь?» и другая — «Пролегала тут дорожка» — обе заунывные песни хватали прямо за сердце.

Маршрут наш лежал на Чембар, Тамбов, Курск, Киев. Этот последний особенно заинтересовал нас своим населением, состоявшим из малороссиян, их языком, образом жизни и избами, более опрятными, чем у наших русских. В 30 верстах от Киева остановились мы на контонир-квартирах за весеннею распутицей: в моей квартире была хозяйская дочь, хорошенькая и веселенькая; иногда я мешал ее работам, и когда, бывало, ущипнешь ее, не получа удовлетворительного ответа, то она сердилась, говоря: отчепысь, смурый огняной. Чтобы объяснить это выражение, я должен напомнить, что офицеры всех полков вышли в поход в серых казакинах, с зелеными воротниками; потом начальство признало полезным сделать различие между полков цветом воротников: для этого полковой командир отправил меня в Киев, куда прибыв, явился я к корпусному командиру, графу Толстому, и он приказал серый цвет заменить черным, с воротником и лампасами на брюках ранжевого цвета, а кивер иметь четырехугольный, в вышину фуражки, с ранжевым же околышем.

По этой форме сделав мундир, явился я на смотр к графу Толстому, который и одобрил ее; после чего я опять отправился к полковому командиру, а отсюда в свою роту, в село Рогозово, помещицы Елизаветы Степановны Сулима, пожилой женщины, ласкавшей меня матерински. Простояв тут еще недели три, пока продолжалась распутица, по случаю переходного времени с зимы на лето, мы выступили в поход, под звуками барабанов и песнями соловьев и жаворонков, между которыми солировал и пьяный Журавлев, приложив правую руку к уху. На этом походе занемог мой добрый благодетель и наставник, Дмитрий Михайлович Мещеринов: горячка в две недели сокрушила его крепкую натуру; он умер на дневке, и я с братом его, Егором, почетно и с честью предали его земле; впрочем, теперь уже не помню место, где похоронено его тело — кажется, недалеко от Владимира на Буге.

Походная жизнь моя в это счастливое время текла беззаботно; неприхотливая пища, какая где случится, сон тихий, сладкий и безмятежный поддерживали мое здоровье. Перейдя границы герцогства Варшавского, мы нашли здесь другую местность, других людей, другие условия быта: если встречали где радушный прием, то он был как бы контрабандой; все опасались, что Наполеон опять воротится в Польшу и москалей выгонит. Не так решила, однако, судьба. Быстро двинули нас в Силезию, чрез час прусских владений. В Богемии мы простояли с неделю на бивуаках, упражняя во все время ратников учением стрельбою в цель; к сожалению, ружья тульской работы, бракованные, были совершенно неудовлетворительны: замки к ложам, вместо привинтки шурупом, заколачивались деревянными шпильками и привязывались веревочками. Во 2-м полку случилась такая история: дежурный по полку, прапорщик Владыкин, шепелявый на язык, с присвистом, пришел с рапортом к полковнику Дмитриеву, который был в походе с женой; кроме нее были тут и гости. Владыкин отрапортовал, что по полку все обстоит благополучно, только такой-то роты ратник, стреляя в цель, подстрелил Гермалика (то есть, как думал Владыкин, Гермаль — человек, а Гермалик — человечек, мальчик); этим развеселил он всю компанию, а Дмитриев заплатил отцу немчика за лекарства.

В одну ночь моего дежурства по полку произошла тревога во всем лагере. Тревога эта так была сильна, что М., второпях надев брюки без жилета и мундира, сел на лошадь, — после уже ординарец подал ему шинель. Нас взбарабошили башкиры, которые содержали конную цепь перед лагерем. А дело было вот в чем: ночью австрийский, нам уже союзный конный полк, переменял позицию; как скоро показалась голова полка, башкирский часовой хватил из винтовки, а за ним и другой, и пошла потеха; кричат: неприятель, неприятель; а никому в голову не придет, что неприятель целым полком с неба еще ни разу не па-

дал, а сосредоточил свои силы под Дрезденом; там его снова наши разбили, и в это самое время, как говорили, был убит в нашей главной армии генерал Моро, а Наполеон удрал какую-то хитрую штуку, так что Дрезден опять был оставлен нашими войсками, преследовавшими главную французскую армию к Лейпцигу.

Наполеон посадил в Дрездене маршала Сен-Сира с тридцатитысячным гарнизоном: на него-то наш корпус и назначили в блокаду, расположив наши войска биваками, вокруг крепости. Тут в первый раз довелось нам попробовать недостаток продовольствия — все и везде главными армиями — неприятельской и нашей — было опустошено и забрано; фуражировки были бесплодные, маркитанты редки и бедны, хлеб в фунт весу платился по талеру. К счастью нашему, как-то спаслись от всеобщего истребления десятин десять капусты и картофелю. Здесь заметили зайцев, ловля которых была для нас потехою: человек тридцать ратников, окружив это место, сходились к центру и таким образом ловили зайца три, четыре, между тем французы с цепи пускали в ловцов пули; поэтому нашу охоту запретили.

В один день, перед сумерками, выпросился я на фуражировку, на мызу, между нашей цепью форпостов и французской. В крестьянской избе я нашел мешок муки, кадочку побольше ведра шинкованной квашеной капусты и кувшин постного масла; забрав эту провизию, я отправился назад и отошел шагов с пятьдесят, как вдруг услыхал блеяние козла или барана; хотел опять воротиться, но отложил эту добычу до завтра. Когда пришел я в лагерь, то капусту разделили между офицерами полка, а из муки в постном масле начали жарить лепешки, и это казалось вкусным: офицеры ели горячие лепешки и прихваливали. На другой день отправились мы на ту же мызу, на поиск барана, долго шарили и шныряли по углам скотного двора, наконец, в стойле конюшни находим привязанную лошадь и козленка. Так как кормить лошадь было нечем, то воспользовались только козленком; но когда мы возвратились в лагерь, то по нашему рассказу о лошади вызвался поручик Иванов, бывший из даточных солдат и выслужившийся на Кавказе еще при генерале Цицианове, отправился добывать ее и благополучно приобрел (это была темно-гнедая кобылка, трех лет) и воротился, повторяя по-немецки и грузински: «их данке — батона».

На следующее утро зарезанного козленка разделили в роте, а часть отослали к полковнику. Из моей доли Родион Михайлович вздумал было сварить щи, но эти щи, незаквашенные, без соли и без хлеба, причинили мне страшные колики. Родион Михайлович велел мне лечь на спину и начал мять мне полегоньку живот, словом, поступил со мною так, как часто обращаются с лошадью, которая валяется, одержимая чемером: к счастью, операция эта удовлетворила моего почтенного лекаря, я освободился от колик, в особенности, когда напился чаю с ромом; чай этот только что был получен мною из России, чрез нашего генерала Алексеева, которому вручила его матушка вместе с деньгами: из четырех фунтов два остались за нами, а два пошли в подарок и раздел между офицерами, как драгоценная редкость за границей.

1-го октября, после наступательных действий против неприятеля, был обложен нашим корпусом (графа Толстого) Дрезден;

2 и 3 числа были поиски фуражировок, о которых я упомянул выше.

4-го октября, в ночь на 5-е, я наряжен был в караул на форпост, в королевский сад, где был большой каменный дом, окруженный с трех сторон фруктовыми деревьями, между коими были изредка огромные липы.

Он обнесен каменной стеной, которая со стороны крепости имела несколько проломов от пушечных ядер; их-то мне приказано было оберегать ночью. Сменившись с ротою Нейшлотского полка, я расставил часовых. Ночь прошла благополучно; но 5-го октября, чуть стало светать, мы заметили в воротах города, в расстоянии от нашей цепи сажен на 250, какое-то движение; минут через двадцать послышался пушечный выстрел с неприятельской батареи, потом другой и третий. Стали всматриваться — неприятельская конница скакала уже на нашу пешую артиллерию, в центре нашего лагеря; я стоял против пролома в стене, против меня выдвинулась колонна пехоты со стрелками впереди. Вдруг колонна эта раздвоилась, раздались выстрелы из двух орудий, и ядра, пролетев над нашими головами, попали в липы, коих сучья с шумом посыпались на нас, — французы лезли уже в проломы; но наш крик «ура» и выставленные пики с штыками остановили наступающих.

Так как положение местности было покато к городу, а за нашим лагерем возвышена версты на две, то действие войск было нам ясно видно, как наших, так и неприятельских; весь наш левый фланг круто завернулся назад, центр тоже далеко был сбит с места, и там, где бивакировал наш полк, неслись неприятельские кирасиры. Видя все это, я не получал однако ж ни от кого никакого приказания, наконец явился наш батальонный командир, майор Андреянов; я спрашиваю у него приказания, он вместо ответа говорит: «Шувалова взяли в плен» (офицер 1-го полка, саранский помещик); в эту минуту из неприятельских орудий пустили в пролом уже картечью; все, однако, мы остались целы, кроме одного барабанщика.

После сего бесполезно было держаться в саду — мы стали отступать, и конечно, в беспорядке; к тому же, при переходе через какой-то овраг, завязло орудие нашей конной артиллерии, и мы должны были его вытаскивать. Тут встретил меня наш дежурный майор Новиков, приказал мне остановиться и собирать солдат каких бы полков ни было; но можно вообразить, в какой мере могло быть исполнено это приказание, когда никто своих не видел; наконец выстрелы почти совсем прекратились, и мы потащились сами не зная куда, однако ж попали в город Ауссиг. Это было уже ночью; тут произошла суматоха своего рода: одни кричали: «третий полк сюда, там нейшлотцы; сюда 43-й егерский» и так далее, всякий выкликал своих, время же было холодное, осеннее с дождем, грязь размятая, чуть не по колено. Проведя ночь без пищи, без квартиры и сна, мы с радостью приветствовали наступившее утро и получили дислокацию куда кому идти. Между тем неприятель, осмотрев занятые им селения, нашел здесь, конечно, мало поживы.

Через несколько дней — не помню, через сколько именно, нас повели опять против Дрездена, и так или иначе, но, после перестрелки 17 октября, неприятель втеснен был опять в город, и недели через две или три гарнизон, в количестве, как говорили старшие,

тридцати тысяч человек, сдался. При этом войска наши были выстроены перед городскими воротами в шпалеры, а позади нас стояли резервы в колоннах. Отворились городские ворота, из них неприятельские войска должны были выходить. Перед этим они останавливались рядами против нас и складывали ружья в козлы. Некоторым французским солдатам явно было досадно; вместо того, чтобы поставить ружья, они били прикладами в землю, как дубиной, и этим много поломали ружей, пока не остановили их офицеры; сдача продолжалась часов восемь. Когда безоружные отошли на некоторое отдаление, однако ж, под конвоем наших войск, в город ввели наши полки и регулярными войсками заняли караул. По размещении на квартирах мы кинулись по ресторациям в намерении утолить голод; но не тут-то было: все было опустошено, и мы убедились, что голод заставил маршала Сен-Сира сдать гарнизон и город, в котором начинали уже свирепствовать и болезни. Большая была наша радость, когда объявили полкам выйти в окрестные селения.

В Дрездене наше ополчение сложило пики и негодные тульские ружья, а вместо их приняло ружья французские, с ореховыми ложами и медными полками, те самые, которые неприятель сложил при оставлении города; тут же взята реквизиция сукном темно-зеленым, из которого пошили на ратников, вместо казакинов, мундиры с красными воротниками, по форме общей армейской. Эта обмундировка дала вид нашему полку уже регулярной пехоты, тем более, что и по учению и по выправке людей мы были уже, по времени, старее некоторых армейских полков, комплектовавшихся после нашей формировки.

Около двух недель простояв на квартирах под Дрезденом, мы выступили в поход под Магдебург, гарнизон которого тоже нуждался в продовольствии и почти каждый день делал вылазки по селениям, еще не так опустошенным. Здесь с 24 декабря я опять был в аванпостном деле: сначала неприятель оттеснил нас, но вскоре пришедшее подкрепление заставило его воротиться в крепость.

Из-под Магдебурга выступили мы в поход под Гамбург. Зная, что ни за дрезденские, ни за магдебургские дела наши полки не были представлены к наградам, мне очень хотелось заслужить что-либо, поэтому я чрезвычайно радовался, когда нарядили меня на форпосты перед гамбургской крепостью со стороны Отендорфа, где я и отстоял мой срок в карауле; к сожалению, ничего с неприятелем не было; пришел на смену меня от нашего полка мой брат, я упросил его воротиться, а с его людьми остался в карауле; но и этот срок прошел даром; поэтому, когда опять пришел офицер нашего батальона на смену меня, то я и его упросил воротиться и остался вместо него. Это заметил подполковник Лутковский, который командовал нашими форпостами и полагал, что меня за какую-нибудь вину не сменяют; но я ему объяснил причину, что он весьма одобрил. Наконец на другой день, 28 января, открылась перестрелка: я бегал по цепи как неистовый; мне хотелось ближе подвинуться к неприятельским стрелкам, чтобы кинуться на штыки, и конечно, в одном азарте, не имея ничего верного на выигрыш; однако в эту экспедицию было взято неприятельское орудие егерями 43 полка и, как говорили, до двух сот пленных. Подполковник Лутковский, по прекращении перестрелки, представлял меня генерал-майору Булатову, а командир конного казачьего полка ополчения нашего, князь Василий Сергеевич Голицын, рекомендовал меня генерал-лейтенанту Чаплицу, почему за экспедицию 28 числа я был награжден орденом святой Анны 3 класса.

5 февраля ночью нас свели в экспедицию между Гамбургом и Гарбургом — по льду на Эльбе, для того, как говорили, чтоб захватить неприятельские караулы и пушки, расположенные на гамбургском мосту; но на Эльбе лед был еще так тонок, что к нам, передовым войскам, выступила вода; поэтому наш отряд, после непродолжительной перестрелки, воротился, не выполнив своего назначения; вслед засим наш полк перевели на другую сторону Эльбы под Гамбург. Здесь мы простояли до окончания компании, когда получено было об этом известие графом Бенингсеном, главнокомандующим польской нашей армией, у коего находился наш корпус графа Толстого под Гамбургом. Граф Бенингсен приказал выставить на форпосте, на белом флаге, вензель французского короля Людовика Восемнадцатого, а в ответ на это маршал Даву, командовавший гарнизоном в Гамбурге, будто бы приказал против флага выставить нарисованную на полотне виселицу; всей этой проделки я сам не видал, но слышал такой рассказ в кругу нескольких офицеров.

Так прекратились военные действия, а с ними уменьшилась и наша служебная забота, водворилась надежда скорого возвращения в Россию. Французский гарнизон, получив официальный приказ из Парижа, вышел из Гамбурга восвояси, а наши войска частью заняли город, а остальные расположили в окрестностях Гамбурга на просторные квартиры, и как службы уже почти не было, в особенности нам, ополченцам, кроме караулов, то я из деревни выпросился у полкового командира и поехал в Гамбург пожить. Мне, однако, здесь не понравилось, да и запрещено было частно жить офицерам, дабы не обременять города квартирами. Поэтому я переехал в Альтону, где и нанял квартиру (в улице Клейнберг-штрассе) у сахаровара, который отвел мне хорошую комнату и обходился со мною, как с дорогим гостем, в особенности молодая его жена, красавица блондинка. В этом семействе я с удовольствием проводил время; хозяева часто смеялись моему неправильному выговору немецких слов, ибо дома я не учился этому языку, но в Германии должен был им заняться и достиг того, что хотя неправильно, но мог на нем свободно объясняться и меня хорошо понимали.

Из Альтоны мне нужно было съездить к князю Василию Сергеевичу Голицыну, на ту сторону Эльбы, в местечко Букстеуде. Я поехал чрез Гамбург, мостом, и оттуда нанял форшпан. Не найдя Голицына в Букстеуде, возвращался назад, но он сам меня встретил на берегу Эльбы в гостинице. Время было ненастное, и дул сильный холодный ветер. За стаканом пуншу мы переговорили, что нужно. Голицын поехал к родственнику своему генералу Шепелеву, а мне хозяин посоветовал вместо форшпана нанять лодку, и вместо того, чтобы колесить дальний объезд, переправиться через Эльбу и выйти в Отензен, близ Альтоны.

Я знал Отензен, где мы, русские, собирались почти ежедневно в трактире у Рамвиля. Поэтому совет хозяина был охотно мною принят, но на берегу немец

лодочник, к которому я обратился, убеждал меня погодить немного, указывая на птиц, летавших над водой, догадываясь, что настанет буря. Быв немного после пунша навеселе, я настоятельно стал требовать перевоза; старик спросил меня, умею ли я плавать, и когда я ответил «нет», сказал «нихт гут», положил весло в привязанную лодку, а сам отправился; я думал, что он скроется от меня, вместо того он привел молодого дюжего парня и велел меня перевозить; так мы отчалили от берега, но не проплыли и третьей части реки, как усилившийся ветер взволновал реку, по которой плавают большие корабли, так что бедную нашу лодку начало кидать, как ореховую скорлупу. Лодочник тотчас прибрал парус и сел позади меня так плотно, что ногами своими обнял мои ноги. Я спрашиваю его: зачем? Неравно, отвечал он, потрусите и закачаете лодку. Действительно, заплывши за середину реки, я струхнул так, что и хмель пропал, и сидел у лодочника как в тисках, ни жив, ни мертв. Страх был, однако, напрасный: мы благополучно добрались до берега, у самого Отензена.

На квартире я нашел записку от полкового командира, что он будет ко мне на двое суток. В назначенное время он действительно приехал и привез с собой полкового адъютанта Федорова. Приезд их случился в счастливое для меня время по игре: я был в выигрыше в фортунку червонцев до трехсот; проигравшись после того, я все еще удержал с сотню, на которую мы втроем и четвертый Марков прожили весело два дня. Расставшись с друзьями, я недели две пробыл еще в Альтоне, посещая и Гамбург, и Отензен: в последнем была игра в банк и фортунку — метали немцы, немцы же держали и фортунку, по червонцу и по два; я почти всякий день проигрывал, но как-то разом выиграл до трехсот червонцев. В этот день, мне казалось, не было человека богаче меня в мире; сейчас же явились и просители-приятели; дав двум из них взаймы тридцать пять червонцев, я до сих пор не получал их в уплату.

Наконец получен приказ по полкам выступить в поход в Россию. Обжившись на чужбине и сойдясь с людьми, прежде вовсе незнакомыми, но приятными, и зная, что уже более не придется видеть ни Эльбы, с ее кораблями, ни Гамбурга, с его народною кипучею деятельностью и торговлею, ни Отензена. где я выигрывал золото, хотя вслед за тем оно и спускалось, ни Энглиш-гартена, — я не мог не пожалеть всего этого, но все-таки привязанность к родине сильно влекла меня домой. В Россию мы тронулись уже дисциплинированные, стройно делая переходы не очень большие. Надежда увидеть милых сердцу, по двухлетнем отсутствии, одушевляла нас, а великолепная природа, с которою мы расставались, прекрасно обработанные поля, мимо которых мы проходили, приветливые хозяева квартир, благословлявшие наш путь — все это располагало нас к самым приятным ощущениям.

Вспоминая об этом походе, я как теперь вижу небольшие лоскуты земли, по возможности правильной формы, обсаженные кустарником, непроходимым ни для кур, ни для поросят; лоскуты эти были засеяны и запаханы тщательно; веселые немочки убирали с них серпами хлеб, а там, где уже снопы были свезены, загоняли для пастбища коров, которые и ночевали здесь, и тут же доили их девушки и женщины, так как все эти поля находились лишь в нескольких саженях от домов, где жили земледельцы. Отправляясь иногда с квартир пошутить с немочками, посмотреть, как они доят коров и т. п., я сделал замечание насчет уборки у них молока, которая мне очень понравилась: они сливают его из дойниц не в горшки, как у нас, а в деревянные шаечки, величиною поларшина в диаметре и вершка в четыре вышины; к верху против дна они немного сужены, так что удобно ставить одну на другую штук по десяти колонной; их помещают в особой комнате в чистом воздухе или в сенях в большом шкапе. От широкого разлива молока в шаечках скорее и лучше отстаиваются сливки. Я заметил также машинки для сбивания чухонского масла, соломорезки для корма скотины, колеса с ножами для резки капусты, картофеля и репы, чтоб тоже кормить скотину; этим т. е. машинкам я сделал рисунки, по которым впоследствии ввел их у себя в хозяйстве.

Одного не удалось мне ввести у себя в употребление — это пастьбу свиней. В Германии им надевают на голову намордники с шпильками или гвоздями, так что гвозди или шпильки направлены животному в ноздри, что препятствует ему рыть и портить луга; также, чтобы перегнать даже небольшое стадо свиней из одной местности в другую, например, свиней двадцать, у нас посылают двух человек, да еще иногда про запас с лошадью, между тем как в Германии из двадцати свиней к каждой за заднюю ногу привязана веревочка; концы этих веревок соединены вместе и связаны в виде палки, которую один мальчик держит в левой руке и таким образом направляет их, имея в правой руке кнут, куда желает.

Из прочих предметов мне понравилась отделка рабочих орудий и инструментов: плуга, бороны и проч., вследствие чего они в работе идут верно, да и легко их двигать лошадям, которые, впрочем, вообще рослы, так что почти каждая годится в каретную упряжку. Огороды и сады превосходно распределены и возделаны: каждое деревцо, обрытое и ухоленное хозяином, растет весело; его не беспокоит, конечно, соседская корова или жеребенок, а плоды не поворуют деревенские мальчики и жители: Боже сохрани от такого преступления. Мне случилось квартировать на конце деревни против кирхи; около нее кругом была небольшая площадь, обсаженная вместо загородки колючим кустарником крыжовника, а за кирхой жил пастор; на этой площадке были посажены смородина, малина и черешня: из деревни мальчики и девочки ежедневно ходили к пастору в школу учиться и, несмотря на то, что на кустах и деревьях красовались спелые плоды, дети никогда не соблазнялись сорвать ни ягодки — так наблюдается здесь и вводится в привычку терпение, благонравие и уважение к чужой собственности. К сожалению, нельзя было сказать того же о наших русских, уже видевших и знавших эти условия. Так, случилось нам проходить одним селением, где на улице перед каждым домом были посажены черешневые деревья, что составляло прелестную аллею и притом с спелыми розовыми плодами; наши солдаты накинулись, как дикие, на ягоды и стали даже обламывать самые ветви; конечно, их остановили; но между тем, порча произведена была значительная и, вероятно, хозяева нам спасибо за это не сказали.

Продолжая поход, пришли мы под Берлин, но как на него наш маршрут не указывал, то мы должны

были обходить его; поэтому я с братом выпросился у полкового командира посмотреть город. В полтора суток, которые мы пробыли здесь, при отсутствии наблюдательности, мы, конечно, не могли здесь многим воспользоваться, да и все, что мы тогда здесь видели, как сон теперь исчезло из памяти. Из-под Берлина направились мы к Варшаве. Несмотря на запрещение отлучаться из полков в город, я с братом опять выпросился; мы переоделись в партикулярное платье: я надел на себя венгерскую куртку, обложенную черной мерлушкой, и как время было жаркое, то она меня крайне утомила. На разводе литовского полка я в первый раз видел его высочество Константина Павловича; но тут узнал меня генерал-майор Друцкой, при котором я был у генерала Чаплица с письмом от князя Голицына; проходя мимо меня, он сказал мне вполголоса: «Удалитесь, запрещено приезжать в Варшаву». Взяв за руку брата и не говоря ни слова, я поспешил на квартиру, и, переночевав, мы отправились в полк. Варшава большой город, но не понравилась мне.

Вообще в герцогстве Варшавском жители всех классов встречали нас не так, как на походе в Германию; тогда глядели косо, бывало ничего не допросишься, ничего не купишь, все ответы были нехотя, не только не радушны, но видимо неприязненны; теперь, на возвратном пути, явно все изменилось, или, по крайней мере, наружность была приветлива, предупредительна, чему мы, конечно, не могли вполне верить и невольно иногда смеялись вежливости, доходившей даже до излишества; заметно было, что поляки учуяли перемену в политике и разочаровались в обещаниях Наполеона.

Вступив в Белосток, мы уже были в границах России.

Из Могилева на Днепре корпус ополчения разделился по маршрутам прямейшими направлениями полков, каждого к своей губернии. В это время получен был высочайший приказ, что офицеры, находившиеся в ополчении и желающие продолжать военную службу, могут вступить в армейские полки теми же чинами, в коих состояли по ополчению, на что назначался полугодичный срок; остающиеся же вне службы офицеры удерживали за собою право носить те мундиры, которые были им впоследствии присвоены. Так как в нашем полку был опробован начальством ополченский казакин черного сукна, впоследствии же под Дрезденом нам присвоена форма общего армейского мундира (в нем мы закончили и компанию), то было неизвестно, на какую из двух форм мы имеем положительное право, и этот вопрос остался доселе неразрешенным, — никто об этом серьезно не заботился и официально не спрашивал.

К концу зимы мы добрались и до великороссийских изб, со всеми их национальными принадлежностями. Я испытал на себе вполне слова поэта, что и дым отечественный сладок. Действительно, русская печь, щи, квас — все это было близко к сердцу, как родное, и приятно, особенно обрадовались мы блинам в Моршанске, которых, не видав так долго, я едва не объелся. Из Моршанска я выпросился у полковника ехать вперед в Пензу; сборы, разумеется, были самые проворные, но на беду случилась задержка другого рода. Офицер ополчения конного полка Евреинов напросился ко мне, чтоб я его взял с собою; я дал ему слово, но он целые сутки продержал меня, — у него не было на дорогу денег, он искал занять, но не нашел и сказал мне это уже тогда, как отъехали половину станции: нечего было делать, пришлось его и везти, и кормить в дороге на свой счет; но путь был уже недалек, и Бог помог совершить его благополучно, несмотря на то, что было уже последнее зимнее время.

Подъезжая к Пензе, первое, что я увидел, была соборная колокольня; я перекрестился, и сердце забилось от восхищения, мечта о домашнем счастии сладко на меня повеяла и манила меня скорей, скорей домой, в объятия матушки и сестры; нетерпеливо требовал я от ямщика, чтобы он погонял усталых уже лошадей; наконец въехал на двор и вошел в дом, весь забрызганный грязью. В зале меня встретила моя меньшая сестра (старшая жила уже в Саратове); поздоровавшись с ней, я побежал, как безумный в комнату матушки: радость видеть ее живой, мысль, что по-прежнему буду пользоваться ее нежностью и ласками, наполняла меня счастием; расспросы с обеих сторон оставались почти без ответа; главное — матушка желала знать о брате моем, где он; а он выехал из полка ранее меня двумя днями, так как обоих нас вместе полковник не мог отпустить, чтоб тем не огорчить других офицеров, которым отказал в отпуске, а брат, ехав проселочными дорогами, много потерпел остановок за лошадьми и приехал уже в Пензу на другой день после меня.

Долго матушка не доверяла мне о здоровье брата, ее фаворита, но, наконец, мои уверения ее успокоили. Приехав в одиннадцатом часу утра и едва успев умыться с дороги, я должен был сесть обедать, и как вкусны показались мне родительские щи и каша! Тотчас после обеда начали приезжать к матушке гости с поздравлением, по случаю возвращения сына; из них некоторые прибыли в Пензу на житье во время моего отсутствия, и потому я должен был им рекомендоваться. Так прошел этот день. На другой мне следовало явиться к пензенским властям, — к губернатору, бывшему моему начальнику Голицыну, от него к вице-губернатору Евреинову [25] и к батальонному командиру Водопьянову; везде, после ласковых приемов, происходили длинные расспросы, где я был в сражении, где их знакомые, и наконец, о разных подробностях заграничных, так что более т. е. домов посетить я не успел и в два часа воротился к себе; но матушка, узнав, что я был только в трех домах, сказала мне, что я должен сделать непременно визит Мавре Петровне Вигель; она была ей добрая приятельница; почему на другой день в 12 часов я отправился к ней.

После доклада обо мне, минут через пять, меня пригласили в гостиную, где меня встретила брюнетка в голубом шлафоре, с персиковыми щечками, черными глазами, длинными ресницами и не совсем законченным убором головы, высокого роста, довольно грациозная. Девушка эта до того поразила меня, что я затруднился сказать о себе; к счастью, она знала кто я и ласковым приемом дала мне возможность поправиться. Минут через десять две горничные ввели старушку Мавру Петровну, я представился и ей; начались опять расспросы; но меня почему-то тянуло с разговором к встретившей меня девице, которая оказалась дочерью Мавры Петровны — Александра Филипповна [26].

Обе они, кажется, заметили это и улыбались моей наивности. От них я поехал еще с визитами, но у кого

ни был, везде мне представлялась брюнетка в голубом платье; я не понимал первого впечатления или, лучше сказать, не доверял ему; но вот прошла целая неделя (это была 3-я великого поста) и мечта меня не оставляла, так что, встретившись с девицей Вигель, я откровенно сказал ей об этом и заметил, что моя откровенность приятно ее удивила. Наступила пасха; во время заутрени я был подле нее, но долго затруднялся, как разделить с ней обычай праздника, наконец, решился с ней похристосоваться; этот случай еще более остановил на ней мое внимание.

Между тем, при роспуске ополчения, как я уже сказал, был объявлен приказ, которым дозволялось вступать теми же чинами в армию в полугодичный срок. В чаду развлечения и удовольствий прошел для меня незаметно этот срок. Матушка советовала мне вступить в гражданскую службу, однако я послал просьбу к военному министру о помещении меня в Павловский гренадерский полк, который в это время был присоединен к гвардии. Военный министр через пензенского губернатора отказал мне, на том основании, что я пропустил срок и что полк присоединен к гвардии. Я послал вторичную просьбу, приложил свидетельство о болезни, по которой не мог выслать его ранее, и прибавил, что прошу определения на службу как царской милости, так как за сражения под Дрезденом и Магдебургом не получил никакой награды; но и на эту просьбу последовал отказ.

Тогда я подумал, что, видно, не судьба продолжать мне службу, и стал искать другого рода жизни; брюнетка в голубом платье предстала предо мной с новой силой, я познакомился с ней ближе, но когда стал спрашивать мнения матушки, то получил от нее ответ, что я молод еще жениться, что девушка старее меня, что она подвержена болезненным припадкам и т. п.; но все эти резоны были слабы уничтожить во мне влечение. К счастию, я обратился к моей старшей сестре: ее участие решило дело в семейном совете в мою пользу. Не откладывая вдаль, я сделал предложение, в подкрепление которого доставил выпрошенное мною письмо от матушки. После продолжительного раздумья Мавра Петровна, наконец, согласилась. Оставалось готовиться к свадьбе, но тут явилось важное препятствие: у меня недоставало денег, которые были необходимы для свадьбы и для обзаведения хозяйством в семейном быту. Заем десяти тысяч рублей ассигнациями по 10 процентов удовлетворил вполне моим требованиям. Свадьба состоялась без всякой роскоши, в селе Лебедевке, Пензенского уезда, откуда мы тотчас поехали к матушке в деревню, а от нее к другим родным, и наконец, по удовлетворении требованиям обычая и этикета, приехали в родовую деревню, в которой дом был выстроен еще батюшкой, деревянный большой, принадлежавший мне вместе с братом. Дом этот мы разделили пополам, то есть распилили его поперек, и доставшейся мне половины оказалось для меня очень достаточно.

Зиму 1816 г. я прожил в Пензе, в нанятой квартире, очень приятно, а весною 1817 года надо было ехать в деревню и перестраивать дом. Но едва мы отправились, как получаем от тещи письмо, в котором она уведомляет, что едет в Киев на богомолье, и убедительно просит нас туда же ехать. Жена была рада этому вызову, не думая о возможности его исполнения. В самом деле, оставление хозяйства, которое заключалось в 125 душах, при посеве пятидесяти десятин в поле, по случаю недостатка земли, которой завладел у меня старший брат во время моего пребывания за границей; ничтожная выручка за продаваемый хлеб, которому цена была 25–30 копеек за пуд ассигнациями; расходы, требовавшие на перестройку дома и на поездку не менее 2000 рублей, ибо приходилось ехать в четвероместной карете (у нас родилась уже дочь, следовательно, надо было взять с собою кормилицу и горничную) — все эти соображения заставляли меня не желать поездки; но, как говорит пословица, «сила солому ломит», так было и со мной, и мы отправились в путь.

Под Киевом, в Броварах, с женою сделался в первый раз самый болезненный припадок. Надо сказать, что она не могла ни слышать о мертвых, ни видеть кладбища и траурной одежды, — все приводило ее в страшное волнение. Дорога в Броварах, по причине глубокого песка, пролегала объездом подле церкви, по могилам кладбища; ямщики, разумеется, не зная желаний проезжающих, въехали на примятые холмы могил, но жена пришла в жалкое состояние...

Пробыв в Киеве до начала сентября, мы возвратились в деревню, где меня встретило сердечное горе: бывший мой дядька, сопровождавший и оберегавший меня в походе, как друг и родственник, Родион Михайлович, которому я поручил управление имением и постройку дома в наше отсутствие, скончался от паралича. Кончина его сильно на меня подействовала, я впал даже в уныние, сознавая себя как бы сиротой, без подпоры. Усердие его было безгранично, равно как и внимание. Узнав характер жены моей, он наблюдал за ее спокойствием. Так, например, в ревизских сказках, которые она просматривала, в графах, где отмечаются убылые, он выдумал вместо слова умер, которое могло на нее неприятно подействовать, писать русскими словами: капут.

В хозяйстве я был совершенно нов и незнающ, но нечего было делать — принялся, как умел. Дом кое-как достроили, перешли в него жить, а между тем долг все увеличивался; по книге он значился выше двадцати тысяч ассигнациями. В это самое время старший брат, видя мое стесненное финансовое положение, приезжает ко мне, показывает пачку беленьких ассигнаций и предлагает купить у меня деревню. Я, конечно, отказал ему, и это было причиной раздражения его против меня, которое продолжалось двадцать лет, до самой его смерти. Но мое состояние вскоре поправилось. Матушка разочла передать нам свое имение и мне пожаловала в Кузнецком уезде 130 душ, впрочем, малоземельных, с песчаным грунтом и притом большею частью под дровяным лесом; крестьяне платили по пятнадцати рублей ассигнациями оброку с души.

Таким образом, у меня составилось около 250, да за женой было 50, но земли при всех имениях было очень мало, так что, несмотря на двадцать две тысячи долгу, я решился увеличить его чрез покупку земли. Для этого отправился в Саратов за советом к благодетельнице моей сестре; мне нужно было купить, по крайней мере, тысячу десятин; она мне сказала, что есть желающий продать, приехавший из Харькова, действительный статский советник Федор Кондратьевич барон Биберштейн. Земля, которую он продавал, была пожалована ему, но он хотел, за отделением от нее части, продать вместе весь

остальной участок, в котором было 3800 десятин; это меня озадачило, и я объявил, что не в силах по моим средствам сделать такую покупку. Подумав, барон обещался дать мне ответ завтра, и действительно, на другой день сам приехал ко мне и объявил мне, что согласен продать свою землю по восемнадцати рублей ассигнациями за десятину на следующих условиях: купить мне весь участок, с рассрочкой платежа на шесть лет, за указанные проценты, вносить притом следовавшую сумму по мере моей возможности, лишь бы в шестилетний срок уплатить весь капитал; при написании запродажной записи уплатить столько, сколько я могу, вперед же, до совершения купчей и окончательной уплаты, землю оставить у него в залог. Все эти условия (как я узнал после) он мне предложил после справки обо мне лично, с кем имеет дело.

Выслушав его предложения, я опять задумался и потом сказал: «Позвольте и мне сообразиться и завтра я буду у вас уже с решительным ответом». Посоветовавшись с сестрой и зятем и отслужив молебен великомученице Варваре, я согласился на условия Биберштейна и с 1200 руб. асс. решился на покупку участка в семьдесят тысяч, отчего мой долг, с прежними и процентами, возвысился до ста тысяч ассигнациями.

Это обязательство, принятое мною на себя, направило меня на хозяйственную деятельность, даже свыше моих сил, но нечего было делать. Двадцать шесть лет кряду я почти не выходил из коляски и тарантаса, объезжая мои поселки и хозяйства. Признаюсь, тогдашняя система хозяйства мне не нравилась; притом, видя людей, работавших на помещика в поте лица и за небрежность, иногда вовсе ненамеренную, при уборке хлеба подвергавшихся наказаниям, я не мог хладнокровно смотреть на их положение; по возвращении из-за границы я уже мечтал о том, как бы освободить крестьян, а землю оставить за собой; но это мое мнение было признано сумасбродным. После этого я публиковал имение к продаже, но и она не состоялась, и за сим я уже решился на описанную покупку земли. В промежуток времени мне удалось продать 1400 десятин, по двадцати пяти рублей за десятину, а на остальных 2400 десятинах я поселил сто душ, переведенных из Кузнецкого уезда; этим увеличился и составился у меня полный посев; когда же я продал клочок земли в селении Темашкове за полторы тысячи руб. ассигнациями и получил наследство после брата, то мое положение облегчилось — с помощью Божией я удержал за собою все остальное имение и в годичном обороте денег дефицита уже не было, несмотря на расходы по воспитанию детей и жизни в городе.

Возвращаюсь к воспоминанию о жизни в первые годы моей женитьбы. Летом я жил в деревне, а зимой в Пензе. Добрый город Пенза населен жителями радушными и гостеприимными. Высшее общество образованное и имеет независимое состояние. Старинных дворянских фамилий считалось здесь в то время до семидесяти, кроме приезжавших временно из уездов, а по окончании войны с французами это общество увеличилось возвратившимися из армии семейными офицерами, отставными и отпускными — они были представителями славы и доблести русского оружия в минувшую войну, да и без того тогдашнее общество было весело настроено: приглашения на балы и обеды не прекращались, и хотя во всяком провинциальном городе бывают всегда некоторые несогласия между партиями, которые были в Пензе, почему и здесь общество двоилось, но за всем тем залы и гостиные всегда были полны, так что в хорошем доме четыреста посетителей считалось делом обыкновенным. Хотя цены на все продукты были и невысоки, однако ж денег в руках было много; поэтому везде заметны были обилие и роскошь.

В промежутки балов и обедов бывали и публичные спектакли, в которых участвовали лица высшего сословия. Кроме того, в Пензе было три театра помещиков Горихвостова, Кожина и Гладкова — последний из них был худший, потому что все актеры были из крепостных людей; при театрах инструментальная музыка была у каждого своя. Независимо от этих оркестров, у некоторых были небольшие, для домашнего употребления (их можно насчитать до восьми); в губернии была еще духовая музыка помещика Кошкарева, которую по искусству игры называли знаменитою и даже европейскою — так была она хороша. Бывало, Кошкарев расположится приехать на зиму в Пензу и привезет с собою и музыкантов человек шестьдесят.

В числе увеселений и забав видное место занимали и карты, являлись охотники-игроки с полными карманами, но были и игроки удельщики: душа их знает, на верное ли они играли или нет, только денег много перешло в их карманы. Главным страдательным лицом был при этом Н... Продав имение в Сердобском уезде за двести тысяч ассигнациями, он приехал в Пензу и, за исключением двадцати пяти тысяч, выданных дочери в приданое, остальные все спустил в продолжение двух-трех месяцев, потом принялся за движимость — экипажи, лошади — и также проиграл их.

Однажды является ко мне на двор подвода — сани. Человек докладывает: «От Н.». Вышло вот что. Старушка жена несчастного игрока была хорошо знакома с моей женой. Видевши, что мужа обирают беспощадно, она собрала столовое и прочее серебро, уложила в белье и некоторые ценные вещи, заперла в сундук и прислала их ко мне под сохранение. Так Н. дошел до нищенского положения. Когда игра кончилась, нечего было уже выигрывать и игроки разъехались, то сундук был возвращен хозяйке, и она продала из него большую часть, тайно хранила у себя выручные деньжонки и с ними уехала из Пензы.

Как водится, около карт прилепляются и дела сердечные; так было и здесь: один отставной, высокого роста, добивался ответа от замужней женщины, делая вид, что ищет руки ее сестры, весьма скромной девушки. Какой-то зажига, маленький ростом, тщедушный, но отчаянный, кем-то подбитый, взялся обработать великана и обещался на первом бале сорвать перчатку с руки девушки в том убеждении, что великан, как трус, не вступится за девушку, и роль его разоблачится. Сказано и сделано: великан озлобился, начал хмуриться, видимо, забрало его за живое, ибо перчатка была брошена к нему, и наконец, вызвал зажигу в другую комнату. Последний догадался, что от него даром не отделается, в особенности, когда великан начал к нему приступать, что называется, к горлу, припрыгнул и хватил великана в рожу; этот начал его душить, а зажига кричит: «моя первая, моя первая!»

Вступление на престол императора Николая Павловича обещало пресечение множества зол, вкравшихся в наше управление и суд. Следствия и розыски навели ужас на грешных лихоимцев; так, один из них, опасаясь, чтобы все в прошлое время содеянные им грехи не открылись разом, придумал следующую штуку. Собрав все уличавшие его доказательства, как-то: подлинные судебные бумаги и акты, частную переписку о посулах и прочее, сбереженное в продолжении тридцати лет, — он вложил их в рогожный куль, запаковал бумаги овечьей шерстью и ночью отправил в свою деревню, верст за двадцать от города, приказав этот драгоценный куль утопить и втискать в озеро. Но над этим несчастным осуществилась подьяческая поговорка: умей брать, да умей и концы хоронить! или, видно, грех его попутал. Следователь, зорко наблюдавший за преступником, по дошедшим до него слухам, отправил дворянского заседателя в погоню за бумагами; заседатель по горячим следам расторопно все разведал и роковой куль достал с понятыми со дна озера и еще в мокром виде представил к следователям; а они, не принимая его к себе, отправили в градскую полицию. Здесь, в общем присутствии градских и уездных властей, куль был разобран, бумаги обсушены и сделана им опись; много из них было по делам уголовным; многих они огласили не теми честными судьями, как их разумели по службе; между прочим, найдено подлинное следствие виновного, в бытность его исправником, о том, что одна барыня засекла человека; следствие это отослали в подлежащий земский суд, а там оказалось другое его же следствие о том же человеке, что он по какому-то случаю бежал и хотел перелезть через плетень, попал на острый кол, пропорол живот и от того смерть приключилась. Дело подсудимого решено было тем, чтобы его, как отрешенного от должности, впредь никуда не определять и к выборам дворянским не допускать.

В это время в Саратове был губернатором действительный статский советник, князь Александр Борисович Голицын [27], образованный, честный, благонамеренный, сделавший много для Саратовской губернии освобождением ее от закоренелых взяточников. Между прочим, в Саратове источником обогащения местных промышленников служил соляной промысел с Елтонских озер; как было не черпать соли потихоньку за двадцать пять копеек ассигнациями за пуд, с тем, чтобы провезти ее в Саратов за такую же цену и продать на приезжающие подводы по рублю, тогда как в магазинах она продается около полутора рублей за пуд и то еще с песочком, а тут чистая. Этот промысел доставлял рубль на рубль барыша; как было не богатеть жителям от такого эльдорадо или своего рода Калифорнии! Как же озлобились промышленники-контрабандисты на А. Б. Голицина, когда он обратил на них свое внимание. По этому случаю рассказывали, между прочим, будто несколько барок, нагруженных корчемной солью, из страха попасться в плен, с просверленными днами канули на дно Волги и осолили живую рыбу, так что Сидор Карпович Сидоров с товарищами кушали уже стерляжью уху не соливши.

Но если Волга представляла торгующему сословию возможность так легко обогащаться, то и почтенные мужи, сидевшие в кабинетах, на мягких бархатах, в пуху и шелку, и разъезжавшие на колесницах, запряженных конями кровной породы, не совсем были свободны от нареканий. За многими из них, равно и за женами, как положительно было известно, не было недвижимого имения, разве уже под старость, в дар супруге, кой-кто земельку купил от тысячи до пяти тысяч десятин, этак, дескать, престарелым людям на спокой души и тела, а жалованья по службе получали они небольшие, так откуда же, спрашивала молва, достается им то, то другое. Так, об М. рассказывали следующий анекдот. Ко дню какого-то праздника он купил дорогую блестящую карету и приказал, по секрету от жены, запрячь её и подать к крыльцу; потом, когда супруга собралась идти пешком к обедне, сказал ей, что сам её проводит; но выйдя на крыльцо, она была поражена блеском кареты, хомутов и лошадей в лаксадах; ливрея на лакее вконец озадачила барыню. Почти насильно муж усадил ее в карету и отправил в поход шагом: жена, ни жива, ни мертва, сидела в разукрашенном экипаже, а муж пешком, сторонкой, следовал за ней и любовался своей проделкой. По окончании обедни он пригласил на пирог приятелей, а кучеру приказал проехать по улице мимо окон. «Ну, Фекла Филифонтьевна, какова посудинка-то?» — сказал он при этом своей супруге. — «Хороша, батюшка, хороша, не знаю, чем тебя и поблагодарить, сизинькой?» «Ну чем, матушка, гитарой», — так называли тогда в Саратове в среднем слою нынешних камелий [28].

Возвращаюсь к взяточникам. Я был так счастлив, что не имел сомнительных дел и не начинал никогда тяжб, а только отбивался от них, и то от одного старшего брата, а потому с меня взяток не спрашивали и я их не давал: недобросовестно было бы с моей стороны поклепать кого-либо; дело другое приказные: им всегда мы платим за труд.

Служба уездным предводителем подвергла меня неудовольствию некоторых помещиков в уезде: одни состояли на службе, другие намерены были поступить в нее, но как новые условия в отношении к служащим не совпадали с старым порядком, с привычками, с которыми надо было расставаться, то отсюда явилось на меня не только негодование, но пробудилась и месть. Так, один бывший заседатель расположился на городском выгоне в бахчевном шалаше, вблизи дороги, с ружьем, караулить моего проезда; но благородный и бескорыстный, хотя иногда хмельный исправник предупредил меня об этом, так как перед выходом в шалаш Ч. похвалился, что непременно меня убьет. Я версту лишнюю взял в сторону от дороги и миновал засады; видя неудачу, Ч. выстрелил на воздух. Но благомыслящие дворяне остались ко мне благосклонны.

По окончании этой службы, в 1832 и 1833 годах, Бог благословил меня окончить одно судебное дело, по притязаниям старшего брата, тяготившее мое родственное к нему чувство. По другому делу, относительно чрезполосного владения в Кузнецком уезде с разными посторонними дворянами, мне посчастливилось, благодаря моей настойчивости, согласить владельцев на полюбовный раздел земли к одним местам, о чем и была составлена полюбовная сказка, утвержденная кузнецким уездным судом. Окончание этих дел много меня успокоило, несмотря на принесенные мною жертвы, чтобы достигнуть желаемой цели. Впоследствии и по Сердобскому имению мне было удалось согласовать 28 здешних владельцев на раздел земли к одним местам: уже была составле-

на и подписана полюбовная сказка; но, за отсутствием моим, один из владельцев вынудил от некоторых из участвующих изменение, и это повело к неудовольствию и тяжбам, еще доселе не конченным, тогда как по моим предположениям устранялись всякие к тому поводы.

Среди хозяйственных забот подкралось и ко мне черное время: нервическая горячка с рецидивом разлучила меня с горячо любимою мною женою. Кончину ее и мое горестное положение я не буду описывать. К вам обращаюсь я, милые мои дети! [29] вы, хотя были еще малы, но горячо сочувствовали мне в безвременной потере нашего общего друга. Это обстоятельство и, впоследствии, возраст ваш и положение, в особенности вступление ваше в брак, указали моему чувству обеспечить вас в жизни семейной и вещественной; я передал вам все имение, бывшее в моих руках, стараясь, по равномерной любви моей к вам, уравновесить части, сколько мой рассудок представлял на то возможности; прошу вас не гневаться на меня, если раздел имения, мною сделанный, не вполне удовлетворил вашим видам, чего, впрочем, я доселе, к моему счастью, в вас не замечал; наконец, благодарю вас за поддержание моего существования: в нем я сознаю и чувствую полноту вашей детской любви и дружбы ко мне.

Устройством детей прекратилась моя деятельность по имению. За мною осталась одна обязанность гражданина — сохранить к обществу то отношение, в котором я доселе к нему находился, и если бы встретился случай быть ему полезным, то почел бы себя счастливым послужить ему по последним моим силам и крайнему моему разумению.

Припоминая прошлое, я невольно останавливаюсь перед тем, что успело совершиться в моем любезном отечестве в течение моей жизни. Сколько благотворных, счастливых перемен произвели время и усилия человека. Издание Свода Законов, развитие наук и промышленности, вступление в торговлю с новыми странами, улучшение путей сообщения, по примеру иностранцев, как морских, так и сухопутных, в особенности, проведение железных дорог и, наконец, освобождение крестьян от крепостного права — сколько великих событий, за которые остается только благодарить благое провидение, в ожидании еще будущих, уже начатых преобразований разных отраслей государственного управления.

Но крестьянский вопрос — вопрос целых веков, и я не могу пройти его одним мимолетным воспоминанием. Как приятно видеть подобных себе людей свободными, в полной воле располагать разумно своею личностью и своей собственностью, хотя, конечно, это сбудется вполне лишь со временем, когда крестьяне научатся уважать чужую собственность, научатся честно держать данное слово; будут избегать пьянства, в котором видели они высшее для себя наслаждение; вообще, когда они научатся понимать то состояние, в которое они поставлены. Без сомнения, в то время вознаградятся и жертвы, принесенные ныне помещиками для общего блага...

Среди размышлений о крестьянском деле я не мог не подумать о выкупе у помещиков земли, отходящей в пользование крестьян. В мою неученую старую голову запала мысль о том, что выкуп вполне возможен, и притом так, что можно обойтись без заграничного займа и, не касаясь оборотов и капиталов кредитных установлений. Я принял в соображение:

1) что крестьяне, получая от помещика по одной десятине пашни в поле на тягло, весьма исправно платили доселе оброк в пользу помещика, никак не менее пятнадцати рублей серебром с тягла;

2) крестьян, получающих увольнение, находится около одиннадцати миллионов душ; полагая по две десятины кругом надела на душу, потребовалось бы 22 миллиона десятин; если каждую оценить по семидесяти пяти рублей, то составится цифра в один миллиард 650 миллионов;

3) крестьян государственных имуществ и удельных полагается до 20-ти миллионов душ, и как в благоустроенном государстве не может быть допущено разнообразия между населением одинакового промысла и занятия относительно их прав, преимуществ и повинностей, то следовало бы как крестьян, освобожденных от зависимости помещиков, так и крестьян государственных имуществ и удельных привесть к одному знаменателю, наделив их равным количеством земли и обложив равным же сбором с них податей и повинностей; таким образом, составилось бы из означенных т. е. наименований крестьян от девяти до десяти миллионов тягол, полагая две с половиною души в одно тягло;

4) чтобы удовлетворить помещиков за отбираемую у них землю, можно бы выдавать им квитанции или рентовые листы, с правом по расчету на капитал 3-х процентов на сто (процент достаточный, по моему мнению, ибо капиталисты, помещающие свои деньги из приращения в кредитных установлениях, довольствовались же тремя процентами). Предоставляя, таким образом, помещикам по их рентам получение процентов, следует уплатить им и самый капитал, по жеребью или тиражу, в продолжение срока, исчисленного банковыми правилами, который должен погаситься взносом одного процента; следовательно, нужно всего четыре процента. Расчисляя эти проценты на две десятины или по оценке их на 150 руб., всего шесть рублей, и взыскивая их с соединенных десяти миллионов тягол, составится из них шестьдесят миллионов рублей, четвертая часть коих, то есть 15 миллионов, пойдут ежегодно на погашение капитала по тиражам в пользу помещиков, а 45 миллионов на уплату рентовых процентов.

В продолжение всего срока, впредь до уплаты капитала, этот расчет может обязать крестьянское тягло взносом от семи до восьми рублей (разумея около десяти миллионов тягол, соединенных из всех т. е. вышеописанных поименований). В год такой уменьшенный оброк как не уплатить крестьянину, тогда как при том же наделе земли он платил помещику исправно ежегодно по пятнадцати рублей, а может, и более. Разделавшись, таким образом, с крестьянами, помещики тотчас могли бы перейти к вольнонаемному труду, и те же крестьяне у прежнего или постороннего помещика могли бы зарабатывать несравненно более причитающегося с них оброка или взноса в казну. Этим средством прекратились бы и случаи к столкновениям между помещиком и крестьянином, тем более что и вся сельская полицейская расправа должна быть устроена помимо участия помещика.

Руководствуясь этими соображениями о выкупе, я написал довольно подробное мнение, вместе с другими замечаниями относительно этого предмета, и в 1859 году января 30 дня отправил его к председа-

телю редакционных комиссий, покойному генерал-адъютанту Ростовцеву, и еще к другим лицам, для сообщения его особам, участвовавшим в составлении законодательных проектов об устройстве быта крестьян. Не знаю, это ли мое мнение обратило на себя счастливое воззрение генерала Ростовцева и повело его к принятому им направлению, или же мое мнение совпало с его собственным, прежде им обдуманным; но только в 1859 же году апреля 29 и мая 20 он внес в редакционные комиссии предложение, план коего тождествен с моим, что значится в занятиях комиссий под названием: «Материалы редакционных комиссий по крестьянскому делу», том 1-й, книга 1-я, на страницах от 40 до 56 включительно и на 158. Как бы то ни было, почитаю себя вполне счастливым, если и моя строка, как лепта, получила место при общих соображениях.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «... в нём жил мой отец ...» — *Юматов Иван Васильевич (1738 – до 1816) служил в Сухопутном шляхетском корпусе комиссаром, 10.04.1761 пожалован секунд-майором. После отставки с военной службы исполнял должности инсарского городничего, предводителя дворянства. С 1801 г. постоянно жил в Сердобском уезде Саратовской губернии, где у него были наследственные и приданые имения. В Инсарской округе Пензенского наместничества в деревнях Енолеевы Поляны и Малые Поляны ему принадлежало 96 душ обоего пола. Всего же за ним числилось крестьян обоего полу наследственных, благоприобретённых и приданых 1125 душ в наместничествах Пензенском (Инсарский уезд), Саратовском (Сердобский, Кузнецкий уезды), Владимирском, Тамбовском, Переяславском. Второй раз был женат на Анне Дмитриевне Качевой, матери мемуариста и его сестёр и братьев.*

[2] «... вершков 12 или 14 ...» — *вершок — 4,4 см. аршин — 0,711 м, сажень — 3 аршина, 2,134 м.*

[3] «... с крышею из кленового гонта» — *гонт — остроконечные с одной стороны и с пазом вдоль другой стороны дранки, дощечки, которыми кроют крыши, вкладывая сточенный конец одной дранки в паз другой.*

[4] «... из числа коих Арапов, Улыбышевы, Мошковы, Хрущовы, Бахметьевы, Вельяшевы были приятными посетителями батюшки ...» — *называются очень известные, разветвлённые и многократно породнившиеся между собой пензенские дворянские фамилии. Например, дочери Александра Васильевича Мошкова, пензенского губернского предводителя дворянства в 1791–1794 годах, были замужем: Ольга — за Н. А. Араповым, Елизавета — за И. В. Улыбышевым, Александра — за П. А. Вельяшевым. В свою очередь, дочь Улыбышевых Агафья была замужем за А. П. Хрущовым. Представители этих родов часто упоминаются в мемуарах Ф. Ф. Вигеля, кн. И. М. Долгорукого.*

[5] «... эти золотые были с крестами, следовательно чекану императрицы Екатерины ...» — *имеются в виду десяти- и пятирублёвые монеты (империалы и полуимпериалы). На их оборотной стороне изображены крестообразно расположенные пять картушей с гербами — государственными (в центре) и московским, казанским, астраханским и сибирским (вокруг).*

[6] «Калужское тесто ... было народным лакомством ...» — *сладкое тесто на солоде, употреблявшееся в пищу сырым, имевшее особый пикантный вкус от солода. Было очень распространено на ярмарках и больших базарах в первой половине XIX в.*

[7] «... в синей суконной сибирке, ... подпоясанный гарусным кушаком ...» — *сибирка — короткий кафтан в талию, со сборками, без разреза сзади и со стоячим воротником. Гарус — род грубоватой шерстяной пряжи или род хлопчатобумажной ткани, на ощупь похожей на шерстяную. Кушак — пояс. Здесь подчёркивается доморощенность одежды, полностью произведённой в собственной усадьбе.*

[8] «... домашняя выкурка вина ...» — *дворяне имели привилегию на домашнее винокурение по «уставу о вине» 1781 г. Многие из них занимались и винным откупом, на чём и разбогатели, злоупотребляя несовершенством законодательства. Т. е. они вносили в государственную казну (откупали) эквивалент стоимости от продажи государством «казённого вина», после чего получали право торговли вином через питейные дома. Здесь и была возможность злоупотреблений: вино разбавлялось, цена на него произвольно повышалась и т. п. Упоминающиеся четверть, мера, лукошник — неофициальные единицы измерения сыпучих и жидких веществ, бывшие в употреблении в Росси в конце XVIII – первой пол. XIX в., как правило, связанные с формой и объёмом сосуда или ёмкости. Полугар — сорокаградусная водка (хлебное вино), то есть водка, содержащая 40 объёмных процентов безводного спирта. Продажная водка в России должна была содержать не менее 40% безводного спирта. Таким образом, полугар — продажная сорокаградусная водка. Погонь — охлаждённая смесь паров воды и спирта, полученная в результате перегонки, т. е. нагревания на огне в кубах перебродившей жидкости. При охлаждении сперва сгущается погонь, более богатый безводным спиртом, чем дальнейшие порции перегонки, которые постепенно беднеют алкоголем, так что под конец перегоняется лишь вода.*

[9] «... на камзолинском базаре ...» — *в архивных документах встречается разное написание названия деревни Юматовых и реки, на которой она располагалась: Козмала, Камзала, Козмолка, Камзолка. По сведениям А. Н. Юматова и М. А. Чернышева, село Камзола (Камзолка) Сердобской волости, в котором, в своей усадьбе, долгую жизнь прожил автор «Воспоминаний», расположено было в 20-ти верстах от волостного центра. Сама же волость образовалась на земле, которая еще в 1701 г. была «отказана» служилому человеку, некоему Нерекосову «со товарищи». Позже земля считалась вотчиной помещика Ознобишина. С конца же XVIII в. селом уже владели Юматовы, а именно Иван Васильевич, отец мемуариста.*

[10] «Провесный балык» — *солёная и провяленная (путём подвески) хребтовая часть красной рыбы.*

[11] «Чухонское масло» — *сливочное масло, которое приготавливается из чистой сметаны, без примеси простокваши и муки.*

[12] «Пикули» — *мелкие овощи, маринованные в крепком уксусе с разными пряностями, употребляющиеся как приправа к различным блюдам.*

13. «... я, брат и сёстры ...» — у Ивана Васильевича Юматова, кроме автора воспоминаний, были дети: Степан (1777–1836), Капитолина (р. 1783), Елизавета (р. 1785), Мария (р. 1789), Дмитрий (20.03.1792 – 1833). Старший брат, Степан Иванович, в 1791 г. был капенармусом лейб-гвардии Измайловского полка, 20.10.1802 «награждён штабс-капитаном

и отставлен по прошению», в походах не был. В 1807–1810 г. — депутат Пензенского дворянского собрания от Инсарского уезда, затем (до 12.09.1812) избирался инсарским уездным судьёй. С сентября по декабрь 1812 г. находился в III пехотном полку пензенского ополчения, формировавшемся в Инсаре, сотенным начальником. 7.12.1812 уволен из полка по болезни. Жил в Инсаре и в д. Малая Камзолка Сердобского уезда Саратовской губ. На 1814 г. имел 452 души обоего полу наследственных и 97 душ обоего полу приданых. Средний брат, Дмитрий Иванович, коллежский секретарь, служил, как и Петр Иванович, в III пехотном полку пензенского ополчения (декабрь 1812–1814), по роспуске которого «находился при прежней должности в пензенском губернском правлении. С 1817 г. — титулярный советник. После участия в ополчении жил в Пензе, имел (на 1816 г.) 650 душ обоего пола, был неженат и бездетен. Умер в 1833 г. в Пензе и похоронен на кладбище Спасо-Преображенского мужского монастыря.

[14] «… вместе с сержантом бароном Вигель …» — *Филипп Лаврентьевич Вигель (12.06.1740 – янв. 1812) — генерал-майор и комендант киевский, затем тайный советник и пензенский губернатор в 1801–1809 гг. Женат был первым браком на Пелагее Андреевне Симбухиной, вторым — на Мавре Петровне Лебедевой (1752 – после 1829), брак состоялся в 1773 г. Отец известного мемуариста и жены Петра Ивановича Юматова, Александры.*

[15] «… доктор … Пётр Петрович Петерсон …» — *об этих Петерсонах Ф.Ф. Вигель пишет: «Не ранее как в царствование Екатерины II приехал в Пензу первый лекарь Петерсон, он же аптекарь. Он поразбогател, выстроил дом и каждой из трёх дочерей своих, которых выдавал за вновь поселявшихся там по временам медиков, построил в приданое по дому на той же улице, которая от них и получила название Лекарской. Петерсон, как скипетр, держал эскулапов жезл, и размножавшееся его семейство располагало жизнью и здоровьем обывателей. Им прописывались лекарства, и у него же они приготовлялись: какая убийственная монополия!».*

[16] «… старший брат мой Степан … уже был женат …» — *С. И. Юматов женился около 1812 г. на Марии Григорьевне Гладковой. Её отец, надворный советник Григорий Васильевич Гладков (1756–1821), содержал в Пензе театр в 1806–1821 гг., в конце XVIII века открыл в пензенском уезде первый винокуренный завод, поставляя вино в казну и откупщикам, затем сам был откупщиком.*

[17] «… я с братом Дмитрием …» — *участниками ополчения 1812–1814 гг. в Пензенской губернии были братья Пётр и Дмитрий Ивановичи Юматовы, служившие в III пехотном (Инсарском) полку. Хованский в книге «Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года» ошибочно называет П.И. Юматова Петром Николаевичем.*

[18] «… тогдашнего губернатора Сергея Григорьевича Голицына …» — *шибка мемуариста. В 1811–1816 гг. пензенским губернатором был Григорий Сергеевич Голицын (1780–1848), старший сын знаменитого владельца Зубриловки кн. С. Ф. Голицына и племянницы Св. Кн. Г. А. Потёмкина Варвары Васильевны Энгельгарт, крестник Екатерины II. Г. С. Голицын, в свою очередь, — отец кн. Сергея Григорьевича Фирса, знакомца Пушкина, Вяземского и др.*

[19] «… село Засецкое — имение Мерлина …» — *Яков Данилович Мерлин, генерал-майор, воевавший с отличием в Отечественной войне 1812 года, владел с. Засецким (Покровским) Сердобского уезда. Его дочь Вера Яковлевна упоминается в «Записных книжках» кн. П. А. Вяземского. Другая его дочь, Александра Яковлевна, была женою пензенского губернатора в 1819–1831 гг. Ф. П. Лубяновского (9.08.1777 – 2.02.1869).*

[20] «… назначил меня в роту субальтерном …» — *субальтерн — младший офицер роты, эскадрона, батареи.*

[21] «… шуба была … на тумаковом меху» — *тумаковый мех — подкрашенный мех зайца.*

[22] «… в имение Петра Андреяновича Вельяшева» — *см. прим. 4.*

[23] «… генерал-майору Кишинскому …» — *Кишенский Николай Федорович (1775–1831) — генерал-майор, в 1813–1814 гг. командир Пензенского наводного ополчения, впоследствии Пензенский губернский предводитель дворянства.*

[24] «… подполковника Петра Алексеевича Бекетова». — *П. А. Бекетов (1784–1821(22)) — старший сын провинциального прокурора Алексея Матвеевича Бекетова (1757–1822), командир III пехотного полка Пензенского ополчения, участник сражений при Гамбурге и Магдебурге (1814 г.); брат соратника и друга Д. В. Давыдова Дмитрия Алексеевича Бекетова (1797–1845); брат Екатерины Алексеевны Бекетовой (1788–1822), бывшей замужем за Д. В. Золотарёвым, матери адресата лирики поэта-гусара Д. В. Давыдова Евгении Дмитриевны Золотарёвой; брат Николая Алексеевича Бекетова (1794–1866), прадеда поэта А. А. Блока. Пётр Алексеевич был женат на дочери майора Николая Андреевича Арапова Елизавете, венчались в Пензе в Никольской церкви 6.06.1819.*

[25] «… к вице-губернатору Евреинову …» — *Александр Михайлович Евреинов (ум. 1816) — московский (1812), а затем пензенский вице-губернатор (до 1816), был женат на Александре Алексеевне Столыпиной (р. 1777), сестре бабушки М. Ю. Лермонтова Е. А. Арсеньевой. Поэт Лермонтов был знаком с их сыном Павлом. Ф. Ф. Вигель пишет о них: «… назначен вице-губернатором Александр Михайлович Евреинов, бывший некогда полицмейстером в Петербурге, человек дряной, хвастливый и трусливый. Он был женат на одной видной женщине, Александре Алексеевне, родной сестре огромных С. (Столыпиных). В «Лермонтовской энциклопедии» ошибка в инициале А. М. Евреинова.*

[26] «… дочерью Мавры Петровны — Александра Филипповна» — *А. Ф. Вигель (1791 – после 1829) — младшая дочь пензенского губернатора (до 1809 г.) Ф. Л. Вигеля, сестра мемуариста. Приводим полную цитату из записок Ф. Ф. Вигеля о его сестре и П. И. Юматове. «Меньшая сестра моя, Александра, Москву и Петербург видела только мельком и всю жизнь провела в провинции; в ней было несколько странностей, но и в них не было ничего столичного. Ей уже исполнилось двадцать пять лет, и я полагал, что её ожидает одинаковая участь со старшей сестрой; однако же она умела сыскать себе жениха в Пензе … Я не говорил ещё о семействе Юматовых. Старший, Степан Иванович, был уже женат, второй, Дмитрий, был сумасшедший; а третий, Пётр, ещё чрезвычайно молод. У них, вместе у матери с детьми, было более полутора тысяч душ в Саратовской губернии, где летом жили они в родовом селении Юматовке, а на зиму приезжали в Пензу. Анна Дмитриевна Юматова была предобрейшая женщина, зато уж чересчур проста. Раз случилось, что один учитель из гимназии, желая похвастаться учёностью, рассказывал при ней, как город Помпею завалило пеплом из Везувия, и она несколько ночей не могла заснуть в беспокойстве, чтобы подобная беда не случилась с Пензой. Никакого воспитания детям она не дала и не могла дать; только меньшой, семнадцатилетний мальчик, с ополчением ходил на войну, был в Дрездене, Лейпциге и Гамбурге, и между военными за границей немного понатёрся. Возвратясь из похода сделался он первым пензенским танцовщиком и франтом. Он как-то полюбился сестре моей и предложил руку. Мать не хотела согласиться по многим причинам: во-первых, потому, что над семейством Юматовых смеялся весь город, и потому, что жених четырьмя годами моложе невесты был только что коллежский секретарь, а чин в это*

время был ещё преважное дело. У нас пошла о том переписка, и я старался склонить мою мать на согласие, представляя ей, что для девицы, начинающей перезревать, хороший дворянин, добрый человек, имеющий пятьсот душ, может почитаться находкой. В июле месяце 1816 года совершился сей брак».

Летом 1823 г. Ф.Ф. Вигель отмечает: «Приятно мне было также увидеть в первый раз небольшое семейство, народжённое меньшей сестрой моею, Александрой: оно состояло из дочери Дарьи и сына Ивана. В муже её, Юматове, было столько же странностей, как и в ней самой; они часто ссорились, зато нежнее мирились, и оттого, мне кажется, жили они счастливо». Кстати, род Юматовых дважды породнился с пензенскими губернаторами. Внучка Петра Ивановича Юматова, Мария Дмитриевна (р. 13.06.1859), была замужем за сыном пензенского губернатора А. А. Панчулидзева, Давидом Александровичем (р. 18.05.1850), бывшем, в свою очередь, с мая по 19.09.1885 пензенским уездным предводителем дворянства, а также племянником известного исторического писателя М. Н. Загоскина. Мать Давида Александровича, Варвара Михайловна, вторая жена пензенского губернатора — сестра писателя.

О П. И. Юматове и его жене упоминает в «Записных книжках» кн. П. А. Вяземский: «Старушка Вигель, мать нашего..., женщина, кажется, умная и в городе (Пензе — сост.) уважаемая. Один сын ее женат на Чемизевой,... дочь за Юматовым. Говорят, прокуратница; другая дочь блаженствует в старых девах». В словаре В. И. Даля «прокурат» толкуется как «проказник, шутник, плут». Таким образом, Александра Филипповна, четырьмя годами старше, больная, небогатая, была незавидной партией для П. И. Юматова.

[27] «В Саратове был губернатором действительный статский советник, князь Александр Борисович Голицын ...» — *Кн. А. Б. Голицын (1792 – 20.01.1865) — второй сын кн. Бориса Андреевича, генерал-лейтенанта, гофмаршала двора Цесаревича Константина Павловича, саратовский губернатор и, позже, владимирский предводитель дворянства при Императоре Николае I. Его сестра, Елизавета Борисовна (1790–1870), была женой сенатора кн. Бориса Алексеевича Куракина (1783 – 2.10.1850).*

[28] «... так называли тогда в Саратове в среднем слою нынешних камелий» — *камелия — женщина легкого поведения, куртизанка, кокотка (по роману А. Дюма-сына «Дама с камелиями»).*

[29] «К вам обращаюсь я, милые мои дети ...» — *у П. И. Юматова были дети: Дарья (р. 1820), Иван (р. 16.06.1821, в с. Камзола Сердобского уезда Саратовской губ.), в 1845 г. был писцом 1 разряда; Марья (р. 1825). Сын Дмитрий родился 22.09.1823 в том же с. Камзола, поручик, жил в Пензе. Умер Д. П. Юматов в Пензе 18.07.1885 «в половине седьмого утра» от рака печени, похоронен на кладбище Спасо-Преображенского мужского монастыря. Он был женат на Анне Семеновне Киндяковой. Этот Дмитрий Петрович — прадед Алексея Николаевича Юматова, при посредстве которого «Воспоминания ветерана» попали к нам.*

По сведениям А. Н. Юматова и М. А.. Чернышева, сын Дмитрия Петровича, действительный статский советник В. Д. Юматов (1852 – после 1917) был гласным Саратовского губернского земского собрания, членом нескольких комиссий и, в частности, в течение тридцати лет — членом губернской же комиссии присутствия по крестьянским делам. Как действительный член Саратовской ученой архивной комиссии он много сделал для становления в Саратове краеведческой науки. Одним таким замечательным делом и явилась публикация «Воспоминаний ветерана 1813–1814 годов», которые он обнаружил в бумагах своего предка.

Мало того, В. Д. Юматов передал в распоряжение комиссии «Записки» своего прадеда, относящиеся ко второй половине XVIII столетия и содержащие ценные сведения относительно пугачевского бунта в Саратовской и Пензенской губерниях (См.: Труды СУАК, т. IV, вып. 3. Саратов, 1893, с. 137.). Прадед этот — уже упомянутый нами выше Иван Васильевич Юматов.

Примечания Л. В. Рассказовой

Михаил Николаевич

ЗАГОСКИН

(1789–1852)

ИСКУСИТЕЛЬ

Текст печатается по публикации
в сборнике произведений «Аскольдова могила»
(Москва, издательство «Современник», 1989)

Род Загоскиных основался на пензенских землях вскоре после основания города-крепости, в 1700 году. За несколько веков члены его обросли родственными и дружескими связями со всей губернией.

Михаил Николаевич представляет шестое поколение пензенских Загоскиных. Он родился и жил в родовом имении Рамзайка (ныне эта деревня слилась с Рамзаем Мокшанского района). Домашнее образование его было весьма посредственным, но он много читал и с детства решил стать писателем. Хорошо знакомый Загоскиным Ф. Ф. Вигель отвёз его в Петербург, где он начал службу с самых низов, канцеляристом. В облике и поведении Михаила Николаевича были некоторая неуклюжесть, милая рассеянность, детская наивность и всепобеждающее добродушие. Тем не менее, в составе петербургского ополчения он принял участие в войне 1812 года, был ранен и награждён орденом. Добился своего: стал известен как драматург, но подлинную славу ему принесли исторические романы, прежде всего, «Юрий Милославский» (1829) — «первая попытка в русском романе заставить русских людей говорить и действовать по-русски». Так оценил его ещё один наш великий земляк В. Г. Белинский. Кроме того, Загоскин был директором Императорских Московских театров, а позднее — директором Оружейной палаты и с энтузиазмом водил экскурсии по Кремлю. Избран почётным академиком по отделению русского языка и литературы. В Пензе его любили и чествовали. Улица писателя Загоскина в современном городе, кажется, единственная в стране.

«Искуситель» (1838), один из поздних романов писателя, был встречен публикой прохладно. Но это не мешает нам наслаждаться его удивительно ярко и занимательно написанными пензенскими страницами: о родной усадьбе, о пензенском театре и ярмарке. А его описание улицы Московской стало классическим для всех пензенских историков и краеведов.

* * *

*C›est un tableau de fantaisie dont tous les détails sonst peints d›apres nature. **

** Это фантастическая картина, которая во всех подробностях срисована с натуры (фр.)*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Семейство Белозерских

Сегодня день моего рождения; мне минуло шестьдесят лет; мои мягкие темно-русые волосы, которым некогда завидовали красные девушки, сделались жесткими и поседели; вместо тонких бровей дугою, нависали над моими глазами густые брови в палец шириною, ресниц как не бывало, а полные румяные щеки впали и пожелтели как осенний лист на деревьях. Говорят, будто бы глаза мои не совсем еще утратили свою прежнюю выразительность, а зубы (которых, впрочем, немного осталось) свою первобытную белизну. Может быть. Но я ношу очки и давно уже перестал лакомиться орехами, до которых в старину был страстный охотник, — все это очень грустно! Правда, когда я взгляну на мою Марью Ивановну, то мне становится не до себя... Господи, боже мой! Подумаешь, как года-то меняют человека! Та ли это Машенька, свежая, как весенний цветок после утренней росы, прекрасная, как модель живописца, который хочет создать свою Мадонну? Ну, кто поверит, что эта пожилая барыня, которая в ситцевом капоте и в своем чепце-разлетае сидит за пяльцами или вяжет для меня бумажный колпак, была некогда с гибким станом, с волнистыми светло-русыми волосами, что у нее был прелестный ротик и два ряда зубов, которые я не называю перлами потому только, что это сравнение сделалось слишком уж обыкновенным. Конечно, это никому не придет в голову, никому, кроме мужа, для которого милы ее морщины: она нажила их, проведя всю жизнь со мною. Почти тридцать лет постоянного счастья, тридцать лет сряду, как в первый день свадьбы, все те же совет и любовь, два сына и три дочери, из которых меньшая, как две капли воды, походит на мать свою. О! Эти прелести стоят, без сомнения, тех, от которых мы сходим с ума в наши молодые годы. Верная подруга в жизни, добрая жена никогда не состареется для своего мужа, и всякий раз, когда я подумаю, что этот злой дух, этот сатана, которого я сам вызвал из преисподней, мог навсегда разлучить меня с нею, то вся кровь застывает в моих жилах. Так, он точно был демон, но, разумеется, нашего века: не с хвостом и рогами, а одетый по последней моде, остроумный, насмешливый, точь-в-точь такой, какого навязал себе на шею чернокнижник Фауст [1]. Вы думаете, что я шучу или, может быть, величаю демоном какого-нибудь злодея? О, нет! Я говорю без всяких риторических фигур и называю злым духом не человека, а того, которого имя не выговорит ни одна набожная старушка, не перекрестясь и не примолвив: «Наше место свято!» Смейтесь надо мной, если хотите, но я в этом уверен и, быть может, уверю и вас, когда расскажу вам кой-что про первые годы моей молодости.

Мне не было еще трех месяцев, когда покойная матушка скончалась, отец мой скоро последовал за нею, и я на четвертом году остался круглым сиротою: даже близких родственников у меня не было. Исполняя последнюю волю умирающего отца моего, определили ко мне опекуном внучатного его брата, Ивана Степановича Белозерского. Сиротство мое прекратилось с той самой минуты, как я вступил в дом этого почтенного человека; но прежде, чем я стану говорить о самом себе, мне должно познакомить вас покороче с семейством Белозерских и с уединенной деревнею, в которой я взрос, образовался и провел большую часть моей молодости, — теперь я далеко от нее; но, быть может, мне удастся еще раз взглянуть на это мирное убежище моего детства, и тогда — если господь будет до конца ко мне милостив — я весело засну, спокойным, но не вечным сном, без скорби и отчаяния, а с теплой верой, что минута пробуждения будет для меня и для всех моих минутой радости и неизъяснимого блаженства.

Иван Степанович Белозерский вступил в службу в достопамятный год Чесменской битвы [2] и знаменитой победы под Кагулом [3]. Он служил в гвардии. На двадцать девятом году влюбился в сестру своего начальника, милую, добрую и прекрасную девушку; на тридцать втором обвенчался с нею, через год она родила ему дочь; потом, в 1790 году, делал шведскую кампанию; дрался, как лев, в сражении под Абесфер-сом и за отличие произведен в капитаны. Вскоре затем вышел за ранами в отставку с чином бригадира и отправился с женою и дочерью на житье в свое наследственное поместье — но не для того, чтоб порскать за зайцами. Он занялся благосостоянием своих поселян, и хотя соседние дворяне называли его плохим экономом, потому что он думал о выгодах своих крестьян столько же, сколько о своих собственных, но, несмотря на это, доходы его с каждым годом умножались, мужички богатели, и, начиная от барского двора до последней избы, от помещика до крестьянина, везде благодарили господа, и все жили припеваючи. «Чудное дело, — толковали меж собой соседи, — этот Белозерский вовсе не радеет о своей пользе, а все так-то ему в руку идет!»

Прогуливаясь по селу с женой и дочерью, Иван Степанович встречал везде одни приветливые и веселые лица; ребятишки от них не прятались, не выглядывали украдкою из подворотней, а выбегали все на улицу, и часто какой-нибудь почти столетний старик кряхтел, а слезал с полатей, чтоб выйти за ворота

и взглянуть на добрых господ своих. «Дай бог им много лет здравствовать! — говорили меж собой мужички. — Неча сказать, знатные господа! Бога помнят, крестьян своих жалуют» — «А наша барышня, — болтали старухи, — родная-то наша матушка. Марья Ивановна! Эка лебедь белая! Всем взяла! Тоненька только, сердечная! Да бог милостив, войдет в года — будет подороднее!»

Когда мне минул восемнадцатый год, и я сбирался уже в Москву, Ивану Степановичу было лет под шестьдесят. Он очень часто прихварывал, простреленная нога и разрубленное плечо мучили его перед каждой переменою погоды. Лицо его, с которого еще не совсем исчез румянец молодости, не имело в себе ничего особенного, ничего такого, что поражает нас с первого взгляда, но когда он говорил, когда пожимал с ласкою вашу руку, когда глаза его оживлялись простодушием и добротою, то все черты этой спокойной и светлой физиономии навсегда врезывались в вашу память. Не много есть художников, которые умеют разливать жизнь и, так сказать, влагать душу в свои произведения, и вот почему из всех портретов Ивана Степановича не было ни одного сходного: все они изображали лицо простого человека с самой обыкновенной, незначащей физиономией, в этом дюжинном лице не было ничего ни противного, ни привлекательного; но это потому, что оно точно так же походило на свой подлинник, как походит неподвижный водопад в картине на падение Рейна или Ниагары. Вода, пена, брызги — все списано верно с натуры; но где жизнь и движение бурной реки, которая ежеминутно, изменяя свой образ, стремится, летит и с грохотом исчезает среди кипящей пучины?

Хотя в то время жене Ивана Степановича было уже гораздо лет за сорок, но, взглянув на нее, нельзя было не подивиться, что у нее дочь невеста. Есть старая французская пословица: c'est la lame qui use le fourreau (кипучая деятельность иссушает человека). И подлинно: злоба, отчаяние, порывы гнева, точно так же как безмерная любовь и вообще все необузданные страсти, истребляя здоровье, почти всегда бывают причиною нашей преждевременной старости. Мы обольщаемся красноречивым описанием всех сильных страстей: любовь, не доходящую до безумия, мы не хотим называть любовью, забывая о том, что всякое неистовое чувство унижает достоинство человека, и, какое бы название ни дали страсти, которая превращает вас или в дикого зверя, или в малодушное существо, не имеющее собственной воли, эта страсть всегда останется чувством противным богу и нашей совести, потому что она, затмевая рассудок, сближает нас с животными и, так сказать, оземленяет наше небесное начало. Кроткая душа Авдотьи Михайловны — так звали жену Белозерского — не знала ненависти, а теплая вера укрощала чрезмерную чувствительность, к которой она была способна. Когда господь посещал ее горестью, она молилась, и скорбь ее никогда не переходила в отчаяние; ощущая необычайную радость, она спешила благодарить бога, и сердце ее облегчалось. Конечно, и она была не всегда одинаково весела и довольна; но ее никогда не покидали этот душевный мир и спокойствие, столь же мало похожие на холодный эгоизм, сколь мало походит стоячая вода грязного пруда на светлые струи ручья, который хотя и не вырывает с корнем деревья, как живописный гордый поток, но зато тихо и стройно течет в берегах своих, разливая вокруг себя жизнь и прохладу.

Я сказал уже слова два об их дочери. Представьте себе… или нет!.. дайте полную волю вашему воображению, и будьте уверены, что оно не создаст ничего лучше и миловиднее Машеньки Белозерской, когда ей минуло шестнадцать лет. Чтоб окончить описание этого семейства, мне должно упомянуть еще об одном служителе, или, лучше сказать, домочадце Ивана Степановича. Я не мог приискать ничего приличнее и вернее этого старинного русского названия, чтоб определить одним словом, к какому разряду домашних принадлежал дядька мой Кондратий Бобылев, некогда заслуженный гвардейский сержант, а потом дворецкий и приказчик в доме бывшего своего капитана. Бобылев был роста высокого, худощав, и, несмотря на то, что доживал шестой десяток и предузнавал не хуже Ивана Степановича всякую ненастную погоду, он мог бы еще лихо выбежать перед фронт за флигельмана и вскинуть кверху тяжелое солдатское ружье, как перышко. Перед своим бывшим командиром он всегда держал себя навытяжку и не мог смотреть без досады на ровесников своих, старосту Парфена и бурмистра Никитича, когда они шли, сгорбившись, по улице или стояли, опираясь на свои подожки [4]. «И, что вы за народ такой! — говаривал он всегда, закручивая свои огромные седые усы. — Кряхтят да гнутся, словно старики! Да что наши за года? Ведь мы еще в самой поре и силе. Эх, поломал бы вам бока да выправил по-нашенски, так, небось, стали бы держать себя в стреле!» Бобылев, так же как и бывший капитан его, носил по будням военный сюртук, а по праздникам наряжался в полный мундир и, сверх того, по старой привычке, пудрил свои седые волосы пшеничною мукою и подфабривал усы. Его любили все: взрослые — за простодушие, доброту и приветливый нрав, а дети — за его россказни о войне с турком, о походах под шведа, о храбром и удалом фельдмаршале Румянцеве [5], о батюшке-графе Суворове, о том, как басурманы пьют зелье, от которого как шальные лезут на штыки православного войска, и о разных других некрещеных народах, которые пугают своих детей, вместо буки, русским солдатом.

Я должен также упомянуть об иностранцах, которые жили в доме Белозерских; их было двое: нянюшка-немка и учитель-француз. Немку называли Луизой Карловной, а француза — мусье Месмежан, то есть он назывался некогда Monsieur Jean, но впоследствии эти два слова слились в одно: его стали величать Иваном Антоновичем Месмежаном, — и под конец он так привык к этому прозванию, что, верно бы, не откликнулся, если б кто-нибудь назвал его по имени.

Хотя деревня, в которой жили Белозерские, не далее двадцати пяти верст от губернского города, но я до шестнадцатилетнего возраста знал его по одной наслышке; сам Иван Степанович бывал в нем очень редко и только по самой крайней надобности. Господский дом со всей усадьбою был расположен в близком расстоянии от большой дороги; с трех сторон окружали его дубовые рощи. Я населил бы их соловьями, если б писал роман, но истина прикрас не требует. С наступлением весны налетало в них бесчисленное множество грачей, которых громкий и беспрерывный крик так сроднился с первыми и приятнейшими впечатлениями моей молодости,

что и теперь дубовая роща без грачей кажется для меня пустынею и возбуждает точно такое же грустное чувство, как безлюдный город или давно покинутый дом, в котором не заметно никаких признаков жизни.

Когда приближались к деревне по большой дороге со стороны города, то сначала видны были одни рощи, потом как будто бы всплывала красная кровля господского дома, а там подымались крыши флигелей и служб, и вся усадьба открывалась только тогда, как подъезжали к самым воротам обширного двора, обнесенного частоколом, — но с противоположной стороны господский дом виден был версты за две. По всему было заметно, что отец Ивана Степановича, который построил эти барские хоромы, не охотник был до хороших видов. Он поставил их на полугоре таким невыгодным образом, что из окон главного фасада, обращенного к городской стороне, видны были одни только рощи и часть поля, которое, подымаясь все выше и выше, заслоняло от глаз все отдаленные предметы. Иван Степанович, чтоб вознаградить чем-нибудь этот недостаток, развел перед домом цветник, в который сходили по низкой лестнице прямо из гостиной, и поместил свой кабинет и небольшую столовую в противоположной стороне дома, между лакейской и девичьей. Из этих комнат вид был прекрасный: остальная часть горы опускалась пологим скатом до самого пруда, который некогда казался мне огромным озером, хотя вокруг едва ли было и двести сажен. По сторонам обширного луга, отделявшего пруд от барского двора, разбросаны были житницы, каретный сарай, избы дворовых людей, их клети, а посреди стояла крытая соломою небольшая лачужка с высоким шестом, на котором вертелся флюгер, — это было сборное место ночных караульных. С левой стороны, в шагах десяти от двора, начинался большой плодовый сад, в котором были, однако же, дорожки, обсаженные липами, он примыкал к одной из дубовых рощ. Прямо перед задним фасадом дома, по ту сторону пруда, подымалась амфитеатром густая дубрава; справа, по берегу оврага, который начинался за плотиною, тянулось огромное гумно; за ним виднелись холмистые и открытые места, перерезанные довольно высоким валом; он отделял Тужиловку — так называлась деревня Белозерского — от большого экономического села; этот вал, идущий верст на двести, служил некогда оплотом и обороною от татарских погромов, или, по крайней мере, затруднял внезапные набеги этих разбойников. За валом, у самого въезда в экономическое селение, возвышалась деревянная церковь с небольшой колокольней, и за ней сливались с отдаленными небесами необозримые поля, на которых осенью, как золотое море, волновалась почти сплошная нива, кой-где пересекаемая проселочными дорогами. Я жил в антресолях над самым кабинетом Ивана Степановича, и вид из моей комнаты был еще обширнее. Очень странно, что в те годы, когда мы еще не имеем никакого понятия об изящном, прекрасный вид возбуждал во мне всегда неизъяснимое чувство удовольствия. Бывало, я по целым часам не отходил от окна и не мог налюбоваться обширными полями, которые то расстилались гладкими зелеными коврами, то холмились и пестрели в причудливом разливе света ее теней. Сколько раз в детской голове моей рождалась мысль уйти потихоньку из дома и во что бы ни стало довраться до того места, где небеса сходятся с землею, чтоб заглянуть поближе на красное солнышко, когда оно прячется за темным лесом. Более всего возбуждал мое любопытство и тревожил меня этот бесконечный темный лес; он виден был из моей комнаты, вдали за дубравою, которая росла по ту сторону пруда. Чего не приходило мне иногда в голову! «Уж верно, — думал я, — за этим лесом должны быть большие диковинки? И что за люди там живут? Там и солнышко ночует — куда должно быть им весело!» Однажды — мне было тогда не более пяти лет — я решился завести об этом разговор с Бобылевым.

— Что это за длинный лес? — сказал я. — А что, Кондратии, чай, ему конца нет?

— Как не быть, сударь.

— А где же ему конец?

— Да верст пять или шесть отсюда.

— А что за этим лесом?

— Выглядовка.

— Что это, Кондратий? Город, что ли, какой?

— И, нет, сударь! Так, небольшая деревнишка, гораздо менее нашей Тужиловки.

— И люди там такие же?

— Такие же, батюшка.

Это меня немного успокоило, однако ж, я не покинул намерения побывать когда-нибудь за лесом и посмотреть вблизи, как солнышко ложится спать.

Мы так привыкли, я — называть Машеньку сестрою, а она меня братом, что даже и тогда, когда подросли, нам ни разу не приходило в голову, что дети внучатых братьев почти вовсе не родня меж собою. Мы были неразлучны, и учились и играли вместе, поверяли друг другу свои детские тайны, я рассказывал ей все подробности своего путешествия за дремучий лес вместе с Бобылевым, который согласился, наконец, меня потешить и ходил со мною до самой Выглядовки. Машенька бледнела от страха, когда я описывал ей, как мы переправлялись через топкое болото, как зашли в такую дичь, что и света божьего не видно; как мимо нас пробежал огромный волк, и хотя, — прибавлял я с важным видом, — Бобылев уверяет, что это дворная собака, а не волк, но я точно видел, как глаза у него светились и как он щелкал зубами, а если мы остались целы, так это потому, что нас было двое. Машенька также в свою очередь призналась мне, что хочет непременно сходить когда-нибудь ночью в ближнюю рощу, которая была в двух шагах от дома, и посмотреть, как теплится огонек в старой часовне. Надобно вам сказать, что в этой роще похоронен был приказчик Ивана Степановича, который погиб насильственной смертью во время Пугачева; а так как он был человек очень добрый и набожный, то все почитали его невинно пострадавшим мучеником и уверяли, что будто бы в поставленной над его могилою часовне теплится по ночам огонек. Это поверье, подкрепляемое божбою очевидцев, получило, наконец, всю достоверность несомненной были не только для жителей Тужиловки, но даже и для всего соседнего экономического села.

Разумеется, смелое предприятие Машеньки мне очень понравилось, я предложил ей разделить со мною все опасности этого ночного подвига. Вот однажды, после ужина, мы вышли погулять по двору, начали гоняться друг за другом и, выждав минуту, в которую немка Луиза Карловна позаболталась с моим учителем, мосье Месмежаном, выбежали в рас-

творенную калитку; держа друг друга за руку, мы пробежали шагов пятьдесят не оглядываясь. Сначала нам можно было без труда различать тропинку, которая вела мимо часовни: ночь была лунная, и деревья росли весьма просторно по опушке рощи, но чем далее мы заходили, тем становилось темнее; мы пошли шагом. Вот я почувствовал, что рука Машеньки начинает дрожать в моей руке, она стала останавливаться и наконец, сказала прерывающимся голосом:

— Братец, я боюсь!

— Чего же ты боишься? ведь я с тобою, — прошептал я, стараясь казаться равнодушным, несмотря на то, что и меня давно уже мороз подирал по коже.

Вдруг — и теперь не могу вспомнить без ужаса — в десяти шагах от нас раздался такой отвратительный и нелепый крик, что Машенька присела от страха, да и у меня ноги подкосились. Этот крик, похожий на безумный хохот, разлился по всей роще, и в то же время что-то серое мелькнуло из-за куста, кровь застыла в моих жилах, а Машенька совсем обеспамятела.

— Не бойтесь, матушка Луиза Карловна, — раздался позади нас голос Бобылева. — Это заяц: они всегда так перекликаются весною.

— Здесь, здесь! — вскричала немка, увидев нас под деревом.

Мой учитель протянул уже руку, чтобы схватить меня за ухо, но положение, в котором мы находились, перепугало и строгих наших наставников: нас подняли, отвели домой, уложили спать и на другой день, дав препорядочную нотацию, оставили без обеда.

«К чему эти ничтожные подробности?» — скажут, может быть, мои читатели. О! Если б вы знали, как эти мелочи для меня драгоценны! С каким наслаждением, описывая первые впечатления детских лет, я переношусь мыслью в этот золотой век моей жизни! Не мешайте мне помолодеть хотя на несколько минут и не гневайтесь на меня, добрые мои читатели! Еще несколько страниц, посвященных воспоминанию, и я поведу вас вместе со мною в этот премудрый свет, в котором знают, что солнце не ложится спать, что оно почти в полтора миллиона раз более земли, а не знают того, что из всех людей, им освещаемых, одни только дети или те, которые походят на детей, могут называться счастливыми. «Следовательно, глупцы счастливее умных? — спросит какой-нибудь обросший бородою европеец. — Следовательно, невежество мы должны предпочитать просвещению?» Чтобы отвечать на этот вопрос, надобно прежде знать, каких людей эти господа называют глупцами и что величают просвещением и невежеством? Слова меняют часто свое значение. Было время (но, благодаря бога, не у нас), что кровожадный фанатизм именовали верою, а исполнение кротких евангельских добродетелей — равнодушием к вере и вольнодумством. Давно ли французы называли прихотливую волю нескольких палачей — законом; право осуждать без суда — свободою и каждое христианское чувство — фанатизмом? Давно ли?.. Но об этом поговорим после.

II. Губернский город

Я уже сказал, что мы оба с Машенькой вовсе не думали о нашем дальнем родстве, следовательно, и мысль, что она может быть со временем моей женою, не приходила мне никогда в голову. Однажды нянюшка ее, выговаривая ей за какую-то резвость, сказал: «Не стыдно ли вам, сударыня, вы уже невеста!» «Невеста! — повторил я про себя. — Невеста! Да неужели Машенька выйдет когда-нибудь замуж, будет любить другого больше, чем меня? О, нет, это невозможно!» Спустя месяца два после этого, нам случилось быть на свадьбе у одного деревенского соседа, бедного помещика, который выдавал сестру свою за нашего уездного заседателя. Я не мог без досады смотреть на веселый вид брата, который не скрывал своей радости. «Ах, какой злодей! — думал я. — Сестра его выходит замуж, а он еще радуется!» Когда в церкви, при начале венчания, жених взял из рук брата свою невесту, сердце у меня замерло, и я невольно схватил Машеньку так крепко за руку, что она чуть было не закричала. «Ах, сестрица! — шепнул я ей на ухо, — что, если когда-нибудь... Да нет! Тебя-то уж у меня никто не отымет!» Все это нимало не удивляло Машеньку: ей казалось только, что я люблю ее гораздо больше, чем другие братья любят своих сестер. Я и сам не сомневался в этом до тех пор, пока один случай не открыл мне глаз и не развил вполне чувства, которое таилось в душе моей. Вот как это было.

Накануне праздника Петра и Павла, в тот самый день, как мне минуло шестнадцать лет, вошел ко мне поутру Кондратий Бобылев.

— Честь имею поздравить со днем вашего рождения, — сказал он. — Извольте-ка вставать да одеваться, пора к обедне.

Я вскочил с постели.

— Мусью француз захворал, — продолжал Бобылев, — так мне приказано быть при вас. После обедни господа едут в город.

— Так мы с Машенькой останемся одни?

— Никак нет, сударь! Их высокородия берут вас и барышню вместе с собою.

— Как? Мы поедем в город?

— Точно так-с, в город, на ярмарку.

— Возможно ли?.. Мы будем на ярмарке!

— Как тут, сударь, поспеем к самому развалу. Извольте же одеваться! Вон уж трезвонить начали.

Я почти обезумел от радости. «Увидеть город! Быть на ярмарке! Господи, боже мой!..» Второпях я раскидал все мое платье, надел наизнанку жилет, повязал на шею вместо галстука носовой платок, наконец, при помощи Бобылева кое-как оделся и отправился к обедне. Надобно сказать правду, на этот раз молитва моя была самая грешная, потому что я беспрестанно думал о городе и с нетерпением дожидался конца службы. «Ну, если уедут без меня?» — думал я, стоя как на огне и поглядывая беспрестанно на двери. Когда, отслушав обедню, я воротился домой, завтрак был уже готов и шестиместная линея, заложенная в восемь лошадей, стояла у крыльца.

Мы отправились. Я сидел подле Машеньки. Как она была хороша в своем белом платьице, с распущенными по плечам волнистыми кудрями! Как блистали удовольствием ее любопытные взоры, как всякий неожиданный предмет возбуждал ее простодушную детскую радость! Сначала мы оба были в восторге: перед нами раскрывался новый, безвестный для нас мир. Вот мы проехали мимо этого глубокого оврага, на дне которого в тени густых деревьев скрывалось несколько крестьянских изб. Предание гласило, что тут был некогда разбойничий притон. В самом деле,

странное положение этой деревушки, существование которой и подозревать было невозможно, несмотря на то, что она была близехонько от большой дороги, оправдывало это народное поверье. Мы спустились в лощину и оставили позади себя деревянный крест, врытый в самом том месте, где лет двадцать тому назад убило громом тужиловского старосту. Это был крайний предел наших летних прогулок. Разумеется, внимание наше удвоилось, и, несмотря на единообразный вид полей, нам казалось, что все то, что мы видим, несравненно лучше того, к чему пригляделись мы с нашего детства. Вот забелелась вдали частая березовая роща.

— Посмотри, посмотри, братец! — сказала Машенька. — Ах, как хорошо! точно белый дождь!

Около двух часов любопытство наше поддерживалось, но под конец нам стало скучно: одни поля сменялись другими, за одним холмом подымался другой, все те же рощи, перелески, лощины, и только изредка кое-где, вдали от большой дороги, проглядывали, окруженные огородами, деревни.

— Скоро ли мы приедем? — спросила Машенька, зевая. — Что это, маменька, как город-то далеко от нас; едешь, едешь, а все конца нет!

Авдотья Михайловна улыбнулась и молча указала вперед.

— Что это, что это? — закричала Машенька.
— Посмотри-ка, братец, звездочка!

Это блистала в лучах полуденного солнца глава соборной церкви нашего губернского города.

Подъехав к крутому спуску, мы вышли все из линей и прошли несколько времени пешком. Когда мы взобрались на противоположный скат, то высокий холм, усыпанный домами, посреди которых подымались кое-где выкрашенные кровли каменных палат, представился нашим взорам.

— Так это-то город? — закричала Машенька, — Как он велик! Сколько в нем домов!.. И в них во всех живут?.. Ах, боже мой!

Я сам обезумел от удивления, смотря на длинную, обставленную высокими домами улицу, которая шла в гору и оканчивалась на вершине холма площадью.

— Фу, батюшки! — шепнул я вполголоса. — Какая громада домов!.. Какие огромные палаты!

— И, сударь! — сказал Бобылев, который шел позади меня. — Да что это за город — так, городишка! Такие ли бывают города. Да и то сказать: один побольше, другой поменьше, а все они на одну стать — налево дома, направо дома, а посередке улица — вот и все тут.

Восторг мой очень уменьшился, когда мы въехали в город. Начиная от самой заставы тянулись два ряда лачужек, одна другой безобразнее.

— Что это? — вскричал я невольным образом.
— Да неужели это город?

— Город, душенька! — сказала Авдотья Михайловна. — Эта улица называется Мещанской слободою.

— Город! — повторила Машенька. — Да у нашего старосты Парфена новая изба гораздо лучше этих домов. Ну уж город!

— А вот погодите, милые, выедем на нижний базар, так дома пойдут красивее.

Через несколько минут мы доехали до конца слободы, и перед нами разостлалась огромная базарная площадь, или, лучше сказать, обширный луг, застроенный со всех сторон деревянными домиками, довольно ветхими, но которые имели уже городскую физиономию и, если не величиною, то, по крайней мере, своей наружной формою, отличались от деревенских изб. Почти треть этой площади была покрыта табунами малорослых и некрасивых собою лошадей, посреди них рыскало человек тридцать всадников в безобразных ушастых шапках. Эти наездники махали своими толстыми ногайками, скакали взад и вперед и перекликивались меж собой на каком-то странном языке. Один из них, с отвратительной широкой рожею, погнался при нас за лошадью, которая отделилась от табуна, накинул на шею веревку и, несмотря на то, что она становилась на дыбы, била задом и металась во все стороны, через минуту протащил ее мимо нас.

— Ай да молодец! — сказал Иван Степанович. — Лихо сарканил.

— Что это за люди такие? — спросила Машенька. — Ах, папенька! Какие они страшные!

— Это калмыки, душенька! Они всегда пригоняют к нам на ярмарку целые косяки лошадей. Их что-то очень много — ну, видно, этот раз степные лошади нипочем будут.

Подвигаясь медленно вперед, мы поравнялись с другой частью площади, установленной телегами: сотни возов, нагруженных дугами, циновками, лаптями, деревянной посудою и всякими другими сельскими изделиями, стояли в самом живописном беспорядке. Тут простой народ кишел как в муравейнике: невнятный говор, гам и радостные восклицания сливались с громкими возгласами продавцов и покупателей, которые с ужасным криком торговались меж собою: то били по рукам, то спорили, покупщики корили товар, продавцы отвечали им бранью. В одном месте, собравшись в кружок, пировали и веселились крестьяне, сбывшие выгодно свой товар; в другом — посадские разряженные девушки лакомились орехами, покупали пряники и пели песни; тут оборванный мальчишка дул изо всей силы в хвост глиняной уточке и налаживал плясовую; там мещанский сынок испытывал свое искусство на варгане [6]; в другом углу четверо видных детин играли на дудках, а пятый, закрыв левою рукою ухо и потряхивая своей кудрявой головою, заливался в удалой песне. Вся атмосфера была напитана испарениями свежего сена, полевых цветов, огородных душистых трав и овощей, все было кругом жизнь, движение и праздник.

— Ах, как здесь весело! — закричали мы в один голос с Машенькой. — Так это-то ярмарка?

— Да, милые! — сказала Авдотья Михайловна. — А вон видите — там, где стоит много экипажей, — это ряды.

Через несколько минут мы проехали мимо обширного лубочного здания, или, лучше сказать, нескольких огромных балаганов, выстроенных под одну кровлю. Кто видел московские большие ряды, которые называются городом, тот может иметь некоторое понятие об этом временном гостином дворе. Он также состоял из крытых улиц и переулков, так же разделялся по качеству продаваемых товаров на ряды суконный, москательный, папский и суровский; точно так же толпился народ по этим крытым улицам, в которых дома заменялись лавками, точно так же вокруг этих рядов не было проезда от тесноты и множества экипажей. Разница состояла только в одной величине и в том, что в Москве ряды не лубоч-

ные, а каменные, что свет проникает в них посредством стеклянных сводов, а не сквозь натянутую парусину, и что вместо щегольских столичных карет и колясок, которыми бывает уставлена всякий день Ильинка и Никольская, — кругом лубочных рядов стояли по большей части такие экипажи, каких не встретишь даже и в Москве на гулянье в Марьиной роще, экипажи домашней работы, крепкие, вальяжные, долговечные и переходящие по прямой наследственной линии от отца к сыну, вместе с дворянской грамотою и родовым именем.

Миновав ряды, на которые я не успел порядком насмотреться, мы повернули направо в гору, и тут явился перед нами губернский город в полном величии своем и блеске. Мы ехали по Московской улице. Боже мой, что за дома! Каменные, раскрашенные разными красками, с лавками, балконами, с итальянскими окнами, в два и даже три этажа! Что шаг, то новое удивление: вот зеленый дом с красной кровлей и огромными белыми столбами; вот розовые палаты с палевыми обводами около окон; вот дом совершенно пестрый, на воротах голубые львы с золотою гривою — какое великолепие! Я молча удивлялся, а Машенька осыпала вопросами Авдотью Михайловну.

— Верно, это губернаторский дом? — спросила она, смотря на зеленые палаты с красною кровлею.

— Нет, душенька! Это дом купца Вертлюгина.

— А этот? — продолжала Машенька, указывая на голубых львов с золотыми гривами.

— Купца Лоскутникова.

— А вот этот, который всех выше?

— Купца Грошевникова.

— Купеческие — все купеческие! — вскричал я с удивлением. — Боже мой! Какие же должны быть дома у дворян?

— Деревянные, мой друг! — отвечал с улыбкою Иван Степанович.

— Странно! — подумал я. — Здесь все не так, как у нас в Тужиловке.

Мы въехали, наконец, на главную городскую площадь Я не верил глазам своим, смотря на присутственные места, запачканные, с обитой штукатуркой, с выбитыми стеклами и с почерневшей от времени деревянной крышей; но более всего сразил и зарезал меня губернаторский дом. Я воображал его мраморным с золоченою кровлей и, по крайней мере, в пять или шесть этажей, а он был только в два этажа и выкрашен просто — желтой краской! Нет! этого уже я никак не ожидал.

Надобно вам сказать, что преувеличенные понятия мои о звании гражданского губернатора основывались не на одних предположениях; мой опекун был из числа людей, которые строго держатся правила: чин чина да почитает. Он всегда упоминал с особенным уважением о тех, коим русский царь вверяет управление целой губернии и, следовательно, благосостояние нескольких сот тысяч человек. «Начальник губернии — великое дело! — говаривал часто Иван Степанович. — Он глаз царя и представитель его власти». Однажды, — я был тогда еще ребенком, — губернатор, не знаю по какому случаю, обедал в деревне у моего опекуна; это посещение, о котором много было толков и разговоров во всем нашем уезде, никогда не выйдет из моей памяти. Как теперь гляжу на эту суматоху, на эти приготовления и хлопоты, которые начались в нашем доме с раннего утра. Я был не очень здоров и сидел один в своей комнате на антресолях. За воротами, в мундире и при шпаге, стоял уездный заседатель, плешивый старичок, которого я очень любил за его ласковый и веселый нрав; но на этот раз он показался мне совсем другим человеком: он был и суетлив, и очень важен, держал себя навытяжку, поминутно поправлял мундир, снимал шляпу и вытирал платком свою лысину; впрочем, заметно было, что он храбрился так для виду, а в самом-то деле робел не шутя. Подле него толпились старики и выборные экономического селения. Эти седые грешники все были в трезвом виде и стояли с поникнутыми головами, как преступники: видно, гром грянул, так пришло перекреститься. Они слыхали не раз, что губернатор

Правдив, как Страшный суд!

а целый свет знал, то есть все экономическое село и наша Тужиловка, что эти старые греховодники опивали порядком бедных крестьян и не давали никому суда и расправы иначе, как в кабаке за ведром вина, за которое, разумеется, не они платили деньги целовальнику. Вот, этак около полудня, зазвенел вдали колокольчик, через минуту забрызганный грязью капитан-исправник примчался на тройке обывательских к нашему крыльцу. Выборные отвесили ему вдогонку по низкому поклону, а заседатель кинулся, чтобы помочь своему начальнику выпрыгнуть из телеги, но не поспел: исправник, вылезая, зацепил второпях за колесо ногою, грянулся оземь и, лежа еще на боку, прокричал: «Его превосходительство изволит ехать!» Все пришло в движение: слуги бросились толпою к воротам, опекун мой вышел на крыльцо, и вся наша дворня, женщины, девки и даже малые ребятишки, — высыпали из застольной и людских, чтоб взглянуть, хотя мельком, на губернатора. Вот показалась его карета; помнится, позади ее стояли гусары, а впереди скакали двое казаков. Когда губернаторский экипаж приблизился к воротам, плешивый заседатель до того вытянулся, что вдруг стал целой головой выше обыкновенного; старики и выборные преклонили свои грешные головы ниже пояса, а самый-то главный из них, беззаконник и пьяница, сотник Вавила, пал на колени и прослезился от умиления. Капитан-исправник отворил дверцы кареты, я высунулся до половины из моего окна, но никак не мог рассмотреть хорошенько губернатора, а заметил только, что у него преогромный нос. Этот торжественный прием, подобострастие и почет, который оказывали губернатору, любопытство, с которым все желали его видеть, а более всего необычайный страх и трепет заседателя и выборных сильно подействовали на мое детское воображение; мне казалось, что начальник губернии должен быть существом совершенно особенного рода, и хотя я не мог в уме своем облекать всех знаменитых людей в образ нашего губернатора, потому что рассмотрел только его нос, но зато во мне укоренилась и долго не могла истребиться мысль, что каждый сановник должен быть непременно с большим носом.

Объяснив читателям причину моего удивления при виде двухэтажного губернаторского дома, я возвращаюсь снова к начатому рассказу.

Выехав на городскую площадь, мы тотчас повернули направо, и наша линея остановилась у крыльца большого деревянного дома, выкрашенного серой краской. Тут жил приятель Ивана Степановича, наш

губернский предводитель, Алексей Андреевич Двинский. Мой опекун всегда у него останавливался, когда приезжал в город. Этот Двинский стоит того, чтоб я сказал о нем несколько слов. Он был видный собою и бодрый старик лет шестидесяти; человек справедливый, исполненный чести и готовый всегда и, во всяком случае, стать грудью за последнего дворянина своей губернии. Отличительной чертою его характера было необычайное добродушие, с некоторой примесью спеси, или, лучше сказать, чванства родового дворянина, у которого две тысячи душ крестьян, псовая охота, хор певчих и огромная роговая музыка, но эта слабость была в нем извинительна, он с таким простосердечием хвастался своим древним родом и богатыми поместьями, что, право, грешно бы было не только на него досадовать, но даже посмеяться над его невинным чванством. Во всем городе один только Григорий Иванович Рукавицын, самый богатый помещик нашей губернии, не любил Двинского, — вероятно, потому, что видел в нем своего единственного соперника по богатству и открытому образу жизни. Этот Григорий Иванович Рукавицын не щадил ничего, чтобы уронить Двинского в общем мнении: давал чаще его обеды, вечера и наконец завел даже домашний театр, на котором играли — вы, верно, думаете: «Недоросля» или «Бобыля?» [7] Извините! «Дианино древо» [8] и «Редкую вещь». К нему ездил весь город, все дивились его Илюшке, который пел фистулою, и отдавали полную справедливость Дуняше, которая заливалась соловьем в бравурных ариях, но, несмотря на то, когда наступали дворянские выборы, Рукавицыну наклали черных шаров, а Двинского избрали единогласно губернским предводителем.

До открытия губерний Алексей Андреевич Двинский был воеводой в одном небольшом городке, потом, во время Пугачева, которого отдельные шайки возмущали народ и долго злодействовали в нашей губернии, он командовал небольшим отрядом улан. Чтоб это не сочли анахронизмом, я должен сказать, что так назывались в то время летучие конные отряды, составленные по большей части из дворовых людей. Так как в нашей стране вовсе не было тогда регулярного войска, то некоторые из богатых помещиков должны были прибегнуть к этому средству, чтоб приостановить хотя на время успехи пугачевской сволочи и держать в повиновении крестьян. Двинский оправдал вполне доверенность своих товарищей: он сделался в короткое время грозою мятежников, его строгая справедливость и удальство вошли в пословицу, и одно имя наводило робость не только на бунтующих крестьян, но даже и на самых казаков шайки Пугачева. Не раз случалось, что появление его с несколькими уланами усмиряло целые селения. Я очень любил слушать, когда он рассказывал о своих партизанских подвигах; помню, однажды при мне, говоря, по своему обыкновению, протяжно и выговаривая все слова на о. Двинский рассказал один случай, который доказывает, как сильно действует на наш простой народ имя человека, известного своим удальством и справедливостью. «Это было так, под вечер, — говорил он. — Я стоял по ею сторону Суры, а на той высыпало из села сотни две бунтовщиков. Вот кричат из-за реки: «Алексей Андреич, покорись!» — «Не покорюсь вам, злодеи!» — «Эй, Алексей, сдайся! Худо будет!» — «Не сдамся вам, разбойники! Постойте, постойте — вот я вас!» Со мной было всего-навсего человек пять улан, — да что тут думать — смелым бог владеет! бух прямо в реку, вплавь. Лишь только я выбрался с моими уланами на берег, да паф из пистолета. Эге! Гляжу, мужички-то мои и оробели. «Кто против нашей матушки встает? Говори!» — зыкнул я во все горло — они всем миром и бряк на колени. «Виноваты, батюшка Алексей Андреевич! Глупость наша такая — помилуй!» — «Вот я вас помилую!.. Постойте-ка, постойте! Есть ли у вас большой сарай на господском дворе?» — «Есть, кормилец». — «Так сберитесь же туда все от мала до велика и держите себя под караулом — слышите?» — «Слышим, батюшка». — «Мне некогда с вами возиться, надобно еще у соседей ваших побывать. Завтра опять к вам буду» — «Слышим-ста, батюшка! Только помилуй!» — «А вот посмотрю, утро вечера мудренее. Кого надо повесить — повешу, кого помиловать — помилую. Ну, что ж, стали! Ступай, говорят, да у меня смотри — караулить себя хорошенько». — «Станем караулить, родимый!» — «Ну, то-то же! Ждите меня завтра, чем свет». — «Будем-ста ждать, батюшка, только помилуй!»

— Я воротился к ним на другой день, — продолжал Алексей Андреевич: — Смотрю: у сарая стоит часовой с дубиной Я подъехал, караульный снял шапку, поклонился в пояс и сказал мне: «Здравствуй, батюшка Алексей Андреевич!» А там вдруг как крикнет: «Кто иде?» «Командир!» Вот он вытащил запор, отворил ворота, я вошел, и что ж вы думаете? Гляжу, вся вотчина поголовно сидит в сарае.

Алексей Андреевич Двинский был в свое время человек довольно ученый, то есть он любил читать, знал почти наизусть Ролленя, Иосифа Флавия и Квинта Курция [9], имел некоторые понятия о науке, так, как понимали ее у нас лет семьдесят тому назад. Надобно сказать правду, он употреблял иногда во зло свою ученость и подчас слишком щеголял ею. Имена знаменитых людей, а в особенности древних философов, поминутно были у него на языке. Разумеется, почти все дворяне нашей губернии преклоняли с благоговением свои главы пред его глубокой ученостью, выключая, однако ж, губернатора, который, несмотря на близкое свое родство с Алексеем Андреевичем, беспрестанно спорил и часто сбивал вовсе своими простодушными вопросами. Наш губернатор был человек неученый, всю жизнь служил в военной службе и, как говорится, был честен по булату. Конечно, и его иногда обманывал секретарь, но зато, если он замечал где-нибудь упущения по службе или открывал нечаянно какое-нибудь злоупотребление, то подымал такой штурм, что не только присутствующие в нижних инстанциях, но и в высших местах месяца по два сряду дрожкой дрожали и ходили все по струнке. Доступ к нему был вовсе не тяжел, он принимал просьбы ото всех, говорил сам с последним мещанином, да только вот что было худо: если проситель изъяснялся не толковито или говорил слишком протяжно, то он отсылал его к секретарю или просто выталкивал вон из своего кабинета. Сестра его, Марья Степановна, жена Алексея Андреевича Двинского, слыла предоброю старушкою, не пропускала ни одной службы, помогала бедным, любила знать все, что делается в городе, и, сверх того, была большая мастерица раскладывать гранпасьянс и считать года всех невест, которые позасиделись в девках.

Алексей Андреевич Двинский встретил нас в гостиной, эта комната поразила меня своим роскошным убранством. Огромная хрустальная люстра, под зеркалами на подстольниках жирандоли [10], убранные также граненым хрусталем, по стенам масляные картины в золоченых рамах, наклейные столы, кресла и канапе [11], обитые полосатым штофом [12], — все это показалось мне чрезвычайно великолепным. Хозяин обнял с искреннею радостью моего опекуна и потрепал меня ласково по щеке, а супруга его расцеловалась с Авдотьей Михайловной и Машенькой. На канапе сидел какой-то гость с большим носом, в широком сюртуке с звездою. Он также встретил ласковым словом Ивана Степановича, который поклонился ему весьма почтительно и стал величать превосходительством, по всем этим приметам мне нетрудно было узнать в нем губернатора. Признаюсь, я очень оробел сначала, но как поосмотрелся и заметил, что он точно такой же человек, как и все другие, то стал посмелее, придвинулся поближе к хозяину, который о чем-то с ним спорил, и стал вслушиваться в их разговор.

— Да полно, братец, из пустого в порожнее переливать, — говорил губернатор, набивая свой огромный нос табаком. — Знал бы я наказ нашей матушки Екатерины Алексеевны, регламент Петра Первого, отчасти уложенье царя Алексея Михайловича да правил бы губернию честно, добросовестно и со всяким опасением — так вот тебе и вся наука! На что мне ваши финты-фанты да всякие ученые премудрости! Я, брат, за них и гроша не дам.

— И не давай, любезный! — сказал с усмешкою Двинский. — Ведь наука нечто другое, она не всякому впрок идет, и премудрый Сократ говорил однажды своему ученику Платону… [13]

— Уж как ты мне надоел с этим Сократом, — прервал губернатор. — Наладил одно: Сократ да Сократ! И что он был за человек такой?

— Афинский гражданин, любезный!

— Только-то? Гражданин — то есть, по-нашему, мещанин? Невелика птица! Посмотрели бы мы его премудрости, если б он был гражданским губернатором! Тут, брат, и не мещанин затылок у себя зачешет. Эка важность: «премудрый Сократ!..» Видали мы этих Сократов!

— Едва ли, любезный! Ты книг не читаешь, так вряд ли когда-нибудь с ним встретишься — хе, хе, хе!

— Да что в книгах-то проку? Вот ты третьего дня втер насильно мне в руки эту — как бишь, ее зовут?.. Прах ее возьми!..

— «Грациан — придворный человек» [14].

— Да, да! Ну, уж книга! Черт знает что в ней напечатано! В толк не возьмешь!

— Хе, хе, хе! Что любезный, не про нас, видно, писано? А не худо бы тебе прочесть со вниманием регулу [15] шестьдесят первую о том, как мы должны преуспевать в изрядствах.

— Читай, брат, сам по субботам.

— Ну, а прочел ли ты мою книгу о семи мирах?

— Черт ее возьми! И какое мне до них дело?

— Какое? Эх, ваше превосходительство! Плох тот человек, говорит Марк Аврелий [16], который не знает, по чему он ходит и что его покрывает.

— Да кто же этого не знает? Известное дело: мы все ходим по земле, а над нами небо.

— Да на небе-то что?

— Мало ли что: солнце, месяц, звезды.

— А звезды-то что такое?

— Как что такое?.. Ну, звезды, да и все тут.

— Нет не все! Не знаешь, так я тебе скажу. Звезды небесные такие же миры, как и наш.

— Смотри, пожалуй! Ах ты, мудрец, мудрец! Видишь, что выдумал! Полно, брат, рассказывай другим!

— Я тебе говорю.

— Да что ты, там был, что ль?

— Не был, да знаю.

— Миры! Хороши миры по маковому зернышку!

— Так нам отсюда кажется, а, в самом деле, они более нашей земли и, вероятно, служат жилищем для разумных тварей. Статься может, там есть такие же умные губернаторы, как ты, и такие же глупые коллежские советники, как я, — хе, хе, хе!

— Эку дичь порет! Да разве тебе не случалось видеть, что звезды-то с неба падают?

— Случалось, любезный!

— Так отчего же до сих пор ни одного губернатора или коллежского советника оттуда не свалилось, и ни одна звезда никаких бед не наделала? Да если б они были не только с нашу землю, а вот хоть с наш губернский город, так уж, верно б, много народу передавили.

— То-то и есть, любезный! Ученье — свет, а неученье — тьма. Ты, сердечный, и этого не знаешь, что звезды, которые падают на землю, не те, которых мы видим на тверди небесной.

— Так что ж это за звезды такие?

Этот вопрос, и в наше время не вовсе еще решенный, казалось, очень затруднил Двинского. Он наморщил лоб, понюхал медленно табаку и сказал:

— Ты хочешь знать, что это за звезды такие?

— Ну да!

— Вот изволишь видеть, любезный! Эти падающие звезды не то, что звезды неподвижные.

— А какие же?

— Какие! Ну, разумеется, особые, отличные, то есть — пойми меня хорошенько — они, сиречь эти звезды, не то что звезды, а так сказать, подобие звезд.

— Да что ж они такое?

— Экий ты, братец, какой! Ведь я тебе толком говорю, те звезды сами по себе, а эти сами по себе. Звезда звезде не указ, любезный!

— Да не о том речь! Ты мне скажи, что это за звезды, которые падают?.. А?.. Что?.. Видно, ученость-то твоя в тупик стала?

— Да что с тобой говорить! — сказал с приметной досадой Двинский. — Ведь это для тебя халдейская грамота [17], любезный! Недаром сказано: не рассыпайте бисера…

— Спасибо, друг сердечный! Вот к кому применил!

— Не погневайтесь! Так к слову пришлось.

Я не мог дослушать этот ученый диспут, потому что меня отвели во флигель, где я скинул дорожное платье и нарядился в свой коричневый фрак. Потом, часу в шестом после обеда, заложили опять нашу линею, и мы все вместе отправились на сборное место целого города, то есть в лубочные ряды на ярмарку.

III. Ярмарка

Верно, вам случалось не раз слушать с досадою, по-видимому, совершенно несправедливые жалобы

стариков на все то, что мы называем улучшением; не смейтесь над ними, не осуждайте их! Неужели, в самом деле, вы думаете, что старик — если он не совсем еще выжил из ума — не понимает, что каменный, удобный и красивый дом лучше каких-нибудь деревянных неуклюжих хором, что хорошо вымощенная и опрятная площадь несравненно приличнее для всякого города, чем грязный луг, по которому и весной и осенью вовсе нет проезда, что ехать в почтовой спокойной карете по гладкому шоссе во сто раз приятнее, чем скакать в тряской кибитке по бревенчатой мостовой или изрытой колеями дороге, поверьте, он это все и видит, и чувствует, и понимает, — почему же он почти всегда предпочитает дурное старое хорошему новому? Почему? На это отвечать нетрудно — послушайте!

Один из моих столичных знакомых, который был с ребячества искренним приятелем и воспитывался вместе с деревенским моим соседом Волгиным, прошлого года приехал из Петербурга нарочно для того, чтоб с ним повидаться. Он заехал по дороге ко мне, на ту пору был у меня в гостях сын Волгина, молодец лет двадцати, писаный красавец. Я тотчас их познакомил, и, когда этот молодой человек объявил приезжему, что он месяц тому назад похоронил своего отца, мой столичный приятель залился слезами.

— Вот был человек! — говорил он, всхлипывая. — Перевелись такие люди! А молодец-то был какой!

— Полно, так ли, любезный? — сказал я, когда молодой Волгин вышел из комнаты. — Покойник был некрасив собою — вот сын его, так нечего сказать...

— Да, да! Конечно, сын хорош, а отец был еще лучше.

— Что ты, помилуй! У него все лицо было изрыто оспою.

— Да, это правда: мы с ним занемогли в одно время, меня бог помиловал, а его, бедняжку, больно злодейка изуродовала. Боже мой! Как мы с ним обрадовались, когда, продержав нас месяца два взаперти, выпустили в первый раз из комнаты. Уже то-то мы набегались досыта! С ног сбили нашего дядьку Прохора, а пуще Волгин — куда легок был на ногу!

— Неужели? Да ведь он всю жизнь свою хромал!

— Да, да, прихрамывал! Ему не было еще и шести лет, как он переломил себе ногу, мы лезли с ним через забор, он как-то сорвался, упал неловко, и с тех пор... Ах ты, господи, боже мой! Как вспомню: какие мы были проказники! Бывало, я на любое дерево взбегу как по лестнице, няня меня ищет, а я-то сижу себе на суку да кричу кукушкою. Преживой был ребенок!

— Мне помнится также, — продолжал я, — у покойника был нос на сторону?

— Правда, правда! Да ведь это к нему очень шло! Бывало, он станет нам корчить гримасы: рот на одну сторону, нос на другую, так мы все и помрем со смеху! Линский начнет его передразнивать, Мурашкин также... Бог мой!.. Все померли! А люди-то, какие были — люди!

— Не спорю, любезный! Только как же твой друг Волгин, с рябым лицом, хромой ногой и кривым носом был лучше своего сына, первого молодца и красавца во всей нашей губернии?

Приятель мой задумался, покачал печально головою и, пожав мне крепко руку, сказал:

— Да, мой друг! Волгин, на мои глаза, был лучше всех нынешних красавцев, его лицо напоминало бы мне самые блаженные годы моей жизни. Ты — дело другое: ты не вырос с ним вместе, при встрече с ним не оживились бы в твоей памяти все детские радости, все счастье юношеских лет, когда свет нам кажется прекрасным, надежда верным, неизменным другом, а все люди братьями. Если бы я его увидел, то помолодел бы тридцатью годами, пустился бы бежать с тобою взапуски! Вместо его я увидел сына, и меня опять пригнуло к земле, все прошедшее как будто бы не бывало, а без него худо нашему брату старику. Настоящее хоть брось, а будущее... Ах, мой друг, мой друг! Ты еще не стар, а мне скоро восемьдесят стукнет. Нет! воля твоя, хорош сын, а отец был гораздо лучше!

Я думал почти тоже самое, когда спустя лет тридцать попал нечаянно на эту годовую ярмарку нашего губернского города. С какою детскою радостью торопился я воскресить в душе своей все прежние впечатления, как встрепенулось мое сердце от удовольствия, когда лакей, притворив дверцы кареты, закричал: «Пошел на ярмарку!» Подъезжаю — и что же?.. Боже мой! Какое превращение! Вместо лубочных балаганов и лавок, удрапированных рогожками, у которых была такая праздничная, веселая наружность, — пречопорный гостиный двор, раскрашенный, обитый тесом, и даже — о господи! ожидал ли я такого несчастия! — выстроенный по плану и с наблюдением всех правил изящной архитектуры! Куда девался этот упоительный запах сырых лубков и свежих циновок? Где эти дождевые лужи, около которых так осторожно и подбирая свои платьица обходили наши городские барыни? На каждом шагу такие улучшения, везде такая чистота и опрятность, такое благочинье! Нет ни суматохи, ни тесноты, ну, словом, все так чинно, так прекрасно и так скучно, что я чуть-чуть не заплакал с горя! «Хорошо, — думал я, прохаживаясь по широким рядам.

Что и говорить — хорошо! Да эти щеголеватые ряды мне ничего не напоминают. Это уж не та ярмарка, на которой я так веселился, та сгибла и пропала вместе с моею молодостью! Та была просто годовой праздник, на котором в лубочных временных балаганах веселились без причуд, нараспашку, а теперь — боже мой! изящное здание с колоннами! Ну что тут будешь делать? Хочешь — не хочешь, а надевай вместо полевого кафтана фрак или модный сюртук! Нет, прежняя ярмарка была гораздо лучше!»

Попытаюсь описать ее.

Я уж сказал моим читателям, что мы, отобедав у Алексея Андреевича Двинского, отправились всей семьей на ярмарку. И теперь еще не могу вспомнить без восторга и радостного замирания сердца о том, как мы подъехали к рядам, как вышли из нашей линей, как глазам моим представилась эта бесконечная перспектива слабо освещенных лавок, которые, вместе с многолюдной толпой народа, терялись вдали в каком-то заманчивом сумраке. Когда мы вошли в одну из главных улиц этих ярмарочных биваков, голова моя закружилась и стало рябить в глазах. Я не знал, на что смотреть: тут лавочки наполнены серебряною посудою и образами в золоченых окладах, там тульский магазин с блестящими стальными изделиями, подле целые горы граненого хрусталя, вот люстра огромнее и лучше той, которая поразила меня в доме Алексея Андреевича Двинского. «Боже мой, боже мой! — шептал я, протирая глаза.

— Нет! Такого богатства и роскоши я в жизни своей не видывал!.. Да это все стоит миллионов! Боже мой, боже мой!» Пройдя шагов сто, мы остановились подле одной угольной лавки с дамскими товарами. Авдотья Михайловна и Машенька стали торговать разные шелковые материи, Иван Степанович отправился покупать себе енотовую шубу, а я, оправясь немного от первого изумления, начал расхаживать взад и вперед по рядам, чтоб людей посмотреть и себя показать. На мне была пуховая круглая шляпа, которую с месяц тому назад брат моего опекуна, проезжая из Москвы в Саратов, подарил мне на память. Эта шляпа с высокой тульей и тремя ленточками, из которых каждая застегивалась особой серебряной пряжкою, была, по словам его, самой последней моды. Я обновил ее для ярмарки и, признаюсь, думал, что народ будет останавливаться и смотреть на эту щегольскую шляпу, что, может быть, многие станут говорить: «Посмотрите, какая шляпа! Сколько пряжек!.. Кто этот молодой человек в такой модной шляпе?» Вот я себе хожу да посматриваю: не взглянет ли кто-нибудь? Никто! Как я ни старался выказать свою шляпу: то надевал ее набекрень, то закидывал назад — все напрасно! никто не удостоил ее ни одним взглядом, и когда я встретил человек десять точно в таких же шляпах и даже одного, у которого вся тулья снизу доверху была опутана ленточками и унизана пряжками, то поневоле смирился и почувствовал всю ничтожность суеты и гордости мирской. Видя, что нет никакой пользы себя показывать, я решился смотреть на других. Прислонясь к одной лавке, я стоял с полчаса, не меняя места, и глядел с удивлением на эту пеструю и многолюдную толпу гуляющих. «Откуда набралось столько народа? — думал я. — Господи, боже мой! И это все господа!» Они встречались, здоровались, обнимались, хвастались своими покупками и рассказывали друг другу всякие новости. Несколько расфранченных молодых людей, в сюртуках с петлицами, в венгерках, в модных фраках с узенькими фалдочками и высокими лифами, увивались около дам, они такими молодцами подходили к барышням, так ловко потчевали их шепталою [18], финиками и разными другими сластями, отпускали такие замысловатые комплименты с примесью французских слов, что я не мог смотреть на них без зависти. Почти все молодые барыни и барышни сидели рядышком по прилавкам, к явному прискорбию купцов, которым не оставалось места, где бы они могли показывать покупщикам свои товары. Я узнал впоследствии, что этот обычай приезжать в ряды для того только, чтоб сидеть по нескольку часов сряду на прилавках, не всегда имеет своей целью одно препровождение времени, для иных зрелых девушек он служил — как бы это сказать повежливее? — он служил каким-то иносказательным возвещением, что и они, наравне с другими товарами, ожидают покупщиков. Эта выставка невест в прежних лубочных рядах была очень выгодна для девиц, которые имеют причины показывать себя в полусвете. Я заметил также, что, чем дурнее была какая-нибудь барышня, тем более отыскивалось у нее приятельниц, которые старались наперерыв сидеть с нею рядом. Слабый свет и безобразная соседка удивительно как помогают очарованию туалета, при этих двух средствах обольщения приятная наружность становится пленительною, а тридцатилетняя красавица превращается в ребенка.

Я забыл сказать, что мой опекун, отправляясь вместе с нами на ярмарку, отдал в полное мое распоряжение синенькую ассигнацию [19] и рубля два мелким серебром. Сначала, развлеченный новостью предметов, которые на каждое шагу возбуждали мое удивление и любопытство, я совершенно позабыл об этом важном обстоятельстве. Наглядевшись досыта на толпы гуляющих и лавки, наполненные дорогими товарами, я обратил, наконец, внимание на разбросанные посреди рядов небольшие лавочки, или шкапы с разными мелочными товарами. Я остановился подле одного из них: перочинные ножички различных форм, красные туалетцы с зеркалами, точеные игольники, рулетки, сафьяновые бумажники с прибором, готовальни, духи и сотни других безделушек обворожили меня своим разнообразием и приманчивой наружностью, я пожирал их глазами. «Боже мой! — прошептал я невольным образом. — Что, если б у меня было шереметьевское богатство! Я купил бы все эти вещи разом, разложил бы у себя на столе и любовался бы ими с утра до вечера. Э! Да что ж я, в самом деле? Ведь у меня есть деньги — куплю хоть что-нибудь!» Вот, собравшись с духом, я решился, наконец, спросить купца о цене некоторых из его товаров. Мы скоро поладили, и надобно видеть, как важно и с какою гордостью я вынул мою казну и отсчитал деньги, когда в первый раз в жизни, сам, лично своей особою сторговал и купил костяной волчок, роговой тупейный гребешок и банку московской жасминной помады, — не правда ли, вас это удивляет? Молодой человек, которому минуло уже шестнадцать лет, покупает для своей забавы волчок! Да! Теперь это было бы очень удивительно, но лет сорок тому назад шестнадцатилетнего мальчика называли еще ребенком, а молодой восемнадцатилетний человек не считал себя ни законодателем вкуса, ни публицистом, ни глубоким мыслителем, не старался, без всякого призвания, разыгрывать роли русского Канта, Окена или Шлегеля [20] и ни в каком случае не стыдился быть молодым и уважать заслуги старых людей. Кто не знает наизусть нашего русского родного поэта, который сказал:

Все идет чредой определенной
Смешон и ветреный старик.
Смешон и юноша степенный... — [21]

и кто не согласится со мною, что последний стих, к несчастию, вовсе не выражает дух нашего времени. Молодые люди — юноши девятнадцатого столетия! Поверьте старику, который, несмотря на то, что принадлежит к прошедшему веку, не менее вашего ненавидит невежество и радуется успехам просвещения, — не торопитесь жить, оставайтесь подолее детьми! Зачем весною украшать ваше юное чело поблекшими цветами осени? Она придет, злодейка зима! Не бойтесь — придет! Засыплет вас своим холодным снегом, заморозит ваше воображение, убьет всю силу души и, прежде чем вы успеете оглянуться с горем на прошедшее, накроет вас навеки своим белым саваном.

Истратив на эту покупку не более половины моей казны, я решился на остальные деньги купить знаменитый роман Дюкредюмениля [22] «Яшенька и Жоржета», о котором слышал чудеса от одного из наших соседей. Книжная лавка была в двух шагах, но около нее толпилось так много покупщиков, что я должен был минут десять дожидаться моей очереди. В то са-

мое время, как я подошел к прилавку, передо мною раздался голос дядьки моего Бобылева.

— Хозяин! — проревел он своим густым басом. — Есть у тебя арихметика с числами? — Купец подал ему небольшую книжку. — Это не та! — сказал Бобылев, взглянув на заглавный лист. Книгопродавец подал ему другую. — И это не та! Ты дай мне настоящую!

— Да какую же тебе надобно арифметику? — спросил с нетерпением книгопродавец.

— Вестимо какую! Дай мне арихметику, которая начинается вот так: «Вначале бог сотворил небо и землю».

— Такой нет.

— Как нет! Я сам видел у нашего попа Егора, в красной обертке, первая страничка позамарана.

— Добро, добро! Пошел прочь от лавки! Не до тебя!

— Тише, тише, барин! Что ты?

— Говорят тебе, пошел прочь!

— Эй, любезный! — закричал громким голосом дюжий помещик в немецком однобортном кафтане и плисовых сапогах. — Есть у тебя Радклиф? [23]

— Есть, сударь! Какой роман прикажете?

— Какой? Ведь я тебе сказал, Радклиф.

— Да что, сударь? «Лес» или «Сенклерское Аббатство»?

— Лес? Какой лес? Нет, кажется, жена не так говорила.

— «Итальянец», «Грасвильское Аббатство».

— Нет, любезный, нет!.. Что-то не так.

— «Удольфские таинства»?

— Та-та-та! Их-то и надобно! Давай сюда!

— Есть у вас — «Дети Аббатства?» — пропищал тоненький голосок.

— Послушайте! — сказала молодая дама с томными голубыми глазами. — Пожалуйте мне «Мальчика у ручья» г<осподина> Коцебу [24] и «Бианку Капеллу» Мейснера [25].

— Что последняя цена «Моим безделкам»? [26] — спросил, пришептывая, растрепанный франт, у которого виднелась только верхушка головы, а остальная часть лица утопала в толстом галстуке.

— Позвольте, позвольте! — прохрипел, расталкивая направо и налево толпу покупщиков, небольшого роста краснолицый и круглый, как шар, весельчак, в плисовом полевом чекмене и кожаном картузе.
— Здорово, приятель! — продолжал он, продравшись к прилавку. — Ну что? Как торг идет?

— Слава богу, сударь!

— А знаешь ли, братец? Ведь я хочу с тобой ругаться.

— За что-с?

— Что ты мне третьего дня продал за книги такие? «Житие Клевеланда» [27], я думал и бог знает что, ан вышло дрянь, скука смертная: какие-то острова да пещеры, гиль [28], да и только! Вот вчера, спасибо, друг потешил, продал книжку! Сегодня я читал ее вместе с женою — так и помирали со смеху, ну уж этот Совестдрал Большой Нос! [29] Ах, черт возьми — какие бодяги корчит! Продувной малый!

— Да-с, книга веселая-с!

— Дай-ка мне, братец! Говорят, также больно хороша «Странные приключения русского дворянина Димитрия Мунгушкина» [30].

Наконец пришел и мой черед.

— Пожалуйте мне роман Дюкредюмениля «Яшенька и Жоржета», — сказал я робким голосом книгопродавцу.

Он снял с полки несколько книг и подал мне «Ай, ай! четыре тома! Уж верно, они стоят, по крайней мере, рублей восемь, а у меня не осталось и четырех рублей в кармане, я спросил о цене.

— Десять рублей!

— Можно их немножко просмотреть? — сказал я, заикаясь.

— Сколько вам угодно! — отвечал вежливый книгопродавец.

Я взял первый том, уселся на прилавке подле большой связки книг и начал читать. Через несколько минут пять или шесть барынь расположились на том же прилавке подле меня. Я мог слышать их разговор, но огромная кипа книг, которая нас разделяла, мешала им меня видеть. Углубясь в чтение моей книги, я не обращал сначала никакого внимания на их болтовню, но под конец имена Авдотьи Михайловны и Машеньки так часто стали повторяться, что я нехотя начал прислушиваться к речам моих соседок.

— Да! — говорила одна из дам. — Эта Машенька Белозерская — девочка хорошенькая, неловка — это правда, но она еще дитя.

— Дитя! — подхватила другая барыня. — Помилуйте! Она с меня ростом! Я думаю, ей, по крайней мере, пятнадцать лет.

— Нет! Не более тринадцати.

— Так зачем же ее так одевают? Как смешна эта Авдотья Михайловна! Навешала на свою дочку золотых цепочек, распустила ей по плечам репантиры и таскается за ней сама в ситцевом платье, ну точно гувернантка! Да что она? Не ищет ли уж ей жениха?

— Как это можно! Ребенок! Да, кажется, им это и не нужно.

— А что?

— Так! Авдотья Михайловна смотрит смиренницей, а хитра, бог с нею.

— Да что такое?

— А вот изволите видеть: у них воспитывается сирота!..

— Уж не этот ли мальчик, лет шестнадцати, который ходил с ними сейчас по рядам?

— Да, тот самый.

— У него приятная наружность.

— И восемьсот душ.

— Вот что!

— Они живут безвыездно в деревне — соседей почти нет... Всегда одна да одна в глазах... Теперь понемножку свыкнутся, а там как подрастут...

— Понимаю!.. Ай да Авдотья Михайловна!.. Восемьсот душ!.. Ни отца, ни матери!.. Да это такая партия, что я лучшей бы не желала и для моей Катеньки.

«Что эти барыни? — подумал я, — с ума, что ль, сошли? Да разве я могу жениться на Машеньке?»

— Постойте-ка, постойте? — заговорила барыня, которая не принимала еще участия в разговоре.
— Что вы больно проворны! Тотчас и помолвили и обвенчали — погодите! Ведь этот сирота, кажется, близкий родственник Белозерским.

— Кто это вам сказал? — возразила одна из прежних дам. — Да знаете ли вы, как они родня? Дедушка этого сироты был внучатным братом отцу Ивана Степановича Белозерского.

— Вот что! Так они в самом дальнем родстве?

— Да! Немного подалее, чем ваша племянница, Марья Алексеевна, была до свадьбы с теперешним своим мужем Андреем Федоровичем Ижорским,

а если не ошибаюсь, так для этой свадьбы вам не нужно было просить архиерейского разрешения.

— Смотри, пожалуй! Ну, Белозерские! Как ловко они умели все это смаскировать. Сиротка! Племянник, матушка! А у сиротки— то восемьсот душ, а племянник-то в двенадцатом колене! Умны, что и говорить — умны!

— Да ну их совсем! Какое нам до них дело?

— Какое дело? Помилуйте! Да это сущий разврат, мальчик взрослый, девочка также почти невеста, чужие меж собой — и допустить такое обращение!.. А все интерес! Посмотришь на них: точно родные брат и сестра. Я сама видела — целуются... фуй, какая гадость!

— И, матушка Анна Лукьяновна! Венец все прикроет!.. Да что мы здесь уселись? Пойдемте-ка лучше в галантерейный ряд, здесь бог знает что за народ ходит.

Соседки мои, продолжая меж собой разговаривать, пошли прочь от книжной лавки, и я остался один. Как теперь помню, какое странное впечатление произвело на меня это неожиданное открытие: первое ощущение вовсе не походило на радость, я испугался, сердце мое сжалось, слезы готовы были брызнуть из глаз. «Я не брат Машеньке, мы почти не родня! Боже мой!.. Но я могу на ней жениться, мы вечно будем вместе, она не выйдет замуж за какого-нибудь чужого человека — этот злодей не увезет ее за тридевять земель... не станет требовать, чтобы она любила его более меня... Нет! Тогда уж никто нас не разлучит?..» Все эти мысли закипели в голове моей, заволновали кровь в жилах, овладели душою, все понятия мои перемешались, прошедшее, настоящее, будущее — все слилось в какую-то неясную идею о неизъяснимом счастии, о возможности этого счастия, и в то же время страх, которого я описать не могу, это безотчетное чувство боязни при виде благополучия, которое превосходит все наши ожидания, которому и верить мы не смеем, обдало меня с ног до головы холодом. Я держал книгу по-прежнему перед собою, перевертывал листы, глаза мои перебегали от одной строчки к другой, но я ничего не понимал, ничего не видел, все слова казались мне навыворот, и, чтоб найти смысл в самой обыкновенной фразе, я перечитывал ее по нескольку раз сряду.

— Ну что, сударь! — спросил меня купец. — Нравятся ли вам эти книжки?

— Очень, — ответил я, не смея поднять кверху глаза.

— Прикажете завернуть?

— Нет-с! Теперь не надо. Возьмите ее. Боже мой! Как жарко!

— Нет, кажется, здесь довольно прохладно!

— Не знаю, а мне что-то очень душно.

— Здравствуй, братец! — раздался подле меня пленительный голос Машеньки. — А мы уж тебя искали, искали!

Я спрыгнул с прилавка, Машенька взяла меня за руку и наклонилась, чтоб поцеловать в щеку. Я вспыхнул и отскочил назад.

— Что это такое? — вскричала с удивлением Машенька. — Что ты, братец?

— Ничего, Машенька, ничего!

— Да что ж это значит?

— Молчи, пожалуйста! — сказал я вполголоса. — Я все тебе расскажу.

— Что вы это? Уж не ссоритесь ли? — спросила Авдотья Михайловна, рассматривая полный месяцеслов, который лежал на прилавке.

— Не знаю, маменька, братец что-то...

— Замолчи, бога ради! — шепнул я, дернув за руку Машеньку.

— А! Вы все здесь? — сказал Иван Степанович, подойдя к нам с двумя помещиками, из которых один был близким нашим соседом. — Вы, барыни, ступайте домой в линее, а мы пойдем теперь на конную, ты, Саша, — продолжал он, обращаясь ко мне, — охотник до лошадей, пойдем вместе с нами.

— А как же вы домой? — спросила Авдотья Михайловна.

— Пешком, матушка!

— Такую даль!

— Ох вы, барыни, барыни! Вам все страшно. Эка даль: версты полторы! Добро, добро! Ступайте с богом, а мы уж дойдем как-нибудь. Да где ваши люди? Егор — здесь, а Филька где?

— Ушел куда-то.

— Ну, так и есть! Верно, в кабаке.

— Нет, Иван Степанович! Он нынче не пьет, а так, зазевался где-нибудь, да мы доедем и с одним человеком.

— Хорошо, хорошо! Ступайте же!

Иван Степанович посадил в линею жену и дочь, а сам вместе со мною и двумя своими приятелями отправился пешком на конную. Мы ходили уже около часу по площади, пересмотрели лошадей пятьдесят, и мне под конец сделалось бы очень скучно, тем более что я горел нетерпением переговорить с Машенькой, если б меня не забавляли время от времени разные ярмарочные сцены, в которых особенно отличались цыгане. Надобно было видеть, с каким искусством эти природные барышники надували русских мужичков, несмотря на их сметливость и догадку. При мне один цыган продал крестьянину кривую лошадь, он так проворно повертывал ее здоровым глазом к мужику, так, кстати, подхлестывал кнутом и заставлял становиться на дыбы, когда покупщик заходил со слабой стороны, что ему не удалось ни разу взглянуть на дурной глаз. Другие цыгане стояли кругом и кричали во все горло: «Экий конь, экий конь! Эва, грудь-то какая! Вали смело сто пудов на телегу! А ноги-то, ноги! Вовсе бабок нет!.. Всем взяла!.. Богатый конь!.. Редкостная лошадь...» Мужичок вытащил из-за пазухи свою мошну, да, на его счастье, какой-то мещанин вклепался в эту лошадь, привел полицейского, и цыган вынужден был, в доказательство своей невинности, объявить, что у его клячи на правом глазу бельмо, тогда как, по словам мещанина, украденная лошадь была со здоровыми глазами.

Иван Степанович, не найдя себе по нраву коня, сбирался уже домой, как вдруг подошел к нам Александр Андреевич Двинский.

— Здравствуйте, господа! — сказал он. — Пойдемте-ка, я вас потешу русской забавою. Вот тут на площади кулачный бой, стена на стену, здешние посадские — против фабричных и дворовых.

— Не люблю я этой забавы! — сказал мой опекун. — Ну что хорошего? Стравят людей, как собак, тот без глаз, у того рыло на сторону — за что?

— Экий ты, братец, какой! Да в том-то и есть наше русское удальство: сам без ребра, да зато и у другого зубов во рту не осталось. Нет! Люблю эту потеху,

и у древних римлян были подобные забавы, да еще почище нашего: их гладиаторы бились не на живот, а на смерть.

— Да что в этом хорошего?

— А вот попробуй посмотри, так, может статься, у самого разыграется кровь молодецкая. Пойдем-ка, пойдем!

Мы вышли на простор, и перед нами открылась часть площади, на которой стояли одна против другой две густые толпы народа, в каждой было человек по пятидесяти, с открытыми головами и в больших кожаных рукавицах. Посреди этих двух противных сторон дюжины две мальчишек, как застрельщики перед колоннами, дрались врассыпную, таскали себя за волосы и тузили друг друга без всякого милосердия, многие из них были уже с разбитыми носами и ревели в неточный голос. Понемногу от каждой стены стали отделяться бойцы покрупнее, в разных местах завязались отдельные единоборства, мальчишки рассыпались врозь, и через несколько минут началась общая свалка.

— Ай да фабричные! — вскричал Двинский. — Ай да дворовые! Как они душат посадских! Смотрика, смотри! Кто это впереди?.. Так варом всех и варит!.. Ну, молодец!.. Эге! Как он их лущить начал!.. Экий чудо-богатырь! Смотри, смотри!.. Словно снопы, так и валятся!

— Что это? — сказал Иван Степанович. — Да это, никак, Филька.

В самом деле, этот отличный боец был тот самый слуга, которого отсутствие заметил мой опекун, отправляя Авдотью Михайловну домой.

— Ну, так и есть! — продолжал Иван Степанович, — Точно Филька! Эка бестия!.. Опять месяц проходит с подбитыми глазами! Вот я его, каналью!

— Что ты, любезный? — вскричал Алексей Андреевич Двинский. — Да этот Филька у тебя хват детина! Гляди, какой сокол — так и бьет с налету!.. Ну!!! Сломили, погнали посадских!.. Конец! Не долго же они держались, видно, калачника Бычурина с ними нет: тот постоял бы за себя.

Алексей Андреевич сел на свои беговые дрожки, а мы отправились пешком; завернули по дороге напиться чаю к одному старинному приятелю моего опекуна, и когда пришли, наконец, домой, то первый предмет, который кинулся нам в глаза в передней, был изорванный, избитый и растерзанный Филька. Он стоял, однако же, довольно бодро перед хозяином дома, который расспрашивал его обо всех подробностях кулачного боя.

— Как ты смел, негодяй!.. — сказал мой опекун, бросив грозный взгляд на знаменитого бойца, у которого все лицо было на сторону.

— Полно, братец! — прервал Двинский. — Не тронь его! Ну! — продолжал он, обращаясь к Фильке. — Так ты с первого раза сбил с ног Антона-кузнеца?.. Молодец! Эй, дайте-ка ему чарку вина!

— Пошел, дурак! — закричал Иван Степанович. — Примочи чем-нибудь свою рожу! На что похож? Образа нет человеческого! Животное!

— Пойдем, пойдем! — сказал Двинский. — Я велю отпустить ему склянку живой воды: помочит денька два-три, так все затянет.

— Что это, Филипп? Как тебя разбили? — сказал я, приостановясь на минуту и смотря с ужасом на изуродованное лицо Фильки.

— Эх, сударь, не удалось бы этим посадским заглянуть мне в харю, кабы сам не сплоховал.

— Да что ж ты сделал?

— Куражился больно, сударь! Как посадские побежали, так я вошел в такой азарт, что свету Божьего невзвидел. Наша стена давно-давным остановилась, а я вдогонку, один, ну-ка подбирать остальных, благо руки расходились — щелк да щелк! То того, то другого — любо, да и только! Глядь назад, ахти! Один как перст! Смотрю — все ко мне! Ну, беда! Вот я, не будучи глуп, и бряк оземь да и кричу: «Шабаш, ребята! Лежачего не бьют!» — «Да мы лежачего бить не станем! — сказал какой-то мужчина аршин трех росту, которому я вдогонку шею-то путем накостылял. — Эй, ребята, сюда!» Вот человек пять уцепились за меня, подняли молодца на ноги, приставили к забору, да ну-ка обрабатывать! Ах ты, господи! Небо с овчинку показалось! Катали, катали! Насилу вырвался!

— Бедняжка! Как они тебе лицо-то избили.

— И, сударь, рожа ничего, заживет! А вот под бока-то они мне насовали, черти! Вздохнуть нельзя!

Я вошел в гостиную. Авдотья Михайловна играла с хозяйкою в пикет, Двинский схватился с моим опекуном в шахматы, а Машенька сидела, надувшись, поодаль от всех. Когда глаза ее встретились с моими, она отворотилась и взяла в руки книгу, которая лежала на окне.

IV. Домашний театр Григория Ивановича Рукавицына

Я думаю, ни о чем не было так много писано и говорено, как об этом чувстве, которое мы называем любовью, — а что такое любовь? Все прочие душевные свойства: дружба, милосердие, благодарность, сострадание, — имеют какой-то определительный смысл, но любовь? Любит ли мать своих детей, когда готова броситься за них в огонь и в воду? Любит ли жена мужа, когда, потеряв его, зачахнет с горя и сойдет вслед за ним в могилу? Любит ли брат сестру, когда идет стреляться в трех шагах с человеком, который осмелился оскорбить ее? Любили ли свое отечество Минин и Пожарский, готовясь с радостью положить за него свои головы? Любил ли свое создание, теперешнюю Россию, великий Петр, этот гигант и телом и душою, когда под Прутом, окруженный со всех сторон в несколько раз сильнейшим врагом, он написал сенату не признавать его царем и государем и не исполнять его собственноручных указов, если он попадется в плен к неприятелю? Всякий согласится, что все эти различные виды любви, доведенной до высочайшей степени, любовь к отечеству, любовь матери к детям, брата к сестре и, наконец, тревожная, пламенная страсть любовника к той, которую выбрало его сердце, выражаются всегда одним и тем же: беспредельным и безусловным самоотвержением и, несмотря на это сходство, не имеют ничего общего между собою. Лишать себя всех удовольствий для минутной прихоти другого, жертвовать для благополучия его благом собственной своей жизни и не видеть в этом никакой жертвы — одним словом, быть совершенно счастливым не своим, а его счастьем, — мне кажется, больше этого любить не можно? Я точно так любил Машеньку, называя ее сестрою, теперь, когда узнал, что мы почти чужие, что она может выйти

за меня замуж, я не стал любить ее более прежнего — это было невозможно, но чувствовал, что люблю ее совсем иначе. За несколько часов я почти не замечал, что Машенька прекрасна, а теперь не мог смотреть на нее без восторга. Бывало, я обращался с нею так свободно, поверял ей все, что приходило мне в голову, или, лучше сказать, не говорил с нею, а мыслил вслух, теперь я вдруг стал застенчив и робел перед нею, ну, право, более чем перед самим губернатором! Минут десять собирался я с духом и не мог решиться заговорить с нею, наконец, подошел и спросил робким голосом, что она читает?

— Календарь, — отвечала Машенька, продолжая перебирать листы.

— Приятное занятие.

— Что ж делать, когда другого нет. — Мы оба замолчали.

— Машенька! — шепнул я, взяв ее за руку, — Ты на меня сердишься?

— Конечно, сержусь. Зачем в рядах вы не хотели меня поцеловать?

Вы! Странное дело, до моей прогулки на ярмарку, это вы разогорчило и разобидело бы меня до смерти, а теперь — не знаю почему — это переменное словцо вы показалось мне даже приятным.

— Послушай, Машенька, — сказал я, — ты напрасно на меня сердишься, как можно нам целовать друг друга: мы уже не дети.

— Так что ж?

— Это неприлично.

— Неприлично!.. Да разве я тебе не сестра?

— Нет, Машенька.

— Ну, конечно, не родная, но, мне кажется, двоюродные сестры целуют своих братьев.

— Да кто тебе сказал, что мы двоюродные?

— Ах, боже мой! Да какие же?

— Мы почти совсем не родня с тобою.

— Не родня! — повторила Машенька, и я чуть не вскричал от ужаса: в ее розовых щеках не осталось ни кровинки, губы посинели, а рука, которую я держал в моей руке, вдруг сделалась холодна как лед. — Не родня! — продолжала она еле слышным голосом. — Ах, братец, как ты испугал меня! Ну, можно ли так глупо шутить.

— Успокойся, Машенька! — сказал я. — Да и чего ты испугалась? Ну да, конечно, мы не родня, я могу на тебе жениться, а ты можешь выйти за меня замуж.

Машенька вздрогнула, ее бледные щеки запылали, она вырвала из моей руки свою руку и почти в то же самое время, протянув ее опять, сказала с улыбкой:

— Теперь я вижу, братец, ты шутишь.

— Право, не шучу.

— Да полно, перестань.

— Клянусь тебе, это правда.

— Какой вздор, и как тебе пришло в голову…

— Не мне, Машенька, я об этом никогда не думал.

— Так с чего же ты взял?..

— А вот послушай!

Тут я пересказал ей слово в слово разговор, который так нечаянно подслушал на ярмарке. Машенька задумалась.

— Нет! — сказала она после минутного молчания. — Это быть не может, ты, верно, ошибся. Послушай, братец, хочешь ли, я спрошу об этом у маменьки?

— И ты думаешь, она скажет тебе правду?

— А почему же нет?

— Да если нам до сих пор никогда не говорили об этом, так, верно, и теперь не скажут. Может быть, на это есть причины, которых мы не знаем.

— Да, да, в самом деле!.. А кто были эти дамы?

— Я уже говорил тебе, что когда они сидели на прилавке, так мне за кучею книг нельзя было их видеть.

— Знаешь ли что? Мне кажется, они тебя заметили и хотели посмеяться над тобою.

— Да если я их не видел, так и они не могли меня видеть.

— Не приметил ли ты, по крайней мере, как они были одеты?

— Да!.. Я очень об этом думал!.. Однако ж, постой! Так точно!.. На одной из них был чепчик с розовыми лентами и голубыми цветами.

— Это Анна Саввична Лидина! — вскричала Машенька. — Я познакомилась и очень подружилась с ее дочерью… О! Феничка мне все скажет! Я попрошу ее, чтоб она спросила свою маменьку, правда ли, что мы не родня, и ты увидишь, братец… Погоди, погоди!.. Ах, как легко тебя одурачить!

Машенька очень развеселилась, беспрестанно говорила мне:

— Так вы, сударь, хотите на мне жениться? — и умирала со смеху.

— Тьфу ты, благодарствуй! И вторую проиграл! — вскричал Двинский, оттолкнув с досадою шахматную доску. — Ну! Или ты, Иван Степанович, понаторел у себя в деревне, или я больно плохо стал играть. Однако ж, не пора ли вам, барыни, одеваться? — продолжал он, взглянув на своего эликота [31]. — Без пяти минут семь! Авдотья Михайловна! Ведь вы, кажется, также со всем семейством приглашены сегодня в театр к Григорию Ивановичу Рукавицыну?

— Да, он просил нас — и в театр, и в вокзал! — отвечала Авдотья Михайловна.

— Так ступайте же, наряжайтесь! В семь часов к нему весь город съедется.

— Мы последние два короля доиграем завтра, — сказала хозяйка, вставая.

Через полчаса мы отправились к Григорию Ивановичу Рукавицыну. Его деревянный дом, один из лучших в Дворянской улице, занимал со своим садом, двором и всеми принадлежностями почти целый квартал. Когда мы вошли, то перед нами открылась бесконечная анфилада низких комнат, не убранных, а, лучше сказать, заваленных различной мебелью. Народу было множество, и мы едва могли добраться до хозяина, который в угольной, обитой китайскими обоями, комнате, принимал гостей. Мы только что успели с ним раскланяться, как он, подав с низким поклоном руку губернаторше, пригласил всех идти за собою в мезонин, в котором устроен был театр. Господи! Какая началась давка, а особливо по узкой лестнице, когда все гости бросились толпою вслед за хозяином. Губернаторшу и дам пустили вперед, но зато мужчины стеснились так в дверях театра, что у председателя уголовной палаты оборвали на фраке все пуговицы, а одного советника губернского правления совсем сбили с ног и до того растрепали, что он должен был уехать домой. Наконец кое-как все гости вошли в театр и разместились по лавочкам. Разумеется, я попал на самую заднюю. С одной стороны подле меня пыхтел толстый помещик в замасленном кафтане, с отвислым подбородком, раздутыми щеками и преогромной лысиною. Он беспрестанно протя-

гивал чрез меня свою толстую лапу и нюхал табак у другого моего соседа, маленького человечка, тщедушного, с длинным острым носом и лицом, которое с профиля походило почти на равносторонний треугольник. Если вам случалось видеть ученых чижей или канареек, одетых по-человечески, то вы можете себе составить довольно верную идею об этом господине, который, к довершению сходства, прятал в толстый галстук свою бороду и, выставляя наружу один нос, не говорил, а пищал каким-то птичьим голосом.

Не имея никакого понятия о театре, я смотрел с большим любопытством на сцену и на опущенный занавес, на котором написано было что-то похожее на облака или горы, посреди них стоял, помнится, на одной ноге, но только не журавль, однако ж, и не человек, а, вероятно, Аполлон [32], потому что у него в руке была лира. Пока музыканты играли увертюру, между моими соседями завязался разговор.

— Осмелюсь спросить, — сказал с расстановкою плешивый толстяк, — какую комедию будут представлять сегодня?

— Оперу «Свадьба Волдырева» [33], — отвечал почти с присвистом мой чижик-сосед.

— Так-с!.. Позвольте понюхать табачку... А после ничего уж не будет?

— Как же! Дуняша будет петь арию из оперы «Прекрасная Арсена» [34].

— Так-с!.. Смею спросить: скоро начнут?

— А вот как перестанут играть музыканты.

— Так-с!.. «Свадьба Волдырева»... говорят, что это шутка очень забавная?

— Да!

Это «да!» сказано было немного в нос с таким важным голосом, что, несмотря на мою неопытность, я тотчас догадался, что сосед мой из ученых.

— Если хотите, — продолжал он, повертывая свою золотую табакерку между средним и большим пальцами левой руки, — это так — безделка! Впрочем, она написана изрядно, очень изрядно, автор ее — господин Лёвшин [35], человек с талантом.

— Господин Лёвшин?.. Смею спросить: не тот ли это Лёвшин, который сочинил книгу о поваренном искусстве и выдал в печать полного винокура?

— Тот самый. Человек известный, с дарованием.

— Да-с! Умный человек, с большим рассуждением. Весьма занимательна его книга под названием: «Календарь поваренного огорода» — очень занимательна!.. Позвольте табачку!.. А смею спросить...

— Постойте — начинают.

Занавес поднялся. В продолжение всей оперы я не сводил глаз с актеров, а особливо с того, который представлял Волдырева. Я был очарован его игрою, — и подлинно, он, по выражению толстого моего соседа, отпускал такие отличные коленцы, что все зрители помирали со смеху. Когда в пятом явлении Волдырев, воображая, что госпожа Прельщалова в него влюблена, запел:

Пущу к ней ласки,
Прищурю глазки
И бровью поведу... —

то поднял правую бровь на целый вершок выше левой и начал ею пошевеливать с таким неописанным искусством и быстротою, что вся публика ахнула от удивления. Но все это не могло сравниться с той сценою, в которой Волдырев изъясняется в любви своей. Я не мог понять, да и теперь еще не понимаю, — как может человек искривить до такой степени лицо. Боже мой! Какой поднялся хохот, когда он, в пылу своей страсти, закричал как бешеный: «О, сладчайший сахар! Отложи стыдение, не лишай меня своего снисходительства! Я возгорелся, аки смоленая свеща, и вся утроба моя подвиглася!» При этих словах толстая утроба моего соседа, который давно уже крепился, вдруг заколебалась, он прыснул, поперхнулся и, вместо того чтобы засмеяться по-человечески, принялся визжать, как собачонка, которую секут розгами, и что ж вы думаете? Даже этот странный хохот не обратил на себя внимания публики — так все были увлечены прекрасной игрою Волдырева.

Впрочем, надобно сказать правду, сначала подгадил немного актер, представлявший роль Лоботряса. Он, как видно, хлебнул через край и не успел еще порядком выспаться. В первой сцене пьяница совсем забыл свою роль, начал кривляться, занес околесную и перепутал всех остальных актеров, потом, вместо того чтоб запеть свою арию, затянул что-то из другой оперы, разумеется, от этого вышла маленькая разноголосица: он пел одно, оркестр играл другое, и хотя многие из гостей этого не заметили, но хозяин тотчас догадался, что дело идет неладно, вскочил с своего места и побежал вон. Лишь только пьяненький артист сошел со сцены, раздалось громкое рукоплескание, но только не в зале театра, а за кулисами, минуты две продолжалось беспрерывное: хлоп, хлоп, хлоп! И когда Лоботряс явился опять на сцену, то, несмотря на то, что щеки его были еще краснее прежнего, он стал, к удивлению всех зрителей, говорить как человек совершенно трезвый и запел отлично-хорошо. После этой небольшой оказии опера пошла как по маслу, с каждым явлением увеличивался общий восторг публики, и, когда в конце пьесы все актеры, обращаясь к Волдыреву, запели в один голос:

Увенчалися желанья,
Прекратилися вздыханья,
И недаром был здесь рев
Обвенчался Волдырев,

во всем театре поднялся действительно рев: «Браво!.. Отлично, хорошо!.. Чудесно!» Я не смел кричать вместе с другими, но зато отбил себе ладони и под шумок стучал ногами изо всей мочи. Занавес опустился!

— Уф, батюшки, ох, смерть моя! — бормотал мой толстый сосед, придерживая руками свое чрево, которое все еще продолжало колыхаться. — Ну, комедия!.. Животики надорвал!.. А уж этот Волдырев — ах он проклятый!.. Как его коробило! Какие шутки выкидывал!.. Ну, актер! Славно играет!

— Да! — пропищал мой другой сосед. — Ванька Щелкунов был весьма хорош в роли Волдырева, с талантом, точно, с талантом!.. И мимик хороший!.. Заметили ли вы, какая у него игра в бровях?

— Да-с, да-с!.. Большая игра в бровях!.. Одолжите табаку!

— Прошу покорно!.. Да, сударь, малый с талантом, и декламировка весьма хорошая, — каждую запятую слышно.

— Так-с, так-с! Действительно отличные замашки!

— Да и Матреша в роли Прельщаловой себя не уронила — как вы думаете?

— Да-с, нечего сказать, поддержала себя.

— Играет с чувством.

— С большим чувством, и все ухватки самые деликатные!.. А что, осмелюсь спросить, вы изволите быть и в Петербурге и в Москве — что, как тамошние актеры против здешних?

Тщедушный мой сосед поправил галстук, то есть дотянул его почти до самого носа, и, повертев несколько времени между пальцев свою табакерку, сказал:

— Вы хотите знать?.. Да!.. Конечно, актеры столичные... кто и говорит! Однако ж если взять в рассуждение, то признаться должно и, как станешь разбирать строго — так бог знает!.. Не то чтоб я хотел сказать... О, нет! напротив, в столицах актеры отличные...

— Так-с!

— И если говорить правду, так я вам доложу, что, конечно, с одной стороны так! Да зато с другой — нет! Далеко!.. То есть не в рассуждении чего другого — а как бы вам сказать?.. Есть что-то такое... оно, если хотите, вздор, мелочь — а важно, очень важно!

— Так-с! так-с!

— Я не выдаю себя знатоком, но, по крайней мере, это мое мнение... Прикажите табачку.

— Благодарю покорно!

— А! Вот уж и занавес подымают!.. Послушаемте Дуняшу!..

Я слышал в мой век много европейских певиц, было время, что я с ангельским терпением высиживал целые итальянские оперы, кричал вместе с другими «браво!..» и не зевал даже во время речитативов, от которых да избавит господь бог всякого честного человека, но, сколько я ни старался уверить себя и других, что мне очень весело, что я наслаждаюсь, — а дожил до старости, сохранив в душе моей непреодолимое отвращение ко всякой итальянской музыке. Вебер, Мейербер, Герольд, Обер [36] для меня понятны, они постигли этот неземной язык, этот язык звуков, который выражает и буйную страсть, и кроткое спокойствие души, и горе, и радость, и усладительное пение жителей небесных, и стоны падших ангелов: я слушаю их с восторгом, но лишь только услышу звуки итальянской музыки, лишь только эти оперные салтомортали, эти бездушные подражания инструментам, эти бесконечные рулады раздадутся в ушах моих, со мной делается тоска, меня клонит сон, и я готов бежать на край света, чтоб только не слышать классического мяуканья музыкальных машин, которые, бог знает почему, называют себя актерами. Если господа дилетанты, сиречь записные любители итальянского пения, прогневаются на меня за такое неуважение к искусству, то я попрошу их излить всю желчь свою не на меня, а на Дуняшу, примадонну домашнего театра господина Рукавицына. Всем известно, что первые впечатления несравненно сильнее действуют на нас, чем последующие, а я в первый раз в жизни слышал итальянскую бравурную арию в доме Григория Ивановича и уверен, что эта ария была основной причиной моей вечной и непримиримой ненависти к итальянской музыке. Негодная девчонка так визжала, делала такие дурацкие трели, так глупо подлаживала под флейту — одним словом, так трудилась и работала, что мне сделалось тошно, и я, глядя на нее, измучился и устал до смерти. С тех пор эта окаянная певица преследует меня как призрак. Я помню, когда слушал в первый раз знаменитую Каталани [37] и начинал уже понемногу приходить в восторг, вдруг вместе с одной руладою — мерзкая Дуняшка оживилась в моем воображении, стала передо мною, как тень отца перед Гамлетом [38], затянула свою бравурную арию, и все очарование мое исчезло.

Когда занавес опять опустился и гости стали выбираться из театра, мой тщедушный сосед, оборотясь к толстому, спросил:

— Ну что, сударь, каково?

— Кажется хорошо, хитро только больно!

— Хитро! Да ведь это не что другое: не «При долинушке стояла», не «Выйду я на реченьку» — ария, сударь, ария!

— Так-с, так-с! Одолжите табачку!

— А каково спела?

— Что и говорить — соловьиный голос!

— Не о голосе речь — метода, сударь, метода! Итальянская манера, черт возьми.

— Так-с, так-с!

Я вышел с остальными гостями из театра, спустился по крутой лестнице вниз и вслед за толпою очутился на дворе. Вдали, за решетчатым забором, мелькали огоньки, весь обширный сад Григория Ивановича Рукавицына был освещен. Прямая дорожка, обсаженная с обеих сторон подстриженными деревьями, вела к большой ярко освещенной беседке, за которой чернелась густая березовая роща. Сначала все гости рассыпались по саду, а потом, когда загремела большая музыка, собрались в беседку. Не видав никогда регулярных садов, я не мог довольно налюбоваться на эти зеленые стены из живых деревьев, на эти обделанные пирамидами елки и обстриженные липы, которые стояли как будто бы в шагах, — все это казалось мне прекрасным, но более всего мне нравились крытые аллеи, слабо освещенные разноцветными фонарями, — их таинственный сумрак, эта длинная перспектива зеленых и красных фонарей, которые походили на огромные изумруды и яхонты, эта свежесть и прохлада под зелеными сводами сросшихся деревьев, — все приводило меня в восторг. Обойдя весь сад, я вошел, наконец, в беседку. Тут ожидало меня новое и никогда не виданное мною зрелище: пышный бал во всем своем губернском блеске, во всей провинциальной роскоши, со всеми претензиями, чинопочитанием, чванством, злословием и сплетнями, без которых в нашем губернском городе, не знаю теперь, а в старину и праздник был не в праздник, и бал не в бал. Когда я вошел в беседку, круглый польский уже кончился и начался длинный. В первой паре Рукавицын, по праву хозяина, танцевал с губернаторшею, во второй губернатор с вице-губернаторшею, в третьей вице-губернатор с женою губернского предводителя, и так далее, сохраняя с величайшей точностью постепенность, основанную на табели о рангах. Заметьте также, что я не говорю — такой-то вел такую-то в длинно-польском, а употребляю слово: «танцевал», потому что хозяин, губернатор и почти все первые пары шли не просто, а выступали мерно, в такт и выделывали ногами особенное па, которое походило несколько на менуэтное. В задних парах молодые люди не придерживались этой старины и так же, как теперь, не танцевали, а шли обыкновенным шагом. Когда польский кончился, все почетные дамы, старушки и пожилые барыни уселись рядом вдоль стены, хозяин захлопал в ладоши, и музыканты грянули матрадур [39]. Так как мужчин было гораздо менее, чем дам, то многие из них,

в том числе и Машенька со своей приятельницей Феничкой Лидиной, не участвовали в первом матрадуре. Не смея пускаться в танцы, я приютился подле двух пожилых дам, которые сидели поодаль от других, одна из них, закутанная в черную турецкую шаль, не спускала глаз с танцующих и только изредка обращалась к своей соседке, коротенькой, краснощекой и отменно живой барыне, в гродетуровом платье с отливом [40] и лиловом дымковом чепце. Эта барыня была в беспрерывном движении, вертелась во все стороны на своем стуле и болтала без умолку.

— Посмотрите, Елена Власьевна, — говорила она, указывая на одну девицу, которая танцевала с драгунским офицером. — Опять с ним!.. Третьего дня на бале у губернатора он танцевал с ней два раза сряду... Срам, да и только! И чего смотрит дура мать?.. Вчера в рядах уж он с ней перебивал, перебивал! И все вполголоса шу-шу да шу-шу!.. А она-то, моя голубушка, кобянится, ломается!.. Ну, так и вешается к нему на шею! Помилуйте, что это? Я запретила моей Вареньке и близко к ней подходить... Батюшки!.. Антон Антонович танцует!.. Не прошло шести недель, как умерла его внучатная тетка, а он пускается в танцы! Хорош молодец!.. А еще человек естимованный! — Что это?.. Никак, Феничка Лидина осталась без кавалера? — Ну! видно, все узнали, что ее дядюшка, этот жидомор Сундуков, женился на своей крепостной девке и отдал ей все свое именье. Бывало, около этой Фенички проходу нет от кавалеров, а теперь... То-то же! Смекнули, что родового не много!.. Батюшки мои!.. Что это за фигура? В белом платье с розовой отделкой... не знаете ли, Елена Власьевна?.. Вот, что теперь танцует вместе с вашей дочерью?..

— Не знаю, матушка.

— Видно, приезжая... Отцы вы мои!.. Что за прыгунья такая?.. Да она какая-то шальная!.. Смотрите, смотрите, как подняла ногу!.. Ах, мой создатель!.. Ну, вот прошу возить дочерей по балам!.. Насмотрятся!.. Слава богу, что моей Вареньки здесь нет!

— В самом деле! Зачем вы не привезли ее с собою?

— Занемогла, матушка, простудилась на бале у губернатора, да как и не простудиться в этом проклятом доме? Везде сквозной ветер, ни одно окно не притворяется — хуже всякого хлева... А уж угощенье-то было какое мизерное! Что за лимонад, что за оршат!.. «Батюшки, дайте квасу!..» И того нет!.. За ужином подали нам стерлядку четверти в две... да, да! Не больше, у меня глаз верен — не ошибусь! А там галантир [41] из баранины, хоть ничего в рот не бери!..

Злословие производило на меня всегда одинаковое действие с итальянскою музыкою: со мною сделалась тоска, я ушел на другой конец залы, забился в угол и начал смотреть оттуда то на Машеньку, которая перешептывалась со своей приятельницей Феничкой Лидиной, то на ловких кавалеров, которые рисовались предо мною в блестящем матрадуре, из числа последних отличался один молодой человек, лет двадцати пяти, в вишневом фраке, у которого талия была почти под самым воротником. Он выворачивал так мудрено свои руки и выделывал такие важные штуки ногами, что нельзя было смотреть на него без удивления. Мой тщедушный театральный сосед прыгал также изо всей мочи, и все остальные кавалеры — надобно сказать правду — танцевали весьма усердно и добросовестно, выключая одного франта лет тридцати. Это был приезжий из Москвы. Я заметил, что почти все танцующие смотрели на него с какою-то завистью и недоброжелательством, что, впрочем, было весьма и натурально: этот приезжий явным образом оскорблял их самолюбие: он имел вид рассеянный, едва отвечал на вопросы, танцевал как будто нехотя и с каким-то пренебрежением, а сверх того, был в очках и в таком модном фраке, что совершенно уничтожал всех наших губернских фашионабелей [42]. Представьте себе: спинка его светло-синего фрака была вся цельная — в ней не было ни одного шва! И этот наглец как будто бы нарочно повертывался ко всем спиною. Вот как кончился матрадур, около вишневого фрака столпилось человек десять молодежи, он рассказывал им что-то с большим жаром и потом, заметив, что приезжий в очках вышел из беседки, побежал вслед за ним, я также отправился в сад подышать свежим воздухом и выждать, как Машенька пойдет гулять, чтоб спросить ее, узнала ли она от своей приятельницы Лидиной всю правду о нашем дальнем родстве. Судьбе не угодно было разрешить на этот вечер мое сомнение, совершенно неожиданный случай заставил нас уехать из вокзала гораздо прежде, чем мы думали, и сделал меня свидетелем одной из тех бальных историй, которые так часто начинаются и почти всегда так миролюбиво оканчиваются в наших благословенных провинциях.

Пройдя раза два по средней аллее, я присел на дерновую скамью, за большим кустом сирени, почти у самого входа в беседку. Не прошло пяти минут, как вдруг двое мужчин подошли к тому месту, где я сидел. Один из них был вишневый фрак, а другой — приезжий в очках, последний остановился и, обращаясь к вишневому фраку, сказал:

— Позвольте вас спросить, чего вы от меня хотите?.. Вот уж четверть часа как вы все ходите за мною.

Вишневый фрак поправил жабо, застегнулся на все пуговицы и отвечал толстым голосом, который, впрочем, казался вовсе ненатуральным:

— Милостивый государь!.. Государь мой!.. Я должен... мы должны...

— Ну, сударь!

— Нам должно объясниться.

— Объясниться? В чем?

— Вы меня обидели.

— Я вас обидел? Чем, если смею спросить?

— Вы танцевали матрадур.

— Да, танцевал — так что ж?

— И два раза сряду не вертелись с моей дамою.

— Неужели?

— Да, сударь, да! Два раза сряду!

— Если я это сделал, так уж, верно, нечаянно.

— Это, сударь, так не пройдет.

— Уверяю вас, я не имел никакого намерения, и прошу вас извинить меня перед вашей дамою.

— Извинить! Да что мне из вашего извинения шубу, что ль, шить?

— Помилуйте, зачем? Теперь жарко.

— Да вы еще, кажется, шутите?

— Смею ли я!

— Я, сударь, не позволю никому играть у себя на носу. Вы приехали из столицы, так думаете, что можете манкировать нашим дамам.

— Я уже вам сказал... впрочем, если вы считаете себя обиженным...

— Да, сударь! Я этого так не оставлю... я с вами разделаюсь!..

— Как вам угодно! Пожалуйте ко мне завтра, часу в седьмом поутру.

— К вам?.. Ни за что не поеду.

— Так скажите мне, где вы сами живете.

— Где я живу? Вот еще! Ни за что не скажу.

— Ах, батюшки! — вскричал приезжий. — Вот забавно! Так чего же вы от меня хотите?

— Чего? Я вам покажу, сударь, чего!

— Так показывайте скорее, мне, право, становится скучно.

— Я еще поговорю с вами!

— Очень хорошо, только прошу вас теперь оставить меня в покое.

— Ни за что не оставлю.

— Тьфу, черт возьми! Да что ж это значит?.. Послушайте, сударь, вы мне надоели!

— Эка важность! Надоел!

— Вы, сударь, глупы!

— Что, что?..

— Я по-русски тебе говорю: ты глуп!

— Как! Ругаться?.. Да как смеешь? Ну-ка, попробуй еще!

— Животное!

— Ну-ка еще!

— Дурак, с которым я и слов терять не хочу! — сказал приезжий, повернув в боковую аллею.

— Ага! — закричал ему вдогонку вишневый фрак. — То-то же!.. Видишь, прыткий какой! Надел очки да фрак с цельной спинкой, так и думает... Нет, брат, у нас не много выторгуешь!

Из беседки выбежал молодой человек, в белых лайковых перчатках и, как теперь помню, в атласной жилетке gris de lin amour sans fin [серого льна под названием «любовь до гроба» (фр.)] с розовой шалью и перламутровыми пуговками, он подошел к вишневому фраку и спросил вполголоса:

— Ну, что?

— Да так, ничего! Отделал порядком!

— В самом деле? Как же ты это?..

— А так! Догнал его, остановил...

— Ну!

— Да вдруг, не с того слова: «Государь мой, вы меня обидели!»

— Нет?..

— Видит бог, так! Он извиняться: «Я, — говорит, — нечаянно». А я говорю: «Знать этого не хочу!» Вот он было и расхорохорился — да нет! шутишь! Не на того напал! Он слово, а я два!

— Неужели?

— Как бог свят!.. «Чего же вы хотите? Что вам угодно?» А я ему тотчас: «Не позволю у себя на носу играть!» — да и пошел, и пошел!

— А он-то что?

— Да что, зафинтил, заегозил, и туда и сюда, а я-то себе так и режу!

— Ай да молодец!

— Уж он вертелся, вертелся! Видит что дело-то плохо, да и давай бог ноги!

— Подлец!.. Послушай! Ты сделал свое дело, а мы сделаем свое. Я уж со всеми переговорил: Пыхтеев, Бурсаков, Антон Антоныч, Алексей Фурсиков, Гриша — все согласились, когда этот московский франт станет танцевать, не вертеться с его дамою.

— Славно, братец, славно!

— Мы поубавим его спеси!

— Да, да! Прошколим его порядком!

— Пойдем же скорее!.. Надобно подговорить Егора Семеновича — он на это молодец: первый начнет!

Эти господа пошли в беседку, и я также из любопытства отправился вслед за ними. В полминуты весть об этом бальном заговоре разлилась по всему обществу. Барыня в лиловом чепце так и бегала из одного конца залы в другой.

— Слышали ли вы, матушка Марья Тихоновна, — сказала она пожилой даме, которая сидела у самых дверей беседки, — знаете ли, что затеяла наша молодежь?

— А что такое, мать моя?

— Сговорились осрамить этого приезжего московского кавалера и сделать ему публичный афронт.

— Что ты, мать моя?

— Да, Марья Тихоновна! Хотят совсем его оконфузить: как он станет танцевать, никто не будет вертеться с его дамою.

— Что ты говоришь? Ах, батюшки мои! Ну да если он подымет мою Сонюшку? За что ж ей такая обида?

— Не велите ей ходить с ним.

— Эх, мать моя, что ты? Долго ли до истории? Он же, проклятый, смотрит таким сорванцом... Ох, этот Григорий Иванович! Назовет бог знает кого!..

Тут подошло еще несколько маменек и тетушек:

— Изволили слышать?.. — Да, да, слышала!.. Скажите, пожалуйста!.. И охота им! Да что он такое сделал?.. Два раза обошел в танцах Прасковью Минишну Костоломову... Ах, боже мой! Какая дерзость... Уж эти приезжие!.. Вечно от них истории! Такие наглецы!..

— Не все, Мавра Степановна...

— Ну, хороши все, матушка!.. Хоть этот: я уронила платок — мимо прошел, а нет чтоб поднять — мужик!.. Ко мне чуть-чуть не сел на колени — грубиян!.. На всех смотрит в очки — невежа!.. Вот он!.. Вот он!.. Каков?.. Посмотрите, расхаживает, как ни в чем не бывало! Да, да, как будто бы не его дело!.. Какой наглец!.. Ништо ему!.. Пускай проучат!..

Авдотья Михайловна, которая ужасно боялась всяких историй, очень перетревожилась, когда до нее дошла весть об этом заговоре, она шепнула слова два Ивану Степановичу на ухо, и мы тотчас отправились потихоньку домой. Я думал, что успею в тот же вечер переговорить с Машенькою, не тут-то было! Нам объявили, что мы, чем свет отправляемся назад в деревню, и приказали ложиться спать. На другой день, когда мы катились уже в нашей линее по большой дороге, как я ни заговаривал с Машенькой, но не мог никак добиться от нее толку: она дремала, притворялась спящею, а меж тем — я очень это заметил — беспрестанно поглядывала на меня украдкою. По возвращении нашем в деревню, Машенька как будто бы нарочно не отходила ни на минуту от Авдотьи Михайловны, и только к вечеру, когда мы, прогуливаясь вокруг нашей усадьбы, вышли на обширный луг перед рощею, мне удалось остаться с нею несколько времени наедине.

— Ну, что, сестрица, — сказал я, — теперь ты знаешь, наверное?..

Машенька как будто бы не слышала, что я говорю с нею, и вместо ответа наклонилась и начала рвать полевые цветы, которыми весь луг был усеян.

— Ты говорила с Феничкой Лидиной? — продолжал я.

— Как же! — отвечала Машенька, не переменяя положения. — Я много с ней говорила, она премилая!

— Что? Она узнала от своей маменьки?..
— О чем?
— Разумеется, о том, родня ли мы или нет.
— Ах да!.. Что это за травка такая? Посмотри, посмотри, братец!
— Не знаю! Ну, что ж она тебе сказала?
— Кто?
— Феничка.
— Что сказала? Ничего!.. А это что за цветок? Кажется, иван-да-марья?.. Да, да!.. Какой миленький!.. Да какой же он душистый!..
— Что ты, сестрица! Он ничем не пахнет. Так Феничка тебе ничего не сказала?
— Ничего! Мы об этом и не говорили.
— Как? Ни одного слова?
— Ах, вот и маменька! — вскричала Машенька, увидев вдали Авдотью Михайловну.
— Сестрица! — сказал я, взяв ее за руку. — Это нехорошо, ты говоришь неправду.
Машенька вспыхнула и бросилась от меня бежать как сумасшедшая. Бедняжечка! Она еще в первый раз в жизни решилась солгать, говоря со мною.

V. Отъезд

Прошло два года после этой поездки в город — два года самые счастливейшие в моей жизни: они пролетели, как два часа. Моя любовь к Машеньке давно уже не была тайною, мы были помолвлены. По просьбе Ивана Степановича губернатор записал меня на службу, то есть я считался в его канцелярии и успел уже получить первый офицерский чин. Когда мне минуло восемнадцать лет, мой опекун объявил решительно, что откладывает нашу свадьбу еще на три года и что я должен прослужить это время в Петербурге или в Москве, а не в нашем губернском городе, чтоб хотя несколько познакомиться со светом и сделаться человеком.
<...>

КОММЕНТАРИИ

[1] Фауст — *герой немецких народных легенд, продавший душу дьяволу; символ человеческого стремления к всемогуществу знания. Прототипом легенд и знаменитого произведения Гете «Фауст» стал бродячий астролог и чернокнижник доктор Иоганнес Фауст (1480(?) – 1540(?)).*

[2] Чесменская битва — *морское сражение 25–26 июня 1770 г., в котором русский флот разгромил турецкую эскадру.*

[3] ...победа под Кагулом... — *21 июля 1770 г. русская армия под командованием П. А. Румянцева нанесла на берегу реки Кагул сокрушительное поражение основным силам турецкой армии, участвовавшей в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг.*

[4] Подожки — *батожки.*

[5] ...удалом фельдмаршале Румянцеве... — *Румянцев-Задунайский Пётр Александрович (1725–1796) — русский полководец, генерал-фельдмаршал (1770).*

[6] Варган — *простонародный музыкальный инструмент, представляющий собой согнутую в виде лиры железную полоску с вставным посредине стальным язычком.*

[7] «Недоросль» — *комедия Д. И. Фонвизина (1782).*
«Бобыль» — *комедия П. А. Плавильщикова (1790).*

[8] «Дианино древо» — *комическая опера «Диянино древо, или Торжествующая любовь» (текст Л. да Понте, переделка с итальянского языка И. А. Дмитревского; музыка В. Мартина-и-Солера).*

[9] Роллень Шарль (1661–1741) — *известный французский историк и педагог.*
Иосиф Флавий (37 – после 100) — *древнееврейский историк, автор известных трудов «Иудейская война», «Иудейские древности».*
Квинт Курций Руф — *древнеримский историк I в., написавший «Историю Александра Великого».*

[10] Жирандоли — *здесь: фигурные подсвечники для нескольких свечей.*

[11] Канапе — *небольшой диван с приподнятым изголовьем.*

[12] Штоф — *плотная ткань с крупным узором.*

[13] Сократ (470/469 – 399 до н. э.) — *древнегреческий философ, объявивший целью своего диалектического метода отыскания истины — самопознание.*
Платон (428/427 – 348/347 до н. э.) — *древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа.*

[14] «Грациан — придворный человек» — *это анонимное произведение испанской назидательной литературы было переведено и напечатано впервые в России в 1739 году.*

[15] Регула — *правило.*

[16] Марк Аврелий (121–180) — *римский император (с 161 г.), вошел в историю как монарх-философ, сторонник позднего стоицизма.*

[17] Халдейская грамота — *здесь: чернокнижие.*
Среди халдеев, создавших Нововавилонское царство (VII–VI вв. до н. э.), было много астрологов и магов.

[18] Шептала — *сушеные персики.*

[19] ...синенькую ассигнацию... — *речь идет об ассигнации достоинством в пять рублей.*

[20] Кант Иммануил (1724–1804) — *родоначальник немецкой классической философии, был избран почётным членом Петербургской Академии наук.*
Окен Лоренц (наст. фам. Оккенфус) (1779–1851) — *немецкий философ и естествоиспытатель, последователь Шеллинга.*
Шлегель Август Вильгельм (1767–1845) — *немецкий историк литературы, переводчик и поэт, ведущий теоретик романтизма.*

[21] Все идет чертой определенной... — *строки из стихотворения А. С. Пушкина «К Каверину» (1817).*

[22] Дюкредюмениль — *французский писатель (1761–1819) — автор сентиментальных романов.*

[23] Радклиф Анна (1764–1823) — *английская писательница, автор популярных романов «ужасов».*

[24] Коцебу Август Фридрих (1761–1819) — *немецкий драматург и писатель сентиментального направления.*

[25] Мейснер Август Готлиб (1753–1807) — *немецкий писатель и драматург, автор нескольких исторических романов.*

[26] «Мои безделки» — *название сборника Н. М. Карамзина, в который вошли его произведения, опубликованные в издаваемом им «Московском журнале».*

[27] «Житие Клевеланда» — *это сочинение Антуана Древо д'Экзиля (1697–1763).*
В России было опубликовано в девяти томах в 1760–1784 годах под названием «Аглинский философ, или

Житие Клевеланда, побочного сына Кромвелева, самим им писанное и с аглинского на французской, а с французского на российской язык переведенное».

[28] Гиль (разг. устар.) — *вздор, чепуха.*

[29] Совестдрал Большой Нос — *герой считавшейся переведенной (с польского) лубочной повести «Похождения хитрого и забавного шута Совестдрала Большого Носа» (1781, 1793).*

[30] «Странные приключения русского дворянина Димитрия Мунгушкина» — *произведение, типичное для бульварной литературы XVIII столетия.*

[31] …взглянув на своего эликота… — *эликот — старинные часы, называемые так по имени их создателя, английского часовщика XVIII века Джона Эликота (Элликота).*

[32] Аполлон — *у древних греков бог — целитель, покровитель искусства.*

[33] «Свадьба Волдырева» — *пьеса В. А. Лёвшина «Свадьба господина Волдырева».*

[34] «Прекрасная Арсена» — *четырехактная опера немецкого композитора из Саксонии Зейдельманна по либретто А. Мейснера (1779).*

[35] Лёвшин Василий Алексеевич (1746–1826) — *русский писатель, переводчик, экономист, известный своими волшебно-рыцарскими и сатирико-бытовыми сказками.*

[36] Вебер Карл Мария фон (1786–1826) — *знаменитый немецкий композитор и дирижер, основоположник немецкой романтической оперы («Вольный стрелок», «Оберон» и др.).*

Мейербер Джакомо (1791–1864) — *композитор, друг Вебера, автор известных опер «Роберт-дьявол» и «Гугеноты».*

Герольд Фердинан (1790–1833) — *французский композитор, автор романтических и комических опер.*

Обер Франсуа (1782–1871) — *французский оперный композитор, крупнейший представитель французской комической оперы («Фра-Дьявол», «Бронзовый конь»).*

[37] Каталани Анджелика (1780-1849) — *знаменитая итальянская певица, гастролировавшая и в России.*

[38] …как тень отца перед Гамлетом… — *имеется в виду эпизод из пьесы Шекспира «Гамлет», когда призрак убитого короля приходит на встречу с сыном.*

[39] Матрадур — *старинный бальный танец.*

[40] …в гродетуровом платье с отливом… — *в платье из плотной шелковой ткани.*

[41] Галантир — *заливное в светлом студне.*

[42] Фашионабель — *модник.*

Михаил Павлович

ЖДАНОВ

(1810–1877)

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ ПО РОССИИ, В ДВАДЦАТИ ГУБЕРНИЯХ:

С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ, НОВГОРОДСКОЙ, ТВЕРСКОЙ, МОСКОВСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ, ПЕНЗЕНСКОЙ, ВОРОНЕЖСКОЙ, КУРСКОЙ, ХАРЬКОВСКОЙ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ, ПОЛТАВСКОЙ, КИЕВСКОЙ, ЧЕРНИГОВСКОЙ, МОГИЛЕВСКОЙ. ВИТЕБСКОЙ, ПСКОВСКОЙ, ЯРОСЛАВСКОЙ, КОСТРОМСКОЙ, НИЖЕГОРОДСКОЙ И СИМБИРСКОЙ.

Печатается по изданию книгопродавца
Василия Полякова
(Санкт Петербург, 1843)

Об авторе «Путевых записок по России, в двадцати губерниях» известно немного. Михаил Павлович Жданов служил в Министерстве внутренних дел с 1832 года, в 1854–1856 годах был харьковским вице-губернатором. В молодые годы по долгу службы совершал длительные поездки по внутренним российским губерниям и, будучи человеком образованным и неравнодушным, записывал свои впечатления и размышления, а затем и издал их.

При сравнении с описаниями других, соседних с нами городов — Саратова, Тамбова, Симбирска, — заметно, что Пенза произвела на чиновника, пожалуй, самое отрадное впечатление живописностью местоположения, хорошим содержанием городских строений, дружелюбностью и радушием дворянства, красотою и образованностью пензенских дам и проч. О Саратове, например, путешественник замечает: «Саратов, по выгодному положению в отношении к торговле и по способам своим, мог бы быть гораздо в лучшем положении. Ныне он в большом беспорядке; в нём нет даже мостовых, отчего летом, в сухую погоду пыль летает тучами, а в дождливую такая грязь, что <…> пешком ходить совсем нельзя. <…> Никогда в жизни моей я не проводил времени так скучно. <…> Впрочем, жители Саратова довольно ласковы и гостеприимны, и желали бы повеселиться, да я не знаю, что-то у них как-то всё не клеится. <…> Из постоянных жителей городских есть два, три дома, где можно найти довольно образованных добрых людей; но и здесь вы не всегда безопасны от провинциальной заразы злого языка и подмечающего глаза». «Тамбов не принадлежит к числу больших губернских городов. Хороших каменных строений немного; — содержится довольно грязно». Симбирск «расположен правильно; строения в нём большею частью деревянные».

Фрагменты «Путевых записок», описывающие Пензенскую губернию, печатаются по единственному изданию 1843 года.

* * *

ПРЕДИСЛОВИЕ

В половине 1838 года мне представился случай, не теряя ничего по службе, и даже с пользою для неё, объехать значительную часть европейской России. Отправляясь в путь, я предположил вести путевые записки, и вёл их. Записки эти предлагаются на суждение читателей. Не считаю их любопытными для всех, но у нас так мало писано и пишется о России, что и что-нибудь может заслужить внимание. Как бедны мы в этом отношении, я испытал это на себе. Собираясь путешествовать по России, я хотел иметь какую-нибудь книгу для руководства, книгу, которая, заключая в себе свежую запись сведений о нашем отечестве, могла бы указать путешественнику, где и на что он должен обратить внимание и, к сожалению, если не к стыду нашему, не мог найти ничего целого, отыскивать же по частям в периодических изданиях и брошюрах мне было некогда. Как на безрыбье и рак рыба, то я взял с собою сочинение Шницлера, на французском языке, о Финляндии, России и Польше. После этого, не есть ли долг каждого Русского, которому, хоть бы даже мимоходом, привелось видеть какую-либо замечательную часть своего отечества (а которая из них не замечательна?) писать о том, что он видел? Не всякий может писать красно и занимательно. — Очень хорошо; тогда пишите, как умеете! Положим, что только десятая часть из того, что вы написали, пригодится на что-нибудь: все-таки это больше, нежели ничего. Если же наберётся ещё девять человек, прокатившихся по России и записавших, что они видели — вот уже из десятых частей — их и ваших сочинений, составится что-нибудь, а это уже, во сколько вам угодно раз, больше, нежели ничего. И так, отлагая даже авторское самолюбие в сторону, я уверен, что поступил хорошо, исполнил свой долг, написав о моем любезном отечестве, что увидел и что узнал.

Как главнейшею целью, для которой мне случилось объехать в 1838 и потом в 1839 годах несколько губерний, было наблюдение за состоянием в нашем отечестве сельского хозяйства и в особенности садоводства, то очень естественно, что и в записках моих я обратил наибольшее внимание на сии два предмета. Кроме того, читатели найдут здесь некоторые замечания о быте жителей наших уездных и губернских городов, о провинциальных театрах и несколько воспоминаний исторических. Впрочем я и не гонюсь за многим: очень может быть, что люди, учёные по ремеслу, и не найдут для своих занятий много пищи с моих записей; во всяком случае однако ж, не теряю надежды, что меня не поставят наравне с сочинителями сентиментальных или ужасных повестей и кропателями журнальных статей.

* * *

В заштатном городе Починках, ведомства военного коннозаводского управления, построены казенные конюшни. Этот городок лежит между двух гор, при небольшой речке, и очень чисто, хорошо отстроен. Отсюда до Пензы местоположение весьма разнообразно: дорога идет возвышенным кряжем, по сторонам видны несколько деревень, с красивыми господскими домами, пёстрые поля, луга со стадами тучных коров и овец, отдельные лесные острова. Из Кутлинского станционного дома видна река Сура. Левый берег её покрыт лесами; черные тучи нависли над ними, покрыли их своею тенью и в некоторых местах сыплют благодетельный дождь. Солнце, освещающее эту прекрасную картину, в одном месте сливая свет свой с дождевыми каплями, блестит в них серебряными звездочками, в другом тенью облаков набрасывает фантастические изображения на зеленой мураве. С большим удовольствием и долго любовался я этим зрелищем.

Проехав Вазерки, селение, принадлежащее г. Олсуфьеву, мы вскоре потом увидели Пензу. Нужно заметить, что, проехав Москву, на станциях уже очень трудно или совсем невозможно получить какое-либо кушанье, и потому советуем путешественнику подчинить свой аппетит расстоянию городов; необходимо даже запасаться белым хлебом для чая, а иногда угольями для самовара.

С московской дороги Пенза показывается верст за пятнадцать. Город расположен на высокой горе, где красуются многие каменные здания, преимущественно казенные. Под горою течёт речка Пенза, впадающая в Суру, недалеко от города; последняя бывает, судоходна только весною. На этой речке построены большая пильная и мучная мельницы; на первой ежедневно распиливается до пятидесяти толстых сосновых бревен. В плотине сделана холостая скрыня, через которую спускаются лесные плоты. Любопытно видеть, как отважные Татары, занимающиеся этим промыслом, вместе с плотами исчезают в волнах и потом за несколько сажень выплывают наверх. Мельница эта недавно принадлежала помещику, а теперь хозяин её Пензенский купец. Говорят, что он в два года выручил заплаченную им сумму. У нас нередко случается, что помещик, от незнания дела, или от беспечности, теряет там, где простой, умный мужик выигрывает.

Проехав мельницы, мы увидели город во всей его красе: собор, губернаторский дом, далее присутственные места — величаются между деревянными домами. На лугу р. Пензы стоит монастырь; он так красив, так привлекателен своею простою архитектурою, чистою белизною, что невольно поедешь смотреть его. Это Спасо-Преображенский монастырь, существующий уже лет шестьдесят. Добрый архимандрит сам водил меня в церковь, ризницу и на трапезу. Собор, или главная церковь, отделан очень просто; на царских вратах Благовещение — резное, а не живописное, что встречается очень редко; другая, зимняя церковь, деревянная, в ней очень мало образов. Около церквей несколько

памятников, невеликолепных. При монастыре разводится небольшой сад.

В городе, за дворянскою улицею, разведён большой сад, в котором очень много бывает гуляющих. Местоположение его превосходное, нельзя налюбоваться окрестностями! Видны вдали большие дороги: Мокшанская, Саранская и Городищенская, станция Вазерки, река Сура с красивыми лесными и луговыми берегами; вблизи скат горы, кирпичные сараи, литейный завод для колоколов, конная слобода и новый острог. Я несколько раз приходил наслаждаться этой живописной картиной.

В пяти верстах от города заведён от Правительства сад, при котором находится и училище садоводства. Оно основано в 1821 году, с целью распространения садоводства в здешнем краю и образования сведующих садовников. Эта цель частью уже достигнута, ибо многие помещики, убеждённые примером в возможности разведения хороших плодовитых дерев, начали заводить у себя сады. На содержание казенного сада отпускается из Государственного Казначейства по 20 000 руб. ежегодно. Он расположен на двух противоположных горах, между которыми лежит низкое болотное место, засаженное кустарниками и деревьями, могущими произрастать на влажной почве. Строения оранжерейные и тепличные ветхи, что замечено, в 1836 году, самим Государем Императором и Высочайше повелено возвести новое каменное здание. Древесные питомники посажены рядами в четвероугольных пространствах и, по надлежащем возрасте, деревца пересаживаются с одного места на другое. Здесь разведены многие сорта яблок, груш, слив, черешен и проч. Некоторые сорта вишен и черешен, более нежные, разведены в лежачих шпалерах; на зиму их очень легко укрывать. Таких лежачих или низких шпалер я нигде не встречал, между тем как это чрезвычайно удобно для снятия плодов и для сохранения на время зимы. Устройство таковых шпалер очень просто: на несколько вершков от земли должно положить дощатую рамку и по ней развязывать распускающиеся ветви дерева, которое и будет расти таким образом. Огородные растения, как-то: спаржа, разных родов капуста, горох, редька, картофель, морковь и проч. также разводятся в большом количестве. Ягодных кустарников много; цветы рассажены красивыми клумбами. Главный садовник, заведывающий садом и училищем, есть иностранец Эрнст Иванович Магзиг, человек весьма знающий и деятельный; он пользуется знакомством и уважением некоторых известных лиц. Будучи руководим просвещённым и благонамеренным человеком, он мог бы принести большую пользу для здешнего края. Ученики его только практически образованы и на стороне не слышно особой благодарности учителю. Недавно училища садоводства Пензенское и Полтавское поступили в ведение Министерства Государственных Имуществ, которое приняло уже надлежащие меры к улучшению этих заведений.

Ныне все чувствуют недостаток в людях, знающих сельское хозяйство. Это добрый знак: где потребность, или нужда, там и удовлетворение; сначала начнут думать о средствах и способах к образованию людей и кончат действительным образованием. Для помещиков несравненно выгоднее отдавать мальчиков в заведения сельского хозяйства, чем в ремесленные; ибо, в первом случае, они получат людей, которые будут помогать им в усовершенствовании различных отраслей домоводства, а в последнем, большею частью люди, возвращающиеся из городов, не приносят помещику особенной пользы и нередко портят нравственность других своими пороками. Ремёсла должно предоставить свободному сословию и городским жителям. Я здесь разумею преимущественно ремёсла, удовлетворяющие потребностям роскоши, без которых легко обойтись помещику. Условия приема господских людей в училища садоводства Пензенское и Полтавское не тягостны: мальчики должны быть возрастом от 16 до 20 лет, плата — в первом 110, а во втором 150 р. ежегодно. В этих же заведениях можно получать, за умеренные цены, молодые плодовые деревья лучших сортов, цветы, семена и проч.

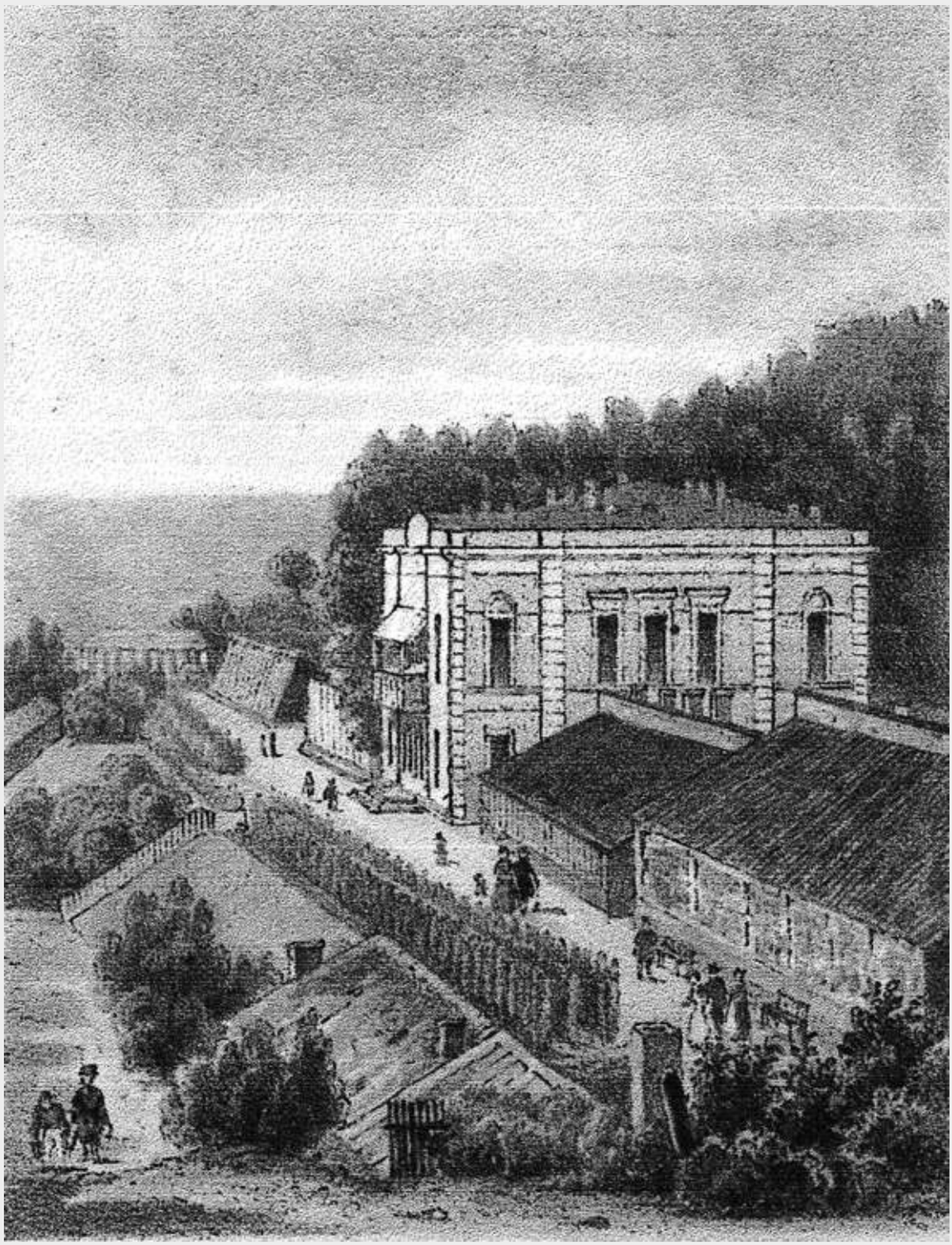
Кустарный лес, растущий на пространстве между г. Пензою и училищем садоводства, не давно присоединён к училищу: он обращён будет в красивый парк.

Дворянство Пензенской губернии единодушно; междоусобных распрей, столь обыкновенных в других губерниях, здесь почти не бывает. Зимою собираются в губернский город все лучшие помещики, распределяют дни и беспрерывно веселятся: этому много способствует умный, любезный и общежительный начальник губернии, которого все любят и уважают. Мужчины почти все играют в карты, особенно в преферанс; говорят, что Пенза платит за это приятное и полезное препровождение времени в Опекунский Совет 200 000 р. ежегодно; но это, вероятно, вся губерния, а не один город. Женщины очень впрочем, образованные; щеголяют одна перед другою; наряды большею частью выписываются из Москвы или Петербурга. К сожаленью моему, я был в Пензе в такое время (в июне), когда лучшие помещики живут в деревнях; но все что пишу о Пензе, совершенно справедливо, потому что передаю слова достоверного Пензенского жителя. Между девицами здесь много таких, которые могут назваться красавицами в полном смысле этого слова; явись она в Петербург, перед ними затмились бы многие столичные звезды первой красы.

В Пензе весело и дёшево можно жить; квартиры не дорогие: порядочный дом, комнат в восемь, отдается внаем за 500, 600 рублей, дрова продаются по 7 руб. кубическая сажень, хлеб — копеек по 30, или 40 — пуд, овес не более двух рублей четверть.

Экипажами в Пензе не щеголяют; наиболее ездят в так называемых дрогах, похожих на линейку; они делаются без рессор, на длинных перекладинах-дрогах, и очень покойны. На таких же перекладинах ставится часто бричечный кузов с помощными ремнями, и тогда дроги обращаются в тарантас, экипаж чрезвычайно лёгкий и удобный для дальнего путешествия. Он очень покоен и употребляется преимущественно в приволжских степных губерниях и в Сибири.

В Пензе нет театра; но к ярмарке (25 июня) пожаловала сюда шайка странствующих скоморохов, под начальством некоего Болеславского. На площади конной слободы сооружён из досок балаган и объявления, с дозволения начальства, разнесены по городу самими действующими лицами. Я слыхал уже о ничтожности этих балаганных театров; но то, что увидел, превзошло всё мною слышанное. «Два мужа» — водевиль, доставшийся этим актерам на пропятие, игран был как нельзя хуже: говорят тихо, ролей не знают, одеты плохо и, к довершению всего, суфлёр



Пенза. Училище садоводства. Гравюра И. Ф. Веркмейстера, сер. XIX в.

«В пяти верстах от города заведён от Правительства сад, при котором находится и училище садоводства. Оно основано в 1821 году, с целью распространения садоводства в здешнем краю и образования сведующих садовников.»

читает вслух. Тогда же обещан был балет, в котором девица N. должна была танцевать соло. В водевиле я видел эту девицу, покрытую большим платком, в платье, окоротевшем спереди. Из опасения какого-либо плачевного происшествия, я ушёл домой до конца представления. К чести Пензенских жителей должен сказать, что в театре было очень немного зрителей. Об оркестре нечего и говорить; он так дурён, что необходимо заложить уши хлопчатою бумагою, если бы поневоле пришлось слушать его. Не сердитесь, г. Болеславский, что я пишу об вас такую горькую истину, постарайтесь улучшить вашу труппу, и тогда будут снисходительнее! Впрочем, и без меня, Бог даст, на ярмарке выручат вас помещики и купчики, и за худое слово моё заплатят вам ходячею монетою, что для вас гораздо важнее невыгодной отметки в записках путешественника.

Дорога из Пензы в Саратов плоская, однообразная, исключая последней станции, чрезвычайно гористой. Чем ближе подъезжаешь от этой станции к городу, тем местоположение становится возвышеннее, так что, взъехав на последнее возвышение, видишь г. Саратов, расположенный на равнине по-сю-сторону Волги. Хотя с первого взгляда и кажется, что город лежит на низком месте, но на самом деле он расположен на довольно высоком берегу.

* * *

Из Вольска я возвратился через Саратов в Пензу.

Из Пензы обстоятельства побудили меня променять экипаж самый покойный на беспокойнейший, именно карету на тележку. Набросали в мой новый экипаж соломы, заплели кресла веревками, я сел, ямщик ударил по лошадям — и застучала моя тележка. Советую господам телего-путешественникам, — а их, я думаю, немало на Руси, — приказать заплетать кресла: они умеряют толчки и скачки, необходимые при путешествии в тряском экипаже и тем предохраняют от многих хлопот и неприятностей. Но сидеть в таких креслах — это опять искусство: главное надобно помнить, что это не вольтеровские кресла, где можно разлечься на покой. Тележные кресла этого не терпят, в них извольте сидеть прямо и никак не гнуться назад, а не то, они вам сейчас напомнят, что вы не у себя в кабинете.

Путь мой лежал на Тамбов и Воронеж. По дороге встречаются татарские деревни, заселённые мирными земледельцами, потомками тех хищных наездников, которых иго так долго тяготило над нашим отечеством. Завидев издали тележку скачущего чиновника, Татарин поскорее хватается за свою косматую шапку и второпях вместе с нею стаскивает тюбетей, прикрывающий его бритую голову. Кланяйтесь, друзья мои, кланяйтесь, теперь ваша очередь! Только не забывайте благодарить Аллаха, милостями которого вы находитесь под покровительством могучей России, ничем не отличающей вас от собственных детей своих! Татарки, сколько я их видел, не могут похвастаться красотою, зато уж имеют право похвалиться убранством. Каждая из них долгом считает увешать длинную рубаху свою множеством жестяных и серебряных блях и побрякушек, а руки украсить множеством таких же колец и браслет. Ямщики Татары мастера своего дела, везут очень скоро и не щадят своих лошадей.

Николай Васильевич

ПРОЗИН

(1836–1898)

ГОРОД ПЕНЗА

Текст печатается по приложению
к «Памятной книжке Пензенской губернии
за 1865, 1866 и 1867 годы»
(Пенза, 1868)

«Заслуженным человеком Пензы» был назван Николай Васильевич Прозин в статье, посвящённой его памяти. И это не преувеличение. Его имя 25 лет не сходило со страниц пензенской печати.

«Врач по профессии, писатель и краевед по призванию», Прозин родился в Тульской губернии, в 1854 году закончил пензенскую гимназию, в 1859 — медицинский факультет Казанского университета и был назначен врачом Краснослободского уезда. С пензенской медициной была связана жизнь и его отца, преподававшего в семинарии, и брата Василия. Уже в 1861 году появляются его публикации из Краснослободска в «Пензенских губернских ведомостях». Их заметил губернатор В. П. Александровский, и Прозин был переведён в Пензу, где стал секретарём статкомитета и редактором неофициальной части пензенских «Ведомостей» (1865–1867). Затем он опять вернулся к врачебной практике в уезде и в Пензу возвратился в 1889 году врачом и постоянным корреспондентом губернских «Ведомостей». Был избран почётным членом губернского статистического комитета.

Очерк «Город Пенза» напечатан в «Памятной книжке Пензенской губернии за 1865, 1866 и 1867 годы». Памятные книжки — уникальный источник для краеведов. Они издавались официальными учреждениями Министерства внутренних дел и в каждой губернии имели свои особенности. В самом полном виде книжки включали адрес-календарь учреждений с их личным составом, административный справочник по обустройству губернии, статистический обзор и краеведческий сборник.

Сам Прозин писал о публикациях в жанре историко-статистического очерка: «Такая статья рискует быть не прочитанной ни одним читателем, уже потому одному, что под словом статистика мы привыкли понимать самое сухое содержание, выражаемое цифрами и неинтересными названиями». У Прозина получалось совсем не то. Его статья написана занимательно, с интересными наблюдениями и картинками из жизни. Теперь и мы можем в этом убедиться.

***

Глава I

Под заглавием, которое мы сейчас сделали, нам хотелось бы представить читателям по возможности полный статистический очерк губернского города Пензы. Мы хорошо сознаём все трудности, которые нужно бывает преодолевать каждому автору при составлении такого рода описаний. Прежде всего, такая статья рискует быть не прочитанной ни одним читателем, уже потому одному, что под словом статистики мы привыкли понимать самое сухое содержание, выражаемое цифрами и неинтересными названиями. Эго мнение о целой науке, получающей в настоящее время все права гражданства, составилось во всей читающей и не читающей публике, конечно, не без причин: все статистические описания вошло у нас в привычку составлять, до сих пор так сухо, а к тому же и не без чопорности, так что и читать их, в самом деле, может показаться и скучно и бесполезно. Это первое затруднение для автора статистических очерков и описаний; он должен постараться сделать каждую свою строку занимательною, а между тем помнить, что предмет излагаемый им сам по себе серьёзен. за этим следует новое препятствие: автор должен быть хорошо знаком с местностью, которую он описывает, не говоря уже о том, что это его знакомство должно простираться еще прежде на самую науку статистику и на другую отрасль знаний, тесно связанную со статистикою, на политическую экономию — в противном случае, и этому есть многие примеры, он может увлечься самым точным описанием таких предметов, которые не могут послужить ни для каких выводов. Может быть, это обстоятельство и было причиною того, что статистику многие не хотели и до сих пор еще не хотят признавать за самостоятельную науку. О других более легких затруднениях, которые представляются автору статистических описаний, мы умалчиваем по маловажности их значения сравнительно с теми, которые приведены нами выше.

При описании г. Пензы, мы обратим внимание читателей на те статистические данные, которые могут составить собою канву для последующих выводов и соображений, преимущественно по отношению своему к определению производительных сил города. Такая точка зрения близко подходит к требованиям административной статистики и совпадает с основною целью учреждений Статистических Комитетов; историческим сведениям мы дадим здесь самое незначительное место.

Нынешний губернский город Пенза основан в 1666 году (*в те годы эта дата считалась верной — сост.*). В архиве по этому предмету сохранилась книга «поселения г. Пензы». Этот бесполезный источник, написанный так не разборчиво, что только с большим трудом можно читать каждую его строку, особенно в начале книги, указывает исключительно на раздачу усадебных земель, данных в то время людям для поселения и пользования. Указание это заключает в себе точные очертания самых владельных границ. На первых листах книги говорится о распределении земель между лицами духовного звания. Растянутая подробность описания делает всю книгу чрезвычайно скучною. Таким образом встречаем в ней, например, следующее место: «идучи от Пензенского мосту подле Пензенского лугу и озера на берегу на вязе грань и от того вяза суходолом в малый липяжёк и в том липяжке стоит дуб голенаст а на нем грань на лево покос к городу соборных спасских попов с причетниками и Пензенских посадских людей». Совершенное отсутствие знаков, разделяющих слова в этой рукописи, затеняет смысл выраженного в ней. В приведенных здесь строках «а на нем грань, а на лево покос к городу соборных попов» — как надо понимать: грань на лево, или покос соборных спасских попов на лево? А эта книга, вероятно, служила прочным документом для владельцев. В книге находим, между прочим, сведение о том, что для населения местностей, находящихся под городом Пензою, водворены были на жительство люди ссыльные, литовцы, конные казаки, пешие черкасы (?), Шацкие ссыльные люди, которые были сосланы сюда за денежное воровское дело, пешие казаки, отпущенные из Шишкеевского острога, люди принятые на Пензе в пушкари и с Алатыря, люди, ссыльные за воровское денежное дело по указу Великого Государя. Г. Пенза построен был по указу Царя и Великого Князя Алексея Михайловича; в 1785 году он был вновь построен по Высочайше конфирмованному плану. Герб г. Пензы изображается тремя стоящими в зелёном поле снопами: пшеничным, ячменным и просяным. Это обстоятельство, конечно, указывает на хлебородность местности. Из несравненно более нового документа «Топографическое описание Пензенской губернии», мы заимствуем следующие очень интересные статистические данные о состоянии г. Пензы в 1806 г.: «в оном губернском городе Пензе, говорит описание, дворянских домов 222, в них живущих дворян при должностях и без должностей 200, при них дворовых людей 687, священно- и церковнослужительских и разночинцев 940, купеческих домов 209, купцов 409, мещан и цеховых домов 373, мещан и цеховых 1252, прежних служеб канцелярских сторожей, пушкарей, и городовых воротников домов 54, а живущих в оных 222, прежних же служб пахотных солдат в городе и в пригородных слободах домов 727, живущих в них 2573, семинаристов и при гимназии учеников 875, инвалидов 63 человека, при губернской роте солдат 129. Итого домов 1936, а человек 7410». Эти факты, взятые каждый отдельно, сами по себе ничего не означают, но при сравнении их одного с другим и при обсуждении проливают яркий свет на жизнь города, взятую 59 лет тому назад. Мы видим, что на 200 человек дворян приходится 222 дома; 687 человек дворовых

людей приходятся на 200 человек дворян; священно-церковнослужителей и разночинцев вместе 940, следовательно, одних священноцерковнослужителей, надо полагать, не меньше половины всего числа (470); купцов 469; а мещан и цеховых 1252 — на 783 человека больше последних против первых; семинаристов и при гимназии учеников 875. Такие соображения можно повести дальше, но чтобы не вдаться в неудобные подробности, мы предоставляем это дело самим читателям.

Подобного рода выводы и ставят статистику на степень науки, потому, что эти выводы и соображения могут принимать систематический порядок в своем изложении и при дальнейшей своей обработке, могут послужить основанием законов исключительно доступных статистике. Ведь эти, сейчас приведенные факты, можно сравнить со статистическими таблицами настоящего года и тогда результаты второго сравнения будут еще обширнее и серьезнее результатов первого сравнения, а те и другие результаты, взятые отдельно и потом сличенные вместе, дадут опять в свою очередь основание для новых выводов. Мы знаем теперь, какие люди населили город при построении его. Город Пенза находится под 53° 11’ север. широты и 62° 41’ вост. долготы, отстоит от С. Петербурга на 1393 версты, от Москвы на 716, а от Нижнего Новгорода на 406 верст. Все эти расстояния остаются не без влияния на ход торговли города и на цену привозных товаров, в особенности расстояние от Нижнего Новгорода, так как дальше обеих столиц проходит линия железной дороги.

Когда вы подъезжаете к Пензе с Симбирской дороги, вид на город с этой стороны довольно красив. Сначала вы замечаете перед собою на возвышении раскидывающуюся зелень, из-за которой то там, то сям мелькают белые верхушки строений. По мере приближения к месту зелень делается реже, и вы ясно различаете поднимающиеся шпицы колоколен церквей и дома, окруженные деревьями. В Пензе много садов и это придает ей вдали вид несколько особенный от других городов. Пенза находится при реках Суре и Пензе, при впадении Пензы в Суру. По статистическим таблицам, составленным Пензенским Губернским Статистическим Комитетом, в минувшем 1864 году, в губернском городе значится 178 каменных домов 4330 деревянных, а всего 1508 домов. Каменные постройки в Пензе есть двухэтажные и трех-этажные. Лучшая улица в городе «Московская», вся из одних каменных построек, которые во многих местах плотно сливаются друг с другом. Московская улица одна из самых оживленных в городе, на ней помещается большая часть лавок, магазинов и торговых заведений, на каждом шагу попадается то вывеска портного, то часовых дел мастера, то парикмахера или кофе-ресторана, или швейки. Водочные магазины красиво расставили на окнах бутылки, наполненные разноцветными напитками. Зато квартиры на этой улице самые дорогие в городе — одна комната в месяц без дров стоит до 15 р. «Московская» улица тянется от соборной площади вниз к базару, который по местоположению называется нижним базаром; на том и на другом конце улицы расположены извощичьи биржи. Дома, составляющие улицу, взятые каждый отдельно, не отличаются архитектурою, но вместе в общей массе они составляют две довольно красивые линии, которые тянутся по-право и по-лево. Из того числа домов, которое мы обозначили здесь, считается по тем же статистическим таблицам казенных 19, общественных 4, частных 4484 и церковных и монастырских 1. Из числа этих домов много встречается новых зданий, только что отстроенных. Пожар, бывший в Пензе в 1858 году, уничтожил лучшие здания на Московской улице и теперь еще некоторые из них не возобновлены, хотядругие и большая часть оправлены и отстроены вновь с лучшим вкусом. Пожар этого года истребил много зданий и на других улицах: на «Троицкой» и на «Лекарской». Соборная площадь, от которой начинаете Московская улица, довольна обширна. Посреди её находится каменный кафедральный собор, большой храм с невысокою колокольнею и с длинною галерею, он обнесен чугунною бронзированною решеткою. Архитектура собора, может быть вследствие украшающих церковь с боков колонн носит на себе некоторую особенность, которая резко бросается в глаза, если смотреть на церковь, поднимаясь с низу по Московской улице вверх; при этом нельзя отказать церковному зданию в красивости снаружи. На соборной площади находятся губернские присутственные места с типографиею, два больших длинных выкрашенных в настоящее время желтою краскою, двух-этажных здания, отстроенная вновь и частию возобновленная Семинария, большой трех-этажный дом с решетками перед ним; около собора находится архиерейский дом, каменное здание, построенное по старинному образцу; к нему примыкает небольшая крестовая церковь, довольно красиво отделанная внутри. На противоположной стороне площади расположен губернаторский дом, большое высокое трех-этажное каменное здание с балконом, довольно красивое снаружи. Рядом с губернаторским домом находится старый дом Пензенского Городского Общества, который стоит теперь неоправленный и пустой. за ним следует деревянный дом Гимназии, рядом с которым помещается другое деревянное же здание для квартиры директора. На этой же площади построена, кроме собора, еще другая церковь во имя Святителя Николая. Недалеко от губернаторского дома начинается сквер. Это городской общественный сад, обнесенный чугунною решеткою с небольшим числом дорожек, разбитых на большом пространстве. В нем нет цветов и плодовых деревьев, но аллеи довольно красивы. К площади примыкает из больших каменных зданий гостиница купца Варенцова. Здание это заслуживает внимания как по наружному виду и прекрасным антре с чугунными лестницами, так и потому, что дает проезжающим действительно спокойное, чистое, по желанию просторное, убранное элегантною мебелью, помещение. Нумер в 2 рубля имеет переднюю, зал для приема и спальню. Чистота и вкус внутренней отделки нумеров обращает на себя внимание всех проезжающих.

В этом же доме находится лучший в городе кофе-ресторан и магазин того же купца, от которого дальше уже потянутся лавки и магазины других торговцев на Московской улице. Напротив магазина к. Варенцова торгует в настоящее время магазин к. Ахлынина. Он снаружи некрасив, но внутри отделан просто и не без вкуса. К чести Пензенских торговцев нельзя не отнести вообще отделанную с простотою и вкусом внутренность их лавок. Там где прода-

ются сукна и материи, найдете очень приличную мебель, шкафы оклеены орехом, окна драпированы. Вывески на лавках и магазинах сделаны довольно опрятно; между ними не встречается почти ни одной безграмотной, что можно было в прежнее время встретить очень часто. Параллельно с Московскою улицею тянутся улицы «Лекарская» и «Троицкая». На обеих из них есть большие каменные дома, а на Троицкой улице проходит телеграфная линия, которая повертывает отсюда на верхние улицы города и идет дальше по «Покровской» улице, выходя из города на большой Саратовский тракт. Пензу можно разделить по естественному ее местоположению, которое она занимает, на две большие части: на нагорную и подгорную часть. Те улицы, которые мы сейчас описали, принадлежат второй части города, а на горе расположены «Пешая» улица — «Верхняя» и «Средняя», затем «Покровская» — «Верхняя» и «Нижняя». Несколько в сторону от них проходит «Дворянская» улица, вся занятая большими каменными и деревянными зданиями. Она не длинна и оканчивается крутым спуском. На «нижней» Покровской улице постройки большею частию деревянные; здесь самые дешевые квартиры в городе. На «средней» Пешей улице попадаются каменные дома, а больше деревянные. Здесь квартиры, по близости к соборной площади и вообще к центру города, не уступают в цене помещениям, расположенным на Московской улице. Следовательно, самая большая доходность домов относится к тем постройкам, которые находятся на Московской, Средней Пешей и Верхней Пешей улицах. «Рождественская» и «Казанская» улицы расположены в части города, построенной внизу той горы, на которой расположена Пенза. Так называемый «Кузнечный порядок» выстроен на берегу реки Пензы. «Казанская» улица и «Рождественская» не отличаются хорошими постройками. Новых домов очень немного. На всех этих улицах там и сям выглядывают лавочки, на перекрестках сидят торговки. Улицы освещаются фонарями, в которых в настоящее время горит спирто-скипидарная жидкость. Фонари устроены достаточно удобно и свет от них падает на большое пространство, освещая не красным пламенем улицу, как это было прежде, но ярким белым огнем. Такие фонари несравненно лучше и для проезжающих по улицам и для пешеходов. Пенза в уличном устройстве имеет свою особенность, которая резко бросается в глаза каждому приезжающему в город, например из подмосковных губерний. Тротуары все сделаны из дерева; точно то же устройство встречаем в Тамбове, тогда как, например, в Рязани, Воронеже, Туле они сделаны из кирпича и крупного плитняка. В Казани на Воскресенской улице тротуары выстланы торцем, приготовленным из просмоленного дерева (1859 г.). Это последнее устройство тротуаров, а равно и улиц говорят нашли нынче крайне неудобным при пожарных случаях потому, что просмоленное дерево легко воспламеняется. Зато езда по таким улицам надо отдать им справедливость, чрезвычайно удобна и спокойна. Грязь и дождик не имеют никакого влияния на них, и пешеходы могут проходить улицы в легких калошах. В недавнее время приготовляется новый способ мощения улиц чугунною клеткою, набиваемою плотно камнем. Этот способ доступен, однако ж, пока только в столицах. Нельзя не сказать, что свойство самого камня, которым производится мощение улиц, имеет влияние на все качества мостовой. Камень, добываемый около города Пензы, единственно годный в этой местности для мощения, мягок; вследствие такой причины наши мостовые требуют частых поправок, потому что камень от колесной езды скоро разбивается. Но отвратить подобное неудобство едва ли возможно. Дальний же перевоз камня способен сделать наши мостовые только еще дороже.

Глава II

Мы сказали, что город Пенза расположен на полугоре; это его положение очень важно во многих отношениях: во время дождей осенью и весною вода стекает обыкновенно с возвышенных поверхностей вниз и, следовательно, не смотря на канавы, сделанные для отвода воды, она неизбежно делает улицы, расположенные внизу этого полугорья, более сырыми и грязными сравнительно с теми улицами, которые расположены на самой горе. Это обстоятельство, в свою очередь, становится не совсем благоприятным гигиеническим условием для нижних улиц. В Пензе 21 православная церковь и кроме того три деревянных домовых. Близь самого города находится мужеский монастырь, а в самом городе один женский, в обоих считается 9 каменных церквей. Раскольнических скитов и молелен нет, протестантская одна церква деревянная и очень небольшая. Магометанских мечетей одна. Число жителей православного вероисповедания в Пензе равняется мужеского пола 15172 и женского пола 12443, раскольников разных сект 13 человек, римскокатолического вероисповедания 344 человека, протестантского 209 человек, еврейского 66 человек и магометанского 109 человек. Замечательно, что в Пензе ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА и предполагала учредить университет; об этом в то время состоялся даже указ. Если мы взглянем на народонаселение г. Пензы с сословной стороны, то увидим, что в ней проживает дворян потомственных обоих полов 802 человека, дворян личных 887 человек, духовенства православного-белого 373 человек и монашествующего 116 человек, евангелическо-лютеранского 2 человека и магометанского 14 человек. Из городских сословий: почетных граждан потомственных 62 человека и личных 49 человек, купцов 1204 человека, мещан 13464 человека, цеховых 1694 человека. Сельских сословий: государственных крестьян 6716 человека, колонистов 2, удельных крестьян 7 человек, временнообязанных крестьян 43 человека, дворовых людей, прекративших обязательные отношения, 134 человека. Военных сословий: регулярных войск в 1864 году состояло 1593 человека, бессрочно отпускных 177 человек, отставных нижних чинов солдатских жен и дочерей 714 человек, солдатских детей 65 человек, иностранных подданных 35 человек и лиц не принадлежащих к выше показанным разрядам 200 человек. Все народонаселение города Пензы равняется 28956; мужеского пола 15719 и женского пола 12637 человек, следовательно, мужеский пол по числу 3082 человека превышает женский. Это пропорциальное отношение полов должно иметь влияние при определении условий проституции.

Пензенское купечество ведет торг оптовый и раздробительную продажу различного рода товаров.

В лавках можно всегда найти хороших доброт сукна, материи всех сортов, меха; чай и сахар привозится в больших количествах, виноградные вина встречаются довольно высокого разбора, но вообще, впрочем, вин настоящих достоинств почти нет. Свечи сальные производятся на местных заводах, но отбелка сала, употребляемого для литья, не хороша, сальные свечи поступают в продажу маканые и литые. Мы не знаем, почему до сих пор еще здесь не поставят этого образа выделки свеч. Маканая свеча всегда была и будет хуже свечи, отделанной литьем в формах. Первое условие хорошего горения всякой свечи заключается в надлежащем отношении (пропорциональности) поперечника (диаметра) светильни к поперечнику самого цилиндра сального, стеаринового, маргаринового и проч. Маканая свеча неровна, бугриста; какая же пропорциональность диаметров может быть соблюдена при этом случае? Между прочим, доказано опытом, что свет свечи тонкой, мелкого разбора уже и во всех отношениях имеет более преимуществ перед светом свечи крупного размера. Во Франции приготовляют свечи, которых идет двадцать штук на один фунт. Это, конечно, делают со стеариновыми свечами. Но, у нас вообще это и в Пензе сальных свеч мелкого размера производят очень мало. Мы говорим об осмушке; десятерик, кажется, вовсе не делают. Мелкая свеча, если только она дает даже свет равный с крупного размера свечою, должна быть предпочтена последней потому, что сберегает самый продукт, из которого выделывается. Потребление сальных свеч в Пензе до сих пор еще значительно, не смотря на возрастающий запрос на свечи стеариновые и маргариновые, а равно и на распространение употребления ламп с фотогеном. Во многих местах в Пензе встречаете зажженными вместо двух свеч в комнате две фотогеновые лампы. Фотоген продается здесь довольно чистый, не дающий отвратительного скипидарного запаха. Фунт его ценится 20 коп. Свечи сальные за фунт 13 коп., стеариновые лучших заводов 28 коп., Сарепские Асмуса и К° 23 коп. фунт, а экономические 21 коп., но обыкновенно они продаются 20 коп. за фунт. В пудах, конечно, все эти, продукты обходятся много дешевле. Магазин К. Пособцова отличается хороших достоинств чаями. Цены на чаи не высоки. Сахар в том же магазине и во всех прочих продается разных производств, а преимущественно Кенига, Бобринской и Сборомирского. В отношении рафинированных сортов сахара нельзя не сказать, что и это производство приняло у нас с некоторого времени общий характер выделки всех прочих продуктов, свойственный настоящему времени. Сахар известных выделок крепок, блестящ на поверхности, но внутри редок, заключает в себе много слизи и потому не сладок. В Пензе сахар производств Кенига и Бобринской при продаже целыми головами отдается 22 коп. за фунт, в раздробительной продаже несколько выше. Сахарных песков порядочных мало поступает в продажу, а те сорта, какие есть, нередко, вследствие дурной свекловицы, отзываются соленым вкусом так, что делаются почти негодными к употреблению. Табаки и папиросы продаются всех сортов; о сбережении сигар заботятся мало, вследствие чего и хорошие сорта нередко теряют свои достоинства. Мыла разных сортов выделываются местно. Белые сорта есть крайне плохие по своему разрушающему действию на ткани, подвергающиеся, при очистке их, влиянию такого мыла. Впрочем, есть зато и довольно высокие и добротные сорта. Мыло белое продается здесь за фунт 10 коп., мыло полубелое 8 коп. и желтое (черное) 7 коп. и 6 коп. в раздробительной продаже. Конфекты и все сорта пряников и кондитерских печений производятся местно. Такое заведение находится у к. Ахлынина и его выделка как конфект, так, преимущественно, пряников, довольно добротна. Пряники производства к. Ахлынина не портятся при довольно долгом лежании и даже в летнее время. Конфекты скорее подвергаются таянию и разжижению, но впрочем, только низкие сорта, известные в продаже под именем «Конфект в бумажках» и «шарад». Такие конфекты продаются в Пензе из лавок 25 и 26 коп. за фунт раздробительно. Фруктовые с эссенциями конфекты приготовляются довольно хорошо. В настоящее время производство фруктовых эссенций самих по себе химическими способами чрезвычайно размножилось. Таким образом, ананасная эссенция, одна из самых приятных по утонченности аромата, приготовляется искусственно из молока вместе с другими животными веществами. Целая коллекция их была не очень давно выставлена на всемирной выставке. Подделка так натуральна, что невозможно различить аромата естественного фрукта от его аромата, приготовленного химически и, следовательно, искусственно. Надо полагать, что цена на такие кондитерские продукты, при удешевлении самых эссенций, понизится. Кофе продается в Пензе от 35 коп. за фунт и до 55 коп. Здесь преимущественно спрашивается кофе свежий. Многие же любители и знатоки предпочитают, как нам известно, кофе, долго лежавший большою массою в закрытом ящике. Из опыта видно, что такой кофе действительно заключает в себе более эфирномасленных начал, почему и имеет все преимущества перед кофе свежим. В некоторых местах торговцы, кажется, извлекают, пользуясь этим свойством продукта, свои выгоды из кофе низших сортов. К чести наших продавцов надо отнести, что подкрашенных сортов кофе у нас почти не встречается.

В Пензе в 1864 году считалось заводов салотопенных 2, мыловаренных 4, кожевенных 4, суконных фабрик 2, табачных 1, пивомедововаренных заводов 3, писчебумажная фабрика 1, водочных заводов 6, чугунно-литейных 2, кирпичных 30 и 1 колокольный. При нынешней распространенной продаже спиртных напитков нельзя пройти молчанием эту отрасль торговли. Хорошо выделанное хлебное вино, употребляемое небольшими количествами, есть необходимый народный напиток, подкрепляющий силы человека, Особенно занятого физическими работами; употребляемое же не в меру и часто, оно становится одним из самых губительных ядов, незаметно действующих на организм человека. В Пензе есть довольно хорошей очистки хлебное вино, которое продается здесь до 3 рублей за ведро. Вино от 2 руб. 50 коп. отличается самой плохой очисткой. Водочные заводы выделывают довольно чисто водки и при том самых разнообразных сортов, но потребление их сравнительно с простым очищенным хлебным вином слишком мало, особенно сладких водок. В простонародье еще скорее является запрос на ратафии. Наливки, приготовляемые искусственно с прибавлением эссенций, дешевые сорта, чрезвычайно дурны, потому что хлебное вино, взятое под их выделку, низкой

очистки. Те же сорта наливок, которые здесь в продаже от 40 коп. за ½ часть ведра и далее на один рубль довольно порядочной доброты. В настоящее время в Пензе приготовляется очень хорошее Баварское пиво. Это здоровый и во многих случаях полезный напиток. В Пензе насчитывается 7 оптовых складов хлебного вина, питейных домов 121, штофных лавок 13 и постоялых дворов с правом продажи питей 16. В Пензе, сколько можно заметить, в настоящее время народное пьянство приостановилось в своем развитии, и принимает сравнительно меньшие размеры. В городе считается булочней 12, хлебен и пекарен 33. Белый хлеб, поступающий в продажу, отличается всеми хорошими качествами: бел, рыхл, легок и чист. Подмесей даже общепринятых и в самом малом размере употребляющихся во многих местах, как например очищенного поташа, здесь положительно не встречается. Французский хлеб стоит здесь низшего сорта 3 коп., а лучший 4 ½ коп. Белый хлеб, который режется и продается фунтами, стоит за фунт первого сорта 3 ½ коп., второго 2 ½ и третьего сорта (пшеничный) 1 ½ коп. Черный ржаной хлеб печеный продается за фунт ниже одной копейки. Торговля в Пензе главным образом сосредоточивается на двух пунктах: на «Московской» улице и на «Нижнем базаре». Лавки и магазины на этом последнем пункте торгуют довольно бойко. Самая постройка мест продажи довольно изящна. Есть магазины, обложенные снаружи очень красиво фигурным чугуном. Мясные ряды обширны и чисты. Конкуренция достигает здесь сильных размеров. Та часть города, которая расположена на горе, улицы «Пешая» верхняя и средняя, а равно «Покровская» имеют для покупки обиходных продуктов свое место продажи. На Покровской улице находятся другие мясные ряды, около которых в летнее и осеннее время можно всегда найти зелень и овощи. Рыбный ряд расположен на «Нижнем базаре». Привоз рыбы из Саратова довольно значительный, кроме того всегда продается свежая рыба, которую ловят в р. Суре. Мы желали бы определить точные цифры привоза и потребления рыбы и других товаров в Пензе в продолжении года, но действительно — существующие факты в этом случае неуловимы, тем более, что наши торговцы как и все прочие или не имеют сами таких совершенно верных сведений или, чему можно скорее поверить, по местным коммерческим расчетам не могут решиться обнаружить эти данные для публики и их никак нельзя обвинить в этом случае. — В Пензе есть лавка с серебряными вещами и с алмазными. Выбор хрустальных вещей, фаянса и фарфора достаточно удовлетворительный. Фарфоровые вещи и вещи из шоссейной пыли можно найти выделанными с большим вкусом, но цена на эти последние очень высока. Средней величины сахарница стоить девять и десять рублей. Модный товар продается из магазинов на той же «Московской» улице. Выбор довольно большой, судя, разумеется, по числу жителей и по пространству губернского города. Галантерейный товар не дешев, но в нем попадаются предметы, сделанные с изяществом. В настоящее время в Пензе есть даже мастерская гипсовых фигур. Их приготовляет поселившийся здесь очень небогатый италиянец. У него всегда можно найти чисто вылепленные статуи и статуэтки, бюсты Шиллера, Гете, Моцарта и Бетховена, пьедесталы и даже очень удачные копии с Этрусских ваз и тому подобные предметы. Очень недавно он начал приготовлять шандалы и рамки для столовых портретов. Цена всем этим вещам очень невысока. Рамки довольно хорошо бронзированные продаются от 7 коп. и до 50 за одну штуку — правда, что они не прочны, однако ж на столе они составляют не дурное украшение и могут, если их не уронятъ, прослужить довольно долго. Точно также и шандалы. Статуи средней величины продаются от одного рубля двадцати пяти коп. до двух рублей за штуку. Лепка чиста и довольно верна естественности, так что на человеческих фигурах можно заметить отчетливо выделанные мускулы на руках и ногах. Отбелка фигур не всегда попадается хорошая — нередко такая вещь, простоявши два, три месяца, желтеет. Бронзированные вещи в этом отношении удобнее, но они далеко не могут иметь того вида, который исключительно принадлежите фигурам и слепкам чистого белого цвета. В мастерской продается много стенных украшений. В Пензе, как видно из нашего описания, нет книжной лавки. Давно, прежде, говорят, здесь была и книжная продажа. На Московской улице есть довольно хорошая фотография, в которой можно встретить готовые снимки с натуры из нашего народного быта, а также фотографические копии с картин известных художников. В Пензе есть кроме этой и еще одна фотография. Здешние фотографы имеют у себя недавно появившийся моментан-аппарат. Рисовальных мастерских с серьезными работами нет.

Глава III

Настоящую статью мы посвящаем очерку нашей базарной торговли. В Пензе существуют два базара: один внизу города, который называется «Нижним» базаром, а другой в той же части города, которая расположена на горе — этот последний называется «Верхним» базаром. Нижний базар есть исключительное место базарной торговли в городе, потому что Верхний базар существует только для удовлетворения одних крайних нужд жителей верхней части города, так как расстояние, например, с одного конца Пешей улицы и до Нижнего базара достаточно велико. Мы принимаем здесь в сравнительное внимание другие расстояния в нашем городе и вообще расстояния, какие бывают обыкновенно в наших губернских городах.

Нижний базар торгует по понедельникам и по пятницам. Площадь, отведенная для торга, довольно обширна, на ней находятся постройки в виде настоящих магазинов и лавок; тут есть мясные лавки, лавки для продажи муки и вообще для производства торговли хлебом. Мясные лавки достаточно чисты; здесь можно найти всех сортов говядину, разложенную очень аккуратно на столах, накрытых чистым полотном, — против этих столов выставлены бычачьи головы, языки и тому подобный товар. По окончании базара, вечером здесь стаями собираются собаки, которые сбегаются сюда подбирать рога и осколки костей. Когда вы проходите мясными рядами, на противоположной стороне их вы видите длинный ряд торговок, пред которыми так чинно расставлены орехи, сахарные стручки, яблоки, подсолнечные зерна и множество разных мелочных товаров, продажа которых по всей России совершается только из их

рук. Зимой, ранним утром, когда трескучий мороз обжигает руки и лицо, а густой дым, кажется, остановился неподвижно над крышами домов, картина этого ряда особенно привлекательна.

Лавки с мукою довольно обширны, товар расставлен кулями, а торговцы сидят и дожидаются покупателей около входов и на самой галерее, которая тянется вдоль всего ряда этих лавок. Проходя с Лекарской улицы в мясные ряды, вы идете мимо выставки железного товара. Вам попадаются железные трубы, печи, ведра и чугун во всевозможных изделиях. Деревянная посуда и всякого рода изделия из дерева, служащие для домашнего обихода, разложены целыми грудами. В том же ряду, где сидят торговки, и в других местах базара можно всегда найти домашнюю птицу: кур, индюшек, уток, гусей и проч. и весь этот живой товар накрыт сетками и железными колпаками. Куры на нашем базаре попадаются большею частию простые русские, иногда встречаются индейской породы, которых у нас называют здесь «брахмапутрами», а также голландские. Русских кур привозят из соседних деревень и продают преимущественно для стола. Куры-брахмапутры отличаются своею большею против обыкновенных величиною, — петухи этой породы чрезвычайно велики, имеют высокие и мускулистые ноги, они очень сильны, хотя далеко не такие забияки, как простой породы. Зимний холод действует на эту породу кур очень вредно, вот, вероятно, причина, почему их так трудно разводить у нас, несмотря на желание некоторых хозяев. Эта порода несёт крупные яйца бледно желторозового цвета. По каким-то соображениям чтобы оклиматизировать эту породу, отдавали яйца кур-брахмапутр высиживать простым русским курам, но и эта попытка развести индейскую породу не удалась. Утки есть очень жирно откормленные, гуси так же. Странно, что у нас так мало заботятся хозяева о разведении голландской породы кур.

Дичь развешена в особом месте на деревянных шестах и на жердях. Здесь можно встретить преимущественно диких уток, тетеревов и рябчиков, которые, однако ж, продаются, по крайней мере, осенью, не дешевле семидесяти копеек за одного рябчика. Сено расставлено возами в особом ряду.

Повертывая несколько в сторону с базарной площади, вы попадаете в так называемый «толкучий ряд». Здесь всегда толпится много народа, и в самом деле нельзя пройти без того, чтобы или вас не толкнули или вы, совершенно нечаянно, не толкнули другого. В толкучем ряду торгуют совершенно разнообразным товаром. В одном месте вы увидите старое платье, в другом разложены книги, из которых нередко найдется несколько дельных и очень замечательных — и все это продастся за самую «сходную» цену. Разнообразие в книжном выборе доходит до высших степеней: рядом с немецким изданием или с красивым изданием описания Парижского «gardin des plantes» вы находите произведения Потапова, здесь же валяется «Георг Милорд», «Франциль и Венециана» или «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа». Каждая книга находит для себя покупателей. У этих букинистов можно задешево приобретать прекрасные эстампы и гравюры.

Мы были свидетелями как кто-то купил на наших глазах целую книгу, украшенную очень изящными английскими гравюрами за три рубля. Число картин в книге простиралось до пятидесяти штук. Любителям собирать библиотеки с небольшими издержками и охотникам до книжных редкостей можно найти здесь достаточно материала для себя. Нередко порядочные книги продаются на фунты. В толкучем ряду встретите много вещей очень небесполезных в каждом хозяйстве: тут выставлен для продажи и прекрасный чайный прибор с томпаковым самоваром, и наборная сбруя для лошадей, старые часы и оклеенная карельскою березою шкатулка с затейливо придуманными секретными ящиками, стародавняя вычура наших прабабушек. Тут же можно найти иногда, не больше как за пятнадцать или за двадцать рублей, очень не представительную на вид и крайне не красивую снаружи скрипку, которая, после гардеровки где-нибудь в Петербурге, будет стоить до двух сот рублей. История появления подобных скрипок на нашем базаре очень проста; нам привелось слышать ее от одного достопочтенного старожила города Пензы, человека, кстати сказать, известного своим ученым направлением. В прежние времена в Пензе проживало много богатых владельцев, имевших свои собственные оркестры. Инструменты выписывались ими нередко от лучших мастеров чрез столичные магазины. Вместе с тем как они оканчивали свою жизнь, эти оркестры упадали, а потом и совсем распускались и уничтожались. Инструменты же оставались часто у крепостных музыкантов, которые и продавали их без разбора, а эти, в свою очередь, впоследствии перепродавали их опять в другие руки и таким образом вероятнее всего, товар показывается теперь времени от времени на нашем толкучем ряду.

На нашем базаре можно найти достаточное количество мебели, а также экипажи, которые выставляются, если не каждый базарный день, то, по крайней мере, очень часто и всегда в то время, когда собираются большие базары. Мебель подержанная, а иногда и новая. Конечно, эта мебель, если она только что сделана, то далеко не так прочна, как приготовленная на заказ.

Экипажи есть новые, а больше поправленные. Здесь можно купить тарантас очень удобный для езды, за пятьдесят и за шестьдесят рублей. Изредка попадаются подобные экипажи за тридцать рублей.

Овощи и Фрукты выставляются в осенние базары в изобилии. Между яблоками различных сортов и всевозможными ягодами встречаются в известное время ананасы, хотя очень некрупные. В зимнее время здесь продается довольно чисто приготовленная прессованная зелень для супов.

Рыба продается преимущественно из лавок; но встречается и в возах.

Кроме этого товара на базаре найдете выставленными постоянно перья, пух, мед, сало, щетину, холст. Сальные свечи, исключительно маканые, занимают на базарной площади целые лавки, но на особых столиках, как это бывает на уездных базарах, не предлагаются. Рожь, ссыпанная по амбарам, а равно и привозимая в возах, занимает большое место на нашем базаре. Хлебный рынок здесь довольно велик. Хлеб привозится исключительно из разных мест уезда.

Лучшее сено, как говорят, привозится из деревни Соловцовки и окрестных с этою деревнею мест.

Дрова поступают на базар точно также из разных мест Пензенского уезда, который далеко небогат лесом. Чаще всего попадаются на базаре дрова бере-

зовые, а затем осиновые, липовые и дубовые. Съестные припасы, как например, масло, яйца, молоко и т. под. продаются на базаре, выставляемые из разных окрестных сел и деревень города. Масло коровье привозится кадками; сливочное и чухонское в меньших количествах.

Около рыбного ряда выставлены для продажи в больших клетках певчие птицы. за мясными рядами продают домашний скот: коров, телят, баранов и свиней. Лошадей продают в разных местах базарной площади, но их выводят не каждый базарный день. Между домашним скотом особых пород не встречается. Коровы продаются обыкновенной породы и черкасские; свиньи встречаются большею частию мелкие и очень редко «чудской» породы или как эту породу называют в просторечии «чуцкой». Лошади, выставляемый на базары, большею частию рабочие, но есть и для городской езды. Заводских лошадей не попадается.

Теперь мы обратим внимание читателей на базарные цены и на этот раз возьмем те из них, которые существуют у нас в настоящее время, так, как всякому известно, что они меняются от совершенно различных обстоятельств, а равно и от самого времени года, имеющего влияние на пути сообщения, на дороги, за которыми затрудняется провоз товара и обходится по тем или другим причинам дороже для самих продавцов. Конечно, это условие общее повсюду и не принадлежит исключительно городу Пензе.

Мука крупичатая за мешок 5 пудов 1 сорта 7 руб., 2-й сорт 5 руб., ржаная за пуд 32 коп., овес за четверть 1 руб. 70 коп., пшено за четв. 2 руб. 30 коп., железо шинное за пуд 1 руб. 60 к., кровельное 2 руб. 80 к. и 3 руб. Масло коровье за пуд 7 руб. 50 коп., за фунт 20 коп., чухонское за фунт от 25 коп. – 27 коп., сливочное за фунт 30 коп. Мясо: говядина за пуд 1 руб. 50 коп., за фунт 4 коп., баранина за пуд 1 руб. 50 коп., за фунт 4 коп., свинина за пуд 1 руб. 50 коп., за фунт 4 коп., сало топленое говяжье за пуд 4 руб. 50 коп., сало баранье за пуд 4 руб. 40 коп. Соль за пуд 65 коп., за фунт 2 коп. Сырые кожи коровьи за штуку 2 руб. 50 коп., телячьи за штуку 1 руб. Лесные продукты: дрова березовые за сажень 4 руб., дубовые — 4 руб., сосновые 3 руб., те же дрова возами: березовые за воз средней величины 50 коп., дубовые 65 коп. и сосновые 40 коп. Лён за пуд 5 руб. 20 коп., за фунт 15 коп. Пенька за пуд 80 коп. Масло конопляное за пуд 4 руб., шленская шерсть за пуд 10 руб. Пух за фунт 50 коп., щетина продается на базаре большею частию и почти исключительно пучками и связками по 3 коп., по 5 коп., по 10 и т. д. за каждый, и в этом виде скупается торгашами-барышниками. Мёд за пуд 7 руб. 50 коп., за фунт от 15 коп. – 17 коп. Рыба соленая: осетрина малосольная лучшая за фунт 18 коп. и несколько выше, севрюжина за фунт от 10 коп. – 12 коп. Рыба свежая, она продается большею частию со столов: судак средней величины стоит от 30 коп. – 40 коп., мелкая рыба продается фунт от 12 коп. – 13 коп., стерлядь очень не крупная за фунт 15 коп. Курица средней величины от 15 коп. – 20 коп., индюшка средней величины 60 коп., гусь от 30 коп. – 50 коп., утка от 20 коп. – 30 коп. Яйца за десяток 10 коп., картофель мера от 23 коп. – 30 коп., капуста нынешнею осенью продавалась за сотню самая плохая 2 руб., несколько лучше 3 руб. и лучшая от 5–6 руб. В городе нынче жаловались, впрочем, на дороговизну капусты. Домашний скот продавался осенью дешево. Мы привели здесь цены даже на такие предметы, как, например, яйца, картофель и т. под. с тою целью, чтобы показать, во что может обходиться ежедневный и месячный обиход нашего городского жителя.

Верхний базар до сих пор еще не установился, как следует, и он торгует два дня в неделю и притом сряду: в среду и четверг. На нем собирается до сих пор очень мало продавцов. Нельзя не заметить, что в Пензе, кроме того, есть особые места мелочной продажи на разных пунктах города. Таким образом, недалеко от здания семинарии ежедневно рано утром собираются мелочные торговцы и крестьянки с необходимыми жизненными припасами: с молоком, маслом, сметаною.

Точно то же мы видим в Покровской улице. Базары в Пензе съезжаются обыкновенно не очень рано, не ближе шести часов утра; летом впрочем, они собираются в пять часов; и даже в четыре. Съезд торговцев не всегда бывает одинаков. Летние базары по причине полевых работ страдной поры, везде собираются значительно меньше, нежели осенние, а в особенности зимние. Так это и в Пензе. Зимой особенно велики и шумны базары бывают под праздник Рождества Христова и на первый день масленицы.

Если мы сделаем сравнение нашего базара с одним из базаров какого-нибудь уездного города нашей же губернии, то заметим между ними резкое различие, причем особенно бросается в глаза внешняя картина торговли. В Пензе базар имеет более городской вид и носит на себе отпечаток городского характера. Каждый товар выставлен более заманчиво для покупателя. Кроме того, самый привоз товара, особенно хлебный рынок, несравненно больше, нежели на базарах в наших уездных городах; пьянство занимает здесь меньшее место. Вообще торговый люд, начиная с мелочника, занят, видимо делом. На базаре в уездном городе вас, прежде всего, поражает присутствие огромного количества дегтя, а потом деревянных корыт, колес и глиняной посуды; на нашем базаре, в Пензе, вы встречаете, напротив совершенное разнообразие предметов продажи и крестьянского товара очень немного перед прочим. Если прибавим к этому разницу цен на тот или на другой товар, какая существует на нашем базаре и на базарах в уездных городах, то получим верное сравнение базара в городе Пензе с базарами в уездных городах губернии.

Глава IV

В Пензе находится пять учебных заведений. К казенным принадлежат: гимназия и уездное училище, к народным городским два мужских и одно женское училище 2 разряда.

Гимназия содержится на счет казны и получает на содержание и весь гимназический состав из местного казначейства ежегодно 14213 руб. 69 коп. Число чиновников и преподавателей к 1 января 1866 года было 21, учащихся к тому же времени состояло 319 чел., из числа которых принадлежат к сословиям дворян и чиновников 188, духовного звания 17, городских сословий 84, сельских 28 и иностранцев 2. Все они вольноприходящие. При гимназии существуют землемеро-таксаторские классы. В 1865 году 15 сентября 1 курс закрыт, оставлен один второй курс для учеников долженствующих окончить полный землемеротаксаторский курс. Число учеников во 2 курсе к 1 января 1866 года состояло 18. Из них принадлежат к сосло-

вию дворян и чиновников 6, духовного званияодин, городских сословий 10 и сельских сословий один. При этих классах состоят на службе только 2, непринадлежащих к гимназическому штату, именно: местный губернский землемер, занимающий в этих классах должность инспектора и преподавателя, и местный же особый землемер, занимающий должность преподавателя. Землемеро-таксаторскис классы содержатся на счет губернских земских повинностей, на них отпускалось прежде 5000 руб., но с закрытием 1 курса в 1866 году назначено к отпуску 3000 рублей.

В уездном училище учащихся к 1 января 1866 года было 180. Из них принадлежат к сословиям дворян и чиновников 42, духовного звания 1, городских сословий 103 и сельских 34. Это училище получает ежегодно из государственного казначейства 2097 руб. 8 коп.

В городских народных училищах учащихся 212. Из них принадлежат к сословиям дворян и чиновников 25, духовного звания один, городских сословий 138 и сельских сословий 48. Преподавателей в этих заведениях 4.

В женском училище 2 разряда учащихся 143; из них принадлежат к сословиям дворян и чиновников 12, духовного звания 1, городских сословий 138 и сельских сословий 2. В нем служащих лиц 3. Преподаванием занимаются учителя уездного училища.

Мужские училища содержатся на счет городских доходов, получая 1500 руб., и женское на счет особого сбора с общества, отпускающего 1375 руб. в год.

К частным учебным заведениям принадлежат: женский пансион г. Гофман — в нём учащихся девиц 65. Из них дочерей дворян и чиновников 54, духовного звания 2, городских сословий 7 и иностранцев 2.

Школа для детей обоего пола г. Шрейдер — в ней учащихся 15. Из них мальчиков 11 и девочек 4. По сословиям: детей дворян и чиновников 11, духовного звания 1 и городских сословий 3. В обоих этих частных заведениях занимаются преподаванием лица, имеющие на то право.

Кроме того в Пензе находится Александринский детский приют с училищем трудолюбия, в нем учащихся 66. Затем семинария с 270 учащихся в ней и училище для девиц духовного звания с 38 учащимися в нём.

Мы считаем полезным сделать теперь небольшое отступление и показать цифру, как учебных заведений, так и учащихся, кроме города Пензы, во всей Пензенской губернии. Уездных училищ в губернии находится 7, в них учащихся 460. Приходских мужеских 9, в них учащихся 587; женских 3, в них учащихся 59; училищ в селениях государственных крестьян, основанных по распоряжению Министерства Государственных Имуществ, 72; в них учащихся 3029; сельских училищ вообще при приходских церквах 155; в них учащихся 1608. Татарских школ или медресов 54; в них учащихся 2533. Из духовных училищ — уездных 3; в них учащихся 840. Итого всех учебных заведений в губернии, включая и находящиеся в самом городе Пензе, 314, а учащихся в них 10531. Принимая в соображение цифру народонаселения губернии и цифру отдельных сословий, мы найдем, что число учащихся относится к общему числу жителей как 1 к 148, по духовному ведомству как 1 к 9, а в благородном сословии вместе с городскими обывателями как 1 к 28. Из этих цифр мы видим, между прочим, что в 3 женских приходских училищах находится всего 59 учащихся, тогда как в одном из них, находящемся в губернском городе, учащихся 116.

В Пензе находилась прежде, в доме городского общества, публичная библиотека, которая теперь давно уже закрыта для публики.

Из отчета Пензенского Губернского Статистического Комитета за 1856 год мы видим, что она была основана 20 декабря 1837 г., в примечании тут же находим, что первоначально библиотека имела 170 названий и 600 томов. Статский Советник Киселев изъявил желание быть почетным попечителем библиотеки и пожертвовал в пользу её 200 томов, после того жертвовали другие лица. В отчете этого же года упоминается о том, что библиотека в это время имела 747 названий и 2288 томов. В 1854 году в библиотеке, по осмотру её, оказалось 2279 томов и 747 названий, кроме того 328 книг на иностранных языках. Между книгами есть, кажется, и в настоящее время отдельные издания по части богословия, словесности, истории, сельского хозяйства и естествознания. Книги большею частию относятся к последней половине прошлого столетия и к первой половине нынешнего.

При библиотеке находятся каталоги разных годов.

Частная библиотека г. Виноградова, которая была открыта публики, хотя и не за дешевую цену, сняла в настоящее время свою вывеску. Кажется, дело этой библиотеки в самом начале не имело успеха, по малому числу требований. В библиотеке г. Виноградова находятся много новейших изданий; целый шкаф занят Французскими книгами. Там же можно было получить большую часть газет и журналы.

В Пензе 2 типографии: одна Губернская, состоящая при Губернском Правлении, другая типография Палаты Государственных Имуществ. Губернская типография в настоящее время приведена в лучшее состояние; она производит работы скоропечатною машиною и имеет у себя несколько станков новой конструкции. Приобретены новые шрифты, которые скоро должны войти в употребление. Обе типографии принимают частные заказы. Литографий 2, содержимых частными лицами. Работ в них не много.

В России (до 1924 года) использовались в торговле следующие меры старорусские веса:

Берковец (от названия острова Бьерк) — *эта большая мера веса, употреблялась в оптовой торговле преимущественно для взвешивания воска, меда и т. д. Так на Руси называлась мера веса в 10 пудов (163,8 кг), как раз стандартная бочка с воском, которую один человек мог закатить на купеческую ладью, плывущую на этот самый остров.*

Пуд — *мера, равная 40 фунтам (16,38 кг).*

Фунт — *мера, равная 32 лотам, 96 золотникам, 1/40 пуда (409,50 г). Сахар продавали фунтами, а вот чай покупали на золотники. До недавнего времени, маленькая пачка чаю, весом в 50 грамм называлась «осьмушка» (1/8 фунта).*

Лот — *мера, равная трём золотникам (12,797 г).*

Золотник (первоначально обозначало золотую монету) — *равнялся 1/96 фунта (4,26 г). Про него говорили: «мал золотник да дорог».*

Доля — *мера, равная 1/96 золотника (0,044 г).*

Владимир Алексеевич
ГИЛЯРОВСКИЙ
(1853–1935)

МОИ СКИТАНИЯ

(стр. 147–153)

ЛЮДИ ТЕАТРА

(стр. 154–156)

Тексты печатаются по публикации
в трёхтомном собрании сочинений.
(Издательство «Московский рабочий», 1961)

Если вся Россия знала Владимира Алексеевича Гиляровского впоследствии знаменитого «короля репортажа», то Пенза познакомилась с ним как с Сологубом, артистом труппы антрепренёра В. П. Далматова, игравшим в сезонах 1878/79 и 1880/81 годов. Звучный «графский» псевдоним понадобился для привлечения публики.

Гиляровский родился и провёл детство в Вологодской губернии, где его отец служил помощником управляющего глухим лесным имением Олсуфьева. Не от нужды, а от любопытства и любви к приключениям ушёл из гимназии в бурлаки на Волгу. Много кем успел побывать: табунщиком, наездником и борцом в цирке, работал в рыбацких артелях, слыл знатоком пожарного дела. В 1875 году случайно стал артистом в Тамбове, затем попал в Пензу.

Человек необыкновенной физической силы, колоритная натура, олицетворение русской широты, богатырства и удали, он имел солдатского Георгия за участие в турецкой войне (1877), золотую медаль за участие в Олимпийских играх (он основал «Русское гимнастическое общество»). Репин писал с него одного из запорожцев, скульптор Андреев лепил фигуру Тараса Бульбы для памятника Гоголю в Москве. Он водил артистов Художественного театра в ночлежки на Хитровке для знакомства с «бывшими людьми». «С тобой и умирать некогда», — говорил ему А. П. Чехов. «Крёстным отцом в литературе и атлетике» считал его А. И. Куприн. Большое обаяние личности «дяди Гиляя» привлекало в его московский дом Л. Толстого, М. Горького, И. Левитана, Ф. Шаляпина, И. Бунина, В. Маяковского, С. Есенина, В. Брюсова, Д. Бедного, В. Качалова. А уют и гостеприимство в этом доме обеспечивала жена, вывезенная из Пензы, Мария Ивановна Мурзина (1861–1953).

Гиляровский был щедр и талантлив и в своих книгах. Самой любимой он считал «Мои скитания» (1928). «Люди театра» (1935) вышли уже после смерти автора, в 1941 году. Из них публикуются фрагменты, повествующие о Пензе.

* * *

Глава девятая

АКТЕРСТВО

Таганрог. Дома у отца. Письмо Далматова. Пензенский театр В. А. Сологуб. Бенефис и визиты. Мейерхольд. Летний сезон в Воронеже. Гастроли М. Н. Ермоловой и О. А. Правдина. Таинственный певец. Оскорбление жандарма. В вагоне с быками. М. И. Свободина и Далматов. Сезон в Пензе. «Особые приметы». Л. И. Горсткин. Как ставить «Гамлета».

В Таганроге прямо с пристани я попал на спектакль, в уборную М. П. Яковлева, знаменитого трагика, с которым встречался в Москве. Здесь познакомился с его сыном Сашей, и потом много лет спустя эта наша встреча ему пригодилась.

Когда я занимал уже хорошее положение в московской печати, ко мне зашел Саша Яковлев в какую-то тяжелую для него минуту жизни. Я не помню уже, что именно с ним случилось, но знаю, что положение его было далеко не из важных. Я обрадовался ему, он у меня прожил несколько дней и в тот же сезон служил у Корша, где вскоре стал премьером и имел огромный успех. Не помню его судьбу дальше, уж очень много разных встреч и впечатлений было у меня, а если я его вспомнил, так это потому, что после войны это была первая встреча за кулисами, где мне тут же и предложили остаться в труппе, но я отговорился желанием повидаться с отцом и отправился в Вологду, и по пути заехал в Воронеж, где в театре Матковского служила Гаевская.

Явился домой ровно в полночь к великой радости отца, которому в числе гостинцев я привез в подарок лучшего турецкого табаку, добытого мною в Кабулетах. От отца я получил в подарок дедовскую серебряную табакерку.

— Береги, она счастливая! — сказал мне отец.

Недолго я пробыл дома. Вскоре получил письмо от Далматова из Пензы, помеченное 5 октября 1878 года, которое храню и до сих пор. Он пишет: «Мне говорили, что Вы уже получили отставку, если это так, то приезжайте ко мне трудиться… Я думаю, что отец доволен Вашим поступком — он заслуживает признательности и похвалы. Что касается до меня, то в случае неустойки я к Вашим услугам. Хотя я и вновь обзавелся семейством, но это нисколько не мешает мне не забывать старых товарищей».

И вот я в Пензе. С вокзала в театр я приехал на «удобке». Это специально пензенский экипаж вроде извозчичьей пролетки без рессор, с продольным толстым брусом, отделявшим ноги одного пассажира от другого. На пензенских грязных и гористых улицах всякий другой экипаж поломался бы, — но почему его назвали «удобка» — не знаю. Разве потому, что на брус садился, скорчившись в три погибели, третий пассажир?

В 9 утра я подъехал к театру. Это старинный барский дом на Троицкой улице, принадлежавший старому барину в полном смысле этого слова, Льву Ивановичу Горсткину, жившему со своей семьей в половине дома, выходившей в сад, а театр выходил на улицу, и выходили на улицу огромные окна квартиры Далматова, состоящей из роскошного кабинета и спальни. Высокий кабинет с лепными работами и росписью на потолке. Старинная мебель… Посредине этой огромной комнаты большой круглый стол красного дерева, заваленный пьесами, афишами, газетами. Над ним, как раз над серединой, висела толстая бронзовая цепь, оканчивавшаяся огромным крюком, на высоте не больше полутора аршин над столом. Наверно здесь была люстра, когда-то, а теперь на крюке висела запыленная турецкая феска, которую я послал Далматову с войны в ответ на его посылку с гостинцами, полученную мной в отряде.

Дверь мне отпер старый-престарый, с облезлыми рыжими волосами и такими же усами отставной солдат, сторож Григорьич, который, увидя меня в бурке, черкеске и папахе, вытянулся по-военному и провел в кабинет, где Далматов — он жил в это время один — пил чай и разбирался в бумагах. Чисто выбритый, надушенный, в дорогом халате, он вскочил, бросился ко мне целоваться…

Григорьич поставил на стол к кипящему самовару прибор и — сам догадался — выставил из шкафа графин с коньяком.

После чаю с разговорами Далматов усадил меня за письменный стол, и началось составление афиши на воскресенье. Идут «Разбойники» Шиллера. Карл — Далматов.

— А вы сыграете Швейцера (тогда мы еще были на «вы»).

И против Швейцера пишет: — Гиляровский. Я протестую и прошу поставить мой старый рязанский псевдоним — Луганский.

— Нет, надо позвучнее! — говорит Далматов и указывает пальцем на лежащую на столе книжку: «Тарантас», соч. гр. В. А. Сологуба.

И зачеркнув мою фамилию, молча пишет: Швейцер — Сологуб.

— Как хорошо! И тоже В. А.! Великолепно, за графа принимать будут.

Так этот псевдоним и остался на много лет, хотя за графа меня никто не принимал. Я служил под ним и в Пензе, и на другое лето у Кузнецова в Воронеже, где играл с М. Н. Ермоловой и О. А. Правдиным, приезжавшими на гастроли. Уже через много лет, при встрече в Москве, когда я уже и сцену давно бросил, О. А. Правдин, к великому удивлению окружающих, при первой московской встрече, назвал меня по-старому Сологубом и в доказательство вынул из бумажника визитную карточку «В. А. Сологуб» с графской короной, причем эта корона и заглавные буквы были сделаны самым бесцензурным манером. Этих карточек целую пачку нарисовал мне в Воронеже, литографировал и подарил служивший тогда со мной актер

Вязовский. Одна из них попала к Правдину, и даже во время немецкой войны, как-то при встрече он сказал мне:

— А твою карточку, Сологуб, до сего времени храню!

Итак, я стал Сологубом и в воскресенье играл Швейцера. Труппа была дружная, все милые, милые люди. Далматов так и носился со мной. Хотя я нанял квартирку в две комнатки недалеко от театра, даже потом завел двух собак, щенками подобранных на улице, Дуньку и Зулуса, а с Далматовым не расставался и зачастую ночевал у него. Посредине сцены я устроил себе для развлечения трапецию, которая поднималась только во время спектакля, а остальное время болталась над сценой, и я поминутно давал на ней акробатические представления, часто мешая репетировать — и никто не смел мне замечание сделать — может быть потому, что я за сезон набил такую мускулатуру, что подступиться было рискованно.

Я пользовался общей любовью и, конечно, никогда ни с кем не ссорился, кроме единственного случая за все время, когда одного франта резонера, пытавшегося совратить с пути молоденькую актрису, я отвел в сторону и прочитал ему такую нотацию, с некоторым обещанием, что на другой день он не явился в театр, послал отказ и уехал из Пензы…

Играл я вторые роли, играл все, что дают, добросовестно исполнял их и был, кроме того, помощником режиссера. Пьесы ставились наскоро, с двух, редко с трех репетиций, иногда считая в это число и считку. В неделю приходилось разучивать две, а то и три роли.

Жилось спокойно и весело, а после войны и моей бродяжной жизни я жил роскошно, как никогда до того времени не жил.

Вспоминается мне мой бенефис. Выпустил Далматов за неделю анонс о моем бенефисе, преподнес мне пачку роскошно напечатанных маленьких программ, что делалось тогда редко, и предложил, по обычаю местному, объехать меценатов и пригласить всех, начиная с губернатора, у которого я по поручению Далматова уже режиссировал домашний спектакль.

И вот, после анонса, дней за пять до бенефиса, облекся я, сняв черкеску, в черную пару, нанял лучшего лихача, единственного на всю Пензу, Ивана Никитина, и с программами и книжкой билетов, уж не в «удобке», а в коляске, отправился, скрепя сердце, первым делом к губернатору. Тут мне посчастливилось в подъезде встретить Лидию Арсеньевну…

Губернатором был А. А. Татищев, штатский генерал, огромный, толстый, с лошадиной физиономией, что еще увеличивало его важность. Его жена была важнейшая губернаторша, но у них жила и подруга ее по Смольному, Лидия Арсеньевна, которая в делах управления губернией была выше губернаторши, да чуть ли и не самого губернатора. Встретив ее, выходившую на прогулку, я ей дал программу, с просьбой пожаловать на бенефис и спросил, могу ли видеть Александра Александровича.

— Он в канцелярии. Не стоит вам беспокоиться, я скажу, что были и приглашали нас… Обязательно будем…

И действительно были в своей бесплатной губернаторской ложе и прислали в день бенефиса в кассу на мое имя конверт с губернаторской визитной карточкой и приложением новой четвертной за ложу.

Окрыленный еду на Московскую улицу, в магазин купца Варенцова, содержателя, кроме того, лучшей гостиницы, где я часто играл на биллиарде.

Сухо меня встретил купчина, но обещал быть, а билет не взял. Тоже и соседний магазинщик Будылин. Еду к богатому портному Корабельщикову, которому еще не уплатил за сюртук.

— Ладно. Спрошу жену… Пожалуй, оставьте ложу в счет долга…

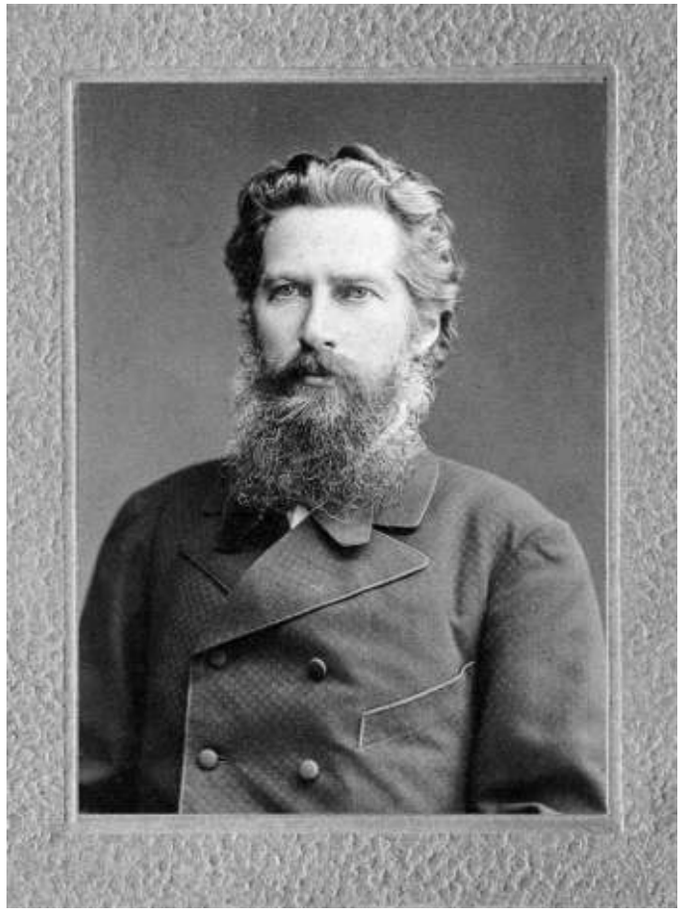
Это меня обидело. Я вышел, сел на Ивана Никитина, поехал завтракать в ресторан Кошелева. Отпустил лихача и вошел. В зале встречаю нашего буфетчика Румеля, рассказываю ему о бенефисе, и он прямо тащит меня к своему столу, за которым сидит высокий, могучий человек с большой русой бородой: фигура такая, что прямо нормандского викинга пиши.

— Мейерхольд.

— Сологуб, Владимир Алексеевич, наш артист, — познакомил нас Румель. Мейерхольд заулыбался:

— Очень, очень рад. Будем завтракать.

И сразу налил всем по большой рюмке водки из бутылки, на которой было написано: «Углевка», завода Э. Ф. Мейерхольд, Пенза».



Эмиль Фёдорович Мейерхольд

Ах, и водка была хороша! Такой, как «Углевка», никогда я нигде не пил — ни у Смирнова Петра, ни у вдовы Поповой, хотя ее «вдовья слеза», как Москва называла эту водку, была лучше Смирновской.

«Углевка» и «удобка» — два специально местные пензенские слова, нигде больше мной неслыханные — незабвенны!

За завтраком Мейерхольд мне не позволил заплатить.

— За этим столом платить не полагается, вы — мой гость.

И неловко мне после этого было предложить ему билет, да Румель выручил, рассказав о бенефисе.

— Пожалуйста, мне ложу... бельэтаж. Поближе к сцене...

Я вынул еще непочатую книжку билетов, отрезал 1-й номер бельэтажа, рядом с губернаторской ложей, и вручил:

— Почин. Только первый билет.

— О, у меня рука легкая, — и вынул из бумажника двадцатипятирублевку. Я позвал полового, и посылаю его разменять деньги.

— Нет... Нет... Никакой сдачи. У нас по-русски говорят: почин сдачи не дает. На счастье!.. — и, взяв у полового деньги, свернул их и положил передо мной.

— Спасибо. Теперь я больше ни к кому не поеду.

— Зачем так?

— Ни за что не поеду. Будь, что будет!

— Вот дайте мне несколько афиш, я их всем знакомым раздам... Все придут.

Я дал ему пачку программ и распрощался. Вышел на подъезд, и вдруг выходят из магазина два красавца-татарина, братья Кулахметьевы, парфюмеры, мои знакомые по театру. Поздоровались. Рассказываю о бенефисе.

— Будем, все будем, — говорит старший, а младший его перебивает:

— Поедем к нам обедать.

А у тротуара санки стоят. Младший что-то сказал кучеру-татарину, тот соскочил и вожжи передал хозяину.

— Садись с братом, я вас прокачу.

И через несколько минут бешеной езды рысак примчал нас в загородный дом Кулахметьевых, с огромным садом. Тут же помещались их парфюмерная фабрика и мыловаренный завод.

Обстановка квартиры роскошная, европейская. Сервировка тоже, стол прекрасный, вина от Леве. Обедали мы по холостому. Семья обедает раньше. Особенно мне понравились пельмени.

— Из молодого жеребеночка! — сказал старший брат и пояснил: — Жеребятинка замораживается, строгается ножом, лучку, перчику, соли, а сырые пельмени опять замораживаются, и мороженные в кипяток.

С нами был еще молодой татарин Ибрагим Баишев, тоже театрал, и был еще главный управляющий фабрикой и парфюмер француз Рошет... (Впоследствии Рошет заведовал большой парфюмерной фабрикой Бодло в Москве).

Все купили билеты: две ложи бельэтажа — Кулахметьевы — Рошета пригласили к себе в ложу — и Баишев билет первого ряда. Еще 50 рублей в кармане! Я победителем приехал к Далматову. Рассказал все и отдал книгу билетов.

— Никуда не поеду, ну их всех к дьяволу!

Сбор у меня был хороший и без этого. Это единственный раз я «ездил с бенефисом». Было это на второй год моей службы у Далматова, в первый год я бенефиса не имел. В последующие годы все бенефицианты по моему примеру ездили с визитом к Мейерхольду, и он никогда не отказывался, брал ложу, крупно платил и сделался меценатом.

Лето 1879 года я служил в Воронеже. Это был как раз год Липецкого съезда. Вот тут-то и приезжали к нам Ермолова и Правдин. В Воронеже сезон был удачный; между тем в это лето там основалось вольное пожарное общество, куда меня записали в члены, и на двух пожарах я горячо работал в звании «1-го лазальщика», как там называли топорников.

Еще одна таинственная вещь случилась там, о которой я до сих ничего не знаю.

Во время сезона, в чей-то бенефис, не помню совершенно, в чей именно, появилось на афише в дивертисменте «певец Петров — баркарола». Он сам аккомпанировал на мандолине. Его никто не знал. Это был человек небольшого роста, с небольшой бородкой. Я его видел уже на сцене. Вышел скромно, пропел великолепно, повторил на бис, ушел за кулисы и исчез...

Его искали ужинать, но не нашли, и забыли уже, но через несколько дней полицейский пристав приходил к Казанцеву, а потом расспрашивал и некоторых актеров, кто такой этот Петров, кто с ним знаком из труппы, но знакомых не нашлось, и, действительно, никто из нас не знал его. Выяснилось, что он явился на репетицию с мандолиной, предложил участвовать в дивертисментах, и спел перед Казанцевым и актерами баркаролу, получил приглашение и ушел.

* * *

Много, много лет спустя, в Москве я встретил некоего Васильева, который в то время жил в Воронеже, был большим меценатом. Он угощал актеров, устраивал нам ужин, жил богато.

В Москве уже в военное время я встретился с ним. По-видимому, средств у него уже не было. Разговорились, и он рассказал мне целый ряд воспоминаний из того сезона и, между прочим, вспомнил баркаролу и Петрова.

— А вы знаете, кто это был, и почему тогда полиция его искала?

— Не знаю. Его никто не знал. Да и внимания-то никто не обратил на это. Только, когда полиция справлялась, так поговорили малость, да и забыли. Да и кому он интересен.

— Я тоже так думал тогда, а потом уж после от полицмейстера, по секрету, узнал, что это на бенефисе Вязовского (тут я только вспомнил, чей бенефис был) участвовал один важный государственный преступник. В это время был Липецкий съезд народовольцев, так вот со съезда некоторые участники были в театре и слушали своего товарища, который как-то попал на сцену.

Помню еще, что мы чествовали Ермолову роскошным завтраком, и я, желая выразить восторг, за ее здоровье выпил, не отнимая ото рта, бутылку коньяку финьшампань, о чем после уже в Москве вспоминала Мария Николаевна, написавшая мне тогда уже во время революции в альбом несколько строк: «На память о Воронеже в 1879 году»...

И после этой бутылки, вечером, как ни в чем не бывало, я играл в спектакле, — то была молодость, когда все нипочем!

Помню еще в Воронеже на сквере памятник Петру Первому. Он стоит, опираясь на якорь, глядит налево, как раз на здание интендантства, а рукой победоносно указывает направо, как раз на тюрьму. На памятнике надпись: «Петру Первому — Русское дворянство

в Воронеже». Как-то мы после спектакля ночью гуляли на сквере и оставили в нравоучение потомству на пьедестале памятника надпись мелом:

Смотрите, русское дворянство,
Петр Первый и по смерти строг
Глядит на интендантство,
А пальцем кажет на острог.

* * *

До этого сезона Далматов ходил холостым, а в Воронеже летом у него начался роман с М. И. Свободиной-Барышевой, продолжавшийся долго.

А года за три перед этим здесь же после зимнего сезона он разошелся со своей женой, артисткой Любской. Говорили, что одна из причин их развода была та, что Далматов играл Гамлета и Любская играла Гамлета. Как-то Далматов, вскоре после моего приезда в Пензу, получил афишу, где значилось: «Гамлет, принц Датский — Любская».

Он мне показал афишу и сказал, что это: «Моя дура жена отличается».

И Далматов долго хранил эту афишу с прибавленным на ней акростихом:

Дар единственный — полсвета
Удивленьем поражает:
Роль мужскую, роль Гамлета
Артистически играет.

* * *

Окончив благополучно сезон, мы проехали в Пензу втроем: Далматов и Свободина в купе 1-го класса, а я один в третьем, без всякого багажа, потому что единственный чемодан пошел вместе с Далматовским багажом. На станции Муравьеве, когда уже начало темнеть, я забежал в буфет выпить пива и не слыхал третьего звонка. Гляжу, поезд пошел. Я мчусь по платформе, чтобы догнать последний вагон, уже довольно быстро двигающийся, как чувствую, что меня в то самое время, когда я уже протянул руку, чтобы схватиться за стойку и прыгнуть на площадку, кто-то схватывает, облапив сзади.

Момент, поезд недосягаем, а передо мной огромный жандарм читает мне нравоучение.

Представьте себе мою досаду: мои уехали — я один! Первое, что я сделал, не раздумывая, с почерку — это хватил кулаком жандарма по физиономии, и он загремел на рельсы с высокой платформы… Второе, сообразив мгновенно, что это пахнет бедой серьезной, я спрыгнул и бросился бежать поперек путей, желая проскочить под товарным поездом, пропускавшим наш пассажирский…

Слышу гвалт, шум и вопли около жандарма, которого поднимают сторожа. Один с фонарем. Я переползаю под вагоном на противоположную сторону, взглядываю наверх и вижу, что надо мной вагон с быками, боковые двери которого заложены брусьями. Моментально, пользуясь темнотой, проползаю между брусьями в вагон, пробираюсь между быков, — их оказалось в вагоне только пять, — в задний угол вагона, забираю у них сено, снимаю пальто, посыпаю на него сено и, так замаскировавшись, ложусь на пол в углу...

Тихо. Быки постукивают копытами и жуют жвачку… Я прислушиваюсь. На станции беготня… Шум… То стихает… То опять… Раздается звонок… Мимо по платформе пробегают люди… Свисток паровоза… длинный… с перерывами… Грохот железа… Рвануло вагон раз… два… и колеса захлопали по стрелкам… Я успокоился и сразу заснул. Проснулся от какой-то тишины… Светает… Соображаю, где я… Красные калмыцкие быки… Огромные, рогастые… Поезд стоит. Я встаю, оправляюсь. Вешаю на спину быка пальто и шляпой чищу его… Потом надеваю… выглядываю из вагона… Заря алеет… Скоро солнышко взойдет… Вижу кругом нескончаемые ряды вагонов, значит большая станция… Ощупываю карманы — все цело: и бумажник и кошелек… Еще раз выглядываю — ни души… Отодвигаю один запор и приготовляюсь прыгнуть, как вдруг над самым ухом свистит паровоз… Я вздрогнул, но все-таки спрыгнул на песок, и мой поезд загремел цепями, захлопал буферами и двинулся.

Пробираюсь под вагонами, и передо мною длиннейшая платформа. Ряжск! Как раз здесь пересадка на Пензу… Гордо иду в зал I класса и прямо к буфету — жажда страшная. Пью пиво и ем бутерброды. У буфета никого… Наконец, появляются носильщики. Будят пассажиров… И вижу, в другом конце зала поднимающуюся из-за стенки дивана фигуру Далматова… Лечу! Мария Ивановна, откинувшись к стене, только просыпается… Я подхожу к ним… У обоих — глаза круглые от удивленья.

— Сологуб! — оба сразу.

— Я самолично.

— А я хотел телеграмму дать в поезд. Думал, не случилось ли что… Или, может быть, проспал… Все искали… Ведь мы здесь с 12 часов. Через час еще наш поезд.

— А я отговорила дать телеграмму, — сказала Свободина, и я ее поблагодарил за свое спасение.

В этот сезон 1879–80 года репертуар был самый разнообразный, — иногда по две, а то и по три пьесы новых ставили в неделю. Работы масса, учили роли иногда и днем и ночью. Играть приходилось все. Раз вышел такой случай: идет «Гроза», уж 8 часов; все одеты, а старухи Онихимовской — играет сумасшедшую барыню — нет и нет! Начали спектакль; думаю, приедет. В конце первого акта приходит посланный и передает письмо от мужа Онихимовской, который сообщает, что жена лежит вся в жару и встать не может. Единственная надежда — вторая старуха Яковлева. Посылаем — дома нет, и где она — не знают. Далматов бесится… Спектакль продолжается. Послали за любительницей Рудольф.

Я иду в костюмерную, добываю костюм; парикмахер Шишков приносит седой парик, я потихоньку гримируюсь, запершись у себя в уборной, и слышу, как рядом со мной бесится Далматов и все справляется о Рудольф. Акт кончается, я вхожу в уборную Далматова, где застаю М. И. Свободину и актера Виноградского.

Вхожу, стучу костылем и говорю:

— Все в огне гореть будете неугасимом!.. Ошалели все трое, да как прыснут со смеху… А Далматов, нахохотавшись, сделал серьезное лицо и запер уборную.

— Тише. А то узнают тебя — ведь на сцене расхохочутся… Сиди здесь да молчи.

С этого дня мы перешли с ним на «ты». Он вышел и говорит выпускающему Макарову и кому-то из актеров:

— Рудольф приехала! У меня в уборной одевается. Как бы то ни было, а сумасшедшую барыню я сыграл,

и многие за кулисами, пока я не вышел со сцены, не выпрямился и не заговорил своим голосом, даже и внимания не обратили, а публика так и не узнала. Уже после похохотали все.

Сезон был веселый. Далматов и Свободина пользовались огромным успехом. Пенза видала Далматова во всевозможных ролях, и так как в репертуар входила оперетка, то он играл и губернатора в «Птичках певчих» и Мурзука в «Жирофле-Жирофля», в моем арабском плаще, который я подарил ему. Видела Далматова Пенза и в «Агасфере», в жесточайшей трагедии Висковатова «Казнь безбожному», состоявшей из 27 картин. Шла она в бенефис актера Конакова и для любимого старика в ней участвовали все первые персонажи от Свободиной-Барышевой до опереточной примадонны Раичевой включительно.

Трехаршинная афиша красными и синими буквами сделали полный сбор, тем более, что на ней значились всевозможные ужасы, и заканчивалась эта афиша так: «Картина 27 и последняя: Страшный суд и Воскресение мертвых. В заключение всей труппой будет исполнен «камаринский». И воскресшие плясали, а с ними и суфлер Модестов, вылезший с книгой и со свечкой из будки.

Бенефисы Далматова и Свободиной-Барышевой собирали всю аристократию, и ложи бенуара блистали бриллиантами и черными парами, а бельэтаж — форменными платьями и мундирами учащейся молодежи. Институток и гимназисток приводили только на эти бенефисы, но раз вышло кое-что неладное. В бенефис Далматова шел «Обрыв» Гончарова. Страстная сцена между Марком Волоховым и Верой, исполненная прекрасно Далматовым и Свободиной, кончается тем, что Волохов уносит Веру в лес... Вдруг страшенный пьяный бас грянул с галерки:

— Так ее!.. — и загоготал на весь театр. Все взоры на галерку, и кто-то крикнул, узнав по голосу:

— Да это отец протодьякон!

Аплодисменты... Свистки... Гвалт...

А протодьякон, любитель театра, подбиравший обыкновенно для спектакля волосы в воротник, был полицией выведен и, кажется, был «взыскан за мракобесие».

* * *

Сезон 1879–80 года закончился блестяще; актеры заработали хорошо, и вся труппа на следующую зиму осталась у Далматова почти в полном составе: никому не хотелось уезжать из гостеприимной Пензы.

Пенза явилась опять повторным кругом моей жизни. Я бросил трактирную жизнь и дурачества, вроде подвешивания квартального на крюк, где была люстра когда-то, что описано со слов Далматова у Амфитеатрова в его воспоминаниях, и стал бывать в семейных домах, где собиралась славная учащаяся молодежь.

Часть труппы разъехалась на лето, нас осталось немного. Лето играли кое-как товариществом в Пензенском ботаническом казенном саду, прекрасно поставленном ученым садоводом Баумом, который умер несколько лет назад. Семья Баум была одна из театральных пензенских семей. Две дочери Баум выступали с успехом на пензенской сцене. Одна из них умерла, а другая окончательно перешла на сцену и стала известной в свое время инженю Дубровиной. Она уже в год окончания гимназии удачно дебютировала в роли слепой в «Двух сиротках». Особенно часто я бывал в семье у Баум. В первый раз я попал к ним, провожая после спектакля нашу артистку Баум-Дубровину и ее неразлучную подругу-гимназистку М. И. М-ну, дававшую уроки дочери М. И. Свободиной, и был приглашен зайти на чай. С той поры свободные вечера я часто проводил у них и окончательно бросил мой гулевой порядок жизни и даже ударился в лирику, вместо моих прежних разудалых бурлацких песен. Десятилетняя сестра нашей артистки, Маруся, моя внимательная слушательница, сказала как-то мне за чаем:

— Знаете, Сологуб, вы — талант!

— Спасибо, Маруся.

— Да, талант... только не на сцене... Вы — поэт.

Это меня тогда немного обидело, — я мнил себя актером, а после вспоминал и теперь с удовольствием вспоминаю эти слова...

Другая театральная семья — это была семья Горсткиных, но там были более серьезные беседы, даже скорее какие-то учено театральные заседания. Происходили они в полухудожественном, в полумасонском кабинете-библиотеке владельца дома, Льва Ивановича Горсткина, высокообразованного старика, долго жившего за границей, знакомого с Герценом, Огаревым, о которых он любил вспоминать, и увлекавшегося в юности масонством.

Под старость он был небогат и существовал только арендой за театр.

Вот у него-то в кабинете, заставленном шкафами книг и выходившем окнами и балконом в сад над речкой Пензяткой, и бывали время от времени заседания. На них присутствовали из актеров — Свободина, Далматов, молодой Градов, бывший харьковский студент, и я.

Горсткин заранее назначал нам день и намечал предмет беседы, выбирая темой какой-нибудь прошедший или готовящийся спектакль, и предлагал нам пользоваться его старинной библиотекой. Для новых изданий я был записан в библиотеке Умнова.

* * *

Одна из серьезных бесед началась анекдотом. Служил у нас первым любовником некоторое время актер Белов и потребовал, чтобы Далматов разрешил ему сыграть в свой бенефис Гамлета. Далматов разрешил. Белов сыграл скверно, но сбор сорвал. Настоящая фамилия Белова была Бочарников. Он крестьянин Тамбовской губернии, малограмотный. С ним я путешествовал пешком из Моршанска в Кирсанов в труппе Григорьева.

После бенефиса вышел срок его паспорта, и он принес старый паспорт Далматову, чтобы переслать в волость с приложением трех рублей на новый «плакат», выдававшийся на год. Далматов поручил это мне. Читаю паспорт и вижу, что в рубрике «особые приметы» ничего нет. Я пишу: «Скверно играет Гамлета», — и посылаю паспорт денежным письмом в волость.

Через несколько дней паспорт возвращается. Труппа вся на сцене. Я выделываю, по обыкновению, разные штуки на трапеции. Белову подают письмо. Он распечатывает, читает, потом вскакивает и орет дико:

— Подлецы! Подлецы! — И бросается к Далматову.

— Василий Пантелеймонович! Вы посылали мой паспорт?

— Сологуб посылал.

Я чувствую, что будет дело, соскакиваю с трапеции и становлюсь в грозную позу.

Белов ко мне, но остановился... Глядит на меня, да как заплачет... Уж насилу я его успокоил, дав слово, что этого никто не узнает... Но узнали все-таки помимо меня: зачем-то понадобился паспорт в контору театра, и там прочли, а потом узнал Далматов и все: против «особых примет» надпись на новом паспорте была повторена: «Скверно играет Гамлета».

Причем «Гамлета» написано через ять! Вот на этом спектакле Горсткин пригласил нас на следующую субботу — по субботам спектаклей не было — поговорить о Гамлете. Горсткин прочел нам целое исследование о Гамлете; говорил много Далматов, Градов, и еще был выслушан один карандашный набросок, который озадачил присутствующих и на который после споров и разговоров Лев Иванович положил резолюцию:

— Оригинально, но великого Шекспира уродовать нельзя... А все-таки это хорошо.

А Далматов увлекся им. Привожу его целиком:

— Мне хочется разойтись с Шекспиром, который так много дал из английского быта. А уж как ставят у нас — позор. Я помню, в чьем-то переводе вставлены, кажется, неправильно по Шекспиру строки, — но, по-моему, это именно то, что надо:

В белых перьях, статный воин
Первый в Дании боец...

Иначе я Гамлета не представляю. Недурно он дрался на мечах, не на рапирах, нет, а на мечах. Ловко приколол Полония. Это боец. И кругом не те придворные шаркуны из танцзала!.. Все окружающие Гамлета, все — это:

Ряд норманнов удалых.
Как в масках, в шлемах пудовых
Со своей тяжелой алебардой.
Такие же, как и Гамлет.

И Розенкранц с Гильденштерном, неумело берущие от Гамлета грубыми ручищами флейту, конечно, не умеют на ней играть. И у королевы короткое платье, и грубые ноги, а на голове корона, которую привезли из какого-то набега предки и по ее образцу выковали дома из полпуда золота такую же для короля. И Гамлет, и Гораций, и стража в первом акте в волчьих и медвежьих мехах сверх лат... У короля великолепный награбленный где-то, может быть, византийский или римский трон, привезенный удальцами вместе с короной... Пятном он стоит в королевской зале, потому что эта зала не короля, и король не король, а викинг, атаман пиратов. В зале, кроме очага — ни куска камня. Все постройки из потемневшего векового дуба, грубо, на веки сколоченные. Приемная зала, где трон — потолок с толстыми матицами, подпертыми разными бревнами, мебель — дубовые скамьи и неподъемно толстые табуреты дубовые.

Оленя ранили стрелой...

И наши Гамлеты таращатся чуть не на венский стул в своих туфельках и трико и бросают эту героическую фразу:

Оленя ранили стрелой...

Мой Гамлет в лосиновых сапожищах и в тюленьей, шерстью вверх, куртке, с размаху, безотчетным порывом прыгает тигром на табурет дубовый, который не опрокинешь, и в тон этого прыжка гремят слова зверски-злорадно, вслед удирающему королю в пурпурной, тоже ограбленной где-то мантии, — слова:

Оленя ранили стрелой...

Никаких трико. Никаких туфель. Никаких шпор. На корабле шпоры не носят! Меч с длинной, крестом, рукоятью, чтобы обеими руками рубануть. Алебарды — эти морские топоры, при абордаже рубящие и канаты и человека с головы до пояса... Обеими руками... В свалке не до фехтования.

Только руби... А для этого мечи и тяжелые алебарды для двух рук.

... Как в масках в шлемах пудовых.

А у молодых из-под них кудри, как лен светлые. Север. И во всем север, дикий север дикого серого моря. Я удивляюсь, почему у Шекспира при короле не было шута? Ведь был же шут — «бедный Йорик». Нужен и живой такой же Йорик. Может быть и арапчик, вывезенный из дальних стран вместе с добычей, и обезьяна в клетке. Опять флейта? Дудка, а не флейта! Дудками и барабанами встречают Фортинбрасса.

Все это львы да леопарды.
Орлы, медведи, ястреба...

...а не шаркуны придворные, танцующие менуэт вокруг Мечтателя, неврастеника и кисейной барышни Офелии, как раз ему «под кадриль». Нет, это —

Первый в Дании боец!

Удалой и лукавый, разбойник морской, как все остальные окружающие, начиная с короля и кончая могильщиком.

Единственно «светлый луч в зверином мраке» — Офелия — чистая душа, не выдержавшая ужаса окружающего ее, когда открылись ее глаза. Всю дикую мерзость придворных интриг и преступлений дал Шекспир, а мы изобразили изящный королевский двор — лоск изобразили мы! Изобразить надо все эти мерзости в стиле полудикого варварства, хитрость хищного зверя в каждом лице, грубую ложь и дикую силу, среди которых затравливаемый зверь — Гамлет, «первый в Дании боец», полный благородных порывов, борется притворством и хитростью, с таким же орудием врага, обычным тогда орудием войны удалых северян, где сила и хитрость — оружие...

А у нас — неврастеник в трусиках! И это:

Первый в Дании боец!

Владимир Алексеевич Гиляровский

«Сезон 1879–80 года закончился блестяще; актеры заработали хорошо,
и вся труппа на следующую зиму осталась у Далматова почти в полном составе:
никому не хотелось уезжать из гостеприимной Пензы.
Пенза явилась опять повторным кругом моей жизни. Я бросил трактирную жизнь
и дурачества, вроде подвешивания квартального на крюк, где была люстра
когда-то, что описано со слов Далматова у Амфитеатрова в его воспоминаниях,
и стал бывать в семейных домах, где собиралась славная учащаяся молодежь.»

* * *

ЛЮДИ ТЕАТРА

Из главы «Восходящая звезда»

...Я телеграфировал отцу, что иду на войну; он мне выслал метрическое свидетельство, и с первым же эшелоном я отправился в действующую армию, на Кавказ.

По окончании войны начальство предложило мне продолжать службу, но в это время у меня в кармане лежало письмо от Далматова, приглашавшего меня ехать к нему в Пензу, в театр.

* * *

В Пензе я играл под псевдонимом Сологуба, был помощником режиссера и много работал вместе с Далматовым, который только что разошелся со своей третьей или, может быть, пятой женой и весь отдался театру.

Между прочим, мы привели в порядок большую театральную библиотеку, на что уходило почти все свободное время. Впрочем, это не мешало нам написать вместе одну фривольную пьесу, а иногда кутнуть и гульнуть вовсю — вроде прогулки верхом на бочке отходников по одной из людных улиц Пензы, причем Далматов был в цилиндре и золотом пенсне. Это было на первой неделе поста, когда актеры уже уехали в Москву заключать контракты на следующий сезон, кроме тех, которые остались служить у Далматова на будущую зиму. Далматов никогда не ездил постом в Москву — он получал столько предложений, что мог всегда составить прекрасную труппу, сидя на месте.

Я, конечно, будучи его секретарем, помогал в этом наборе труппы и вел всю переписку. Он только важно, с шикарным росчерком подписывал: В. Лучич-Далматов.

Лучич была его настоящая фамилия. Он родом был далматинец, почему и взял такой псевдоним. Детство свое провел он в Кишиневе и Одессе и говорил, что один из его родственников занимал на юге какую-то важную должность и чуть ли не был другом Пушкина.

В. П. Далматов иногда рассказывал, как он в первые годы сценической деятельности голодал, ночевал на улице и ходил в поисках места пешком из города в город.

Прекрасный актер, он был такой же антрепренер. К нему охотно все шли служить, и не было случая, чтобы Далматов когда-нибудь не заплатил в срок.

Во время сезона в Пензу то и дело приезжали, а то, может быть, вернее даже, приходили пешком разные Крокодиловы-Нильские, Тараканова-Вяземские, и каждому давались деньги добраться до Москвы. Обыкновенно все они стремились в Москву. А если объявлялись бывшие сослуживцы, брал их Василий Пантелеймонович на службу в переполненную труппу. Авансами разоряли, а отказать никому не мог.

Театральные дела у него всегда шли прекрасно. Пенза тогда еще проедала остатки своих барских имений и меценатствовала. В бенефисы любимых актеров ложи бенуара блистали модными аристократками, а бельэтаж — форменными платьями и мундирами учащейся молодежи.

В этот сезон В. П. Далматов закончил свою пьесу «Труд и капитал», которая была, безусловно, запрещена и после уже, через несколько лет, шла под каким-то другим названием. В этот же год он начал повесть и вывел в ней актера-бродягу, который написал «Катехизис актера».

В эту повесть и, особенно в «Катехизис» Далматов влил себя, написав: «Уважай труды других, и тебя будут уважать»; «Будучи сытым, не проходи равнодушно мимо голодного»; «Не сокращай жизни ближнего твоего ненавистью, завистью, обидами и предательством»; «Облегчай путь начинающим работникам сцены, если они стоят того»; «Актер, получающий жалованье и недобросовестно относящийся к делу,— тунеядец и вор»; «Антрепренер, не уплативший жалованья,— грабитель».

Это органические черты Далматова: таким я знал его в Саратове, Пензе и Воронеже...

* * *

Мы собирались с В. П. Далматовым идти завтракать, когда сторож Григорьич ввел в кабинет И. К. Казанцева, известного актера и антрепренера. С Далматовым они расцеловались, как старые друзья. Казанцев проездом из Самары в Москву заехал в Пензу, чтобы пригласить Далматова на летний сезон в Воронеж, где он снял театр.

В. П. Далматов отрекомендовал меня и предложил взять. В два слова кончили дело, и тут же пригласил И. К. Казанцев меня помощником режиссера.

Думалось, что меня он взял как привесок к В. П. Далматову, как кость или жилу, которую прибавляют как нагрузку к хорошему куску мяса.

— Ну, а теперь угостим дорогого гостя. Идите и заказывайте завтрак. Через десять минут буду, только Горсткину занесу деньги — сегодня срок аренды театра.

* * *

Яркий, солнечный день. Снег, тот самый весенний яркий снег, о котором говорят «молодой за старым пришел», слепил глаза. Реомюр на стене театра показывал семь градусов. Ноги скользили — лед здесь никогда не чистили с тротуаров, — и мы шли под руку ради взаимного страхования от падения. Налево сверкала алмазами белоснежная Соборная площадь, а по ней быстро шла наперерез нам, от церкви на Московскую улицу, стройная девушка в коротенькой черной шубке с барашковым воротником, на котором лежала роскошная коса. Из-под коричневой юбки сверкали серые ботики, а из-под каракуле-

вой шапочки весело взглянули большие серые глаза на подбегавшую к ней с лаской собаку.

Прекрасный цвет лица, легкие, энергичные движения обратили внимание Казанцева. Он толкнул меня локтем и сказал:

— Славная барышня… Таких только степь родит. Сила и радость! Вся розовая…

Я взглянул еще раз на нее, уже переходившую Московскую улицу, потом на Соборную площадь и ничего не ответил. Казанцев на миг мне показался Мещерским, Соборная площадь — Театральной…

* * *

Служу в Воронеже. Прекрасный летний театр, прекрасная труппа. Особый успех имеют Далматов и инженю М. И. Свободина-Барышова. Она, разойдясь со своим мужем, известным актером Свободиным-Козиенко, сошлась с Далматовым. Это была чудесная пара, на которую можно любоваться. С этого сезона они прожили неразлучно несколько лет. Их особенно принимала избалованная воронежская публика,— а сборов все-таки не было.

Чтоб заинтересовать здешнюю публику, перевидавшую знаменитостей-гастролеров, нужны или уж очень крупные имена, или какие-нибудь фортели, на что великие мастера были два воронежских зимних антрепренера — Воронков и Матковский, по нескольку лет один за другим державшие здесь театр. Они умели приглашать по вкусу публики гастролеров и соглашались, на разные выдумки актеров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы, и отговаривались в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актер.

<…>

Мария Николаевна (Ермолова — *Сост.*) дружила только с М. И. Свободиной, изредка в свободные вечера, по субботам, она бывала у нее. Иногда бывали и мы у нее. Я говорю «мы», то есть Свободина, Далматов и я. Редко заходил Казанцев, но, переговорив о театральных делах, исчезал, а Правдин жил где-то на окраине у знакомого немца, и его видели мы только на спектаклях и репетициях. Экономный немец, он избегал наших завтраков и ужинов.

На наших вечеринках вчетвером, наговорившись о театре, переходили на стихи, и я делался как-то центром беседы среди этих знаменитостей.

В. П. Далматов обыкновенно рассказывал что-нибудь обо мне из того немногого, что он знал, а потом и я разбалтывался, конечно очень скромно, вечно памятуя лозунг моей жизни: «язык твой — враг твой, прежде ума твоего рыщет».

Марию Николаевну больше всего интересовала жизнь бурлаков и работа на белильном заводе, В. П. Далматова — картинки войны и приключения, М. И. Свободину — поэзия.

Как-то Мария Николаевна попросила меня прочитать мое стихотворение «Бурлаки». Потом сама прочитала после моих рассказов о войне некрасовское «Внимая ужасам войны», а М. И. Свободина прочла свое любимое стихотворение, которое всегда читала в дивертисментах — и чудно читала, — «Скажи мне, ты любил на родине своей?..»

И, положив свою руку на мою, пытливо посмотрела на меня своими прекрасными темно-карими глазами:

— Обращаю к вам вопросом первую строчку стихов: «Скажи мне, ты любил на родине своей?..» В самом деле, вы поэт, значит, любили?

— Какой я поэт! У меня только два стишка. Это да «Кузьма Орел» и несколько шуток.

— Ну, есть же стихи о любви?

— Никогда этого слова я не написал.

— А вот когда напишете это слово комунибудь в стихах, тогда ваша поэзия начнется, настоящим поэтом будете!

— Но разве мало прекрасных стихов без объяснений в любви? А гражданские мотивы? Томас Гуд, Некрасов. О, сколько поэтов! Песня о труде, о поруганной личности, наконец, бурные призывы, как у Лопе де Вега и у нашего московского поэта Пальмина, ни разу не упомянувшего слово «любовь» и давшего бессмертный «Реквием».

— Так-то так. А все-таки моему сердцу ближе эти строки.— И опять обратилась ко мне: — «Скажи мне, ты любил на родине своей?..»

— Нет, не любил нигде. Пробовал, да не вышло. Перед войной познакомился в Саратове с одной маленькой актрисой Гаевской. Как рыцарь средних веков, сделал ее дамой сердца, переписывались с ней с войны. В дни, когда получалась в отрядной канцелярии почта, бегал за письмами для близости расстояния чуть ли не через цепь турецкую, обрываясь в колючках и рискуя попасть под пулю. Кстати, она служила здесь, в Воронеже, у Матковского. Кончилась война. Я поехал домой морем на Таганрог и далее. С нетерпением ждал Воронежа. С вокзала бегу на репетицию в театр. Ее вызывают мне. Выходит знакомая худенькая фигурка. Конфузливо подходит. Посмотрели мы друг на друга, разговор как-то не клеился. Нас выручил окрик со сцены, позвавший ее. Пожал я ей руку — не поцеловал, нет, да я вообще никогда еще, кроме матери и мачехи, ни у кого руки не целовал — и уехал. Это было в прошлом году здесь. И переписка прекратилась.

М. И. Свободина в это время взяла мою записную книжку, которая лежала на столе передо мной, и что-то стала писать.

— Вот вам на память!

«Не понят ты людьми в халате драном. Поймут тебя они в кафтане златотканом».

И подпись — Мария Свободина.

Я прочел и пододвинул книжку Марии Николаевне. Она тоже взяла карандаш, и я прочел:

Вперед без страха и сомненья
На подвиг доблестный…

В тот же вечер Мария Николаевна дала мне свою фотографию с надписью: «Владимиру Гиляровскому — Мария Ермолова, Воронеж».

Книжка, вся истрепанная, полуразорванная, у меня еще цела с дорогими автографами, а карточку в девяностых годах взяла одна студентка и не отдала. Студентка эта давно уже доктор и служит в одной из детских больниц. Наверное, карточку хранит как зеницу ока. И на этом спасибо.

Мария Николаевна надписала карточку Гиляровскому, а не Сологубу, как меня звали все и как я писался в афишах. Она никогда не называла меня ни той, ни другой фамилией, а всегда Владимир Алексеевич. Для меня Мария Николаевна была недосягаемым светилом, мой кумир, каким она была для всей публики, а особенно для учащейся молодежи.

М. И. Свободина была любящей и любимой женой моего друга Далматова. Ни на один миг ни та, ни другая не внушали мне и мысли, что они красавицы

женщины. Ни у той, ни у другой я не поцеловал руки. В то время я еще не поцеловал ни одной женщины и вообще ненавидел целоваться, что принято между актерами, а особенно пьяными, Когда кто-нибудь обнимал меня и лез целоваться, я обязательно подсовывал к его губам руку, которую он целовал, потом ругался, а тронуть меня, конечно, боялся. Так я и отучил моих друзей от поцелуев. Бледный призрак Гаевской — впоследствии я узнал, что, когда я заезжал к ней в Воронеж, она была невестой, — растаял, как растаял «второй я» над пропастью ледника. Профиль «восходящей звезды» погас, так как сама звезда была передо мной во всей своей славе... Дразнила воображение фигура девушки-степнячки в гимназической форме, сменившая Театральную снеговую и солнечную площадь на такую же Соборную в Пензе. Но все это мимолетно и неясно мелькало иногда...

Гиляровская (Мурзина) Мария Ивановна

Татьяна Владимировна

СЕМИБРАТОВА

(1911–1992)

ЗАПИСКИ О ПЕНЗЕНСКОЙ РОДНЕ

Печатается по единственной публикации
в журнале «Земство» (Пенза, 1995, № 1)

Невозможно представить, какой прочной бывает связь с родной землёй! В 1964 году на 150-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова в «Тарханы» приехали студенты МГУ, члены лермонтовского семинара, и среди них москвичка Ирина Всеволодовна Семибратова (1944–1995), упомянувшая о своих «пензенских корнях». Спустя тридцать лет в журнале «Земство» были опубликованы присланные ею, тогда уже кандидатом наук, библиографом, литературоведом, «Записки о пензенской родне» её родственницы с краткими сведениями об их авторе. Татьяна Владимировна (1911–1992) родилась в Гродненской губернии, где тогда служил её отец, военврач Семибратов Владимир Васильевич (1875–1920), уроженец Пензы, участник Первой мировой войны. С 1924 года Семибратова постоянно жила в Москве, в семье дяди. Служила литературным редактором в различных столичных издательствах, с 1939 — редактором на студии «Диафильм», в 1962 году была принята в Союз журналистов. Награждена медалью «За оборону Москвы».

В Пензе были известны купцы Семибратовы, имевшие магазин на Московской, но с ними родня мемуаристки «не кланялась». В записках рассказывается о династии разночинцев-интеллигентов. Маленькой девочкой после начала Первой мировой войны и во время революционных событий она жила с матерью в Пензе у бабушки и тёток Семибратовых, одна из которых служила в банке, другая преподавала рукоделие в гимназии. Большая семья жила трудно, бабушка держала нахлебников, среди которых были будущие мировые знаменитости — братья Мозжухины. Несмотря на постоянно тяжёлый быт и нужду, все шесть детей закончили гимназию, обучались музыке. В разговорах звучали имена Мейерхольда, художников Савицких, географа Иллюстрова, музыкантов Шор.

В конце своей, тоже нелёгкой жизни (а у кого из интеллигенции она была лёгкой?) Т. В. Семибратова рассказывает о нравственных устоях, хранителями которых были женщины, помогавших семье выжить. И нам есть о чём задуматься.

* * *

Человек живет, пока его помнят

Говорят, что человек живет, пока его помнят… К сожалению, мои предки жили недолго. Я почти ничего о них не помню. Ничего не знаю о людях, благодаря которым живу на свете, о людях, чья кровь течет в моих жилах, чьи хромосомы, причудливо переплетясь в клетках, определили мой характер, мои способности, склонности, мои достоинства и недостатки, цвет моих волос и глаз, мой внешний облик, — всю меня.

Иногда мне удается выделить в себе какую-то черту, про которую могу сказать: это у меня от мамы, это — от тети Маруси, а это — чисто Семибратовская черта… Как бы хотелось теперь узнать о всех своих предках, понять, какие они были, что делали, что любили и что ненавидели, каков был их духовный мир, что они оставили людям. Но поздно! Расспросить некого. И давно уже нет тех, кто что-то помнил…

Мне горько и стыдно. Стыдно потому, что связь времен порвалась на моем поколении, на мне.

Почему?

Да потому, что жизнь моего поколения пришлась на небывалое, бурное время. Первая мировая, две революции, гражданская война, НЭП, коллективизация, индустриализация, события на ДВ, война с Финляндией, ВОВ…

Только в раннем детстве жила я с родителями, с бабушками, тетками. А потом тревожное время с ураганной силой разбросало нас, как листы порванной книги, по разным сторонам. Попробуй, собери теперь воедино семейную хронику.

Мотало всех то к фронту, то от фронта. Никто не сидел на месте: куда-то все переезжали, откуда-то бежали, бросая вещи, бумаги, письма. Детство мое сплошная стрельба, эпидемии, голод, холод… Трудно теперь все это представить!

А сколько лет нас давил ужас, порожденный знаменитым культом личности! Когда не было ничего страшнее ночного звонка в дверь, когда люди старались забыть о своем происхождении, о своем роде-племени. Когда жгли фотографии из семейных альбомов, уничтожали документы, переписку. Когда моя мама, урожденная фон-Селлинен, писала в анкетах о своем отце, которым сейчас могла бы гордиться, Александр Карпович (вместо Карлович) Селинин…

В такое время лучше было чего-то не знать, чем скрывать.

Я надеюсь, что потомки наши, живущие в более благополучное время, постараются не растерять того, что сохранилось, а может быть и приумножат что-то, порывшись в архивах.

С кого же начать мои куцые записки? Пожалуй, что с бабушки — Серафимы Николаевны Семибратовой (1843–1922), урожденной Кипарисовой.

Как я теперь понимаю, это был один из самых добрых, самых светлых представителей нашего рода. Родилась Серафима Николаевна в уездном городе Пензенской губернии, не то Сердобске, не то Городище (в детстве знала, а теперь вот в голове спуталось). Вернее, что в Городище. По отцовской линии происходила из духовного звания: дед ее был священником и, видимо, с семинарским образованием, о чем говорит и красивая, благоуханная фамилия. Из кипарисового дерева в старину афонские монахи искусно резали нательные пахучие кресты, в перекрестие которых вставлялось увеличительное стеклышко, размером в просяное зерно. Если смотреть в стеклышко на свет, видно было цветное изображение богоматери с младенцем на руках.

Семинаристам, не имевшим подобающей сану фамилии, при успешном окончании курса и рукоположении в сан, присваивали благозвучные, духовные фамилии: Введенский, Рождественский, Вознесенский, Аллилуев, Кипарисов и т. д.

Об этом прапрадеде я ничего не знаю, кроме того, что одной из икон, привезенных мной в 1963 г. из Пензы, он будто бы благословлял бабушку Серафиму на брак. Даже имени его не знаю…

Сын его, Николай, очевидно, тоже окончил семинарию, но получился не очень удачным. Пил, был уездным «ходатаем по делам», чем-то вроде стряпчего. Бедствовал. Семья была большая. Об его жене, матери бабушки Серафимы Николаевны вообще ничего не знаю, но чудом сохранилась ее фотография, на ней очень немолодая женщина с суровым волевым лицом и плотно сжатыми губами.

Год рождения бабушки вычислила «от обратного». Умерла она в 1922 г. в возрасте 79 лет.

В год рождения Серафимы Николаевны ее будущий муж окончил Пензенскую гимназию. Значит, родилась в 1843 г. и была старшей в многодетной семье. Потом шли Всеволод Николаевич, Елена Николаевна, Иван Николаевич и Варвара Николаевна. В каком порядке появились они на свет, сколько еще братьев и сестер умерло в детстве — мне не известно. Все перечисленные выросли и умерли уже в старости.

Училась бабушка в уездной прогимназии (мне это слово в детстве казалось чем-то необыкновенно высоким, вроде академии, а оно обозначало всего лишь четырехклассное женское училище).

Когда бабушке было 15 $^{1}/_{2}$ лет, в их уездный город приехало губернское начальство — инспектор народных училищ Василий Сергеевич Семибратов. Бабушка Серафима, как рассказывали, была в юности очень хороша собой: стройная, голубоглазая, с белокурыми вьющимися волосами. И наш предок влюбился в нее. Василию Сергеевичу Семибратову было тридцать, и был он отменно некрасив. Но губернский гость был чиновник «с положением» (должность та же, что и у И. Н. Ульянова в Симбирске). Не то на Б. Пешей, не то на Суворовской улице в Пензе имел собственный двухэтажный каменный дом…

И родители принесли в жертву семье старшую дочь. Жениху так не терпелось стать поскорей супру-

гом, что даже не стали ждать церковного совершеннолетия невесты (16 лет), подали прошение пензенскому архиерею, чтобы разрешили вступить в брак пятнадцатилетней девочке…

В семье Семибратовых никогда и ни о ком не говорили дурно, но когда я в 1963 году ездила хоронить тетю Марусю, мне рассказывала ее древняя приятельница Наталия Александровна Милованова, что В. С. Семибратов был очень груб, жесток, ленив и ревнив. Что когда вскоре после свадьбы молодые собрались на какой-то губернский бал и Симочка, принарядясь, вышла из спальни к мужу, сияя молодостью и красотой, в платье с короткими рукавами и большим декольте, он в бешенстве схватил ее за вырез лифа и разорвал платье до низу. С тех пор они нигде не бывали, никуда не ходили…

16-летняя бабушка смирилась, стала по-старушечьи носить кофточки навыпуск и покрывать голову черной кружевной наколкой.

Дед, когда был пьян, сильно поколачивал молодую жену, и слухи об этом дошли до отца Серафимы Николаевны. Он приехал в Пензу и стал просить у дочери прощения за навязанный ей неудачный брак, но она сказала: «Что вы, папенька, это неправда. Не расстраивайтесь, мы живем очень хорошо».

Пожертвовав собой, бабушка помогла стать на ноги всем своим братьям и сестрам, вытащила их из глуши, дала образование. Брат В. Н. Кипарисов стал очень известным в России врачом, прогрессивным деятелем; сестра Елена Николаевна — директрисой дворцовой школы в Санкт-Петербурге; брат Иван — то ли ветеринарным врачом, то ли агрономом; Варвара Николаевна (младшая) — главой страхового агентства и одной из «первых дам» города Пензы. Ее недаром прозвали министром. Но о них — особо, и потом.

Бабушка родила 12 детей. Вначале они умирали один за другим. Выросло только шестеро (Валентин, Калерия, Владимир, Николай, Мария, Сергей).

Дед не утруждал себя работой. Он рано в 45 лет вышел в отставку с маленькой пенсией (27 руб. в месяц) и делать ничего не хотел. Все тяготы жизни обрушились на бабушку. Чтобы прокормить большую семью, она стала брать «нахлебников». Из разных деревень, сел, уездных городов приезжали учиться в губернский город дети духовенства, купцов, мелких помещиков. Они «становились» на частных квартирах с питанием, как тогда говорили «на хлеба». Бабушка Серафима со своей единственной многолетней прислугой Верой, тоже обслуживала и кормила сельских семинаристов. Так, например, у нее в 1902–03 гг. жили «на хлебах» два брата Мозжухиных: Иван — знаменитый впоследствии киноактер, и Александр, ставший певцом музыкально-драматического театра в Санкт-Петербурге.

Все собственные дети Серафимы Николаевны с 4-го класса гимназии занимались репетиторством: бегали по урокам. Трудолюбива бабушка была исключительно. Великолепно вышивала, шила, вязала. После войны тетки прислали нам из Пензы белую голландского полотна сорочку, которую юная Симочка сшила по обычаю в подарок жениху. Сшила всю на руках, с мельчайшими белошвейными складочками. В голые сороковые годы ее износил, как ночную, Водя.

Была бабушка Серафима Николаевна глубоко верующим человеком и вера ее не расходилась с делами: это было удивительно доброе, всепрощающее, самоотверженное существо. И в то же время таилась в ней огромная жизненная сила. Если бы этой силы не было, не смогла бы она поднять четырех братьев и сестер и шестерых детей.

Вот то, что я знаю о бабушке из отрывочных рассказов мамы, теток, их приятельниц…

А теперь о том, что помню я сама.

В Пензе мне довелось жить трижды. В первый раз — в 1914 г. Начало войны застало нашу семью на даче в Собачьих Горбах под Новгородом (там младший сын Серафимы Николаевны — Сергей — был лесничим). Папу сразу мобилизовали. Насколько помню, я уже в Кронштадт не возвращалась: меня сразу отправили к бабушке в Пензу. Наверно, с няней Машей (Марией Тихоновной). Она была пензенской уроженкой, и все ее родные жили там. Не помню, чтобы со мной была мама. Жила тогда бабушка на Лекарской улице (улица шла с горы вниз между Московской — главной улицей города и Дворянской — ныне Красной).

Снимали квартиру — старый дом был продан, да и не нужен он стал для троих: бабушки и двух ее незамужних дочерей — Калерии и Марии.

Наверное, это были счастливейшие года в жизни Серафимы Николаевны. Все дети выросли, все на своих ногах. Появился скромный достаток: тетя Калюша работала в банке бухгалтером, тетя Маруся в гимназии учительницей рукоделия. К другим детям, разъехавшимся по разным городам, к сестре в Петербург бабушка охотно ездила в гости.

Мои самые ранние впечатления сохранили образ маленькой худенькой старушки, в особенной «старушечьей» шляпке из черного шелка с кружевом и блестящим стеклярусом. Шляпка надевалась на темя и завязывалась под подбородком муаровыми черными лентами. И еще помню ее в широкой, из пушистой бежевой шерсти, кофточке, очень красиво связанной крючком. У ворота — брошь в виде короткого отрезка золотой цепочки.

На носу очки в тоненькой позолоченной оправе. Волосы с густой сединой расчесаны на прямой пробор.

С бабушкой вошли в мою жизнь новые, ранее не слыханные слова, выражения, понятия. Она одна из всех звала меня не Татой, а Танюшкой и столько теплоты, столько задушевности вкладывала в это русское имя. Она говорила: намедни, давеча, ужо, зерькало.

— «Танюшка, что ты все у зерькала торчишь!» Она говорила «нынче вёдро» (о хорошей погоде) — дерёва, а не деревья, не соседи, а «шабры» — «в шабрах сегодня доктор был», не у шабров, а именно — в шабрах.

Я проверила по Далю — правильно, по-русски говорила бабушка.

Зимнее ее пальто на лисьем меху называлось «салоп», демисезонное с рукавами-буффами, вышивкой тесьмой и капюшоном — бурнус. Еще была «ротонда» (которую потом донашивала тетя Калюша).

Из первого приезда в Пензу я смутно помню внешний вид дома на Лекарской — красный кирпичный, двухэтажный, стоял он на правой стороне улицы (если идти с горы вниз). Во дворе и у тротуаров росли большие, все в золоте и багрянце клены. Золотые клены во дворе. Из квартиры помню только «залу» и то, видимо, потому, что там, за диваном, устроили мне кукольный домик.

Диван стоял углом, был большим и мягким, «одетым» в серый парусиновый чехол.

Чехол был вышит узорными полосами красной ниткой «тамбурным швом». У меня хранится игла для этого вида рукоделий, наверное, ей и были вышиты чехлы. за диваном жили мои куклы. Стоял их стол (бабушкина скамеечка для ног) и мне ужасно хотелось, чтобы бабушка разрешила поставить куклам на стол миниатюрный керосиновый ночничок — лампочку. С настоящим стеклом и горелкой. Но мне бабушка не разрешала… А так хотелось! Я этот ночничок до сих пор помню в мельчайших подробностях. Бабушка иногда говорила мне: «Что это, Танюша, у твоих кукол беспорядок какой! Прибрать надо!» Именно — «прибрать», а не убрать.

У бабушки в квартире всегда был образцовый порядок. Перед памятным мне диваном стоял круглый стол, покрытый бархатной скатертью, на столе — лампа вазой, с абажуром-тюльпаном, альбом с семейными фотографиями и цветными видовыми открытками. По бокам стола — два мягких кресла, тоже в чехлах. Пианино со свечками (все бабушкины дети учились музыке). Венские гнутые стулья с плетенными в красивую сеточку сиденьями. Узор помню отлично. Хорошо запомнила пол, он был очень гладкий, ровно покрашенный, чистый и блестящий. Кое-где на нем виднелись маленькие круглые вмятинки, которые не давали мне покоя! Кто и зачем их сделал? (Это были следы от подбитых гвоздиками каблуков). Видно, рост у меня был такой, что к полу было ближе, чем к чему другому: ни обои, ни то, что висело на стенах, ни занавески, ни что другое не запомнилось…

Пробыла я тогда в Пензе недолго, перевезли меня к другой бабушке — маминой маме — в Киев.

Второй раз в Пензу нас занесла все та же первая мировая. Наверно, это было ранним летом 1916 г., когда папин госпиталь из Черкасс перевели на Румынский фронт, а немцы продвигались по Украине. Этот приезд я помню лучше.

Бабушка с дочерьми жила уже на другой квартире (Рождественская ул., д. 29), напротив церкви Рождества Христова. Эту квартиру я вижу как сейчас.

Она занимала первый этаж двухэтажного деревянного дома, стоявшего на каменном цоколе.

На улицу, рядом с парадным крыльцом, выходили три окна самой большой комнаты — «залы». Еще два окна, слева, выходили на галерею парадного входа, где шла лестница на второй этаж.

Рождественская улица - напротив Рождественской церкви

Они были заклеены цветной прозрачной бумагой с геометрическим узором — модные тогда «витражи».

В зале стояло пианино, знакомые уже мне диван и кресла, круглый стол, много столиков, этажерок, подставок с комнатными цветами. У витражных окон — большой складной стол, раздвигавшийся в торжественных случаях. У окон на улицу по мягкому креслу. И бабушка, и тетки любили после обеда садиться с рукоделием на свои «наблюдательные посты».

Кроме залы в квартире было еще три светлых комнаты и полутемная столовая, выходившая окнами в застекленную галерею, тянувшуюся вдоль всего правого бока дома. Забавно, что уборная (настоящий, впрочем, ватерклозет) была проходная. Из маленько-

го коридорчика у тети Марусиной комнаты через нее был вход в кухню. Обе двери запирались изнутри задвижками. Можно было в теплое время года пройти из кухни в комнаты и по наружной галерее.

Кухня была большая, светлая, с огромной русской печью. В ней прожила свои последние годы и умерла Т. М.

Когда в 1957 г. я впервые приехала в командировку в Ульяновск и вошла в квартиру семьи И. Н. Ульянова, я была потрясена. Пензенский дом! Семибратовские вещи! Даже фикус тот же. Видно, и в те времена был стандарт, да и по социальному положению семьи были близкими — разночинцами.

В тот приезд мы жили в Пензе главным образом на даче в Ахунах. Это местечко на берегу Суры в 7 верстах от города. Через речку Пенза и ж. дорогу, через большую поляну, через «пески» (б. ложе р. Сура), по дамбе через болота шел туда памятный мне путь.

Ахуны окружали старые сосновые боры. Там был конный завод Карповых, большое «засурское» лесничество, при нем училище, готовившее лесоводов и хороший питомник. Стояло несколько десятков нарядных дач и резные дворцы пензенских миллионеров: Карпова, бумажного фабриканта Сергеева.

Среди этих богатых, затейливых дач, увенчанных шатрами и зеркальными шариками, стояла и крошечная, скромная дачка Семибратовых. Купили, продав дом. Без резьбы, без шатров и башен — вот такая. Бабушка обычно жила на ней с весны до поздней осени.

Внутри — одна большая комната (изба-четырехстенка), перегороженная не то на две, не то на три клетушки, маленькая кухонька, на чердаке — тоже две клетушки, вход в которые был с задней стороны дома по узкой наружной лестнице. Спереди — открытая терраса под навесом. Слева — отдельная пристроечка с крылечком — бабушкина комната.

Не помню даже, было ли в ней окно, если было, то очень маленькое: днем дверь всегда была открыта настежь.

Вокруг — сад: яблони, кусты ягод, много разных цветов. за домом — памятная мне канава, заросшая жгучей крапивой, отделяла участок от большой поляны, на которой стояла нарядная, только недавно построенная деревянная церковь. Своим светло-золотистым силуэтом она выделялась на фоне темно-зеленой стены соснового бора; ее можно было видеть даже из Пензы — с горы. Оттуда походила она на маленькую деревянную форму для творожной пасхи.

Бабушка состарилась, сгорбилась, но была по-прежнему деятельной: возилась по хозяйству, варила в медных тазах на жаровне варенье и какие-то смоквы. Собирала и сушила лекарственные травы. В ее темной келье, на стенах, на створке двери, на жердочках под потолком, на веревках — повсюду висели пучки трав.

На листах бумаги сушились липовый цвет, малина и золотые лодочки лепестков купальницы. Спиртовой настойкой из этих лепестков бабушка лечила от желудка. Собирали еще травку-полыновку. От малярии. за ней ходили весной на Большую поляну всей семьей: низенькая, редкая, остропахучая, она делала поляну серебристо-серой, словно легкий дымок тянулся на ней по земле.

Бабушка усердно ходила в церковь: на фронте были два сына, Владимир и Сергей. В газетах и журналах с тревогой просматривались списки убитых и раненых. В июле, играя в крапивной канаве с троюродными братьями Левой и Кирой Олигерами, я почувствовала себя как-то странно, пугая ребят, начала бредить, поднялась температура, и я надолго заболела скарлатиной. Канава с крапивой преследовала меня в бреду. Меня увезли на городскую квартиру, изолировали в зале, двери в другие комнаты оклеили бумажными полосами, чтобы не проникла зараза. Ко мне ездил известный пензенский доктор Сивохин и ежедневно ходил смешной усатый фельдшер, которого мама и няня Маша звали «Не можно» — так он отвечал на все мои просьбы и мольбы.

Шесть недель я тяжело болела и из своей заклеенной комнаты видела только белые стены Рождественской церкви, то розовые от зари, то залитые лунным светом, то захлестанные струями дождя.

Лето кончилось. Меня, не завозя на дачу, увезли в Петроград, к дяде Коле. Осенью 1917 г. мы с мамой вернулись в Пензу. Приехал из закрывшегося корпуса брат Женя, потом на какое-то время папа.

Тетки щедро поделились с нами квартирой. В зале за печкой поместился Женя. Бабушка перебралась в столовую. В ее комнате поселились папа и мама. Меня устроили на сундуке в прохладном коридорчике, отгороженном от бывшей бабушкиной комнаты книжными шкафами.

Поначалу еще сохранялся традиционный образ жизни. В воскресенье и праздничные дни был ранний — в полдень — обед, с обязательным капустным пирогом и куриной лапшой. В 5 часов чай с топленым молоком, конечно, из самовара, и подавались ватрушки с творогом. На ужин — неизменная гречневая каша с молоком или варенцом. У каждой из теток и у бабушки была своя серебряная ложка — обязательно круглая. (Ложка тети Маруси хранится у меня).

По вечерам и в праздники, и в будни, обычно приходили приятельницы теток (о них я скажу потом) и все собирались в столовой за большим столом под яркой висящей лампой-молнией. (Электричества в квартире не было). Приятельницы — милые старые девы — приносили с собой рукоделия, хозяева, в том числе и я, — доставали свое. По очереди читали вслух и прилежно трудились. Очень любили исторические романы. Здесь я впервые познакомилась с Данилевским, Мордовцевым, с Вальтером Скоттом, Брет Гартом, Хоггартом. Здесь я впервые была «зачарована» Гоголем.

Мама обычно на этих сборах не присутствовала, после отъезда папы она проводила вечера не дома.

У нее была своя жизнь, своя компания, связанная, как я теперь понимаю, к огорчению бабушки, с Олигерами, Шестаковым, Юреньевым и др. Только при мне никто никогда не говорил об этом.

Но жизнь быстро изменилась. Семибратовых «уплотнили». Столовую, кухню, комнату тети Маруси заняли эвакуированные из Петрограда семьи рабочих Гознака. Стало тесно, холодно, темно, тревожно и голодно. Тетки с подругами ходили по окрестным деревням (в Терновку, Лебедевку, на болгарские огороды, на разъезд Селиксу) менять юбки и кофты на молоко. Появились огромные листы денег: керенок, почтовых марок, каких-то «лимонок». На базар и в магазины тетя Маруся ходила с большими ножницами — отстригать от листов миллионы за картошку и рожь.

Вместо изразцовой печи в зале подвывала коптящая «буржуйка», вместо большой уютной лампы горел чадящий фитилек в вонючем конопляном масле (фитилек обычно продевали в кружочек сырой картошки). Вместо пирогов и лапши было одно дежурное блюдо, которое называлось «месиво» — тушеная свекла, картошка, тыква, чечевица, приправленные конопляным маслом и «черной» (ржаной) мукой.

Но подруги, тетки и бабушка по-прежнему собирались вечерами за столом с рукоделием — главным образом штопкой или вязанием по заказу за продукты. И читали, если удавалось достать, газету на желтой оберточной бумаге.

Бабушка совсем усохла. Недавно умер в Самаре сын Валентин. Глаза помутнели, уши не слышали. У меня после скарлатины буйно вились волосы. Бабушка, бывало, посмотрит на меня и скажет: «Что ты, Танюшка, в комнате все в шапке сидишь? Сними». Мне смешно. А то сунет в руку кусочек прессованного чайного напитка и скажет: «На вот смоковку! Скушай». Пушистая ее кофточка превратилась в сплошную штопку. Золотые тоненькие очки сломались и держались на веревочках. Читала бабушка теперь только «Псалтырь», и то, наверно, наизусть.

Я помню эту трепаную старую книжку с картинками. Картинки были напечатаны черным, как бы теперь сказали, контурным рисунком, и грубо, от руки, раскрашены широкими мазками в несколько цветов: красный, голубой, зеленый, охряный. Рисунки художницы Мавриной всегда напоминают мне бабушкин «Псалтырь».

Как сейчас вижу залу с прокопченными, заплесневелыми обоями. В кресле у окна, покрытого толстым слоем грязного инея, сидит бабушка Серафима Николаевна, повязанная с головой крест-накрест истертой шалью. На коленях старая кофейная мельница с ящичком. Иссохшие руки медленно, как бы отрешенно крутят со скрипом медную ручку, а губы шепчут и шепчут молитвы. Молит бога за всех нас, за живых и мертвых. Ей самой ничего не надо. А глаза добрые-добрые. Святые глаза…

В мельнице, конечно, не кофе. В мельнице — рожь, из которой делают крупу для каши на ужин.

Помню я и смерть Серафимы Николаевны. Слегла бабушка... Чем заболела, я тогда не понимала. Ее перенесли в комнату тети Калюши, на Калюшину кровать под большим «собачьим» ковром. Лежала она тихо-тихо... Я сидела днем одна на своем сундуке. Вдруг слышу бабушкин слабый голосок «Танюшка, поди-ка сюда!»

Я вошла, а бабушка, приподнявшись, показывает рукой под тети Калюшин туалетный столик. «Смотри-ка, какие смешные!»

— «Кто смешные? Где?»

Бабушка вся светится от смеха:

— «Да что ты, не видишь? Карлики! Два карлика в комнатах! Маленькие-маленькие… Морковку тащат! Ой, один лужицу наделал! — смеется бабушка. — Вот чудные!!!»

Я испугалась, стала уверять, что никого нет.

А она свое — «Ну, смотри, смотри! Разве не видишь?!»

Бабушка все время была в хорошем настроении, очень разговорчива, но говорила странные вещи. Маме моей она сказала: «А почему ты с черной бородой?» Тетю Калюшу спрашивала: кто вы? «Мама, я Калюша, ваша дочь!», — «Странно, — говорила бабушка, — никогда у меня побочных детей не было, я вас не знаю… Но если вы дочь, то очень хорошо. Я рада».

Позаговаривалась так дня три и тихо умерла.

У бабушки уже много лет хранилось все, что нужно для похорон. И белое платье, и белые тряпочные туфли, и кисея, и даже золотой парчовый покров. Были и неслыханно роскошные по тем временам — белые с золотом — восковые свечи.

Положили бабушку в зале на раздвинутый стол, зажгли свечи. Ночь и день читали над ней «Псалтырь» монашка из Троицкого монастыря, тетя Маруся и даже я. Я и спала там, в зале, на сундуке за печкой. Никакого страха к ней, мертвой, не испытывала. И острого горя — тоже. На душе было как-то торжественно, светло и тихо...

Отпевали ее дома и похоронили на Мироносецком кладбище в семейной. Помню выкопанную могилу, куски какого-то ремня и кость. Помню, что взрослые говорили, что очень давно здесь был похоронен какой-то мальчик Коля, стоявший у бабушки на хлебах.

Дед Василий Сергеевич Семибратов (1825–1902)

Что я могу сказать о деде? Почти ничего… Все мои дяди и тетки любили мать, относились к ней с большим вниманием и уважением (все они говорили ей «вы»), постоянно ее вспоминали, заботились о ней, а об отце, по крайней мере при мне, никогда не упоминали: видно, хорошего вспоминать было мало чего…

Родился в 1825 году.

Умер — в 1902. Похоронен на Мироносецком кладбище. Окончил пензенскую гимназию в 1843 году. В этом году появилась на свет его будущая жена С. Н. Кипарисова.

Преподавал геометрию и арифметику.

Кто были его родители? Как их звали? На ком он был женат первым браком? Были ли дети? Ничего не знаю. Был сын Александр (р. 1850).

В Пензе жили еще Семибратовы. На главной, Московской улице, на самом крутом месте, справа был магазин. В мое время он был закрыт, сохранилась только вывеска, большая, длинная — во весь фасад. На ней золотыми буквами по черному фону было написано: «А. А. Семибратовъ». Я как-то спросила тетю Калюшу — родственник ли он нам? Она коротко, как бы нехотя, ответила: «Очень дальний». Но однажды я услышала в разговоре взрослых странную фразу: «Александр Александрович? Те Семибратовы? — Нет, мы с ними не кланяемся» — сказала тетя Калюша. Запомнила я эту фразу из-за не совсем понятного, ранее неслышанного оборота речи: «Мы с ними не кланяемся». Очевидно, здесь была какая-то семейная тайна.

От мамы, от Надежды Петровны я слышала потом, что дед в 45 лет, уйдя со службы на крохотную, в 27 руб., пенсию, совсем опустился. Никакого участия в семейных делах не принимал, сидел в кресле у окошка, грыз семечки или, еще лучше: ставил на подоконник блюдце с касторкой, макал в нее кусочки черного хлеба и с удовольствием ел.

Как прожил жизнь этот странный человек? Ведь не всегда же он макал хлеб в касторку? Каков был его внутренний мир? Как хотелось бы хоть что-то узнать.

Ему было двенадцать лет, когда погиб Пушкин. Шестнадцать, когда убили Лермонтова. А ведь Лермонтов-то был пензенский!

Он был современником Льва Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. Последний даже служил в 1865–66 гг. в Пензенской казенной палате.

Читал ли он их? Любил? Осуждал?

Наконец, пензяком был В. Г. Белинский, соседом по губернии — Н. Чернышевский. В 1962 г., когда состоялась гражданская казнь Чернышевского, деду было 37 лет — возраст зрелости. Как отнесся он к этому событию?

В Пензе с 1855 по 1863 г. преподавал математику и физику Илья Николаевич Ульянов — отец Ленина. Дед тоже был учителем арифметики и геометрии. Пенза тогда была, по теперешним понятиям, маленьким городом, — перед началом первой мировой войны в ней обитало около 50 тыс. человек, а в середине XIX века, конечно, значительно меньше. Возможно, что по работе Ульянов и дед знали друг друга.

Вспоминая пензенские книжные шкафы, которые я хорошо изучила, не могу вспомнить ни одной из книг старого издания. Хорошо помню, что «Война и мир» (впервые я прочла ее в 10 лет) была в двух толстых томах в белом бумажном переплете, издание, очевидно, уже XX века. На обложке — яркая группа всадников, окружавшая фельдмаршала Кутузова. Сочинения Достоевского, Некрасова, Писемского, Писарева, В. Немировича-Данченко были приложениями к журналам «Нива», «Природа и люди» и другим начала XX века.

Книги приобретали уже дети Василия Сергеевича.

Если бы библиотеку собирал он, должны же были сохраниться какие-нибудь старые издания: ведь Семибратовы жили всю жизнь на одном и том же месте и были людьми бережливыми.

Надо полагать, что дед — учитель по профессии — книгочеем не был… Чтобы быть объективной, приведу только недавно увиденный мной (он хранился у Води) послужной список В. С. Семибратова.

Из него я узнала, что от первого брака у него был сын Александр 1850 года рождения, магазин, следовательно, принадлежал его сыну Александру Александровичу.

Сопоставляя факты, прихожу к выводу, что, видимо, после смерти В. С. Семибратова старший сын (или его сын) подали на раздел наследства, а так как всего наследства было — дом, то, очевидно, он был продан для раздела.

В 1903 г. Семибратовы еще жили в своем доме.

После продажи дома — по квартирам, но была куплена дачка. Единственное, что досталось мне в наследство от этого деда — нос, к счастью, уже смягченный двумя поколениями.

Как я уже писала, у С. Н. и В. С. Семибратовых выжило шестеро детей.

Была ли счастлива в них бабушка? Радовала ли ее их судьба? Тревожила ли? Ведь для матери и взрослые, и уже, как ломти, отрезанные от семейного каравая, дети, все равно — малые дети, их жизни, их счастье значат гораздо больше, чем свои собственные.

Я думаю и да, и нет. Большей ответной любви, большего глубокого уважения к матери, чем то, что получала она — трудно представить. Но… трагично сложилась судьба старшего сына Валентина, две дочери при ее жизни оставались старыми девами, любимый сын Николай — женился на «разводке» с двумя детьми (как говорила сама Н. П.), Владимир (мой отец) — «взял» избалованную генеральскую дочку-институтку с мучительным характером.

Младший сын, Сергей, оставив молодую жену с грудным ребенком, с 1915 г. находился в немецком плену. Пережить пришлось ей и смерть двух старших сыновей: Валентина и Владимира. Дети, подрастая, помогали вытягивать следующих.

Итак, о детях…

Валентин Васильевич Семибратов (1864–1917)

Валентина — своего родного дядю, я никогда не видела. Знаю, что родился он в 1864 году. Окончил гимназию, служил в Пензенской казенной палате (В этом здании служил С.-Щедрин, оно сохранилось до сих пор и охраняется как памятник архитектуры.) Валентин был очень музыкален, отлично играл на виолончели, на скрипке, на пианино. Говорят, что был очень добрый, мягкий человек. В этом, может быть, и крылась его трагедия. Стал пить. Привычка превратилась в болезнь. Приносили его домой в бесчувственном состоянии. Понимая свое положение и не желая «позорить семью», которую в Пензе хорошо знали, уехал из города. Поселился в Самаре, работая где-то небольшим чиновником, жил один — не женился. Заболел туберкулезом и умер в 1917 г. Почти до конца вел очень теплую, сердечную переписку с матерью и сестрами. Бабушка ездила к нему в Самару. Вот и все…

Калерия Васильевна Семибратова (1867–1952)

Дома ее звали Калюша.

Как я понимаю теперь, это был на редкость гармоничный, глубоко интеллигентный человек. Духовное и интеллектуальное средоточие семьи. Было в ней что-то чеховское: наверно, потому, что из-за стекол пенсне, смотрели такие же полные доброты и человеческой щедрости глаза.

Не красавица: бабушка Серафима никому из детей не сумела передать своей красоты, но в молодости очень привлекательная и милая, и жизнерадостная, с роскошной вьющейся косой, мягкой, располагающей улыбкой и необыкновенно белыми красивыми руками, она, как и брат Николай, все же была в Кипарисовскую породу.

Окончив в 1885 году (с медалью) пензенскую гимназию, она уехала в Петербург к тетке Елене Николаевне и поступила на бухгалтерские курсы: хотелось скорее помогать семье.

Тетю Калюшу того периода я представляю себе похожей на «Курсистку» худ. Ярошенко. Несмотря на внешнюю мягкость и большую скромность, характер у нее был глубокий, сильный, принципиальный. Курсистка 80-х годов XIX века жила в ней до конца. Всю жизнь она была очень демократична, как и братья, революционно настроена; в отличие от матери и сестры — не религиозна: в церковь не ходила, садясь за стол, не крестилась.

Закончив курсы, вернулась домой и поступила

на службу в банк. Банк был «прогрессивный», назывался «Общество взаимного кредита». Здание сохранилось, оно внизу Московской улицы, в нем и сейчас городской банк.

В этом банке, стоя за одной и той же высокой конторкой, она проработала лет шестьдесят, уйдя на пенсию только после войны. Банк, конечно, давно был советским, а она — его главным бухгалтером…

Моя мама рассказывала, что у тети Калюши в молодости была большая любовь, но человек, которого она полюбила, взаимностью не отвечал и женился на другой женщине. Калюша на всю жизнь осталась верна своему чувству и, несмотря на неоднократные возможности, замуж не вышла. Мало того, переборов себя, она многие годы дружила с этим человеком и его женой. Он был поляк, звали его Нарцис Иванович, я его немного помню: высокий, худой, с лихими седыми усами и маленькой острой бородкой, он напоминал Дон Кихота. Как только Польша в 1918 г. стала самостоятельным государством, он уехал туда со своей женой Дорой Карловной, полной и гладкой дамой из бывших гувернанток. (Она была, кажется, англичанкой). Фамилию Нарциса Ивановича, как ни стараюсь, вспомнить не могу. По-моему, это они купили старый Семибратовский дом.

Калерия Васильевна пользовалась большим авторитетом и была очень уважаема как в семье, так и у знакомых. К ней тянулись люди, она была связана со многими семьями пензенской прогрессивной интеллигенции. В доме запросто произносились фамилии таких людей, которые я встречаю теперь в справочниках и энциклопедиях: Мейерхольд (в пензенском произношении: Мейергольд) — он был родственником бабушки Вари Олигер по мужу, П. М. Иллюстров, В. М. Мануйлов (отец Марселины Викторовны) — известный пензенский прогрессивный деятель, врачи В. М. Просвирнин (лечил меня от скарлатины), А. А. Сатурнов (папин приятель), художник К. А. Савицкий, музыкальный круг — семья Шоров — у которых учились музыке и участвовали в концертах дети Семибратовых, хормейстер А. В. Касторский, Кастальские.

Упоминалась фамилия Веденяпиных — видимо, потомков декабриста. Кажется, в числе знакомых были и Тухачевские, но боюсь наврать.

Тетка выписывала много журналов с приложениями. (Ее книжные шкафы были моей школой, т. к. в школе я почти не училась).

Какой запомнила тетю Калюшу я?

Довольно высокая, статная, очень аккуратная, подтянутая — даже в самые трудные времена — немолодая женщина. Гладко зачесанные назад волосы идут ото лба широкой седой прядью, а у висков еще темные и чуть вьются. Карие добрые глаза, когда без пенсне, близоруко щурятся. На ней длинная, не по тогдашней моде, юбка и английская блузка с высоким воротом. На талии — широкий пояс с большой металлической пряжкой. за поясом — маленькие черные часики на цепочке из мелких стальных бусинок. На этой же цепочке брелок — цветок эдельвейса меж двух стеклышек. Сувенир, который она привезла из Швейцарии. Она любила ездить. Откладывая в течение года из своего скромного жалованья, она с подругами — учительницей Марселиной Викторовной Мануйловой и фельдшерицей Лидией Ивановной Тодоровой, каждый отпуск куда-нибудь уезжала. Иногда она рассказывала мне об этих поездках. В доме хранились разные вещицы, привезенные на память: альбом с видовыми открытками, какие-то коробочки, ракушки, веера… С тетей Калюшей был связан целый мир невыразимо прекрасных, волшебных вещей, привезенных «оттуда», из далеких сказочных земель. Открытки — цветные, блестящие, с голубым небом и голубым морем: «Ласточкино гнездо», «Альгамбра», «Георгиевский монастырь», «Ливадия», скала «Монах и дева»… Чарующая музыка слов: «Симеиз», «Алупка», «Ай-Петри» «Кореиз», «Суук-Су», «Мыс Фиолент»…

Эти места радовали меня потом своим сходством с заветными открытками моего детства.

А ящичек с морскими камушками! Небольшой, как коробка для лото, деревянный, с выдвижной крышкой. Какие сокровища он таил в себе! Какое счастье было, когда мне разрешали поиграть с этими камушками. Некоторые из них я до сих пор помню «в лицо»: — «башмачок», «слоеный», «груша»... Особенно прекрасным был сиреневый, полупрозрачный, чуть вытянутый в овал плоский камешек, размером в 15-ти копеечную монету.

В сиреневой глубине его, как косточка в спелой винограднике, просвечивало темное пятнышко. Мне казалось, что камушки пахнут морем и даже тихонько шумят по-морскому в своем деревянном ящичке.

Я очень любила комнату тети Калюши: для меня она была особым местом. Над кроватью там висел большой, во всю стену, ковер, на котором были изображены собаки всех пород, начиная с болонки и таксы и кончая сенбернаром с заплаканными красными глазами. Тетка рассказывала, что таких собак разводят монахи в швейцарском горном монастыре Сен-Бернар. Что эти собаки разыскивают в снежных заносах и лавинах попавших в беду путников, приносят им пищу и горячее питье в термосах.

Возле кровати — ночной столик-тумбочка с мраморной доской.

На ней керосиновая лампа под зеленым абажуром, нож для разрезания журналов, стеклянная кружка для воды и кумир моего детства — красный чертспичечница. Как же я обрадовалась, увидев теперь в сувенирном магазине сородича моего красного черта — черного чертенка Каслинского литья!

И тот также натягивал кому-то нос, только был покрупнее. И работящий: тащил на спине ящик с коробком спичек. Милый старый черт моего детства...

Недавно у Натальи Кончаловской я снова встретилась с ним. Она писала, что на Урале, где она как-то выступала, ей подарили такого каслинского черта, но он ей не понравился:

— «У него какой-то нерусский вид, — решила она, — наш черт не такой». И кому-то сплавила подарок.

Она не права! Мой черт именно такой. И на Урале он прижился, поди, уж лет полтораста. Так что, если он и пришел откуда-то с Запада, то давно обрусел. В память о моем первом черте и стоит теперь у меня нынешний каслинский чертик.

Но я отвлеклась… Вернусь в теткину комнату. Кровать и ночная тумбочка огорожены от остального пространства ширмой. Между двух окон — небольшой письменный стол, обнесенный по краям балюстрадой из крошечных столбиков (похожий я видела где-то у Л. Толстого). На столе — книги, большие конторские счеты, письменный бронзовый прибор

и крошечная сверкающая шкатулочка из камня с удивительным названием «собрание любви». Ее привез сестре из Индии, где был проездом из японского плена, мой папа. Эту коробочку тетя Калюша потом подарила мне, как память об отце. По-современному камень этот называется «авантюрин», но старое название мне нравится больше, хотя и то, и другое непонятные.

Над столом висели фотографии родных и близких, друзей и полочка с бюстом Наполеона и изящной фарфоровой же группой (3 грации). В углах у двери — справа — стол-комод, слева — туалет (зеркало и маленький столик под ним). Туда, под этот столик и тащили у умирающей бабушки свою морковку карлики.

Хороший человек была Калерия Васильевна. Умный. Справедливый. Я не помню ни разу, чтобы она повысила голос, ссорилась с кем-то, сказала грубое слово. Пожалуй, она одна из всех меня тогда окружавших, была внимательна к моему внутреннему миру, серьезно отвечала на мои вопросы.

Помню, я получила от бабушки Вари Олигер подарок — белый стеклянный сундучок — и очень радовалась.

Я спросила тетку: любила ли она девочкой получать подарки? Она сказала: «Нет. Когда я получала подарок от богатых родственников или знакомых, я чувствовала себя обязанной ответить им тоже подарком, а денег у нас не было. Значит, нужно было сделать подарок своими руками, что-то связать или вышить. И я вечно сидела с крючком или иголкой». (Сохранилась нижняя юбка, вышитая ею.)

Она была очень одарена музыкально, прекрасно играла на пианино, но инструмент стоял запертый на ключ: ни она, ни сестра к нему никогда не подходили. Я спросила — почему?

Она ответила мне, что очень любит музыку, концерты, театр, но с той поры, как началась война, как мой папа находится на фронте, а дядя Сережа в немецком плену, и каждый день погибает столько людей, — ей стыдно получать удовольствие.

Война тогда была главной темой всех разговоров. Однажды 15-летний брат Женя сказал мне, услышанную им где-то фразу: «Войны нужны, если их не будет, то разведется столько людей, что жить будет негде и есть нечего». С этой «новостью» я пошла к тетке. «Какие гадости он говорит, — сказала она, — если все будут жить и трудиться дружно, не будут завидовать друг другу, зариться на чужое — всем хватит места и хлеба». Это я запомнила навсегда.

В тете Калюше я искала опору в трудное для меня время. Через год после смерти папы мама вышла замуж. Вышла замуж няня — Мария Тихоновна. Вскоре вышла замуж и тетя Маруся, и ее подруга Антонина Владимировна Карташова, которая любила и баловала меня. Естественно, что у всех я отошла на задний план, чувствовала себя никому не нужной, лишней. Очень переживала это. И тогда в порыве детского горя я пришла к тете Калюше и сказала ей: «Мама вышла замуж, Машуточка вышла замуж, тетя Маруся вышла замуж, Тонечка вышла замуж. Если еще и ты выйдешь — я утоплюсь». Она не посмеялась надо мной, не ответила шуткой, а сказала очень серьезно, что топиться мне не придется и все еще будет хорошо.

Какой я помню ее еще?

В аккуратной вязаной кофточке, с накинутой на плечи шалью она сидит вечером за столом. На коленях у нее полосатый кот — Тигрушка. Она раскладывает любимый пасьянс «Могила Наполеона». Если сойдется — будет письмо от братьев. Пасьянсов она знала множество. Карты — специально пасьянсные, маленькие, когда-то очень красивые — «атласные», давно потеряли цвет и форму: углы пообтерлись и они из прямоугольных стали овальными...

И еще...

Полутьма холодной комнаты, на столе «коптилка». При свете ее тетя Калюша бережно, над бумажкой, колет щипчиками сахар на крошечные кусочки. Она складывает их в общую «сахарницу» — маленький, ростом меньше стакана, стеклянный кувшинчик. Горлышко у него узкое, больше, чем двумя пальцами не залезешь и сахару много не вытянешь... На столе пузатый самовар. Он старательно поет свою песенку и сверкает, пытаясь создать уют и тепло домашнего очага. Голландские печи имели медные отдушины, куда можно вставить трубу, потому чай мы пили всегда из самовара. Летом ходили в Казенный лес за сосновыми шишками для него.

И еще встает она в моей памяти в зимние суровые морозы, укутанная в старую бабушкину черную ротонду, которая ниспадает с ее плеч почти до щиколоток. На голове — маленькая шапочка-пирожок, надвинутая на лоб... Пришла из банка на обеденный перерыв. И опять возникает внешний образ Ярошенковской курсистки.

После весны 1923 г. — время моего отъезда из Пензы — я тетю Калюшу больше никогда не видела. Письма мы друг другу к «табельным дням» писали, но ни одно не сохранилось. Однажды, в припадке просветления и пробуждения совести, я вдруг написала ей что всем, что во мне есть честного, хорошего, доброго, я обязана Пензе, бабушке, ей.

И получила в ответ очень хорошее, трогательное письмо, в котором она писала, что мои слова для нее радость, и, значит, недаром прожила она свою жизнь.

И даже этого письма я не сохранила...

Последние годы своей жизни Калерия Васильевна лежала в параличе и Мария Васильевна самоотверженно за ней ухаживала. С выходом Калерии Васильевны на пенсию, я сначала вместе с бабушкой Н. П., а потом одна, помогала пензенским теткам до самой смерти Марии Васильевны.

Мария Васильевна Семибратова (Карпова) (1880–1963)

Передо мной фотография молодой красивой женщины. Это моя тетка — Мария. Очень противоречивый, сложный человек с далеко не легкой судьбой.

Начать с того, что в жизни она никогда не выглядела так, как на фотокарточках. У нее был плохой землистый цвет лица, нечистая, в черных точках кожа. Свои хорошие темные волосы она зачем-то мазала самодельной помадой из бараньего сала, касторки и еще чего-то, не очень приятно пахнущего.

В отличие от матери и сестры, нрава была довольно угрюмого и грубоватого. Как и все Семибратовы, окончив гимназию, она уехала в Петербург к тетке Елене Николаевне Кипарисовой и поступила на курсы учительниц рукоделия.

Она прекрасно умела шить, вышивать, вязать, плести кружева, выжигать по дереву и т. п. Делала все тщательно, добросовестно, аккуратно — по всем правилам, но творческой фантазии у нее, по-моему, не было. Если надо было сделать что-либо «из головы», она просила помочь мою маму, у которой не было ни терпения, ни умения, но зато была фантазия.

Пробовала она писать и маслом, но боюсь, что делала это не очень хорошо. На стене в зале висела ее работа, копия с картины Куинджи «Лунная ночь в Малороссии». Только уже взрослой, увидя в музее оригинал картины, я поняла, что белый четырехугольник на стене дома — лунный свет.

Я всегда думала, что это сушится простыня…

До революции Мария Васильевна вела уроки рукоделия в пензенской частной гимназии Шор-Мансыревых. Поскольку осенью 1918 г. я поступила туда в приготовительный класс, то помню, как она вместе со звонком появлялась у нас на пороге в васильковом платье, нахмуренная, с неприветливым выражением лица.

Дома она снимала васильковое платье с брошью у ворота, ходила в каком-то старье, мало заботясь о своей внешности.

Весной 1918 г. гимназию закрыли, и мы с ней остались не у дел… Мама рассказывала, что в юности большая любовь не миновала и Марусю. Влюбилась она, совершенно безнадежно, в первого пензенского миллионера, известного коннозаводчика и промышленника Андрея Андреевича Карпова.

Влюбилась на его свадьбе, когда он женился во второй раз на очень богатой купчихе — дальней родственнице по мужу бабушки Варвары Николаевны Олигер. Ему, конечно, и в голову не приходило, что невзрачная, бедная девушка полюбила его на всю жизнь.

Был он лет на 20 старше ее и неслыханно красив. Такой барственно выхоленный брюнет с роскошными усами. И уже с совершенно неслыханной красоты парадным выездом на белых, тоже выхоленных рысаках. Наверно, эта неразделенная любовь наложила свой отпечаток на характер Марии Васильевны: отсюда и раздражительность, и некоторая озлобленность, и угрюмость…

Но семье она была очень предана, особенно любила детей, охотно ездила в отпуск к братьям, чтобы повозиться с племянниками. Не любила она только меня: слишком уж я была похожа на мать, слишком влюблена в нее в то время, а тетке не за что было любить жену своего брата. Она, не без основания, считала, что та исковеркала ему жизнь и погубила его. А вот моего брата Женю она очень любила и жалела. Почувствовав, что он маме нужен мало, она еще восьмилетним забрала его из Кронштадта в Пензу — готовить к экзаменам в кадетский корпус.

И потом, когда Семибратовых «уплотнили», поселив в квартире семью гознаковского рабочего, эвакуированного из Петрограда, тетя Маруся бесконечно возилась с его многочисленными сопливыми детьми и вечно беременной женой. Видно, жила в ней неуемная жажда материнства.

Как и у тети Калюши, у тети Маруси тоже существовал свой «мир», который очень занимал меня в детстве. Он был не похож на Калюшин «мир». В нем были разноцветные нитки, клубки шерсти, ленточки, шнурочки, рисунки для рукоделия, цветная и золотая бумага, крохотные яркие образцы различной одежды и шляп. Ящики шифоньерки были забиты пленявшими меня цветными шелковыми и бархатными лоскутками, которые бабушка Серафима называла «шаболиками» — «Ты попроси у Маши шаболиков», — говорила она.

Но Маша не давала, ящики были заперты на ключ. Однажды я увидела, что кончик зеленой шелковой тряпочки торчит из запертого ящика. И не устояла — совершила преступление: вытащила тряпочку из ящика… Был скандал. С тех пор я, кажется, ни разу не воровала.

Были и у тети Маруси альбомы с открытками. Но другими. Поздравительные, глянцевые с золотым тиснением, яркие открытки, или открытки с хорошенькими женскими головками, в прическах из настоящих волос. Эти открытки потом хорошо горели в железной печке. И любимые книги у нее были свои: Марлит и Вернер. Помню очень своеобразную самодельную игру, типа «акульки». На белых картонках вместо игральных карт акварелью были нарисованы в своих национальных костюмах парами (мужчина и женщина) народы, населявшие Россию. Когда попадалась пара, скажем, эстонец и эстонка — карточки сбрасывались. Одинокой Акулькой был толстый, противный немец в сапогах бутылками.

Отражение эпохи — шла война с немцами. Были модные тогда и такие карточные игры. Назывались они: «Флирт цветов» или «Флирт драгоценных камней». Карточки содержали набор пустых и пошлых фраз. Один играющий протягивал другому карточку и произносил, положим, слово «Ландыш». На карточке Ландыш значилось: «Нравлюсь ли я вам?» В зависимости от характера и ситуации другой играющий отвечал картой, называя, скажем, цветок Гвоздику.

Там стоял ответ: «Как собаке палка» или «Как Ромео Джульетте» и т. д. Мода всегда есть мода... Все тети Марусины вещи пахли ее запахом.

Особенно мне нравилась из вещей Марии Васильевны лампадка. Она была необыкновенная. После «уплотнения» шифоньер, огромный комод с зеркалом и угловой киот с образами из тети Марусиной комнаты перенесли в «залу» и он стоял в правом углу у окна.

На столике с иконами под праздники светилась таинственным зеленоватым светом лампадка. Это была небольшая скульптура Христа из очень красивого зеленого матового стекла. Христос стоял во весь рост, в длинной, ниспадающей до земли одежде. Руками он раскрывал на груди складки одежды, обнажая сияющее лучами сердце. Скульптура была не совсем круглая, сзади было отверстие, куда вставлялась обыкновенная лампадка — стаканчик с фитильком. Такой лампадки я больше нигде и никогда не видела.

Почему вещи моего далеко не радостного и легкого детства сегодня имеют для меня такую притягательную силу? за эту лампадку, за бюстик Наполеона, за спичечницу с чертом, даже за цветы, которые стояли в «зале», я бы не пожалела теперь никаких денег!

Тетя Маруся, в отличие от бабушки Серафимы, была демонстративно религиозна. Соблюдала посты, говела по два раза в год, ходила ко всенощной, к утрене, к обедне. Садясь за стол и после еды — крестилась.

Очень любила она под пасху сидеть со счетами у окна — считать, сколько куличей пронесут святить

(благо церковь была напротив окон). Потом, когда святить людям стало нечего и вовсю свирепствовал сыпняк, она считала покойников. В 20–21 голодные года — бесконечной чередой ехавшие по улице кибитки с беженцами из Поволжья... В ней жила маленькая доля ханжества: сесть просто без дела в кресло и смотреть на улицу — считала неудобным. А так — все-таки занятие, тем более что в руках еще рукоделие.

Но вернусь к той поре, когда закрыли нашу гимназию и тетя Маруся, перестав быть учительницей, стала в доме «одной прислугой за все». Уехала в деревню Семибратовская работница, вышла замуж и ушла от нас моя няня Мария Тихоновна и на руках тетки очутилась большая семья: старенькая бабушка, сестра, мои родители, Женя, я... А жизнь все труднее, все холоднее и голоднее...

Я хорошо помню ее в эти годы. Несчастная, загнанная лошадь. Кокетливый черный жакет, что на фотографии, превратился в рваную рабочую куртку. На голове, вместо шляпы, повязан грязный платок, лицо и руки в саже, в копоти от «буржуйки», у губ — горькие складки. Тетя Маруся колет дрова, топит и чистит печку, ставит самовар, набивает снегом погреб, носит от водокачки воду (водопровод, конечно, не работал, вода отпускается по талонам), выносит помои и поганое ведро, моет, стирает, готовит, ходит в очереди и на базар...

Как не простить ей мрачность и грубость, как не простить, что она говорила нам: «Идите жрать!», а если традиционное блюдо «месиво» было недосолено, то отрезала: «И так сожрете». И все-таки она обслуживала всех, и делала, что могла, и даже что не могла. Я, как ни пыталась, не могу вспомнить, чтобы моя элегантная, хорошо причесанная мама хоть раз вымыла посуду, сходила на базар или в очередь... Тетя Калюша мыла по вечерам посуду — это я помню. Мама — нет.

В очереди или на базар с теткой иногда ходила я. Базары бывали по субботам и воскресеньям, а накануне, в пятницу вечером, было «подторжье». Крестьяне из деревень приезжали на своих лошадях заранее, так как из-за многочисленных банд и атаманов ездить ночью было очень опасно.

Считалось, что на подторжье можно что-то дешевле купить или выгоднее выменять. Молоко с возов продавалось четвертными бутылями, и надо было тащить с собой порожнюю четверть на обмен. Деньги брали большими неразрезанными листами. Ножницы, отстригать миллионы, тоже носили с собой. Но старые юбки, полотенца, штаны, считались более надежной валютой.

Четверть молока покупалась в пятницу, хотя дома еще довольно оставалось молока от прошлой пятницы. В субботу, воскресенье, понедельник допивали старое, уже прокисшее молоко, а новое ждало своей очереди и потихоньку кисло. Поэтому, до переезда в деревню, я очень не любила молоко.

Но такой запас «впрок» и такое расходование его, было в характере Марии Васильевны.

И бабушка Серафима, и тетя Калюша, и братья Владимир и Николай были бережливыми, но не скупыми. Тетя Маруся немного перешагивала границу бережливости, делая бережливость порой бессмысленной. Еще в лучшие времена она собирала и копила, все, что возможно. Свинцовые бумажки от чая стояли у нее на этажерке, спрессованными в большие круглые бомбы, с писем и открыток отпаривались самые обыкновенные использованные марки и связывались в аккуратные пачечки по 100 штук. Пачечек были многие сотни. Она берегла веревочки от покупок и палочки, которые к ним привязывали.

Иногда во мне просыпается тетя Маруся: очень жалею выкидывать коробочки, баночки, поздравительные открытки, красивые бутылочки. Бывает и хуже: если у меня появляется что-нибудь особо вкусное, мне кажется что съесть это запросто самой — неудобно, нельзя. Надо ждать какого-то парадного случая или возможности кому-то это передарить. Иной раз «вкусненькое» залеживается, как тети Марусино молоко, до потери товарного вида. Я называю эту черту в себе «марусизмом» и борюсь с ней.

Рассказывая о вещах из «мира» тети Маруси, я не упомянула об одной: кружке, из которой она долгие годы пила чай.

Это была простая, дешевая кружка из грубого белого фаянса, с двумя розовато-сиреневыми полосками по верху и по низу. Между полосками, в две строки шла надпись синими буквами:

«Спустя лето по малину в лес не ходят никогда».

Мудрое было предостережение.

* * *

Это началось, наверное, летом 1922 года, когда еще жива была бабушка. Тетя Маруся вдруг стала прихорашиваться. Исчезли следы сажи и угля, исчез вечный платок с головы. Она стала завивать волосы, накручивая их на шпильку, и делать прическу.

Меня это очень удивило, т. к. я всегда считала тетю Марусю очень старой: почти такой, как бабушка. Мама — ее ровесница — в моем понятии была молодой, тетя Калюша, которая была старше сестры на 13 лет, — молодой, подруга тети Маруси — Тонечка Карташова — молодой, а вот Маруся — старой!

А было ей в ту пору года сорок два, сорок три.

И вот она помолодела, похорошела, заулыбалась!

Меня, конечно, не посвящали в причины этого чуда, но они вскоре выявились.

Андрей Андреевич Карпов овдовел. Революция давно отняла у него заводы и фабрики, выселила из дома, из дворца — дачи в Ахунах, лишила шикарных выездов. Он с женой и некрасивым, рано облысевшим сыном Николаем, ютился в одной комнате у бабушки Вари. И вот жена умерла...

Чьи тут были приложены старания, чья была инициатива — не знаю. Наверно, Олигеровская... Но Андрей Андреевич стал ходить к нам в гости!

Обычно он появлялся днем — красивый, статный, уже седой, с карими, немного воловьими глазами под густыми бровями. В красоте его было что-то античное, что-то от Зевса.

Одет он был неизменно в щегольски отглаженный чесучовый костюм. На голове — настоящая панамская панама, в руках — трость без ручки: золотой набалдашник был снят. Тетя Маруся со смущенной улыбкой уже ждала его, сидя в кресле у окна с рукоделием и томиком Вернера или Марлита. Бабушка осторожно прикрывала двери в комнату и говорила: «Ты, Танюшка, в залу не ходи, поди, лучше погуляй во дворе».

Как проходил роман, мне трудно судить, потому что мы с мамой жили уже в Ахунах и в городе бывали

наездами. От тети Маруси шло тихое сияние… Друзья и родственники радовались: «Наконец-то Маруся устроится. И жить им будет легче, а то на одно Калюшино жалованье трудно. Хитрый Карпов наверняка припрятал и золото, и бриллианты».

После смерти бабушки они повенчались. На руке у тети Маруси появилось тоненькое, истертое обручальное колечко. Материнское…

Андрей Андреевич, оставив все свое имущество сыну, перебрался к теткам. Он привез с собой только роскошную кровать с замшевым наматрасником, складной стульчик для рыбной ловли, удочки и чесучовые костюмы. В комнате, где жили мы с мамой, стояла, занимая чуть не половину ее, кровать Андрея Андреевича и жалась к стенке узкая девичья койка Марии Васильевны. На Калюшину зарплату жило уже трое.

Андрей Андреевич оказался очень требовательным, ворчливым, капризным человеком. Для тети Маруси началась «райская» замужняя жизнь.

Она вставала утром чуть свет, готовила ему завтрак, стирала и отглаживала чесучовые костюмы и сорочки. Часов в одиннадцать он отправлялся на Суру — ловить рыбу. Через добрую половину города, с удочками в руках, важно вышагивал он в своей панаме. за ним, со складным стульчиком, с ведерком и корзиной с завтраком шла тетя Маруся. Доведя мужа до берега, она поудобнее устраивала его и бежала обратно заниматься домашними делами.
В 3–4 часа снова отправлялась за ним и пустым ведерком на Суру.

Я не знаю, чем он донимал ее зимой, но все говорят, что жизнь была ужасной. Тетка опять постарела, помрачнела, озабоченное, горькое выражение не покидало ее лица.

Мы с мамой и ее мужем Михаилом Григорьевичем жили уже в лесничестве близ деревни Лопуховка в 80 верстах от Пензы. Надо сказать, что сестры Семибратовы любили Михаила Григорьевича, а он, добрый человек, всячески помогал им: привозил дрова, уголь. Когда умерла бабушка, сделал для нее гроб (тогда ведь все это были трудно разрешимые проблемы).

Однажды Михаил Григорьевич предложил Андрею Андреевичу погостить у нас в Лопуховке, половить рыбу, которой много водилось в нашем огромном проточном пруду. Он торжественно привез гостя из города в бричке, закутанного в пыльник, в неизменной панаме, из которой потом долго вычищали щеткой пыль. Ему приготовили отдельную комнату, постарались создать все удобства. У нас были и корова, и куры, и пчелы, и огород, и свое пшено, и мука. Кормить было чем.

Но кормить оказалось не просто. Например, салат надо было делать так: на большую мелкую тарелку аккуратными кружочками выкладывались помидоры, поверх каждого кружочка такой же аккуратненький кружочек крутого яйца, потом кружочек огурца, потом — колечко лука. Потом каждую «пирамидку» нужно было полить сметаной или постным маслом с уксусом. А он еще ворчал, что нет черного перца. Увы, перец на пензенском огороде не рос, уксус делали сами — из кислых яблок и красной смородины.

После завтрака Андрей Андреевич отправлялся ловить рыбу. От террасы дома до пруда было от силы сорок шагов, но снаряжались мы как в экспедицию. Впереди — Андрей Андреевич, за ним со стульчиком, ведром и завернутым в салфетку вторым завтраком — я.

Я же ловила ему для насадки мух и каких-то больших комаров. Червей копал на огороде Михаил Григорьевич. Он относился к гостю с юмором и звал за глаза Хандрей Хандреичем. Удобно усевшись в тени среди берез, Андрей Андреевич выкладывал в ряд несколько своих заграничных удочек и начинал дремать.

Тишина. Безлюдье. Только изредка рыба плеснет да дятел дерево где-то подолбит. Если рыба начинала клевать, я шепотом предупреждала «Клюет». Андрей Андреевич дергал удочку, она запутывалась в леске другой, ронял в воду третью, все переплеталось, запутывалось, уплывало. Я лезла в пруд, вылавливала удочки: начиналось долгое распутывание, затем все повторялось сначала.

Прибегут, бывало, к плотине со своими самодельными удочками 2–3 мальчишки из Лопуховки.
То и дело выдергивают окуней, голавлей, плотвичку. Глядишь — уже целый кукан нанизали.

Рядом, в камышах, притаившись, сидит мой кот Мурлышка. Быстро стукнет лапой по воде и вытащит когтем маленькую рыбку. Всем рыбы хватало, только у Хандрей Хандреича ведерко пустое…
Сидит, ворчит и на кота, и на мальчишек, и на меня, что рыбу распугали…

Прожил он у нас недели две и уехал в своем «пыльнике» недовольный.

Умер он в 30-х годах от рака желудка и похоронен на Мироносецком кладбище, под тяжелым фамильным памятником, куда в 1963 г. положили и тетю Марусю. (Могила № 4811 — по дороге к церкви, против ограды с шарами.)

Пока могла Калерия Васильевна письма нам писала она. После стали приходить письма от Марии Васильевны. Только однажды, когда она узнала, что я взяла маму к себе, тетка написала, что понимает, как мне трудно, что у мамы моей всегда был скверный характер, а теперь, наверно, совсем ужасный, и что она сама прожила в таком аду девять замужних лет. Эта была ее единственная жалоба…

Бедная тетя Маруся! Если б она вняла предостережению своей кружки, не пошла б «по малину спустя лето» — от скольких невзгод, страданий, унижений она была бы избавлена…

Как тетя Маруся жила после смерти мужа — не знаю. В годы войны ей снова пришлось пережить тяжелую полосу нужды и непосильного труда. Снова на них обрушились «беженцы», Людмила Петровна (жена брата Сергея) с Наташей и Сережей. Наверно, все было так же, как в 1921 году… Года три ухаживала за парализованной сестрой. После смерти Калерии Васильевны тетя Маруся получала 8 р. 10 коп. пенсии и еще 1 р. 10 коп. за какую-то хлебную надбавку. Вместе с нашей десятирублевой помощью — 19–20. Уходили годы… а с ними уходило, наверное, из ее души все мелочное, личное, суетное, освобождая место мудрости и тихой доброте.

Письма стали подробнее, длиннее: они были заполнены рассказами о девочках-соседках по дому.

Их было три или четыре. (Маркина Людмила Владимировна (старшая), Пенза-38, ул. Докучаева, д. 14. кв. 9. Маковы Лариса и Евгения, Пенза-35, ул. Туристическая, д. 7б, кв. 4. Одна еще, кажется, уехала из Пензы.) У них была злая, жадная, эгоистичная мать и Мария Васильевна взяла их под свое крылышко. Детально и сердеч-

но писала она нам об их делах, невзгодах, трудностях. Девочки были ей очень дороги. Я помню одно письмо, где тетка с отчаянием писала, что у Люды на улице бандиты сняли с ног выходные туфельки. Защищая девочек, она ссорилась с их матерью. Девочки очень любили Маню, как они ее называли. Они спасались у нее от скандалов с матерью, делились своими тайнами, тревогами, надеждами, любовными переживаниями.

В конце 50-х годов у меня наладилась связь с Пензой через Германа Мазурина. Я передавала с ним посылки с кое-какими продуктами и вещами. Когда в 1962 году умерла Лида, мы с бабушкой послали обувь, платья, платки. Герман, спасибо ему за доброту, даже хотел сделать ей ремонт, но она отказалась. Он говорил, что живет она нищенски, а что я могла сделать? На мне 23 года висела мама. Помню, за всеми вычетами я получала (по тем деньгам) на руки 714 р. (т. е. 71 р.). Вычеты были огромные: заем, военный налог, налог на бездетность, подоходный налог.

400 рублей я отдавала за себя бабушке, 5 руб. посылала в Пензу, 25 рублей маме. Оставалось 1 р. 40 коп. на порошки от головной боли. Студия была рядом, расходов на транспорт, слава богу, не было.

Иногда тетя Маруся сообщала, что пасху встретила хорошо, что одна соседка принесла два крашеных яйца, а другая — кусок кулича. Или летом с огорода привозили ей овощей, давали стакан варенья. О радостях писала, о своей бедности — нет. В мае 1963 г., когда, устроив маму в больницу, я отдыхала в Щелкове, пришла телеграмма из Пензы о том, что тетю Марусю разбил паралич. Я получила эту телеграмму только через несколько дней и 16 мая выехала в Пензу. Помог Водя, дал (40 руб.) денег.

Сорок лет я не была в Пензе, сорок лет не видела тетки. Она лежала уже без языка, без сознания. Белье на ней было ветхое, но чистое, постель тоже сухая и чистая. Девочки по очереди дежурили около нее круглые сутки. Бульон, лекарства, обтирания, уколы — они делали все, что могли и чувствовалось, какое горе для них ее смертельная болезнь. Заходили какие-то женщины, старухи, спрашивали о здоровье, предлагали помощь.

Уходила из жизни 83-х летняя нищая старуха, а люди плакали и говорили: «Как же мы теперь без нее будем?» И она, действительно, была нужна людям. Соседи по двору и по улице оставляли на нее детей, приносили ключи от своих квартир, шли к ней за советом, за помощью: кому кур накормит, кому в аптеку сходит, снесет ребенка в поликлинику, за кого-то в очереди постоит. Смерть Марии Васильевны и в самом деле была для них потерей.

Она умерла на вторую ночь по моему приезду. В 4 часа утра, когда уже рассвело и в окно, как в детстве, были видны цветущие кусты сирени, первые птицы начинали свою утреннюю песню. Тяжелый вздох и голова в последний раз дернулась на подушке.

Я была одна и не знала, что надо делать. Сложила ей руки на груди, потом почему-то налила в чистый стакан воды и поставила в изголовье. Когда-то в детстве слышала, что так делают, чтобы душа покойницы омылась от своих грехов. Хотя, какие у нее грехи, что ей-то смывать…

Потом разбудила Н. А. Милованову, которая жила в том же доме. Пришли девочки, какие-то старухи. Стали искать, во что одеть. Нашли какие-то узелки, в которых нетронутыми лежали посланные нами вещи и даже банка с топленым маслом. Все береглось «до случая»… Таких похорон я не видела. Сколько народу пришло проводить ее. Отец девочек достал два автобуса и не все поместились. Все было в сирени, и крышка гроба, и вся покойница.

Отпевали ее в кладбищенской церкви, удивительно проникновенно, истово и светло.

Потом были многолюдные поминки. О ней говорили как о святой, как об общей заступнице. (Это очень пафосно звучит, но что делать, если действительно говорили.)

Девочки предложили мне снятое с ее руки обручальное колечко, истертое как бумажка. Я почувствовала какой-то суеверный страх перед ним — символ несчастья, оковы, погубившие двух женщин. Я не взяла. Несколько икон и фотографий — больше ничего не увезла я из Пензы. Да и нечего было везти…

Теперь я корю себя за то, что не была с ней близкой, не поддерживала душевно, как могла бы, не говорила добрых слов, и что согреваться ей пришлось теплом чужих сердец, да уже поздно…

Аркадий Францевич

КОШКО

(1867–1928)

ГНУСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Текст рассказа печатается
по публикации в авторском сборнике,
вышедшем в Издательстве ЭКСМО-Пресс
(Москва, 2002)

Два брата Кошко известны в истории России, и оба имели связь с Пензой. Старший Иван (Мячеслав) служил пензенским губернатором в 1907–1910 годах, а младший Аркадий Францевич (1867–1928) — король русского сыска — бывал в гостях у брата.

Жизнь его складывалась вполне благополучно. Родился в богатой дворянской семье Минской губернии, закончил Казанское пехотное юнкерское училище, служил в полку, расквартированном в соседнем с Пензой Симбирске. Но молодому офицеру хотелось риска, опасностей, игры ума. С детства он зачитывался детективными романами, поэтому в 1894 году подал в отставку и поступил рядовым инспектором в Рижскую полицию. Он угадал своё предназначение. Сыщик милостью Божьей, что доказывается его блестящей карьерой и мировой репутацией. Через 6 лет он возглавил Рижскую полицию, в 1901 — Петербургскую сыскную полицию, в 1908 — Московскую, наконец, он стал заведующим всем уголовным розыском Российской империи. Его система идентификации личности на основе дактилоскопии и антропометрии была принята Скотланд-Ярдом, а затем всеми странами. На Международном съезде криминалистов в 1913 году в Швейцарии русская сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.

Власти большевиков не признал, эмигрировал в Турцию, осел в Париже, где бедствовал. Его приглашал Скотланд-Ярд, но Кошко не захотел принимать британское гражданство: ждал возвращения в Россию, надеялся на крушение большевизма.

В конце жизни великий сыщик стал занимательным писателем, описывая случаи из своей практики в мемуарных рассказах. Написал три тома воспоминаний «Очерки уголовного мира царской России» (1926–1929, в России изданы в 1990, 1992 годах).

В Пензе он бывал в пору своей славы и взлёта карьеры. А как он виртуозно работал можно представить из рассказа «Гнусное дело», основанного на пензенском материале.

***

Как-то в конце пасхальной недели 1908 года явился ко мне на приём сильно напуганный человек, по виду мелкий купец и, чуть ли не заикаясь от волнения, рассказал следующее:

— Всю жисть, господин начальник, мы прожили, можно сказать, по-честному, мухи не обидели и немало добра людям сделали, а вот под старость эдакая напасть приключилась... И чем только Бога прогневили, сказать не умею!

— Да говорите толком, в чём дело?

— Да дело мое необыкновенное, не знаю просто, как и приступить.

Начну с самого начала.

Сами мы теперь третий год живем на отдыхе, в своем домишке на Остоженке, — я, супруга моя Екатерина Ильинишна да сынок Михайла. А до того времени 20 лет свою торговлю мелочную имели и капиталец, слава Богу, приобрели. Квартера у нас порядочная, кухарку держим и вообче живем не хуже людей. С месяц тому назад сынок мой уехал в Пензу спроведать невесту — жених он у нас, — и остались мы с Ильинишной вдвоём. Ну-с, хорошо-с! И говорит вчерашний день супруга моя: «Хорошо бы, Лаврентьич, нам в баню сходить (это я Терентий Лаврентьевичем прозываюсь), а то за праздничные дни обкушались мы с тобою, невредно бы веничком попариться да поту повыпустить». Что ж, говорю, разлюбезное дело. Отправились.

Помылись мы на славу и с кумачовыми лицами вернулись домой. А дома, конечно, самоварчик ждёт, разные булочки сдобные да разносортное варенье. Распоясались мы, жена освежила личико студеной водицей, и, благословясь, сели мы за чай. Выпили мы с ней стаканчика по четыре и в такое благорасположение пришли, что просто и не рассказать: на душе покойно, телеса приятно разогреты, в утробе одно удовольствие, а в комнате так светло и уютно, в уголке лампада перед иконой горит. Сидим, молчим и молча радуемся. Вошла в комнату кухарка и, обращаясь ко мне, говорит: «Вот давеча, пока вы были в бане, пришло вам письмецо», — и протягивает мне его. Я поглядел на конверт, письмо иногороднее. «Уж, не от сына ли?» — подумали мы.

— А вы разве почерка сына не узнали?

— Да где его там разобрать? Сами мы не больно грамотны, да и сын не гораздо хорошо пишет. Ну, однако, распечатали. Оказалось, от сына. Вот оно, я захватил с собой.

Я пробежал письмо глазами. В нём довольно корявым почерком было написано:

«Дорогой наш родитель, Терентий Лаврентьевич, и дорогая мамаша, Катерина Ильинишна, шлю вам с любовью низкий сыновний поклон и прошу вашего благословения навеки не нарушимого. Четвертую неделю пребываю в Пензе и невестой моей и ейными родителями премного доволен. С ними встретил светлые праздники и взгрустнул, между прочим, что вас со мной не было. Хоть Пасху провожу и без вас, однако вас не забыл и посылаю вам посылку на три пуда весом, а что в ней находится, не сообщаю — это вам суприз будет, а только Пенза славится платками, перчатками и разными фруктами, но это я говорю только так, для обману, в посылке совсем другой товар находится. Затем пожелаю я вам всего хорошего, ждите меня домой недельки через две–три.

Остаюсь вашим любящим и покорным сыном Михаилом Терентьевичем Шишкиным».

Мой посетитель продолжал:

— К этому письмецу была приложена и багажная квитанция на посылку. Время было позднее, и с получкой пришлось обождать до сегодняшнего дня. Как прочитали мы это Мишенькино письмо, нас ажио слеза прошибла. Ильинишна мне говорит: «Вот, отец, какого сына мы с тобой вырастили. Где бы парню с невестой всё на свете забыть, а он, глядь, своих стариков вспомнил, да еще как вспомнил — трехпудовой посылкой. А только очень мне любопытно знать, что в этом супризе находится. Я так думаю — хоть он и сбивает с толку, а должно быть, всё платки пуховые — знает, мать тепло любит». Эвона, говорю, куда махнула, на три пуда пуховых платков. Эдакую уйму и в вагон, пожалуй, не уложишь.

— Ну, значит, яблоки, — говорит супруга.

— И опять зря говоришь, — отвечаю, — подумаешь, яблоки, невидаль какая, нашел, чем родителей порадовать.

Всю ночь мы плохо спали с женой: то толкнёт она меня в бок и полусонного огорошит вопросом: «А может быть, Лаврентьич, пуховые перчатки?» Отстань, говорю, а у самого в голове разные фантазии: может быть, пряники медовые, а может быть, и стерляди сурские. Страсть люблю стерляжью уху. Меня ажио в тревогу бросало, не дойтить рыбине такую даль; как пить дать протухнет!

Под утро я разбудил даже супругу и спрашиваю: «Ежели, к примеру сказать, стерлядь залежалая, то по глазам ейным можно это распознать?»

— Какая стерлядь? — говорит супруга.

— А ну тебя к лешему, дрыхни! — отвечаю сердито.

Так мы и промаялись всю ночь. Утром наскоро напились чаю и вместях на извозчике помчались на Рязанский вокзал. Предъявляю квитанцию, и мне носильщик выволакивает тяжелый ящик, обшитый рогожей, натуго перевязанный веревками. Сволокли мы его на извозчика, да и айда домой. Едем, а любопытство так и разбирает. А как повеет ветерочком, так от ящика легкий странный дух идет. «Ой, — говорю, — выходит по-моему — не иначе как стерлядь. Принюхайся, как рыбиной отдаёт». Приехали домой, внесли ящик в столовую, разъяли веревки, взял я топор, да и начал отковыривать крышку. Сверху соломой заложено. А супруга моя так и егозит, так и егозит! Пощупали сверху — что-то твердое.

«Скорей, — говорит, — Лаврентьич, чего копаешься».

Запустил я сбоку руку вглубь, нащупал какой-то предмет и вытаскиваю. Мать честная! Святые Угодники! Я даже икнул, а супруга грохнулась на пол. Я держал за пятку кусок человеческой ноги, обрубленной по колено!.. Сердце колотится, а я, как дурак, застыл с протянутой рукой. Прошло немало времени. Наконец, слышу, Ильинишна кричит: «Чего стоишь истуканом? Брось эту погань». Ну, действительно, отшвырнул я ногу. «Что ж это такое, — говорю, — творится? Разуважил, можно сказать, сынок, поздравил с праздничком».

— Полно тебе брехать, в своем ли ты уме. Разве Мишенька позволит себе эдакие шутки? Осмотрим скорее весь ящик — да и в полицию.

Осмотрели мы, господин начальник, посылочку вдоль и поперек.

Ничего, можно сказать, суприз! Человечье тело, разрубленное на четыре части и промеж ног голова всунута. По всем видимостям, труп молодой девицы, можно сказать, девочки. Заметно это по телосложению трупа, опять же на голове длинная коса и в неё вплетена лента. Вот извольте получить.

И он положил мне на стол длинную шелковую пёструю ленточку.

Помолчав, я спросил:

— Что же вы обо всем этом думаете?

— Да что тут думать? Ничего не думаю, одно, конечно, что сын мой ни при чём.

— А другой посылки от сына вы не получали?

— Нет, не получали.

Я кратко записал сообщенные мне данные и отпустил купца, взяв его адрес.

Конечно, убийство, видимо, было произведено далеко за пределами Москвы и вряд ли подлежало моему ведению, но дерзость и цинизм преступления возмутили и заинтересовали меня. К тому же имелось еще одно привходящее обстоятельство, побудившее меня лично взяться за это дело: я только что получил от брата из Пензы, где он в это время был губернатором, письмо с приглашением приехать погостить, а так как, судя по багажной квитанции, следы вышеназванного злодеяния надлежало отыскивать именно в Пензе, то я и решил соединить приятное с полезным и тотчас же принялся за работу. Взяв с собой полицейского врача и двух понятых, я поехал на Остоженку к Плошкину. Экспертиза врача установила, после исследования разрубленного трупа в ближайшем медицинском пункте, что он принадлежит девочке 14-ти примерно лет, убитой ударом колющего оружия в сердце, приблизительно двое суток тому назад.

Допросив еще раз Плошкина, я ничего нового от него не узнал.

На мой вопрос, не было ли у него каких-либо врагов, сводящих с ним счёты, он ответил: «Нет, всю жизнь я прожил в миру и ладу со всеми, и мстить, кажись, некому».

Но, подумав, добавил: «Разве что один человек мог остаться мной недовольным. Это мой бывший старший приказчик Сивухин.

Уж больно он воровать стал, и года за два до закрытия моей торговли я выгнал его от себя вон и, помню, обозвал даже вором.

А он, уходя, пригрозил мне: «Погоди, старый черт, отольются тебе мои слезы!» — да только тому уже пять лет прошло, и ничего, покуражился, видимо, человек».

— Не сохранился ли у вас почерк этого Сивухина?

— Да как не быть, — вон старые торговые книги валяются.

— А ну-ка покажите.

Плошкин отобрал одну из книг, перелистал несколько страниц и раскрытую поднёс мне:

— Вот евонная рука.

Я поглядел. Довольно неровным почерком было написано наименование и цена нескольких товаров. Сравнив эти записи с почерком письма, полученным Плошкиным, я убедился, что почерки разные.

На следующий день, собрав подробные справки о сыне Плошкина, оказавшиеся для него вполне благоприятными, и снабженный фотографиями с обезображенного трупа, я выехал в Пензу с экспрессом. Повидавшись с родными, я приступил к делу. Пригласив к себе местного начальника сыскного отделения и полицеймейстера города Пензы В. Е. Андреева, я спросил их, не поступало ли от кого-либо заявлений о пропаже девочки лет 14-ти. И тот и другой заявили, что три дня тому назад некая Ефимова, продавщица в казенной винной лавке, обратилась за помощью в полицию, прося разыскать исчезнувшую дочь, девочку 14 лет, Марию, причем подозрений решительно ни на кого не имела. Местная полиция уже производила розыск, но пока результатов благоприятных не получено. Я пожелал лично допросить как Ефимову, так и молодого Плошкина и приказал вызвать их обоих. Крайне тяжелое воспоминание осталось у меня от встречи с Ефимовой. Подавленная горем, в слезах, явилась она и рассказала, как было дело.

Ее дочь с год как служит, в качестве ученицы, у портнихи, некоей Знаменской, проживающей в конце Пешей улицы. Сначала Маше жилось у хозяйки нелегко, но последние два месяца Знаменская резко изменила свое отношение к ней, стала ласкова, добра и снисходительна. В день исчезновения Маши было Светлое Воскресенье, и девочка была у матери. В два часа дня отпросилась погулять в Лермонтовский сквер на часочек, но не вернулась ни через час, ни через три, ни к вечеру. Встревоженная мать кинулась на поиски, побывала и у портнихи, но Маша как в воду канула. Поволновавшись всю ночь, она наутро сделала заявление полиции о пропаже дочери.

В большом волнении протянул я ей шелковую, пеструю ленточку и спросил, знакома ли она ей? Мать судорожно схватила ее и с надеждой во взоре радостно проговорила:

— Она, она самая! Это любимая ленточка моей Машеньки.

Щадя нервы моих читателей, я не буду описывать той тягостной сцены, что последовала вслед за раскрытием страшной правды. Как ни был я осторожен, но печальный факт оставался фактом, и горе несчастной матери было безбрежно.

Это тягостное впечатление несколько рассеял Михаил Плошкин.

Завитой барашком, с галстуком одного цвета со щеками, в крахмальной манишке и с огромным аметистом на указательном пальце предстал передо мной счастливый жених. Держал и вел себя по собственному выражению «высоко культурно».

— Намеревались ли вы послать вашим родителям посылку в Москву? — спросил я его.

— Конечно, оно следовало бы, так как сами понимаете — родители, ничто другое, но любовный дым,

в коем я пребываю, помешал мне в исполнении этой заветной мечты-с.

— Так что и письма вы никакого им на Пасху не посылали?

— Нет-с, не удосужился проздравить с высокоторжественным праздником.

— А между тем они посылочку от вас получили, и на три пуда.

— Шутить изволите.

— А вот прочтите.

И я протянул ему письмо. Он внимательно прочел его, раскрыл рот от удивления и уставился на меня.

Так как я еще в Москве сверил его почерк с почерком письма и убедился в их различии, то я не нашел нужным его дольше задерживать и отпустил его, не разъяснив ему странной загадки.

По его словам, кроме невесты и ее стариков родителей, никто не знал московского адреса Плошкиных.

До поры до времени я решил оставить в покое этих людей и пожелал инкогнито навестить портниху Знаменскую. Мне хотелось лично вынести о ней впечатление не только как о лице, игравшем значительную роль в жизни погибшей девочки, но также и потому, что сведения, собранные о ней местной полицией, были неблагоприятны: темное прошлое, обширные знакомства с людьми, ничего общего не имеющих с ее ремеслом и средой и т. д.

С этой целью, переодевшись в местном сыскном отделении в отрепья босяка, подкрасив слегка нос в красный цвет и взъерошив волосы, я забрал под мышку узелок, туго набитый крючками, пуговицами, лентами, аграмантами и пр. прикладом, и вскоре был в конце Пешей и входил на кухню квартиры, занимаемой портнихой Знаменской.

Я довольно нерешительно открыл дверь. В кухне за большим столом сидели две девочки лет по 14 и девушка постарше, лет 17.

Они с аппетитом уплетали кашу, черпая ее деревянными ложками из общей кастрюли. Все три обернулись, но, увидя мое рубище, ничего не ответили и продолжали есть. Наконец старшая спросила:

— Что тебе нужно? — Мне бы хозяюшку вашу повидать.

— А на что? — удивилась она.

— Да тут кое-какое дельце к ней будет.

— Ладно, обожди, — ужо позову.

Я прислонился к косяку двери и стал наблюдать.

Обедавшие ничем не отличались от обычного типа портнишек: смазливенькие, в черных коленкоровых передниках, с привешенными на шнурках ножницами к поясу и чуть ли не с наперстками на пальцах. Вид их был довольно усталый, несколько болезненный, а у старшей заметно были накрашены губы. Продолжая есть, они совершенно забыли о моем существовании и перекидывались ничего не значащими фразами. Но вот я насторожился. Одна из девочек сказала:

— Эх, Маня, где же ты теперь?

На что другая ответила:

— Да, лови ветра в поле, и след ее, поди, простыл.

— Ну и красавица была, — продолжали разговор девочки, — второй такой не сыщешь.

Старшая сказала:

— А все-таки, как хотите, тут дело без «жабы» не обошлось. Что-то уж больно скоро она утешилась, а ведь как ухаживали за Маней, лучше ее никого не было.

Они замолчали. Я покашлял. Старшая, встрепенувшись, сказала:

— Ну-ка, Настя, сходи за жабой, скажи, что тут человек дожидается.

Одна из девочек отправилась в комнаты и вскоре вернулась с лукавой улыбкой и, подмигнув подругам, заявила:

— Я жабе сказала, что какой-то господин ее дожидается, и она принялась пудриться, румяниться и душиться. — Девочки звонко расхохотались.

Минут через десять послышались шаги, и в кухню вплыла с видимо заранее заготовленной очаровательной улыбкой довольно полная, нестарая еще женщина, по виду не то молодящаяся купеческая вдова, не то сводня. Завидя меня, она сурово сдвинула брови и сердито спросила:

— Кто ты такой и что тебе от меня надо?

Я, бойко усмехнувшись, ответил:

— Кто я таков, знает лишь матушка-Волга, а дельце у меня к вам действительно есть. Скажу напрямки, — выпить страсть хочется, а презренного металла нема. Вот, думаю, зайду к портнихе, предложу ей подходящего товарцу за полцены. Извольте поглядеть, мадам.

Я быстро развязал свой узелок и рассыпал по столу его содержимое.

Хозяйка пододвинулась, и ее обступили, было, любопытные девочки, но, топнув ногой, она на них прикрикнула:

— Налопались досыта и марш за работу.

Оставшись со мной с глазу на глаз, она принялась внимательно рассматривать товар. Началась отчаянная торговля. за все я спрашивал полцены, ссылаясь на стоимость в лавках. Она же не давала и четверти, прозрачно намекая, что товар, несомненно, краденый.

С полчаса длилась эта долгая процедура. Мы оба охрипли, и портниха приобрела за 4 рубля то, за что было уплачено 18. Спрятав поспешно деньги в карман, я, подпрыгивая, выбежал на двор, хрипло затянув:

— «Вставай, подымайся, рабочий народ, вставай на борьбу, люд голодный…» и т. д.

Теперь сомнений у меня не оставалось, что все силы розыска следует направить на портниху Знаменскую.

Хотя мать убитой девочки была мной предупреждена и ради пользы дела обещала хранить до поры до времени молчание, но, видимо, она не нашла в себе сил исполнить обещанное, и от нее, надо думать, появились в городе слухи об убийстве Марии.

Впрочем, слухи были самые разноречивые: говорилось о самоубийстве, и о похищении цыганами, и о каком-то романе. Желая сделать убийц менее сдержанными и осторожными, я, на всякий случай, поместил в «Пензенских ведомостях» заметку в отделе происшествий, придерживаясь по возможности стиля провинциальных хроникеров. Она была озаглавлена: «Наши дети». Дальше следовало:

«Наш город взволнован разнообразными циркулирующими слухами об исчезновении 14-летней Марии Е. Из весьма достоверных источников нам сообщают, что полиции удалось напасть на след беглянки, — да, мы говорим беглянки, так как этому юному, еще не распустившемуся бутону пришла в голову мысль бежать с ним! O tempora, o mores! Куда мы идем? Quo vadis?!»

Так как целью моего приезда в Пензу был отдых, а не работа, то я и решил в дальнейшем поручить это

дело моим двум опытным агентам, тем более что розыск, как мне казалось, был уже поставлен на надлежащие рельсы. Ввиду этого я телеграфировал моему помощнику в Москву, предлагая ему командировать в Пензу агентов Сергеева и Тихомирову. Эти агенты были не только весьма способными людьми, но и обладали особыми качествами, пригодными для данного случая: Сергеев был мужчина лет 50, с несколько помятым лицом, монтеристого вида из прокутившихся кавалеристов. Я пользовался услугами Тихомировой в тех случаях, когда по ходу дела мне требовался тип барыни. Она обладала красивыми манерами, недурно говорила по-французски и английски, со вкусом одевалась. У своих сослуживцев она известна была под прозвищем «аристократки».

Примерно через полтора суток эти оба агента, по паспорту «супруги Сергеевы», приехали в Пензу и заняли два лучших сообщающихся номера в местной гостинице «Трейман». Я тотчас же побывал у них и, посвятив обоих во все подробности дела, предложил им самостоятельно выработать план действий, причем, конечно, просил их все время держать меня в курсе дела.

Параллельно со мной пензенская полиция также работала, причем все внимание местных агентов было сосредоточено на здешнем главном вокзале. Наводились справки о дне и часе отправки посылки под известным номером, пробовали установить личность отправителя и т. д., но результатов сколько-нибудь интересных от этого не получилось.

Итак, поручив это дело моим опытным людям, я временно почил на лаврах и стал ждать дальнейших событий. Прошло дней пять. Наконец, является Сергеев и сообщает, что за это время ему удалось кое-чего достигнуть. Рассказал он следующее:

— После вашего ухода мы обсудили дело с Тихомировой, выработали план и с места в карьер принялись действовать. Сев на лихача, мы покатили к Знаменской. Входим. Портниха нас встречает с обворожительной улыбкой и предупредительно справляется, что нам угодно. Я отвечаю: «Нам говорили о вашей хорошей работе, и вот жена хотела заказать у вас несколько туалетов».

— Да, — говорит, — моей работой довольны. Сама вице-губернаторша заказывали мне платье и остались довольны.

— Вот именно вице-губернаторша нам вас рекомендовала. Поговорите с женой, снимите мерку, а я здесь посижу, подожду.

Портниха с «женой» удалились в соседнюю комнату, а я, оставшись один, принялся перемигиваться с молоденькой мастерицей и двумя подростками-ученицами, тут же что-то кроившими. Вскоре мы непринужденно разговорились, посыпались шутки и смех. Минут через 15 «жена» с портнихой вернулись, и Тихомирова раздраженным тоном мне сделала замечание: «Nicolas, votre conduite est ridicule!». Хоть эта фраза и была сказана по-французски, но тон и сопутствующие ей обстоятельства не оставляли никаких сомнений, что, конечно, и поняла Знаменская.

— Мы с вашей супругой для весеннего костюма выбрали вот это синее сукно. Не угодно ли взглянуть?

Я отмахнулся:

— Выбирайте хоть красное, хоть зеленое, мне все равно.

— Nicolas, я для летнего платья выбрала этот розовый батист.

Не правда ли премиленький?

— Послушай, матушка, — говорю я, — ведь тебе не 16 лет.

Взяла бы что-нибудь лиловое.

— Да ты с ума сошел! Старушечий цвет! Вот выдумал.

— Ну, делай что хочешь, только скорей.

«Жена» еще долго обсуждала вопрос о костюмах со Знаменской, сообщила ей, что мы новые помещики Нижнеломовского уезда, приехали на короткое время в Пензу, что на днях она возвращается к себе в именье налаживать хозяйство, а муж останется по ряду земельных дел в Пензе. Наконец, мы распрощались.

Жена пошла вперед, провожаемая портнихой, я за нею.

Проходя мимо мастерицы, я потрепал ее по щечке. Знаменская то увидела, улыбнулась и игриво погрозила мне пальцем. Мы уехали. Через два дня была назначена срочная примерка, и мы опять вместе побывали у Знаменской. Примерно повторилось то же: я всем своим поведением давал ясно понять, что супружеская жизнь мне до черта надоела, что я далеко не прочь пожуировать, словом, держал себя мышиным жеребчиком. Знаменская ни слова не говорила, но ясно давала чувствовать, что весьма благосклонно относится к принятой мною линии поведения. Сегодня Знаменская должна была сдать заказ, и я за ним явился один, сказав, что жене нездоровится. На этот раз портниха меня встретила непринужденно весело, но из приличия справилась, чем больна моя жена. «Чем? — отвечал я. — Старостью!» — «Помилуйте, ваша супруга еще молодая женщина! Поди, лет 30 с небольшим?» — «Да, — отвечаю, — всем говорит, что 36, а в этом году серебряную свадьбу справляли. Вот и считайте!»

Портниха поставила аховые цены за исполненный заказ, и я, вынув туго набитый бумажник, не выражая ни малейшего неудовольствия, тотчас заплатил.

— Марья Ивановна, прикажете завернуть? — спросила ее одна из девочек.

— Да, Настя, заворачивай. А вы долго еще погостите у нас в Пензе? — спросила меня портниха.

— Да не знаю, как дела. Вот завтра должен получить от Крестьянского банка 25 000 рублей за проданный хуторок. Жена-то уедет завтрашний день, если поправится, ну а я на недельку, пожалуй, застряну и с ужасом об этом думаю, так как в Пензе скучища смертная.

— Что так? Разве знакомых у вас мало?

— Эх, Марья Ивановна, что знакомые, какой в них толк? А кутнуть и повеселиться хорошенько и негде.

— Как негде? А хоть бы у Шевского в ресторане?

— Ну, нет-с! Вышел я из того возраста, когда кабаки да шантаны тешили: затасканные шансонетки, грязный зал, наполненный неопрятными людьми — фи, какая тоска и гадость! Мне скоротать бы вечерок эдак в семейной обстановке, окруженному молоденькими помпонами — вот это дело! Хотя бы с такими бутончиками, как ваши.

И я ткнул пальцем на мастериц.

Марья Ивановна непринужденно расхохоталась и полушутя заметила:

— Зачем же дело стало? Отправляйте жену, получайте деньги в банке и милости прошу ко мне, постараемся угодить.

— А что же, Марья Ивановна, вы мне идею даете. Давайте условимся на послезавтра вечером. Жена к тому времени, конечно, уедет, и я вольной птицей прилечу к вам. Пожалуйста, ничего не приготовляйте, я говорю о харче, конечно (подчеркнул я), так как, вина, закуски, конфеты и фрукты я привезу сам.

— Очень, очень рада буду, прошу покорнейше, жду!

И мы распрощались.

Девочке, вынесшей пакет к извозчику, я дал пятирублевку на чай, чем и поверг ее в радостное изумление.

Таким образом, господин начальник, кое-что, как видите, сделано, но надеюсь, послезавтра добиться больших результатов. Что же касается Тихомировой, то вряд ли ее услуги понадобятся, и она может, думается мне, вернуться в Москву.

— Нет, осторожнее ее задержать здесь. Почем знать, мало ли что может быть, но, разумеется, пусть завтра же вместо Нижнеломовского именья переезжает от вас в какие-либо меблирашки, подальше на окраину города. Жду с нетерпением вашего следующего доклада.

Через два дня Сергеев мне докладывал:

— Есть кое-что новое в нашем деле.

— Отлично, и прошу вас, как всегда, говорить возможно подробнее, чтобы точно поставить меня в курс дела.

— Слушаю. Итак, вчера, как было условлено, я в 9-м часу вечера подъезжал к Знаменской с большой корзиной, набитой вкусными вещами. Встретила она меня как старого знакомого. Кроме 3-х ее всегдашних учениц на этот раз присутствовали еще две хорошенькие гимназистки, лет по 15 каждая. Знаменская, отбросив свой обычный строгий тон, впала в какую-то сладкую сентиментальность и приняла на себя роль нежной мамаши:

— Детки, встречайте гостя дорогого, да смотрите скорее, какие подарки привез нам добрый дядюшка!

Девочки не заставили себя долго просить, выхватили у меня из рук корзину и со смехом поволокли ее в столовую, быстро разрезали веревку, развернули бумаги и принялись извлекать из нее содержимое. Признаюсь, господин начальник, не пожалел я казенных денег. Коробки сардинок, килек, омаров, анчоусов встречались с восторгом. Апельсины, груши, яблоки и вина радовали не меньше, но что доставило, видимо, особое удовольствие, — это пятифунтовая коробка шоколадных конфет московского Альбера.

Быстро были расставлены тарелки, стаканы, вилки и ножи, и мы веселой гурьбой засели за пир. Меня посадили на председательское место, справа Знаменская, слева одна из гимназисток, остальные расселись, как попало. Не буду передавать вам, господин начальник, подробно наших разговоров, говорилось много вздору, портниха сыпала скабрезными шутками, подталкивала меня ногой под столом, подмигивала на мою соседку. Все присутствующие пили изрядно, но сама Знаменская повергала меня в тревогу: она хлопала стакан за стаканом, не мигая и заметно хмелела. Из Николая Александровича я превратился для нее в Колю, ее рискованные вначале остроты скоро превратились в площадные циничные шутки. Меня брал страх: насвищется эта скотина — и тогда ничего от нее не выудишь. К счастью, вскоре она заявила: «Коленька, может быть, ты желаешь посекретничать с кем-нибудь из них, так сделай одолжение, — вся моя квартира, как ни на есть, к твоим услугам. Я ответил: «Нет, секретов у меня к ним нет, а вот с тобой поговорить бы следовало, да только с глазу на глаз».

— Зачем же дело стало? Поговорим в лучшем виде!

И, обратясь к своему «пансиону», она весело крикнула:

— Эй, детки, забирайте коробку конфект, да и марш подальше, а ежели какая из вас понадобится — позову!

Девочки, забрав конфеты, гурьбой высыпали из комнаты. Знаменская, пытаясь придать некоторую серьезность своему пьяному лицу, встала, нетвердой походкой прошла к дверям, плотно закрыла их и, вернувшись к столу, села:

— Я слушаю вас. Что скажете, Николай Александрович? — деловито заговорила она.

— А вот что я вам скажу, любезная Марья Ивановна: я, конечно, не без приятности провел время с вашим выводком, но только все это не то: и водку-то они хлещут, и подмазаны изрядно, а я, знаете ли, человек избалованный, всяких видов в жизни навидался, вкус у меня тонкий и первой попавшейся юбкой меня не прельстишь.

— Так, — сказала портниха, — понимаю. Вас, стало быть, на «ландыш» потянуло.

— Вот именно! Вот именно!

— Ну что ж, опишите ваш вкус, может, и найдем.

Покачав головой, я ответил:

— Просто не знаю, как и описать, дело нелегкое. — Подумав, я продолжал: — Найдите вы мне, Марья Ивановна, этакую блондиночку лет 15, с фарфоровым личиком, льняными волосами, точеными ручками и ножками, с эдакими большими синими глазами и чтобы в глазах этих была постоянная жемчужная слеза. Покажешь ей палец — она плачет, покажешь ей два — рыдает, а главное, чтобы по внешнему виду была бы ангелом чистоты и непорочности, — продолжал я, все более увлекаясь, — но, вы понимаете, дорогая моя, что ангелом небесным она должна быть лишь по виду, на самом же деле в ней должен дремать никем не разбуженный еще темперамент гетеры, Мессалины, ну, словом, посмотришь на нее, и дух захватывает.

И, закатив глаза, я, симулируя экстаз, судорожно скомкал левой рукой скатерть, правой ущипнул Знаменскую выше локтя, одновременно лягнув ее пребольно под столом.

— Ой, да что вы! Никак, меня за ангела принимаете? — взвизгнула она, но, быстро успокоившись, заявила: — Хоть заказ ваш не из легких, но понятный. А то иной раз среди вашего брата такие привередники попадаются, что не дай ты, Господи! — И, опрокинув еще один стакан залпом, она продолжала: — Вот месяца два тому назад пристал ко мне эдакий ядовитый слюнявый старикашка: достань да достань ему хроменькую, да еще со стоном…

— То есть как это так? — удивился я.

— Да так, говорит, пусть себе хромает и стонет, хромает и стонет. Ну что ж, думаю, мне наплевать — пусть стонет. Подыскала я ему нужную — у ней от природы одна нога покороче другой, — ну, конечно, предупредила ее насчет стенания: устроили смотрины, оглядел ее со всех сторон мой старик, да и забраковал: хоть она и хроменькая, а хромает не по-настоящему, как-то, говорит, ногу волочит, а настоящего приседания в ней нет, опять же турнюром не вышла.

Я перебил ее и спросил:

— Ну, так как же, Марья Ивановна, состряпаете вы мне это дело?

— Отчего же, — говорит, — можно, ежели на расходы не поскупитесь.

— А сколько вы с меня возьмете?

Она с минуту подумала:

— Хлопот тут немало предстоит. Опять же и риску много. Ведь в случае чего тут и каторгой пахнет. Одним словом, возьму с вас — 500 целковых, меньше ни гроша. Это, так сказать, моя часть. Окромя этих денег, конечно, придется уплатить и «ангелу». Ну, да там ваше дело, сговоритесь с ним сами. А главный расход пойдет на Петра Ивановича, он живоглот и меньше как за тысчонку беспокоиться не станет.

Я, насторожившись, спросил:

— А кто такой этот Петр Иванович?

— Да есть у меня тут знакомый человек, — специалист по этой части, ловкач первосортный, весь город он знает. Если у какой либо бедной вдовы хорошенькая дочка подрастает, Петр Иванович тут как тут, коршуном вьется да поджидает добычу. То многосемейных родителей в нужде подкупает, то саму девчонку апельсином соблазнит…

Я, почесав затылок, как бы поколебался, а затем решительно сказал:

— Ладно! Торговаться не буду. Деньги из банка получены, куда ни шло, ассигную на все про все 2 тысячи. Черт с ними!

И, вынув из бумажника 100-рублевую бумажку, я разложил ее перед портнихой:

— Вот вам пока задаточек, — действуйте.

Знаменская жадно схватила бумажку, засунула ее за корсаж и проговорила:

— Что ж, не будем откладывать дело надолго. Желаете, так мы сейчас же махнем на извозчике в заведение Петра Ивановича.

Я поглядел на часы, было 11.

— Что ж, время не позднее, делать мне нечего, спать мне не хочется — едем!

Портниха крикнула деткам:

— Доедайте и допивайте здесь все без нас, а потом только приберите хорошенько, а я ужо вернусь.

Мы сели с ней на извозчика и покатили по Пешей, спустились по Московской, пересекли рынок и свернули в какую-то маленькую улицу направо, позднее оказавшуюся Рыночной. Всю дорогу полупьяная портниха томно прижималась ко мне, икала, млела, словом, невольно вспоминал я, господин начальник, данное ей прозвище — жаба. Мы подъехали к 4-му дому от угла Московской.

Одноэтажная деревянная постройка с красным фонарем в окне. Портниха позвонила и принялась стучать каким-то, видимо, условным стуком. Дверь нам распахнул широкоплечий детина саженного роста. Мы прошли через сени и вошли в прихожую.

Здесь нас встретили, по-видимому, хозяин с хозяйкой. Знаменская сейчас же затрещала:

— А я вам, Петр Иванович, гостя дорогого привезла, — причем на прилагательном сделала усиленное ударение.

Петр Иванович засуетился, стал расшаркиваться и не без витиеватости промолвил:

— Милости прошу к нашему шалашу!

Знаменская заметила:

— В салон они пройдут опосля, а теперь дело к вам важное есть, поговорить бы надо.

— В таком разе, пожалуйте сюды, — и он небольшим коридорчиком, выходящим из прихожей, напротив «салона», провел нас в какую-то комнату довольно своеобразного вида: тут была и мягкая мебель, и письменный стол с альбомами, и двуспальная кровать, и множество зеркал на всех стенах.

Петра Ивановича сопровождала толстая, разряженная женщина, чрезвычайно антипатичного вида, оказавшаяся действительно хозяйкой.

Запирая двери, он что-то шепнул Знаменской, на что портниха успокоительно промолвила:

— Не беспокойтесь, — человек надежный, я ихней жене туалеты шила.

Она вкратце рассказала суть дела, я со своей стороны сделал несколько «гастрономических» добавлений, после чего началась торговля. Наконец, мы сговорились и хлопнули по рукам, причем я добавил, что буду крайне разборчив и требователен, быть может, забракую дюжину кандидаток, прежде чем остановлю свой выбор.

— Известное дело! — сказал он мне. — за такие деньги можно и покуражиться!

В ближайшие дни он обещал показать мне первый номер, а пока усиленно просил ознакомиться с его «салоном». Я, зевнув, сказал:

— Ну, так и быть! Приготовьте там несколько бутылок вина и, что ли, каких-нибудь фруктов.

Петр Иванович, почуяв наживу, мгновенно кинулся распоряжаться.

Ознакомиться с «салоном» я считал необходимым, надеясь почерпнуть какие-либо сведения по делу. Выкурив папироску, другую и наслушавшись от хозяйки разных похвал своему «питомнику», я вышел из комнаты, пересек прихожую и вошел в гостиную.

Просторная комната со стульями и диванами, по стенам скверные олеографии обнаженных женщин, поцарапанным пианино в углу и с полузасохшими фикусами у окон. Тут же на столе были уже расставлены Петром Ивановичем четыре бутылки скверного шампанского и синяя стеклянная тарелка на никелированной подставке с несколькими апельсинами, яблоками и полугнилыми грушами, — гордо именуемая вазой с фруктами. С полдюжины понурых девиц в несвежих платьях сидело вдоль стен. Едва я вошел, как какой-то тип в потертом сюртучке проскользнул бочком мимо меня, плюхнулся у пианино, мотнул головой и с деланным brio забарабанил крейц-польку. Девицы, как по команде, взялись за ручки и начали то, что принято именовать весельем, разгулом, «наслаждением», а в сущности, жалкая, пошлая и никому не нужная мерзость.

Проскучав в этой обстановке часа два и не узнав ничего по интересующему меня вопросу, я вернулся к себе в гостиницу.

— Послушайте, — сказал я с досадой Сергееву, — денег казенных, как я вижу, вы ухлопали немало, провели время, по видимому, не без приятности, но, в сущности, ничего не сделали. Вы установили, что Знаменская патентованная сводня, но это было уже известно и по данным местной полиции, и по моим личным наблюдениям. Вы побывали у какого-то Петра Ивановича, но таких типов и заведений в городе немало. Спрашивается, что же вы сделали?

Сергеев тонко улыбнулся и сказал:

— Вы, господин начальник, перебили меня, не дослушав моего доклада.

— Говорите!

— Рано утром я навел справку в полицейском управлении о Петре Ивановиче, и мне сообщили, что он крестьянин Тверской губ., Бежецкого уезда, значится по паспорту из подрядчиков, а по фамилии... Сивухин!.. — многозначительно протянул мой докладчик и, выразительно подняв брови, уставился на меня.

Наступило долгое молчание.

Наконец я прервал его:

— Да, извините меня, я несколько поспешил со своим замечанием.

Вам удалось установить факт чрезвычайной важности. Можно почти с уверенностью сказать, что ваш Сивухин не является однофамильцем бывшего приказчика купца Плошкина. Хоть он и значится по паспорту из подрядчиков, но, разумеется, за эти 5 лет мог испробовать и эту профессию. Впрочем, точно удостовериться в этом будет нетрудно, так как молодой Плошкин, жених, надо думать, еще здесь. Не смогли бы вы раздобыть незаметно фотографию Сивухина?

— Отчего же? Думаю, что да. Дело в том, что та комната, в которой меня приняли хозяева заведения, является их личным помещением и, по словам девиц, предоставляется в распоряжение редко, и то лишь особо избранным посетителям. Так как к числу последних отныне, конечно, принадлежу и я, то в этом отношении препятствий не встретится. В комнате же этой я вчера еще видел на письменном столе ряд фотографий и самого Сивухина и его сожительницы Прониной. Поеду сегодня же к ночи, попытаюсь еще раз что-либо выведать и к завтрашнему дню доставлю нужный снимок.

На этом мы с ним пока расстались.

Я распорядился допросить всех извозчиков, обычно стоящих у рынка и на ближайших от сивухинского дома углах, не отвозил ли кто-нибудь из них в позапрошлый понедельник большой, трехпудовый ящик на вокзал, к утреннему поезду в Москву.

На следующий день Сергеев доставил мне фотографию Сивухина и сообщил следующую важную подробность: ему, после трехчасового уговаривания, выпытывания и уверений в защите и покровительстве, удалось выудить, признание от одной из сильно напуганных девиц в следующем. По ее рассказу недели две тому назад в воскресный день, днем явились хозяин с какой-то незнакомой женщиной и девочкой-подростком. Хозяйка нас всех прогнала по комнатам и не велела уходить оттуда. Сама же прошла в хозяйскую комнату, где уже находились приехавшие. Вскоре из нее вышел хозяин, куда-то уехал, а через полчасика вернулся с каким-то господином, хорошо и богато одетым. Господин прошел в хозяйскую, а хозяйка вышла из нее вместе с женщиной и заперла дверь на ключ. Вышедшая женщина сейчас же уехала. Мы, конечно, не смели выходить из комнат, однако все это в щелку приметили.

Эх, вздыхали мы грустно, пропала девчонка! До нас глухо доносились крики и плач, и кипело у нас на душе, да что поделаешь?

Часа через два господин ушел, а хозяева поспешили в комнату.

Что там было — не знаю, однако разговор шел, видимо, серьезный. Целый час доносились до нас и голос девочки, и хозяина, и хозяйки. Хозяева то уговаривали будто, то словно грозились.

Наконец, послышался какой-то стук, грохот, затем страшный крик девочки, и все смолкло. Мы были ни живы, ни мертвы. Затем опять послышались какие-то стуки, но голосов больше не слыхали. Минут через 20 быстро вышел хозяин, спустился в подвал и вскоре вернулся с большим ящиком. Повозившись в комнате с полчаса, они оба выволокли ящик и потащили его вниз, надо думать, опять в подвал. Тут одна наша девушка — Шурка — страсть любопытная, не утерпела и сбегала поглядеть в хозяйскую: комната была пуста, девочка как сквозь землю провалилась. Вернувшийся хозяин позвал нас в гостиную, сердито на нас посмотрел, погрозил кулаком и сказал: «Держите язык за зубами; коли что слышали, так помалкивайте. Ежели которая взболтнет лишнее, не сойтить мне с этого места — кишки выпущу!»

Получив эти данные, я приказал немедленно арестовать Сивухина, Пронину и Знаменскую. В этот же день карточка Сивухина была предъявлена Плошкину с вопросом, кто это. Тот «грациозно» поднес ее к лицу и воскликнул:

— Никак, Петр Иванович? Он! Ей-богу, он! Только немного разжиревши в своей комплекции.

К этим убийственным для обвиняемых показаниям присоединилась еще новая подавляющая улика. К вечеру явился старик-извозчик и показал:

— Действительно, недельки две с лишним тому назад, как раз в понедельник утром я отвозил человека с тяжелым ящиком на вокзал.

— А почему ты так точно запомнил, что дело было в понедельник.

— Да уж это точно, ваше высокородие, в понедельник. Накануне в то воскресенье, в день Пасхи, со мной такая неприятность произошла. Я сам, можно сказать, человек непьющий, разве когда приятели шкалик-другой поднесут, а в тот день, в воскресенье, стало быть, повстречался я с земляками, затащили они меня в трактир, ну пошли там, конечно, разговоры разные про деревню.

Рюмка за рюмкой, сороковка за сороковкой, одним словом, к ночи едва на извозчичий двор добрался. Утром вместо головы котел на плечах. Как мерина запряг и не помню, однако выехал на Московскую к рынку, где уже 4-й год стою. Сел в пролетку, а голова так и трещит. Нет, думаю, пропадай день, поеду домой да высплюсь.

А тут как раз подходит ко мне мужчина, сколько, дескать, возьмешь на вокзал свезть. Полтинничек, говорю, положите? А сам, думаю, выругает он меня, ведь красная цена за такой конец двугривенный. Но ничего. Ладно, говорит, ты обожди меня здесь, а я ужо вернусь с вещами. И действительно, — не прошло и десяти минут, как вижу, мой седок возвращается и на спине тяжелый ящик тащит. Погрузил он его в пролетку, сам сел, и мы тронулись.

Он честь честью расплатился со мной, и я поехал отсыпаться.

— А ты не знаешь, кто он таков?

— Нет, фамилии евонной не знаю, а только живет он недалече, от моей стоянки.

— Почему ты так думаешь?

— Да за ящиком больно быстро слетал. Опять же чуть ли не кажинный день, а то и по нескольку раз на день мимо меня проходит.

— Так что в лицо бы ты его узнал?

— Известное дело, узнал.

Я разложил перед извозчиком 6 фотографических карточек, из которых одна изображала Сивухина. Извозчик тотчас же ткнул на нее пальцем:

— Вот он!

Я приступил к допросу, тайно надеясь выяснить еще одну подробность.

Я начал его с Прониной:

— Что можете сказать вы мне по делу об убийстве Марии Ефимовой?

Она скорчила изумленную физиономию:

— Никогда про такое убийство и не слыхивала.

— И Ефимовой никогда в глаза не видели?

— Никогда не видала!

— Так, может быть, Сивухин все дело обделал?

— Петр Иванович такими делами не занимается.

— Следовательно, вам так-таки ничего и не известно?

— Ничего ровно, господин чиновник.

— Ну что ж, так и запишем, а там суд разберет. Вы — грамотная?

— Маленько умею.

Я, зевая, протянул ей лист бумаги и перо: «Так запишите ваше показание».

— Да что писать-то?

— Ну, хорошо, я вам продиктую. Пишите: «Сим удостоверяю, что по делу об убийстве 14-летней Марии Ефимовой показаний сделать никаких не могу и о самом убийстве слышу впервые». Распишитесь!

Она расписалась и передала мне бумагу.

Я вынул из дела письмо, полученное Плошкиным якобы от сына, и сличил почерк. Сомнений не было — та же рука. «Ну и дрянь же ты сверхъестественная. Оказывается, и письмо-то Плошкину писала ты, а еще так глупо отпираешься. Ну да что с тобой, дурой, разговаривать. Обожди здесь. Я допрошу сейчас же твоего сообщника», — и я приказал привести Сивухина, не считая нужным допрашивать его отдельно, ввиду стольких неопровержимых улик.

Когда он был приведен, я обратился к обоим:

— Вот что, друзья любезные! Вы арестованы за убийство Марии Ефимовой, и вызвал я вас сейчас не для того, чтобы допрашивать, ловить и уличать. Мне известны все подробности дела. Я начальник Московской сыскной полиции, нахожусь в Пензе уже 2 недели и работаю по вашему делу. Мною поднята на ноги вся местная полиция и выписаны свои люди из Москвы. Эти две недели не пропали даром, и, повторяю, преступление ваше мною полностью открыто. Таким образом, каторга вам обоим обеспечена. Не отвертится от ответственности и ваша соучастница — портниха Знаменская. Но вы можете быть приговорены к каторге бессрочной, можете быть осуждены на 20 и на 12 лет. Многое будет зависеть от вашего дальнейшего поведения. Если вы чистосердечно покаетесь, а главное, поможете полиции разыскать того прохвоста, которому вы продали несчастную девочку, то, возможно, что суд и не наложит на вас высшей кары. Конечно, мы и без вас разыщем субъекта, купившего честь покойной, но вы можете ускорить и облегчить эту работу. Итак, я вас слушаю.

Сивухин и Пронина изобразили удивление и чуть ли не в один голос заговорили: «Да что вы, господин начальник? Помилуйте!

Мы такими делами не занимаемся и не то что не убивали или там продавали, а и в глаза никакой Ефимовой не видели».

Я злобно на них взглянул:

«Ну и рвань же вы коричневая, как я погляжу.

Слушайте вы оба: портниха Знаменская во всем созналась; девицы вашего заведения, которым ты, кстати говоря, обещал за болтливость выпустить кишки, рассказали и о приезде Знаменской с девочкой и тобой в Пасхальное воскресенье в ваш вертеп и о том, как ты ездил и вернулся с каким-то субъектом. Последний пробыл часа полтора в вашей хозяйской комнате с Ефимовой, причем оттуда доносились крики и плач, после его отъезда вы оба прошли в эту комнату и долго уговаривали и угрожали вашей жертве, после чего послышались удары, ее крик, и все смолкло; ты сбегал вниз в подвал, приволок ящик, и вы оба протащили его обратно вниз, причем в хозяйской девочки уже не оказалось. Вот твоя карточка (я показал фотографию), по ней тебя узнал и молодой Плошкин, сейчас находящийся в Пензе, и извозчик, которого ты нанимал у рынка в понедельник утром за полтинник на вокзал, и весовщик, взвешивавший твою посылку в Москву старику Плошкину — твоему бывшему хозяину (эту выдуманную улику я приплел для большего веса), наконец, если этого вам мало, то вот сегодняшнее показание твоей сожительницы, а вот письмо к старикам Плошкиным, якобы от сына; не только опытный человек, но и младенец скажет тебе, что оба документа написаны одной рукой, т. е. ею (и я ткнул пальцем на Пронину). Что же, и теперь еще будете запираться?»

Убийцы переглянулись, помялись, вздохнули, и затем Сивухин быстро заговорил: «Нет, господин начальник, что тут запираться, пропало наше дело по всем статьям: и люди выдали, и дура баба подвела (он сердито взглянул на Пронину). Наш грех — нечего скрывать. Расскажу все, как было, а вы, явите милость, похлопочите за нас, если можете».

— Говори!..

— Да что тут говорить, вы и так все знаете. Ну, действительно, в воскресенье повстречал я в Лермонтовском сквере портниху, чтоб ей пусто было! — говорю ей, что вот, дескать, есть у меня человек, тысячу рублей дает — найди, мол, ему красавицу писаную, да такой привередливый, что пятерых уже забраковал. Есть, говорю, у вас ученица — сущая краля, вот бы ее подцепить, так и дело бы сделали. «Это вы, наверно, про Маньку Ефимову говорите?» — отвечает. «Да, про нее». А тут, как на грех, на ловца и зверь бежит: смотрим, а ейная девчонка по аллейке идет. Портниха сейчас же подозвала ее, приласкала, то да се, пятое-десятое, а затем и говорит ей: «Хочу тебе, Маня, удовольствие сделать, поедем сейчас к тете и этому дяде кофейку с гостинцами попить». Девчонка подумала, поколебалась, но, между прочим, отвечает: «Что же, Марья Ивановна, ежели с вами, то, пожалуй». Уселись мы втроем на извозчика и поехали к нам. Дальше все было, господин начальник, как вы сказывали. Одно только скажу — видит Бог, не хотели убивать девчонки. Когда уехал господин, мы с нею (он кивнул на сожительницу), нагруженные разными пряниками, фруктами, с куском шелковой материи и сторублевкой в руках, вошли к Ефимовой в комнату. Сердешная сидела за столом, уронив голову на руки и ревмя ревела. «Эх, Манечка! — весело сказал я ей. — Есть о чем печалиться. Вот поешь лучше конфект разных да погляди, какое платье скроишь себе из этого шелка. К тому же вот тебе и целый капитал — сто рублевиков копейка в копейку...» И куда тут!

Девчонка оказалась с норовом: сгребла конфекты на пол и, разорвав эдакие деньги, швырнула мне их в морду. «Вы, — говорит, — подлые люди, заманили меня сюда, обесчестили, а теперь откупаетесь. Нет, — говорит, — отпустите меня, я все матери расскажу, и вас по головке за то не погладят».

«Ну и дура ты, — говорю, — желаешь срамиться. Расскажешь матери, а мы от всего отопремся, тебе же хуже будет. Годика через два-три захочешь замуж, а никто и не возьмет — порченая, скажут.

Ну, словом, господин начальник, я уж и так, я уж и сяк, и лаской, и угрозой — не помогает: стоит на своем, расскажу да расскажу все как есть. Тут взяла меня злоба, да и страх: эка подлая, а что, ежели и впрямь пожалуется?! Подошел я к ней, схватил крепко за плечо и говорю: «Остатний раз тебя спрашиваю — хочешь дело по-хорошему кончить?» А она как плюнет мне в харю!

Тут я не стерпел, выхватил из кармана нож да как шарахну ее в грудь, ажио косточки захрустели. Крикнула она, повалилась на пол и не шевельнулась, губы побелели, от личика кровь отлила, ну, словом — преставилась! Обтер, не торопясь, я нож об подкладку пинжака, перевел дух, поглядел на Авдотью (он опять кивнул на Пронину). Что же таперича делать будем, — сказал я, — ведь эдакое дело среди бела дня, опять же девицы могли подслушать аль подсмотреть. Авдотья мне говорит: «Завяжем ее в куль, спрячем под кровать, а на ночь глядя отнеси ты ее куда-нибудь в чужой сад или огород». — «Ну и дура, — говорю, — завтра же полиция найдет и обознает девчонку, схватят портниху, она нас выдаст, и не пройдет месяца, как будем мы с тобой шагать по «сибирке». Прочел я, господин начальник, как-то в газетах, что нынче в моде трупы в корзинках рассылать, и подумал: «Самое разлюбезное дело». Действительно — приволок ящик снизу, припас клеенку, веревки и солому, схватил топор, да и разрубил тело на 4 части. Ну, конечно, для неузнаваемости поцарапал ей личико.

Пока я укладывал куски да закупоривал ящик, Авдотья схватила тряпки (платье и бельишко покойной) и, вылив всю воду из умывальника и графина, старательно замыла кровь на полу и спрятала тряпки под кровать. Дальше было все как вы сказывали».

С волнением выслушал я повествования Сивухина — эту странную смесь какой-то жестокости и чуть ли не мягкосердечия, нередко свойственных русским преступникам.

— Кому же ты продал ее? — продолжал я допрос.

— Да Бог его знает — назвался Абрамбековым, говорит, из Тифлиса, а в Пензе будто проездом.

— Ты почем знаешь? Может, он все наврал?

— Не должно этого быть. Когда я за ним ездил в гостиницу «Россия», то он там значился в 3-м номере.

— Почему ты послал труп старику Плошкину?

— Да как вам сказать, ваше высокородие. Тут дня за три до этого я на Московской улице встретил евонного сынка. Он-то меня не видел, а я сразу обознал, да и слыхал уже ранее, что одну из наших богачих за себя берет, стало быть, сватается. Отец же евонный сущая собака, я у него долго в приказчиках служил, а затем он меня выгнал. Вот и подумалось мне: подшучу над стариком, пошлю ему суприз к Светлому праздничку. Сам, конешно, писать письма не стал, а приказал Авдотье.

Отослав их обоих по камерам, я вызвал портниху. Допрос Знаменской мне представлялся более сложным: ведь, в сущности, кроме показаний Сивухина, никаких других улик по делу именно Ефимовой против нее не имелось. Девицы заведения лица ее не разглядели, убитая встретилась с нею в Лермонтовском сквере случайно, таким образом, при отсутствии сознания, показания Сивухина могли бы быть признаны судом присяжных спорными. Я решил огорошить ее совокупностью неожиданностей, сбить с толку и вырвать признание, не дав ей времени трезво взвесить серьезность имеющихся у меня против нее данных.

Вошла она в кабинет не без жеманства и с деланным любопытством спросила:

— Скажите, мосье, за что я арестована?

— За участие в убийстве Марии Ефимовой, мадам.

— Ой, да что вы! Я Манечку любила как родную дочь и до сих пор по ней плачу, — и, вытащив платок, она приложила его к глазам.

— Оттого-то вы продали ее Сивухину?

— Помилуйте! Я такими делами не занимаюсь, да и Сивухина никакого не знаю.

Я резко сказал:

— Мне тут некогда терять с тобой время. Я начальник Московской сыскной полиции и работаю по этому делу две недели.

Мои люди за тобой следили денно и нощно, и мне известен каждый — твой шаг. Ты там у себя на Пешей чихнешь, а мои люди это видят и слышат.

— Ну, уж это извините. У меня в квартире, окромя своих, никого нет.

— Напрасно так думаешь. Вот тебе для примера: видишь эти 4 пуговицы, зеленые с белыми полосками, что нашиты у тебя спереди на блузке? Мне и то известно, что в лавке их не покупала, а приобрела у оборванца заведомо краденый товар за четверть цены.

Портниха опешила но, оправившись, заявила:

— Не знаю, про какого оборванца вы говорите и кто он таков.

Я быстро напялил на голову заранее заготовленную рваную, кепку, уже раз служившую мне, придал лицу обрюзгшее выражение и, посмотрев осоловевшим взглядом на Знаменскую, хрипло произнес:

— Кто я таков — об этом знает Волга-матушка.

Портниха чуть не упала навзничь:

— Ой, да! Что ж это? Матушки мои! Он, ей-богу, он!..

Я снова принял прежний вид:

— Поняла теперь?

Несколько успокоившись, она проговорила:

— Ну, уж извините меня, господин начальник, сознаюсь, действительно соблазнилась тогда, уж больно подходящий товар вы предлагали. В этом виновата — каюсь. Ну, а что насчет Манечки или там вообще какого-нибудь сводничества — это уж извините, я честная женщина.

— В последний раз предупреждаю тебя, что если ты будешь и дальше врать и отпираться, то дело твое дрянь, на снисхождение суда не рассчитывай, помни — мне все известно!

— Я не отпираюсь, сущую правду говорю.

— Николай Александрович, пожалуйте сюда, — позвал я громко.

В кабинет вошел Сергеев и, «любезно» расшаркнувшись перед портнихой, спросил:

— Ну, как наши дела с ангелом?

Трудно передать словами выражение, изобразившееся на лице Знаменской: множество оттенков сменилось на нем, но доминирующим оказалась полная обалделость, тут же разрешившаяся обильными слезами и полным покаянием.

В этот же день были наведены справки в гостинице «Россия» об Абрамбекове. По прописке он оказался тифлисским коммерсантом, армянином, выехавшим из Пензы с неделю назад. Я тотчас же срочно телеграфировал в Тифлис, и арестованный Абрамбеков был вскоре перевезен в Пензу и заключен в местную тюрьму.

Вся эта компания месяца через два предстала перед судом и понесла возмездие: Сивухина и Пронину приговорили по совокупности преступлений к 20-ти годам каторжных работ; Абрамбеков был обвинен в насилии и получил 8 лет каторги; по отношению к Знаменской суд признал наличие лишь сводничества и отверг ее причастность к убийству. Таким образом, она отделалась всего 3-мя годами тюремного заключения.

Через год с лишним пензенский полицеймейстер В. Е. Андреев был переведен на службу в Московскую сыскную полицию по моему ходатайству. Вспомнив про пензенское дело, я как-то спросил его о матери убитой девочки. «Судьба к ней безжалостна, — сказал Андреев. — Она не оправилась от постигшего ее тяжкого удара и принялась пить, благо вино было всегда под рукой. Акцизное ведомство, зная ее трагедию, долго щадило ее, но она перешла всякие границы, и местному управляющему акцизными сборами в конце концов пришлось приказать ее уволить. Тут она быстро покатилась по наклонной плоскости, распродала и пропила все свое скудное имущество и превратилась в оборванную, вечно пьяную нищенку: слоняется по улицам, собирает копейки и тут же их пропивает.

Как помните, по ее настоянию останки дочери были перевезены за казенный счет в Пензу и похоронены на местном кладбище. И представьте себе, как странно — эта женщина, потерявшая облик человеческий, сохранила в душе своей несокрушимую трогательную любовь к погибшей дочери. Чуть ли не ежедневно можно было ее видеть у заветной могилы, проливающей горькие слезы, что не мешало, впрочем, ей иногда тут же и напиваться. А как-то прошлой осенью эта несчастная женщина была найдена распростертой на могиле с перерезанным горлом, причем факт самоубийства был, конечно, установлен. Могила убитой девочки неведомо кем содержится в порядке: всегда обложена свежим дерном, деревянный крест и решетка время от времени кем-то подкрашивается, с ранней весны до поздней осени на могильном холмике виднеются незатейливые букетики ландышей, фиалок, незабудок и васильков.

Любая гимназистка, епархиалка и простолюдинка укажет вам сразу могилу Ефимовой. И крепко держится поверие, что молитва, творимая на этой могиле, особенно угодна Богу. Слывет же эта могила под именем «Маниной могилки».

Роман Борисович

ГУЛЬ

(1896–1986)

КОНЬ РЫЖИЙ

(стр. 185–199)

Печатается по изданию в серии
«Белогвардейский роман»
(Москва, Издательский дом «Вече», 2007)

Я УНЁС РОССИЮ

(стр. 200–209)

Печатается по трёхтомному изданию
«Я унёс Россию. Апология эмиграции»,
вышедшему в издательстве «Б.С.Г.-ПРЕСС»
(Москва, 2001)

АВТОБИОГРАФИЯ

(стр. 210–216)

Печатается по публикации в «Новом журнале»
(Нью-Йорк, 1986, № 164)

«Когда я думаю о своём пути от пензенского именья, от дедовского дома в Керенске до Нью-Йорка, у меня кружится голова», — написал в «Автобиографии» за несколько месяцев до смерти Роман Борисович Гуль (1896–1986). И есть от чего закружиться! Родился в Киеве, детство и юность прошли в Пензе: в доме на улице Московской (ныне на его месте сквер с фонтаном), в Первой мужской гимназии; на даче «Кочка» в Рамзае, в родительском имении Конопать Инсарского уезда, а также в доме деда по материнской линии Вышеславцева в Керенске и его усадьбе Сапеловка того же уезда.

С юридического факультета Московского университета Гуль был мобилизован в 1916 году, после окончания офицерской школы направлен в 140-й запасной пехотный полк в Пензу. Затем Первая мировая, приезды в Пензу с разваливающегося фронта, опять война, теперь уже Гражданская, на стороне белых, ранение, мобилизация, вынужденная эмиграция. Германия (1919–1933), Франция (1933–1950), США (до конца жизни).

Умный, много повидавший, бесконечно преданный России, непримиримо настроенный к власти «псевдонимов», как он называл большевиков, при этом реально осознающий слабости монархизма и белого движения, Гуль занимает видное место в эмигрантской среде. В Америке Роман Борисович стал редактором крупнейшего русского эмигрантского издания «Новый журнал» (1966–1974, 1977–1986), считавшегося лучшим русским неподцензурным журналом.

Писать Роман Борисович начал ещё в Германии. Пенза присутствует во многих его произведениях. В 1932 году вышла в свет книга «Тухачевский. Красный маршал», с ним Гуль учился в пензенской гимназии. В 1952 году в Нью-Йорке опубликован автобиографический роман «Конь рыжий». В конце жизни написана итоговая книга «Я унёс Россию. Апология эмиграции», начальные страницы которой рассказывают о пензенской юности.

По словам писателя, пензенские просторы, мордовские леса с детства и навсегда определяли для него понятие Родины.

* * *

КОНЬ РЫЖИЙ

Невозвратимо. Непоправимо.
Не смоем водой. Огнем не выжжем.
Нас затоптал, — не проехал мимо!
Тяжёлый всадник на коне рыжем.
Зинаида Гиппиус

И вышел другой конь, рыжий; и сидящему
на нём дано взять мир с земли...
Откровение Иоанна Богослова, гл. VI

События, наполнившие мою жизнь, были так разнообразны, я пережил столько увлечений, видел столько разных людей, прошёл через столько общественных положений, что за свою жизнь мог бы пережить столетия. У меня налицо всё, чтобы сделать мой рассказ интересным. Может быть, несмотря на это он интересен не будет, но тогда виноват уже будет не сюжет, а писатель. Даже в жизни самой замечательной не исключена возможность подобного недостатка.
Жан-Жак Руссо

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Вот он маленький, седенький сидит у окна в руках с биноклем и глядит на площадь своего города. Перед ним собор с синими куполами, обнесённый высокой стеной острог с полосатой будкой часового и красный трактир Веденяпина с палисадником в пёстрых цинниях. Дальше, на крутом склоне белостенный монастырь, а там поля, леса, ветер, грустно-темнеющее небо, вся чудесная Россия. Здесь в недрах её дед вырос, работал, жил, здесь и умрёт.

Глядеть на свою керенскую площадь — это всегдашний любимый отдых деда. Всё-то он разглядывает и всё ругает. На вороной кляче в ветхозаветной казанке с Почтовой улицы на площадь выехали помещики, отец и сын Лахтины; они славятся небывалым враньём своих охотничьих рассказов, ничегонеделаньем и богатырской способностью съесть и выпить. Обглоданная кобыла подобием рыси еле движет по площади Лахтиных, одетых в доморощенные поддевки и дворянские картузы. И не отрывая глаз от бинокля, дед с сердитой издёвкой бормочет: «Ах, сукины сыны, вот они, едут российские дворяне, вот уж, поистине, прохиндерцы!»

Под невидимым биноклем своего предводителя керенские дворяне Лахтины скрываются за острогом. Но дед доругивает их до тех пор, пока какой-нибудь иной предмет на площади не займет его вниманья.

По площади уездного города Керенска бродят индюшки, поросята, гуси, пробежит исправников рыжий сетер. На чалом мерине медленно проедет с плещущейся бочкой соседский водовоз. Очень редко на допотопной «гитаре» протарахтит Емельян, единственный керенский извозчик. Тишина. Солнце. Слышно, как зевает на своем крыльце дремлющий за газетой купец Засадилов, как у ветеринара рубят тяпками капусту, как у протопопа бренчит цепью злой волкодав.

Но вот из-за собора вышла керенская щеголиха, купчиха Крикова и вдруг, сведя мохнатые брови, дед добродушно улыбается: «Вот, вырядилась, подумаешь, футы-нуты! Ах, ты скнипа эдакая!», — и долго смеётся дед, провожая в бинокль керенскую модницу.

В тишине Керенска дед — самодержавная власть. Больше тридцати лет — бессменный председатель керенской уездной управы, часто и предводитель дворянства, хоть этого и не любит дед. Проезжающий в облаке пыли мимо дедова дома исправник всегда долго и почтительно отдаёт честь видимому на балконе чесучовому пиджаку деда; все торопящиеся обыватели низко кланяются; а немногочисленные городовые, идя мимо дома, до тех пор держат под козырек, пока кто-нибудь не заметит их и не кивнёт им с балкона.

Но в деде Сергее Петровиче ничего властного нет. Правда, он неистовый ругатель, горячка, крикун, но это по дворянской наследственности. Щуплый, кареглазый, лопатобородый, с очень русским лицом, Сергей Петрович мягкий, а дома с детьми нежный человек; тут по самым пустякам он может расстроиться и даже прослезиться. В его повадке, манерах, говоре много старины и я люблю его, особенно когда, приехав из управы, в кремовом пиджачке, дожидаясь обеда, он берёт бинокль и садится у окна глядеть на свою площадь.

II

Солнечная тишина, дед, балкон, керенская площадь, это и есть моё детство. Иногда через площадь куда-то медленно шли «волчки», небритые, с палками, с мешками за спинами. Все тогда бросались к окнам, на балкон, с любопытством и жалостью глядя на беспаспортников, кто-то выносил им еду, деньги. Иногда по площади шёл чернобородый, в грязнорозовых портках, в рубахе на одной медной пуговице, мужик с волосами по плечи, с острым волчьим взглядом, в мороз и распутицу шлепавший босиком. Все керенцы звали его «проповедник». Голосом пронзительным, с повелительным жестом, он начинал всегда одну и ту же проповедь: «Мир кончается, кончина приближается, Антихрист нарождается, страшный суд надвигается...». И в его короткопалую ладонь подавали семишники, трешники, пятаки перепуганные встречные бабы. А «проповедник» еще кочевряжится, не от всех принимает подаяние, некоторым приказывает покаяться, а порой начинает и анафематствовать до тех пор, пока тот же дед с бал-

кона не прикажет городовым прогнать «проповедника» с площади прочь.

Иногда появлялся и юродивый Юдка, полуголый, заросший волосом, он бесцельно начинал шляться по площади, выкрикивая нечленораздельные звуки. Все Юдку знали. Из калиток божьему человеку выносили кто одежду, кто поесть. Пробродив так день, Юдка куда-то пропадал и если очень долго не показывался, то дед говаривал: «Что-то Юдку давно не видно, не помер ли?».

Гораздо реже нарушал сонность керенской площади дурачок Ваня Приезжев. Трезвый это был тихий и жалкий человек, но когда кто-нибудь нарочно «для смеху» подпаивал дурака, Ваня впадал в буйство, выбегал на площадь, крича, маша кулаками, и никто не понимал, что дураку надо? Кончалось же это тем, что двое городовых хватали здоровенного Ваню, таща через площадь в узилище, а дурак, вырываясь, оглашал Керенск таким животным воем, что обыватели в отчаянье высовывались из окон. И наконец, дед, не выдержав, быстрыми шагами выходил на балкон, сердито крича: «Да, оставьте вы его, дурака! Куда его тащите!». Городовые отпускали Ваню, и вой замирал к всеобщему облегчению.

Тихо жил Керенск. Вокруг города гнулись поля ржи, овса, проса. А когда ветер тянул с реки Чангара, Керенск наполнялся пряным запахом конопли.

III

Только два путешествия нарушали мирную тишину жизни в дедовом доме: поездка в монастырь и в родовое именье Сапеловку. О поездке в Сапеловку говорили задолго, но собраться поехать всё никак не решались: то небо ненадежное, как бы дождя не было, то очень уж марит, быть грозе. Но всё-таки, раз в лето, наконец, собирались.

В монастырь же ездили чаще.

Покрытая синей подушкой линейка стоит у крыльца. Лоснящийся жеребец похрапывает, переминается. Тети, дядя, я, брат рассаживаемся; дядя предупреждает, чтоб не раскрывали зонтиков, а то жеребец испугается, понесет. И линейка трогается из ворот через площадь, через город на крутосклон к лесу, где белеют монастырские стены.

Страдающая одышкой, бледно-одутловатая мать-игуменья Олимпиада, в прошлом малограмотная крестьянка, а теперь «министр-баба», как называет её дед, сердечно встречает нас на монастырском дворе и ведёт в монастырскую гостиницу. Мы идем чугунными, истертыми плитами коридоров, по переходам со слюдяными оконцами в железно-узористых переплётах. И наконец, входим в светлую гостиницу, где пахнет просвирами и яблонным цветом из раскрытых окон.

Низко кланяющиеся, розовые послушницы, неслышно скользя, уж накрывают в саду длинный стол. Несут краснеющий углями самовар, и начинается чаепитие со знаменитым монастырским малиновым, вишневым, крыжовенным вареньем, с липовым медом, с свежими просвирами, с анисовыми яблоками, которые мать-садовница Анна колупает ложечкой в чашку. Меж яблонь мелькают склонённые очертанья послушниц-работниц, поют кругом какие-то невидимые птицы и солнце золотом наполняет многодесятинный душистый сад.

Перед отъездом мать-садовница Анна ведёт меня и брата в келью столетней схимницы получить благословение. В келье могильная тишина, распятие, киот с образами в серебряных окладах, перед ним молится крохотная восковая старушка. В лампадном сумраке меня пугает стоящий у неё вместо постели открытый гроб. Из сада еле долетает пенье птиц, сухонькая схимница с трудом поднялась с колен и благословляет нас, оробевших, полумёртвой сквозной рукой. Идя назад сводчатыми темными коридорами я, стараясь не показать этого матери-садовнице, тороплюсь и в солнечный аромат сада, на ветер, выхожу с облегчением.

Поездка в Сапеловку обсуждалась всегда ещё дольше, потому что двенадцать верст всем казались страшным расстоянием. Чтоб не мучить своих лошадей, брали ямскую тройку. Ехали через Каменку, где забросивший хозяйство жил друг деда помещик Малинин, всю жизнь писавший неведомый философский труд. Дальше — через пленительную Нагорную Лаку, куда в июльский зной сходились толпы молиться чудотворной иконе. Об иконе существовало преданье, будто в давние времена купец, родом из Лаки, стал тонуть в Дону и уж захлебывался, как заметил доску, ухватился за неё и доплыл с ней до берега. На берегу ж увидал на доске стёртый лик Богоматери, и, поняв это как знаменье, вправил его в драгоценную ризу и привёз в родное село. Молиться этой иконе в престольный праздник и сходились из соседних сел.

Когда по косоосвещённой аллее мы подъезжали к Сапеловке, меня всегда охватывало волненье стариной. Сапеловка — старая усадьба мелкопоместных дворян. Илистый, сроду нечищеный пруд, с которого, подойдя, всегда спугнёшь диких уток; фруктовый сад с сочистой знаменитой родительской вишней; уродливые старухи-яблони, накренившиеся до земли под пёстрыми пудами яблок; березовая аллея со стволами, изрезанными порыжелыми инициалами, и на солнечной поляне покосившийся дом с двумя колоннами и тремя подгнившими ступеньками.

Заслышав бубенцы, нас встречает у въезда в усадьбу, снявший шапку, однорукий, чернявый Алексей, на конной молотилке по пьяному делу потерявший руку. От него вкусно пахнет хлебом, навозом, кумачом. Босая солдатка с грудями, уродливо перетянутыми передником, несет нам из людской молока. Мы походим по саду, пособираем яблок, раек, дуль. Дядя Михаил Сергеевич обойдет с Алексеем поля, переговорит обо всем немудрёном хозяйстве, и отдохнувшие лошади, с тем же перезвоном бубенцов, везут нас обратно в Керенск.

Вся Сапеловка — в одну улицу, в тридцать дворов. Линейку уже ждут ребятишки, кричат: «Барыня, дай яблочков!». Им летят яблоки, райки, дули; ребятишки давкой подхватывают их, пока в завившейся пыли линейка не исчезнет. Чтоб не захватить темноты, ямщик трогает всё резвей. И когда въезжаем на керенскую площадь, я уже вижу на балконе беспокойное очертание деда, вглядывающегося в дорогу, и знаю, что как только мы войдём в дом, бабушка взволнованно проговорит: «И что это вы до тёмного довели, мы уж думали, что случилось...».

IV

День, когда я уезжал из Керенска почти навсегда, был теплый, августовский. Как обычно за минуту

до отъезда в зале все сели и тут же, как всегда, первым поднялся дед, перекрестился на образа, и началось прощанье с наказами, объятьями, слезами теток, бабушки, деда; после родных прощанье перешло на прислугу. И наконец, ямская тройка, запряжённая в дедушкин тарантас, подъезжает к крыльцу, громыхая по булыжникам большими колесами. Осаживая лошадей, ямщик дребезжит особенным «тпрррру» и, изогнувшись, откидывает потрескавшийся от солнца, старый кожаный фартук.

Последние слова, слезы, и тройка тронулась из ворот.

Ехать из Керенска до железнодорожной станции Пачелма долго, почтовым трактом пятьдесят семь верст, с двумя перепряжками. Тройка уж звенит среди желтой ржи. Ямщик не то дремлет, не то правит: иногда он вскрикивает на непонятном ямском языке, стегает прыгающие крупы пристяжных; а когда идущие шагом лошади сами остановятся и, напружив задние ноги, вспотевший, носящий боками коренник начинает мочиться, ямщик долго ему подсвистывает; и опять вскрикивает и трогает тройку рысью.

Когда тарантас въезжает в село, под ноги тройке кидаются худые, шерстистые собаки, еще злей скачут лошади, туже пристяжные натягивают вальки и быстрей качаются под шлеями их потные зады с хвостами, подвязанными витушкой. С завалинок у изб медленно поднимаются мужики, низко, в пояс, кланяются тройке; мужики кланяются всякой тройке, потому что тройка это барин, но тут по ездящему этой дорогой сорок лет тарантасу узнают, что едут внучата Сергея Петровича. Выкрикивая непонятное, еле долетающее до уносящегося в пыльных облаках тарантаса, вприпрыжку бегут светлоголовые ребятишки. Но рытвистая сельская гать кончилась, колеса сорвались в пыль полевой дороги, умерли крики, грохот, умерло всё, остался только уносящийся по ржи звон бубенцов, да под дугой, как захлебнулся на всю дорогу, так и качается, бьётся колокольчик.

Саженые еще при Екатерине Великой, дуплистые березы обступили по обочинам многоколейный травянистый большой тракт. Из ржи встаёт, маша крылом, словно хочет улететь из поля злаков, дальняя ветрянка; везде рожь и солнце, это и есть Россия. Встретится едущий шагом, задремавший обратный ямщик; пройдут конвойные с арестантами; протрясётся верховой урядник в стареньком казачьем седле; и опять везде только рожь и солнце.

Тридцатую версту по выбоинам, муча душу, прыгает дедушкин тарантас. А мимо проплывают Козловка с красным под зелёной крышей дворянским гнездом; широкое Шеино с задремавшим на горе среди темного парка, белым ампирным домом с колоннами; татарское Никольское, в нём полусгнившая мечеть; Архангельское с васильковым церковным куполом-луковицей и мелькнувшим куском господского дома Ранцевых. Но наконец, изо ржи всё-таки вырисовывается Черкасское с выстроенным наподобие замка, пёстрокрасным домом барона Штенгеля. Здесь тройка вскачь мчит тарантас по зелёным от травы улицам села, потому что лошади знают, что в Черкасском им перепряжка.

На широкий двор почтовой станции въезжает взмыленная тройка. Почесываясь, покряхтывая, перекрикиваясь к нам идут в засаленных фартуках, в разноцветных рубахах ямщики, распрягать позванивающих, пофыркивающих лошадей.

Я люблю эту пушкинскую почтовую станцию с разнокалиберными телегами, бричками, тарантасами, дрожками, линейками, с множеством запрягаемых, отпрягаемых пар, одиночек, троек. На двор выходит сам Фарафон, степенный старик с курчавой бородой, в лоснящейся поддёвке нараспашку, богатей, издавна гоняющий земскую ямщину. Я знаю всех его ямщиков, чернобородого Семёна, кривого Федьку, старика Клима, но хочется, чтоб запрягли буланых, в легких яблоках, длинногривых степняков Гаврилы. Гаврила кривоногий запьянцовский ямщик с носом луковицей и рыжей бородёнкой; никто, как он, не пронесёт так вплоть до самой Пачелмы.

Задравшего желтый хвост коренника с опоенными ногами ямщики, подхлестывая, вводят в оглобли; пристёгивают пристяжных; и в заплатном кафтанишке, туго подтянутом красным с линялым кушаком, Гаврила с колеса прыгает на козлы. Ямщицким невыразимым движеньем он разбирает вожжи, концы подсунул под зад и с гиком, в котором различимо только последнее «с Богом!», тройка выносит тарантас на мягкую площадь, мча его за село, в даль екатерининской дороги, где в небесном зное плавают ястреба, а линия телеграфных проводов изуродована воробьями, и в полевой тишине их спугивает только приближающийся звон тройки.

Справа от тарантаса мелькают чахлые дубки, березняк, чащоба осинника, это урочище Побитое, оно так зовется потому, что давным-давно на этапном привале перегонявшиеся из Керенска в губернский острог колодники тут убили своих конвоиров.

Гаврила посвистывает. Пристяжные скачут в карьер, только коренник плывет стремительной иноходью. Скоро уж Пачелма. Перетрясая кишки, тарантас впрыгивает на гать и по камням далеко несётся грохот колес, смешанный со звоном бубенцов и колокольцев. Из тарантаса мне уже виден открытый семафор и ушедший вдаль железнодорожный путь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Юность прошла в городе Пензе и в своем именье Инсарского уезда. Кончилась юность смертью отца. Отец умер молодым. Это была первая смерть, которую я увидел.

Я проснулся тогда от шагов матери, шаги были особенно торопящиеся и уже в их необычном звуке я словно почувствовал случившееся. В поспешно раскрывшихся дверях лицо матери было бледное, полное сдерживаемого страданья.

Я помню текшую по спине холодную дрожь, когда я одевался; хотелось бежать в спальню к лежавшему в сердечном припадке отцу и в то же время хотелось одеваться как можно дольше и даже не идти туда вовсе, из-за какого-то сложного клубка чувств, в котором был и страх увидеть его умирающим.

Комната внезапно осветилась никогда ранее незамечаемым светом. Все предметы в ней — умывальник, стулья, стакан, зеркало — стали вдруг не вещами, а словно странными, впервые увиденными существами. Ими наполнялся весь дом; в столовой на накрытом скатертью столе — томпаковый самовар, серебряная сухарница, золоченая сахарница

на шариках-ножках, какие-то вазы, всё стало безобразно и уродливо.

Из спальни послышался испуганно-сдержанный шепот матери, уговаривающей отца не двигаться. Неся в тазу мокрые белые компрессы, оттуда вышла горничная Саша и вдруг, увидев меня, заплакала, заспешила, побежала по коридору.

Сердце леденело и падало, когда я и брат входили к отцу. В бордовом халате, с распахнутым воротом рубахи отец полулежал в большом кресле, крупный, лысоватый; правильное лицо было подёрнуто мертвенной желтизной, лишившей его уже жизни; светло-серые глаза, словно расколотые, отсутствовали из мира; когда-то в детстве, играя на коленях отца, в этих глазах я «смотрел мальчиков».

Прощаясь, он с придыханьем произнес: «Благословляю... берегите мать... будьте честны...». Мать умоляюще зашептала, чтоб он не напрягался; отец слабо улыбнулся, сказав: «Ничего, Ольгунюшка...». Я не знал, что мне делать. Мне хотелось уйти из спальни и было стыдно этого чувства, потому что я отца любил.

В дверь, торопясь, вошли врачи, потирающий с холода руки, насупленный, седой и другой, быстрый, маленький, рыжий. В столовой суетились горничная и няня, Анна Григорьевна: варили кофе, откупоривали шампанское; на столе валялись какие-то лекарства, разбитые ампулы. Но в этой общей торопливости я ощущал, что спасенья нет, что отец умирает, что рушится всё, и завтрашнего дня уже не будет.

Я встал у окна, глядя на двор. На дворе в овчинном полушубке и серых валенках с узорной каймой кучер Никанор прометал дорожки от навалившего за ночь снега; мордва-дроворубы в зипунах и заячьих шапках беззвучно пилили длинной пилой; из кухни вышел повар и по его жестам я понял, что он кричит кучеру что-то смешное, вот он нагнулся, захватил снегу и, припрыгивая, кидается снежками в Никанора. Я гляжу на двор, но — кучер, повар, мордва, двор, снег, — кажутся мне необычайно несуществующими.

Отцу хуже. Красивые и сейчас какие-то развёрстые глаза матери напряжены отчаяньем, она посылает меня в аптеку за кислородными подушками. Я тороплюсь, я рад, что сейчас уеду из дома, где умирает отец, поеду по морозу, буду дышать ветреным воздухом. Но и на улице всё — люди, извозчики, лошади, дома — также сдвинуты с мест и также куда-то отошли. Вот мимо нашего дома идут пешеходы, а мне кажется, что они передвигаются в такой удаленности, что если я им сейчас закричу, то они меня не услышат; пешеходы куда-то идут и уходят от меня...

По усиливающейся тревоге в доме я понимаю, что страшная минута, о которой все боятся говорить, приходит. Вошли старые знакомые с совершенно новыми лицами, кто-то неловко взял из сухарницы печенье. По слезам вышедших друзей-докторов, по тому, как на кухне навзрыд плачет Анна Григорьевна, я чувствую, что приближение этой минуты ускоряется. И вдруг из спальни — полукрик матери и в доме всё страшно остановилось. И тут же всё как бы обрушилось, завертелось; внезапно все заходили, зашумели, заплакали. Во мне, — камень тяжелиной в семнадцать лет моей жизни оторвался и стал куда-то бездонно падать.

Торжественную предсмертную тишину, в которой будто жило чьё-то присутствие, запрещавшее и громко говорить и шумно двигаться, сменила теперь всеобкорбляющая суета. Только остававшаяся в спальной мать не видала изменившегося дома; лицо её было и незнакомо и странно непримиримым отчаяньем, а у лежащего отца лицо было, будто он спал…

В доме же теперь все говорили и ходили шумно. Я не понимал, по чьему распоряжению всё происходит? Но начавшаяся суета разрасталась всё страшнее и кто-то, казалось, ею управляет. Уложив трубки, шприцы, лекарства, уехали доктора. Прислуга понесла на почту телеграммы. Парадные двери раскрылись и, стелясь по ковру, поднимаясь в комнаты, в кабинет отца, к креслам, с мороза повалил круглый холод. В натоптанную снегом переднюю стали вносить живые, дышащие морозом цветы. Пришли знакомые отца по судебному ведомству, незнакомые, в шубах; мелькнули быстрые черные монашки Троицкого монастыря, зашептавшиеся с Анной Григорьевной о священнике, диаконе, хоре, и наконец, шлепая и скрипя калошами, появились здоровенные, запорошенные снегом человеки из бюро похоронных процессий; это: гроб и катафалк.

А назавтра среди нежно зелёных пальм и зеленой мебели, там, где всегда блистал лаковым крылом черный рояль, теперь стоял обитый глазетом гроб. Рваными космами по дому плавал ладан, мешаясь с запахом цветов и морозом. На панихиду с улицы входили любопытные, какие-то мещаночки в косынках, крестясь, перешептывались: «Где жена-то?» — «Да, вон, у гроба». — «Молодая, поди, убивается». И толкаясь, лезли посмотреть на покойника, на гроб, на цветы, на картины, на мебель, на пальмы, на лицо матери. Но вдруг всех раздавил громоподобный бас диакона; сморкаясь, откашливаясь и на ходу пуская октаву погуще, он шёл служить, возглашать. Суета становилась нестерпима. И только когда в запах морозных цветов и в дым ладана влилось откуда-то слетевшее пенье, показалось, что в дом возвращается та прежняя тишина со страдальческим прислушиванием к чему-то пролетевшему и задевшему наш дом темно-большим крылом.

Рыдающе-торжественное пенье разливалось сильней, им излечивалось всё и таинственно связывались порванные концы бытия и смерти.

Заколыхавшись, поднятый гроб, в цветах, уже движется в космах ладана, в пеньи...

На улице с непокрытыми головами, с развевающимися волосами, за катафалком пошли люди, поехали рысаки, извозчики...

На кладбище ветер гудел в безобразно голых сучьях над смерзшимися зимними могилами...

Последняя сотрясающая «Вечная память», гуд мерзлой земли и метнувшаяся над черной ямой, под руки подхваченная мать...

И всё. И мы возвращаемся с кладбища...

А дома на матово-узорчатой, накрахмаленной скатерти уже пришепетывает, горячится, юмористически отражая весь стол, начищенный томпаковый самовар. Рядом изогнулась серебряная сухарница, с разрумянившимися калачами, масленка с желтоватым маслом и веселым мужичком на крышке, вызолоченная сахарница блещет сахаром и хрустальные вазы предлагают вишневое и яблочное варенье. Вещи все уже встали на всегдашние свои места, выполняя все свои обязанности, и предлагая начинать жизнь сызнова. Даже массивное кресло с выгнутой спинкой, в котором умер отец, отошло на обычное место и на него теперь может сесть кто хочет.

Парадные двери уже заперты. Комнаты проветрены, подметены, прибраны, паркет янтарно натерт, но именно войдя в такой дом, моя мать лишилась чувств.

II

Именье отца Конопать раскидывалось по холмам. К усадьбе шла малоезжая дорога, на лесной опушке стоял бревенчатый дом с резными карнизами и коньками и с широченным балконом, с которого виднелось лоскутное одеяло полей, а всем своим тылом дом выходил в шум березового леса.

Летний день в именье шел, как обычно.

Брат крутится возле ломящих рожь лобогреек, две четверки лошадей с шумом волочат красные, машущие крыльями машины.

По двору в телятник проходит суровая старуха, моя чудесная няня Анна Григорьевна Булдакова; за свою жизнь, где она только ни пострaнствовала, ходила апостольским хождением на Соловки, в Оптину пустынь, в Саров, к Троице-Сергию, в Киевскую лавру, обошла все святые русские места и дважды носила свою веру в Иерусалим. Но сейчас она в заботах о телятах, сепараторах, маслобойках. В саду с садовником и подсадчиком меж яблонь ходит в легком платье мать, осматривает, удались ли весенние прививки; перед балконом цветут ее любимые чайные розы и пестротой цветов рябят клумбы и рабатки.

В кузнице равномерно ударяет молот кузнеца нижегородца Павла. На каурой кобыле, нахрячив воз сена до небес, с тихим скрипом везет его к конюшне старик Антон, бродяга и запойный пьяница. С почты на беговых дрожках въезжает в усадьбу Степка, с отторбучившейся от журналов и газет кожаной сумкой.

А в розоватых сумерках, когда малиновой тарелкой солнце закатывается за наш берёзовый лес и небо начинает медлительно гаснуть, на потемневший луг, крыть кобылу, конюха выводят на длинных розвязях звонко ржущего, белого, почти голубого, взвивающегося на дыбы жеребца.

Вечером в людской рябая стряпка Степанида тащит на стол дымящиеся щи. А из нашего дома вырывается «rondo» Моцарта «alla turca», — это, зажегши у пианино свечи, играет мать.

Но деревенская ночь падает быстро и скоро жизнь на усадьбе затихает. Усадьба спит, охраняемая лаем десятка собак; а вдалеке, за черным горизонтом, полыхают еле видимые зарницы.

III

В воскресенье могут приехать гости, соседи: Марья Владимировна Лукина с дочерью или Никита Федорович Сбитнёв. Лукина, по-мужичьи Лукиньша, басистая глухая старуха-помещица с мужским лицом и заметными усами на верхней полной губе. Она родилась, выросла, прожила всю жизнь в соседнем Евлашеве; уже давно хозяйство ползёт из рук старухи, родовое гнездо разваливается, но ничего изменить не хочет нравная барыня, живёт так, как жили деды и пра-деды. Однажды маклаку, приехавшему покупать тёлок, с крыльца так и отрезала низким басом.

— Телок продаю, да тебе дураку не продам, потому что стоишь передо мной в шапке.

— Да что вы, барыня, Богородица что ль, чтоб перед вами без шапки-то стоять? — засмеялся маклак и, отругиваясь, поехал со двора умирающей дворянской усадьбы.

Никита Федорович Сбитнёв, это — другое. Это евлашевский мужик, глава богатой неделёной семьи. В воскресенье он приходит попить чайку. В черном полуперденчике-полуподдевочке, остриженный по-крестьянски в кружала, с пегой рыже-седой бородой, Никита Федорович, на седьмом десятке занимается уж только пчельником, хоть старик еще кряжист. Он захватит обязательно рамку меду и за чаем, пия его до седьмого поту, не внакладку, а вприкуску, рассказывает, какой у него в этом году первый гречишный взяток, как работают его «пчёлки». Часто он начинает вспоминать старину, об окружных помещиках, о том, что уцелело в памяти ещё от рассказов деда. Помню, как одно такое воспоминанье Никита Федорович рассказал с сурово потемневшим лицом: будто его крепостной бабке барин Лукин, дед Марии Владимировны, приказал попробовать выкормить грудями кутят от околевшей любимой лягавой собаки.

— До того, значит, эту свою суку барин любил, — сказал, помрачнев, неловко закашлявшись, Никита Федорович. — Да-с, покорно благодарю, чаёк-то у вас нечто императорское! Не чай, а бархат! — и Никита Федорович перевертывает чашку вверх дном, кладя на нее оставшийся обкусок сахару. — Лукиньша-то вот ещё держится, а многие тут вовсе попропадали от разных своих дворянских фантазиев, — поглаживая иконописной рукой пегую бороду, говорит Никита Федорович, — вот Алехин, Олферьевы, опять же Новохацкие.

И словоохотливый старик вкусно рассказывает, кто и как из помещиков пропадал, как прожигали, прокучивали поместья, кой-у-кого Никита Фёдорович и землю купил. Соседнее Смольково помещик Новохацкий промотал на смольковских же девок. В богатом Лопатине отставной ротмистр Олферьев с привезенной из Парижа француженкой фейерверками и кутежами до тех пор удивлял весь уезд, пока именье не пошло с торгов, а барина не вывезли на единственном оставшемся ему шарабане. На торгах, глядя на распродажу своего добра, Олферьев лежал на диване и, когда торг дошел до бархатной подушки под его головой, её за рубль купил саранский прасол Постнов и, подойдя к Олферьеву, проговорил: «Подушка-то нам без надобности, только вот из-под барина-то её вытащить!». И вытащил её из-под Олферьева. Теперь от олферьевской усадьбы остались только развалины дома в сорок комнат, заросли жасмина, сирени да кусок недорубленного еще липового парка.

К вечеру, порасспросив о газетных новостях, о том, что «слыхать в столицах», Никита Фёдорович уходит домой, опираясь на вишнёвый подожок. А я седлаю белоногую кобылу и еду в глубь притихших ржаных полей по меже, заросшей повиликой, кашкой, медком. Воздух сух с запахом полыни. В ржаном пространстве перекликаются перепела. Вот она передо мной хлебная, полевая Россия и в её тишине мне хорошо оттого, что в поскрипывающем седле я дома, это мое счастье, моя страна, ей я и буду служить. Едучи верхом, я пою отрывки стихов Пушкина, Некрасова, Алексея Толстого; дав кобыле шенкеля, пускаю ее в карьер и слушаю, как дробно ударяются по земле подковы.

И здесь же, в полях, несколько позже, — теперь это очень трудно представить — меня измучивала христи-

анская философия Толстого. Согласно с Толстым я чувствовал, что живу грешно и стыдно, что вся окружающая жизнь с поваром, прислугами, тройками, отдыхающими бездельными родственниками, дурна и во зле. Как русский мальчик, я был душевно бескраен, а напор Толстого был так силен, что помещичья жизнь стала оборачиваться во мне душевным стыдом. На глупого работника, бродягу Антона, на вороватого кучера Андрея я глядел с завистью только потому, что они «живут трудами своих рук». И я помню ночь, когда я, помещичий мальчик, плакал, не зная, что же мне делать и как мне выйти из этой дурной нетрудовой жизни? Ночью я решал бросить именье, ученье, семью и ехать в Ясную Поляну к Толстому, чтобы он указал, как же мне жить? По зеленой юности я думал, что у Толстого это знанье есть.

Трудно мне было вырваться от Толстого, но произошло это как-то помимо моей воли, когда на закате я лежал в березовом лесу и вдруг исключительно остро почувствовал всю непередаваемую прелесть и этого леса, и этого закатного вечера, и, подумав о Толстом, я вдруг понял, куда манит меня этот богатырский старик. От любимых полей, лесов, от верховых лошадей, от ярмарок, песен, плясок, от деревенских прегрешений любви, от музыки, от всей России, мне ощутилось, что Толстой манил меня только к смерти. И тогда, в лесу, я внутренне оттолкнулся от него; слишком сильно я любил эту нашу цветущую землю.

IV

Когда умер дед, я поехал в Керенск на похороны. Суеверный, он боялся разбитого зеркала, трёх огней, тринадцатого обедающего, не позволял при себе говорить о смерти, а умер кротко и примиренно. Когда дед уже задыхался, его, легонького, перенесли к балкону, с которого он всегда глядел в бинокль на свою площадь.

За окнами в голых сучьях лип гудел ветер, несла метель. Возле деда внуки, дети, жена, с которой любовно прожил пятьдесят лет; уездное хозяйство в порядке; круг жизни завершен. Теперь дети и внуки похоронят его в любимом монастыре, и с балкона в обтёртый бинокль им будет видна его могила на монастырском кладбище.

Только на несколько месяцев пережила деда бабушка Марья Петровна; она умерла в июле, когда из раскрытых балконных дверей тянуло уже левкоями и метиолой. Но даже больная, в постели, бабушка по привычке всё еще отдавала распоряжения по хозяйству. Кухарке, пришедшей спросить, отправлять ли в Сапеловку на откорм индюшек, с тяжёлым усильем сказала: «Ох, нет, Марфа, оставь, может, на мои похороны пригодятся...»; и ночью умерла.

А еще через ночь в корейскую почтовую контору пришла весть о неожиданной войне. Перед дедовым домом площадь запружена крестьянскими лошадьми всех мастей и отмастков; телеги отпряжены, меж ними гурьбой ходят парни с гармоньями, отчаянно кричат песни. Это всеобщая мобилизация. Над площадью разрастается звериный, неистовый бабий плач. У балкона морщинистая, будто глиняная, старуха припала к молчаливому парню, причитает: «Ой, Петенька, на кого ж ты меня оставляешь!». А неподалеку, всхлёстывая руками перед ополченцем с запрокинувшимся набекрень картузом голосит остающаяся солдатка, он же ошарашенный водкой, не слушая её, растягивает гармонью, играет. Трактиры облиты мужиками, толпы их то вваливаются, то вываливаются оттуда. Лысый, с выжелтившей бородищей какой-то старик то матерится, то вскрикивает: «Сынок, сынок, ах, ты, Господи...». У парней тилиликают со звоночками ливенки. Жалобные вскрики солдаток, плач детей, вой гармоний, всё стоит душу ломящим гомоном. Даже чуждые горю какие-то старенькие мещаночки всхлипывают у окон, украшенных бальзаминами; в Керенске никто не хочет и не понимает войны.

Но вот вся площадь закопошилась, и плач смертельно удесятерился. Это отругивающиеся от баб мужики стали запрягать лошадей, чтоб везти призывных на чугунку, на Пачелму. И когда длиннопёстрым шествием — сарафаны, рубахи, чёрные пиджаки призывных — тронулись со скрипом подводы, тут уж понёсся всё покрывающий, щемящий бабий визг. И долго еще издали долетал он до опустевшей площади; и только в сумерках Керенск затих, как наплакавшийся ребёнок.

V

У нас в Конопати за год войны сельская тишина стала еще тише, но и тревожней. Белоглазый немец Франц Зонтаг в Косом Враге конными граблями сгребает сено, убирает конюшни, по вечерам с бабами доит коров. Озорная скотница Марья в людской заигрывает с этим вестфальцем-металлистом, но он отмалчивается и, поужинав, садится каждый вечер учить русский язык, всё что-то занося в записную книжку, а по субботам пишет письма матери, описывая русскую деревню, нашу усадьбу, работу, еду; один раз в конце письма приписан: «пишу тебе, а в русском господском доме играют немецкую музыку». Верно. Это был Моцарт.

За этот год из Конопати, Евлашева, Смолькова ушло много рекрутов, ратников, ополченцев. Письма приходят из-под Риги, с Карпат, из Польши, с Черного и Балтийского морей, с границ Турции. Но хоть и далеко ушли русские мужики, а к своей земле как приросли; в письмах всё беспокоятся о хозяйствах, о пахоте, о лошадях, об оставшихся солдатках, о том, как они справляются? Их письма волнуют села, а ответные бабьи волнуют русские окопы.

Пришли тяжелые известья: старшему Сбитнёву оторвало ногу, он лежит в Царском Селе в лазарете, а в евлашевской ночной избе потихоньку плачет его баба. Конопатский Крушинин убит далеко от Конопати, под Танненбергом, на селе даже не знают, где это. Весельчак, балагур мирской пастух Кроткое попал в плен к австрийцам, смольковский Воробьев уплыл с войсками во Францию, а поповская старая стряпка Дарья получила от сына из окопов Галиции письмо, кончавшееся «ны...ды...ты...», и сразу догадавшись, что это «наше дело труба», с какой-то даже странной радостью долго всем об этом рассказывала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Я тогда еще не знал, что человек может быть переделываем жизнью. Мы — студенты, но идя строем к кап-

тенармусу, уже даём ногу, и в мерном ударе общей ноги есть даже какое-то удовольствие.

В цейхгаузе, заваленном штанами, гимнастёрками, сапогами, в беспорядочном набросе которых чудится что-то трупное, мы переодеваемся во всё защитное; все наголо острижены. И, выстроившись в две шеренги, стоим перед рослым, жилистым полковником, украшенным боевыми орденами; на его скуластом лице загар войны, фронта, боев; мужественным голосом он обращается к нам:

— Господа юнкера! До сих пор вы учились в университетах, но сейчас вы мобилизованы и пришли учиться совершенно другой науке. Вы пришли учиться, — говорит полковник, — науке убивать, это трудная наука и вы преуспеете в ней тем лучше, чем скорее забудете то, чему до сих пор учились...

С шумно-приятным ударом общей ноги мы выходим на военный плац, радующий глаз своей ровностью. Отделенный командир, по-осиному в талии перетянутый юнкер, бывший студент-математик, даже в выражении лица которого не осталось ничего математического, учит нас становиться во фронт перед генералом.

Полковник прав. Чтобы ловко маршировать, лихо делать фронт, проворно действовать пулемётом и по движущимся мишеням метко стрелять из винтовки, надо забыть «Пир» Платона и «Пролегомены» Канта; это мешает так же, как и то аристократическое чувство надмирности, которым дарила философия.

Я иду на отделённого командира. Он, как генерал, идёт на меня. Не доходя до него, я отрывисто выношу вперёд левую ногу и со счетом «два» становлюсь во фронт. Он проходит. Я провожаю его напряжённым взглядом вращающейся головы и, отчётливо повернувшись, с левой же ноги продолжаю путь, пока не становлюсь второй, третий, десятый, сотый раз. В общем, это приятно, как всякое упражнение, развивающее ловкость тела.

На глазомерные съемки, учебную стрельбу, на тактические занятия, с песнями во взводной колонне, мы маршируем за Москву. Мы занимаемся этим в лесу, у Канатчиковой дачи, где помещены, привезённые с фронта, сошедшие с ума офицеры. И когда мы с песней уходим с ученья, из-за решётки сада сумасшедшие глядят на нас тихими, скучающими взглядами, явно не понимая, кто мы такие.

А у Даниловской заставы в этот час окна уже начинают светиться тёплыми керосиновыми огнями. К воротам, посмотреть на юнкеров, цепляясь друг за дружку, бегут хорошенькие портнижки, прачки, горняжки. Из строя мы подмигиваем им, нас ведь держат взаперти. Рота, как машина, отбивает по снежной улице шаг. Мы для девочек поем:

Вспоили нас всех и вскормили
России могучей поля...

После ужина всех нас клонит ко сну, ибо за день мы утомлены маршем, гимнастикой, морозным воздухом; мы крепко спим на своих койках, чтобы на рассвете медная труба того же, смешно вздувшего щеки, горниста подняла нас на те же занятия.

В отпуск по Москве, где еще так недавно я передвигался в бесконечности кантовских пространства и времени, я теперь иду, взволнованно ища генерала. Какого угодно, пусть даже отставного, я его озабоченно выискиваю. И вот, наконец, золотом и кровью блеснул артиллерийский генерал. Он делает вид, что не замечает моего бьющегося сердца, но кого-то оттолкнув, я уже становлюсь на снегу Арбата во фронт именно так, как меня учили.

Генерал подтверждающе чуть приподнял белую перчатку и проходит под моим вертящимся взглядом. Но на извозчике приближается второй, бородатый, с девочкой в голубом капоре, и я тороплюсь свернуть в Старо-Конюшенный, скрыться от красных подкладок, золотых и серебряных зигзагов генеральских погон.

В богатом истово-московском доме в Старо-Конюшенном те же знаменитые адвокаты, умные политики в очках с бородами, известные инженеры, певцы, музыканты, актёры с именами. Гостиная полна говором, остротами, смехом. Студентом я засиживался тут до рассвета, а теперь в десять вечера юнкерское тело уже не в силах преодолеть сонности; и, несмотря на веселье и музыку оно засыпает в жёлтом шелковом кресле. Я с трудом слышу спор знаменитого адвоката с социалистом-инженером о проливах. Невпопад улыбаюсь актёру, острящему о футуристах. От сонности я вижу всё словно в уродливо искажающем зеркале, во мне даже вырастает неясное раздражение против седой гривы адвоката, безмускульных рук известного скрипача, брызжущих брильянтами розовых ушей актрисы и всей этой жёлтой гостиной стиля директории. Даже романс, вырывающийся звоном из темноты широко разъятого рта певицы, кажется бессмыслицей и дребеденью. Среди шёлковой и, в сущности, уродливой мебели, с неестественными улыбками и движениями, певица поёт о том, что мы пойдём в лес, нарвём цветов и будем счастливы, как дети. На рябящем рисунке желтоватого ковра я гляжу на свои солдатские сапоги, силюсь не зевнуть и, под раздавшиеся после романса аплодисменты, на цыпочках выхожу в дальний кабинет, где мне постелена кровать.

Наслаждаясь, я сбрасываю «лакеем» сапоги, протяжно зевая, с приятной ломотой в спине медленно скидываю одежду, ложусь на холодноватые простыни и накидываю тёплое одеяло. Сразу же я впадаю в тёмно влекущее бессознанье, но всё-таки еще разбираю, что в гостиной придушённо тенор поёт о том, что он растворил окно, потому что ему стало душно невмочь и он поэтому упал на колени; но тенор умирает. Я сплю, и в сотый раз мне снится тот же юнкерский сон, как наш курсовой офицер поздравляет меня с производством, а мы все двадцатилетние новенькие прапорщики, в золотых погонах, в зелёных бекешах, затянутых новыми ремнями, с новенькими наганами и шашками, толпимся на какой-то бесконечной, снежной равнине и, обнимаясь, прощаемся друг с другом и все куда-то расходимся по снегу с подмёрзшей проламывающейся коркой.

II

Сероватый рассвет. Морозная тишина. В улицах ни души. Деревянные тротуары заснежены. На крышах греются у труб галки. Все ещё спят. А я прапорщик 140 пехотного запасного полка иду в полк на занятия и слушаю, как круто скрипят мои подмётки по обледенелым тротуарным половицам.

Идти мне далеко, за Пензу, где в поле в бараках расквартирован полк. На ходу я думаю о том, о сём, высчитываю очередь, когда поеду с маршевой ротой на фронт, вспоминаю, как играл Станиславский Верши-

нина в «Трех сестрах», как чудесно барабанил Маше «трам-там-там», а за сценой под сурдинку слышался марш. На Сенной площади мелькают рассветные очертания съезжающихся базарных мужиков в раскатывающихся розвальнях. Мужики в полушубках, чапанах, в галицах, в меховых собачьих шапках кажутся таинственными, неподвижными тумбами; лиц не видно, торчат только заиндевевшие куски аршинных бород.

Идя по наезженному снегу Сенной Площади, я ощущаю трогательность того чеховского спектакля, вспоминаю и себя, студента, где-то высоко у галерки. Площадь остаётся позади. Я припоминаю, как три года тому назад приехал в Москву в университет и с Рязанского вокзала, в обнимку с чемоданом, ехал на извозчике, всё чему-то улыбаясь, и никак не мог подавить эту от счастья выходившую на губы улыбку, хоть и стеснялся, что её заметят прохожие. В университете, в светлооконных коридорах — гудящая толчея зелёных, черных курток, сюртуков, пиджаков, русских рубах, великороссы, украинцы, сибиряки, грузины, евреи, армяне. Вся Россия. И это ощущение с шестой части земли столкнувшейся молодежи — прекрасно.

У Старого вокзала я перехожу оснеженные рельсы, всё еще полный воспоминаниями моей Москвы. Я словно даже чувствую тишину университетского читального зала; ощущаю и нашу гаудеамусовскую жизнь на Малой Бронной с попойками в ночной чайной «Калоше», с вечеринками землячества; воскрешаю в себе то чувство беззаботной приподнятости от всей этой студенческой свободы жизни, которая кажется теперь потонувшей.

Закутанный башлыком унтер-офицер ведёт мне навстречу взвод мерно мнущих снег солдат и хрипловато командует; «Смирно!..». Отдавая честь, я говорю: «Вольно...». Передо мной снеговая равнина, на ней ряды бараков, в них — полк; за годы войны Пензу затопил шестидесятитысячный гарнизон, и былой моей Пензы тоже давно нет. Я отворяю дверь барака, под ноги мне вырывается пар, крутясь низкими клубами; взводный истошно подает команду.

Шумя негнущимися подметками солдаты строятся. Это всё пожилые ратники. Я вывожу их в снежное поле и там начинаю учить стрельбе по движущимся мишеням, рассыпаю в цепь, гоняю перебежками, заставляю окапываться, залегать, готовлю к фронту так, как приготовлен и я. А в перерывах, когда солдаты вольно толпятся, курят и, согреваясь, наотмашь машут крестнакрест руками, я толкую с ними о войне и знаю, вижу, что этим бородачам-мужикам военная служба тяжка, что думают они не о ней, а о своих деревнях, хозяйствах, о бабах. Но этого я стараюсь как бы не замечать. Когда же во взводной колонне мы уходим с ученья, и я приказываю песню, и песенники запевают унылотревожную «Вы послушайте стрелочки», не останавливая ее, я совершаю, в сущности, служебный проступок, ибо песня эта запрещена приказом командующего округом, как не возбуждающая воинских чувств.

Но в поле, в жёлтых снегах я один только и иду с ротой и я молчаливо разрешаю песню потому, что она единственная, которую солдаты любят петь. А любят потому, что выливают в ней свои подлинные чувства. Я же её люблю оттого, что слушая подхватывающие, дробные крестьянские голоса заражаюсь их заунывным вдохновением.

Вы послушайте, стрелочки,
Я вам песенку спою.
Про службицу, про свою.
Три мы года прослужили,
Ни о чем мы не тужили,
Стал четвертый наступать,
Стали думать и гадать.
Стали думать и гадать
Как бы дома побывать.
Как бы дома побывать,
Отца, матерь повидать.
Отца, матерь повидать,
С молодой женой поспать...

За обедом в офицерском собрании все мы, молоденькие офицеры, всегда говорим об одном: когда и чья уходит на фронт маршевая рота? Конечно, мы читаем газеты, следим за Государственной Думой, волновались речью Милюкова о «глупости или измене», статьей Маклакова о «сумасшедшем шофере», толковали об угрожающих правительству речах Керенского и Родичева; правительство «петербургских старичков» у нас непопулярно, но всё же всех нас это уже мало касается; мы почти уже в окопах, наши чувства только военные, мы видим только войну; и всё думаем, что Бог даст, вопреки всему Россия дойдет и до победы. Отъезжающий на позиции прапорщик играет на рояле и поёт:

У меня блестят погоны,
У тебя дрожит рука.
Эти пыльные вагоны
Ждут последнего звонка...

III

И в этот вечер из полка я шёл, как всегда, усталый, закутанный в обмерзавший от дыханья башлык. Пенза вся в синей темноте; от мороза быстро бегут редкие очертания пешеходов; от режущего ветра ломит переносицу. Зато дома, в жарко натопленных комнатах я рад отдыху. Освещённая сквозь желтый абажур, у тёмно-красного стола в гостиной, сидит за вышиваньем мать, в её пальцах игла делает цветные стежки на суровом, смятом её рукой полотне. Я снял холодноватые сапоги, в туфлях, позёвывая, шелещу длиннейшей широченной газетой «Русское Слово».

Вдруг в передней позвонили. Разношенными валенками няня Анна Григорьевна прошуршала к парадной двери. И вдруг чьи-то чересчур быстрые шаги, и еще путаясь в рукавах скидываемой шинели, приятель, прапорщик Арзубьев из передней закричал: «Потрясающее известие! В Петербурге переворот! Самая настоящая революция!».

На полных щеках, в круглых тёмных глазах Арзубьева сияющая радость. Может быть потому, что тяготили неудачи на фронте, затянувшаяся война, немощность правительства, распутинские скандалы, но нет, нет, вовсе не поэтому, а почему-то совсем другому и я вдруг ощутил ту же странно обжегшую меня радость. Эту радость я увидел и в матери и даже в спервоначалу обомлевшей няньке Анне Григорьевне.

Явно ощущая приятность, что он первый в городе узнал такую историческую новость, Арзубьев, хоть и торопясь, но со вкусом рассказал, что его отец, инженер Рязано-Уральской железной дороги, только сию минуту получил телеграмму за подписью члена Государственной Думы Бубликова, что правительство

свергнуто и власть уже в руках членов комитета Государственной Думы.

— Теперь скорая победа и конец войне! — сиял Арзубьев.

— Надо Ладыгиным сказать, — и Анна Григорьевна зашелестела валенками к двери.

Вскоре, торопясь, вошёл плоскогрудый, желтолицый присяжный поверенный Ладыгин с круглощекой женой и застенчиво улыбающейся дочерью-курсисткой. С ними, извиняясь и шурша длинной юбкой, пришла даже их гостья, спесивая дама с прищуренными прохладными глазами. Арзубьев еще раз рассказал о телеграмме Бубликова, и я видел, как все обрадованно заволновались. Даже незнакомая спесивая дама, оказавшаяся вдовой полицмейстера, проговорила:

— И я скажу поделом! Всеми этими скандалами нельзя губить страну! Уж если Пуришкевич назвал наше правительство забывшим родину, то и поделом!

IV

А на рассвете я бежал в полк. Я, конечно, за республику, за Думу, за Милюкова-Гучкова и за победу, которая теперь приблизилась! Перерезая Базарную площадь с редкими, на морозе жавшимися, жалкими прохожими, пробегая мимо мёртвых домов и унылых улиц, мимо рыбных рядов, где сусеки полны торчащей мороженой рыбой, я чувствовал захватывающее душу возбуждение и всё вокруг, казалось мне, перерождается.

Но в полку никто ещё ничего не знает. В бараках тихий гул солдатских голосов; в поле на занятия их не вывели и солдаты чувствуют, что, кажется, произошло для них что-то важное. Но что? Не знают. Они переговариваются, перешёптываются, но как только подходят офицеры, хмуро расходятся.

В бильярдной офицерского собрания толпятся офицеры. Капитан Васильченко с отчаянным лицом, молча, ходит из угла в угол. Молодые возбуждены, как и я. Большинство же мнётся, покашливает, словно поперхнулись. Говорят, что командир полка заперся в кабинете, в ожидании телеграфного ответа командующего округом на запрос: что делать? Но телеграф бездействует.

В роте я вызываю взводного Каркунова, мелкого бакалейщика до войны. По его смеющимся глазкам я вижу, что он уже знает и ему нравится. Я беспокоюсь: а вдруг солдаты пойдут усмирять город, усмирять революцию, если будет отдан приказ? Каркунов пугливо глянул на дверь, заперта ли? «А кто ж их знает, ваше благородие, народ тёмный, слухают, а что к чему не понимают». Но после раздумья дружеским шепотком бросает: «Да нет, навряд ли выйдут, война надоела, домой хотят, вот что».

Меж бараками по снегу пробегают серые шинели, нагоняют друг друга, толпятся, о чем-то говорят, узнать бы о чем? Везде полуголоса, шёпоты, все чего-то напряженно ждут. И вдруг в роту вбегает побледневший прапорщик Крылов: потрясающее известие: царь отрекся! Он рассказывает, что командир полка в кабинете упал в обморок. В собрании офицеры смяты. А в бараке я не могу даже узнать своих солдат. Со стены сорвали портрет царя, в клочья топчат его сапогами, будто никаких царей никогда в России и не бывало. Солдаты ругаются, приплясывают, поют, словно накатило на них весёлое сумасшествие, словно начинается всеобщее счастливое землетрясение. Еще вчера они даже не знали это трудное для мужицких губ слово, а сейчас кричат: «Ура, революция!!!». Ия, двадцатилетний республиканец, чувствую, как спадает моя радость, убитая совсем другой радостью солдат. Из офицеров я в бараке один, кругом меня хаос криков. «Урррраааа!!!». «Да здрааавствуеееет!!!». И крики эти будто вылетают не из глоток, а из каких-то таких опьяняющих глубин, что того и гляди эта обезумевшая радость перехлестнёт берега и всё затопит. Это радость какой-то всеобщей распутицы, в которой тонут люди, лошади, телеги, и хоть все, может быть, и утонут, но сегодня всем почему-то очень радостно. У солдат сразу всё стало иным; изменились лица, жесты, движения, голоса. Это другие люди. И это зрелище и захватывающе и страшно. Это, вероятно, то мгновение, которое называет революции великими. Может быть, оно одно и есть революция, а назавтра его уже не будет? Но сегодня всё закачалось, затанцевало. Так почему же с чувством тревоги ощущаю я взрыв этих сил? Он мне чужд. Я ему даже супротивен, ибо я не хочу этой всеопрокидывающей, всеразрушающей, всему угрожающей стихии.

— Долой отделённых! — хохочет на нарах танцующий мордвин; он подбрасывает к потолку сапог с взвивающейся из него ржавой портянкой; мордвин уверен, что теперь он свободен от власти отделённого, которого вчера еще боялся.

— Войну долой! — пронзительно летят простуженные басы и тенора из соседнего барака. Мужики нюхом учуяли, что теперь без начальства война повалится под откос и они уже ближе к своей земле, к избам, к бабам и их общая радость так могуча, что ей не удержаться в бараках. Гогочущей, мускулистой толпой полк вываливается на жёлтый снег, меж бараками колышется океан шинелей. Приветствуя революцию, революционные войска маршем хотят пройти по городу.

V

На Московской улице красные банты, красные знамена, полотнища кумача; и откуда достали столько кровавой материи? Пензяки, без различия состояний, все улыбаются, как на Пасху. На извозчиках, потрясая разбитыми кандалами, в халатах, в войлочных шапочках, в казённых котах едут освобожденные из острога уголовники. С извозчиков они что-то кричат о свободе, о народе. Толпа криками приветствует их. Даже извозчики везут их даром; в России теперь всё будет даром! «Отречёмся от старого мира!». Тюрьмы уже взломаны, стражники бежали. В свободной стране не может быть тюрем. Теперь свобода всем, совершенная свобода! Жизнь народа началась только сегодня, а всё, что было вчера, выброшено из народной памяти. Только с сегодня, с этого мгновения, как бы сызнова пошла история России всеми своими полыми водами. Это ледоход, ледолом. И чтобы это чувствовать, видеть, ощущать, стоит жить.

Освобождённый народ не нуждается в полиции и полиции нет, она бежала от народного землетрясения. Везде песни, приветствия, давка опьяненной толпы, обладательницы ничем теперь неограниченной свободы. Губернатор Евреинов арестован, но беззлобно, просто выброшен, как ненужный предмет. По указу революционного Временного Правительства

власть перешла к председателю губернской управы князю Кугушеву, хорошему знакомому и постоянному партнёру губернатора в винт.

Невыдающийся, безобидный князь, ставший, против воли, революционной властью, от имени революции обязан принять парад народа и войска на Соборной Площади, где в склепе хранится гробница особочтимого у пензяков архиерея Иннокентия. В каракулевой шапке, в пальто на кенгуровом меху князь стоит на увитой кумачом трибуне, рядом с усатым адвокатом, своим помощником. Обоих окружают мешковатые, милые члены управы и гласные думы. Но с трибуны будут говорить теперь не они, их оттеснили, на кровавый кумач лезут совсем новые, из подполья вымахнувшие ораторы.

Тощий юноша с лиловым, несвежим лицом, пропагатор Шадрин произносит перед толпой невообразимую речь; его не интересует Пенза, отцы города, он незанят даже Россией. Махая над толпой голодными кулачками, он кричит о человечестве, о том, что через все окопы, через все проволочные заграждения, через границы всех государств, эта свобода русской революции полетит ко всем, ко всем, ко всем! Толпа гудит, рукоплещет трогательной всечеловеческой речи Шадрина, полощет в февральском воздухе кровавыми полотнищами. Толпа хочет того же, чего и он, вот такого же весёлого и обязательного всеобщего и радостного мирового танца.

Но революционные крики обращаются всё-таки и к комиссару Временного Правительства, к перепуганному князю Кугушеву. Толпа не видит его испуганного лица. Неподалеку от Кугушева, у трибуны стоит седоусый бригадный генерал Бем, начальник гарнизона, в петлице его касторовой шинели тоже есть, хоть и небольшой, красный бант. С окраин в центр идут шестьдесят тысяч войска, это сверхчеловеческий парад, сотрясающий воздух над Пензой; такого парада генерал никогда ещё не принимал; блесткий снег весь изранен солдатскими сапогами.

Я иду впереди роты, слышу сзади: «Нет теперь командеров! Идем, как хотим!». Солдаты пьяны и свободой и водкой, всё течет самотеком, под давлением нечеловеческих сил. Перед полком на коне едет наш седенький командир. На груди, рядом с орденом св. Владимира, у полковника приколот красный бант и на побледневшем лице старика вся необычайность его ощущений. Сквозь марш долетают пьяные крики солдат. Оркестр играет Старо-Егерский марш. Конь полковника танцует, выбрасывая серый хвост; это спокойный конь, но по службе он знает, что под марш надо всегда чуть-чуть играть и шалить.

Перед нашей ротой идет вёрткий ефрейтор с портретом великого князя Николая Николаевича. В бараке, только что вырвавшись из карцера и поэтому опоздав к самому началу революции, ефрейтор долго не знал, что б ему сделать; он папахой сбил икону, ударил ее ногой, отшвырнув под нары, орал о «Гришке и Сашке», топтал обрывки уже растоптанного портрета царя, но вдруг увидав великого князя, подпрыгнул, сорвал портрет и теперь, заломив вязанковую папаху, идет с этим портретом перед ротой. Ефрейтор обязательно желает театральности, он крепко заложил за воротник, он покачивается, месит снег пьяными ногами и с кому-то угрожающим лицом, то и дело, сипло вскрикивает: «Дддда зддддрррравствует Рррradзянка!».

Трубачи устали. На морозе пристывают к трубам губы. Как только обрывается марш, сразу же шелестят по снегу тысячи солдатских сапог. Отдохнув, трубачи ударили снова, раздувают щёки маршем «Москва». Под эту плавкую русскую мелодию, по этому снегу с алеющими кровью бантами, ноги сами подламываются, сами идут; солдаты подтягивают: «Масква, Масква златые главы!» и шелестят их сапоги.

— Братцы, долой войну! — кричат высыпавшие из мастерских, замасленные железнодорожные рабочие.

— Долой! — ревут ответно солдаты.

Под бледным полковником боченится от этих криков конь. На Московской мы столкнулись с желтыми бескозырками драгунского полка, едущего под полувальс, под полумарш. И пока стоим, пропуская конницу, в строй вбегают пьяные от счастья интеллигенты в пальто с каракулевыми воротниками, жмут солдатам и офицерам руки, кричат: «Да здравствует армия! Да здравствуют офицеры!»; рёвом «ура» солдаты отвечают и им.

Под это немолчно стонущее «ура» мы подходим к Соборной Площади. Головная колонна с командиром на коне поравнялась уже с трибуной комиссара Временного Правительства. Изредка князь Кугушев помахивает каракулевой шапкой в знак приветствия. С странно сведённым лицом стоит и генерал Бем, держа под козырек. Его белую перчатку я вижу на кровавых полотнищах кумача. А вокруг взлетают папахи, гремят марши, туши. Вместо губернатора с балкона губернаторского дома взвизгивают его несколько горничных: «Урра, да здравствует революция!».

Но вдруг всё прорезали сиплые выкрики: «Бема бьют!». И все кинулись к трибуне комиссара, а с тротуара, ничего не поняв, дамы машут сумочками, платками, кричат: «Ура!». Я и прапорщик Быстров сдерживаем наших солдат. Я кричу: «В строй!»; я остервенел, я лезу на солдат, я знаю, что если сейчас мы их не сдержим, они, может быть, разнесут всё.

— Музыка, музыка! — странно кричит командир полка. Это он хочет хоть музыкой увести бесстройную разламывающуюся полковую колонну. Гулко бухнул большой барабан, но с разных сторон мешаются с музыкой те же хриплые крики: «бьют, бьют!».

В воротах какого-то дома мы, пять прапорщиков, не впускаем наседающую на нас толпу. Сзади на снегу валяется голый, пятнистый от кровоподтёков, растоптанный солдатскими сапогами труп полного человека и в этом трупе, странно раскинувшем руки и ноги, есть что-то совершенно несообразное с только что виденным командиром бригады и начальником гарнизона.

— Товарищи! Где же свобода?! Товариииииищщщиии! Это же позор революции! — надрывается ломкий, умоляющий юношеский голос прапорщика Быстрова. Я упёрся кулаком в грудь лезущему на меня солдату, его глаза бессмысленно остекленели, ряд желтых, словно собачьих, зубов ощерился, изо рта тянет самогоном. «Да, что ты осатанел, черт!», — кричу я. А солдат только разгорячённей дышит, прёт, давит, он только и видит что валяющийся сзади меня окровавленный труп. С площади долетает марш, это командир всё ещё хочет увести солдат музыкой.

И вдруг из-под солдата на меня вывернулся розовенький гимназистик с голубыми кантами эвакуированной из Польши гимназии; ему жарко от давки, но даже среди одичалых солдатских лиц, это хорошенькое лицо ошеломляет меня своей искаженностью.

Мальчик бьет локтями, протискивается. «Пустите!» — с визгом кричит кудрявенький, хорошенький буржуазный херувимчик.

Упав, я еле выпростался из-под сбивших меня тел; они прорвались; я только вижу их бегущие к трупу подметки с налипшим на них снегом и меж серых шинелей маленькую, черненькую, гимназическую, опережающую всех. Возле трупа, размахивая, как мясом, вырванным куском красной генеральской подкладки, хохочет бородатый солдат; «Вот она увольнительная записка-то!». И теребя полуоторванную руку трупа, двое солдат перочинными ножами срезают с генеральского пальца затекшее обручальное кольцо.

А революционные шествия мимо князя Кугушева всё идут, там всё кричат, «ура» и играет музыка. И только в сумерках солдаты и народ расходятся с площади кто куда хочет.

В темноте Пензы вздрогнули фонари и погасли. В этих завываниях ветра их некому зажечь. Горожане запираются на замки, засовы, крючки, боятся грабежей. Но это совершенно напрасно, восставший народ благодушен. В снежной тьме всё тонет в песнях, в лузганьи семечек. На базаре кабатчики попытались запереть трактиры, потому что солдаты не хотят платить за водку, но солдаты не дали запереть, хватит, поплатили и задарма пьют за здоровье Революции Ивановны.

Этим-то и хороша февральская свобода, что она полная свобода! В ней осуществлена совершеннейшая свобода человека!

Посередь снежной улицы, в темноте, мимо нашего дома идут солдатские толпы; сквозь нежно-лапчатую ткань морозного окна видно, как, качаясь, идут в обнимку, в шинелях нараспашку и всё поют в разнобой, со жгучим удовольствием. А у нас в комнате, указывая на них, присяжный поверенный Ладыгин, в молодости за дело народа знававший каземат Шлиссельбурга, говорит с отвращением:

— Теперь мы все в их руках, — и помолчав, добавляет с какой-то трещиной боли в голосе, — ухнула Россия... там, — указывает он куда-то, вероятно, на Петербург, — всё упустили... а теперь уж не подхватишь... всё пропало...

VI

В неурочное время в сторожком мраке пустой Никольской церкви, у иконы Богородицы, в высоких, серебряных, закапанных воском подсвечниках горят жёлтые свечи. В церкви нас двое: мать и я. Дряхлый отец Никодим в зеленоватой епитрахили служит напутственный молебен; в церкви пахнет и ладаном и какой-то милой затхлостью. Я уезжаю с маршевым батальоном на юго-западный фронт, где началось наступление русской армии.

В чём-то легком, чёрно-кружевном, на коленях перед сурово темнеющей Богородицей молится мать; в её моляще поднятых на икону карих, сияющих глазах дрожат слезы, губы, осиливая рыдания, шепчут; крепко вжимая крестное знаменье в лоб, в плечи, мать невольно смежает веки и вдруг, не в силах сдержаться, рыдает. От старческого голоса отца Никодима, читающего Евангелие, от музыкально-меркнущей темноты, мать плачет всё безудержней. И после молебна мне с трудом удается настоять, чтобы она не ехала провожать меня ещё и на вокзал.

Маршевый батальон выстроен на площади с оркестром музыки впереди. Я член полкового комитета, говорю солдатам краткую речь о начатом наступлении. Я говорю искренно, но мне мешает говорить то, что я всё-таки понимаю, что «разумная дисциплина» и «свободная армия» это нечто вроде балета хромых и оперы немых. Солдаты стоят недовольные, изредка, как бы из вежливости, откашливаются. Маршевые роты не доходят до фронта, с дороги разбегаются по домам, до того не хочется им войны, до того не терпится им дорваться теперь уж не только до своей, но и до чужой, помещичьей земли.

После отслуженного на ветру молебна архиерей Владимир, блеща черными лаковыми глазами, дает нам всем приложиться к прохладе золотого креста и приятно кропит обнажённые головы мокрой метёлкой.

Команда: «Становись!». И вот оно первое движение к окопам: погрузка в вагоны. Ах, как хорошо идти под музыку этого лёгкого веселого марша, под неё бы и умереть пустяки. У вокзала раздаётся отчетливый шум снятых к ноге винтовок и солдаты давкой врываются на перрон. Возле длинного красного эшелона стоят матери, отцы, сестры, дети. Матери всё пытаются ещё хоть раз обнять сыновей. А в теплушках с взвизгами затереренькала гармонья: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает!».

У головы поезда горнист играет сигнал к посадке. От этих тревожных звуков даже крепившиеся женщины заплакали. А в вагоне всё разухабистей, всё хулиганистей наяривает ливенка. В ответ горнисту свистит паровоз. И эшелон медленно и плавно поплыл от пензенского вокзала. Крича что-то безумное, вырываясь из рук дочерей, мать прапорщика Быстрова, протянув к нему руки, бежит за поездом.

А поезд дымит, ускоряет ход, поезду её не жалко. Она упала, её поднимают какие-то тёмные люди. В поезде с звоночками перебирает гармонья; солдаты поют: «вышли мы все из народа, дети семьи трудовой». У окна вагона Быстров стоит с затуманенными глазами. На верхней полке весельчак прапорщик Кирилл Ивановский, задрав вверх ошпоренную ногу, напевает: «Завтра может в эту пору нас на ружьях понесут...». А внизу между лавок, сидя на фибровом чемодане, похохатывает банкомет поручик Нижегородцев, тасуя карты, уже начиная «железку».

Река Сура, красный мост, мужской монастырь, холмистая зелень часовни Живоносная Источница (откуда, по преданию, при осаде Пензы кумыками, из городских ворот вынесся Светлый Всадник, обративший в бегство кумыкского Аюку-хана), театр, белый собор, всё мелькнуло и моя Пенза уходит на повороте: только с железнодорожной насыпи метнулась худая стреноженная лошадь и уродливо запрыгала по лугу, трепыхая гривой. Паровоз протяжно свистит.

«Прощай, моя Пенза, прощай всё, что я в тебе так любил!».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

X

Я еду в Пензу.

Солдат, мой сосед, с пожелтевшим больным лицом, тронутым оспой, спит, тяжело навалившись на меня,

от него пахнет самогоном. Вагоны мучительно качаются, дергаются; паровик свистит куда-то в снеговые пространства, словно зовя на помощь. Так весь день прорывается он сквозь стылые бело-полотняные снега, туда, вглубь России. А когда падает темнота, в устало мотающихся вагонах люди тяжело засыпают. И в ночной темноте поезд идет черный, невидимый, кроме озаренных паровозной топкой кочегара и машиниста.

Лежа в углу верхних нар, я не могу заснуть, думаю о том, о сем, почему-то вспоминаю довоенную Пензу, как после обеда в четыре часа ежедневно гуляли пензяки по левой стороне Московской улицы. Гуляли именно по левой, а не по правой, в этом была какая-то тайна движения гуляющих пензяков. Здесь обязательно промоционивается засидевшийся губернатор, бритый балтийский немец фон-Лилиенфельдт-Тоаль, идет с палкой, на ходу развевая красную подкладку шинели. Тепло одетый, с квадратной бородой, в пенсне, гуляет безобидный председатель управы князь Кугушев. Степенно и отдыхающе движутся дамы в каракулевых шубах, опираясь на руку мужей. Тротуар затоплен зелеными, коричневыми, синими форменными юбками гимназисток; с папками «Musique» топочат по снегу опушенными ботиками, спешат в музыкальную школу. Похулиганивают гимназисты, реалисты. Гимназисток нагоняют офицеры-драгуны в ослепительных канареечных фуражках, в длинных до пят шинелях с разрезами до талии, идут с бормотаньем шпор, с громом сабель по обледенелому тротуару. Им невольно дают дорогу скромные зеленые канты землемеров, садоводов и техников; за обилие учебных заведений шутники называли Пензу «мордовскими Афинами».

С криками «Ай, берегись!», гулко ударяясь передками саней о глубокие ухабы, по порыжелому иссеченному подковами снегу несутся лихачи.

И шурша и колыхаясь на рессорах, с мягким грохотом катится черный лаковый куб кареты, влекомый парой разъевшихся рысаков в дышлах. Это пензенский архиерей Владимир, смоляной, огненноокий красавец, в миру гвардии поручик Путята.

У каждого квартала, на бирже, хлопая галицами и наотмашь маша рукавами, разогреваются извозчики, кричат: «Подвезу, барин!». Над Пензой рассыпается мутное розовое солнце.

Из домовых труб тянутся голубые дымы.

На морозе раскраснелись пензяки, отдыхают, гуляют.

У реки на разметенном темнозеленом студне катка чертят лед, вальсируют конькобежцы. Далеко по льду несется вальс «На сопках Манчжурии» оркестра пехотного Венденского полка.

И на гулянье в Пензе жизнь кажется тихим, спокойным подъемом на какую-то снежную гору, у которой даже нет и вершины, и все поднимаются на нее, не спеша, оттого, что солнца и всяческого изобилия на всех хватит. Но, оказывается, все было призрачно в той морозной, радостной Пензе — все, кроме синего снега и розового солнца, думаю я, лежа на верхних нарах теплушки.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Глубокой ночью уставший поезд со скрежетом толкнулся и встал у пензенского вокзала. Я выпрыгнул из своей краснобурой теплушки: несет несусветная пурга. Плохоосвещенный вокзальный зал завален вповалку спящими солдатами. Солдаты с вещевыми мешками, узлами, окованными сундучками, спят в ожидании поездов. Стойка у буфета сворочена, бестекляные окна заткнуты тряпками, большие искусственные пальмы, бывшие когда-то украшением зала, с переломленными листьями валяются кучей в шелухе семечек.

А вокруг вокзала — темнота, снег, моргают далекие глазки огней.

На приступках крыльца меня охватила метель, приятно обмывая усталое от неумыванья лицо.

— Извозчиков нет?

— Чай видите, что нет. Откуда им быть? — пробормотал укутанный башлыком, прислонившийся к стене носильщик в нагольном полушубке и в голосе его осуждение революционных порядков.

Я двигаюсь было в темноту, но носильщик, как сквозь сон, окликает:

— А вы не ходите, ждите, кто подъедет.

— Что? Опасно, что ль?

— Опасно, — передразнил, усмехнувшись, — не знаете, город разгромили? Каак? Да как громят-то, погром был. От Московской званья не осталось, еще спасибо мы, железнодорожники да драгуны подоспели, а то с магазинов бы на дома кинулись, — и, прикрывая рот варежкой, носильщик зазевал и в зевоту произнес безразлично устало,

— Ихххххи...

Он словно дремал в этой темной метели, несущейся безвластным вихрем над городом.

— Да кто ж громил-то? — допытывался я.

— Хто? Народ громил, кому ж громить, не звери из лесу... народ, вот и разнесли, — и, зевая, кряхтя, носильщик пошел в вокзал греться.

Словно прорывая дыры в ткани снежной тьмы, из города доносились далекие ружейные выстрелы; и чувствовалось, зналось, что в России все «поехало с основ», что в этой вьюге в России нет уже ничего, кроме пустоты страшной всероссийской свободы.

Из налетающей метели показался темный овал дуги и мохнатая голова лошади; скрип полозьев; и запурженный, замотанный каким-то тряпьем старичок-извозчик, подвозя солдата с винтовкой, осадил у вокзала шершавую, заиндевевшую лошаденку. Я сел в его сани, прикрыл колени полосато-пестрым рядном, с намерзшими на нем льдинками, и длинношерстая, от снега темнобелая лошадка мягко понесла сани, ухая и ныряя в невидимых ухабах.

А где-то, словно рвут коленкор, стреляют; выстрелы несутся в ветреной, несопротивляющейся вьюге.

— Чего стреляют-то?

— Стреляют, — дергая вожжами, подтвержающе говорит извозчик.

Я хочу завязать с ним разговор, мне неприятно молчать в этой черной метели.

— Темнота-то какая... фонари, что ль, перебиты?

— А кто зныт... может, попорчены... — погоняя лошаденку, зачмокал извозчик; и с Козьего болота мы скользнули в Нагорную, мимо мелькнувшей на снегу кучки каких-то вооруженных штатских.

— Охрана что ль?

Извозчик не отвечает, по-привычке чмокает, понукает лошаденку, тропотящую мелкой рысцой. И черт его знает, может этому молчащему старику-извозчику

в этой первобытной темноте разграбленного города хорошо?

В окне нашего дома я сразу, всем существом, узнаю оранжевый свет: лампу матери со светло-желтым абажуром. Наше крыльцо под круглым навесом занесено снеговым пухом. Повернувшись с козел, извозчик отстегивает рядно и, сняв галицу, протягивает за полтинником согнутую, теплую ладонь. А у нас в доме, метнувшись, в окне пробегает тень; это мать увидела, дождалась.

Визжа полозьями, извозчик отъехал, скрылся в метели. В темноте я стою один на морозной улице, у двери родного дома. На крыльце остались резко-черные следы подошедших к двери моих сапог. И в секунды ожиданья, что сейчас эта коричневая с шариками, с детства знакомая дверь откроется, в сознании почему-то молнией проносится то, что обычно называется «вся жизнь». Мне хорошо и жутко. Долго не попадая, торопясь, в замке возится, скрежещет ключ. Но вот, отваливая наметенный снег, дверь отворяется и я тут же обнимаю темное очертание что-то шепчущей, плачущей няни Анны Григорьевны, а за ней спешит мать.

II

Все тот же старый друг семьи, томпаковый самовар, уродливо отражая наши кривоголовые лица, вздыхает все на том же с детства знакомом столе. за чаем, несмотря на долгий путь, на страшность разгромленной Пензы, на все захватившую над ней ледяную метель, я испытываю ту же, а может быть даже еще более острую радость возвращения домой. Я смотрю на мать и она, как всегда после разлуки, кажется мне в чем-то иной и в этой новизне волнующе дорогой. Я гляжу на ее родное лицо: ясная округлость лба, высоким валом взбитые русые волосы, темные пудовые глаза задумчивы, чуть грустны. Лицо очень русское, степное, дворянское. И не подумать, что у этой маленькой женщины с бледно-красивыми руками, как у многих истых русских женщин, характер совершенно бесстрашен и тверд.

Вещи, комнаты, их расположение, все мне кажется изменившимся и от этого еще более приятным. И в то время как я рассеяно и радостно гляжу на все вокруг, мать рассказывает о Пензе, о наплыве фронтовиков в деревнях, о том, что везде громят, что товарища отца, нотариуса Грушецкого заживо сожгли в его именье, что под Керенском убили знакомого молодого либерального помещика Скрипкина и для потехи затолкали труп его в бочку с кислой капустой, а после этого мужики двинулись дальше на соседнюю усадьбу Божеряновой. Но Божерянову предупредили. И так как в имении Скрипкина мужики барским кровным маткам ломами перебили хребты, а производителю-жеребцу вырезали язык, Божерянова у себя на конюшне застрелила свою любимую лошадь и потом выстрелила в себя, но себя только ранила; и когда толпа уже вбегала в парк, старый приказчик увозил из усадьбы окровавленную, ослепшую женщину.

Мать рассказывала, как в Евлашеве убили Марью Владимировну Лукину. Ее убийство евлашевские крестьяне обсуждали на сходе, выступать мог свободно каждый. Против убийства выступил Никита Федорович Сбитнев, но большинство не захотело слушать кулака; на убийство мутил пришедший с фронта солдат Будкин. Но тогда несогласное с убийством меньшинство потребовало у общества приговор, что они в убийстве неучастники, и поднятием рук сход постановил: выдать приговор несогласным и убить старуху. И, взяв колья, толпа двинулась во главе с Будкиным на усадьбу убивать старую барыню и ее дочь, которую все село с детства полуласково-полунасмешливо называло «цыпочкой».

Как друзья ни уговаривали М. В. Лукину в эти дни разгромов и самосудов бросить Евлашево, старуха наотрез отказалась: «тут родилась, а если Бог судил, тут и умру»; и осталась в разваливающейся родовой усадьбе. Когда сельский сход голосовал ее смерть, она ужинала с дочерью, но из парка вдруг в окно забарабанила чья-то темная рука; дочь подбежала, открыла фортку, на пол упал комок бумаги, на бумаге накарябано: «бегите скорей, вас идут убивать», и от темного окна какой-то мальчонка кинулся бегом по сугробам. Но сирая старуха успела добежать только до каретника; их учуяли бросившиеся за ними крестьянские собаки, а за собаками набежала и темная толпа с кольями. Марью Владимировну убили, вероятно, первым же ударом кола, с «цыпочкой» же случилось чудо. Окровавленная, она очнулась на рассвете у каретника, когда ей облизывал лицо их ирландский сеттер; из последних сил девушка подползла к матери, но увидав, что мать мертва, поползла дальше из сожженной усадьбы; ирландский сеттер шел за ней, он и спас ее, когда она, не доползши до хутора Сбитневых, потеряла сознание; сеттер бросился к избе, скребся, лаял и вышедшие Сбитневы подобрали «цыпочку» и отвезли в Саранскую больницу.

Уж давно потух наш томпаковый самовар, по подоконникам воровски вползает холодноватый рассвет. Анна Григорьевна уснула на диване, а я все слушаю рассказы матери. Она рассказывает, как громили наше имение, как после разгрома Лукиных, конопатские пришли на усадьбу к няне Анне Григорьевне с тем, что возьмут имение в охрану, хлеб свезут в общество, «под ярлык до Учредительного Собрания», а на скот установят цену и купят его обязательно под расписку, чтоб никто, даже само это Учредительное Собрание, не имело бы права, в случае чего, отобрать назад. Анна Григорьевна на все соглашалась. И конопатские начали перегонять скотину, как вдруг на дороге показались евлашевские, а из-за лесу, с другой стороны, выбежали смольковские. На усадьбе началось кромешное светопреставление. Евлашевские кричат конопатским, что те разворовывают «народное достояние», конопатские отвечают, что в Евлашеве они со своей Лукиншей рассчитались, а эта усадьба причитается конопатским, и они хотят свое добром взять. Но и евлашевские и смольковские требуют и тут своей доли. И вдруг какой-то мальчонка, вероятно, от удовольствия общей свары запустил кирпичом в окно, и от этого стеклянного дребезга толпа всех трех сел рванулась и пошло! Выбили окна, высадили двери, тащили, кто кресло, кто посуду, кто стулья, кто диван. Бабы поволокли ковры, портьеры, гардины, тут же на лугу рвали их, чтобы всем вышло поровну; какой-то евлашевский парень топором рубил медные тазы, каждому со смехом раскидывая по куску. В усадьбу понаехали с подводами, каждый торопится побольше забрать народного достояния. Беременная, на сносях баба, на себе утащила входную

дубовую дверь. Разгул расходился все безудержней. Но кто-то, разлив в кладовой керосин, поджег его, и выстоявший дом запылал, как свеча. за домом подожгли службы, ометы соломы, сена. Пленные немцы недоумевали, зачем же жгут? Лучше бы взяли и увезли к себе? Но этого им так никто и не мог объяснить. И скоро от отпылавшей усадьбы остался только чугунный локомобиль на снежном бугре, да пожарище головней. Анне Григорьевне же дали лошадь и дровни, чтоб уезжала по-добру, по-здорову.

Уже после разгрома, на третий день, мать не без страха, но все ж решила ехать в Конопать, думая, что среди вещей, сложенных у учительницы, может быть, уцелело самое дорогое: письма мужа, отца, семейные фотографии. Въехав в село, еще издали она увидала у церкви свой зеленый полукруглый александровский диван красного дерева и на нем весело игравших ребятишек. Неподалеку прямо в снег свалена библиотека с сверху разлетевшимся собранием сочинений Льва Толстого в красных кожаных переплетах. А на церковной паперти запертый замками длинный кованый коник, который конопатский сход постановил не взламывать, а, предполагая в нем большие богатства, перенести в церковь и потом разделить все поровну, по-божески, всем селом.

Учительница Марфа Семеновна, одинокое жалкое существо, увидав мать, залилась слезами. Ночь у нее мать провела страшную, потому что, узнав о приезде барыни, еще до рассвета к училищу шумящей толпой стали сходиться мужики. Мать с волнением прислушивалась к их голосам, они о чем-то спорили, была даже как бы драка, а чуть забрезжило, все ввалились в училище и тут мать поняла, чего они всю ночь дожидались.

Пегобородый, с выкатившимся острым брюхом, хозяйственный крестьянин Иван Лихов заговорил первым. Он сказал, что они, Господи упаси, не хотят никакого самоуправства, что это их попутали евлашевские, а они хотят, чтобы все было по-хорошему. Хлеб, как сказали, берут обществом под ярлык до Учредительного Собрания, как оно решит, так тому и быть, а всю пригнанную скотину хотят купить и обязательно под расписку. Мать стояла ошеломленная, но как ни отказывалась и ни разъясняла, что никакой купли-продажи быть уже не может, взяли все ну, и Бог с ними, мужики только сильней и недоверчивей настаивали и вокруг матери поднялся такой настоятельный шум, что на требуемую ими куплю-продажу матери приходилось согласиться. Цену крестьяне назначали сами, но деньги заставляли брать мать и непременно тут же давать каждому расписку. И чем дальше все это шло, тем азартнее становились покупатели, отпихивая друг друга, ударяя по ладоням, матерясь, готовые вот-вот схватить друг друга подгрудки.

Истомленная мать пыталась было уйти в комнату Марфы Семеновны, но и туда за ней ворвался осипший, замухортый Федор Колоднев и, с разбегу упав в ноги, скороговоркой заголосил: «Барыня, милостивая, будьте благодетельницей, не оставьте, бедный я, вдовый, четверо ребятенков, а коровы нет, выбрал я буресую, а Пашка Воробьев на нее зарится, а он богатый, пусть уж ваша милость будет, поддержите вы меня, ради Христа...». И Колоднев был счастлив большим человеческим счастьем, когда, при поддержке матери, повел в свою половню корову-ведерницу.

Так до утра проговорили мы с матерью. Когда уже в просветлевшей комнате, где я спал еще ребенком, я задернул занавес, отчего комната, как всегда, наполнилась синеватым светом, я, легши на диван, заснуть уж не мог. Не удавалось словить и осилить сон, он все выскальзывал, и с закрытыми глазами я видел то безгласного старика-извозчика, то рыжего Хохряка, рухнувший фронт, поезд с бабами и ефрейтора Ваську, то евлашевских убийц старухи Лукиной, то упавшего в ноги матери Колоднева, то петербургских матросов, заколовших Шингарева и Кокошкина, и все смешивалось в какое-то осязание страшного кровавого потопа, в котором уничтожается все.

В голову пришло воспоминание из далекого детства. Мне десять лет, я отыграл в разбойники со сверстниками, крестьянскими мальчиками, и мы сидим на закате у берега нашего пруда. Вихрастый Канорка, в красноватой домотканой рубахе на одной медной пуговице, держит в руках свою босую ногу с огрубелой, словно крокодиловой ступней и выковыривает из нее занозу: хриплым баском он рассказывает, что будет время, когда всех «господов» начнут душить. Мне неприятен Каноркин рассказ; я не понимаю, почему может прийти такое время? И я перебиваю его, что все это глупости и никогда ничего этого не будет.

— Кто ж будет душить? Ну, скажи, кто?

— Бог зачнет господов душить, вот кто! Кады страшный суд придет! — шепеляво кричит Канорка.

— Да это совсем другое, — говорю я, — это только грешников!

Но Мелеха, Ефимка, все, кроме болезненного Пантелея, согласны с Каноркой.

— Кады их душить будут, мы, Канорка, тоже к ним придем, — азартно поддерживает Канорку цыганенок Мелеха, — самовар отымем, в пруд закинем и картуз с тебя сымем, — с жадным озорством поглядывает он на мой жокейский картузик с пуговицей на макушке.

И хоть я не верю, что они когда-нибудь придут, но все же ощущаю у пруда какое-то боязное чувство, оттого, что нас с братом двое, а их, крестьянских мальчиков, так много; и я еще горячей кричу, что все это глупости, а если они и придут, то я перестреляю их из монте-криста!

Лежа на диване, я вслух шепчу: «а ведь пришли и не только отнимают картузик, а и убивают за него; это вот и есть страшный суд над господами». И я чувствую, что засыпаю.

III

После разлуки есть наслаждение не только во встрече с любимыми людьми, но и с любимыми местами. Я по-особому волновался, когда вышел из дома посмотреть на свою Пензу. Дошел до Московской улицы, она неузнаваема. Как по всей России, тротуары по щиколотку залузганы шелухой семечек, от них снег грязносерый, окна и двери разгромленных магазинов забиты досками. Все наводнено проезжающими, бегущими с фронта солдатами, они, никому не сторонясь, идут по тротуарам, по снегу мостовой, вооруженные, в шинелях нараспашку, внакидку, без погон, без поясов, сплевывают на сторону подсолнухи; едут на извозчиках пьяные, расхлястанные, с винтовками на коленях и дико поют какую-то азиатчину. На базарной площади они самосудом уби-

ли проезжавшего с фронта неизвестного штабс-капитана, только за то, что тот не снял еще золотые офицерские погоны, эту самую лютую, самую жгучую солдатскую ненависть, и, связав ему ноги веревкой, протащили его голый труп по улицам Пензы. «Пенза страшна, как страшна вся Россия», — думаю я, идя в толпе солдат по Московской.

Но мне странно, что во всей этой низменной, всезатопляющей мерзости в то же время и я ощущаю какое-то своеобразное величие. «Это, вероятно, и есть трагическое величие революций», — думаю я.

К вечеру к нам пришла Наталья Владимировна Лукина, «цыпочка». Голова забинтована, с трудом поворачивает шею. Рассказывая об убийстве матери, плакала и чему-то жалобно, страдальчески улыбалась. Но как это ни противоестественно, к убившим ее мать и недобившим ее мужикам она не чувствовала ненависти. Со слезами тихо говорила:

— Ну, звери, просто звери... а вот когда узнали, что я не убита, что я в больнице, ко мне из Евлашева стали приходить бабы, жалели меня, плакали, приносили яйца, творог...

— Да это они испугались, что им за вас придется отвечать!

— Нет, что вы, перед кем же им теперь отвечать? Власти же нет. Нет, это, правда, они жалели меня, — и Наталья Владимировна плачет, поникая забинтованной головой.

В эти же дни с отрядом какой-то отчаянной молодежи по пензенскому уезду поскакала верхом вернувшаяся с фронта девица Марья Владиславовна Лысова, будущая известная белая террористка Захарченко-Шульц, поджогами сел мстя крестьянам за убийства помещиков и разгромы имений. И в эти же дни пензяки узнали, что наш гимназист Михаил Тухачевский, бежавший из немецкого плена лейб-гвардии поручик, пошел в Москве на службу к большевикам. Это было воспринято как измена. Так незаметно начиналась русская гражданская война.

В сочельник у меня за ужином собрались друзья-офицеры обсудить, как сорганизоваться для вооруженного восстания в Пензе. В разгар ужина в прихожей раздался звонок, и я неожиданно услыхал невнятно-сипловатый голос прапорщика Крутицкого. Что за наваждение? Наш фронтовой сапер, мастер постройки землянок и блиндажей? Действительно, он, пролетарий, ширококостный, с белесыми усами, сын уральского рабочего, приехал ко мне прямо из окопов. за общим ужином Крутицкий долго рассказывал о последних днях Кинбурнского полка, как командир уехал с фронта в Полтаву на полковых лошадях, как разбегались кто куда полковые товарищи. Но под рассказами я чувствовал, что белоусый начальник саперной команды приехал ко мне неспроста; и, действительно, когда все ушли, он как бы невзначай обронил:

— Я тебе от Василия Лавровича письмо привез, да не знаю, что от него осталось, оно в сапоге, а я их две недели не снимал.

С трудом я стащил с Крутицкого словно примерзший сапог и с трудом прочел истоптанное, пропотевшее письмо командира. Полковник писал: «Корнилов на Дону, я еду туда, приезжайте немедленно, собрав возможно больше друзей, а оттуда уж мы двинемся на север...»

— Он тебя обязательно ждет, — проговорил Крутицкий, — будет организовывать полк, поднимут казаков и айда на Москву! Так и сказал: передайте Гулю, что первыми войдем в Москву, и наш полк будет охранять Учредительное Собрание.

В ту же ночь Крутицкий уехал глубже к Москве по тайным поручениям командира, а я и брат, приморский драгун, стали обдумывать предложение полковника. Но обдумывали недолго: мне двадцать два, брату двадцать три года, мы едем к Корнилову на вооруженную борьбу с большевиками за Всероссийское Учредительное Собрание; с нами едут четверо товарищей-офицеров.

Липовые солдатские документы, вещевые мешки, все достали и на третий день Рождества мать, надевая на меня ладанку и крестя частым крестом, беззвучно плакала в страшной боязни вечного расставания. Я уже вышел на улицу, а все еще чувствую на щеках ее слезы. Полувысунувшись из двери, мать с трудом выговаривает какие-то последние взволнованные наказы и благословения. На всю жизнь я запомнил выражение ее лица с сияющими от слез глазами и этот зимний синеватый вечер, в который я опять уходил из родного дома.

По обмерзлому тротуару круто и однотонно скрипят сапоги. Мы идем гуськом на расстоянии шагов пятидесяти. «Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер на всем Божьем свете...»

* * *

Я УНЁС РОССИЮ

Откуда есть пошли Гули

Будучи подростком я был обуреваем «множеством страстей»: в гимназии игра «в перышки»; на нашем большом дворе — в лапту и чушки (рюхи); потом — бильярд; кроме того, я «водил голубей» (страстный был — и остался — голубятник); потом — собаки; потом — лошади рысистые и верховые. Между прочим, я любил родословные и лошадей и людей. Это тоже была страсть. Конские «аттестаты» вызывали во мне какое-то «волнение», похожее на волнение при игре в карты. Странно, но это так было. Я с увлечением перечитывал длинные листы плотной, приятной бумаги, исписанные каллиграфическим почерком: «Волга — от Потешного и Летуньи. Потешный — от Кролика и Волнистой. Летунья — от Крепыша и Бури. И т. д., и т. п.». Сходное чувство было у меня и к людским родословным. Хотя тут, конечно, примешивались и чувствования более сложные.

Мальчиком я во все глаза глядел, когда дед Сергей Петрович Вышеславцев (отец мамы) иногда (редко) показывал мне родословное древо дворян Вышеславцевых. И я узнавал, что вышли они из Литвы при Василии Темном. Дед рассказывал, что один из Вышеславцевых, воевода, при Иване III усмирил Новгородское восстание. Широко разветвленное древо, усеянное множеством кружочков, вызывало чувство ухода в тайну моего собственного бытия, в исток рода, в ощу-щение, что моя маленькая жизнь как-то связана со всем множеством кружочков этого развесистого древа.

Бабушка Марья Петровна, урожденная Ефремова, происходила, как и дед, из мелкопоместных дворян, но не Керенского, а Краснослободского уезда Пензенской губернии. Если я бы писал о детстве (а не воспоминания об эмиграции), я бы много написал о Марье Петровне, которую люблю до сих пор. Но я об этом не пишу.

Любил я слушать рассказы об отце деда. Он, оказывается, был в хозяйственном смысле никчемушный помещик. Почти все свое имение в Керенском уезде он пропустил (что во мне вызывало к нему какое-то умиление, мне нравились помещики, пропускавшие свои имения). Деду он оставил всего 200 десятин, да брату деда столько же. Но и брат деда, Митрофан, все свое тоже пропустил, как и отец. Дед говаривал, что Митрофана «ограбил купчишка Самошка Сударев». Этот Самошка обобрал Митрофана так, что Митрофаново имение все перешло к Самошке, а Митрофан спился.

У деда характер был иной. Смолоду он пошел служить по земству. Почти всю свою жизнь был председателем Керенской земской управы, неким самодержцем уезда. Иногда бывал предводителем дворянства. Но этого поста не любил: хлопотно, приемы, поездки и пр. Я описал деда в «Коне рыжем». [1]

Но насколько в роду Вышеславцевых и Ефремовых все было ясно, настолько происхождение Гулей для меня было окутано туманом. И никто никогда мне — мальчишке — этот туман прояснить не хотел. «Ах да отстань, Рома, со своими глупостями».

Только после смерти отца, разбирая его бумаги, в ящиках громадного резного орехового письменного стола я нашел старинную, свернутую в трубку бумагу: свидетельство о крещении младенца Карла в протестантской церкви в Царском Селе. В свидетельстве было указано, что младенец внебрачный и что родители его: отец — ротмистр Ея Величества кирасирского полка [2], светлейший князь Иосиф Иосифович Вреде, а мать Каролина Гуль. Были указаны и восприемники. Помечен документ был 1834 годом.

«Туман Гулей» для меня рассеялся, и об этом происхождении деда мне тогда уже, после смерти отца, рассказала и мама, и особенно дядя Сережа (младший брат отца). Он рассказал, что Каролина Гуль, будто бы, была женщиной необычайной красоты (что и подтверждал старинный дагерротип). Была она шведского происхождения, как и князь Вреде. Но была не из богатой и знатной семьи, а из скромной. По словам дяди, брак ее со светлейшим ротмистром был законный, но когда светлейший вскоре — через два года — захотел жениться на очень богатой тамбовской помещице Петрово-Соловово, то будто бы, благодаря своим высоким связям при дворе, брак он как-то расторг, и дед оказался «внебрачным». В рассказ дяди Сережи я не верил. Просто, вероятно, связь со скромной Каролиной светлейшему оказалась больше не нужна и, может быть, тягостна, а женитьба на богатейшей девице Анастасии Петрово-Соловово, очень хорошего рода, светлейшему была весьма кстати. Вот он и сочетался «законным браком».

Но Каролину и своего сына светлейший на произвол судьбы не бросил. Каролина с двухгодовалым сыном только уехала из Петербурга в Тамбов. Всю ее жизнь (Каролина замуж никогда больше не вышла) светлейший ее содержал. Своему же сыну дал хорошее образование. Дед мой окончил среднее учебное заведение в Тамбове. Потом поступил в Императорский Московский университет на медицинский факультет, который блестяще окончил, как тогда писалось, «со званием лекаря».

Семейное предание говорит, что когда дед окончил университет, светлейший отец захотел встретиться с несветлейшим сыном и пригласил его на обед в знаменитый ресторан «Яр» отпраздновать получение докторского диплома. По семейным рассказам, дед был человек огненно-вспыльчивый и резкий. На обед со светлейшим отцом он приехал, прошел в указанный отдельный кабинет «Яра» и тут в первый раз в жизни увидел своего отца, того, кто дал ему жизнь. Руки светлейшему он не подал, сказав: «Я приехал сюда только для того, чтобы сказать вам, что вы

мерзавец!». Повернулся и вышел. Больше светлейшего отца своего он никогда не видал. Мать же свою Каролину дед страшно любил и за нее-то (я думаю) и отомстил.

Сейчас в Нью-Йорке, когда я работал над этими memoires d'outre-tombe, я как-то разговорился с князем Алексеем Павловичем Щербатовым, профессором-историком и большим знатоком генеалогии старых русских и иностранных родов, и оказалось, что А. П. прекрасно осведомлен обо всех Вреде. Он прислал мне не только печатные документы о них, но и рассказал, что его отец и дядья (Щербатовы) были хороши с детьми князя Иосифа Иосифовича и Анастасии Петрово-Соловово. По ее матери (княжне Наталии Щербатовой) дети Вреде даже приходились Щербатовым дальними родственниками.

В документах я прочел, что Вреде — шведский род. До сих пор в Швеции есть Вреде. Но в далекие времена, в 1612 году, одна ветвь Вреде (Генрих Вреде) переселилась в Баварию и здесь достигла знатности. Тут-то Вреде и стали «светлостью». И до сих пор в Германии где-то стоит замок Вреде — Эйлинген.

Мой «внебрачный» прадед (так оно и есть, извиняюсь перед мещанами всех мастей, но из этой романической песни слов выкидывать не хочу) Иосиф Иосифович ничего особого в жизни не достиг. Зато его отец — фельдмаршал — оставил некий след в истории. Когда Наполеон воевал с союзниками в Европе, сей фельдмаршал был с Наполеоном и командовал баварцами против австрийцев. За сие в 1809 году от Наполеона он получил титул «conte de l›Empiге» (граф Империи). Известно, что Наполеон был весьма щедр на раздачу всяческих высоких титулов тем, кто ему служил. Именно в это время со своим приятелем генералом Бернадотом Вреде ездил в Швецию. Но когда Наполеону пришлось туго, то Вреде попросту «вывернул жилетку», повернув баварские штыки против Наполеона. Поэтически это называется — «и продали шпагу свою».

Не знаю, остался ли Вреде в Швеции у Бернадота, ставшего ни много ни мало «королем». Знаю только, что сын Вреде, Иосиф Иосифович, переехал из Швеции в Россию, принял русское подданство, дослужился до гвардии полковника, благодаря браку с Анастасией Петрово-Соловово стал несметно богат, но все же скончался в 1871 году.

По окончании университета мой дед Карл Иосифович уехал из Москвы в свою родную Тамбовскую губернию, чтобы стать там земским врачом. Вероятно, хорошо зная о его происхождении, к нему тепло относились тамошние большие помещики — Петрово-Соловово и Ланские. Петрово-Соловово даже предложили деду жить в их усадьбе. Там дед и поселился в отдельном доме. Вскоре, будучи уже земским врачом Кирсановского уезда, дед познакомился с тамошними помещиками Аршеневскими и влюбился наповал в их дочь Екатерину Ивановну. Любовь оказалась взаимной, и дед сделал предложение. Однако ее родители этого брака не захотели. Но дед был человек решительный. В один прекрасный день он умыкал Катю, и в какой-то захолустной деревеньке простенький батюшка, за хорошую мзду, их обвенчал. Перед церковным браком родители склонились, и дед с Екатериной Ивановной зажили в особняке усадьбы Петрово-Соловово.

Прожили они свою жизнь счастливо. Екатерина Ивановна родила ему девять детей. Двое умерли в младенчестве, а семь остались в живых. Прекрасная фотография Екатерины Ивановны была в нашем имении в моей комнате. Я собирал семейные портреты, и все они висели у меня на стенах, пока не погибли в революцию, когда дом и всю усадьбу — по завету Ильича «грабь награбленное!» — дотла сожгли крестьяне. Зачем? Есть, говорят, некая страсть «к огню», к уничтожению. Если бы восстановить все десятки тысяч усадеб, сожженных в революцию, вырос бы большой и хороший город. Но та же революция жестоко отмстила крестьянам, превратив их в крепостных роботов компартии.

Екатерина Ивановна, по рассказам, была барыней старинного стиля: французский язык, французские романы, утреннее кофе подавалось в постель. Аршеневские, по рассказам, были склонны к чванству, считая в своем роду и Соломонию Сабурову, несчастную жену вел. кн. Василия III, и Кудеяра, и другие исторические фигуры. Но как многие помещики, и они пропустили свое имение в Тамбовской губернии, разорились.

Расскажу историю, которая еще в детстве мне нравилась. Один из Аршеневских, кажется дядя Екатерины Ивановны, был человек крепко запьянцовский и разорился настолько, что из помещика превратился в… извозчика в Тамбове. Естественно, что жена не захотела быть «женой извозчика» и разошлась с ним. Она поступила преподавательницей в местную женскую гимназию, и вот родовитый извозчик, будучи всегда в подпитии, но, не теряя остроумия, ежедневно подъезжал на своей кляче к женской гимназии, когда классы кончались, и гимназистки и учительницы шли домой. Тут он ждал ушедшую от него жену и, когда она выходила, ехал по мостовой параллельно ее пути по тротуару, крича: «Маша! Маша! Ну чего ж ты пешком плетешься! Садись, подвезу!». Это, разумеется, шокировало и бывшую жену, и всех, кто с ней шли, не понимавших, кто же такой этот ванька и почему он так грубо пристает к учительнице Аршеневской.

В крови Аршеневских, по-моему, было что-то от татар, и шесть Гулей (мои дядья и тетки) делились на блондинистых (Гулей) и чернявых, с татарщинкой в глазах (Аршеневских) [3]. К сожалению, ни деда по отцу, ни бабушку Аршеневскую я никогда не видал. Дед умер пятидесяти семи лет от роду от разрыва сердца, до моего рождения. А Екатерина Ивановна жила под старость в Тифлисе у старшего сына (моего дяди Анатолия), который был полковник артиллерии и служил в штабе наместника на Кавказе. Там она и скончалась.

Ну вот, откуда, стало быть, есть пошли Гули. То есть фамилия — Гуль. От скромной красивой женщины шведского происхождения Каролины Гуль, фамилия которой покрыла фамилии Вышеславцевых, Ефремовых, Аршеневских, Вреде.

До эмиграции

Думаю, что читателю нужно знать, кто пишет эту книгу. Кем был этот человек в России, что делал, что думал, чем жил? В некоторых своих книгах («Конь рыжий», «Ледяной поход») я кое-что о себе рассказал. Здесь же я дам только крайне сжатый, почти «конспективный» очерк своей жизни в России — до эмиграции.

Я не хочу писать, как Шатобриан, три толстенных тома обо всем пережитом. Я выбрал одну тему — Россия в эмиграции.

Отец Сергий Булгаков в своих «Автобиографических заметках» хорошо говорит, что такое родина: «Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землей и со всем Божьим творением <...> Моя родина, носящая священное для меня имя — Ливны, небольшой город Орловской губернии, — кажется, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его <...> Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд побегов на этом корне. Все, все мое — оттуда <...> Рассказать о родине так же трудно, как и рассказать о матери...».

Мой родной город не Ливны, а — Пенза. Он — моя родина. «Кто видел Лондон и Париж / Венецию и Рим / Того ты блеском не прельстишь, / Но был ты мной любим». Разумеется, губернская Пенза была много краше уездных Ливн. Но, конечно, Булгаков прав. Мила та сторона, где пупок резан. И я тоже умер бы от «изнеможения блаженства», если б увидел свою Пензу. Но ее увидеть уже нельзя. за годы революции моя Пенза исчезла. Я получил как-то альбом фотографий советской Пензы. Как же изуродовала и обезобразила Пензу власть этой «интернационалистической» партии. Беспортошная, страшная, без роду, без племени нелюдь, силой захватившая власть в России, в Пензе взорвала православные храмы. А их было множество, около тридцати, и они-то давали Пензе лицо. На Соборной площади стоял величественный, высоченный собор, белоснежный, с золотым куполом и высоким сияющим крестом. Собор взорвали, сровняв с землей. А он оглавлял всю Пензу. Возвышался на обнесенной зеленью площади, стоя на вершине холма: вся Пенза раскинулась на большом холме. Уничтожены и два монастыря (мужской и женский).

Вместо же старины, прекрасности и благолепия «партия» построила какие-то, а ля «пензенский Корбюзье», безобразные «конструктивные» казармы-дома-коробки для роботов. Прелесть города, его стиль убили. Но они этого и не чувствуют.

Отец мой был нотариус города Пензы (их было три — отец, Грушецкий и Покровский); был домовладелец (на главной Московской улице стоял наш двухэтажный каменный вместительный дом); был и помещик Инсарского и Саранского уездов: имение в четыреста пятьдесят четыре десятины пахоты, леса и лугов раскидывалось в этих уездах. Но не думайте, читатель, что этот достаток отца свалился ему с небес, за прекрасные глаза, по какому-нибудь «наследству». Всего этого отец добился своим упорным трудом.

Но чтобы рассказать об этом, я должен еще раз коснуться характера моего деда (по отцу). Дед был человек властный в отношении всей семьи, а иногда и самодур. Если деду за обедом что-нибудь не нравилось, он в бешенстве вскакивал и, схватив скатерть за угол, сбрасывал все стоящее на столе на пол. От детей требовал — беспрекословного послушания. И когда старший сын Анатолий, кончив гимназию, захотел поступить в военное училище, дед наложил вето, отправив его в Московский университет на юридический факультет. Не чувствуя никакейшего призвания к юриспруденции, Анатолий зря проболтался год на юридическом и все-таки поступил в Михайловское артиллерийское училище, которое окончил, став офицером.

Отец мой — наоборот — хотел именно на юридический, но дед сказал: «Нет! пойдешь в Московское Императорское техническое!» Мой отец не ослушался, хотя призвания к инженерии не ощущал. И через год из Москвы написал отцу, что все-таки хочет перейти на юридический. Дед ответил, что может переходить куда угодно, но никакой денежной поддержки тогда от него не получит. Мой отец был с характером. И все-таки перешел. Лишившись всякой поддержки, отец бедствовал, перебивался уроками, не брезговал никакой работой, но все же занимался любимой наукой — правом. А потом, выдержав экзамен на нотариуса, получил назначение в уездный город Керенск Пензенской губернии, где встретился с моей матерью. Они полюбили друг друга (более счастливого брака я не видел в жизни). А уж из Керенска отец перешел нотариусом в Пензу, причем на требуемый «реверс» денег не было: помогли — мой дед Вышеславцев и друг отца и мамы — Пётр Алексеевич Дураков (отец русского эмигрантского поэта Алексея Дуракова, убитого в бою с немцами во Вторую мировую войну в Югославии; мой друг детства Лёша пошел добровольцем к югославским партизанам).

В Пензе у отца дела пошли хорошо. Отсюда постепенно начались и достатки: имение, о котором я упоминал; дом с нашей квартирой в девять больших высоченных и этим приятных комнат (таких теперь уж нигде не строят). В отцовской нотариальной конторе человек десять–двенадцать писцов (ах, как они каллиграфически писали!); в доме прислуги семь человек; во дворе конюшня на четыре стойла: для двух верховых (моей и брата), рысака и рабочей лошади; коровник для молочной голландки; курятник с множеством кур (рыжих кохинхинов и пестросерых плимутроков); большой сеновал, где я устроил свою голубятню. Состоятельные пензяки в те времена жили как помещики.

В декабре 1913 года от сердечного припадка сорока шести лет внезапно умер отец. Жизнь семьи резко оборвалась. О смерти отца я говорю в «Коне рыжем». Смерть отца была отмечена в самой распространенной тогда в России ежедневной газете, в московском «Русском слове», как смерть видного общественного деятеля Пензы. Отец был гласный городской думы, председатель родительского комитета нашей гимназии, председатель Пушкинского общежития для детей сельских учителей, член правления «Общества взаимного кредита», основатель первого в Пензе кооператива — «Потребительская лавка», член правления драматического кружка, создавшего Летний театр (прекрасный, всегда со столичными гастролерами). Был отец даже членом Бегового общества (это была уже моя страсть, и я всегда увязывался с отцом на бега на Пензенский ипподром). По душе отец был широкий и отзывчивый. Вечно у него были какие-то стипендиаты из неимущих студентов, которых кто-то рекомендовал и которых он иногда даже не видел. Кое-кто из неимущих учащихся у нас просто жили.

Политически отец был кадет, то есть член конституционно-демократической партии, и в 1905 году издавал в Пензе вместе со своим другом Николаем Федоровичем Езерским [4] ежедневную газету «Перестрой». Н. Ф. Езерский был член I Государственной Думы и даже «выборжец». Но когда мы встретились с ним в эмиграции, в Берлине, он был в черной рясе с крестом на груди. Н. Ф. стал православным священником, настоятелем русской церкви на Находштрассе в Берлине. Потом его перевели в Будапешт, где он и скончался до Второй мировой войны.

Я родился в 1896 году. Мой брат Сережа — за полтора года до меня. Его выкормила грудью мать, но когда в мире появился я, мать кормить грудью была не в состоянии, и мне наняли кормилицу — Марию Пронину, крестьянку села Бессоновка, недалеко от Пензы. Село это славилось луком, и бессоновцы носили прозвище «лучников», так же как все пензяки — «толстопятых». Марья-лучница меня и выкормила, и я, вроде Владислава Ходасевича, могу сказать: «Не матерью — бессоновской крестьянкой Марией Прониной я выкормлен...». В семье у нас была фотография — Марья в полном уборе кормилицы, в кокошнике, в сарафане с высоко перетянутыми грудями, держит младенца в распашонке (меня). Свою «кормилку» я хорошо помню, ибо, когда мне было уже лет десять–двенадцать, она часто приезжала из села к нам посмотреть на «своего Рому». Смотрела. А я, мальчишка, стеснялся. Мне было странно себе представить, что вот эта статная, приятная баба выкормила меня своею грудью.

После учения дома я поступил в пензенскую Первую мужскую гимназию. В этой старинной гимназии, окруженной обширным старым парком, в свое время учились разные достопримечательности: террорист Дмитрий Каракозов, повешенный за покушение на Александра II; неистовый Виссарион Белинский; и, наконец, расстрелянный маршал Михаил Тухачевский. Он был на два класса старше меня. Я знал и его, и его старшего брата Александра, и сестру красавицу Надю. Об этом я говорю в своей книге «Тухачевский».

Весной 1914 года я окончил гимназию и поступил в Московский университет на юридический факультет. В университете я на «весьма» сдавал все экзамены. Но юриспруденция как таковая меня не увлекала. Я чувствовал, что я совершенно не «юрист». Я занимался главным образом в семинарах профессора (тогда приват-доцента) И. А. Ильина, будущего эмигранта, опубликовавшего за рубежом много книг; после Второй мировой войны скончавшегося в Швейцарии. Я слушал у него курс «Введение в философию» и второй — по «Общей методологии юридических наук». Высокий, очень худой, красивый, но мефистофельский (хотя и блондин), И. А. был блестящим лектором и блестящим ученым. Его я тогда в Москве попросил указать мне книги для систематического занятия философией, ибо сам я сидел на скучнейших, толстенных томах «Истории новой философии» Куно Фишера. Хорошо помню, какой список первых книг дал мне И. А.: «Апология» Сократа, «Диалоги» Платона («Парменид»)», «Метафизика в Древней Греции» кн. С. Н. Трубецкого, «Пролегомены ко всякой будущей метафизике» И. Канта, какую-то книгу Гуссерля и какую-то работу З. Фрейда. Слушал я и лекции по «Философии права» профессора Б. П. Вышеславцева, тоже будущего эмигранта и автора многих книг, вышедших за рубежом, скончавшегося после Второй мировой войны в Женеве. Слушал и «Государственное право» у профессора Н. Н. Алексеева, тоже будущего эмигранта, умершего после Второй мировой войны в Швейцарии. Слушал и профессора Байкова — «Энциклопедию права». Байков тоже оказался эмигрантом, не знаю, где за границей он умер.

На семинарах И. А. Ильина в прениях иногда выступали оставленные при университете для подготовки к профессорской кафедре Н. Устрялов и Ю. Ключников (оба будущие эмигранты, в 20-х годах идеологи сменовеховства). Блестящего публициста и ученого Н. Устрялова чекисты удушили шнуром (под видом «грабителей») в Сибирском экспрессе, когда по «милому» восточному приглашению Сталина Устрялов с Дальнего Востока ехал по Советской России. Ю. Ключников, в 20-х годах, вернувшись из эмиграции в РСФСР, умер при «невыясненных обстоятельствах». Кажется, шнуром его все-таки не удушили.

В 1916 я перешел на третий курс, но летом студентов моего года рождения призвали в армию: в офицерские школы. И в августе 1916 года я приехал в Москву уже не в университет, а в Московскую третью школу прапорщиков. Эти три школы были открыты для мобилизованных студентов в казармах у Дорогомиловской заставы, на окраине Москвы. Срок обучения краткий — четыре месяца. Так что в ноябре 1916 года я, успешно окончив школу, получил офицерский чин — прапорщика. И так как кончил я портупей-юнкером, то мог выбирать «вакансии» в хорошие полки: предлагался, например, Московский гренадерский. Но я стремился только в свою Пензу, где мать осталась одна, поэтому и уехал туда в 140-й пехотный запасный полк. Это — самая что ни на есть последняя инфантерия, самая последняя пехтура.

В Пензе в 1917 году меня застала революция. Об этом я рассказал в «Коне рыжем». Весной 1917 года с маршевым батальоном я отправился на юго-западный фронт, где началось известное бесславное «наступление Керенского». В моем послужном списке романтически стояло: «Участвовал в боях и походах против Австро-Венгрии». Верно. Где только теперь эта Австро-Венгрия?

На фронте сначала я командовал второй ротой 457-го Кинбурнского полка 117-й дивизии. Потом был полевым адъютантом командира полка — бравого полковника Василия Лавровича Симановского. В. Л. был кадровый боевой офицер, по крови чистый украинец, с «белым крестиком» в петлице — за храбрость. Большевизм (да и Керенского!) он ненавидел совершенно люто. Был я и товарищем председателя полкового комитета (от офицеров), где вместе с председателем (моим другом, латышом прапорщиком Даниилом Дукатом, тоже студентом) мы пытались хоть как-то остановить обольшевиченье полка. Оставался я на фронте до полного его развала, пока Василий Лаврович мне не сказал: «Ну, Рома, езжайте-ка домой в вашу Пензу!». И я уехал в Пензу в солдатской теплушке, переполненной озверелыми и одичавшими за войну, да еще пьяными, дезертирами. Об этом я говорю в «Коне рыжем».

В конце 1917 года В. Л. Симановский (он был близок к генералу Л. Г. Корнилову) прислал ко мне в Пензу нарочного, зовя бросить все и пробираться на Дон к Корнилову. «Пойдем на Москву... наш полк будет

охранять Учредительное собрание!». Увы, ничего этого не случилось: ни Москвы, ни полка, ни Учредительного собрания.

В эти декабрьские дни 1917 года Россия была в разгаре своего «окаянства». Из народных недр вырвалась ранее невидимая и незнаемая страсть всеразрушения, всеистребления и дикой ненависти к закону, порядку, праву, покою, обычаю. Точно по «Бесам» — «Все поехало с основ». «Надо все переворотить и поставить вверх дном», «надо развязать самые низкие, самые дурные страсти, чтоб ничто не сдерживало народ в его ненависти и жажде истребления и разрушения». Все эти дикие бакунинские [5] бредни воплотились теперь в каждом дне русской жизни. Это был именно тот всенародный бунт, о котором Пушкин писал: «бессмысленный и беспощадный». Мы в нем, в этом омерзительном бунте — жили. «Грабь награбленное!», и в Пензе бессмысленно грабят все магазины на Московской улице. «Жги помещичьи усадьбы!», «убивай буржуев!». И жгут. И убивают всех, кто «подлежит уничтожению». Ведь нет уже ни судов, ни судей, ни тюрем, ни полиции. «Все поехало с основ», как хотели того Шигалев и Верховенский.

Все это было провидчески предсказано еще в 1830 году в гениальном стихотворении М. Ю. Лермонтова.

Предсказание

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь;
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек...
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож.
И горе для тебя! Твой плачь, твой стон
Ему тогда покажется смешон...

Что в России «все поедет с основ», еще раньше Лермонтова предсказал глубокий и проницательный француз, замечательный Жозеф де Местр. В 1811 году он писал о России: «Если какой-нибудь Пугачев, вышедший из университета, станет во главе партии; если народ окажется поколебленным и вместо азиатских походов примется за революцию на европейский лад, то я прямо не нахожу выражения для того, чтобы высказать свои опасения <...> Войны, ужасные войны! <...> И я вижу Неву, обильно пенящуюся кровью».

А через полвека (в 1863 году) другой известный француз, историк Жюль Мишле писал о будущем России не менее пессимистически: «Россия в самой своей природе, в подлинной сути своей есть — сама ложь». И далее Мишле пишет с отвращением (но, надо признать, провиденциально!): «Одно слово объясняет все, и в нем содержится вся Россия. Русская жизнь — это коммунизм». Беспокоились на эту тему и русские писатели (Достоевский, Лесков и др.). Даже И. Тургенев писал: «Да, наш народ спит <...> Но мне сдается, если что его разбудить — это будет не то, что мы думаем» (И. Тургенев. «Новь», 1876).

В Пензе на вокзальной площади какого-то проезжавшего через Пензу капитана самосудом убили за то, что он не снял еще погоны. И разнаготив убитого, с гиком и хохотом волокут большое белое тело по снегу Московской улицы — то вверх, то вниз. А какой-то пьяный остервенелый солдат орет: «Теперь наша власть! Народная!». Нотариуса Грушецкого сожгли в его имении живым, не позволили выбежать из горящего дома. Помещика Керенского уезда Скрипкина убили в его усадьбе и затолкали его голый труп «для потехи» в бочку с кислой капустой. И все это с хохотом — «теперь наша власть! Народная!».

В ненависти и страсти истребления убивали не только людей, но и животных (не «народных», не «пролетарских»). В знакомом имении на конском заводе железными ломами перебили хребты рысакам, потому что — «господские». У нас при разгроме имения какой-то «революционный мужичок» при дележе добра получил нашу рысистую кобылу Волгу и, впрягши ее в соху, стал злобно нахлестывать: пусть сдохнет, барская... «Рысаки господам нужны. А господов нонче нет». В другом имении жеребцу-производителю вырезали язык, а Иван Бунин в «Окаянных днях» [6] рассказал, как в имении близ Ельца мужики и бабы («революционный народ») ощипали все перья у павлинов и пустили окровавленных птиц «голыми». Зачем? Да затем, что — «теперь павлины же не нужны, теперь же все трудовое, а не барское». Митинговые большевицкие пропагаторы до хрипоты орут именно это — «теперь». И это действовало мистически. «Теперь все по-другому», «теперь власть народная, теперь всем свобода!», «теперь нет тюрем!», «теперь нет полицейских, стражников, урядников», «теперь все наше, народное!». И я видел воочию, как в это теперь народ сдуру, сослепу верит.

Для того, что понять, что такое русский народный большевизм, надо читать «Историю Пугачевского бунта» А. С. Пушкина. Он дает его душу. Например: «Пугачев <...> на Волге встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам...». Вот именно этот народный большевизм и бушевал в 1917–1918 годах до тех пор, пока его не оседлал Ленин со своей «интернациональной» бандой. Тогда начался иной большевизм — «интернациональный», с большим количеством инородцев «на верхах»: латышей, евреев, поляков, грузин, армян, даже венгров.

Расскажу еще об одном диком и бессмысленном убийстве. В соседнем с нами именье при селе Евлашеве убили старуху-помещицу Марию Владимировну Лукину. Боясь за нее, друзья уговаривали бросить деревню, переехать в город. Но упрямая старуха на все отвечала: «В Евлашеве родилась, в Евлашеве и умру». И действительно умерла в Евлашеве.

Ее убийство было проведено по всем правилам «революционной демократии». Евлашевские мужики обсуждали это мокрое дело на сходе. Выступать мог свободно каждый. На убийство мутил фронтовик-дезертир, хулиган-большевик Будкин. Но были крестьяне и против убийства. И когда большинство, подогретое Будкиным, проголосовало убить старуху, несо-

гласные потребовали от общества приговор, что они в этом деле не участники. Сход вынес «резолюцию»: старуху убить, а несогласным выдать приговор.

И сразу же со схода, с кольями в руках, толпа повалила на усадьбу Лукиной: убивать старуху, а заодно и ее дочь, которую все село знало с детства и полуласково-полунасмешливо называло «цыпочкой». М. В. Лукину кто-то из крестьян предупредил: идут убивать. Но сирая старуха не успела добежать даже до сарая. «Революционный народ» кольями убил ее на дворе. С «цыпочкой» же произошло чудо. Окровавленная, она очнулась на рассвете у каретника, когда ей облизывал лицо их ирландский сеттер. В сопровождении сеттера она и доползла до недалекого хутора Сбитневых, а они отвезли ее в Саранскую больницу.

Подчеркиваю, что вовсе не все крестьянство поголовно было охвачено окаянством убийств, грабежей, поджогов. Было и несогласное меньшинство, но его захлестывал большевицкий охлос дезертиров, хлынувший в деревню с фронта.

Помню, к нам пришла «цыпочка» Наталья Владимировна Лукина. Голова забинтована, с трудом поворачивает шею. Рассказывая об убийстве матери, плакала и чему-то жалобно-страдальчески улыбалась. И как это ни странно, ни противоестественно, к убийцам ее матери и недобившим ее мужикам она злобы не чувствовала.

— Ну, звери, просто звери… А вот когда узнали, что я не убита, что я в больнице, ко мне из Евлашева стали приходить бабы, жалели меня, плакали, приносили яйца, творог…

— Да это же они испугались, что отвечать придется!

— Нет, что вы, перед кем же им теперь отвечать? Власти же нет. Нет, это правда, они жалели меня… — И «цыпочка» плачет, поникая забинтованной головой. В ее душевном состоянии, я думаю, было что-то и христианское, но и какая-то неприятная мне покорность захватившему все злу.

Хочу подчеркнуть один факт русской революции, о котором никто никогда не писал: как приняли русские богатые и состоятельные люди (по-марксистски — «имущие классы», «буржуазия», «эксплуататоры», «капиталисты») потерю своего имущества. В большевицкой литературе рассказывается и о «сопротивлении буржуазии», и о «заговорах буржуазии», и о том, как «доблестные большевики» сломили, наконец, злостную буржуазию. Все это чистое вранье. Русская, если хотите, «буржуазия» теряла свое имущество в одиночку (не пытаясь «организоваться»), безропотно, без сопротивления. Правда, в февральскую революцию существовал какой-то «Союз землевладельцев», но больше на бумаге. Вся его деятельность была в том, что подавались революционному министру земледелия «докладные записки» о бесчинствах, разгромах, поджогах. Причем министр в своей революционной занятости, наверное, и не отвечал на эти сообщения, не до того было. К Октябрю же «Союз» растаял.

Русские вообще легко теряют материальные ценности. Я думаю, много легче, чем люди Запада. Помню, как председатель Пензенской земской управы, молодой образованный помещик Ермолов (родственник знаменитого генерала Ермолова) на большом митинге, когда большевики и меньшевики стали с мест перебивать его речь демагогическими криками: «Ну, а как же с вашей землей?!», — ответил презрительно: «С моей землей? Знайте, господа, что не унижусь участвовать в общей давке, подбирая падающие яблоки. Была земля, теперь не будет — только и всего».

И те же злорадные выкрики были на одном из петроградских митингов, когда выступал председатель Государственной Думы М. В. Родзянко. «А вы нам лучше скажите, как вот с вашей землицей-то?!» — «Как Учредительное собрание решит, так и будет», — ответил Родзянко. Как все здравомыслящие люди, он прекрасно понимал, что в России все помещичьи, казенные и удельные земли перейдут к крестьянству. И никакого «сопротивления» у имущих это не вызывало.

Помню, в Пензе в эти окаянные дни я встретил Ольгу Львовну Азаревич (по первому мужу кн. Друцкую-Сокольнинскую, урожденную кн. Голицыну). Она потеряла все, случайно не осталось даже денег в банке. А терять было что: имение Муратовка в три тысячи десятин, винокуренный завод, овцеводство, множество лошадей, коров, всякого добра в доме. Все расхищено, разграблено. Лишь кое-какие ценные картины успела передать в музей Пензенского художественного училища, чтобы не погибли. Но в отчаяние от всего этого О. Л. не пришла. «Ну что ж, — сказала она, — Бог дал, Бог и взял». Я не думаю, чтобы Господь Бог мог когда-нибудь заниматься раздачей латифундий и уж особенно отобранием их руками остервенелых, одичалых, пьяных солдат. Но такая несвязанность благами земли, по-моему, прекрасна. И это очень русское чувство, я наблюдал его у многих имущих. Русские нетвердо прикреплены к земле. «Я знаю, я знаю, / Что прелесть земная, / Что эта резная прелестная чаша / Не более наша, / Чем воздух, чем звезды…», — писала Марина Цветаева.

В эмиграции, в Ницце, Ольга Львовна держала крохотную столовую для русских же эмигрантов. Деньденьской работала, ходила на базар, готовила обеды, ужины для столовой. В Ницце и скончалась в преклонном возрасте. У Марины Цветаевой есть чудесные строки, посвященные А. А. Стаховичу:

Хоть сто мозолей — трех веков не скроешь!
Рук не исправишь — топором рубя!
О, откровеннейшее из сокровищ Порода! —
узнаю тебя!
Как ни коптись над ржавой сковородкой
Все вкруг тебя твоих Версалей тишь.
Нет, самою косой косовороткой
Ты шеи не укоротишь…

Никогда от Ольги Львовны никто не слыхал какой-то жалобы, каких-то ламентаций о былом «сребре и злате», хотя его было избыточно. Но в ее жизни, как и у многих других, было и нечто иное, что всегда много дороже «злата» и «сребра».

Подпольщики-большевики, в октябрьские дни захватившие власть над Россией, в большинстве своем носили псевдонимы: Ульянов — Ленин, Бронштейн — Троцкий, Джугашвили — Сталин, Радомысльский — Зиновьев, Скрябин — Молотов, Судрабс — Лацис, Валлах — Литвинов, Оболенский — Осинский, Гольдштейн — Володарский и т. д. По-моему, в этом есть что-то не случайное и страшное. Тут дело не только в конспирации при «царизме». Псевдонимы прикрывали полулюдей. Все эти заговорщики-захватчики

были природно лишены естественных, полных человеческих чувств. О полноте чувства жизни хорошо у Пастернака говорит Живаго: «Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны...». Жизни псевдонимов были вовсе не жизнью людей. Их жизнью была исключительно — партия. В партии интриги, склока, борьба, но главное — власть, власть, власть, власть над людьми. Кто прочтет книги бывшего большевика Н. Валентинова [7] «Встречи с Лениным» и «Малознакомый Ленин» или книгу дочери Сталина Светланы Аллилуевой «Только один год» [8], увидит разительное сходство октябрьских «псевдонимов» с «Бесами». Для меня эти «псевдонимы», эти вульгарные материалисты были получудовищами.

Хорошо сказал о деле псевдонимов — о так называемом «коммунизме» — А. И. Солженицын в речи в Америке: «Дело в том, что суть коммунизма — совершенно за пределами человеческого понимания». И еще лучше пояснил это И. Шафаревич: «Социализмом движет инстинкт смерти». [9] Но вся эта правда была сказана двумя замечательными людьми через шестьдесят лет после начала дела псевдонимов. В декабрьские же дни 1917 года эта «смерть» неосознанно ощущалась мной в странной и страшной тревоге — псевдонимы несли и физическую смерть множеству людей, и духовную смерть исторической России. «А на Россию, господа хорошие, нам наплевать!», — сказал псевдоним № 1 Ленин, и всем подручным ему псевдонимам на Россию было действительно «наплевать». Многие из них к России кроме ненависти ничего и не питали.

Российская мужицкая вольница, разлившаяся по стране после Октября, в сути своей была не только псевдонимам чужда, но и смертельно опасна. Псевдонимы это прекрасно понимали, они боялись мужика. Это был их «потенциальный враг». И это вполне по Марксу, ненавидевшему всякую деревню. Много чернил извели Маркс и Энгельс на писания об «исконном идиотизме деревни». Русская мужицкая вольница 1917 года была, конечно, стихией врага Маркса — Бакунина. Петр Струве говорил, что большевизм — это смесь западных ядов с истинно русской сивухой. Да. Псевдонимы были западным ядом, а бакунинское мужицкое буйство — истинно русской сивухой. Захватившие власть псевдонимы, демагогически подогревая мужицкое погромное буйство, ненависть к имущим, ненависть к государственности, ненависть к церкви, ненависть к прошлому, — потихоньку плели и для мужика бесовскую марксистскую удавку, свою мертвую петлю.

Предвестник Ленина Петр Никитич Ткачев (под конец своей короткой жизни — сумасшедший) в свое время писал: «Захват власти — это только прелюдия революции <...> Насильственным переворотом не оканчивается дело революционера. Захватив власть, они должны уметь удержать ее и воспользоваться ею для осуществления своих идеалов» [10]. Того же мнения был и Маркс. И Ленин при помощи своих псевдонимов террором, тюрьмами и концлагерями, которые он создал на пятнадцать лет раньше Гитлера, осуществил «свои идеалы». Мужика сначала укрощали комбедами, заградотрядами, продотрядами. И наконец, Сталин в «раскулачивании» просто убил пятнадцать «миллиончиков» крестьян, как пишет А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» [11]. Пятнадцать миллионов жизней (мужчин, женщин, детей) — это примерно пять Норвегий (если поголовно вырезать!), или три Швейцарии, или пять Израилей. И что же? Чем ответил на это массовое убийство культурный Запад? В левых и социалистических органах статьями о том, что коллективизация может быть «интересным социальным и экономическим экспериментом»! Пятнадцать миллионов убитых вызвали — «научный интерес». Когда люди это писали, они не понимали, что подписывают себе самим смертный приговор.

Тогда, в декабрьские дни 1917 года, во мне жили два чувства: дневное и ночное. Дневное говорило: единственный путь — ехать на Дон и оттуда силой, железом подавлять всеобщий развал и бунт, дабы ввести страну в берега законности, правопорядка и отстоять идею Учредительного собрания. Но ночью меня охватывало жутко-пронизывающее чувство. Казалось, что Россия летит в пропасть и дна у этой пропасти нет и никогда не будет, что страна гибнет навсегда, навеки. Признаюсь, и теперь, через шестьдесят лет, ко мне то и дело возвращается это ночное чувство. Кажется, что стремительный лёт России в бездонную пропасть не кончился и через шестьдесят лет, что Россия все еще куда-то летит и летит, не достигая дна. А до дна дойдет только во всеобщем космическом атомном катаклизме, когда и она и другие страны превратятся в отравленные полупустыни с миллионами трупов. Вот тогда ленинская «авантюра во всемирном масштабе» закончится. Дно будет наконец-то достигнуто.

Итак, в сочельник 1917 года я и брат (скончавшийся в 1945 году во Франции) решили ехать к Корнилову на Дон на вооруженную борьбу с большевизмом. Нас было шестеро «толстопятых» пензяков: Борис Иванов (нынче в Америке, в Детройте), Н. Покровский (отбыл советский концлагерь, умер в Болгарии), Эраст Ващенко (убит в «ледяном походе», на Кубани) и Дм. Ягодин (мой однополчанин и друг, прапорщик из бывших семинаристов).

До Новочеркасска добрались с подложными документами. Через день-два пошли записываться в бюро Добровольческой армии. Представились заведующему — гвардии полковнику Хованскому. Вылощенный, пшютоватый петербуржец, «аристократически» растягивая слова, сказал нам: «Поступая в нашу (это он подчеркнул) армию, вы должны, прежде всего, помнить, что это не какая-нибудь рабоче-крестьянская армия, а офицерская!». Прием Хованским меня поразил. «Неужели, — думал я, — он не хочет, чтобы это была народная армия, а хочет только офицерскую?» На Дмитрия Ягодина прием произвел такое впечатление, что на другой же день он решил ехать назад в Пензу. Он долго уговаривал и меня. «Разве ты не видишь, — говорил он, — что такая «офицерская» армия победить никогда не сможет?». В глубине души я чувствовал, что Дмитрий прав. Но психологически я для себя «отрезал все концы». И я остался. Не одни же Хованские в армии, думал я — мы приехали к казаку Корнилову.

От Ягодина в эмиграции в двадцатых годах в Берлине я получил с оказией письмо из Пензы. Он писал: «Я заделался нэпманом», он хорошо жил, женился

на Софии Карповой (Карповы до революции — богатые пензенские купцы). Больше писем я не получал. А позже узнал, что Ягодин при ликвидации нэпа попал в концлагерь, где и погиб. А когда в 1960-х годах его двоюродный брат Быстров, ставший американцем, ездил из Сан-Франциско в СССР и побывал в Пензе, то, вернувшись, мне писал: «Пензу нашу ты бы не узнал. Ее просто нет. Кого мы знали, никого нет. Одни могилы, могилы и могилы».

В «ледяном походе» я участвовал как рядовой боец Корниловского офицерского ударного полка. На Кубани под станицей Кореновской в атаке на красный бронепоезд (мы шли на него с одними винтовками) был ранен в левое бедро пулеметной пулей с этого бронепоезда. Попади красная пуля на полвершка правее — перебила бы кость, и меня бы оставили умирать на чужом, темневшем вечернем поле: таких раненых не подбирали. Тыла у нас не было. Лазаретов не было. И меня, наверное, добили бы красные. Но пуля, к счастью, не перебила кости, и меня взяли в обоз с ранеными. В обозе раненых я и доделал «ледяной поход». Брат Серёжа был ранен тоже сравнительно удачно; под Усть-Лабинской пуля раздробила ему ступню. И он тоже попал в обоз-лазарет.

Когда мы вернулись из похода в отбитый казаками у большевиков Новочеркасск, нас вскоре здесь в лазарете разыскала мать. Все бросив в Пензе, с большим риском для жизни она пробралась из Пензы до Волги, потом по Волге и по Северному Кавказу на Дон, искать нас. И нашла.

Как добровольно я вступил в Добрармию, так же добровольно и ушел. Я не мог оставаться — и политически и душевно. Политически потому, что всем существом чувствовал: — такая «офицерская» армия победить не может. Несмотря на доблесть и героизм ее бойцов, поражение ее неминуемо. И вовсе не потому, что «псевдонимы» сильнее (они слабее), а потому, что народ не с ней. К белым народ не хотел идти: господа. Здесь сказался один из самых больших грехов старой России: ее сословность. И связанный с ней страшный разрыв между интеллигенцией и народом («пропасть между культурой и природой», по слову А. Блока). Если бы вместо генерала Антона Деникина во главе армии стал бы тамбовский сельский учитель Антонов с мужицким лозунгом «земля и воля», тогда бы дело было иное. Но в 1918 году до взрыва крестьянских восстаний (тамбовского, Кронштадта и др.) было далеко. Крестьяне еще пребывали в бакунинском дурмане революции. И царскому генералу Антону Деникину, а уж тем паче гвардии полковнику Хованскому, мужик не верил. В этом была беда и мужика, и всей России.

Другая причина моего ухода из Добрармии была душевно-личная. Если бы я работал в каком-нибудь штабе или в Осваге, у меня не было бы предметного опыта гражданской войны. Но я был простым бойцом с винтовкой в руках: поэтому опыт имелся. Я узнал до конца, что значат слова: гражданская война. Это значило, что я должен убивать неких неизвестных мне, но тоже русских людей: в большинстве крестьян, рабочих. И я почувствовал, что убить русского человека мне трудно. Не могу. Да и за что? У меня же с ним нет никаких «счетов». за что же я буду вразумлять его пулями?

Такого чувства на Юго-Западном фронте, в войне против Австро-Венгрии, у меня, естественно, не было. Там я воспринимал войну, как некий национальный рок — может быть, как Божий урок. Тут — другое. Тут должна была быть проявлена моя воля. Причем я вовсе не вегетарианец. Я сторонник смертной казни за уголовные преступления: за убийства. Я сочувствую выстрелам в Кремле, у Боровицких ворот по лимузинам тиранов. Убийство Л. Канегисером грязно-кровавого чекиста Урицкого я вполне понимал, так же как убийство рабочим Сергеевым бывшего нью-йоркского портного В. Володарского, ставшего вельможей-террористом большевицкого Петрограда. И убийства Войкова Борисом Ковердой и Воровского Конради я вполне понимал. Покушению Фанни Каплан на «гениальную гориллу» — Ленина я всем сердцем сочувствовал и жалею, что она его не убила, чем спасла бы не только Россию, но все человечество. Как мог спасти Германию граф Штауфенберг убийством Гитлера. Все эти русские выстрелы не были похожи на выстрелы какого-то полубезумного немецкого террориста Баадера. Нет, русские выстрелы были не террором, а сопротивлением террору псевдонимов. Это были тираноубийственные выстрелы.

Расстрелы же добровольцами крестьян в селе Лежанка мне были непереносимы, из-за них все во мне восставало, и я в них не участвовал, ибо политически считал самоубийственными, а душевно во мне невмещаемыми. Не за свое же «имение» я буду кого-то там расстреливать? Я не последователь «классовой борьбы», этой «школы озверенья», по слову Н. К. Михайловского. «Бог дал, Бог и взял».

Я, брат и мать решили из Новочеркасска ехать в Киев к тете Лене Высочанской, сестре отца, а там — что будет. И в октябре 1918 года наш поезд переехал границу Всевеликого Войска Донского и тихо пошел по Украине. Украина тогда была некой восставшей не то Мексикой, не то Македонией. Большие города и железнодорожные узлы заняты немцами. А по селам и весям шарят и шалят банды атаманов. Откуда-то с Запада идет Петлюра. А с севера вот-вот навалятся большевики. В эмиграции, в Берлине, в 20-х годах Алексей Толстой мне показывал фотографию, которой он очень дорожил: сфотографирован каким-то уездным фотографом ражий детина, довольно обезьянообразный, с головы до ног увешанный арсеналом оружия. Детина сидит «развалемшись» в глубоком кресле на фоне дешевых декораций, а рядом — круглый стол, на котором — отрубленная человечья голова. И детина дико-напряженно уставился в объектив фотографического аппарата. Это — атаман Ангел. Толстой над этой фотографией дико хохотал, просто ржал. Я никак не мог разделить его веселья, но это была сфотографирована действительная Украина 1918 года.

В Киеве в ноябре 1918 года меня и брата, как офицеров, призвал в войска гетман Скоропадский, весьма не блестящая фигура гражданской войны. Мы должны были защищать Киев от наступающего Петлюры. Защита была беспомощна и трагична, ибо в Киеве царило полное разложение всех и вся, и в этом развале некоторые наши «начальники» просто смылись. А под Киевом бессмысленно гибла брошенная туда военная молодежь, такие же, как я и брат.

Я и брат уцелели. Но попали к петлюровцам в плен, и нас (около трех тысяч человек), обезоружив, заключили под стражу в Педагогический музей на Владимирской. Арестованные заняли в музее все залы, комнаты, проходы, лестницы. Весь этот позорный

и омерзительный эпизод киевской гражданской войны я давно описал и потому его не касаюсь. [12]

Скажу главное: живы мы остались исключительно благодаря немцам. Они ввели в Педагогический музей свой караул под командой решительного лейтенанта. И немцы стали рядом с петлюровцами в папахах с нашитыми желто-блакитными кусками материи. Этот решительный лейтенант и предупредил резню нас, когда в настежь распахнутые двери музея, с красными бантами на папахах, на шинелях, даже на винтовках, ворвалась какая-то солдатская банда. Впереди с маузером в вытянутой руке, с выбившимися лохмами волос из-под папахи, весь ограначенный и совершенно озверелый, какой-то унтер, за ним, щелкая затворами винтовок, — толпа солдатни: типичная обольшевиченная банда. Было ясно, что въехавший на белом коне в «побежденный» Киев Симон Петлюра и уж не знаю на чем въехавший Владимир Кириллович Винниченко (автор нашумевшей в свое время на всю Россию пьесы «Черная пантера») будут скоро своими же украинскими большевиками плюс московскими раздавлены. Конечно, перестрелять нас хотел не Петлюра, он сам был во власти охлоса. Из-за этого и погиб. В 20-х годах он бежал с обольшевиченной Украины и стал эмигрантом в Париже, а в 1926 году на бульваре Сан-Мишель его в упор застрелил еврей Шварцбарт, мстя за еврейские погромы, чинившиеся тем же охлосом, который ворвался и в музей перестрелять и переколоть — «гетьманцев». То есть — нас.

Но немецкий лейтенант с криками «хальт!» бросился тогда наперерез им, за ним — баварцы-солдаты с винтовками наизготовку. И этим предупрежден наш массовый расстрел в музее.

Я и брат лежим на полу в громадном зале № 8. Все тут лежат вплотную друг к дружке, как огурцы. Ходить можно только перешагивая через тела. Но если резня не удалась, то вскоре ночью музей задрожал и затрясся от взрыва адской машины, брошенной в вестибюль. Все окна вышиблены, а стеклянный купол в большой аудитории рухнул на спящих, ранив больше двухсот человек. Их куда-то увезли.

В эти дни от пришедшей на свиданье матери (у музея весь день — толпа матерей, жен, сестер, невест: свиданье давали на пять минут в вестибюле) я узнал, что в Керенске чекисты убили дядю Мишу (ее младшего брата). За покушение Фанни Каплан в Москве на Ленина псевдонимы мстили расстрелами по всей России ни в чем неповинных людей. Это — «устрашающий» террор, по слову Троцкого-Бронштейна. «Гимном рабочего класса отныне будет гимн ненависти и мести», — писала «Правда» пером псевдонима Сосновского. «В памяти не сохранились имена многих уведенных на расстрел из камеры в эти «ленинские дни», но душераздирающие картины врезались и вряд ли забудутся до конца дней», — писал заключенный тогда в Бутырки историк С. П. Мельгунов.

В уездном Керенске убили восемь человек: дядю, М. С. Вышеславцева, как образованного юриста, бывшего председателя земской управы и потому ставшего комиссаром Временного правительства, бывшего предводителя дворянства Волженского, мелкого помещика Александровского, богатого купца Балкашина (четырех других не помню). Убили подло, погнали пешком на станцию Пачелма (57 верст!) будто бы везти «на суд в Пензу» и у урочища Побитое перебили штыками и прикладами. С дядей Мишей я и брат были большие друзья. Помню свое чувство при вести о его убийстве. Со дна души поднялась такая ненависть к этим зверям, что словно вижу, как въехал бы с отрядом в Керенск, разыскал бы убийц и сам перестрелял на месте, как бешеных собак.

В музее случайно узнал и о гибели моего командира полка Василия Лавровича Симановского. Его самосудом растоптала на улице родных Кобеляк банда какого-то атамана. За что? За то, что был полковник царской армии. Вот все его преступление.

Я лежу на полу зала № 8 и чувствую, как я чудовищно устал от всей этой всероссийской «кровавой коло-

Сергей и Роман Гуль. Германия

шматины и человекоубоины». Я скажу сейчас очень непопулярные вещи. Но непопулярности не боюсь. В те дни я возненавидел всю Россию: от кремлевских псевдонимов до холуев-солдат, весь народ, допустивший в стране всю эту кровавую мерзость. Я чувствовал всем существом, что в такой России у меня места нет. Хорошо бы вырваться из этого кровавого человеческого месива в какую-нибудь беззвучную тишину, в тихие поля, в тихие леса, а еще лучше попасть бы как-нибудь на Афон и стать там монахом, думаю я. Но знаю твердо, что никуда я не вырвусь, и если не убили сейчас петлюровцы, то наверняка убьют напирающие на Киев большевики, везя уж готовую ЧеКу, оглавленную Лацисом и Португейсом.

В музее — мороз: окна ведь выбиты взрывом адской машины. Теперь нас всего человек 500. Все другие освободились по связям, а больше за деньги. Остались безденежные и «бессвязные». И судьбы своей мы не знаем.

Но вот внезапно пришла и наша судьба. 30 декабря 1918 года в зал № 8 вошел сам командир Осадного корпуса полковник Е. Коновалец [13] с комендантом музея. Коновалец невысокий, худой, невзрачный. Сделали перекличку, и комендант объявил, что сегодня ночью нас — полуголых, полуголодных, вшивых — под конвоем вывозят... в Германию. В эту невероятность нельзя поверить. Но — да, ночью вывозят — под немецким и украинским конвоем. Позднее я узнал от сопровождавшего нас лейтенанта, что нашей судьбой обеспокоился какой-то видный немецкий генерал и настоял перед Украинской директорией на нашем вывозе в Германию. Он, конечно, спас души наши! И я жалею, что запамятовал его фамилию. Помню только — «фон» и что-то вроде Вестфален (но не Вестфален, конечно!).

Темные, скотские вагоны нашего поезда, где мы вповалку лежим на соломе, медленно ползут по Украине под беспрерывные то пулеметные очереди, то одиночные винтовочные выстрелы. У двух станций — Казатин и Голубы (граница тогдашней Украины) на поезд пытались напасть какие-то банды. Но Бог миловал. Лейтенант был человек решительный, и мы пересекли у Голуб границу Украины.

А 3 января 1919 года пересекли и границу Германии. Поезд стал у первой немецкой станции — Просткен. Двери вагонов откатили. Солнце. Голубое небо. Ветерок. Легонькие облака. Совершеннейшая тишина. Ни одного выстрела. И первое ощущение: «какое отдохновение!». Этим с 3 января 1919 года и началась моя — эмиграция.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

[1] Роман Гуль. Конь рыжий. Изд. 2-е. Нью-Йорк: Мост, 1975. — 283 с.

[2] Не помню точно, «Ея Величества» или «Его», то есть, был ли он «синий» или «желтый» кирасир. В документе же, о котором я говорю ниже, полк не указан, сказано просто, что умер в чине полковника.

[3] Как рассказала мне сотрудница «Нового журнала» Елизавета Григорьевна Фокскрофт (рожд. Кандыба), Аршеневские были в близком родстве с Кандыба и в роду их была даже некая «пленная турчанка».
Е. Г. — профессор русского языка в университете в Претории (Южная Африка).

[4] Его отец Ф. В. Езерский — создатель «тройной русской системы» счетоводства, основал в Москве первые в России «Бухгалтерские курсы».

[5] Роман Гуль. Бакунин. Историческая хроника. Нью-Йорк: Мост, 1974.

[6] Иван Бунин. Окаянные дни. Вступ. статья и примечания С. П. Крыжицкого. Лондон. Канада: Заря, 1973. — 202 с. 44

[7] Н. Валентинов. Встречи с Лениным. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. 356 с.

Н. Валентинов. Малознакомый Ленин. Париж: Пять континентов, 1972. 195 с.

[8] Светлана Аллилуева. Только один год. Нью-Йорк: Харпер и Роу, 1969. 381 с.

[9] И. Шафаревич. Социализм как явление мировой истории. Париж: ИМКА-Пресс, 1977.

[10] Самая «гениальная идея» П. Ткачева была, конечно, в предложении для наиболее скорого наступления революции убить всех без исключения жителей Российской Империи старше 25 лет. Об этом в своих воспоминаниях рассказала его сестра А. Анненкова, известная детская писательница своего времени, упомянув, что от этой идеи Ткачев впоследствии отказался. Немудрено, что 44 лет от роду Ткачев умер в доме умалишенных. Известно, что Ленин необычайно высоко ценил Ткачева-революционера и предлагал «всем его изучать».

О психике Ленина интересные сведения приводит Н. Валентинов в книге «Встречи с Лениным». Он рассказывает, что близкий к Ленину в течение лет, известный большевик и писатель А. А. Богданов, по профессии врач-психиатр, в 1927 году говорил Валентинову: «Наблюдая в течение лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывают иногда психические реакции с явными признаками ненормальности».

[11] А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Париж: ИМКА-Пресс, 1974.

[12] Роман Гуль. Киевская эпопея. Архив русской революции, издаваемый И. В. Гессеном. Берлин, 1921.

[13] Коновалец убит в Роттердаме в 1938 году советским агентом.

* * *

АВТОБИОГРАФИЯ

До революции 1917 года

Я родился в 1896 году, в Киеве. Свое раннее детство и юность провел в г. Пензе и в Пензенской губернии, в имении отца Рамзай. В детстве я и мой брат Сергей (умер во Франции в 1945 году) часто ездили к деду в уездный городок Керенск Пензенской губернии. С этим заброшенным городком у меня связаны прекрасные детские воспоминания: старый дом, запущенный большой сад, весь старинный уклад той русской жизни. После большевистской революции Керенск из города был «снижен» большевиками в село и переименован в Вад (по реке Вад, на которой он стоит). Переименование было сделано потому, чтобы люди не связывали названия городка с именем премьер-министра февральской революции Керенского, хотя он не имел к городу никакого отношения (впрочем, кажется, его дед, протопоп, был родом из Керенска). Так с географической карты России исчез город моего детства.

Мое отрочество связано с городом Пензой, где я окончил пензенскую Первую мужскую гимназию. Это была старая гимназия, основанная во времена Николая I (тогда это был закрытый дворянский пансион). В наше время это была обычная классическая гимназия. Мой отец был юрист, домовладелец и помещик. В Пензе на главной, Московской улице (которую я сейчас вижу, как сон), у нас был каменный белый дом. Были свои лошади, две верховых (для меня и брата), корова, куры, собаки. Так тогда жили все зажиточные пензяки. А в Саранском уезде Пензенской губернии у нас было именье в 153 десятины, с большим деревянным домом, фруктовым садом, с множеством всяческой скотины; там, в юности я охотился с борзыми и гончими.

Отец мой хотел, чтобы я поступил на юридический факультет Московского университета. Я соглашался, хотя к юриспруденции особой склонности не имел. Меня манила жизнь в столице, в Москве. Но когда я был в последнем классе гимназии, в декабре 1913 года отец внезапно умер от припадка грудной жабы. Эта смерть была первым сильным переживанием. Она многое открыла мне, чего я раньше не чувствовал. В 1914 году я поступил на юридический факультет Московского университета. Забыл сказать, что при жизни отца мы семьей (отец, мать и двое нас, сыновей) довольно много путешествовали по России. Часто ездили по Волге, просторы которой до сих пор помню; ездили на Кавказ, где в память врезалась горная гроза, когда мы были на горе Бештау, куда мы ездили на тройке. Бывали в Москве, ездили за границу — в Германию (там, в Бад Наухейме отец лечился почти каждое лето от сердечной болезни; после курса его лечения мы ехали по Европе — в Италию, Швейцарию, Австрию — и возвращались домой в Пензу к началу учения).

В Москве я поселился в знаменитом студенческом районе — на Малой Бронной. Перед университетом я благоговел. Но из профессоров меня увлек только один, читавший введение в философию — приват-доцент Иван Ильин. Впоследствии он тоже оказался в эмиграции, а умер в Швейцарии, в Цюрихе, после второй мировой войны. У Ильина я и стал, главным образом, заниматься философией. Как сейчас помню, Ильин указал мне первые шесть книг для начала занятий: 6-й том диалогов Платона («Апология Сократа»), «Пролегомены» Канта, историю философии Древней Греции кн. С.Н. Трубецкого и еще две-три книги. В это время уже шла мировая война. Когда я перешел на третий курс университета, мой год был мобилизован, и я был отправлен в Московскую офицерскую школу, которую окончил через четыре месяца.

Февральскую революцию 1917 года я встретил, уже, будучи молодым офицером в запасном полку в своем родном городе Пензе. Весной 1917 года я отправился на Юго-Западный фронт, где в 417-м Кинбурнском полку был сначала младшим офицером, потом командиром роты, а затем полевым адъютантом командира полка. Мне нравился стиль моего послужного списка: «участвовал в боях и походах против Австро-Венгрии». Как известно, Австро-Венгрии давно уже нет на географической карте Европы.

В Москве в годы моего студенчества я бывал в семье инспектрисы Николаевского Института С. Ф. Новохацкой. Она была старым другом нашей семьи еще по Пензе; там она потеряла мужа, бывшего врачом, и со своими четырьмя дочерьми переехала в Москву. К Новохацким я обычно ездил со своим другом детства, бар. Гавриилом Штейнгелем. Я был влюблен в Олю Новохацкую, а Штейнгель — в старшую, Наташу. В 1915 году Штейнгель женился на Наташе, я был шафером, и у меня до сих пор сохранилась большая фотография свадебной церемонии. Увы, почти все люди, изображенные на этой фотографии, погибли в гражданской войне и революции. В 1917 году, когда я ушел на фронт, Оля осталась в институте. И встретились мы снова только через много лет, в Берлине после мировой войны, после двух гражданских войн, после смертей многих наших близких.

Почему я пошел в Добровольческую армию

Ни до революции, ни после революции я не принадлежал ни к какой политической партии. Отец мой был член конституционно-демократической партии Народной Свободы (русские либералы). В революцию я сочувствовал идеям этой партии и воспринял революцию как демократ. Я был противником монархии, сторонником республики, демократии и социальных

реформ. В частности, передачи земли крестьянам, хотя я сам происхожу из помещичьей семьи — у нас в Пензенской губернии было именье. Как демократ, я считал необходимым созыв Всероссийского Учредительного Собрания, которое должно установить в России демократическую конституцию. Так как созыв Учредительного Собрания был лозунгом и Добровольческой Армии, я поехал туда на вооруженную борьбу с большевизмом.

Сначала я был в партизанском отряде полковника Симановского, в рядах которого участвовал в боях с большевиками. Затем этот отряд влился в Офицерский Корниловский Ударный полк. В составе этого полка я проделал знаменитый «Ледяной Поход» по донским и кубанским степям. Участвовал во многих боях с большевиками; под станицей Кореновской, в атаке на красный бронированный поезд, был ранен в бедро.

Летом 1918 года Добровольческая Армия вернулась в Ростов-на-Дону. Меня, как раненного, положили в госпиталь в Новочеркасске. К этому времени Добровольческая Армия политически меня разочаровала. После смерти ген. Корнилова влияние в армии перешло к монархистам. Демократический лозунг созыва Учредительного Собрания стал фиктивным. Монархическая верхушка армии придала ему антидемократический, антинародный характер. В отношении крестьян применялись бессмысленные жестокости, бессудные расстрелы, чем Белая Армия отталкивала от себя самые главные антибольшевистские силы, основную массу населения России — крестьян. Я понимал, что такая армия «реставрации» осуждена на поражение. Осенью 1918 года я подал рапорт об уходе из армии. Я уехал вместе со своей матерью в Киев к родным. В Киеве жила моя тетка, Е. К. Высочанская. Ее муж был полковником артиллерии. Гражданская война в рядах Добровольческой Армии мною описана в книге «Ледяной Поход».

Как я попал за границу

На Украине в 1918 году тоже шла гражданская война, несмотря на то, что Украина была оккупирована немцами. В Киеве сидел гетман Скоропадский. На Киев при поддержке австрийцев наступали войска Симона Петлюры. Защищаясь от Петлюры, Скоропадский объявил мобилизацию всех находящихся в Киеве офицеров. И я, как офицер, был мобилизован и назначен в дружину генерала Кирпичева. Дружина была выдвинута на защиту Киева от Петлюры.

14 декабря 1918 года Петлюра взял Киев. Гетман Скоропадский бежал. Все вооруженные части сдались Петлюре. Я в числе многих сотен других офицеров попал в заключение в Педагогический Музей на Владимирской улице. Мы находились там под охраной украинского и немецкого караулов. В это время на Киев с севера наступали большевики. Было ясно, что они возьмут Киев. В этом случае нам, офицерам, грозил неминуемый расстрел. Как я узнал уже много позднее, за нас, заключенных в Педагогическом Музее офицеров, стал хлопотать находившийся в Киеве какой-то немецкий генерал, чтобы представители Петлюры разрешили вывезти нас в Германию. Многие офицеры освобождались за деньги и благодаря украинским связям. Я был в числе тех, у кого ни того, ни другого не было. И 30 декабря 1918 года всех нас, оставшихся в заключение, человек пятьсот–шестьсот, погрузили в вагоны и под охраной немецкого и украинского конвоя повезли в Германию. Попал я в лагерь для «перемещенных лиц», как их теперь называют. И там, в Гарце, в горах, начал писать свою первую книгу «Ледяной Поход».

Как я начал писать? Меня давно тянуло к писанию, с детства, с отрочества, но я и вообразить себе не мог, что когда-нибудь то, что я напишу, будет напечатано, будет как-то, стало быть, признано и люди будут это читать. Первое — я, молодой человек двадцати двух лет, был так потрясен зверством гражданской войны, что чувствовал потребность рассказать о ней правду, и рассказать именно так, чтобы люди увидели всю нелепость, глупость и зверство того, что называется словами — «гражданская война». Но непосредственный толчок к писанию мне дала одна книга: рассказы В. Гаршина. В Гарце, в лагере Гельмштедт, где жили русские беженцы, я как-то прочел рассказ Гаршина «Рядовой Иванов». В свое время этот рассказ своим «ужасом» военных картин потрясал дореволюционных русских читателей. Но когда сейчас я его прочел, я подумал: «да ведь если сравнить «Рядового Иванова» с тем, что я видел в гражданской войне, рассказ Гаршина покажется почти детским чтением». И я решил написать правду о гражданской войне.

2 января 1919 года мы переехали границу Германии. Так началась моя эмиграция. Нас поместили в лагерь военнопленных Деберитц под Берлином. Вслед за нашим эшелоном немцы привезли из Киева в Германию еще четыре-пять поездов с офицерами и солдатами. Гражданская война в Киеве, заключение в Педагогическом Музее, наш вывоз за границу и помещение в лагерь Деберитц мной описаны в большой статье «Киевская Эпопея» (см. «Архив Русской Революции», т. II, Берлин, 1921).

Но когда я начал писать, я понял, какой это труд — «быть писателем». Я не умел выразить своих чувств, не умел построить фразу так, как хотел, она мне не давалась, не умел описать сцену так, чтоб читатель ее увидел и почувствовал. И все-таки с большим трудом, потихоньку, я свою книгу писал. И написал. Она называлась «Ледяной Поход». Так в истории русской гражданской войны называется легендарный поход, зимой, через донские и кубанские степи, от Ростова до Екатеринодара, белой армии генерала Корнилова в 1918 году. Участником этого похода я и был. Написанное мною я читал в лагере Гельмштедт, в Брауншвейге, своим друзьям-офицерам, участникам гражданской войны. Они одобряли. Но о том, чтобы напечатать книгу, я и не думал, ибо мы жили полуголодной жизнью в лагере, отрезанные от культурного мира. Я работал у лесоторговца — в лесу обдирал кору со срубленных деревьев. На помощь мне, как всегда, пришел случай. В берлинской русской газете я прочел, что известный литератор и бывший комиссар Верховной Ставки при Керенском, В. Б. Станкевич начинает в Берлине издание русского журнала «Жизнь». Не без волненья я послал Станкевичу одну главу из своей книги и с нетерпением ждал ответа, причем, конечно, ждал ответа «классического»: не подошло. Письмо от Станкевича пришло: он очень хвалил присланный ему отрывок, сообщал, что напечатает его в «Жизни». И больше того, предлагал мне приехать в Берлин на переговоры: может

быть, я соглашусь постоянно работать вместе с ним в журнале.

Я с радостью приехал в Берлин. Это был интересный Берлин 1920 года, еще не оправившийся от войны, я его хорошо помню. Наша встреча с В. Б. Станкевичем и его чудесной семьей — женой Наталией Владимировной и дочерью Леночкой перешли в дружбу на всю жизнь.

В нашей жизни много моментов, которые запоминаются на всю жизнь. Моменты эти бывают и значительные и незначительные. Так вот, я не знаю, как назвать — значительным или незначительным — момент, когда я впервые увидел в журнале «Жизнь» напечатанным то, что я написал. Для писателя, то есть для человека, для которого его писание есть призвание, — появление в печати первого произведения — это всегда знаменательная дата. Я и сейчас помню свое чувство, когда открыл журнал «Жизнь» с моим первым отрывком из «Ледяного Похода». Это было счастье возможности того жизненного пути, который я сам выбрал. Вскоре издатель С. Ефрон в Берлине издал мою книгу «Ледяной Поход». Это было в 1921 году. Книга имела большой успех. Помню, я получил письмо от Максима Горького, в котором он хвалил мою книгу. Хорошо отозвался о ней приехавший тогда в Берлин известный поэт Андрей Белый. На одном литературном собрании в 1922 году я встретил высланного из России известного критика Ю. Айхенвальда. Знакомясь со мной, он сказал хорошие слова о моей книге: «Ваша книга против всякой гражданской войны — и против белых, и против красных».

В 1920 году Станкевич предложил мне переехать из лагеря в Берлин, где он редактировал тогда журнал «Жизнь». Я переехал. Вокруг Станкевича и его журнала образовалась небольшая группа русских демократов-антикоммунистов. Группа называлась «Мир и труд». Политическая позиция группы выражалась в желании внутреннего замирения России после гражданской войны. В первом номере журнала «Жизнь» сообщение от редакции говорило: «Период опустошения и разрушения близок к концу. С каждым днем ярче предчувствуем мы приближение творческого периода русской революции, который, несомненно, наступит, какой бы политической вывеской ни прикрывалась власть». Настроения этой группы были и моими настроениями. В журнале «Жизнь» я опубликовал три отрывка воспоминаний о гражданской войне «Ледяной Поход».

В Берлине я сотрудничал и в других русских антикоммунистических журналах и газетах: «Время», «Русский эмигрант», «Голос России», «Новая Русская Книга». Политических статей я не писал, ибо вообще я не публицист и их не пишу. Я писал художественную прозу и статьи по вопросам литературы. В 1921 году в Берлине в издательстве С. Ефрона (владелец издательства, Семен Абрамович Ефрон, позднее умер в Берлине) вышли отдельной книгой мои воспоминания о гражданской войне «Ледяной Поход» (с Корниловым). Это была моя первая книга. Она была и первой книгой о гражданской войне. Эта книга имела большой успех, о ней много писали. Ряд известных писателей (М. Горький, Ю. Айхенвальд, А. Белый и др.) прислали мне свои письма. Но в правых, монархических кругах книга вызвала возмущение и ненависть ко мне, ибо я рассказал всю правду о жестокости гражданской войны, о бессудных расстрелах крестьян, о тупости политики Белой Армии. Ненависть русских монархистов и фашистов ко мне живет и до сих пор в их печати и в кругах таких организаций, как Общевоинский Союз, Высший Монархический Совет и пр. Ненависть эта несправедлива, ибо вся последующая литература о Белой Армии подтвердила то, что я писал в «Ледяном Походе». Я имею в виду даже такие книги, как воспоминания известного монархиста В. Шульгина, воспоминания самого генерала Врангеля и другие.

По приезде в Берлин я вступил в Русский Студенческий Союз, ибо думал продолжать прерванное войной высшее образование. В Союзе я был избран товарищем председателя. Председателем был Евгений Исаакович Рабинович, ныне видный американский ученый по вопросам атомной энергии и редактор «Бюллетеня Комитета Атомной Энергии».

Мы с Рабиновичем всегда были в хороших отношениях, хотя он и не разделял моей тогдашней веры в то, что в Советской России даже при начавшемся НЭПе возможна эволюция в сторону демократии. Из-за политических споров Русский Студенческий Союз вскоре раскололся на три части. Из Союза ушли монархисты. Ушли также члены Союза, стоявшие, как и я, на точке зрения внутреннего замирения в Советской России после гражданской войны. Эта группа студентов выбрала меня своим председателем. Вскоре я совершенно ушел от всяких студенческих дел, ибо решил высшего образования не продолжать, а всецело посвятить себя литературе.

Тогда в Берлине была группа русских молодых писателей, поэтов, художников. Это начало своей эмигрантской жизни вспоминаю с удовольствием, как всякую беззаботную молодость. В 1921 году, пройдя больше 400 километров пешком по Советской России до границы Польши и тайно перейдя границу, ко мне из Варшавы в Берлин приехала моя мать и с ней наша старая няня, Анна Григорьевна Булдакова. А в 1925 году из Советской России, после тяжелой операции, приехала моя теперешняя жена Ольга Андреевна Новохацкая, с которой мы обвенчались в 1927 году. За годы жизни в Берлине я издал сравнительно много книг — «Генерал БО», двухтомный роман, переведенный на девять иностранных языков, «Скиф» (роман о Бакунине), две книги о красных советских маршалах — «Тухачевский» и «Красные маршалы», которые тоже были переведены на несколько иностранных языков, и другие.

В 1921 году я поступил секретарем редакции русского эмигрантского библиографического журнала «Новая Русская Книга». «Новая Русская Книга» имеется в Публичной библиотеке Нью-Йорка. Этот антикоммунистический журнал издавался издательством Ладыжникова (владелец, Б. Н. Рубинштейн, погиб во время последней войны в Париже). В «Новой Русской Книге» я писал литературно-критические статьи и рецензии. Как секретарь работал в этом журнале до его закрытия в 1928 году.

«Сменовеховцы» и газета «Накануне»

Так как клевета на меня со стороны монархистов, солидаристов и советских агентов всегда оперировала моим «сменовеховством» и сотрудничеством в газете «Накануне», то я хочу подробно осветить все это.

В июле 1921 года в Праге группа видных русских эмигрантов издала сборник «Смена Вех». В сборнике

поместили статьи проф. Ю. Ключников, проф. Н. Устрялов, проф. С. Лукьянов, проф. С. Чахотин, А. Бобрищев-Пушкин и Ю. Потехин. По заглавию сборника — «Смена Вех» — люди, примыкавшие к этим взглядам, получили в эмиграции название «сменовеховцев». Позиция группы сборника «Смена Вех» была такова. Оставаясь антикоммунистами, сменовеховцы верили в то, что провозглашенная в Советской России в 1921 году новая экономическая политика (НЭП) является ликвидацией коммунистической революции, примирением власти с населением и постепенным переходом России к формам трудовой демократии. В сборнике «Смена Вех» проф. Н. Устрялов писал: «Коммунизм не удался... дальнейшее продолжение этого опыта в русском масштабе не принесло бы с собой ничего, кроме подтверждения его безнадежности при настоящих условиях, а также неминуемой гибели самих экспериментов... Дело в самой системе, доктринерской и утопической при данных условиях. Только в изживании, преодолении коммунизма — залог хозяйственного возрождения государства».

И веря, что Россия после гражданской войны встанет на путь нормальной хозяйственной и политической жизни, авторы сборника «Смена Вех» звали эмиграцию к примирению с властью в Советской России. Напомню, что положение в России тогда было таково: вся земля была в руках крестьян — это был единственный период во всей русской истории, когда крестьяне обладали всей землей и были довольны своим положением; рабочие не были прикреплены к фабрикам и заводам, а работали, где хотели; в искусстве и литературе была относительная свобода; наряду с Государственным Издательством (ГИЗ) открылись частные издательства; в хозяйственной жизни была частная инициатива, многим собственникам были возвращены предприятия и дома; были допущены иностранные концессии. Именно тогда у теперешнего губернатора Нью-Йорка Аверелла Харримана были концессии в России. Существовали уже отдельные концлагеря, но системы принудительного труда тогда не было. Выезд за границу был несвободен, но все-таки за границу тогда выпускали сравнительно легко. Веру «сменовеховцев» в эволюцию советского режима разделяли многие иностранные государственные деятели. за границей на такой же позиции стояло несколько русских изданий. В Нью-Йорке, в частности, газета «Новое Русское Слово» и ее редактор М. Е. Вайнбаум.

В марте 1922 года группа «сменовеховцев» (проф. Ю. Ключников, проф. С. Лукьянов, проф. С. Чахотин, Ю. Потехин и другие) стали издавать в Берлине сменовеховскую газету «Накануне». Я подчеркиваю — сменовеховскую, а не коммунистическую, как лгали многочисленные доносчики. В Берлине существовала коммунистическая русская газета «Новый Мир», но со «сменовеховцами» она не имела ничего общего. Сотрудничать в «Накануне» стали многие видные русские писатели и журналисты: Алексей Толстой, Ив. Соколов-Микитов, А. Дроздов, А. Ветлугин, Н. Петровская, И. Василевский (Не-Буква) и др. Алексей Толстой редактировал воскресное «Литературное Приложение» к «Накануне». В это время я работал в журнале «Новая Русская Книга». Однажды, придя к нам в редакцию, Толстой попросил у меня литературный материал для своего «Литературного Приложения». Я тогда как раз писал роман из жизни эмиграции 1920-1921 годов «В рассеяньи сущие» и дал Толстому отрывок. Этот отрывок был напечатан в «Литературном Приложении» к «Накануне» от 28 мая 1922 года.

Вскоре в Союзе Русских Писателей и Журналистов Владимир Татаринов поднял вопрос об исключении из Союза всех сотрудников «Накануне». После напечатания отрывка из моего романа я, считая себя солидарным со всеми сотрудниками «Накануне», пришел на собрание Союза, где должен был обсуждаться вопрос об исключении сотрудников «Накануне». Так как в Союзе у меня было много друзей, которые не хотели моего исключения, то они предложили мне, чтобы я сам просто ушел из Союза. Но я на это не пошел. И в своем выступлении на собрании Союза сказал, что я не понимаю, почему за помещение в газете «Накануне» художественной прозы я должен быть исключен, а один из редакторов газеты «Руль» (ежедневная демократическая газета, издававшаяся в Берлине И. Гессеном, А. Каминкой и В. Набоковым), профессор Каминка, который имел тогда с большевиками торговые операции, может оставаться в Союзе. Это произвело впечатление скандала. Добровольно уйти я отказался. Тогда собранием было принято постановление об исключении всех сотрудников «Накануне» из Союза. Вскоре после этого в газете «Руль» была помещена заметка репортера Бориса Бродского об этом собрании, в которой он приписал мне, будто на собрании я заявил себя «сторонником диктатуры пролетариата» (!?).

Хотя я и не писал политических статей в газете «Накануне», тем не менее один мой фельетон может прекрасно осветить мои политические настроения того времени. Этот фельетон под названием «D-Zug» был помещен в «Накануне» от 25 ноября 1923 года. В нем я описывал свою летнюю поездку по Германии и высказывал кое-какие политические мысли. Я наивно, как я теперь понимаю, писал о том, что мечты коммунистов о мировой революции кончились, и Россия выходит из революционных бурь своеобразной Америкой. Вот цитата из фельетона: «Русские интеллигенты-коммунисты — последние из касты русской интеллигенции, мечтавшей сделать жизнь «для внуков» и тянувшиеся детскими руками к звездам... Непрошено, нежданно и негаданно в жизнь пришли новые гости. Дали новый тон жизни. Это — люди не метафизически, а буквально выросшие в революции. О, они живут не для внуков! Извините, на себя жизни не хватает. Это — не интеллигентская мечта. Ей подвели итог. Это — Америка с московским масштабом». Полагаю, что этой цитаты достаточно, чтобы показать не только мою тогдашнюю наивность, но и всю лживость утверждений, будто бы я заявлял себя «сторонником диктатуры пролетариата».

Когда в Париже в 1945 году начала издаваться русская прокоммунистическая газета «Русские Новости», главным ее сотрудником (а фактически, редактором) стал В. Татаринов, репортером — Б. Бродский. Через некоторое время французские власти выслали Б. Бродского из Франции в Советский Союз как советского агента, о чем сообщалось во всех русских газетах.

Работа в «Накануне» дала мне возможность многое узнать о Советской России. Эта газета была допущена к продаже в Советской России, будучи там единственной некоммунистической газетой. Естественно, что целый ряд лучших беспартийных писателей, живших

в Советской России, принял участие в «Литературном Приложении» к «Накануне». Там печатались Мандельштам, Пильняк, Федин, Катаев, Никитин, Волошин, Слезкин, Мариенгоф, Всев. Иванов, Булгаков, Лидин, Рождественский, Орешин, Неверов, Чуковский, Никулин, Голлербах и многие другие. Со многими из них у меня установилась дружеская переписка, со многими я познакомился, а с некоторыми и близко сошелся, когда они приезжали в Германию. В те годы за границу писателей выпускали сравнительно легко. В Берлине я познакомился с Конст. Фединым, Юрием Тыняновым, Борисом Пильняком, Евг. Замятиным, Ник. Никитиным, Ильей Груздевым и другими. Все это были писатели не только беспартийные, но и настроенные враждебно к режиму. С некоторыми я близко сошелся, и они были со мной откровенны. От них я узнал многое о советском режиме и тамошней жизни. В разговоре со мной ни один из них не посоветовал мне вернуться в Россию.

В двадцатых годах в Советской России у меня вышли три книги: «Ледяной Поход», «Жизнь на Фукса», «Белые по Черному» (очерки о жизни русской эмиграции в Африке, написанные мной по рассказу бывшего там эмигранта). «Ледяной Поход» был перепечатан Госиздатом с издания, выпущенного в эмиграции. Рукописи двух других книг я передал моим друзьям Константину Федину и Илье Груздеву, которые их и провели в Ленинграде через цензуру и устроили их издание. Гонорар за них я получал по почте, тогда переводы делались свободно.

Кончая говорить о «сменовеховстве», я хочу указать на трагическую судьбу политических представителей этого течения. Профессор Н. Устрялов был приглашен советским правительством приехать в Россию. Он поехал и был убит чекистами в поезде. Профессор С. С. Лукьянов вернулся в Россию, был заключен в Ухт-Печерский лагерь, где умер, как сообщают, под пытками на допросах. Профессор Ю. Ключников бесследно исчез в каком-то концлагере. Журналист Литвин был сослан на Соловки. Погибли также многие вернувшиеся в Россию писатели, такие, как, например, Георгий Венус, умерший в тюрьме в Сызрани. Так смертью расплатились люди за свою ошибку — за то, что они поверили в возможность эволюции советского режима в сторону нормального демократического государства.

С конца двадцатых годов, когда в России обозначился отказ от НЭПа и новый поворот в сторону коммунизма, я был уже таким же врагом советской власти, каким был в 1917 году.

Литературная работа в Берлине в 1924–1933 гг.

С 1924 года в Берлине я работал как свободный писатель. Мои книги выходили по-русски и на иностранных языках. Все мои книги по-русски выходили в эмигрантском издательстве «Петрополис» (владельцем этого издательства был проф. А. С. Каган).

В 1929 году в изд-ве «Петрополис» вышел мой двухтомный исторический роман «Генерал БО». Этот роман имел большой успех, был переведен на восемь иностранных языков. Главными действующими лицами романа «Генерал БО» являются известные исторические лица: провокатор Азеф и его друг, известный революционер-террорист Борис Савинков. Роман описывает борьбу партии социалистов-революционеров и царской полиции в 1905–1908 гг.

В 1931 году в изд-ве «Петрополис» вышел мой другой исторический роман «Скиф» (об анархисте М. Бакунине, из времен царствования Николая I, 1830–1850 гг.). В 1932 году я опубликовал в изд-ве «Петрополис» книгу «Тухачевский. Красный маршал».

Это была первая книга из задуманной мною серии портретов видных советских деятелей. Когда книга «Тухачевский» вышла, издатель А. С. Каган мне рассказывал, что к нему в издательство приходил Эренбург и сказал, что эту книгу Советы не простят ни автору, ни издателю. Впоследствии книга «Тухачевский» вышла по-французски, по-шведски, по-фински. В Нью-Йорке эта книга была напечатана на идише в газете «Форвертс». В 1933 году в «Петрополисе» вышла моя книга о других советских маршалах — Ворошилове, Буденном, Блюхере, Котовском. Эта книга вышла и на французском языке.

В 1933 году я работал над следующей книгой из этой серии — биографиями вождей коммунистического террора (Дзержинский, Менжинский, Ягода и др.). В этой книге я решил дать историю коммунистического террора, начиная с 1918 года. Но в июне 1933 года из-за прихода Гитлера к власти оставаться в Германии я не хотел. Я хотел с женой переехать в Париж. Многие из моих друзей, русских демократов, уже уехали тогда во Францию. Уехал, в частности, и Б. И. Николаевский, который обещал мне выслать французскую визу. Через некоторое время он мне сообщил, что виза для меня и жены получена, и я могу пойти за ней во французское консульство. Эту визу Николаевский получил через известного французского политического деятеля, впоследствии премьер-министра, Леона Блюма. Но как раз в этот момент со мной произошла неожиданная неприятность: я был арестован гитлеровцами. Мой арест и мое пребывание в концлагере Ораниенбург подробно описаны в моей книге «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере». Эта книга была мной выпущена в 1937 году в Париже.

Моя жизнь в Париже в 1933–1938 гг.

3 сентября 1933 года мы с женой приехали во Францию. В Париже я продолжал свою литературную работу. Я сотрудничал в известной, самой распространенной русской антикоммунистической газете проф. П. Н. Милюкова «Последние Новости». В ней, еще из Германии, в 1932 году я напечатал серию статей под названием «Прыжок в Европу». Это — рассказ о советской жизни бежавшего через Прибалтику в Германию советского юноши Петра Шепечука. С ним я встретился в Берлине у своих знакомых, которые принимали в нем участие. И по его рассказам написал эту рукопись. Она печаталась и по-немецки.

Кроме «Последних Новостей», я сотрудничал и в других антикоммунистических журналах: в «Современных Записках», в «Иллюстрированной России», в «Иллюстрированной Жизни» и др. Писал я также сценарии для кино. В 1933 году я вступил членом в Союз Русских Писателей и Журналистов во Франции.

В 1936 году я закончил свою книгу по истории коммунистического террора и опубликовал ее по-русски. По-русски она называлась «Дзержинский»

(по имени первого начальника Чека и организатора красного террора). Все материалы для этой работы я получал из богатейшего архива Б. И. Николаевского. Во французском издании я довел эту работу до террора Ежова (знаменитые Московские процессы и пр.).

В 1935 году я вступил в русскую масонскую ложу «Свободная Россия» (ложа «Великого Востока Франции»). Это была ярко антикоммунистическая ложа. В этой ложе в 1936 году я читал доклад о терроре в Советском Союзе (из своей книги по истории красного террора). Тем временем в монархической газете «Возрождение» советским провокатором, ген. Скоблиным через своего друга, сотрудника газеты «Возрождение» Н. Н. Алексеева, было сообщено, что я читал «доклад о масонстве в СССР». Привожу это как один из примеров борьбы со мною советских агентов.

В конце 1936 года благодаря изданному по-французски моему роману «Генерал БО» известный кинорежиссер Жан Федер пригласил меня работать в фильме из русской революции. Это был фильм для Марлен Дитрих и Роберта Доната «Kniught without armour» («Рыцарь без доспехов»), который ставился Александром Корда. Я был приглашен как «technical and dramatical adviser». В Лондоне я пробыл больше полугода. Когда я вернулся во Францию, то на заработанные деньги купил на юге Франции небольшую, в 5 гектаров, ферму Пети Комон около городка Нерак, в департаменте Лот-э-Гаронн. Эту ферму я купил, собственно, для своего брата, который хотел во Франции заняться сельским хозяйством.

Как раз в 1936 году мне, после долгих стараний, удалось через известного депутата французской Палаты Мариуса Мутэ получить визу для моей семьи, остававшейся в Германии. Моя мать, брат, его жена и мой племянник в конце 1936 года приехали во Францию. Брат мой с семьей поселился на ферме Пети Комон и занялся сельским хозяйством.

Приезд моей семьи из Германии дал мне возможность опубликовать мою рукопись «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере», которую я не мог напечатать, пока семья оставалась в Германии. Эта моя книга вышла в 1937 году в Париже. В русской демократической печати книга «Ораниенбург» имела много хороших отзывов, но со стороны русских монархистов и фашистов (а в эмиграции их было великое множество) она вызвала брань по моему адресу.

В 1937 году в русском театре в Париже была поставлена моя пьеса «Азеф» (по роману «Генерал БО»).

В 1938 году на ферме Пети Комон под Нераком умерла моя мать и похоронена на кладбище Нерака. Вскоре вспыхнувшая война застала меня и жену на ферме Пети Комон. Все мои политические и литературные друзья тогда покидали Францию, уезжая в Америку. Мы тоже хотели ехать с женой в Америку. Для этого я держал связь с Б. И. Николаевским, который принимал участие в организации этого переезда. Он должен был приехать к нам на ферму, чтобы обо всем переговорить, но приехать так и не смог. И я остался во Франции.

Жизнь во время войны, 1939–1945 гг.

На ферме Пети Комон я остался совершенно без всяких средств. Демократические русские газеты и журналы с занятием Парижа немцами прекратились. Русские монархисты и фашисты пошли с немцами и грозили мне за мою книгу «Ораниенбург». Ферма в пять гектаров прокормить нашу семью не могла. И мы с женой в 1939 году пошли рабочими на стеклянную фабрику в городке Вианн (в том же департаменте, неподалеку от фермы). Работали мы там около полугода. Но фабрика закрылась из-за военных событий. Из-за моей книги «Ораниенбург» я должен был от немцев скрываться. Мы с женой решили превратиться в самых настоящих крестьян.

В 1940 году я, мой брат, моя жена, жена брата сняли, как испольщики, большую ферму в 30 гектаров с тридцатью головами рогатого скота. Это была молочная ферма с одиннадцатью молочными коровами недалеко от городка Вианн, в том же департаменте Лот-э-Гаронн. Ферма принадлежала богатому французу Ле Руа Дюпре. На ней, как крестьяне, мы прожили три года. После этого переехали на другую ферму, около городка Кастельжалю в том же департаменте; эта ферма называлась Пайес и принадлежала французу Мобургет. На этой ферме мы дожили до конца войны. Позже монархисты, солидаристы и советские агенты лгали, что я жил «где-то на границе Испании» — между тем во время войны иностранцы не имели права передвижения по стране. Они были прикреплены к месту их жительства.

Возвращение вПариж, 1945–1950 гг.

После окончания войны в июле 1945 года мы с женой вернулись в Париж на нашу старую квартиру (258 рю Лекурб. Париж XV). По приезде в Париж, в 1945 году я вошел в русскую масонскую ложу «Юпитер» («Великая Ложа Франции»). Через некоторое время я вынужден был из нее уйти. Дело в том, что большинство ее членов стояло тогда на просоветской позиции. На этой почве в ложе у меня произошел конфликт с просоветской группой (адмирал Вердеревский, братья Ермоловы, Шклявер и др.). И так как эта группа в ложе была в большинстве, я, разослав русским масонам циркулярное письмо, протестующее против прокоммунистических настроений этих масонов, ушел из ложи. Документы по этому делу имеются в моем архиве.

По приезде в Париж я связался со своими друзьями в Америке, Б. И. Николаевским, В. М. Зензиновым и другими. В это время я закончил новую книгу «Конь Рыжий» (моя автобиография в художественной форме). Эту рукопись я послал в Америку через Б. И. Николаевского профессору М. А. Карповичу, редактору «Нового Журнала». Она там была напечатана в книгах 14, 15, 16, 17 за 1946 и 1947 годы. В 1952 году «Конь Рыжий» вышел отдельной книгой в издательстве им. Чехова в Нью-Йорке. Вместо предисловия было напечатано письмо ко мне известного русского писателя-эмигранта Ив. Бунина. Книга имела везде хорошую прессу. Даже военный монархический журнал «Часовой» («La Sentinelle»), выходящий в Брюсселе в Бельгии, сочувственно отозвался об этой книге.

В эти годы я продал один мой киносценарий нескольким французским обществам: Синэ-Альянс, Аталье Франсэс, Виктория Фильм. В те же годы в Париже я занялся и политической работой — впервые в моей жизни. После войны в Западной Европе

осталось много советских эмигрантов, и мне тогда казалось, что именно с ними можно начать широкую и активную антикоммунистическую работу.
В Париже я познакомился со многими из советских эмигрантов. Оказывал им всякого рода помощь.

В 1946 году ко мне домой приехал С. Мельгунов, прося меня о совместной с ним антикоммунистической работе. Мельгунов просил меня войти в редакцию антикоммунистических сборников, которые он выпускал тогда в Париже. Но в 1948 году я с ним разошелся из-за напечатания статьи проф. Карташева о Белой Армии, с которой я был не согласен.
Об этом инциденте Мельгунов писал в своих сборниках. После статьи Карташева я вышел из редакции сборников Мельгунова; в них прекратили сотрудничать и мои нью-йоркские друзья.

В конце 1948 года я создал демократическую группу под названием «Российское Народное Движение» и стал издавать журнал «Народная Правда». Мельгунов, человек чрезвычайно пристрастный, начал против меня мелочную травлю. В ней приняли участие окружавшие его монархисты (Цуриков и др.) и солидаристы (Столыпин и др.), с которыми у меня были давние счеты. В конце концов, на эту травлю я вынужден был ответить открытым письмом гг. Мельгунову и Цурикову в «Народной Правде» (№ 7–8, 1950 г.).

Самую существенную помощь «Народной Правде» оказывал тогдашний представитель Американской Федерации Труда Ирвинг Браун. С Брауном меня познакомил в Париже американский журналист Леон Дениен (Денненберг). Б. Николаевский и Д. Далин принимали самое близкое участие в «Народной Правде». «Народная Правда» просуществовала с 1948 года по 1952 год. Этот демократический журнал имел большой успех в широких кругах эмиграции. Последние номера я издавал уже в Нью-Йорке. Тут мне поддержку на это издание оказал «Американский Комитет по борьбе с большевизмом» в лице его тогдашнего председателя Юджина Лайонса.

В 1949 году в Париж приехал Виктор Кравченко на свой процесс. Друзья из Нью-Йорка советовали ему обратиться в Париже ко мне. Кравченко пришел ко мне. Прежде всего, ему нужен был секретарь, которому он мог бы абсолютно доверять и с которым мог бы работать во время процесса. Я ему привез для этой работы нашего знакомого Александра Зембулатова. Во время процесса Зембулатов, как переводчик и личный секретарь, проделал для процесса громадную работу. Во время процесса я поддерживал с Кравченко непрерывную связь. Как-то ко мне приехал мой друг, известный польский антикоммунист, писатель граф Йозеф Чапский. Он сказал, что в Германии только что вышла потрясающая книга о советских концлагерях бывшей коммунистки Бубер-Нейман и что он может достать один экземпляр книги. Получив экземпляр книги, я тут же отвез его Кравченко.
А через три дня сама Бубер-Нейман приехала в Париж из Германии и выступила на процессе с сенсационными показаниями о концлагерях.

В Нью-Йорке, в первое время после моего приезда, В. Кравченко мне помог материально при моем устройстве.

Жизнь в Америке

В 1950 году я уехал из Парижа в Америку. Плыли мы целых 13 дней на голландском пароходе «Виндам», заезжали почему-то на Бермуды, где на берегу меня поразил старый негр в розовых штанах. До тех пор я никогда не видел розовых штанов. Маршрут плавания был интересный. И на 13-й день мы подплыли к Нью-Йорку.

С 1950 года я живу в Америке. Ни одну страну, где я жил в эмиграции, я не любил так, как Америку. И природу, и людей, и стиль жизни, и настоящую свободу человека, которой здесь, пожалуй, даже чересчур много. В Нью-Йорке я продолжал издавать журнал «Народная Правда». Потом стал секретарем редакции «Нового Журнала». О нем обычно говорят, что это лучший русский журнал не только за рубежом, но и во всем мире, потому что советские коммунистические журналы продолжают оставаться несвободными.

С 1959 года я стал одним из редакторов «Нового Журнала».

В Нью-Йорке по-русски вышли три мои книги — «Конь Рыжий», «Скиф в Европе» и «Азеф», который вышел уже по-японски и выходит в ближайшее время по-английски и по-французски. Кроме редактирования «Нового Журнала», я работал как главный редактор нью-йоркского отдела радиостанции «Свобода».

Свободное время я трачу на то, чтобы получше узнать Америку. А это не просто, ибо Америка велика, а я очень занят. Но путешествия (и далекие, и близкие) — моя всегдашняя страсть, и за годы жизни в Америке я все-таки кое-что увидел. Изъездил Калифорнию, этот изумительный край, с его тысячелетними лесами красного дерева, с его божественным океаном. Побывал в Аризоне, на ошеломляющем по красоте Гранд Кэньон; в Нью Мексико побывал у индейцев, проехал через песчаную пустыню, цветущую красными, розовыми, желтыми кактусами. Побывал и в Пуэрто-Рико, в Сан Хуане, объездил ущелистые, зеленые его окрестности. Пожил и на Вирджинских островах — Сэнт Джон, Сэнт Томас, Сэнт-Круа, и даже на островке Тортола. Узнал ряд интересных городов, таких, как Бостон, Вашингтон, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие, не говоря уже о Нью-Йорке, который люблю и где живу в двух шагах от Гудзона, часто любуясь на его «волжскую» ширь и даль, на его далекие зеленые берега и через них перекинутый Вашингтонский мост. Коротко: люблю Америку. И рад, что под занавес своей жизни приехал сюда, в Новый Свет.

Только когда я думаю о своем пути от пензенского именья, от дедовского дома в Керенске до Нью-Йорка, у меня кружится голова. И все ж, несмотря ни на что, считаю свою жизнь счастливой и — если бы было можно — повторил бы ее сначала, от первого до последнего дня*.

** Роман Борисович Гуль скончался 30 июня 1986 года в Нью-Йорке.*

Людмила Ивановна

СПРЫГИНА

(1906–1999)

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Текст печатается впервые по рукописи,
хранящейся в Государственном архиве
Пензенской области

«Семейная хроника» Людмилы Ивановны Спрыгиной выходит далеко за пределы родственных воспоминаний. Прежде всего, потому, что она дочь знаменитых пензенских учёных и общественных деятелей Ивана Ивановича Спрыгина (1873–1942), ботаника, доктора наук, и Нонны Ивановны, ур. Цилли (1880–1953), археолога-этнографа.
На глазах умной и живой девочки организовалось Пензенское общество любителей естествознания (ПОЛЕ), собирались коллекции естественноисторического (ныне краеведческого) музея, создавался Ботанико-зоологический сад, открывались заповедники в губернии, составлялся Гербарий. Она сумела передать атмосферу всеобщего энтузиазма и бескорыстного служения науке и просвещению, характерную для семьи Спрыгиных и их пензенского окружения: преподавателей гимназий и художественного училища, врачей, музыкантов, юристов — цвета пензенской «прогрессивной» (по классификации автора) интеллигенции.

Впрочем, и сама она не совсем типичный мемуарист. В «Семейной хронике» сочетаются личные воспоминания и впечатления с их анализом и результатами архивных исследований. Людмила Ивановна родилась в Пензе, после окончания геофизического отделения МГУ работала в экспедициях, участвовала в организации заповедников в Среднем Поволжье, жила в Москве, служила в издательстве «Наука». Там позже вышли её книга об отце (1981) и сборник ранее не публиковавшихся работ И. И. Спрыгина (1989). Написала около трёхсот статей для Большой и Малой Советских энциклопедий. Передала в пензенские учреждения ценные семейные реликвии и архив.

В воспоминаниях предстаёт малоизвестная нам Пенза: очень скромный быт, съёмные квартиры на окраинах, маленькие домики, ныне совсем исчезнувшие, небогатые интеллигентские дачи в Кичкилейке, «экскурсирование» по городским окрестностям, где ныне простёрлись новые жилые кварталы.

В этой книге — первая часть семейной хроники, окончание будет опубликовано в последующих томах Антологии.

* * *

Глава I. ПРЕДКИ

Вступление

Семья наша, Спрыгиных, слилась из четырёх ветвей — Спрыгиных, Капраловых, Цилли и Сченснович.

О дедах и прадедах (не говоря уже о более ранних поколениях) документальных сведений и других письменных источников сохранилось мало, в особенности о семье Спрыгиных. Немного сведений и о Цилли — из-за ранней смерти моего деда Ивана Владимировича Цилли, умершего в возрасте 42 лет, в 1887 году. После его кончины вдова, моя бабушка Мария Васильевна, видимо, не сохранила тесной связи с семьёй мужа и не сберегла интересных («деловых») воспоминаний о ней. Кое-что, по её рассказам, сохранилось в семье о Сченсновичах.

К счастью для нас, потомков, многие в нашей семье имели прекрасную память. Помнили и своё детство, и рассказы старших, а главное горячо любили своих родителей и часто их вспоминали. Это относится, прежде всего, к моей матери, Нонне Ивановне Спрыгиной, урожденной Цилли, и к бабушке, Анне Ивановне Спрыгиной, урожденной Капраловой.

Мама обладала редкой памятью и к тому же прекрасно владела словом, и устным и письменным. Помню, как на половине седьмого десятка, тяжело больная, уже после переезда в Москву, на семейном новогоднем сборище у старшей дочери М. И. Урановой она стала поправлять одного из присутствующих, начавшего читать «Горе от ума» и продолжала читать строку за строкой, а все бывшие при этом слушали её в изумлении. Ещё позже, когда мы, прослушав старую, стёртую пластинку с романсами Вари Паниной, не смогли разобрать слов, мама стала подсказывать неразобранные строчки. — «Мама, да когда ты слышала Варю Панину, как ты можешь помнить?!» — «Никогда не слышала её. Когда была в старших классах гимназии, подруги напевали», т. е. свыше полувека назад! Естественно, что памяти Н. И. Спрыгиной следует доверять.

Бабушка Анна Ивановна Спрыгина, вследствие своей малой грамотности, не могла делать широких обобщение и выводов из сохранившихся в её памяти жизненных наблюдений. Но память у неё также была хорошая, её воспоминания были проникнуты горячей любовью к близким и полны интересных бытовых подробностей. Они были как-то особенно «уютны», и я слушала их с большим интересом и в детстве и уже взрослая.

От моих родителей, Ивана Ивановича и Нонны Ивановны Спрыгиных, остался обширный письменный материал — документальный, эпистолярный, дневники отца и конспекты его автобиографии и др.

Мой отец, Иван Иванович Спрыгин, рассказывал немного, но в конце жизни он, видимо, собирался писать историю своей жизни, так как сохранились, в трёх вариантах, краткие конспекты по годам его жизни в виде перечня главных событий за год. Огромный, интерес представляет его дневник за 1920–21 годы, время переезда в Ташкент, жизни там и возвращения в Пензу. Этот дневник — несомненно, интереснейший исторический документ эпохи, оставившей так мало мемуарных документов. Большой материал для семенной хроники и биографии И. И. и Н. И. Спрыгиных дают сохранившиеся в семейном архиве Спрыгиных письма — научных работников, товарищей по работе и сотрудников (около 300 корреспондентов, свыше 1000 писем), огромная переписка четырех членов семьи Спрыгиных — И. И. и Н. И. Спрыгиных и их дочерей М. И и Л.И. Спрыгиных, переписка, которая при чрезвычайной спаянности и глубоких душевных связях между членами семьи, а в то же время при частой разобщённости их, носила регулярный характер и отражает как историю жизни семьи, биографии её членов, так и историю, быт их эпохи.

Много сохранилось в семенном архиве Спрыгиных и документов, характеризующих научную и общественную деятельность И.И. и Н.И. Спрыгиных: удостоверения, справки, послужные и трудовые списки, характеристики, дипломы.

В семейном архиве Спрыгиных хранится много фотографий. Семейные фотографии сохранились за сто с лишним лет, с 1860-х годов. Эти фотографии характеризуют все четыре ветви — Спрыгиных, Цилли, Капраловых, Сченсновичей. Сопоставление фотографий каждой ветви дает интересный материал и по характеристике отдельных поколений и по сопоставлению представителей разных поколений. Определённый тип, характерные черты передаются, оживая почти в каждом поколении, иногда — через большие интервалы. К сожалению, есть не датированные, безымянные фотографии, остающиеся мёртвым материалом.

Из печатных материалов надо, прежде всего, упомянуть о «Памятных книжках» Пензенской, Орловской, Витебской и Казанской губерний. Я просмотрела их в Ленинской библиотеке за ряд лет (с 1860 года) и нашла ряд сведений о Цилли, Спрыгиных, Капраловых, Сченснович. В «Российском медицинском списке» на 1811 год я нашла сведения о моем прапрадеде лекаре Иоганне Целли.

Отдельные сведения о работе моего отца имеются в отчётах о съездах, в воспоминаниях и некрологах его коллег по работе. Некролог И. И. Спрыгина был напечатан в журнале «Советская ботаника», 1943, № 3, а краткая биография в его книге «Лекарственные растения Пензенской области», изданной в Пензе в 1945 году. В 1958 году Пензенский областной краеведческий музей выпустил «Юбилейный сборник» («К 50-летию Пензенского областного музея»), в котором помещены биографии И. И. и Н. И. Спрыгиных. Биография дяди И. И. Спрыгина — Г. И. Капралова

была напечатана в журнале «Пчеловодство» за 1948 год, № 4.

Добавление 1988 года

Много материалов собрано в моей книге «Иван Иванович Спрыгин». Научная биография. М., Изд-во «Наука», 1982 год. Эти материалы основаны на обширном документальном материале, тщательно отобранном мною и проверенном, а также на моих личных воспоминаниях и представлениях о тех или иных лицах и событиях.

Характеристика И. И. Спрыгина, как учёного, содержится в двух статьях профессора А. Г. Воронова: 1 — в упомянутой выше моей книге — «Послесловие. Роль И. И. Спрыгина в развитии современной науки», 2 — в книге: И. И. Спрыгин, «Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья». М., «Наука», 1986. — «Неизданные труды И. И. Спрыгина».

Капраловы

О Капраловых я знаю главным образом по рассказам бабушки Анны Ивановны Спрыгиной, урожденной Капраловой (матери И.И. Спрыгина), и по сохранившимся семейным документам.

Иван Антонович Капралов, мой прадед, родился в 1821 году. Он был солдатский сын, из кантонистов. Воспитывался в Симбирском батальоне военных кантонистов [1].

В формулярном списке Ивана Антоновича сообщается, что 30 апреля 1840 года, 19 лет, он «в службу поступил» писарем в полевой аудиториат действующей армии, затем 1 января 1849 года произведён в писаря 2-го класса и 1 мая того же года в писаря 1-го класса.

8 февраля 1855 года «по выдержании специального испытания внесён в список кандидатов к производству в аудиторы», а 12 июля 1857 года произведен в коллежские регистраторы.

Формулярный список говорит о том, что во время своей военной службы Иван Антонович немало поездил. В 1840 году он поступил в службу в действующую армию — очевидно, был на Кавказе. Награждение его бронзовой медалью на андреевской ленте в память войны 1853–1856 годов свидетельствует о пребывании в Крыму. Потом Польша.

К счастью, он не дослужил до 1863 года и, следовательно, не был вынужден принимать участие в подавлении польского восстания этого года.

В Варшаве Иван Антонович женился на польке. Его жена была из приюта (по словам бабушки «без роду и племени»), звали её Каролина Ивановна Иванова. При вступлении в брак прабабушка приняла православие. Её стали звать Ольга Ивановна. Брак, видимо, произошёл по любви, во всяком случае, со стороны дедушки. Их старшая дочь, моя бабушка Анна Ивановна, рассказывала о первой встрече её родителей: «Она сбегала по лестнице, вот тут он её и увидел». Сохранившаяся в семейных рассказах подробность говорит о силе первого впечатления. Каролина Ивановна жила в доме начальника своего будущего мужа — генерала, у которого Иван Антонович бывал по делам службы.

Семейные предания застают Ивана Антоновича в Варшаве. В начале марта 1858 года он уволился от службы и в том же году переехал со своей семьей в Пензу. Причиною переезда было получение Иваном Антоновичем наследства в Пензе. Это наследство представляло дом с усадебным участком земли (садом и огородом) на окраине Пензы, на улице, называвшейся тогда Гусиловкой. [2] Это была самая окраина Пензы, жила здесь преимущественно беднота, и пейзаж был, как говорит и название, самый сельский.

От кого получил Иван Антонович наследство и был ли он уроженцем Пензы — не знаю. Никаких родственников в Пензе у Капраловых не было.

Всю дорогу из Варшавы в Пензу семья Капраловых проехала на лошадях. Бабушка тогда была маленькой девочкой — ей было 5 лет (родилась бабушка в 1853 году). Бабушка вспоминала, что ехать было очень страшно, так как в лесах было много разбойников — беглых солдат и крепостных (это было ещё при крепостном праве). Она рассказывала, что как-то в дороге (было темно — сумерки или ночь) она чихнула. В ответ раздался голос из леса: «На здоровье, да ненадолго». Ямщик погнал лошадей, и семье Капраловых удалось благополучно выбраться из леса.

Вторым бабушкиным воспоминанием о дороге из Варшавы в Пензу было обилие ягод — их продавали в больших ведрах. А у нас в семье воспоминанием об этом пути остался привезённый из Варшавы в Пензу водочный графинчик. Он сохранился у меня до сих пор, и не раз я говорила за столом своим гостям: «Этот графин приехал из Варшавы в Пензу на лошадях ещё в 50-х годах прошлого века». Теперь этот графин в Москве, так как от второго его семейного гнезда, в Пензе, ничего не осталось. Ещё у меня сохранилась чашка прадедушки Ивана Антоновича — белая фарфоровая «грушкой» в мелкую поперечную полосочку — зелёную и золотую, но позолота почти совсем стерлась, и остались зелёные полоски на белом фоне. Сделана чашка на фабрике Гавриила Маркова. С этой чашкой в руках Иван Антонович умер.

По приезде в Пензу Ивана Антоновича с семьей ждала самая горькая нужда. Небольшие сбережения, имевшиеся у него, быстро растаяли в дороге. Впоследствии в семье вспоминали рассказы о том, что Иван Антонович, переехав из Польши в Россию «как-то неправильно, не теми деньгами платил». Дело, очевидно, в том, что он, живя до этого в Польше, не был знаком с обращением русских денежных единиц и платил золотом, когда надо было платить ассигнациями.

Иван Антонович долго не мог получить места. Жили только тем, что давал огород. Бабушка Анна Ивановна вспоминала о днях, когда нечего было есть и дети плакали от голода. Пришлось даже прабабушке Ольге Ивановне продать два привезённые ею из Варшавы отреза на платья «французского ситца цветочками», о красоте и добротности которого бабушка вспоминала с восхищением 70 лет спустя.

Наконец, после долгих хлопот и ожиданий, в июле 1859 года Иван Антонович получил место — должность писца в конторе заведений Пензенского приказа общественного призрения (впоследствии — канцелярии Земской больницы), где и прослужил много лет (не знаю до конца жизни или ушёл со службы, когда состарился). Он, видимо, был хороший служака.

Бабушка упоминала об этом не раз. С гордостью она говорила о получении её отцом «чина» — коллежского регистратора. Видимо, это было большим событием для семьи и вообще для их среды в то время.

Ольга Ивановна Капралова была принята на службу в больницу кастеляншей, и вся семья переехала жить туда, получив казенную квартиру. Сильное впечатление в памяти бабушки, тогда ребёнка, в первые годы жизни в Пензе оставила отмена крепостного права. Она вспоминала, как её отец Иван Антонович, возвращаясь со службы, вошёл в квартиру и, ещё переступая порог, сказал: «Волю дали!». Характерно для того времени, что прадедушка сказал не «крепостное право», а «волю» — так тогда говорили в народе. Дом Капраловых в Гусиловке (теперь улица Коммунистическая) ещё долго сохранялся в семье (до 1897 года). Он находился в дальнем от депо Сызрано-Вяземской железной дороги конце, т. е. на самой окраине Пензы. Прямо за забором их сада, протекала речка Кашаевка, а затем сразу начинались поля, недалеко был и лес. Дом был довольно большой. Внучка Ивана Антоновича Ольга Гавриловна Капралова, жившая в нём в детстве, вспоминает, что когда Иван Антонович умер, а четверо детей его выросли и имели свои семьи, все эти четыре семьи помещались в доме. В 1897 году дом пришлось продать Сызрано-Вяземской дороге, которой понадобился этот участок (это не совсем понятно, так как линия железной дороги уже была проложена, а усадьба находилась довольно далеко от него). Старший сын и наследник Гавриил Иванович получил 4 тысячи рублей.

При доме был большой сад с разнообразными и ценными сортами яблонь и огород. В саду был пруд, на котором зимой устраивался каток; стояли ульи. Возле пруда на ветле весной распевал соловей, как об этом пишет в своем дневнике гимназических лет И. И. Спрыгин.

Положение усадьбы Капраловых на самой окраине города, вблизи полей и лесов, и большой сад, занятия в нём способствовали развитию любви к природе у старшего сына И. А. Капралова — Гавриила Ивановича, известного учёного-пчеловода, и внука — страстного исследователя природы, И. И. Спрыгина, ставшего крупным ботаником.

В юности от отца и бабушки я часто слышала о капраловском доме в Гусиловке, слушала их рассказы с интересом, но где точно он находился, и до какого года жили в нём Спрыгины — не расспросила. Такова молодость — смотрит вперед, прошлое её интересует мало.

Осенью 1972 года, приехав в Пензу для работы в архивах, я решила разыскать, по крайней мере, место, где находилось «родовое гнездо» Капраловых и Спрыгиных и представить себе обстановку, в которой проходили детство и юность моего отца. Сохранившийся у меня гимназический дневник его позволял восстановить некоторые черты местоположения усадьбы: за забором сада сейчас же протекала речка Кашаевка, весною широко разливавшаяся и затоплявшая сад за речкой, сразу начинались поля.

Я начала с поисков в Областном архиве. В фонде 1-й мужской гимназии в «Алфавите учеников Пензенской гимназии с отметкой о местожительстве» я нашла адрес ученика I класса Ивана Спрыгина и ученика VII класса Гавриила Капралова — Гусиловка, № 9, собственный дом. В тот же день вечером я побывала у двоюродных сестер отца, моих теток, Ольги Гавриловны и Веры Гавриловны Капраловых. Ольга Гавриловна, 1893 года рождения, раннее детство своё провела в гусиловском доме. У неё, несмотря на 80-летний возраст, прекрасная память и она рассказала мне о капраловском доме в Гусиловке и о том, что продали его лишь в 1897 году. Таким образом, не только детство и юность, но и все студенческие годы (во время каникул) моего отца прошли в этом доме.

Через пару дней с раннего утра я поехала на Коммунистическую улицу. Гусиловку я представляла себе по рассказам отца — широкая, почти деревенская улица с небольшими домиками, обсаженная по обе стороны ветлами, ветви которых послужили для его первых ботанических сборов.

Сойдя с троллейбуса я, прежде всего, увидела многоэтажные новые дома и огромную вывеску «Срочная химчистка»... Вот она — сельская Гусиловка! Но скоро мое разочарование несколько поулеглось — я увидела, что конец Коммунистической улицы, ближайший к депо железной дороги, именно с первыми номерами домов, сохранился в прежнем, нереконструированном виде — это была прежняя Гусиловка, как я её и представляла: маленькие одноэтажные домишки с тремя и даже двумя окнами на улицу, деревянными заборами и калитками со щеколдой, и даже широкая улица была, как и встарь, обсажена рядами ветл. Скоро разыскала я и дом № 9 — совсем небольшой, с двумя окнами на улицу. Подняла щеколду и вошла во двор, как мне представлялось — на усадьбу моих предков. Маленький дом и совсем маленький двор, хотя в доме всё же два крыльца, значит двое хозяев живут, в передней и задней половинах. за заборчиком виден сад. Впечатление такое, что Капраловы в этом доме жить не могли — не могли поместиться, тем более, когда сёстры вышли замуж, а Гавриил Иванович женился и все они заимели детей.

Поднялась по первому крылечку и постучала в дверь. Ещё из-за двери послышалась брань, но потом сердитая хозяйка впустила меня. На мои расспросы — не слышала ли она о Капраловых и когда был построен этот дом — ничего мне ответить не могла, так же как и её муж, вскоре пришедший, кроме того, что дом был построен дедом хозяина.

Я тем временем огляделась — не могла большая семья Капраловых жить здесь — уж очень убога эта комната-квартира с двумя крошечными оконцами. Всё же я получила от хозяев квартиры дельный совет — съездить к их тетке, 78 лет, которая большую часть жизни прожила здесь, в Гусиловке. И вот, после двукратной поездки на улицу Ленина в район Велозавода я хорошо познакомилась с Марьей Игнатьевной Прошиной, пожилой, опрятной и благообразной женщиной, которую никак нельзя назвать старухой, несмотря на её 78 лет, и имела с ней большой и дельный для меня разговор.

О Капраловых, к моему сожалению, она тоже ничего не слышала. Рассказала она мне о том, что Кашаевка затопляла их сад, а они в детстве ездили по огороду на досках, отталкиваясь шестами и воображая себя в лодках. Совпадают многие подробности, но дом построен позже и всё-таки что-то было не то. И вдруг Мария Игнатьевна говорит: «Да постойте! Ведь порядок-то номеров изменился с тех пор. Наш дом был 71-й, а потом стал 11-й!»

Тогда всё стало ясно. Порядок нумерации был изменен (это я проверила позже) уже в советское время, а в конце XIX века дом № 9 находился в противоположном конце улицы, снесён уже давно, а теперь и вся улица, перепланирована и застроена по-новому. Ездила я в Гусиловку и летом 1973 года, бродила по берегам когда-то довольно грозной во время разлива, а теперь включенной в трубу и засыпанной речки Кашаевки, набрала букет в изобилии растущей там ромашки, и, как ни изменился за много лет городской, пейзаж, смогла кое-что восстановить в своих представлениях о той обстановке, которая была здесь в последнюю четверть XIX столетия.
Возвращаюсь к моему прадеду Ивану Антоновичу. Воспоминания бабушки об отце всегда были проникнуты большой нежностью и уважением. Я никогда не слышала от неё ни об одной дурной черте его. По-видимому, были в натуре Ивана Антоновича черты развитого и самобытного интеллекта. Во всяком случае, отец мой считал, что начала своей любви к природе и первые навыки внимательного, наблюдательного отношения к ней он получил именно от деда своего Ивана Антоновича, в саду их гусиловского дома. Не от него ли и одаренность Ивана Ивановича Спрыгина. Такая необыкновенная и неожиданная для семьи и среды его родителей?

Из семейных рассказов следует, что Иван Антонович Капралов умер, когда отцу моему было менее 10 лет, значат около 1880 года. Он умер от рака желудка. Внучка его Ольга Гавриловна вспоминает, что он, работая в саду, разгорячился и выпил холодной браги из погреба, получил гастрит, а потом развился рак желудка.

На сохранившихся фотографиях Ивана Антоновича мы видим пожилого мужчину с большой окладистой бородой (от висков, т. е. баки переходят в бороду). Я написала «пожилого» — это первое впечатление, но, всматриваясь в фотографию, я вижу, что лицо у него гладкое, совсем без морщин и хорошо сохранились густые волосы, которые падают по обе стороны лба и сливаются с пышными баками. Пожалуй, это не пожилой человек, а старят его (в глазах людей моего времени) лишь большие усы и борода, закрывающие всю нижнюю часть лица; это, возможно, человек среднего возраста, совсем ещё не старый.

Трудно сказать также, блондин он или седой, по этой столетней выцветшей фотографии. И волосы и борода у него светлые, тогда как у четырёх его сослуживцев по Земской больнице на этой групповой фотографии волосы тёмные. У Ивана Антоновича небольшие живые глаза, прямой, довольно длинный нос и высокий лоб. Едва ли можно сказать о его наружности что-либо ещё по небольшой фотографии. Представляется, что это оптимист по своей натуре, человек живого характера и, возможно, даже весёлого нрава. О жене Ивана Антоновича Ольге (Каролине) Ивановне сведений сохранилось немного. Как я писала выше, она была безродной сиротой, из приюта (о её «безродности» говорит и тождество её отчества и фамилии — Ивановна и Иванова, так обычно называли подкидышей и вообще безотцовских детей — по имени крестного отца). Но затем она воспитывалась, или служила, в богатом доме генерала, бывшего начальником Ивана Антоновича Капралова. О жизни в богатом доме, навыках культурной и обеспеченной жизни (хотя бы навыках служанки в этом доме) говорят её привычки и обычаи. Во-первых, она получила место кастеляншки в Земской больнице Пензы. Значит, была хорошо грамотна и могла руководить большим хозяйством. Во-вторых, у её детей были привычки, совсем не обычные для того времени и их среды. Я имею в виду необычайную чистоплотность их. Гавриил Иванович, старший сын, установил у себя дома такой порядок, что постельное белье менялось два раза в неделю. В связи с этим вспоминаю, что до приезда Софии Андреевны в Ясную Поляну граф Л. Н. Толстой спал вообще без простыней. Бабушка же моя Анна Ивановна тоже была до глубокой старости крайне чистоплотна и аккуратна в одежде: всегда опрятно одета и причёсана, а кофточки (блузки) меняла так часто, что домашние работницы ворчали на неё за обилие стирки. От матери же бабушка научилась и кулинарии и узнала многие рецепты кушаний, которыми славилась. Ольга Ивановна Капралова была, как истая полька, по-видимому, и щеголиха, Внучка её Ольга Гавриловна вспоминает рассказы о том, что она носила платья со шлейфом, на который любил садиться и кататься на нём ручной голубь.

Не сохранилось портрета Ольги Ивановны ни в нашей семье, ни у Капраловых. Внучки вспоминают, что она не любила сниматься.

Ольга Ивановна, по рассказам бабушки, была крайне вспыльчивого и неровного (видимо взбалмошного) нрава. До конца жизни она плохо говорила по-русски. Вот всё, что сохранилось в памяти потомков об Ольге Ивановне Капраловой.

Иван Антонович и Ольга Ивановна вырастили четверых детей. У них было две дочери — Анна и Татьяна, два сына — Гавриил и Алексей. О старшей дочери Анне Ивановне, в замужестве Спрыгиной, я скажу позже и подробнее, а сейчас — о её сестре и братьях и их потомстве. Татьяна Ивановна Капралова вышла замуж за Ивана Николаевича Зубцова, служившего по тому же ведомству Сызрано-Вяземской дороги, что и дедушка Иван Михайлович Спрыгин, муж старшей сестры — Анны Ивановны. Зубцовы принадлежали к среде среднего, по зажитности, мещанства. Смутно помню их квартиру в части Пензы, называвшейся «за валом», т. е. за насыпью железной дороги (улица называлась «Кузнечный порядок»). Я была там в раннем детстве, что-нибудь около 1910 года. Фикусы перед окнами, ряды стульев вдоль стен, вещи без одухотворенности их интеллектом владельцев. Во флигеле дома Зубцовых несколько лет жили, до переезда к сыну в его квартиру на Покровской улице, Иван Михайлович и Анна Ивановна Спрыгины (Кузнечный порядок, № 5).

У Татьяны Ивановны был сын Николай и дочь Софья (в замужестве Назарова). У них были дети — мои троюродные братья и сестры, но связь с ними была потеряна в раннем детстве и я почти ничего о них не знаю. Николай Иванович Зубцов участвовал в революционном движении, был судим и отбывал ссылку в Туруханском крае. У него и жены его Марьи Степановны было трое детей, из них старшую дочь звали Антонина. У Софьи Ивановны была дочь Варя и сын.

Братья Гавриил и Алексей Ивановичи Капраловы получили гимназическое образование. Они учились в 1-й мужской гимназии. Но в последнем, восьмом классе Гавриил Иванович перешёл во вновь открытую в том 1885 (или 1884) году 2-ю мужскую гимна-

зию (очевидно в связи с меньшим размером в этой гимназии платы за ученье). Их отец к этому времени умер, сыновья получили ничтожную пенсию — 10 рублей в месяц, они очень нуждались, добывая средства для жизни уроками.

Младший — Алексей Иванович — был с 1890 года учителем в Пензенском уездном училище, а потом мелким акцизным чиновником. Весельчак и балагур, недалёкий, видимо, человек. Его дочери Ольга, Вера и сын Василий, теперь уже очень пожилые, живут в Куйбышеве и Пензе.

Значительно выше по уму и развитию, по цельности характера был старший сын Ивана Антоновича и Ольги Ивановны — Гавриил Иванович Капралов. Он родился уже в Пензе, в 1864 году. После окончания гимназии Гавриил Иванович сдал испытания на звание преподавателя математики и с 1886 года был учителем в Пензенском уездном училище, преподавал арифметику и геометрию. Преподавал он всего 55 лет, до 76-летнего возраста. В «Памятной книжке» Пензенской губернии за 1891 год он числится учителем, «состоящим в XII классе».

Гавриил Иванович слыл за хорошего преподавателя. У него были и способности и «характер» — сильная, действенная воля. Она проявилась не только в преподавательской деятельности. Ещё в молодости он создал образцовый пчельник близ разъезда Арбеково, в 9 км от Пензы. Этот пчельник не был просто доходной собственностью её владельца. Гавриил Иванович проводил на нём большую научную работу по изучению пчёл и рационализации пчеловодства. Эта работа длилась свыше 60 лет. За это время им было напечатано в специальных журналах и в газетах свыше 50 статей по научным и практическим вопросам пчеловодства (часть их была переведена и на другие языки — см. некролог Г. И. Капралова в журнале «Пчеловодство», 1948 год, № 4). Пасека Гавриила Ивановича, как писала газета «Тамбовская правда» в 1938 году, «была своеобразной выставкой рационального пчеловодства и первым научным институтом по пчеловодству в России. Пасеку навещали и полуграмотные пасечники, и агрономы, и зоологи, и ботаники». Экспонаты Гавриила Ивановича представлялись впоследствии на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку и сельскохозяйственные выставки в Пензе.

Еще до резолюции (с 1910 года) Гавриил Иванович организовал при своей пасеке курсы по пчеловодству. Организация их потребовала от Гавриила Ивановича большой энергии и настойчивости, т. к. ему пришлось вести борьбу за это дело с Губернской земской управой. Курсы предназначались преимущественно для крестьян и привлекли огромное количество желающих учиться, т. к. популярность Гавриила Ивановича, как пчеловода, была уже к этому времени очень велика. После революции курсы при пасеке Г. И. Капралова продолжали существовать и ещё больше расширились. Подобные же курсы и беседы по пчеловодству Гавриил Иванович проводил и в других городах и крупных селах Пензенской губернии.

В упомянутом выше некрологе, написанном главным агрономом Пензенской областной конторы пчеловодства В. Подраменским, говорится о «тысячах учеников, воспитанных и обученных» Г. И. Капраловым. Автор некролога называет Г. И. «математиком по образованию и зоологом по призванию».

Таким образом, устанавливаются общие семейные черты у И. И. Спрыгина и Г. И. Капралова — любовь к природе, к зоологии. Ведь до встречи с А. Я. Гордягиным И. И. Спрыгин увлекался зоологией и собирался именно её выбрать своей специальностью. Здесь возможны взаимные влияния — старшего, дяди, на племянника в детстве (а, может быть, общее влияние их отца и деда, И.А. Капралова), а затем, когда И. И. Спрыгин получил университетское образование и сформировался как научный, работник, он заражал любовью к науке своего дядю. Ведь разница в возрасте между ними была всего 9 лет.

Ещё одна общая черта у дяди и племянника: общественная жилка, стремление поделиться своими знаниями с людьми, организаторские способности, направленные на общественную пользу. В. Подраменский пишет: «Не было дня, чтобы на пасеку или на квартиру в Пензе к Г. И. не приходил кто-либо из пчеловодов за советом и помощью, и не было случая, чтобы Г. И., при всей своей занятости, не выслушал и не помог бы, чем только мог: советом, литературой, инвентарем и пр.» Как это похоже на бесконечный, ежедневный приток людей к И. И. Спрыгину и на работу — в Музей или Заповедник — и на квартиру — приходили научные работники, краеведы, учителя за советом, помощью и даже за деньгами, не получая отказа.

Вместе с признанием заслуг и авторитета Г. И. Капралова по пчеловодству, пчельник доставлял ему немало тревог. Успех его вызывал зависть(тем более что были люди, видевшие только доходную сторону этого предприятия), шли доносы, результатом которых было проявление бдительности у властей. Дело дошло даже до ареста Г. И. в двадцатых годах. К счастью, помог авторитет его племянника, И. И. Спрыгина.

Помню, как И. И. после ареста Г. И. Капралова ходил к председателю Губисполкома и после разговора с ним Г. И. был немедленно освобождён.

Но и Ивану Ивановичу капраловский пчельник доставлял неприятности. В начале двадцатых годов, в пору организации им сети заповедников в Пензенской губернии, И. И. выделил в окрестностях Арбекова заповедный участок, на котором были хорошо выражены условия лесостепной полосы. В особенности большую ценность представляла «Татарская степь» — целинный участок северной луговой степи.

И. И. Спрыгин хорошо знал этот участок, так как с юности много экскурсировал в окрестностях Пензы и бывал на пчельнике у Г. И. Капралова. Поступил донос — И. И. Спрыгин заповедал своё бывшее имение. Донос был настолько абсурден, что в нём скоро разобрались. Не случайно я второй раз пишу о доносах. Характерная черта первых десятилетий после Октябрьской революции, двадцатых и тридцатых годов, особенно в провинции: великая эпоха поднимала не только большие силы, рядом с большим старалось выбраться на поверхность мелкое и низкое, сводя личные счёты или пытаясь клеветой обратить на себя внимание [3], отчасти, может быть, и без личного расчета, а, просто не понимая идейной деятельности других людей, меряя их своей маленькой обывательской меркой и пытаясь найти в их делах корыстную заинтересованность.

У Гавриила Ивановича Капралова и жены его Марии Фёдоровны (урожденной Абазаевой) было много детей. Старший сын Александр (родился

в 1891 году) — врач, человек способный и энергичный, был военным врачом в первую мировую войну, потом всю жизнь был связан с Балтийским флотом. В 1918 году участвовал в «ледовом походе» красногвардейского отряда, который должен был вывести суда из Гельсингфорса в Кронштадт, с 1919 года был ряд лет главным врачом Петроградского порта, работал на судах Балтийского пароходства и занимал ответственные административные должности. Умер он в 1972 году, в возрасте 81-го года, будучи в отставке в звании полковника медицинской службы.
Его сын Георгий — журналист, кинокритик и сценарист, в настоящее время (начало 1970-х годов) — заместитель главного редактора газеты «Правда». Он печатается в газетах под фамилиями Г. Капралов, Ю. Гаврилов.

С Александром Гавриловичем у И. И. Спрыгина (они были двоюродные братья) поддерживались родственные дружеские отношения. А в тяжелый 1921 год, когда И. И. Спрыгин был в длительной командировке в Петрограде (съезд, а потом работа в гербарии Ботанического сада), Александр Гаврилович проявил к нему самое родственное отношение, основательно подкармливая его и снабжая папиросами (свою жизнь с материальной стороны он всегда, видимо, умел устроить хорошо).

Я помню Александра Гавриловича молодым красивым человеком, в военной форме, когда он наезжал во время первой мировой войны с фронта и приходил к нам (он был крестником моей бабушки Анны Ивановны, которая его очень любила). Кроме старшего сына у Г. И. и М. Ф. Капраловых было ещё два сына и четыре дочери — Ольга, Вера, Нина и Лидия Гавриловны. Ольга Гавриловна окончила в Харькове женские курсы и была всю жизнь преподавательницей русского языка в разных школах Пензы (главным образом в Железнодорожной школе), за свою работу она награждена орденом Ленина.

Вера Гавриловна (родилась в 1899 году) — инженер, училась в Ленинграде, окончила два института — инженерно-строительный факультет Политехнического института и Институт путей сообщения. У неё, как у многих Капраловых и Спрыгиных, были большие способности к математике. Если бы она осталась в Ленинграде, вероятно, её ждал бы путь крупного инженера или даже учёного. Но она вскоре возвратилась в Пензу. А здесь в 20-х и 30-х годах, когда Пенза не была областным городом, большой дороги не было. Она работала (в последнее перед пенсией время) заместителем городского архитектора. В молодости Вера Гавриловна была хороша собой — не столько красива, сколько женственна — той чистой, одухотворенной женственностью, которая у русских людей ассоциируется с типом «тургеневских девушек». Вера Гавриловна ещё в Ленинграде вышла замуж за своего коллегу-инженера (кажется сокурсника), красивого, очень приятного, из хорошей семьи. Скоро они разошлись, и Вера Гавриловна уехала в Пензу. И вот недавно я узнаю, что до сих пор (а прошло около 50 лет) её бывший муж пишет ей, посылает телеграммы, поздравляет в дни её рождения и именин. Надо сказать, что и теперь, в возрасте около 75 лет, лицо Веры Гавриловны прекрасно — прекрасны глаза, лицо одухотворено и приветливо.

Нина Гавриловна училась на медицинском факультете, но не кончила, Лидия Гавриловна высшего образования не получила. Обе они, как и старшая сестра, замуж не вышли, хотя имели весьма привлекательную внешность. Вот и вышло так, что живут теперь четыре сестры вместе — четыре одинокие женщины. Две старшие сестры живут в Пензе, а две младшие — в Арбекове, в память отца сохраняя то, что осталось от когда-то знаменитого пчельника Г. И. Капралова (теперь, как говорят сестры, там осталось «один улей и две пчелы». Жизнь их на пчельнике полна опасностей: усадьба мешает окрестным жителям, которые хотят проложить здесь дорогу. Не раз им угрожали, не раз поджигали дом и, в конце концов, сожгли. Теперь они вынуждены жить в старом полуразвалившемся доме, две пожилые одинокие женщины, настоящие, в сущности, героини.

Я говорила о том, что потомки Гавриила Ивановича Капралова отличались интересной наружностью. Надо сказать, что и Гавриил Иванович был мало похож на брата и сестёр и на своего отца, которые все красотой отнюдь не отличались, так же как мой отец, И. И. Спрыгин. У Гавриила Ивановича были более правильные черты лица и тёмные глаза и волосы, в молодости он, судя по фотографиям, был недурен собой, а в пожилом возрасте, как я помню, имел весьма представительную наружность, да и держаться умел с достоинством, даже гордо. Очевидно, он был похож на мать (портретов которой не сохранилось), хотя всё же общие капраловские черты в его лице есть. Хорошенькие сестры Капраловы отчасти похожи на мать, Марию Федоровну, брюнетку с характерными чертами лица. На неё очень похожи старшие дети — Александр и Ольга, а Вера Гавриловна больше похожа на отца. Ольга Гавриловна говорила мне, что фамилия семьи её матери — Абазаевы — произошла от фамилии Абаза. Это известная дворянская фамилия, владевшая под Пензой селом Лопатиным.

Старшей дочерью Ивана Антоновича и Ольги Ивановны Капраловых была Анна Ивановна, в замужестве Спрыгина. Почти с самого моего раннего детства и до своей кончины она жила в нашей семье, у своего единственного сына, принимала большое участие в жизни нашей семьи и была нам, детям, действительно родной бабушкой, деля вместе с родителями заботы по воспитанию нас. Бабушку Анну Ивановну я вспоминаю неизменно с глубокой нежностью и любовью. После родителей она была самым близким нам, детям, человеком.

Анна Ивановна родилась в 1853 году в Варшаве. Когда ей было 5 лет, семья переехала в Пензу и детство и юность её прошли в доме отца на улице Гусиловка и в казённой квартире Капраловых в здании Пензенской больницы. [4]

У Анны Ивановны была хорошая память. В её рассказах о своём детстве были отражены отдельные характерные черты того времени. Она вспоминала дорогу на лошадях из Варшавы в Пензу, бедную, почти нищенскую жизнь в Гусиловке, потом жизнь на казённой квартире в Губернской земской больнице, где её отец служил в конторе, а мать кастеляншей. Она рассказывала, что тяжелые работы в больнице тогда исполняли арестанты (на территории больницы существовал Работный дом). Видимо, жизнь этих арестантов была очень тяжёлой и производила большое впечатление. Один из арестантов был осуждён за то, что украл в церкви одну копейку — преступление было найдено особенно тяжёлым из-за того, что

было совершено в церкви. Рассказывала о больных бешенством, заключённых в клетки (прививок ещё не было). В такой клетке сидел заболевший бешенством лакей врача Пензенской земской больницы известного хирурга В. Д. Владимирова (близкого родственника революционера Каракозова — врачу было разрешено изменить фамилию после покушения Каракозова на Александра II). Когда Владимиров приходил навестить своего слугу, лакей просил: «Барин! Дайте укусить хоть кончик пальчика!»

Анна Ивановна получила образование лишь «домашнее», как тогда говорили, узнала только начала чтения, письма и счёта. Почему так получилось? Прежде всего, так было в обычае в то время (1860-е годы) для женщин той среды, к которой принадлежали её родители. Во-вторых, так сложилось в их семье. Мать Анны Ивановны получила место кастеляншки в Пензенской больнице (теперь Пензенская областная больница имени Бурденко) и должность эта требовала большой отдачи времени и сил. А семья была большая — 6 человек. Кроме того, у матери — Ольги Ивановны, видимо, было что-то вроде барских замашек, которые она получила во время своей жизни в семье генерала (была экономка или горничная?), — так я заключаю из некоторых рассказов её внучки Ольги Гавриловны Капраловой во время наших «семейных» разговоров в начале 1970-х годов в Пензе.

А старшая дочь Ольги Ивановны была чрезвычайно трудолюбива и хозяйственна и была скромна в своих запросах. Она взяла на себя, будучи ещё девочкой, значительную часть домашней работы. Ольга Гавриловна Капралова, детство которой прошло в гусиловском доме, и которая много помнила о жизни Капраловых в этом доме, говорила о том, что Анна Ивановна, ещё совсем молоденькой девушкой, может быть даже девочкой, стирала бельё всей их большой семьи, не говоря уже об остальных работах по хозяйству. А бабушка Ольга Ивановна в её рассказах фигурировала в платье со шлейфом, на который любил садиться домашний ручной голубь и катался, таким образом, на этом шлейфе.

Анна Ивановна выросла очень умелой хозяйкой. Она была прекрасная кулинарка, у неё было много своих кулинарных рецептов, которые охотно заимствовали те, кто пробовал её изготовления. Так, большую славу приобрели её медовые пряники, которые она приготовляла впрок в изрядном количестве и они почти всегда подавались у нас к вечернему чаю. Рецепты их приготовления часто просили наши гости, их увозили в Москву участники земских исследований Пензенской губернии, распространялись они и в Пензе. Она знала, к какому мясному или рыбному блюду надо приготовить тот или другой соус, была большая искусница по части приготовления и выпечки теста, умела и ржаной хлеб испечь, который до революции обычно приготовлялся у нас дома (не доверяли чистоте его приготовления в хлебопекарнях). К праздникам бабушка сама запекала большие окорока. Всё это делалось в русской печи, замечательном изобретении русского человека, которое позволяло одновременно приготовлять кушанья на весь день и хранить их в печи до вечера горячими. Когда готовился окорок, мы, дети, к моменту его изъятия из печи любили забегать в кухню, чтобы полакомиться вкусными корочками от окорока — он перед посадкой в печь обмазывался ржаным тестом, а в процессе запекания корочки пропитывались свиным салом и соответствующими запахами.

Бабушка Анна Ивановна была и искусной рукодельницей. Особенно она любила и умела вязать. Вязала кружева разнообразных узоров и большой сложности. До сих пор сохранились у нас вязаные одеяла её изготовления. Вязались из толстых белых ниток полосы, которые потом сшивались, и всё одеяло обвязывалось неширокой полосой кружева. [5] Умела бабушка и шить. Большое умение проявляла Анна Ивановна в заготовках продуктов на зиму. Варила прекрасное варенье, которое никогда не прокисало и не засахаривалось, приготовляла маринады, солила капусту, в разном виде заготавливала грибы.

Откуда это знание различных домашних работ, я сказала бы — культуры домашнего хозяйства? Это удивляет, если учесть замкнутый образ жизни Анны Ивановны, знакомство с очень ограниченным кругом людей. Мне кажется, что свои знания домоводства она получила от матери. Ольга Ивановна получила образование в Воспитательном доме (была подкидышем). Очевидно, это было хорошо поставленное воспитательное заведение, в котором подготовляли девочек для последующей работы в обеспеченных семьях. Действительно, прадедушка Иван Антонович познакомился с Каролиной (потом Ольгой) Ивановной в доме генерала, к которому пришёл с какими-то бумагами. В этом доме Ольга Ивановна служила в числе другой прислуги. О хорошем воспитании, полученном Ольгой Ивановной, говорит и то, что она в последующем смогла занять место кастеляншки в большом больнице, — значит, она умела хорошо читать, писать, знала счёт. Полученные сначала в Воспитательном доме, а потом в семье генерала знания и навыки Ольга Ивановна и передала своей старшей дочери, которая оказалась весьма восприимчивой к этим знаниям.

19-ти лет Анна Ивановна вышла замуж. Выходила она не по любви — сосватали, а нравился ей кто-то другой, как она рассказывала. Не знаю, как относился к своей невесте дедушка Иван Михайлович, но, во всяком случае, это был брак не по любви. Вот и загадка: брак не по любви, а сын, родившийся к концу первого года брака, оказался таким одарённым, сильной, яркой натурой. А ведь известно, да и я в своей жизни видела тому немало примеров, что одарёнными бывают именно дети родителей, страстно любивших друг друга. Такими часто были раньше так называемые незаконные дети.

В семье мужа молодую Анна Ивановну ждала тяжелая жизнь. У Ивана Михайловича была мачеха, у которой были свои дети. Она враждебно относилась не только к невестке, но и к пасынку. Мачеха не только не кормила молодых супругов за общим домашним столом, но и не позволяла юной невестке готовить пищу самой. Её старания увенчались успехом — она выжила молодых Спрыгиных из дома. Они переехали к родителям Анны Ивановны. Иван Михайлович вскоре поступил на службу — на станцию Пенза-I Сызрано-Вяземской железной дороги. Там он и проработал всю жизнь, до выхода на пенсию, в должности весовщика на товарной станции.

Должность Ивана Михайловича обеспечивала существование небольшой семьи (три человека — муж, жена и сын, больше детей, у Анны Ивановны не было), но жили бедно. Об этом говорит их крайне

скромная обстановка (мебель), которую я видела в детстве, — простой крашеный масляной краской шкаф (комод и буфет одновременно), простые железные кровати и т. п. О том же говорят и записи гимназических инспекторов по обследованию условий жизни гимназистов: «из бедной семьи», «хорошо учился, несмотря на отсутствие домашних условий для ученья» и т. п. Я читала эти записи в Госархиве Пензенской области в начале 1970-х годов в Пензе.

При переезде (в 1910 году или несколько ранее) к сыну Анна Ивановна стала принимать большое участие в хозяйстве семьи. Здесь, в большой семье и при большем достатке, её хозяйственные таланты и уменье нашли более широкое применение. Хозяйство было её стихией. Все работы — приготовление кушанья, заготовки, рукоделия — она делала не только умело, но и с особым чувством удовольствия. Помню выражение удовлетворения, даже радости на лице бабушки, когда она принималась за какую-либо работу. Это было отражением того творческого начала, которое, безусловно, было в её натуре и которое она вносила в свою домашнюю работу.

Анна Ивановна вторую половину своей жизни провела в высокой интеллектуальной среде своего сына и невестки. Но до уровня этой среды она не смогла подняться, не вошла в её интересы. Почти не умея писать, она, тем не менее, очень любила читать. Читала классиков семейной библиотеки, прочитывала местную газету.

У Анны Ивановны был мягкий и добрый характер, впрочем, неровный — она могла и вспылить. Доброта была самой определяющей чертой её характера. Она никому намеренно не делала зла и не говорила злых слов — ни в лицо, ни за спиной. У неё было не только доброе, но и умное сердце. Оно-то и подсказывало ей правильное суждение при решении какого-либо жизненного вопроса. Её доброта находила верный путь и определяла её суждения и поступки. Нравственные установки были настолько прочны и неколебимы, что не вызывали каких-либо размышлений, колебаний — всё было ясно для этой простой души.

Нонна Ивановна, как и полагалось в то время для людей её умственного уровня, её среды, была религиозной. Здесь тоже для неё не было вопросов. Она ходила в церковь, исполняла обряды, очень чтила церковные праздники и связанные с ними традиции.

Главным в жизни и душевном мире Анны Ивановны была её материнская любовь — к единственному сыну. Это было смыслом её жизни, её содержанием. Такое же отношение к сыну было и у отца — Ивана Михайловича. Сын отвечал своим родителям тем же. Иван Иванович был любящим, очень заботливым и внимательным сыном. Позже Анна Ивановна перенесла свою любовь и заботы и на детей сына.

Надо упомянуть ещё одну черту натуры Анны Ивановны Спрыгиной. Она была чрезвычайно чистоплотна и опрятна. Чистоплотность была характерной чертой Капраловых. О брате бабушки Гаврииле Ивановиче его дочери говорили мне, что по его указанию простыни на его постели меняли два раза в неделю. А на Анну Ивановну жаловались её невестке, хозяйке дома, домашние работницы. Жаловались на то, что она слишком много дает в стирку белья, будто бы ещё чистого. Действительно, блузки она носила два дня, а потом отдавала в стирку. Откуда такая чистоплотность в этой «простой» семье? Я никогда не видела бабушку неаккуратно одетой, с неопрятной прической. Всегда её седые волосы были аккуратно причесаны, скромные юбки и кофточки чисты и разглажены. В её комнате всегда был порядок, было чисто и опрятно.

Роль Анны Ивановны в семье Спрыгиных была очень большой. Она снимала с Нонны Ивановны и Ивана Ивановича немало домашних забот. Скажу больше: без её помощи по хозяйству Нонна Ивановна не могла бы так много помогать мужу в его научной и общественной работе, а позже, после революции, так плодотворно работать в музее, организовать в нём два отдела, написать книги по своей специальности, вести работу в экспедициях.

Умерла Анна Ивановна в 1942 году, 89 лет. Похоронена на Мироносецком кладбище Пензы. Могила не сохранилась.

Спрыгины

О Спрыгиных, основной, казалось бы, ветви нашей семьи, я знаю меньше всего. Это наименее культурная ветвь, поэтому от её представителей не сохранилось почти никаких письменных свидетельств — документов, записей, писем. Другая причина — дедушка Иван Михайлович Спрыгин рано ушел из семьи своего отца и не поддерживал с родным гнездом связи.

Когда-то в молодости я слышала от моего отца, что он читал в одном документе (или книге?) следующие сведения о первом Спрыгине в Пензенском крае. В XVII веке были присланы из Москвы в Саранск (впоследствии уездный город Пензенской губернии) стрельцы Федька Спрыгин и Полежаев. Отец считал этого стрельца Спрыгина вероятным родоначальником Спрыгиных в Пензенском крае.

Дедушка Иван Михайлович в молодости жил в г. Городище, а потом всю жизнь — в Пензе. Но в паспорте его значится: «мещанин г. Саранска». Таким образом, связь между Иваном Михайловичем Спрыгиным и стрельцом XVII века Спрыгиным предположительно установить можно. Отца И. М. Спрыгина звали Михаил, отчество его я не знаю, но смутно помнится по рассказам из моего самого раннего детства, что начиналось его отчество на букву Е… Он жил в уездном городе Пензенской губернии Городище, была у него мельница (или работал на мельнице?). Иван Михайлович Спрыгин — его единственный сын от первой жены, которая рано умерла. Потом была у Михаила Спрыгина ещё одна жена (или две?). Кроме сына он имел трёх дочерей — Александру, Марфу и Аграфену. Александра Михайловна, в замужестве Денисова, была, кажется, от одной матери с дедушкой. Она была ближе, чем другие сестры, к дедушке.

Вторая сестра — Марфа Михайловна, по мужу Мельтева. Она была очень некрасива, а в старости её ещё обезобразила какая-то накожная болезнь на лице. Она рано овдовела. Как и у брата её, Ивана Михайловича, у неё не было «ни кола, ни двора», и она была вынуждена после смерти мужа пойти в услужение в семью своих свойственников Капраловых (Гавриила Ивановича Капралова, брата жены её брата — Анны Ивановны Спрыгиной). В этой семье она и прожила всю жизнь как свой человек, на положении няни, воспитывая многочисленных детей Капраловых. Подобно брату Ивану Михайловичу, она была очень тихим, незаметным человеком и, вероятно, очень добрым. Дети

в семье её любили, особенно старший — Александр Гаврилович Капралов, относившийся к своей няне внимательно и заботливо до конца её дней. Об Аграфене Михайловне я ничего не знаю. Это была дочь мачехи дедушки И. М. Спрыгина, человек, видимо, совсем другого склада и отношения с нею у И. М и А. И. Спрыгиных не поддерживались.

С кем из родственников Спрыгиных поддерживалась связь у моего отца? Марфа Михайловна изредка приходила к нам — маленькая тёмная (по одежде) мышка, проходила с черного хода в комнату к бабушке Анне Ивановне. Скромная до уничижения, она стеснялась племянника и жены его. Общение с нею ограничивалось у отца и мамы несколькими ласковыми словами с их стороны. Я слышала, что моего отца в детстве и юности очень любила его тетка Александра Михайловна Денисова. В его записях есть упоминание о поездке в Мокшанский уезд к родственникам. Может быть, это и были Денисовы?

В нашем семейном архиве сохранились фотографии двух сестер дедушки — Марфы Михайловны и Александры Михайловны, а также мужа последней Денисова.

Год и место рождения Ивана Михайловича Спрыгина мне неизвестны. Не знаю также, какую школу он кончил — приходскую? уездную? и окончил ли. В молодости он жил у отца в Городище. Бабушка Анна Ивановна, выйдя замуж за Ивана Михайловича, переехала с ним в Городище. Она рассказывала, как тяжела была их жизнь в доме свекра и мачехи-свекрови, которая старалась выжить из дома пасынка с женой. Она и не кормила их и не давала Анне Ивановне готовить самой. Бесконечные придирки и издевательства. Дело кончилось тем, что Иван Михайлович и Анна Ивановна уехали в Пензу. Сын их Иван Иванович родился в 1873 году уже в Пензе.

Иван Михайлович поступил работать весовщиком на товарную станцию Пенза-I Сызрано-Вяземской железной дороги. Как раз около этого времени (в 1874 году) было открыто движение на этой дороге. Он проработал на этой станции около сорока лет. В 1910 году он ещё работал, как об этом говорит сохранившийся документ. Но в этом же или в следующем 1911 году Иван Михайлович вышел на пенсию. Он работал почти всё время весовщиком. Одно время он перешёл на должность кондуктора, но это продолжалась недолго, и вскоре он вернулся на прежнюю работу. Эта должность весовщика говорит о том, что Иван Михайлович был достаточно грамотен. В семейном архиве сохранилось только одно его письмо — к сыну. Оно написано грамотно, но почерк малограмотного человека.

Мало я могу написать об Иване Михайловиче как о человеке. Был он очень тихим, скромным человеком. Был молчалив. Не помню, чтобы у него были какие-то любимые занятия помимо службы. Я помню его в последние два-три года его жизни, уже на пенсии. Ходил он в русской косоворотке, подпоясанной шнурком, в старой фуражке железнодорожника. Неизменно помню его с трубкой в зубах. И всегда молчал. Я не помню его голоса, речи. Очевидно, был он человеком скромных способностей, вероятно малоинициативным в жизни. Об этом мне говорила моя мама, которая, несмотря на то, что относилась к своему свёкру очень хорошо, уважала его, всё же трезво оценивала его способности. А уважала мама Ивана Михайловича за его доброту и порядочность. Чувствовалось, что в его жизни был какой-то надрыв, неудовлетворенность.

Женитьба Ивана Михайловича и Анны Ивановны была не по любви — сосватали, как часто бывало в то время. Бабушке нравился другой «жених», но пришлось выйти по желанию родных. Каковы были чувства Ивана Михайловича к невесте, а потом жене, трудно судить. Всё же мне представляется, что жизнь бабушки и дедушки не была счастливой.

Всю свою совместную жизнь они были бедны. О бедной обстановке, в которой жил гимназист Спрыгин, неоднократно говорят гимназические документы. В характеристике, данном ученикам, окончившим VIII класс, говорится о Спрыгине Иване: «Сын мещанина и притом из бедной семьи… По бедности своей не мог пользоваться вполне удобной для занятий обстановкой…» И далее: «Как бедный и хороший ученик был избавлен от платы за правоучение и получал нередко пособие от Общества вспомоществования бедным ученикам при 1 гимназии».[6]

Не будь И. И. Спрыгин единственным ребёнком в семье, ему, вероятно, не пришлось бы учиться. При большой семье старшему сыну надо было бы с детских лет зарабатывать.

Одна маленькая черта характера Ивана Михайловича. Он был очень аккуратен и даже щеголеват в одежде. При его более чем скромных средствах это выражалось в ярко начищенных сапогах, шёлковом шейном платке (подарок невестки). Эта склонность к щеголеватости никак не передалась сыну, Ивану Ивановичу, который был глубоко равнодушен к одежде. Передалась только аккуратность и чистоплотность.

И. М. и А. И. Спрыгины жили в Пензе то в жилом доме Сызрано-Вяземской дороги, то несколько лет прожили у сестры Анны Ивановны — Татьяны Ивановны Зубцовой, во флигеле их усадьбы (Кузнечный переулок, д. 5). Жили и на Селиверстовской улице. Обстановка и быт семьи были самые скромные — бедной мещанской семьи. После выхода Ивана Михайловича на пенсию старики переехали к сыну. Сначала жили в его квартире во флигеле в д. Покровского на Покровской улице (д.18). В 1911 году сын их купил в рассрочку дом с небольшим садом на Пешей улице (д. 48, потом он числился как д. 50 на ул. Богданова, а теперь на его месте стоит большой, дом № 54). Целью покупки дома было желание сына и невестки доставить старику занятие по дому и саду. Переехали в дом в 1911 году, а уже через год, в 1912 году летом Ивана Михайловича разбил паралич. До этого он болел диабетом. Около года пролежал Иван Михайлович без движения. Паралич был сильный. Речь у него так и не восстановилась. Он с трудом мог произнести лишь отдельные слова и путал их (помню, что звонок-колокольчик, стоявший у его постели, он называл «огонёк»).

Отношения между отцом и сыном Спрыгиными, как мне представляется, были полны любви и нежности. Помню нежное «Ванюша», «Ванюрка» в обращении Ивана Михайловича к сыну. Запомнилось мне последнее прощание их. Отец мой должен был уезжать летом 1913 года на экспедиционные работы в Черниговскую губернию. Дедушка был уже очень плох, и сын его знал, что больше не увидит его. Простившись с отцом, он вышел в соседнюю комнату,

подошёл к балконной двери. Подняв правую руку и положив её на оконную раму, прислонился к ней лбом. Он долго стоял так молча.

О том, как переживала моя мать смерть свёкра, я написала в главе «Кичкилейка» моей «Семейной хроники». её глубокая скорбь оставила в моей детской душе сильное впечатление на всю жизнь…

Умер дедушка в июле 1913 года. Папа был на экспедиционных работах в Черниговской, губернии. Посылали ему телеграммы о смерти отца и похоронах. Телеграммы не нашли его и хоронили без него.

Был жаркий летний день. При прощании с покойником двоюродный брат отца Василй Капралов упал в обморок. Похоронили дедушку на кладбище Мужского монастыря. Там были рядом два участка с могилами наших родственников, обнесённые каждый оградою. На участке Спрыгиных была захоронена в 1903 году моя старшая сестра Ниночка, а в 1913 году рядом с её могилою появилась могила Ивана Михайловича. На участке Цилли были похоронены Иван Владимирович (в 1887 году) и Марья Васильевна (в 1909 году), родители Нонны Ивановны Спрыгиной. Рядом были могилы Марьи Ивановны Нестерович, их дочери, и её мужа Ивана Логиновича. В начале 1930 годов кладбище Мужского монастыря было уничтожено. Сначала там устроили огороды, а потом застроили домами. Ещё в 1955 году, приехав в Пензу, я смогла найти место могил по росшим возле них большим деревьям. Помогли ориентироваться и остатки монастырских стен и башен. В 1966 году ничего не осталось ни от стен, ни от деревьев. На месте кладбища была уже сплошь застроенная окраина города. Горсточка земли с могилы моей сестры Нины положена мною в склеп, где стоит урна с прахом нашей мамы Нонны Ивановны Спрыгиной на кладбище старого крематория у Донского монастыря, в Москве.

Иван Михайлович был единственным сыном. Его сын Иван Иванович был также единственным сыном. У него сына не было. Я — последняя представительница пензенской семьи Спрыгиных, носящая эту фамилию. Последняя представительница (в настоящее время) семьи — Маша (Мария Леонардовна) Уранова.

Недавно, в последние годы, я узнала, что в Москве много Спрыгиных. В газете мне встретилось имя Марии Михайловны Спрыгиной, а на одном донорском пункте числится несколько доноров с этой фамилией. Очевидно это потомки семьи, из которой вышел стрелец Спрыгин, присланный при царе Алексее Михайловиче из Москвы в Саранск. Когда в 1927 году я с отцом была в Хвалынске, мы увидели вывеску (это было время НЭПа) «Булочная Спрыгина» (инициалы не помню). Отец зашёл и спросил владельца булочной: нет ли у него родственных связей с Городищем и с Саранском. Тот ответил, что связей нет. Вот всё, что я смогла написать о Спрыгиных.

Сченснович

Фамилия Марии Васильевны Цилли, матери Нонны Ивановны Спрыгиной, до замужества — Сченснович. Родом она из Витебска. Вышла замуж за Ивана Владимировича Цилли рано — из седьмого класса гимназии, после замужества часто переезжала с мужем из одного города в другой (по долгу службы — контролер Контрольной палаты — он через короткие промежутки времени переводился в другой город), потом семья осела в Пензе, где ещё молодым, 42 лет, умер И. В. Цилли, и в Витебск Мария Васильевна уже не возвращалась. Во всяком случае, дети её не рассказывали даже о кратковременных поездках своей матери на родину.

Мать М. В. Цилли — Александра Андреевна Сченснович, урожденная Дубровина, умерла в Одессе от холеры в 1880-м или предшествующем году, приехав туда к дочери.

Об отце же Марьи Васильевны в семье никаких сведений не сохранилось: она никогда не говорила об отце, нет и не было в семье его фотографической карточки, неизвестно даже отчество его. В то же время фотографии Александры Андреевны в семье сохранились, известно её полное имя и даже девичья фамилия. Естественно, что такое умалчивание Марьи Васильевны о своём отце и полное отсутствие его фотографий вызывает недоумение и заставляет подозревать нарочитое умалчивание.

Просмотр мною в Ленинской библиотеке всех имевшихся там «Памятных книжек Витебской губернии» с адрес-календарями не дал прямого ответа на вопрос — кем же был отец Марьи Васильевны Сченснович и как его звали, но всё же позволяет со значительной долей вероятности подыскать ответ на него.

Сченсновичей в этих книжках много, род был на протяжении XIX века устойчивый и большой, но к моему большому удивлению, недоумению и разочарованию он оказался духовным! Так в «Памятной книжке» на 1867 год приведён «Список церквей, монастырей и духовенства бывшей греко-униатской Белорусской епархии за 1839 г.». До этого года, по данным «Памятной книжки Виленского генерал-губернаторства на 1868 г.» — «Витебск всё ещё оставался в унии». В указанном списке на 1839 год значится 6 священников с фамилией Сченснович или Щенснович: 4 в Витебской губернии, один в Минской и один в Курляндской губернии. В «Памятной книжке на 1864 год» лиц духовного звания девять, из них семь священников и два диакона. В разделе «Статистические сведения о церквях и церковных причтах Полоцкой епархии» «Памятной книжки на 1889 год» числится 12 духовных лиц с фамилией Сченснович — священники, диаконы и псаломщики. Интересна и эволюция фамилии Сченснович. В списке на 1839 год пять лиц носят фамилию Щенснович (ближе к польскому: Щенсно — счастье) и один Сченснович. В дальнейшем вариант «Сченснович» преобладает (сченсно — счастье по-белорусски). В 1864 году только один Федор Григорьевич Сченснович значится принадлежащим к римско-католической церкви, остальные — православные. Но в дальнейшем за отдельные годы фамилия того или другого лица из рода Сченсновичей пишется как Щенснович (тот же Федор Григорьевич в 1865-м и в 1881 годах; кстати, и он в 1881 году значится уже православным). Фамилию Щенснович носит и Антон Иванович, единственный землевладелец с этой фамилией. (»Памятная книжка на 1878 год», поуездные списки землевладельцев). Был этот Антон Иванович католик, его имение Горяны имело 1260 десятин.

Таким образом, несомненно, что за единственным этим исключением в рассматриваемых поколениях

Сченсновичи — род священнослужителей большего или меньшего ранга. Есть ли среди них лицо, которое можно было бы считать отцом Марии Васильевны Сченснович и прадедом пишущей эти строки Людмилы Ивановны Спрыгиной? Да есть. Предположительно, но со значительной долей вероятия. В «Памятной книжке Витебской губернии на 1864 год» («Адрес-календарь или росписание чинов гражданского или военного ведомств, а также и духовенства Витебской губернии на 1864 год») значится в Полотском уезде Домницкой, св. Троицкой церкви диакон Василий Васильевич Сченснович, православный, место его воспитания — в Полотской духовной семинарии, женат, имеет 5 сыновей и 1 дочь, получает 80 рублей содержания в год, 49 лет, 24 года службы.

Василий Васильевич «подходит» в отцы Марье Васильевне по возрасту (в том же адрес-календаре брат Марьи Васильевны — Иван Васильевич Сченснович имеет 19 лет, а ей в этом году было лет 12); аналогично приведенным сведениям М. В. была единственной дочерью и имела несколько братьев, ну, а также — отчество.

Как же объяснить такое полное забвение Марией Васильевной Сченснович своего родного отца, такое, что она даже детям своим ничего не говорила о нём?[7] Ну, прежде всего, жреческое сословие давно уже не пользовалось в России уважением. К нему относились свысока, с пренебрежением и насмешкой. Таким отношением пронизана вся русская литература XIX-го, не говоря уже о XX веке. Такое же отношение было и в народе, во всяком случае, у более умной, развитой его части. Слишком велико было несоответствие между предназначением духовенства и житейским, бытовым его положением. Экономические условия — зависимость существования от даяний прихожан — вызывали естественное пренебрежение со стороны дающего, а развивающаяся от бедности и от этой зависимости жадность делали представителей духовного сословия мишенью для насмешек. Вполне естественно, поэтому стремление детей духовенства вырваться в другие сословия, члены которых были больше уважаемы, занимали более независимое положение и были более обеспечены.

И вот сыновья сельского диакона вырвались из своего сословия, стали чиновниками. Младшую сестру им удалось отдать учиться в гимназию. Потом она вышла замуж за чиновника, сделавшего неплохую карьеру. Естественно, что гордая чиновница хотела порвать со своим прежним сословием, забыть о нём, а главное, чтобы её знакомые не узнали о её происхождении. Мало того, что Мария Васильевна ничего не говорила о своём отце, она не была и религиозной и в своих детях не только не воспитывала религиозность, но и развивала пренебрежительно-насмешливое отношение к духовному сословию.

Надо отдать справедливость Марье Васильевне — она сумела выполнить своё намерение, проявив в этом твёрдую волю и последовательность. Ведь никто из детей и внуков не узнал правды. Не предугадала она только, что одна её внучка, как раз из той, чуждой ей по духу «циллевской» ветви, движимая страстью к изысканиям в области семейной генеалогии и, будучи научным работником, знавшая как и где надо искать нужные материалы, сумела если и не найти очевидное, то, во всяком случае, подыскать вероятное объяснение семейной тайны.

Что же известно о предположительном нашем предке (как хочется, чтобы это предположение оказалось ошибочным!) сельском диаконе Василии Васильевиче Сченсновиче? В 1864 году, как я уже писала выше, он был диаконом в с. Домники Полотского (так тогда писали вместо «Полоцкого») уезда Витебской губернии. Через 25 лет в «Памятной книжке» на 1889 год о церкви, в которой служил В. В. Сченснович, сказано: «деревянная, холодная, ветхая». Как диакон Домницкой церкви, В. В. Сченснович указан и в 1865 году. В книжках за последующие годы указаний о нём нет, и только в «Памятной книжке на 1889 год» в разделе «Статические сведения о церквах и церковных причтах Полоцкой епархии» опять значится диакон на псаломщицкой вакансии Василий Сченснович в с. Новый двор Дзвонского прихода Лепельского уезда, в церкви во имя святителя и чудотворца Николая (церковь каменная, холодная, прочная). Тот же или другой диакон Василий Сченснович? Данные расходятся. По сведениям на 1889 год он числится на настоящем месте с 1866 года, тогда как при Домницкой церкви он упоминался последние раз в 1865 году. Это говорит за тождество обоих лиц. Но другие данные расходятся. В «Памятной книжке» на 1864 год указано, что диакон Василий Сченснович родился в 1815 году, служит с 1840 года, а в книжке на 1889 год диакон Василий Сченснович родился в 1809 году, на службе и в сане диакона с 1833 года. Таким образом, разница в годах — 6 лет, в стаже — 7 лет. Тем не менее, указанные различия не говорят определённо, что это были разные люди: в одной из книжек могли быть неточные данные, что по тем временам вполне возможно.

В «Памятной книжке» на 1864 год у Василия Васильевича Сченснович указано 5 сыновей и 1 дочь. У нас в семье известно, что Мария Васильевна была единственной дочерью, известны три её брата — Иван, Василий и Михаил. По возрасту все они подходят в сыновья диакону В. В. Сченсновичу: Иван Васильевич, по данным «Памятной книжки на 1864 год» родился в 1845 году, Михаил Васильевич, по данным на 1867 год, родился в 1846 году. О Василии Васильевиче, которому на страницах «Памятных книжек» уделено очень много места, известно, что он в 1878 году окончил Медико-хирургическую академию, а возраст его нигде не указан; Мария Васильевна родилась примерно в 1852 году.

В «Памятных книжках» есть два Сченсновича с отчеством «Васильевич» (пять сыновей у диакона В. В. Сченсновича!). Александр Васильевич, по данным на 1864 год, родился в 1842 году; он в 1862 году (»Памятная книжка Витебской губернии на 1862 год», Ч.1. Росписание чинов ведомств: гражданского, духовного, военного и народного просвещения) был столоначальником в Земском суде Городокского уезда, в 1865 году в Себежской дворянской опеке (министерство юстиции) занимал должность письмоводителя канцелярии предводителя, здесь же указано, что обучался он в Полотском духовном уездном училище; дальнейших сведений о нём в адрес-календарях Витебской губернии не имеется. Второй — Яков Васильевич Сченснович. В книжке на 1884 год в с. Залосемское Себежского уезда он значится учителем, окончившем Витебскую духовную семинарию, а на 1885 год он числится священником, законоучителем в Режицком одноклассном училище; то же

и за 1886 год. Вновь его имя встречается в «Книжке» на 1908 год — священник, Воронечь, Лепельский уезд. Данных о его годе рождения нет, но поскольку впервые он появляется на страницах «Памятных книжек» в 1884 году, а в 1908 году был ещё жив, он вполне годится в братья Марье Васильевне Сченснович. Почему же её дочери ничего не знали об этих её братьях? Что касается Александра Васильевича, то он в последний раз упоминается в 1865 году, т. е. он мог умереть молодым, когда Марье Васильевне было лет 13 (но, может быть, и переехал в другую губернию!). А о Якове Васильевиче она могла не говорить по тем же причинам, что и о родном отце своем.

Что же известно о достоверных братьях Марьи Васильевны? Все три брата быстро сделали карьеру, два — как чиновники, а третий — как врач. Несомненно, обладали способностями и умом выше среднего уровня и действенной волей, «напором» в жизни. Два из них — чиновники — получили образование только в уездном училище (так же как и дед мой, тоже чиновник, Иван Владимирович Цилли), рано начали служить и быстро достигли солидных должностей. Что же, кроме способностей и настойчивости в достижении жизненного успеха, помогло сыновьям сельского диакона (?) быстро выйти в люди? В то время много значила протекция. Не было ли и здесь влиятельного покровителя? Мы не знаем, в чьём имении была церковь, где диаконствовал Василий Васильевич Сченснович, а это знание могло бы пролить свет на вопрос о причине быстрой карьеры братьев Сченснович. Вероятно, надо отдать справедливость и отцу их: вместо проторенной дорожки — учебы в духовном училище и семинарии, он отдал их в светское — уездное училище, что открывало путь к карьере по гражданским ведомствам.

О Михаиле Васильевиче из «Памятных книжек» известно, что в 1867 году он имел 21 год от роду, получил воспитание в Невельском уездном училище, имел в это время уже 7 лет службы, т. е. начал служить с 14 лет, а в этом году занимал должность письмоводителя уездного предводителя при Лепельской дворянской опеке, получая содержания 900 рублей в год (вспомним, что диакон В. В. Сченснович в это время получал в год 80 рублей). Больше о нём в «Памятных книжках» Витебском губернии сведений нет. Надо думать, что он перешёл служить в другую губернию или же поступил на частную службу (связь с дворянством). Из семейных преданий известен только самый факт его существования, да ещё Н. И. Метельская (Нестерович) вспоминает, что у Михаила Васильевича Сченснович был сын Борис, который во времена её детства (начало нашего столетия) часто приезжал на каникулы в Пензу.

Об Иване и Василии Васильевичах Сченснович сведений больше, и документальных и семейных, они для меня — уже вполне определенные, «живые» люди.

Иван Васильевич Сченснович родился в 1844 году (или около), получил образование в Невельском уездном училище, начал служить с 16 лет (по данным «Адрес-календаря» на 1864 год). В возрасте 19 лет он занимал должность помощника бухгалтера в Режицком уездном казначействе, получая 150 рублей содержания в год. В том же «Адрес-календаре» он числится помощником бухгалтера и в Невельском уездном казначействе. Очевидно, совмещал должности в обоих казначействах. Характерная черта времени: как мало требовалось знаний от чиновника, если удовлетворяло образование, полученное в уездном училище, вернее — как невелика была сумма знаний, открывавшая путь к служебной карьере. Другая характерная черта: юноша 19 лет получал 150 рублей в год, а отец его (предполагаемый мною), сельский диакон в возрасте 49 лет, имел 80 рублей в год. Отсюда и зависимость от даяний прихожан, проистекающая отсюда приниженность сословия и стремление выбиться из него.

Иван Васильевич быстро шагал вверх по служебной лестнице. На следующий 1865 год он числится уже помощником контролера в Казенной палате, по министерству финансов, будучи переведён, очевидно, из уездного в губернский город. Содержание уже больше чем вдвое — 366 рублей (20 лет было в это время Ивану Васильевичу). На следующий 1866 год опять новое место — помощник губернского казначея в Витебском губернском казначействе с окладом 750 рублей в год (опять, и значительное, повышение оклада). Чин его — коллежский регистратор. В 1867 году Иван Васильевич (очевидная ошибка в «Адрес-календаре»: там отчество «Савельевич», а остальные данные явно относятся к Ивану Васильевичу Сченснович) числится и. д. секретаря в Контрольной палате с окладом в 975 рублей, а через два года (25 лет), в 1869 году, он служит столоначальником в уездном суде (по министерству юстиции).

Далее в «Адрес-календарях Витебской губернии» сведений об Иване Васильевиче Сченснович нет. Таким образом, каждый год — новая должность, часто и по новому ведомству, и повышение оклада. Если и была сильная протекция, несомненны и большие деловые способности, усердие и упорство.

По семейным преданиям, карьера И. В. Сченснович хорошо продолжалась и дальше (в каких городах? — может быть, найдутся сведения в «Памятных книжках» по другим губерниям), пока в каком-то городе Иван Васильевич не поссорился с губернатором, не отдавшим ему визита. В результате этой ссоры Иван Васильевич был переведён в Архангельск. Это было, по тем временам, своего рода ссылкой. В Архангельск он поехал без семьи, через несколько месяцев заболел там и умер. На его похороны никто из родных не поехал — железной дороги ещё не было, ездили на лошадях.

На сохранившихся в нашем семейном архиве фотографических карточках Ивана Васильевича мы видим человека с серьёзным лицом, умным, вдумчивым взглядом. Чувствуется человек долга, отвечающий за свои поступки и организованный в своей жизни. Мама моя рассказывала, что «дядя Ваня» дал образование младшему брату Василию (он окончил медико-хирургическую академию) и сестре Марии, которая училась в гимназии. Когда эта сестра (Мария Васильевна Цилли) овдовела, оставшись с семью детьми, оба брата обещали высылать ей по 25 рублей ежемесячно. Иван Васильевич делал это крайне аккуратно: после каждого 20-го числа, вспоминала мама, Мария Васильевна ходила на почту за этими деньгами. Женился Иван Васильевич поздно, в один из своих приездов в Пензу к сестре, на Валентине Михайловне Никульшиной. Ей было 15 лет, а ему 45 (значит, это было в 1889 году). Пожилой уже муж хотел, чтобы его молоденькая жена жила в Пензе под присмотром своей золовки, его сестры, которая была значительно

старше. Это не помогло, брак, видимо, не был удачным. Три сына было у Валентины Михайловны — Михаил, Евгении и Василий. Средний из них, впоследствии провизор в Пензе, не был сыном Ивана Васильевича. Он сторонился всех родственников своего официального отца и никогда не бывал у нас. Валентина Михайловна была приветливая и женственная женщина. Несмотря на её «грех», мама моя, при всей строгости своих взглядов, хорошо к ней относилась, и изредка они бывали друг у друга. Сыновья Ивана Васильевича Михаил и Василий, двоюродные братья моей мамы, не были удачными. Они не обладали блестящими способностями своего отца и своих кузенов и кузин Цилли, с которыми их невольно сравнивали и не в их пользу. Отношения не поддерживались. Говорили, что братья неумны. Во всяком случае, они были обывателями, без интеллектуальных интересов семьи Цилли. Михаил Васильевич Сченснович был бухгалтером в Пензе. Я его помню, каким он был в молодости. Высокий и стройный, с очень красивым, всегда строгим лицом без улыбки. В нём была порода (от Сченсновичей) и он тоже, как и его кузены и кузины Цилли, казался в Пензе нерусским.

Василий Сченснович, хотя и тоже красивый, был проще. Помню, во время моего детства, один из его визитов к маме, в период между Февральской и Октябрьской революциями. Сидели в гостиной нашего дома на Пешей улице, мама, тётя Маня Романова и я. Гость, приехавший в Пензу, кажется, из Петрограда, рассказывал о событиях февральской революции — говорил неинтересно, о мелочах, анекдотах. После его ухода мама грустно сказала: «Такой молодой, а ведь монархист вероятно». Тётя Маня сочувственно кивнула. Я, молча наблюдавшая за взрослыми, запомнила этот эпизод из-за поразившего меня контраста: весело болтавшего молодого и красивого офицера и невесёлой оценкой его поведения, сделанной мамой. После 20-х годов я ничего уже не слышала об этих кузенах моей мамы и ничего не знаю о судьбе их и их потомства.

Второй брат бабушки М. В. Цилли — Василий Васильевич Сченснович. Он был врач, получил звание врача в Медико-хирургической академии в 1878 году («Памятная книжка Витебском губернии» на 1889 год, «Сведения о врачах, служащих и вольно практикующих в Витебской губернии»), специальностью его было акушерство и женские болезни. По семейным преданиям получить образование ему помог старший брат Иван Васильевич. В Витебской губернии он работал с 1885 года, а до этого был врачом в действующей армии во время русско-турецкой войны.
На страницах «Памятных книжек» Витебской губернии В. В. Сченсновичу уделено очень много места. Человек способный и обладавший, кроме того, большой деловой энергией, он занимался и практикой, и административно-организационной деятельностью и обширной общественной работой. Впервые «Памятные книжки сообщают о нём в 1886 году: он числился по Врачебному отделению Губернского правления в должности помощника губернского врачебного инспектора, имел чин коллежского асессора, был кавалером ордена святого Станислава 3-ей степени (очевидно, за русско-турецкую войну). В этой должности Василий Васильевич состоял долго — до 1904 года (т. е. 18 лет). В конце 1880-х годов он был произведён в надзорные советники, а в «Книжке» на 1895 год числится уже статским советником. В той же книжке содержатся сведения о его выборно-общественной деятельности: в разделе «Городская управа» он указан председателем городских гласных по разрешении дел и вопросов, указанных в ст.120 городского положения 1892 года (что за статья?), и там же, по разделу министерства юстиции, он числится по съезду мировых судей по Витебскому уезду.
В «Памяткой книжке» на 1900 год статский советник В.В. Сченснович числился в той же должности помощника губернского врачебного инспектора, а общественная его деятельность принимает всё более обширные размеры. Он указан в списке гласных Витебской городской думы, избранных на четырёхлетие 1898–1902 годов, и среди почётных мировых судей.
В «Попечительстве Витебской общины сестер милосердия» он был членом-воспитателем, в Витебском обществе врачей — председателем. Был он в этот год и членом правления Российского общества спасания на водах. В «Адрес-календаре» на 1900 год указаны адреса поименованных в нём лиц. В. В. Сченснович в этом году имел собственный дом на Подвинской улице, тогда как в 1889 году он жил на Смоленской улице в доме Пашковского. В 1902 году появляется опять новое в деятельности В. В. Сченсновича: оставаясь в той же должности по Врачебному отделению и в тех же выборных должностях, он занимает пост главного врача в больнице сестер милосердия Витебской общины красного креста. Через два года, по данным «Памятной книжки на 1904 год», в деятельности В. В. Сченсновича произошли изменения. Он уже не являлся помощником врачебного инспектора, но продолжал быть главным врачом больницы Витебской общины сестер милосердия Красного креста. Новое в этом году и то, что Василий Васильевич стал председателем правления Витебском губернской больницы и членом Витебской губернской управы по делам земского хозяйства. В 1908 и 1910 годах он остаётся главным врачом той же больницы и председателем правления Витебского медицинского общества врачей, членом Попечительного совета Витебской общины сестер милосердия Российского Красного креста и членом правления Витебского окружного правления Российского общества спасания на водах.

Следующая книжка — на 1914 год — в своем алфавитном списке не содержит ни одного Сченсновича. Главным врачом Николаевской лечебницы при Общине сестер милосердия указан другой врач, нет имени В. В. Сченсновича и по другим должностям. Очевидно, в период с 1910 по 1914 год В. В. Сченснович умер или был вынужден совершенно отказаться и от служебной и от общественной деятельности. На нескольких сохранившихся в нашем семейном архиве фотографиях В. В. Сченсновича мы видим лицо красивого, волевого и, видимо, чрезвычайно напористого, честолюбивого человека. На лице его старшего брата, Ивана Васильевича, кроме сильной воли отражены ум и серьёзность характера, виден человек долга. Василия Васильевича роднит с ним сильная воля, но на его лице отражены, прежде всего, смелость и напористость в жизни, это не человек долга, как его старший брат. Он, вероятно, мог быть не щепетилен в выборе средств для достижения поставленной цели. Человек умный и способный, но честолюбивый и любящий удовольствия. Однако указываемые в «Памятных книжках Витебской губернии» разнообразные и широкие виды

его общественной деятельности говорят о совсем недюжинных деловых способностях В.В. Сченсновича, о его авторитете среди врачей и других лиц того круга, среди которого он жил.

По семейным преданиям, Василий Васильевич был женат на польке «тетя Стефтя» по воспоминаниям мамы, её фамилия до замужества, кажется, Хмелецкая. Она была культурной женщиной, рисовала. Очень любила верховую езду. Была она, вместе с тем, и деловой женщиной; в её имении готовили вакцину. У В. В. Сченсновича и его жены были дети: Людмила (повесилась), Вадим, о котором из «Памятной книжки Витебской губернии» на 1909 год известно, что он числился в этом году по министерству юстиции, окружному суду, кандидатом «на судебные должности младшие», служил с 10 октября 1908 года, а окончил Новороссийский университет. Те же сведения о нём имеются и в книжке на 1910 год, а на 1914 год, как я уже писала, никого из Сченсновичей нет. Были, как будто, и другие дети. По семейным преданиям, Василий Васильевич и его жена давали друг другу большую свободу в личной жизни.

Еще одна черта, характерная для В. В. Сченсновича. Когда Мария Васильевна Цилли овдовела, два её брата пообещали высылать ей по 25 рублей ежемесячно. Очень аккуратно высылал старший брат, а Василий Васильевич, несмотря на большие доходы от практики, послал несколько раз и бросил.

Теперь о Марии Васильевне, моей, бабушке, матери Нонны Ивановны Спрыгиной. Я лично её совсем не помню. Когда она умерла, в 1909 году, мне было всего 3 года. И, вероятно, первое моё воспоминание — дни её похорон. Помню нашу гостиную, когда мы жили на Покровской улице, старший мамин брат, дядя Володя, приехавший на похороны, сидит недалеко от двери и, играя со мной, пугает. Мне и страшно, и довольна я, что со мной занимаются.

Мария Васильевна училась в Витебской гимназии, из седьмого класса вышла замуж, познакомившись с дедушкой моим Иваном Владимировичем Цилли. Как я уже писала, брак их был очень счастливым. Известный врач Константин Романович Евграфов, имевший в Пензе большую практику и умерший в глубокой старости, говорил, что более счастливой супружеской пары он за время своей практики не встречал. Дедушка был редким семьянином, бабушку «носил на руках», был очень заботлив и о детях, вникал в хозяйство. Каждый год или через два года у них рождались дети.

И вот, в 35 лет Мария Васильевна Цилли неожиданно осталась вдовой, на руках у неё было семеро детей, причем старшему, Володе, было 15 лет, а младшей, Зине, 3 года. Сбережений не было. Жили при дедушке хорошо, но сбережений ещё не могли делать, ведь дедушка умер молодым, 42-х лет. Прав на пенсию его вдова не имела — дедушка по своему возрасту не дослужил до пенсии. Молодая избалованная женщина оказалась без средств, а должна была растить и учить двух сыновей и пять дочерей. Мне приходится быть очень объективной, так как, не зная лично бабушки, я всё же составила о ней очень определенное представление, которое не только не вызывает во мне любви к ней, но наоборот — порождает антипатию. Стараясь быть объективной и справедливой, я должна сказать, что Мария Васильевна, безусловно, обладала характером и, видимо, была довольно интеллигентна. Скоропостижная смерть дедушки (он умер внезапно, во время сна, выздоравливая после брюшного тифа, от «разрыва сердца», как тогда говорили) была для неё страшным ударом, резко изменившим всю её жизнь. Оборвалась счастливая супружеская жизнь, после достатка наступила самая настоящая бедность. Образование Марии Васильевны (7 классов гимназии) не давало ей никаких практических знаний в жизни, да если бы они и были, заботы о детях всё равно не позволили бы ей зарабатывать. После долгих хлопот она получила пенсию — 50 рублей в месяц. Это была «неделимая» пенсия, т. е. бабушка получала её до конца жизни, не выделяя доли детям. Если прибавить к этой сумме 25 рублей, которые Мария Васильевна получала от старшего брата Ивана Васильевича при его жизни, получится 75 рублей — этого всё равно очень немного для семьи из 8 человек.

Мама говорила, что они были сыты, голодать не приходилось, но в остальном были крайне стеснены. Правда, дети учились в гимназиях; на казенный счет, как осиротевшие дети чиновника. Но не хватало ни на одежду детям, ни на какие-либо удовольствия. Жизнь была самая скромная, попросту говоря — бедная. Держали одну прислугу (платили ей тогда 1 рубль в месяц). Ни о каких нарядах для девочек не могло быть и речи. Мама рассказывала, что в старших классах гимназии кроме формы, доставшейся ей, конечно, от старшей сестры, у неё была только юбка и одна скромная блузка. Хорошо еще, что дети были способные и, учась ещё в гимназии, сами давали уроки младшим или менее способным ученикам. И летом ездили в имения в богатые семьи, чтобы заниматься с детьми — готовить к переэкзаменовкам или к поступлению в гимназию.

Как бы то ни было, Мария Васильевна все-таки сумела организовать жизнь при своих скромных средствах — все дети учились и были сыты, Весь день её уходил на хлопоты по хозяйству — одна кухарка не могла сделать всей работы, а детям, при всей бедности, не полагалось выходить на кухню и что-либо делать там. Вечером же, когда дети ложились спать, Мария Васильевна жила другой жизнью — она проводила время в одиночестве, читала газеты и книги (при этом много курила) и, вероятно, предавалась воспоминаниям о прошлой, счастливой жизни с мужем. В сущности, её жизнь стала добровольным монастырем. После смерти мужа она ни разу не была в театре или концерте, не ходила в гости, кроме обязательных визитов. Жизнь превратилась в воспоминание о былом и исполнение долга перед детьми.

Теперь скажу о плохом. Моя мама никогда ни одним словом не обмолвилась о нехороших сторонах характера своей матери, всегда вспоминала её с нежностью и любовью. А между тем Мария Васильевна была недобра и, главное, несправедлива к своим детям. У неё были любимые и нелюбимые. Из последних — в особенности моя мама, которая больше, чем кто-либо из детей, была не в Сченсновичей, а в Цилли, да ещё была любимицей своей бабушки со стороны отца (т.е. свекрови Марии Васильевны). Мария Васильевна, терпеть не могла свою свекровь и самым большим осуждением для её детей было: «на бабушку похожа». Мама моя была чужая в своей семье для своей матери и тех её дочерей, которые были похожи на неё, были «в Сченсновичей». Вот тут и сказался недостаток ума у Марии Васильевны. Она не разгля-

дела среди своих дочерей всей незаурядности характера моей мамы: высокой духовности её натуры, чистоты и глубокой нравственности, сердца, умевшего преданно и нежно любить, отсутствия всяких мещанских интересов.

Конец жизни Марии Васильевны Сченснович-Цилли был относительно спокоен: дети её любили и заботились о ней. Умерла она 57 лет (в 1909 году) от болезни сердца.

Глава II

Жизнь Н. И. и И. И. Спрыгиных в первые 10 лет их совместной жизни. 1899–1908 гг.

Мой отец познакомился с моей матерью, тогда Нонной Цилли, в 1897 году или начале 1898 года. В 1897 году он начал работать в Пензенском Художественном училище, а мама поступила туда учиться (в этом году состоялось открытие в Пензе Художественного училища и первый приём учащихся). Казалось бы, что они должны были познакомиться там. Но, по семейным рассказам, их познакомил приятель отца и знакомый мамы Евгений Всеволодович Титов. Он был братом маминой подруги Сони Титовой, впоследствии Полторацкой, матери пензенского большевика — деятеля первых лет революции Всеволода Полторацкого. Отец был знаком с Евгением Всеволодовичем ещё с 8-го класса гимназии, в котором они вместе учились. С тех пор, на протяжении нескольких десятилетий (около 50 лет), у моих родителей сохранялись с Е. В. Титовым дружеские отношения. Он был одним из самых близких их друзей.

Вспоминали, что где-то в Пензе, на каком-то «гулянии» была компания молодых людей. Соня Титова, хорошенькая и кокетливая, девушка, привыкшая к толпе поклонников вокруг себя, с удивлением заметила, что не она одна пользуется в этой компании успехом. Её скромная и серьёзная подруга (полная противоположность ей) Нонна Цилли привлекла внимание Спрыгина, Любовь, большая и глубокая, началась сразу и продолжалась всю жизнь. Отцу было тогда двадцать пять лет, а маме восемнадцать.

Неудивительно, что мама привлекла внимание отца и так быстро и прочно завоевала его сердце. В её внешности, правда, не было тех блестящих данных, которые так характерны для её братьев и сестер Цилли её поколения. Внешне она не была красивой, или «интересной» в той мере, как большинство из них. Тем не менее, она представляла совершенный образец женственности и чистоты и в свои восемнадцать лет была серьёзной девушкой, уже выработавшей свои идеалы нравственности и гражданственности, ставшие основой её отношения к жизни. Очень высокая и стройная девушка, с большими серо-голубыми глазами и обаятельной улыбкой, начитанная, окончившая гимназию с золотой медалью и мечтающая о дальнейшем образовании и общественно-полезной деятельности, — такова была будущая спутница всей жизни моего отца.

Больше удивления вызывает выбор мамой в спутники жизни моего отца, выбор в очень юном возрасте, когда много внимания уделяют внешним данным. Отец был некрасив и не обладал тогда непринужденностью манер, даваемой в то время воспитанием в определённой среде. Рядом с Цилли и окружавшим маму кругом людей, знакомство с которыми дала ей гимназия, отец был прост и, по понятиям того времени, мужиковат. Но его высокая интеллектуальность, его уже прочно сложившиеся планы научной работы и общественно-просветительской деятельности, которые он излагал с присущим ему темпераментом, были быстро поняты умной девушкой. В этой быстро сложившейся дружбе-любви всё шло от общности отношения к жизни, от общих жизненных идеалов и планов. Впрочем, со стороны отца было много и влюбленности в свою юную подругу — влюбленности, продлившейся всю жизнь. Через тридцать лет, в 1928 году, находясь в отъезде, он напишет своей жене письмо, в котором будут такие строки (он говорит о том, что досталось ему от «судьбы»):

«... второе (а это может быть поставлено и первым), что мне на долю досталась ты... ты, как женщина, и как человек, жизненный товарищ; ведь это редко бывает... Вся кровь закипает во мне, когда я вспоминаю...8 января и 14 февраля, когда ты впервые стала моей женой. С тех пор за 28 лет мои чувства к тебе, как к женщине, не только не охладились, а, сама хорошо знаешь, стали ещё более пылкими и страстными».

(Письмо из Ленинграда в Пензу от 27 января 1928 года).

Отец торопил маму со свадьбой. Она состоялась 8 января (ст. стиля) 1899 года. Далёкие от условностей и традиций своего времени, они хотели сделать свадьбу как можно более скромной и незаметной. Поэтому для венчания выбрали маленькую церковь на самой окраине Пензы в пригородной слободе Городок. Но свадьбу всё-таки пришлось отпраздновать — в угоду родителям жениха и другим родным. Обстановка свадебной суеты была совершенно чужда маме, и от свадьбы у неё на всю жизнь остались невесёлые воспоминания. Началась общая жизнь. Вначале мама посещала занятия в Художественном училище, но вскоре тяжелая беременность не позволила ей продолжать занятия. В интересы своего мужа мама включилась быстро и стала его верной помощницей. Собственно, к естественным наукам у неё не было природной склонности. К тому же в гимназии науки о природе тогда не преподавались, и интересам к ним неоткуда было развиться. Склонности были определённые — к гуманитарным наукам, литературе и истории, и к искусству — и остались такими на всю жизнь. Тем не менее, не увлекаясь ни ботаникой, ни зоологией, на долгие годы мама стала помощницей отцу, освобождая его от черновой работы в его исследовательской деятельности, редактируя его рукописи и тексты докладов и выступлений, выполняя всю техническую работу по составлению карт, по обработке гербария. А главное, она с каждым годом всё больше входила в его научную и общественную деятельность, поддерживая его во многие трудные минуты и оставаясь неизменной советчицей в большом и малом.

Впоследствии мне приходилось слышать, что некоторые друзья отца считали, что из него, может быть, и не вышел бы ученый и общественный деятель, если бы не то, что в молодости он встретил такую хорошую подругу жизни. Без её поддержки, один, он не смог бы, быть может, преодолеть те трудные усло-

вия жизни, в которые попал, будучи вынужден жить вдалеке от научных центров, в Пензе.

На протяжении многих лет, первых двух десятилетий совместной жизни, в семье на первом плане стояли интересы и занятия отца. Жизнь мамы в то время была полна самоотречения — отречения от собственных планов и устремлений, прежде всего от продолжения образования. Давалось ей это не всегда легко. Ярко одарённая, привыкшая к высокой оценке своих способностей — преподаватели в гимназии и знакомые ждали от неё многого — она тяжело переживала невозможность получить высшее образование и материальную независимость. Это наложило определённый отпечаток на её характер в эти годы — неудовлетворенность жизнью всё же была, была и грусть и тоска по более полной, «своей» интеллектуальной жизни. Однако на отношении к мужу эта неудовлетворенность жизнью не отразилась. Мама оставалась верной помощницей во всех его занятиях, начинаниях и увлечениях.

Материально молодые Спрыгины были крайне необеспеченны. Собственно говоря, это была самая настоящая бедность. Мама была из очень бедной семьи. К свадьбе её старший брат, Владимир Иванович Цилли, купил ей самые необходимые вещи из одежды и белья. Этим помощь её семьи и ограничилась. Ведь никаких материальных накоплений в семье Цилли не было. Вдова Цилли и её семеро детей жили на небольшую вдовью пенсию. Семья Спрыгиных-родителей была совсем бедной, о чём неоднократно говорилось в гимназических документах, характеризовавших домашнюю обстановку гимназиста Спрыгина. Сам он после долгих поисков работы мог получить лишь место делопроизводителя в Художественном училище с жалованьем в 600 рублей в год, а ко времени женитьбы хотя и смог давать там уроки, но заработок они давали также небольшой. И в последующие годы, когда (с 1901 года) отец получил место учителя в гимназии, материальное положение семьи оставалось очень необеспеченным. Так продолжалось все первые 10 лет совместной жизни Н. И. и И. И. Спрыгиных.

Надо сказать, что, кроме небольшого заработка, в необеспеченности немалую роль играли научные занятия отца, требовавшие расходов. Разъезды по губернии, оборудование для сбора коллекций, книги, даже только самые необходимые, стоили денег. На это в бюджете семьи всегда отводилось место. Как я уже говорила, интересы и занятия отца стояли на первом месте. Мама в материальном отношении подчиняла свои желания интересам отца. Привыкшая и в своей семье к бедности, она умела смолоду ограничивать свои желания и строго рассчитывать деньги. Много помогало ей в этом уменье шить и художественный вкус. Она покупала на распродажах (магазин Хазаровского на Московской улице, известный всем как «Хазароска») дешёвые, но красивые ткани и шила из них себе и детям платья. На «парадной» фотографии 1908-го или начала 1909 годов, где И. И. Спрыгин снят с двумя дочерьми, обе они — в ситцевых платьях, синих в белый горошек. «Это были ваши лучшие платья» — говорила мама.

Когда с 1909 года положение семьи улучшилось благодаря заработку отца в экспедициях, я, ещё будучи ребёнком, всё равно продолжала чувствовать насколько мы беднее других семей пензенской интеллигенции, хотя бы таких же преподавателей гимназии, как и отец. Причиной этого, как я уже говорила, кроме расходов на научные занятия отца, было отсутствие денежных или иных материальных накоплений в семьях родителей, как отца, так и мамы. Им приходилось создавать жизнь на голом, можно сказать, месте. Ещё нужно сказать, что отец, отдавая всё свободное, кроме службы в гимназии, время научным занятиям, не мог искать дополнительных заработков, брать частные уроки или что-либо подобное.

Жили в эти годы, снимая небольшие дешевые квартирки большею частью в нижней части Пензы («на низу», как тогда говорили) — на Селиверстовской улице, дом № 4, на Лекарской (дом Кипарисова), одно время в среднем квартале Пешей, потом на Лекарской в доме Кармищенских. Сначала жили вместе с родителями отца, а потом, когда последние получили возможность жить у сестры бабушки Татьяны Ивановны Зубцовой (Кузнечный порядок, д. 5), жили одни, самостоятельно.

Кроме платы за квартиру, надо было как-то её обставить, хотя бы самой дешёвой мебелью. К концу первого года после свадьбы родилась первая дочь, через год и пять месяцев — вторая. Необходима была прислуга, т. к. хозяйство при отсутствии в то время всякого комфорта, требовало большой и тяжёлой работы; правда, прислуга стоила тогда крайне дёшево. Всё это делало бюджет Спрыгиных, несмотря на уроки в гимназиях, очень стеснённым.

В описываемые десять лет произошло окончательное становление отца как учёного, педагога и общественного деятеля. Сначала, в первые годы по окончании университета, его занятия в области естественных наук носили в значительной мере энциклопедический характер. Кроме ботаники и связанного с ней почвоведения, он увлекался изучением животного мира Пензенского края — вёл наблюдения за птицами, собирал коллекции их чучел (а для этого занимался охотой) и яиц, интересовался насекомыми и собирал их, занимался и метеорологическими наблюдениями. В ближайших окрестностях Пензы и в самом городе отец вёл наблюдения над природой круглый год, со свойственной ему увлечённостью используя для этого каждую свободную от службы минуту. В летнее время, после окончания занятий в гимназиях и Художественном училище, он сейчас же, не теряя ни одного дня, выезжал в более далекие экскурсии. В эти годы он исследовал растительный покров преимущественно южной части губернии — Пензенского, Чембарского и Мокшанского уездов, а также Городищенского.

В это время был поставлен и продуман круг основных вопросов, занимавших отца на протяжении его дальнейшей жизни. Вслед за первой печатной работой, написанной ещё в студенческие годы, за десятилетие 1899–1908 вышли в свет ещё три работы, напечатанные, как и первая, в «Трудах общества естествоиспытателей при Казанском университете»: «Почвенные и ботанические исследования в Пензенском и Городищенском уездах в 1896–1899 гг.»(1900 г.), «Почвенные и ботанические исследования в Мокшанском и Городищенском уездах Пензенской губернии» (1904 г.), «Сосна и её спутники в Пензенском уезде» (1908 г.).

Университетские учителя отца А. Я. Гордягин и Р. В. Ризоположенский, не имея возможности бороться с властями, запретившими Спрыгину доступ к рабо-

те в стенах Казанского университета, не переставали оказывать ему помощь в его научных занятиях. От Общества естествоиспытателей при Казанском университете он получал каждый год командировочные удостоверения для производства полевых исследований в Пензенской и Саратовской губерниях, а в первые годы два раза получал от Общества небольшие денежные субсидии. Без этих командировочных удостоверений отец, как поднадзорное политически неблагонадежное лицо, вероятно, не смог бы осуществлять свои разъезды по губернии. Несколько раз отец ездил в Казань для консультации с Гордягиным и Ризоположенским по своим работам. Всё это оказывало большую моральную поддержку в его пензенском научном одиночестве.

Кроме того летом 1900 года Р. В. Ризоположенский и А. Я. Гордягин предложили И. И. Спрыгину принять участие в их исследованиях в Пермской губернии. Эта поездка на короткое время оторвала Спрыгина от исследований в Пензенском крае, но обогатила его опыт почвоведа и геоботаника и расширила научный кругозор, ознакомив с новыми районами России. Поездка охватила значительный район зауральской части тогдашней Пермской губернии, а по современным административным делениям — смежные части областей Свердловской, Челябинской и Курганской, на левобережье реки Тобол и её притоков.

Возвращаясь с экскурсий в Пензу, отец привозил или приносил домой огромное количество собранных материалов. Тут наступала очередь большой работы для мамы. Растения требовали сушки, неоднократной перекладки их свежей (сухой) бумагой. Собранные тушки птиц немедленно, как бы поздно не приехал отец с экскурсии, следовало обработать для последующей набивки чучел. Надо было заняться и собранными из гнёзд яйцами птиц. И вот все дела оставлялись, и мама, уставшая за день от возни с маленькими детьми, допоздна сидела над обработкой коллекций.

В квартире у моих родителей всегда жили разные животные и птицы. Всегда были собаки и кошки. В начале 1900-х годов любимицей отца была охотничья собака Дианка, смерть которой (попала под поезд в Арбекове) горько оплакивалась в семье, и вспоминали её потом многие годы. Всегда в семье жили и кошки, которых отец также очень любил. Собаки и кошки были настоящими полноправными членами семьи. О них очень заботились, входили в их жизнь и интересы. Они постоянно были рядом со своими хозяевами. Характерно, что в письмах членов семьи Спрыгиных всегда были строки, посвященные домашним животным, — уехавшие из дома живо интересовались своими питомцами, поэтому оставшиеся дома сообщали сведения о них.

Были и дикие животные — ежи, зайцы, черепахи. А, кроме того, птицы, особенная любовь отца с детских лет. Наблюдениями над ними он занимался и в школьные, и в гимназические годы, и позже — над их прилетом, гнездовьями, кладкой яиц, выведением птенцов и пр. В квартире у Спрыгиных всегда были клетки с птицами, а в 1899 году был устроен вольер размером 3×2×1 аршин. В этом вольере содержались различные птицы, водившиеся в Пензенском губернии — зяблики, реполовы, чижи, юрки, сорокопут и другие.

Были в квартире и аквариумы. Но в них содержались не экзотические, а местные рыбы, которые ловились в реках и речках близ Пензы (запись отца 1902 года: «перед закатом солнца ловил рыбу наметкой в Пензе для аквариума. Пойманы окуни, ерш, вьюн, карпы, судак… подуст и другие»).

Как преподаватель отец впервые проявил себя на уроках в Художественном училище. Среди учащихся первых приемов было много учеников, не имевших общего (среднего, а иногда и низшего) образования. Кроме основных предметов К. А. Савицким, директором училища, было введено преподавание естествознания.

Об этом в «Отчете Пензенского Художественного училища за 1898 учебный год»[8] было сказано: «Признав необходимым включение в число общеобразовательных предметов естественной истории, как предмета, расширяющего миросозерцание художника…», Учебный комитет включил его в программу. Эти уроки природоведения и географии К. А. Савицким были предложены отцу. По-видимому, когда К. А. Савицкий пригласил отца на место делопроизводителя в Художественное училище, он имел в виду предложить ему в ближайшее время уроки. Если раньше отец нигде в Пензе не мог получить уроков, в Художественном училище преподавание было ему разрешено. Очевидно губернатора, от которого зависело это разрешение, не пугал факт преподавания естественных наук художникам и поднадзорным лицом, тогда как в гимназиях речь шла о воспитании юношества, поэтому подход был более строгим.

В должности делопроизводителя в пензенском Художественном училище отец проработал только один год. Главная же его работа там с самого начала заключалась в большом участии в организации преподавания в первые годы по основании и открытии училища. С самого начала он был избран секретарём Педагогического совета и был, по-видимому, правой рукой Савицкого при оборудовании училища, организации преподавания общих предметов, да и во многих других вопросах, так как вносил и в это дело, как во все, за что брался, массу энергии и деловитости. Должность секретаря была выборная и не оплачивалась. К. А. Савицкий неоднократно обращался к попечителю училища, которым был знаменитый географ и член Сената П. П. Семёнов (будущий Тян-Шанский) с просьбой выделить из средств, которые жертвовал Семенов на нужды училища, 400 рублей в год на оплату работы секретаря Педагогического совета. При этом он отмечал большую работу Спрыгина. Но эта просьба Савицкого так и не была удовлетворена Семёновым.

На уроках природоведения в Художественном училище отец впервые применил свою методику, уже продуманную им к этому времени, по которой он впоследствии преподавал и в гимназиях — мужской и женской. Центральное место в этих занятиях было отведено экскурсиям в природу. Эти экскурсии проводились в осеннее и весеннее время, а иногда и зимою. На них учащиеся знакомились с природою окрестностей Пензы (экскурсии в Казенный лес, или Засеку, в пойму Суры, характерные участки лесостепи близ Арбекова) и собирали материал по ботанике и зоологии для проработки его зимою на уроках по началам морфологии, анатомии и систематике растений и животных.

Уроки отца в Художественном училище принесли ему известность энтузиаста-педагога. Через три года после начала его преподавательской деятельности, в 1901 году, ему предложили уроки естествознания

в пензенских 1-й женской и 1-й мужской гимназиях. В том году, когда он начал преподавать в 1-й мужской гимназии, там было введено преподавание естественных наук по программе проф. Кайгородова. К этой программе были близки те методы, которые отец уже применял на своих уроках. В конце первого года учительства отца в гимназиях (и первого года преподавания по программе Кайгородова) в протоколах заседаний Педагогического совета было уделено много места обсуждению результатов преподавания естествознания по новой программе и новым преподавателем. [9] Результаты были признаны очень хорошими. Отмечалось большое развитие интереса к природе у учащихся, указывалось, что ученики стали больше спрашивать в библиотеке книг о природе и обращаться к преподавателю с вопросами как проводить наблюдения над животными и растениями в каникулярное время.

Впоследствии отец внес в программу Кайгородова изменения. О них было доложено в Педагогическом совете 1-й женской гимназии, и изменения эти были приняты. [10]

Об успешности преподавания отцом природоведения говорит тот факт, что из учеников его в пензенских гимназиях вышло несколько крупных натуралистов — ботаников и зоологов. Учениками 1 класса в 1901 году — том году, когда отец впервые стал преподавать в гимназии, были М. В. Культиасов и Е. П. Коровин — оба впоследствии доктора биологических наук, а Е. П. Коровин — действительный член Академии наук Узбекской ССР. М. В. Культиасов в некрологе Евгения Петровича Коровина писал об увлекательности преподавания И. И. Спрыгиным природоведения, о том, что именно под его влиянием они оба стали ботаниками. [11] А Е. П. Коровин на торжественном заседании по поводу 60-летия А. А. Уранова, обращаясь к нему, сказал: «Ведь у нас был общий научный отец — незабвенный Иван Иванович Спрыгин!». Учеником отца в 1-й мужской гимназии Пензы был и А. А. Уранов, впоследствии профессор ботаники Педагогического института им. В. И. Ленина, а в 1-й женской гимназии у него училась Н. Н. Ладыгина-Котс, будущий доктор биологических наук, известный зоопсихолог, до конца жизни вспоминавшая своего первого учителя. О большом влиянии на него И. И. Спрыгина писал также в своих воспоминаниях крупный советский геоботаник Г. Э. Гроссет, учившийся у него значительно позже, в Пензенском педагогическом институте. Он считал его «своим первым и самым дорогим учителем». [12]

Ученицей И. И. Спрыгина, сначала в старших классах школы им. Белинского, а потом в Педагогическом институте в Пензе была и В. В. Церлинг, известный крупный ученый — агрохимик и ботаник. Вера Владимировна работает не только в Почвенном институте им. Докучаева АН СССР. Она связана по своей работе с международными организациями — член Бюро Международного конгресса почвоведов, представитель СССР в Международном коллоквиуме по анализу растений и проблемам удобрений. В своем интервью, напечатанном в газете «Пензенская правда» 12 января 1984 года, она называет своим первым учителем «профессора И. И. Спрыгина, замечательного ботаника нашей страны». Она говорит, что «первое высшее образование я получила в Пензенском пединституте. Лекции по ботанике здесь также читал И. И. Спрыгин. Слушать его было одно удовольствие. Лекции и общение с ним и определили мой путь в науку».

Но и помимо будущих крупных учёных-биологов, многие ученики отца испытывали на себе влияние его преподавательского дара и мечтали посвятить себя изучению естественных наук, хотя впоследствии и не осуществили этого. Об увлекательности уроков И. И. Спрыгина написали в своих воспоминаниях о нём профессор В. М. Сидельников, доктор филологических наук, и писатель Д. В. Лучанинов (Фибих). [13]

Ученики любили своего преподавателя как педагога и человека и в то же время боялись. Любили за увлекательность, живость его уроков и за справедливость, а боялись вследствие требовательности его и непримиримости по отношению к ученикам ленивым, распущенным. Об отношении учеников к отцу хорошо рассказал, в своих воспоминаниях С. А. Уранов. [14] Первые годы отец, кроме природоведения, давал уроки и географии, химии, даже математики. В дальнейшем он оставил за собой только уроки естественной истории.

В первые годы описываемого периода жизни Спрыгиных произошло и становление И. И. Спрыгина как общественного деятеля, определился характер его дальнейшей деятельности в этом направлении. Раньше, в студенческие и первые последующие годы, его общественные интересы носили в большей мере политический (революционный) характер. В описываемый период, хотя взгляды отца остаются прежними, общественная деятельность его приобретает всё более просветительское направление. Причиной этого является полная поглощенность отца наукой, научными интересами и стремлением нести просвещение в широкие круги народа. Отец был именно просветителем — по руслу просвещения народных масс, распространения в народе знаний шла его деятельность. Отсюда — основные направления его общественной деятельности, организация Пензенского общества любителей естествознания, создание музея, организационная работа в области строительства советской средней школы (в самом начале её возникновения), а потом и высшей, и другие.

Немного скажу здесь об общественной деятельности отца в предшествующие описываемому периоду годы. Яркий общественный темперамент отца и его организационные способности, проявлявшиеся во всяком деле, за которое он брался, нашли применение ещё в студенческие годы. Он был старостой пензенского землячества в Казани — организации, бывшей тогда нелегальной. Пензенское землячество в Казани было в то время очень многолюдным, т. к. значительная часть молодежи из Пензы тогда ехала учиться в Казань. За деятельность в землячестве отец и попал в политически неблагонадёжные лица, был арестован в декабре 1894 года и избежал суда только благодаря амнистии (коронация Николая). После возвращения в Пензу он находился под негласным надзором полиции 7 лет — с августа 1896 года по 1903 год. [15]

Кроме задачи улучшения материального состояния студентов (организация кассы взаимопомощи, столовой, библиотеки), в цели землячества входило распространение политического образования. В кружках штудировали произведения Маркса и Энгельса. Именно в пору пребывания отца в Казанском университете совершился перелом от народо-

А. Н. Магницкий, Ф. Ф. Федорович и И. И. Спрыгин.

«А. Н. Магницкий был любителем-зоологом и в свободное от службы время занимался изучением фауны (в особенности рыб) Пензенской губернии. С моим отцом их сблизила общая страсть к исследованию природы, а затем мысли об организации в Пензе Общества любителей естествознания и создания Естественноисторического музея. ... познакомившись с Федоровичем, они нашли в нём единомышленника в своих планах организации Общества и музея. Осуществлению этих планов весьма способствовало то, что Ф. Ф. Федорович имел солидное положение в Пензе как чиновник.»

вольческого направления в студенческих революционных кружках к марксистскому. Произведения Энгельса среди списка прочитанной литературы в записной книжке того времени И. И. Спрыгина говорят об его интересе к этим книгам.

В описываемое десятилетие общественная работа И. И. Спрыгина сначала была связана с воскресной школой и Лермонтовской библиотекой, но подробностей относительно этой его работы не сохранилось.

Общество библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в Пензе — большое общественное начинание, вокруг которого группировалась прогрессивная пензенская интеллигенция. Деятельность этого общества, возникшего в начале 1890-х годов, выразилась в организации в Пензе общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, бесплатной народной читальни, получившей в 1898 году имя В. Г. Белинского, в организации заседаний и литературных вечеров. Сохранившийся в архиве И. И. Спрыгина черновик протокола заседания Общества библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, написанный рукою И. И. Спрыгина, говорит о его деятельном участии в делах Общества.

Среди краткого конспекта автобиографии И. И. Спрыгина есть интересная запись, относящаяся к 1901 году: «занятия с группой молодых людей от Серовой». К сожалению, расшифровать эту запись пока не удалось. Речь идет, несомненно, о Валентине Семёновне Серовой, известной общественной деятельнице (народнице) и музыкантше, жене композитора А. Н. Серова и матери великого русского художника В. А. Серова. С 1891 года — года засухи и большого неурожая, В. С. Серова начала работать в Корсунском уезде Симбирской губернии (деревня Судосева) по устройству столовых для голодающих. Кроме материальной помощи крестьянскому населению в задачи Серовой входило и поднятие культурного уровня крестьян, прежде всего развитие их музыкальной культуры. За время деятельности в Симбирской губернии (1891–1901 годы) Серовой и её помощниками по работе было выстроено 5 школ, подготовлены учителя и регенты, устроена библиотека. Организовывала она и артели по обработке земли.

Территориально деятельность В. С. Серовой захватывала и прилежащие к Симбирской губернии части Пензенской губернии. Деятельность Серовой привлекала внимание Департамента полиции, и за нею вёлся надзор.

В неизданной рукописи В. С. Серовой «Встреча нового года в Судосеве» автор, характеризуя свою деятельность за 1891–1901 годы, пишет, между прочим: «...путешествовали воспитанники и воспитанницы (всех будет человек 70) по разным местам...» Далее следует список городов, в том числе Пенза. [16] Совпадает год, указанный Серовой, с записью отца в его «Автобиографических заметках» под 1901 годом. Но что представляли собой эти воспитанники, для чего они ездили по разным городам, и чем занимался с ними молодой пензенский преподаватель И. И. Спрыгин — остаётся неизвестным. Возможно, что ответ на эти вопросы можно найти в указанной рукописи Валентины Семёновны или в других её рукописных материалах.

Связь В. С. Серовой с Пензой установилась ещё ранее — в 1900 году, когда созданная ею крестьянская оперная труппа выступала в Пензе по приглашению пензенской интеллигенции. Можно предполагать, что это приглашение исходило от Общества библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, в активе которого тогда состоял и И. И. Спрыгин. Возможно, что в это время и установилась связь его с В. С. Серовой и её «воспитанниками».

Ещё раз судьба столкнула В. С. Серову с Пензой. В 1921 году она, тяжело больная, парализованная, попала в пензенскую больницу Красного Креста и провела там довольно продолжительное время, пока её не перевезли в Москву.

В самом начале описываемого периода у отца завязываются отношения с молодыми пензенскими интеллигентами. Ещё в 1897 году он познакомился с Александром Николаевичем Магницким, преподавателем (преимущественно физики) в разных учебных заведениях Пензы. По своим характерам они представляли полную противоположность один другому. Отец — широкая русская натура, яркий темперамент, весёлый и общительный человек. А. Н. Магницкий — сухой и холодный, педант (по матери — с немецкой кровью); он постоянно бывал у нас во времена моего детства (как тогда было принято, приходил большею частью к вечернему чаю), но я совсем не помню его улыбающимся, не то, что оживленным, весёлым.

А. Н. Магницкий был старым холостяком. Уже лет 45-ти он неожиданно женился на своей ученице-гимназистке, только что окончившей 7 класс частной женской гимназии Мансыревой, Марии Николаевне Скворцовой. Его жена оказалась очень милой женщиной, неглупой, прекрасной хозяйкой и матерью, очень тактично и солидно державшей себя в роли молоденькой жены пожилого мужа. Она мало входила в интеллектуальные интересы своего мужа, её сфера была семья и дом, но она и не пыталась что-либо изображать из себя, подавала себя такой, какой и была на самом деле, и в этом проявлялся её ум. Как это ни странно, несмотря на большую разницу в возрасте и различие в характерах, «натурах», моя мама близко сошлась с Марией Николаевной, у них были хорошие, приятельские отношения и М. Н. Магницкая часто бывала у нас. Через год после брака у Магницких родился сын Владимир (теперь крупный учёный-геофизик).

Но катастрофа в семейной жизни Магницких всё же была неизбежна и она случилась. В начале 20-х годов Мария Николаевна полюбила другого человека и уехала с ним на его родину в Польшу. Сын, тогда 7 или 8-летний мальчик, остался с отцом. Моя мама слыла образцом добродетели, и покинутый муж считал, что она должна обрушить гнев на изменницу-жену, искал сочувствия своей обиде. Этого не случилось. Мама нашла естественным такой конец брака супругов Магницких, столь разных людей. Больше того, она говорила, что не видела в своей жизни, чтобы жена так бросала мужа: Мария Николаевна позаботилась о муже и сыне, приготовив им на несколько лет вперёд всё, что нужно, из одежды и белья и т. п. Я слышала, что Мария Николаевна счастливо жила во втором браке и у неё родилась дочка. К сожалению, я слышала также, что у сына сложилось неправильное представление о характере и поведении своей матери, и он отказался поехать к ней после смерти отца (он был ещё школьником) и не поддерживал с ней отношений. Как я уже писала, А. Н. Магницкий и мой отец были очень разными людьми. Тем не менее, в их интересах нашлось много общего, и дружба (деловая) продолжалась много лет, ослабев лишь в последние годы жизни Александра

Николаевича (разошлись в некоторых кардинальных взглядах на жизнь того времени).

А. Н. Магницкий был любителем-зоологом и в свободное от службы время занимался изучением фауны (в особенности рыб) Пензенской губернии. С моим отцом их сблизила общая страсть к исследованию природы, а затем мысли об организации в Пензе Общества любителей естествознания и создания Естественноисторического музея. Они часто ходили и ездили вместе на охоту, интересуясь не столько охотничьими трофеями как таковыми, сколько наблюдениями во время охоты над птицами и сбором коллекций. Позже вместе с Ф. Ф. Федоровичем они составили тройку главных основателей Пензенского общества любителей естествознания и Пензенского музея.

После знакомства с А. Н. Магницким отец сблизился и с несколькими другими молодыми учителями Пензы. Образовался кружок преподавателей, находившийся на полулегальном положении. В него, кроме отца, входили А. Н. Магницкий, Н. А. Снесарев, В. В. Травин, Д. Ф. Попов, Б. И. Цилли, В. С. Новиков. [17] Кружок собирался на квартирах у того или другого преподавателя, чаще всего у Спрыгиных или у Цилли. На этих собраниях обсуждали вопросы преподавания методического характера, читали рефераты, обсуждали новые книги по научным или общественным вопросам. за кружком велась слежка. Члены кружка догадывалась об этом, но собрания велись по-прежнему. В памяти моей старшей сестры сохранилось следующее яркое воспоминание. Жили тогда в доме на Лекарской улице, в первом этаже. На улице в то время нередко появлялась фигура мужчины-горбуна. Дети его очень боялись, а взрослые (в нашей семье, по крайней мере) считали шпиком. Как-то вечером в квартире моих родителей происходило очередное собрание кружка преподавателей. Маленькая Маруся (ей было тогда года 4, значит это было около 1905 года) подбежала к окну, занавешенному шторой, и, заглянув за неё, увидела лицо того страшного человека, прильнувшего к стеклу с улицы и наблюдавшего за происходящим в комнате. Испуганная девочка закричала, взрослые бросились к окну и также увидели горбуна. Таким образом, подтвердилось предположение о том, что за кружком велась слежка.

Все члены кружка были молоды. Поэтому неудивительно, что после заседания наступало веселье. Вслед за скромным ужином, на котором, кстати, не подавалось вино, скорее это была закуска с чаепитием, пели хором песни, плясали. Моя двоюродная сестра Наташа (тогда Нестерович, а потом Метельская) вспоминает как на этих собраниях, происходивших нередко на квартире у Б. И. Цилли, где жила и она с бабушкой М. В. Цилли, дядя Ваня, т. е. мой отец, плясал русскую с красным платочком в руке или пел, аккомпанируя себе на цитре (эта цитра потом много лет лежала в нашей квартире на шкафу, пока её не пожертвовали уже во время войны, на одну из лотерей-аллегри, которые устраивались Обществом любителей естествознания для пополнения его средств). Особенно любил он петь «Сватовство» — слова А. К. Толстого, а музыка не знаю чья.

По вешнему по складу
Мы песню завели,
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!

Голоса у отца, собственно не было. Не было, конечно, и умения петь. Эти недостатки заменялись темпераментом, удалью, весельем. С течением времени отца и его друзей перестала удовлетворять деятельность их кружка. Представилась возможность легализовать её и тем самым осуществить планы создания Общества любителей естествознания и музея при нём. Этому осуществлению помогло знакомство отца и его друзей с Ф. Ф. Федоровичем.

Флориан Феликсович Федорович был довольно видным пензенским чиновником. Он служил в Управлении государственными имуществами в должности помощника управляющего и имел чин статского советника. Кроме службы у него были и другие интересы. Он состоял членом Губернского статистического комитета. Занимался изучением Пензенского края, в особенности его животного мира. Результатом этих занятий были печатные труды Федоровича: «Фауна Пензенской губернии», напечатанная в двух выпусках «Сборника Пензенского губернского статического комитета», «Краткие статистические сведения о лесах Пензенской губернии за 1891 г.» в «Сборнике» того же комитета, вып.1; «Звери и птицы Пензенской губернии», изданные в двух выпусках «Трудов» Пензенского общества любителей естествознания.

Молодые преподаватели Пензы Спрыгин и Магницкий, познакомившись с Федоровичем, нашли в нём единомышленника в своих планах организации Общества и музея. Осуществлению этих планов весьма способствовало то, что Ф. Ф. Федорович имел солидное положение в Пензе как чиновник. Он явился как бы поручителем перед городскими властями за благонадежность Общества. Общество оформилось и начало официально существовать с 1905 года. В начале этого года проект устава Общества был утверждён министром народного просвещения. Председателем Общества был Ф. Ф. Федорович, а секретарём избран И. И. Спрыгин.

Новым, более широким возможностям общественной работы отец отдался всей душой. С этих пор он являлся душой и одним из организаторов всех начинаний Пензенского общества любителей естествознания. Позднее, в 1911 году он был избран председателем Общества и состоял в этой должности беспрерывно до 1929 года, когда ПОЛЕ (так сокращенно стали именовать новое общество) было реорганизовано в Общество краеведения, в котором отец состоял заместителем председателя.

Деятельность Общества в первые годы его существования протекала в очень трудных условиях. Не было средств, не было помещения. Близкое по духу Общество библиотеки имени М. Ю. Лермонтова уделило Обществу любителей естествознания маленький уголок в своём более чем скромном помещении. В это время Библиотека имени М. Ю. Лермонтова помещалась в небольшом домике на углу Суворовской и Садовой улиц (теперь улицы Куйбышева и Лермонтовская) напротив 1-й женской гимназии. В этом домике для ПОЛЕ уделили комнату на мезонине. Это помещение не отапливалось, и члены Общества зимой были вынуждены заниматься там в шубах и шапках.

При основании ПОЛЕ в его составе было 22 члена-учредителя. Это были преимущественно преподаватели учебных заведений Пензы самых разных специальностей — естественники, географы, историки, филологи, математики. Кроме педагогов среди членов Общества были чиновники, юристы. Деятельность Общества в первые годы его существования

заключалась в подготовке и организации естественноисторического музея и в проведении бесед на научные темы. Кроме того, уже в первый год после основания члены Общества приступили к составлению инструкций и программ по собиранию естественноисторических коллекций. Годовой бюджет Общества в этот первый год его существования состоял всего лишь из 114 рублей. Он был составлен из членских взносов.

В первый же год существования ПОЛЕ было положено начало составлению коллекций будущего Пензенского музея. В основу его легли собрания А. Н. Магницкого, И. И. Спрыгина и Ф. Ф. Федоровича — гербарий, почвенные образцы, коллекции яиц и чучел птиц, образцы горных пород (Спрыгин), коллекции различных представителей животного царства (Федорович и Магницкий). С этого времени и до конца жизни отец передавал в гербарий Пензенского музея (потом этот гербарий неоднократно переходил в Управление заповедниками, опять в музей и наконец в Педагогический институт) обязательный дубликат каждого собранного им растения во время своих многочисленных экспедиций в Пензенском крае, Черниговской губернии, Туркестане, Крыму, а позднее в обширном Средне-Волжском крае, Приуралье и Казахстане.

Так было положено начало Пензенскому гербарию, который теперь признан имеющим международное значение в числе 31 гербария Советского Союза.[18] А в 1973 году постановлением Пензенского Облисполкома гербарию было присвоено имя И. И. Спрыгина.

Начало деятельности Общества любителей естествознания было очень скромным. Но оно стало быстро расширяться как по количеству своих членов, так и в своей деятельности. В условиях Пензы того времени Общество составило культурный центр, к которому устремились передовые круги пензенской интеллигенции. В те годы люди, которых не удовлетворяли служба и обывательские интересы, тянулись к огоньку культуры, затеплившемуся в Пензе благодаря энергии нескольких энтузиастов. Список членов Общества удивляет разнообразием профессий этих членов. В Общество вступали люди, казалось бы, далекие от естествознания. Их привлекало живое, новое дело, отрывавшее их от повседневных интересов жизни дореволюционного общества, вливавшее новые, действенные интересы в их жизнь. Вскоре среди интеллигентов Пензы стало просто неудобным, как бы признаком отсталости, не состоять членом ПОЛЕ.

Быстро пополнялись коллекции для будущего музея ПОЛЕ, составлявшиеся из пожертвований членами различных предметов. Пополнялась, также путем пожертвований, библиотека Общества. Интересным мероприятием, привлекавшим много участников, явились экскурсии, проводившиеся Обществом в окрестностях Пензы. На них экскурсанты знакомились с растительным и животным миром родного края, его геологией, отчасти историей. Эти экскурсии вызывали большое беспокойство городских властей — губернатора и жандармского управления.

Тормозило деятельность ПОЛЕ, кроме скудости средств, и отсутствие помещения. Небольшая комната над библиотекой имени М. Ю. Лермонтова не давала возможности развернуть экспозицию собранных коллекций. Только на пятый год своего существования, в 1910 году, Общество получило от Городского управления три небольших комнатки. Здесь, в 1911 году, в здании на углу Троицкой улицы (теперь улица Кирова) и Лебедева взвоза и был открыт музей ПОЛЕ.[19] Он просуществовал здесь около десятилетия, пока, уже при Советской власти, ему не было отведено более обширное помещение.

Бюджет Общества составлялся из членских взносов (3 рубля в год) и небольшой субсидии от Городского Управления. Этих средств не хватало на самые насущные нужды. Поэтому нередко, в случае крайней нужды, для приобретения нужной вещи, как, например, витрины для коллекций, основное ядро энтузиастов из членов Общества складывались (по рублю, по 50 копеек или больше), чтобы сделать это приобретение для музея.

Круг людей, окружавших Н. И. и И. И. Спрыгиных в описываемое десятилетие, очень обширен. Кроме друзей, сохранившихся с юности, с гимназических лет, на всю жизнь, и родных, это были вновь приобретенные друзья и добрые знакомые, отношения с которыми завязались на службе — в учебных заведениях, где работал отец, и на общественной работе. Отец обладал удивительным даром вовлекать в круг своих интересов людей, казалось бы, чуждых этим интересам. Общительность характера, живой интерес к людям с самым различным общественным положением, яркие способности популяризатора обусловливали то, что вокруг отца группировались и принимали участие в его занятиях люди разных специальностей и профессий.

Они сопровождали его в поездках по Пензенской губернии, вступали в члены Общества любителей естествознания и принимали участие в его работе, ходили на руководимые отцом экскурсии в окрестностях Пензы. Это были преподаватели гимназии, товарищи по учению в гимназии и университете — Кабанов и Каботов, двоюродные братья — будущий врач А. Г. Капралов, Н. И. Зубцов и другие.

Введенный К. А. Савицким в круг художников Пензы, отец оказался среди них своим человеком и с некоторыми сошелся дружески. Особенно близко сошелся отец с художником Константином Николаевичем Жуковым, преподававшим в Художественном училище прикладное искусство. С ним в I898 году во время весенних каникул он совершил поездку в Москву и Ростов Великий. Жуков недолго был преподавателем Пензенского училища, и о дальнейшей судьбе его я не слышала.

С Константином Аполлоновичем все 8 лет их знакомства (до смерти К. А. в 1905 году) поддерживались самые хорошие отношения. Общение с ним оставило у моих родителей на всю жизнь чувства глубокого уважения и душевной признательности. Во время их знакомства отец и мама была очень молоды, были бедны и не имели никакого общественного положения, что так много значило в то время. К. А. Савицкий ко времени переезда в Пензу был уже широко известным художником, академиком. Тем не менее, его отношение к отцу, отношение директора к своему делопроизводителю, поражает своей уважительностью. Человек большой души, глубоко интеллигентный, демократичный по своей натуре, он был совершенно чужд в отношениях с подчинёнными начальственного тона. Сохранившееся в нашем семейном архиве письмо Савицкого к отцу поражает своим уважительным тоном — в нём никак не отражена огромная раз-

ница в служебном и общественном положении автора письма и адресата. Ещё ярче характеризует Константина Аполлоновича (и его жену Валерию Ипполитовну) следующий случай. В то время (1899 год) существовал обычай, согласно которому служащий учреждения после свадьбы должен был вместе с женой нанести визит своему начальству. Отец, бунтарь по натуре, против обывательских обычаев, не сделал визита Савицкому. Прошло некоторое время и перед скромным домом на окраине Пензы, где жили молодые Спрыгины, остановилась коляска — это академик с женой приехал с визитом к своему секретарю…

К. А. Савицкий сплотил преподавателей и служащих училища в дружный коллектив. Общение их не ограничивалось академическими часами работы в училище, хотя ей и отдавалось много времени, энергии и душевных сил, вкладываемых членами коллектива в новое для Пензы культурное начинание.

Моя мама была в числе учеников первого приема в Пензенское художественное училище. Она была свидетельницей организации училища, оборудования его здания, постановки преподавания. В своем выступлении на торжественном заседании в Пензе по случаю 100-летия со дня рождения К. А. Савицкого (в 1944 году) она вспоминала как при устройстве помещения только что отстроенного Художественного училища «всюду, при всякой работе можно было видеть красивую фигуру Константина Аполлоновича, и всякая работа под его руководством, в его присутствии как-то особенно спорилась и протекала бодро и радостно». [20] Демократичность К. А. Савицкого проявилась при приеме учащихся в училище, состав которых отличался большой разнохарактерностью. Тем не менее, Савицкий сумел объединить различных по образованию и культуре учащихся в единый коллектив. В своем выступлении мама говорила: «Большие трудности представляла педагогическая сторона дела, организация классов, вследствие того, что состав учащихся первого приема был очень разнохарактерен: от студента, покинувшего науки для искусства, и ряда лиц, не прошедших по конкурсу в Академию художеств, до полуграмотного мордвина; от бородатого отца семейства до 12-летнего мальчика; от аристократической девицы до деревенского пастуха. Эта трудная задача была хорошо разрешена в значительной мере благодаря педагогическому таланту и обаятельной личности К. А., сумевшего сплотить педагогический коллектив, с одной стороны, и объединить разнохарактерную массу учащихся на основе общей всем любви к искусству». [21]

Много делал К. А. Савицкий для помощи бедным ученикам. В их пользу шла плата за учение с учрежденных при Училище воскресных классов рисования и выручка с благотворительных вечеров с лотерей-аллегри. На вечерах К. А. Савицкий руководил постановкой так называемых «живых картин» (модных в то время), в которых группы участников этих картин изображали сюжеты на исторические темы, темы морали и т. п. Для лотерей вещи частью изготовлялись учащимися училища, например (то же модные в то время) деревянные изделия с нанесенным на них рисунком путем выжигания, а иногда и с раскраской.

Общественная деятельность К. А.Савицкого в Пензе не ограничивалась стенами Художественного училища. Так, живейшее участие он принял в проведении в Пензе в 1898 году «Дней Белинского», когда пензенская общественность широко отметила 50-летие со дня кончины В. Г. Белинского. Савицкий много времени и труда посвятил этому торжеству. Спешно работая днем и ночью, он исполнил портрет Белинского. Им же была поставлена на торжественном заседании живая картина «Апофеоз Белинского», представлявшая несколько групп молодежи, окружавших бюст Белинского. Он руководил на торжестве и убранством зала собраний и помещения народной читальни, получившей в эти дни имя В. Г. Белинского, где стены, окна и двери были убраны гирляндами из сосновых веток и полотенцами с вышитыми или вытканными по концам узорами.

Приятельские отношения с художниками у отца сохранялись на долгие годы. И уроки в Художественном училище он сохранял, хотя и минимальное количество часов, вплоть до 1918 года, в память о своей первой преподавательской работе в Пензе.

«Друзьями по сердцу» были, прежде всего, друзья юности, отношения с которыми начались в гимназические годы и продолжались потом всю жизнь. На первом месте здесь стоит, конечно, семья Романовых, самых близких друзей мамы на протяжении всей её жизни. Отец, познакомившись с Романовыми после женитьбы, относился к членам этой семьи с большим уважением и теплотой.

Семья Романовых была в условиях тогдашнего времени не совсем обычной семьей. Члены ее, правда, ничем особенно не прославились — были просто хорошими работниками — преподавателями, врачами, инженерами. Выделялись представители этой семьи твёрдым характером — силою воли, крепкими нравственными устоями, подлинной интеллигентностью, определенной культурой, Были это сельские жители (дети поехали в город, поступив в гимназии). Отец — Ювентин Романович Романов — был управляющим в имении Дурасовка (Наровчатского уезда) богатейших пензенских помещиков Араповых. Араповы были родовитые дворяне (были, как известно, в свойстве с Н. Н. Ланской, бывшей женой Пушкина), но, кроме того, как я узнала из «Памятных книжек Пензенской губернии», и купцами 1-ой гильдии, т. к. устраивали в своих имениях винокуренные заводы. Это было обычно в то время в хлебной Пензенской губернии. Заводы являлись для их владельцев главным источником богатства. О Ю. Р. Романове я знаю мало. Управляющим он был, очевидно, хорошим, если смог долгое время удержаться у столь владетельных хозяев, но, не в пример прочим управляющим имениями, был и честным человеком, т. к. богатства не нажил. Был он живым общительным человеком, любил собирать вокруг себя молодежь. У моего отца в его конспекте «Автобиографических заметок» есть запись «Беседы с Ю. Р. Романовым». Это говорит о том, что Ювентин Романович был интересным собеседником, сообщавшим отцу, по-видимому, сведения о быте и истории края.

Семья Романовых жила в Дурасовке, а потом, когда Ю. Р. уже не служил у Араповых, в Наровчате, где у них был дом. Часть этого домика теперь сохранилась во владении последней из поколения Романовых — друзей моих родителей — Анастасии Ювентиновны Ахлебининской.

У Ю. Р. Романова и его жены было, в пору юности моей мамы, 9 человек детей — 4 сына и 5 дочерей. Из них близкими друзьями были Мария и Татьяна

Ювентиновны, была близка к нашей семье также Анастасия Ювентиновна. Знакомство с ними произошло в 1-й женской гимназии Пензы, где учились и Цилли и Романовы этого поколения. С Т. Ю. училась в одном классе и была очень дружна старшая сестра мамы тётя Маруся, а мама, как это ни странно, подружилась больше всего с Марьей Ювентиновной, которая была старше её на 6 лет, подружилась так, что всю жизнь считала её самым любимым, самым близким другом. Когда я родилась, мама захотела, чтобы моей крестной матерью была не одна из её сестер, а любимая подруга Маня Романова. Обряду и обычаю приглашать в крестные матери и отцы кого-нибудь из близких родных или знакомых среди интеллигенции круга моих родителей придавали в то время не религиозное значение (крещение было необходимо формально, не крестить было нельзя, без этого человек не становился гражданином — не выдавали метрику, не принимали в учебные заведения и т. п.). Этот обычай имел среди интеллигенции другое значение — приглашали близких по сердцу людей, которые становились как бы вторыми родителями детей.

Оговорюсь: друзей наших родителей Романовых мы, дети, называли как в детстве, так и теперь, до старости, не по имени и отчеству, а тётя Маня, тётя Таня, тётя Тася. И не раз, как в детстве, так и позже, уже взрослыми, мы думали и говорили о том, что именно они были для нас настоящими «тётями», а не родные тётки, сестры мамы.

Общение между нашей семьёй и семьёй Романовых всегда было постоянным, поддерживаясь перепиской и частыми свиданиями — приездами членов нашей семьи сначала в Дурасовку, а потом в Наровчат, а Романовых — к нам в Пензу. В гимназические годы мама на каникулы не раз ездила в Дурасовку. В этой большой и дружной, жизнерадостной и гостеприимной семье мама отдыхала от тяжёлой обстановки своей родной семьи. В Дурасовке было весело, жизнь, хотя и скромная, была привольной, маму любили и ценили её таланты. Позже, уже, будучи замужем, мама не раз ездила к Романовым с детьми и мужем. В воспоминаниях мамы, в разговорах её с Романовыми «Дурасовка» всегда, до старости, оставалась светлым раем юношеского веселья, беззаботности, верной дружбы. Позже, когда мама в своей исследовательской работе была территориально тесно связана с Наровчатским и соседними уездами, она постоянно во время полевых археологических работ заезжала или жила у Романовых в Наровчате.

Сёстры Романовы были частыми гостьями в нашей семье в Пензе. Во время приездов они жили у нас, а когда в 1920-е годы тётя Таня и тётя Тася постоянно жили в Пензе, общение становилось ещё более тесным.

Я была у Романовых в Наровчате в раннем детстве, трёх лет, о пребывании там у меня сохранились отрывочные воспоминания. Ювентина Романовича я не помню. Он умер в 1911 году после тяжёлой болезни. Смутно помню жену его и старшую дочь — тетю Аню, которая не вышла замуж и жила у родителей, занимаясь домашним хозяйством. Следующая по старшинству из сестёр — Мария Ювентиновна, «тётя Маня», моя крёстная мать. Она окончила 1-ю женскую гимназию и всю жизнь преподавала в Наровчатской начальной школе. Во второй половине 1930-х годов, когда впервые награждали учителей за отличную и долгую работу, она получила орден Ленина, который ей вручил в Москве М. И. Калинин. Умерла тётя Маня в 1952 году. Я скрывала её смерть от мамы до конца её жизни, не решаясь сообщить ей о кончине самого дорогого друга. Пришлось выдумывать — тётя Маня лежит в параличе и не может писать.

Тетя Маня замуж не вышла и прожила всю жизнь с матерью и сёстрами. Она много раз приезжала в Пензу — часто в дореволюционные годы (обычно на каникулы), реже — после. Её приезд всегда был для нашей семы радостным событием. Помню: я возвращаюсь из гимназии в день роспуска учащихся на масленицу (вероятно, это было в 1916 году), вхожу через чёрный ход в кухню, где уже вкусно пахнет блинами, и меня встречает бабушка словами «Мария Ювентиновна приехала!» Я бросаю ранец, наскоро снимаю шубку и бегу в гостиную, где сидят мама и тётя Маня.

Тётя Маня много путешествовала, несмотря на свои скромные средства. В каникулы она ездила в разные края России. Повторяю: всю жизнь, с гимназических лет и до конца жизни, т. е. до семидесяти с лишним лет, М. Ю. Романова была самым близким задушевным другом моей матери.

Второй сестрой, близкой к нашей семье, была тётя Таня — Татьяна Ювентиновна Хайновская. Она была красива — настоящая русская красавица. У неё была тяжёлая судьба, о которой она никогда не говорила. Была тётя Таня человеком с большим чувством такта, большим чувством собственного достоинства, сильной волей и мужеством. Она была замужем за агрономом И. Е. Хайновским, имела сына, но рано овдовела, когда сын был ещё мальчиком. Муж оставил ей немного денег. Нужно было жить и воспитывать сына. тётя Таня рассчитала, что денег ей хватит только на четыре года. Тогда она решила, что в эти четыре года она должна получить высшее образование, чтобы потом стать преподавательницей в среднем учебном заведении и этой работой обеспечить себя и сына. Всё это она выполнила, окончила Бестужевские курсы в Петербурге, а потом получила место учительницы гимназии в Нарве. Сын твёрдостью характера не уступал матери. В старших классах гимназии (после шестого или седьмого класса) он прозанимался всё лето, сдал осенью экзамены за целый год и, перейдя, таким образом, через класс, окончил гимназию на год раньше срока. После этого он поступил учиться в Петроградский политехнический институт. Но дальше Татьяну Ювентиновну ждало большое горе. Она потеряла сына.

В последующие годы она жила у рано овдовевшего брата, врача Петра Ювентиновича Романова, воспитывая двух его детей, а когда брат женился второй раз, переехала в наровчатское гнездо Романовых к сёстрам. Несмотря на большую любовь к тёте Тане и восхищение ею, поддерживаемое мамой, которая очень высоко ставила свою приятельницу, мы, дети, немножко боялись её — она держалась с чувством большого достоинства, была немного, хотя и добродушно, насмешлива, как и её сестры.

Образы этих двух сестёр — Марии Ювентиновны и Татьяны Ювентиновны — всю жизнь оставались для меня образцом; они были одними из лучших людей, встреченных мною в жизни. Такое же тёплое чувство всегда было у меня и к тёте Тасе, Анастасии Ювентиновне Ахлебининской. С ней я была ближе, т. к. она была много моложе своих сестёр и некоторое время жила в Пензе, так что я навещала её, когда

приезжала в университетские годы на каникулы домой. Личная жизнь не слишком удалась и у тёти Таси. Работала она бухгалтером — в Арзамасе, Пензе, Наровчате. От недолгого и позднего замужества у неё остался сын Юрий, который оказался достойным представителем семьи своей матери по твёрдому характеру, силе воли и присущему Романовым необыкновенному чувству родственности, выражающемуся не просто в любви к своем матери, а в умении быть к ней предельно внимательным и окружать её заботой.

Тем не менее, жизнь Анастасии Ювентиновны в старости не весела. Похоронив всех своих сестёр и братьев, она живет в Наровчате одна, так как сын, окончив институт, остался работать в Москве — в сельском (теперь) Наровчате ему, способному инженеру, негде было применить свои знания. В 85 лет тётя Тася живёт совсем одна. Она полностью обслуживает себя сама. Каждый день начинается у неё с гимнастики и обтирания холодной водой. Она обрабатывает сама довольно большой огород, выращивая в нём разнообразные овощи. Жизнь проходит в ожидании ежегодного приезда летом Юры с сыном Мишей.

И я, и сестра Маруся поддерживаем с тётей Тасей постоянную переписку, особенно в последние годы, когда она осталась в Наровчате одна.

Была у сестер Романовых ещё одна характерная для них черта — вкус к вещам, умение окружить себя добротными, красивыми вещами, опрятность и умение хорошо одеваться, несмотря на ограниченные средства.

Братьев Романовых этого поколения я знала мало. Их было четверо: Александр, Петр, Иван и Павел Ювентиновичи. Не знаю, правильно ли я написала этот ряд имен в отношении старшинства. Иван Ювентинович умер в ранней молодости, Павел Ювентинович погиб тоже молодым во время Первой мировой воины. Александр Ювентинович был, кажется, старшим из братьев. Он был инженером, жил в Петербурге. О его жизни я знаю мало, т. к. он, единственный среди Романовых, откололся от семьи, сестёр и братьев, вследствие неудачной женитьбы. В молодости ему сильно нравилась моя мама. И многие годы потом его сёстры вспоминали об этом, сожалея, что не мама стала его женой («Вот если бы…»).

А я встретилась с именем А. Ю. Романова недавно, просматривая в 1973 году в Пензенском областном архиве дела Канцелярии губернатора. В них, в деле «Наряд секретным бумагам о полицейском надзоре за лицами» я нашла в списке лиц, состоявших под негласным надзором полиции, сведения о бывшем студенте СПб. Технологического института А. Ю. Романове. В 1900 году он был принят «обратно студентом» и надзор прекращён. [22]

Из братьев Романовых я знала только Петра Ювентиновича, врача-гинеколога. Он учился в 1-й мужской гимназии в Пензе, а потом окончил медицинский факультет Казанского университета. Работал он в Ардатове Горьковской области, около трёх лет — в Пензе, а потом в больнице в Горьком. Был он хорошим врачом. Умер рано — 49 лет, от туберкулеза.

Вторая семья, близкая моим родителям на протяжении всей их жизни, с ранней юности, — Титовы, вернее (именно всю жизнь) один из этой семьи — Евгений Всеволодович Титов. Не знаю, кем был отец этой семьи. Видимо, он рано умер, я о нём ничего не слышала. Жили Титовы в Пензе на улице Козье болото (теперь ул. Либкнехта), [23] кажется, в собственном домике. Это были очень небогатые люди. Семья состояла из матери и двух детей — Евгения и Софьи. Соня Титова была мамина подруга по гимназии. У них было, собственно, очень мало общего, но, тем не менее, они дружили. Соня была хорошенькая, весёлая и неглубокая девушка. Она была первым, ещё юношеским, увлечением моего отца, которое улетучилось, как только он познакомился с мамой. Соня Титова вышла замуж за Полторацкого (военного?) и скоро умерла, оставив сына Всеволода. Сева Полторацкий воспитывался дядей, Е. В. Титовым. Одно время, в детстве, он жил и у нас, когда мы жили на Покровской улице в доме Покровского (теперь улица Калинина, д. 18), в конце 1910-х годов. Всеволод Полторацкий (отчества его я не знаю) рано вступил в Коммунистическую партию, был партийным работником, одно время в Пензе, а потом в Москве. Он рано умер, ещё молодым, в 1930-х годах.

Соня Титова была маминой подругой по гимназии, а Евгений Всеволодович учился в гимназии с папой, правда только последний год, в 8-м классе, когда он перевёлся в 1-ю мужскую гимназию из другого учебного заведения. Потом он учился, как и отец, в Казанском университете, но на юридическом факультете. До революции Евгений Всеволодович, как я представляю, работал в банках (помнится, в Обществе взаимного кредита), а после революции был преподавателем политической экономии в 1-й мужской гимназии (потом 1-й школе им. В. Г. Белинского), где и я у него училась. Начал он свою служебную деятельность не плохо, считался способным, но потом как-то стал сильно сдавать и, хотя к своим служебным обязанностям относился тщательно, нигде не проявил себя достаточно энергично, мало зарабатывал, жил очень бедно. В пожилом возрасте у него проявилась черта явно болезненная: он нигде не мог долго ужиться — ни на работе, ни в городе. Это отнюдь не была неуживчивость характера, это была патологическая «охота к перемене мест». Он переезжал из Пензы в Казань, потом в Москву, из Москвы в Пензу, опять в Казань, где и умер в начале 1940-х годов во время войны. При каждом переезде он всё больше растеривал своё и без того жалкое имущество, каждый раз долго не мог устроиться работать и всё больше беднел. Его жена, Мария Владимировна, была человеком странным, вероятно не совсем нормальным. Ее странностью была удивительная бесхарактерность. В молодости она была очень хорошенькая, но вся ее прелесть с возрастом быстро исчезла. В обществе она почти ничего не говорила. С лица её почти не сходила всегда одинаковая, бессмысленная (т. е. ничего не выражавшая) улыбка. «Да», «нет» — вот почти всё, что можно было услышать от Марии Владимировны. Иногда она произносила несколько слов, говоря их всё с той же своей стандартной улыбкой. Рука её, при рукопожатии, казалась совершенно бескостной, ватной, она тянулась к собеседнику, но на пожатие ответить не могла. Что таилось за этой бесцветной маской, какие чувства и мысли, оставалось даже для близких знакомых неизвестным. Это был безвольный, но, безусловно, неплохой человек. Детей у Евгения Всеволодовича и Марии Владимировны не было. Жизнь они прожили дружно.

Что же сближало Е. В. Титова с моими родителями, почему он оставался всю жизнь их близким другом,

причем близким человеком не по служебной деятельности и не по общественной, а именно «другом по сердцу»? Причиной этого были одинаковые нравственные устои, одинаковое отношение к жизни, правило: во главу всего своего жизненного поведения ставить долг перед обществом, а не собственные интересы и материальные достижения.

Евгений Всеволодович был исключительно порядочным, честным и добрым человеком. Всё это и поддерживало добрые отношения между ним и моими родителями на протяжении 40 с лишним лет. Второй причиной этой дружбы была та глубокая и нежная привязанность, которую питал Евгений Всеволодович к моим родителям. Думаю, что влюбленности в маму у него не было, но было глубокое восхищение ею как человеком, и уважение, переходящее в преклонение. То же чувство уважения и понимания его, как человека, было у Евгения Всеволодовича и к моему отцу. Вот так и шли их жизни рядом на протяжении многих лет, несмотря на различия в сферах деятельности. Это был образец старинной дружбы в духе XIX столетия. Общность нравственных идеалов, помощь друг другу в тяжёлые минуты жизни.

А помощь один другому они действительно оказывали неоднократно. Евгений Всеволодович всегда находил у моих родителей моральную и материальную поддержку и сам оказывал им помощь, когда в этом была нужда. В голодный для Пензы 1921 год, когда мы возвращались на родину из Ташкента в июне месяце, он предварительно весною вскопал и засадил для нас огород, обеспечив, таким образом, нашу семью картофелем и овощами.

Вспоминаю Евгения Всеволодовича в разные моменты жизни его и моих родителей и ни разу не могу представить себе, по воспоминаниям, каких-либо недоразумений, ссор, колкостей между ними. Это была настоящая дружба, уважение друг к другу без мелочных счетов, неудовольствий, пререканий. Так же было у моих родителей и с другими их друзьями, с юности и до конца жизни.

Вторым большим другом моей мамы на протяжении почти всей жизни была Ольга Алексеевна Орионова, урожденная Панчулидзева. Ольга Алексеевна (Лелеша, как её звала мама, тётя Лёля, как звали мы, дети) была дочерью начальницы 1-й женской гимназии в Пензе, Марии Владимировны Панчулидзевой, урожденной Сабо. Богатая наследница, Мария Владимировна, девушкой была выдана замуж за пензенского помещика, отставного военного Панчулидзева, из известной (не только в Пензенской губернии) дворянской семьи, имевшей грузинское происхождение. Муж быстро промотал приданое жены и умер, оставив её с детьми в бедности. Средств для жизни у М. В. Панчулидзевой не было. Родственники помогли ей получить место начальницы гимназии, что дало ей возможность существовать и воспитывать детей.

У Марии Владимировны было две дочери — Мария и Ольга. Младшая дочь Ольга училась в одном классе с мамой. С раннего детства она болела костным туберкулёзом, уже в 3 года, как рассказывала мама, долго лежала в постели с гирями на ногах. Начав учиться в гимназии, она тоже много болела и почти не могла посещать занятия. Это и послужило причиной сближения мамы с её одноклассницей, дочерью начальницы гимназии. М. В. Панчулидзева пригласила маму, первую ученицу в классе, к тому же примерного поведения, посещать её больную дочь и заниматься с нею. Эти отношения перешли в дружбу.

Ольга Алексеевна была очень не глупым, развитым и интеллигентным человеком. В ней не было дворянской спеси. Видимо, бедность, существование на заработок не позволили развиться сословным чертам, присущим дворянству того времени. М. В. Панчулидзеву мама вспоминала тоже добрым словом. Ольга Алексеевна всю жизнь болела — костный туберкулёз перешёл в туберкулёз лёгких, а потом поразил и почки. В общественной или какой-либо интеллектуальной сфере деятельности она себя не смогла проявить, но семейную жизнь всё же устроила. Правда, муж её был ей совсем не ровня и по положению (не дворянин, вероятно из духовного звания, т. е. мезальянс по тому времени), так и по уму и по характеру. Вячеслав Степанович Орионов был юристом, но о его служебной деятельности я ничего не знаю. Для моих родителей он был только мужем маминой подруги.

О. А. Орионова приезжала в Пензу, и жила (гостила) у нас во время моего детства. По наружности она была типичная грузинка — брюнетка с резками чертами лица, носом с горбинкой и чёрными глазами. Она была неглупым, как я уже писала, человеком, с большой выдержкой, образец воспитанности в понятиях того времени, но воспитанности истинной, т. е. отличалась не просто хорошими манерами, а соединявшимися с простотой в обращении с окружающими, самыми различными людьми. Она обладала и искусством светского разговора.

У Ольги Алексеевны была чудесная дочка Маруся, немного старше меня, девочка в своем роде необыкновенная. Мать не любила её за некрасивую внешность — Маруся была альбиноска, что особенно резко выявлялось рядом с матерью-брюнеткой. Необыкновенность же её заключалась в характере деятельном, полном самоотверженности по отношению к близким, лишенном всякой мелочности и самолюбия. Пожалуй, правильнее всего было бы назвать эту девочку мудрой, столько было в ней понимания окружающих её людей и обстановки, мудрого поведения. Девочкой 10–12 лет она и ухаживала за больной матерью (временами лежавшей неделями и месяцами) и занималась хозяйством всей семьи.

Моя мама восхищалась Марусей Орионовой, а родной своей матери девочка угодить не могла, несмотря на свои ангельский характер была «козлом отпущения» для матери, которая изливала на неё свою раздражительность тяжело больного человека. Несмотря на свой возраст 10–11 лет (это было, кажется, в 1918 году), когда я ближе познакомилась с Марусей, гостившей у нас вместе с матерью, я очень чувствовала нравственную высоту этой девочки (хочется сказать даже не девочки, а человека), делавшей её непохожей на других моих сверстниц или подруг сестры. Жизнь Маруси Орионовой была недолгой. Ещё девочкой она утонула, купаясь в Каме (они жили в Перми). В конце жизни Орионовы жили под Москвой, и мама, а с нею и я, несколько раз виделась с Ольгой Алексеевной. Умерла она в 1930-х годах.

Из других маминых гимназических подруг отношения поддерживались с Марией Ивановной Кабановой, жившей с матерью и братом Николаем Ивановичем Кабановым. В этой семье более интересным человеком была мать. Рано овдовев и не имея средств для жизни, она добывала их тем, что держала нахлебников. Так

называли в то время жильцов, которым сдавали комнату или часть её, т. е. «угол», со столом, или, как сказали бы теперь, с «питанием». С Кабановой в моей памяти связан рассказанный мне мамой эпизод, который произвёл большое впечатление на маму, а потом, через её рассказ, и на меня. Ещё гимназисткой мама неожиданно зашла к Кабановым и застала мать своей подруги за совершенно необычным занятием — она мыла полы. Дело в том, что труд домашней работницы, прислуги, как тогда говорили, был в то время невероятно дешёв. В небогатых семьях, нанимая неквалифицированную, т. е. неопытную, необученную ещё профессии домашней прислуги, работницу, ей платили всего 1–2 рубля в месяц. А работницы охотно шли за такую плату, т. к. кроме неё получали ещё стол, квартиру и что-нибудь из одежды. Делать же самим черную работу даже в самых небогатых семьях педагогов, чиновников считалось невозможным. Предрассудок не позволял приучать к домашней работе и дочерей в этих семьях — их воспитывали барышнями. Да, предрассудок, но он имел и положительною сторону, т. к. у девочек и девушек оставалось свободное время для чтения, изучения языков, музыки или рисования.

Бабушка Мария Васильевна, оставшись в 35 лет вдовой с 7-ю детьми, жила на небольшую пенсию. Жила семья очень бедно, но прислуга (одна) всё же была. Она стряпала и стирала, на семью в 8 человек и убирала квартиру.

Возвращаюсь к эпизоду с Кабановой. Почему она сама в этот день занялась таким делом, не знаю, да это и не важно. Дело в том, что она выполняла её аккуратно одетая как всегда, в шерстяном платье, с белым воротничком (кажется даже с белыми манжетами) и в соответствующем переднике. Это было, и для мамы и для меня, впечатление, которое формирует характер; всякую работу надо выполнять, будучи тщательно и красиво одетой, процесс всякой работы надо совершать красиво. Мария Ивановна Кабанова была связана с мамой, как мне кажется, не только воспоминаниями о гимназической дружбе. У взрослых у них было мало общего. Мария Ивановна была учительницей начальной школы, была неярким человеком. Мне кажется, что она тянулась к маме как к более сильному и одаренному человеку. Помню её ласковое «Ноннушка, Ноннушка…». Такие же, примерно, отношения были и у папы с братом её — Николаем Ивановичем Кабановым. Он был очень скромным, молчаливым человеком, мало выявлявшим себя в обществе. Он был одним из «спутников» моего отца во время их молодости. Не будучи сам натуралистом, он заражался энтузиазмом своего товарища (они учились вместе в гимназии) и сопровождал его в экскурсиях, в поездках по Пензенской губернии. В этой семье был ещё сын Евгений Иванович — агроном-геоботаник, а его сын Николай Евгеньевич — известный ботаник-географ, лесовод.

Из родных отец был особенно дружен со своим дядей (братом матери) Гавриилом Ивановичем Капраловым. Разница в их возрасте была не так уж велика — 9 лет. Оба они были любителями и исследователями природы. Гавриил Иванович был пчеловодом, вёл научную работу на своей пасеке в Арбекове под Пензой и в то же время был пчеловодом-педагогом, организовав курсы, на которых обучил любимому им делу сотни людей. В молодости дядя и племянник вместе охотились в окрестностях Пензы, причём влекла их к этому занятию возможность находиться в природе и наблюдать жизнь птиц и животных. Близкие родственные отношения поддерживались всю жизнь и не раз в трудные минуты жизни они выручали друг друга. О Г. И. Капралове я много написала в другой главе моей «Семейной хроники» — главе «Капраловы».

Такие же настоящие родственные отношения поддерживались между И. И. Спрыгиным и его двоюродным братом Александром Гавриловичем Капраловым, старшим сыном Гавриила Ивановича. Разница в возрасте между ними была уже больше, это были люди разных поколений. В юности Александр Гаврилович, как и многие другие, был вовлечён в круг интересов своего брата и сопровождал его в ботанических экскурсиях по Пензенский губернии. В тяжёлый голодный 1921-й год Александр Гаврилович проявил по отношению к старшему двоюродному брату самое сердечное родственное отношение. Он жил в Петрограде, занимал довольно большой пост, как врач, в системе Балтийского флота и жизнь его с материальной стороны была сравнительно хорошо устроена. А И. И. Спрыгин, тогда профессор Ташкентского университета, приехал в Петроград на съезд, а потом остался работать в Гербарии Ботанического сада и, несмотря на паёк научного работника, порядочно голодал. Александр Гаврилович постоянно приглашал его обедать, да ещё снабжал хорошими папиросами. Несомненно, это сохранило отцу и силы и здоровье в тот тяжёлый год.

Из родных мамы в первые годы их совместной жизни отец был очень дружен с братом мамы Борисом Ивановичем Цилли. Способный человек, в молодости он интересовался и наукой (он был математик) и искусством, был прекрасным фотографом. Он, так же как и другие родственники отца, не избежал его сильного влияния. Он был членом кружка преподавателей, а потом вступил в члены ПОЛЕ в первый же год по его основании. Он также сопровождал отца в его экскурсиях и фотографировал нужные отцу объекты. В Обществе любителей естествознания он одно время возглавлял фотографическое дело.

Впоследствии отношения моих родителей с Б. И. Цилли стали предметом тяжёлых переживаний для них. Шли годы. Отец развивал свою деятельность, и научную и общественную. Выходили из печати его работы. Среди интеллигенции Пензы он приобретал всё больший авторитет. Б. И. Цилли, наоборот, всё больше опускался и отходил от науки и общественной деятельности. Женившись на С. В. Бономорской, он вошёл в круг пензенской мещанской интеллигенции (мне кажется, это определение выражает сущность этого круга людей). Это была часть пензенской интеллигенции, представители которой получали высшее образование и работали педагогами, врачами, юристами и т. п. Однако эту часть интеллигенции нельзя было назвать прогрессивной. В большей своей части это были выходцы из духовного сословия. До революции они были верноподданными империи, встретили Октябрьскую революцию враждебно, а впоследствии лишь постепенно приспособились к новому строю жизни. Я лично близко столкнулась и поняла, что собой представляли эти люди, ещё во время учения в Опытно-Показательной школе.

И вот брат моей матери, Б. И. Цилли стал центральной фигурой в этой прослойке пензенской интелли-

генции, её вожаком. У него были для этого данные — импозантная барская внешность, умение веско сказать. Он сумел приобрести влияние на людей этого круга.

Я сказала выше, что в юности отец и Б. И. Цилли были очень дружны, у них были общие интересы. Становясь всё более неудачником и видя успехи своего друга молодости, Б. И. Цилли возненавидел моего отца. Это была именно ненависть, сильная и непримиримая. Отца очень огорчало изменившееся к нему отношение его шурина, много раз он делал попытки к примирению, но все было тщетно. Выходки Б. И. Цилли по отношению к И. И. Спрыгину и его семье выходили за все нормы поведения порядочного человека. Надо отдать справедливость Б. И. Цилли, в своей злобе он был сильным и последовательным. В 1918 году, когда отец был избран коллективом преподавателей на пост председателя школьного совета (на место бывшего директора гимназии Н. А. Беляева), он, узнав, что Цилли отказался работать в новой советской школе, послал ему от себя персональное приглашение работать в школе. Борис Иванович отказался. Ещё одна попытка отца к примирению ярко врезалась в мою память.
В 1921 году наша семья уезжала из Пензы в Ташкент. Думали, что навсегда. И вот мои родители, взяв с собою своих детей, решили пойти к Б. И. проститься перед отъездом. После поведения Б. И. последних лет это был великодушный поступок. Но они, люди далекие от злобы и зависти к кому-либо, не учли, что избрание отца профессором и назначение на университетскую кафедру ещё более подогрели ненависть Б. И. Цилли. Надо ли говорить, что приём был самым холодным — насмешливо-холодным. Так кончилась эта дружба молодых лет моего отца.

С остальными родными мамы у отца поддерживались родственные отношения. Несколько ироничное, свысока, отношение этой семьи (несмотря на бедность, у них было много снобизма) к отцу с годами изменилось. Всегда корректные отношения поддерживались со старшим братом мамы В. И. Цилли. Сестра мамы Александра Ивановна Цилли, впоследствии Ступина, была преподавательницей естествознания и физики и принимала энергичное участие в работе ПОЛЕ. Это сближало её в описываемые годы с семьей Спрыгиных. Как преподаватель, будучи и сама одарённым педагогом, она складывалась в значительной мере под влиянием отца, заимствуя его опыт и знания натуралиста. Одно время она вместе со своей племянницей и воспитанницей Наташей Нестерович, дочерью рано умершей другой маминой сестры — Марии Ивановны, жила у нас, в квартире Спрыгиных на Покровской улице.

Вообще около семьи Н. И. и И. И. Спрыгиных всегда кто-нибудь «ютился». Родные, знакомые, дети знакомых. Спрыгины были добрые, отзывчивые на чужое горе люди. У них было крепкое семейное ядро. Постоянно бывали все родственники мамы, не имевшие в те годы ни собственных семей, ни достаточно сильной семьи в доме их матери М. В. Цилли. Жил одно время Сева Полторацкий, маленький сирота, племянник Е. В Титова. Дело доходило до курьёзов. Приходит знакомый, отнюдь не близкий, юрист Белов, рассказывает, что попал в затруднительное положение, больна жена, уезжает лечиться и некуда пристроить маленького сына. Не могут ли взять его к себе Спрыгины? И вот этот мальчик живет некоторое время у Спрыгиных.

Как я писала выше, в самые первые годы Н. И. и И. И. Спрыгины часто меняли квартиры. Нанимали дешёвые, они оказывались неудобными, приходилось менять. Потом, примерно в 1907 или 1908 году, переехали на Покровскую улицу, где сняли флигель во дворе дома ювелира Ф. И. Покровского (теперь улица Калинина, д. 18) и прожили здесь несколько лет, до лета 1911 года, когда перебрались в приобретённый отцом (в рассрочку, кажется, через Общество взаимного кредита) дом на Пешей улице, № 48 (потом этот дом получил № 50, а улица стала называться ул. Богданова).

В этом маленьком флигеле на Покровской улице прошли годы интенсивной научной и общественной жизни отца, годы окончательного формирования его как исследователя-ботаника, годы созидания Пензенского общества любителей естествознания и естественноисторического музея.

Я видела этот домик последний раз в 1973 году. Новые здания подступили к нему уже совсем близко. Тогда, в первое десятилетие XX столетия, он стоял в глубине двора и к нему примыкал небольшой сад, которым пользовалась и наша семья. Дом стоит на полугоре, поэтому, одноэтажный при взгляде с улицы, он имел со стороны сада ещё полуподвальный этаж с жилыми комнатами. В верхней части квартиры было всего четыре комнаты: в северной её половине маленькие спальня и детская, а в южной — столовая-гостиная и кабинет. Лестница вела в полуподвальный этаж, где помещались кухня и комната, в которой недолго, до переезда на Пешую улицу, жили бабушка и дедушка, родителя отца. Я была в этой квартире в 1973 году. Домик с улицы кажется сейчас совсем маленькой избушкой. А внутри он сильно перестроен, квартира разделена на две отдельных и заложен ход вниз. Вот-вот снесут и его, и на этом месте появится многоэтажная казарма.

Летом Н. И. и И. И. Спрыгины в первые десять лет своей совместной жизни жили большей частью в Арбекове, на пчельнике дядей — А. И. и Г. И. Капраловых. Одно лето жили на даче в Чугурах, недалеко от Пензы, к юго-востоку от города. Жизнь на этих «дачах» протекала в самых примитивных условиях. Дома-избушки, никаких удобств. Зато кругом были луга и леса, чудесный воздух, у крестьян покупали самые «натуральные» молочные продукты, было изобилие ягод.

В конце первого года после свадьбы, 5 декабря (ст. стиля) у Н. И. и И. И. Спрыгиных родилась первая дочь Нина. Девочка была здоровой, хорошо развивалась, казалась умненькой и способной (в три года уже рифмовала, пыталась складывать слова в стихи). На четвертом году жизни, в августе 1903 года, Ниночка внезапно умерла. На даче в Чугурах она заразилась острой формой дизентерии. Через три дня в Пензе она скончалась.

Об этом потрясении молодых родителей трудно писать. Скажу только, что память об умершей маленькой девочке свято сохранялась не только ими, но и нами, последующими поколениями Спрыгиных. Помним день её рождения, день смерти. И даже представительница четвертого поколения, Маша Уранова, с детства знала о «бабушке Ниночке» хотя родилась она через 55 лет после её смерти. А у меня хранятся маленькое платьице и чулочки Ниночки, в которых она была в последний день перед болезнью. Помню,

как бережно хранила мама эти вещи и не поднимается рука уничтожить их. Весною 1901 года родилась вторая дочь Н. И. и И. И. Спрыгиных — Маруся. Она была очень болезненной и хрупкой девочкой, много болела, не раз родителям и врачам приходилось бороться за её жизнь. Но развивалась она хорошо, рано начала читать (в 4 года) и писать и впоследствии оказалась способной девочкой. В 1906 году родилась третья, и последняя, дочь Н. И. и И. И. Спрыгиных — Людмила. Она была здоровым ребёнком и в детстве доставляла своим родителям мало хлопот.

Нонна Ивановна была страстной матерью, вкладывавшей в уход за детьми и воспитание их все свои силы, всю свою душу. Семейная черта, свойственная всем Цилли, у неё получила особенное развитие. Смерть первого ребёнка в раннем детстве ещё более усилила эту черту её натуры. Боязнь потерять и этих детей никогда не оставляла её (упавшие на пол игрушки дезинфицировались борной кислотой!). Вместе с тем мама была строгой и требовательной матерью. Излишнего баловства детей у нас в семье совсем не было. Воспитание носило даже несколько спартанский характер. Не баловали детей ни нарядами, ни лакомствами. Домашней работой, правда, не утруждали, предоставляя возможность больше времени уделять учению (кроме основных предметов — языкам, музыке, рисованию) и чтению. В отношении старшей из оставшихся двух дочерей, Маруси, воспитание было более мягким, т. к. она была физически слабым и часто болевшим ребёнком. А младшая дочь всегда принимала участие во всех работах своих родителей по дому, а впоследствии и в их работе.

Я написала о несколько «спартанском» характере воспитания детей в семье Спрыгиных. Так я считаю сейчас, и так я чувствовала в детстве, сравнивая положение детей, в нашей семье и в других семьях. Это заключалось, как я уже сказала, в отсутствии баловства, в ограничении нас в отношении разных материальных благ. Объяснялось это и взглядами мамы на воспитание и ограниченностью средств.
Была большая требовательность у мамы в отношении выполнения требуемых обязанностей, а хвалила она скупо, холодно. В этом, я считаю, был даже недостаток нашего воспитания. Очень неравнодушная к успехам своих дочерей, мама считала ненужным хвалить их за успехи (»хорошо — так и должно быть, а не иначе»), а это могло вызвать у детей неуверенность в себе.
Я особенно поняла это, когда узнала, что Н. К. Рерих всегда отмечал успехи своих сыновей, хвалил их, желая поощрить к дальнейшему успеху (известно, какие хорошие плоды дало это воспитание).

Мы, дети, были очень стеснены в свободе. Мама требовала отчёта во всех наших поступках и действиях, строго следила за тем, где и с кем мы бываем, следила и за бывавшими у нас подругами, влияла на выбор их.

Но было ещё одно обстоятельство, влиявшее на характер воспитания детей в нашей семье и понятое мной уже в детстве. Как я теперь считаю, понятое правильно. В нашей семье, при всей любви к детям, не все интересы родителей сосредоточивались только в семье, заботах о ней, как это было у многих других родителей. На первом плане стояли всё же научная и общественная работа. Им отдавались жар души, время и силы. Такова была натура моих родителей. Работа была для работы, а не для обеспечения семьи. И, несмотря на всю заботливость, чуткость и внимание по отношению к детям, всё-таки не дети занимали первое место. Это я особенно почувствовала позже, когда после революций мама смогла с жаром отдаться научной и организационной (в музее) работе.

Отец воспитанию детей уделял мало времени, будучи всецело поглощён своей научной и общественной работой. Но он был глубоко любящим отцом и в трудные минуты жизни всегда был рядом со своими детьми, помогая им и словом и делом. В детстве, когда маленькие дети заболевали, он оставлял все свои занятия и просиживал ночи у их постели, сменяя уставшую за день мать.

Баловала нас бабушка — Анна Ивановна Спрыгина, жившая в нашей семье со времени моего раннего детства. Страстно любившая своего единственного сына и, вероятно, остро переживавшая отход его от неё со времени женитьбы, она перенесла свою любовь и на детей его. Все свои силы и время она отдавала семье, помогая маме и в хозяйстве и в уходе за детьми. Прекрасная (умелая) хозяйка, кулинарка и рукодельница, она выполняла значительную часть работ по хозяйству, не доверяя их жившим у нас малоквалифицированным домработницам. Все более сложные кушанья она готовила сама. Заготовляла, как тогда было принято, в течение лета и осени продукты на зиму — варила варенье, солила капусту (у нас говорили «солёная», а не «квашеная» капуста), мариновала, солила и сушила грибы, приготовляла мочёные яблоки. Следила за стиркой и глаженьем белья.

Баловство ею нас, детей, заключалось преимущественно в том, что она ничего не давала нам делать, стараясь сделать всё за нас сама. Вряд ли это было полезно в воспитательном отношении, но так проявлялась её забота и любовь к нам.

Вспоминая с большой любовью бабушку Анну Ивановну, мне хочется ещё больше сказать о её роли в семье Н. И. и И. И. Спрыгиных. Будучи малограмотным человеком, она не могла принимать участие в их интеллектуальных и общественных интересах. Соприкасаясь с их средой, она не поднялась в умственном отношении до их уровня. Но сердце у неё было очень доброе и умное. Сердце ей подсказывало правильные суждения и решения в разных жизненных ситуациях. Ревнуя сына к невестке (а это не могло быть иначе при её страстной привязанности к сыну), она, тем не менее, была неизменной, верной её помощницей в жизни. Без такого активного участия бабушки в семейных заботах мама не могла бы уделять так много времени для помощи мужу в его работе, а позже, после революции, ей было бы трудно так много работать по своей специальности, по организации двух отделов в музее и вести экспедиционные работы.

А как относились в этой семье дети к родителям? Они их очень любили. Это естественно в раннем детстве по отношению к матери, тем более к матери такой заботливей и разумной. Но по отношению к отцу мать сознательно воспитывала в детях чувство любви и большого уважения. Ещё маленьким нам она разъясняла, что отец занят научной и общественной работой. Говорила о том, какой он хороший человек. Это находило отклик в детской, душе.

Каким было отношение моих родителей в описываемое десятилетие к политической жизни страны?

Как я уже говорила, переселившись окончательно в Пензу через год после окончания университета, отец активного участия в политической жизни не принимал, т. е. он не состоял ни в какой политической партии. Его интересы были поглощены научной и общественно-просветительской деятельностью. Тем не менее, живой общественный темперамент и сложившееся мировоззрение определили неизменное горячее внимание отца ко всем вопросам современности, ко всем проблемам этого богатого событиями десятилетия в истории России.

Я могу судить об отношении моих родителей к политическим событиям в России за описываемое время по их позднейшим рассказам и воспоминаниям. Эти мои представления касаются не столько определённых событий, сколько общей настроенности моих родителей в это время. Отношение к политической жизни России у моих родителей было, прежде всего, ярким антимонархическим. Монархический строй воспринимали как нелепый пережиток, династию — как столь же нелепое собрание комических и диковатых персонажей. Всё реакционное в политической и общественной жизни России вызывало резкое осуждение, с оттенком насмешки и пренебрежения. Несомненно, у отца, кроме сложившегося мировоззрения под влиянием чтения любимых им произведений революционных демократов и книг марксистского направления, было выраженное классовое чувство бедняка-разночинца, определявшее его оппозиционное настроение по отношению к существовавшему строю в разных его проявлениях. Знал ли отец о существовании партии большевиков и соприкасался ли с ними? Возможно, что и знал, а сталкиваться, вероятно, не приходилось. В это десятилетие партия, в условиях царского режима, была так законспирирована, что среди интеллигенции немногие знали о ней.

Первую русскую революцию 1905 года Н. И. и И. И. Спрыгины переживали остро и воспоминания об этом времени ярко сохранялись в семье, Помню рассказы о том, как недалеко от дома (жили тогда на низу Лекарской улицы) было столкновение рабочих, с одной стороны, и войска, с другой. Ждали, что будет приказ стрелять в толпу рабочих (говорили — и крестьян), и отец выбежал из дома на улицу и начал кричать «Не стреляйте! Что вы делаете?!». Этот инцидент кончился благополучно, без кровопролития. Помню рассказы об еврейских погромах этого времени, говорили о том, как в квартиру моих родителей приходили прятаться соседи-евреи.

Особенно душевное, я сказала бы нежное, отношение было у моих родителей к памяти о герое-революционере этих лет, совсем молодом (17 лет) юноше Пчелинцеве, казнённом (был повешен) в ноябре 1907 года, недалеко от Пензы, в лесу около Двойных гор Арбекова. Не запомнила слов (я была совсем маленькой), но хорошо сохранились в памяти интонации, с которыми отец и мама, а также их друзья-собеседники, говорили о Пчелинцеве. Видимо, казнь его произвела огромное впечатление на пензенское общество. Нас детей не раз водили на могилу Пчелинцева и рассказывали о его гибели. Я была совсем маленькая, мне было страшно, жутко у могилы казнённого. Помню густой, тёмный лес, свисающие ветви деревьев, мы стоим на месте казни, мама держит меня за руку и рассказывает о Пчелинцеве. О подобных же посещениях с моим отцом могилы казнённого революционера мне рассказывала моя двоюродная сестра Наташа Нестерович (Метельская). Она же рассказала мне, что посещение могилы Пчелинцева моим отцом с группой гимназисток 1-й женской гимназии послужило причиной ухода моего отца из этой гимназии. Как это часто бывало, отец проводил экскурсию с учащимися в Арбекове, привёл их к могиле Пчелинцева и рассказал о нём. Начальство узнало об этом, большого шума не стало поднимать, так как отца ценили как преподавателя и человека, но уйти из 1-й женской гимназии ему пришлось. Н. И. Метельская запомнила эту историю в связи с тем, что именно в связи с нею получила уроки И. И. Спрыгина в гимназии воспитывавшая её тетка, сестра моей матери А. И. Цилли.

Действительно в «Формулярном списке о службе» И. И. Спрыгина после ряда записей, свидетельствующих об успешном продвижении по службе в 1-й женской гимназии, есть следующая запись от 1 августа 1908 года (напомню, что казнь Пчелинцева была совершена в ноябре 1907 года): «Предложением г. Попечителя Харьковского учебного округа… перемещен сверхштатным учителем (разрядка моя. — *Л. С.*) естествознания в Пензенскую 1-ю мужскую гимназию».

Это было понижение в отношении служебного продвижения преподавателя. Уход из 1-й женской гимназии, где отец успешно преподавал в течение 7 лет и занимал выборную должность секретаря Педагогического совета, мог быть вызван только какой-то экстраординарной причиной.

Я заканчиваю рассказ о первых 10 годах совместной жизни моих родителей, Н. И. и И. И. Спрыгиных. Этот рассказ говорит об их интенсивной духовной жизни за это десятилетие, о становлении их как общественников-просветителей, об окончательном формировании отца как учёного, об их семейной жизни. Жизнь — светлая, полная устремленности к тем идеалам, которые они поставили перед собой с юных лет.

В одной книге мне встретились следующие строки: «…одна из зим 1909–1912 годов — один из столичных литературных сезонов того десятилетия (1907–1917), которое, по словам М. Горького, заслуживает имени самого позорного и самого бездарного в истории русской интеллигенции, когда подавляющая её часть после поражения революции 1905 года пошла на поводу у реакции» [24] (подчёркнуто мною — *Л. С.*). К чести создателей Пензенского общества любителей естествознания, в том числе И. И. и Н. И. Спрыгиных, надо сказать, что они представили исключение из указанного Горьким большинства интеллигенции, они не только «не пошли на поводу у реакции», но сохранили светлый дух стремления к прогрессу русского общества и веру в него, создав в Пензе в описываемое и следующее десятилетия ряд просветительных учреждений, создав в лице Пензенского общества любителей естествознания культурный центр, к которому устремились неудовлетворенные обстановкой реакции и застоя жители Пензы.

Были в жизни И. И. и Н. И. Спрыгиных и тёмные стороны, жизнь давалась не легко, было много борьбы, горьких разочарований, лишении. С одной стороны, тяжёлые материальные условия, отказ от многого, казалось бы необходимого в жизни. С другой сторо-

ны — жизнь в обстановке политического гнета, который сильно чувствовался семьей поднадзорного лица при необходимости постоянного контакта с начальством (директором и начальницей гимназий, где преподавал отец), настроенным, конечно, реакционно.

У каждого были и свои тяжёлые переживания. У мамы — невозможность получения высшего образования. Как ни полно вошла она в творческую и общественную жизнь отца, помогая ему во всем, что было в её силах, и, разделяя его планы создания культурно-просветительных учреждений в Пензе, оставалась неудовлетворенность из-за отсутствия собственной творческой работы, к которой её звали интересы и незаурядные способности и к искусству и к гуманитарным наукам.

У отца рухнули все его планы, казалось уже почти свершающиеся, научной работы при крупном центре — Казанском университете. Отсюда его временами тяжёлое неврастеническое состояние, отчаяние, неверие в возможность не только творческой научной работы в Пензе, но и заработка для содержания семьи.

Эти тёмные стороны жизни были, в основном, преодолены, и к началу следующего десятилетия своей совместной жизни Н. И. и И. И. Спрыгины подошли уже окончательно сформировавшимися людьми и имели значительный итог своей работы за этот период. И. И. Спрыгин сложился как ботаник-исследователь растительности родного края, как педагог-естественник. В результате общественной работы Спрыгиных в содружестве с такими же энтузиастами было основано Пензенское общество любителей естествознания, было положено начало Пензенскому естественноисторическому музею. И была создана крепкая семья.

Глава III

Второе десятилетие совместной жизни Н. И. и И. И. Спрыгиных. 1909–1919 гг.

В 1909 г. произошли большие перемены в жизни Нонны Ивановны и Ивана Ивановича. Началось участие Ивана Ивановича в больших экспедиционных работах. Вместе с тем во многом изменились условия и образ жизни, а также круг знакомых семьи Спрыгиных.

В 1909 г. весною Иван Иванович получил предложение от Пензенского губернского земства и от почвоведа Н. А. Димо, руководителя почвенно-оценочных работ земства, принять участие в этих работах, которые проводились при широкой постановке изучения естественноисторических условий губернии. Это предложение явилось как бы итогом, результатом исследований Ивана Ивановича в течение 15 лет его научной работы по изучению природы Пензенского края, Оно было признанием его научного авторитета, сложившегося за эти годы. Вслед за этим предложением последовали другие. И. И. Спрыгин вошел в широкий круг русской природоведческой науки того времени.

Исследовательские работы Ивана Ивановича в Пензенской и Черниговской губерниях, продолжавшиеся несколько лет, и ряд экспедиций в Туркестан (1911–1916 годы) сопровождались интенсивным и углубленным изучением собранного материала. Одна за другой выходили печатные работы Ивана Ивановича, заключавшие отчёты о произведенных исследованиях в поле, сводки по флоре. Описание собранного фактического материала сопровождалось изложением теоретических взглядов автора. Это изложение принимало иногда полемический характер. Наступила пора зрелости в научной работе Ивана Ивановича.

Вместе с интенсивной научной работой десятилетие 1910-х годов в жизни И. И. Спрыгина характеризуется большой общественной работой, выразившейся в создании в Пензе культурно-просветительных учреждений — в дальнейшем развитии Пензенского общества любителей естествознания и Естественно-исторического музея, основании Ботанического сада в Пензе, в общественной работе по реформе преподавания в средней школе.

В годы 1909–1920, десятилетие с лишком, Иван Иванович тесно сближается в своих исследованиях с Николаем Александровичем Димо. Нельзя представить себе двух людей более непохожих один на другого. Но в исследовательском работе они сходились, хорошо в основном сработались, и их деловое содружество принесло хорошие результаты.

Н. А. Димо, впоследствии академик ВАСХНИЛ, был талантливый учёный и в то же время энергичный делец, организатор-предприниматель; он был честолюбив, никогда не забывал себя, свое положение в науке, и в то же время много сделал для развития этой науки, оставил в ней большой след.

Я помню Николая Александровича ещё довольно молодым человеком — моложе 40 лет. В период пензенских и черниговских работ, а потом туркестанских экспедиций он часто бывал в Пензе и жил у нас, сначала на Покровской улице в доме № 18 (во флигеле во дворе), а потом на Пешей улице в нашем доме, который тогда числился под № 48. Приезжая к нам в дом, он ночевал в папином кабинете, а утром он и папа часто уходили в Оценочное отделение Земской управы для переговоров с его деятелями — Громаном, Вырубовым и другими. В кабинете же оставались иллюстрированные журналы, которые Николай Александрович брал с собою из Москвы, чтобы скоротать дорожный досуг. В нашем доме этих дешёвых журналов никогда не было, меня же тогда они очень привлекали своими броскими цветными картинками с подписанными под ним стишками. Мне было 5–7 лет, и я умела читать. Особенно мне запомнился герой одного стихотворного рассказа, называвшийся «Чертяка», который был удалой мальчишка, герой каких-то незамысловатых приключений. До сих пор перед глазами эти картинки и подпись: «Спички есть?» — спросил сосед. А в ответ Чертяка — «Нет!» Вот так первые впечатления от Н. А. Димо связаны у меня с этими журналами.

Н. А. Димо был небольшого роста брюнет (он был греко-молдаванского происхождения), красивый, даже красавец, и изящный. Его наружность очень хорошо передает фотография, на которой он снят (в пензенской фотографии Вакуленко) вместе с геологом А. Д. Архангельским.

Как я сказала выше, этот человек, талантливый и очень организованный, безусловно, глубоко любивший свою науку, был в то же время до мозга костей делец, все отношения с людьми определявший тем,

кто и как ему нужен в данные момент. А организатор он был действительно замечательный, умел оценить и подобрать людей для работы, установить должные отношения с властями (земским начальством или князем Массальским в Отделе земельных улучшений Министерства земледелия), показать результаты работ, продвинуть их напечатание. Как у всякого яркого человека, стоящего по способностям выше среднего уровня, у Н. А. Димо было много врагов. В 1910-е годы в печати (в газетах) неоднократно появлялись статейки и заметки, направленные против Димо и содержавшие упреки в его адрес, главным образом в том, что он набирает слишком много работ, а вот как будет выполнять и выполнит ли в сроки?..

Семья Н. А. Димо в то время состояла из его жены Доры Лазаревны (урожденной Никопольской) и двух дочерей — Зоны (Софьи?) и Валентины. Девочки были, примерно тех же лет, что и я с сестрой. Когда мама или отец приезжали в Москву, они бывали в семье Димо. Дора Лазаревна была помощником мужа по организационной части возглавлявшихся им работ и в его отсутствие вела финансовую часть их и переписку. Через несколько лет после начала совместной работы И. И. Спрыгина и Н. А. Димо в семье последнего произошёл большой скандал, ставший достоянием широкой гласности. Я пишу о нём в своих воспоминаниях потому, что я встретила в жизнеописании Н. А. Димо, составленном его основным биографом И. Д. Крупенниковым («Долгая жизнь Димо»), заведомо неверное освещение этой семейной драмы.

На самом деле произошло следующее.
Дора Лазаревна, болевшая в то время, была вынуждена поехать лечиться (кажется, в Крым), и на время своего отсутствия поручила ведение хозяйства и наблюдение за своими двумя дочерьми своей младшей сестре Валентине Лазаревне Никопольской, Вернувшись в Москву, она обнаружила, что её сестра сошлась с её мужем — Николаем Александровичем Димо. Почему-то эта семейная драма стала известна широкому кругу не только близких знакомых, но и сотрудников (весьма многочисленных) Н. А. Димо по экспедициям. В нашу семью известие об этом событии привезли, вероятно, молодые ботаники, сотрудники черниговских и туркестански х экспедиций. Симпатии всех были на стороне Доры Лазаревны, а сестра её вызывала осуждение. Причина этого заключалась, вероятно, в характере и поведении той и другой сестры. Дора Лазаревна держалась с большим достоинством, чего нельзя было, очевидно, сказать о её сестре, которая стремилась занять её место рядом с Н. А. Димо. Преуспела младшая сестра. Жили одной семьёй, но фактически «подругой» Николая Александровича стала Валентина Лазаревна. Когда осенью 1920 года семья Димо переехала в Ташкент, вместе с Н. А. Димо переехали обе сестры, но Николай Александрович и Валентина Лазаревна уже открыто держались вместе, не скрывая свою связь. Позже в 1920-е годы, они поженились (не знаю, при жизни Доры Лазаревны или после её кончины), у них родился сын.

Так вот, И. Д. Крупенников в своей книге позволил себе изменить отчество первой жены Н. А. Димо, назвав её Дорой Андреевной, и неверно изложил историю второй женитьбы Н. А. Димо. Он отнес её к 1920-м годам, т. е. на 10 лет позже начала их действительного сожительства, и представил младшую сестру как большого друга и помощника Н. А. Димо в его работе, ничего не сказав о той же роли в жизни Димо первой его жены.

Необязательно, даже излишне, было в популярной биографии излагать драму семьи Димо, но нельзя же искажать факты. Вероятно, таким было желание Валентины Лазаревны, продиктованное ею Крупенникову.

Я видела сестёр Никопольских в Ташкенте в 1920 году. Старшая сестра, Дора Лазаревна, была уже немолодая женщина, но все ещё красивая и производила впечатление интеллигентного и достойного уважения человека. Я и тогда, в 14 лет, поняла, что ещё молодая Валентина Лазаревна совсем не то, что её старшая сестра. В ней не было достоинства, было что-то фальшивое. Такая хитренькая змейка...
Она появлялась в университете вместе с Н. А. Димо, подчеркивая свою близость с ним. Как-то в университете (я стояла одна, без старших, в очереди за пайком) она подошла ко мне и сказала: «Вы ведь Спрыгина? Давайте познакомимся...» Последовало ещё несколько фраз. Вероятно, её настолько беспокоила неприязнь окружающих Н. А. Димо сотрудников и знакомых, что она пыталась завоевать расположение даже 14-летней девочки.

Я написала уже, что мой отец и Н. А. Димо были очень разными людьми. Отец с его открытым характером, благожелательный к каждому, совершенно лишенный карьеризма, был, казалось полной противоположностью Н. А. Димо. Тем не менее, на протяжении почти 12 лет продолжалось их деловое сотрудничество. И. Д. Крупенников в своей книге «Долгая жизнь Димо» написал: «В эти годы Димо тесно сошелся с ботаником Иваном Ивановичем Спрыгиным, своим сотрудником по пензенским работам» (с. 89). И выше: «Димо привлекает видных ученых других специальностей — геоботаника И. И. Спрыгина, геологов А. Д. Архангельского...»

Н. А. Димо, будучи организатором нескольких экспедиций в Европейской России и в Туркестане, неизменно приглашал И. И. Спрыгина работать в них. Он ввёл его также в среду Московского Почвенного комитета, подготавливал, вхождение его в круг ботаников Московского университета. Несмотря на то, что к началу совместной работе с Димо И. И. Спрыгин уже имел имя среди русских ботаников (чем и объясняется приглашение его в организуемую Димо экспедицию), в дальнейшем Николай Александрович сыграл в жизни И. И. Спрыгина немалую роль, способствуя расширению его связей в среде русских натуралистов, участию в крупных исследовательских работах.

О характере отношений Н. А. Димо и И. И. Спрыгина свидетельствует сохранившиеся в семейном архиве Спрыгиных письма Н. А. Димо (их около 70). Из письма ко мне И. Д. Крупенникова я знаю, что в архиве Н. А. Димо также хранятся письма И. И. Спрыгина. На протяжении ряда лет почвовед и ботаник обсуждают планы и организацию экспедиций, методику исследований, печатание результатов работ. Были у них и разногласия, иногда принимавшие характер временных «ссор». Иван Иванович стремился к более углубленной проработке результатов исследований, а Димо торопился скорее, как можно скорее печатать работы, чтобы быть первыми, заявить о своем приоритете. Были и чисто моральные несхождения. Уже первый полевой период работ оставил у И. И. Спрыги-

на «первые неприятные впечатления» от Н. А. Димо, как он написал впоследствии в своих автобиографических заметках. Тем не менее, деловое содружество продолжалось. Н. А. Димо ценил И. И. Спрыгина за его большие познания, огромную энергию и полную отдачу себя научной работе. Ценил и Иван Иванович колоссальную энергию, преданность науке и талантливость Н. А. Димо.

Все четыре года пензенских исследований и несколько лет черниговских и туркестанских работ прошли в тесном содружестве Ивана Ивановича с почвоведами, принимавшими участие в этих экспедициях. В этих работах завязались отношения со многими из них, продолжавшиеся всю жизнь Ивана Ивановича. Очевидно, почвоведов особенно привлекало (было им интересно) соединение в Спрыгине ботаника и почвоведа, его умение находить в природе тесные связи между почвами и растительностью. Характерно, что и в последующие 1920-е и 30-е годы такое же отношение к И. И. Спрыгину возникало и у других специалистов-почвоведов. Об этом свидетельствуют письма к нему одного из крупнейших русских почвоведов того времени А. А. Ярилова и других.

Семья Спрыгиных. Людмила Ивановна стоит слева, рядом со своей матерью

В 1911 году И. И. Спрыгин избирается действительным членом Почвенного комитета Московского общества сельского хозяйства, а в 1913 году 2 апреля был избран в состав постоянной редакционной комиссии. Забегая несколько вперед, скажу, что в дальнейшем, по предложению А. А. Ярилова, председателя Бюро уполномоченных почвоведов СССР секции СССР Международного общества почвоведов, И. И. Спрыгин вступает в Международное общество почвоведов. В том же году он избран членом Центрального организационного комитета по созыву Международного конгресса почвоведов. В работе Организационного комитета Иван Иванович принимал участие в 1929 и 1930 году, когда и состоялся Международный конгресс почвоведов в Москве.

В первый год земских почвенно-оценочных работ в Пензенской губернии ботанические работы не были запланированы. И.И. Спрыгин получил предложение работать в качестве почвоведа. В этом 1909 году он обследовал почвы Мокшанского уезда. В 1910 году, когда началось ботаническое исследование губернии, Иван Иванович провёл изучение растительного покрова уездов Пензенского, Нижне-Ломовского, Наровчатского, Краснослободского. В этом же году вышла из печати его работа «Ботанические исследования в Пензенской губернии в 1909 и 1910 гг.» (в книге «Оценочные работы в Пензенской губернии в 1909–1910 гг.», ч. I). В следующем 1911 году он обследовал уезды Чембарский, Керенский, Краснослободский, а в 1912 году — Инсарский и Саранский уезды. В 1912 году была напечатана вторая работа И. И. Спрыгина о результатах его исследований в составе почвенно-оценочных работ Пензенской губернии — «Краткий предварительный отчёт о ботанических исследованиях в Пензенской губернии в 1911 г.» (в книге ‹Предварительный отчёт о работах по изучению естественноисторических условий губернии в 1909, 1910 и 1911 гг., Москва, 1912). Эти две печатные работы, хотя и представляли предварительные отчёты, содержали большой фактический материал. Вместе с накопленными данными о растительном покрове обследованной территории, его связи с геологическим строением и почвами, они излагали уже

сформировавшиеся взгляды И. И. Спрыгина теоретического характера на растительность Пензенской губернии, а вместе с тем на историю её развития. [25]

С 1911 года начинаются экспедиционные поездки И. И. Спрыгина в Туркестан. Участие в исследованиях в Средней Азии (с 1913 года ему было поручено руководство ботанической частью работ) было предложено Ивану Ивановичу также Н. А. Димо, который возглавлял эти исследования от Отдела земельных улучшений Министерства земледелия. В ближайшие годы экспедиционные работы в Пензенской и Черниговской губерниях, и в Туркестане планировались таким образом, что весенние поездки в Туркестан Иван Иванович мог совершать во время пасхальных каникул, когда он был свободен от уроков в гимназии. Это время как раз совпадало с весенним расцветом растительности в Средней Азии. А летнее время, когда ботанику в Туркестане было менее интересно работать, было посвящено исследованиям в Пензенской и Черниговской губерниях.

В марте и апреле 1911 года Иван Иванович совершил поездку в Туркестан совместно с Н. А. Димо и почвоведом И. А. Шульгой. Исследования велись в Голодной степи, горах Писталитау, Дальверзинской степи и горах Моголтау. Весною 1913 года Иван Иванович проводил исследования в Каршинской степи, пройдя из Новой Бухары (теперь г. Каган) по маршруту: колодец Узун-Кудук, горы Малик, Карнак, колодцы Гульшан и Караиряк, Караулбазар.

В 1914 году весною И. И. Спрыгин вместе с Н. И. Спрыгиной и М. Г. Поповым вел исследования в южной части Голодной Степи, горах Моголтау и между этими горами и предгорьями Туркестанского хребта. В 1916 году, также весною, ботанические работы велись им в Ташкентском уезде.

В ближайшие годы было опубликовано несколько работ, содержащих результаты руководимых И. И. Спрыгиным ботанических исследований в Туркестане от Отдела земельных улучшений Министерства земледелия. В 1915 году вышла из печати работа (совместно с М. Г. Поповым) «Ботанико-географические исследования в Туркестане» (Москва, 1915), а под редакцией и с предисловием И. И. Спрыгина «Описание новых видов растений, собранных в Туркестане» (Москва, 1916) Е. П. Коровина, М. В. Культиасова и М. Г. Попова. В 1916 году была напечатана работа И. И. Спрыгина совместно с М. Г. Поповым «Megacarpaea orbiculata Bet Megacarpaea gigantea Rgl» (Москва, 1916).

Эти работы лишь в небольшой степени отразили тот огромный материал, который был собран И. И. Спрыгиным и его сотрудниками о растительности пустынь и гор Средней Азии. Предстояла дальнейшая обработка и публикация материалов экспедиций.

С 1912 года Иван Иванович начал руководить и ботаническим обследованием Черниговской губернии, организованным, как и в Пензенской губернии, земством в составе почвенно-оценочных работ. Эти исследования, проводившиеся в 1912–1914 годах, были поставлены, в связи с более значительной суммой отпущенных земством средств, в более широком масштабе, было приглашено большее число сотрудников. В 1912 году в июне и июле Иван Иванович совершал рекогносцировочную поездку по 9 уездам Черниговской губернии. В 1913 году он обследовал весь Борзенский уезд, работал в Конотопском уезде, а также совершал поездки в другие уезды к работавшим в них его сотрудникам.

Уже в 1913 году вышла из печати работа И. И. Спрыгина «Геоботанические работы в Черниговской губернии» (»Предварительный отчёт о летних ботанических экскурсиях по Черниговской губернии в 1912 г.» (Москва, 1913). В 1914 году ботанические исследования Ивана Ивановича проводились в уездах Нежинском, Козелецком, Остерском и Городнянском. В том же году вышла в свет вторая работа по Черниговской губернии — «Геоботанические работы в Черниговской губернии» (Предварительный отчёт о ботанических исследованиях в Черниговской губернии в 1913 г. Москва, 1914).

Начавшаяся в 1914 году первая мировая война приостановила широкий размах полевых экспедиционных исследований по изучению природы, её производительных сил в России. В последующие годы второго десятилетия XX века научная работа Ивана Ивановича была направлена главным образом на обработку результатов экспедиций предшествующих лет.

В экспедиции 1912–1916 годов было привлечено значительное число молодых ботаников — сотрудников И. И. Спрыгина по полевым исследованиям и научной обработке собранных материалов. В эти годы под руководством Ивана Ивановича складывался коллектив его учеников — вырабатывалась школа молодых специалистов, работавших по его методике и плану, усваивавших сложившиеся к тому времени навыки полевых исследований и теоретические взгляды своего руководителя.

В 1912 году, когда полевые исследования в Пензенской губернии были расширены, а в то же время надо было проводить обследование в Черниговской губернии, по рекомендации А. Я. Гордягина был привлечён студент Казанского университета М. Г. Попов. С 1913 года и с 1914 года И. И. Спрыгин привлёк к своим исследованиям в Черниговской губернии и в Туркестане своих бывших учеников по 1-й мужской гимназии в Пензе, в то время студентов Е. П. Коровина и М. В. Культиасова, также студента К. Е. Гомерова и молодых ботаников М. Н. Василевскую (впоследствии Прозину) и К. М. Залесского. Это были молодые люди, почти не имевшие ещё опыта в экспедиционной полевой работе, но уже с вполне сложившимися наклонностями исследователя-натуралиста. В процессах полевой экспедиционной работы и последующей научной обработки материалов они формировались как специалисты-ботаники. В дальнейшем почти все они стали крупными исследователями в своей области.

Основное ядро среди молодых сотрудников И. И. Спрыгина составляли М. Г. Попов, Е. П. Коровин и М. В. Культиасов. Они участвовали и в черниговских и в туркестанских экспедициях Спрыгина. Будучи студентами, они в те годы уделяли мало времени занятиям в своих учебных заведениях (очевидно, посещение лекций не было тогда обязательным), а со всем пылом молодости предались экспедиционным исследованиям. Работы в Черниговской губернии, природа её территории не увлекли самого Спрыгина и, в особенности, его молодых сотрудников в той мере, как экспедиции в Туркестан. В то время природа Туркестана была ещё очень мало исследована и путешествия в эту мало известную тогда натуралистам страну, где можно было сделать немалый вклад

в её изучение, были особенно привлекательны для ботаников экспедиции. Кроме тех районов, в которых вёл исследования Спрыгин, его сотрудниками были обследованы: Коровиным — северная часть Самаркандской области (тогда Нуратинское бекство), М. Н. Василевской (Прозиной) районы Горной Бухары, М. Г. Попов объехал обширные районы, спустившись по Амударье из Чарджуя до Петроалександровска (г. Турткуль), вёл исследования в северной части Хивинского ханства, горах Султануиздаг, а на запад проехал по Дарьялыку до Сарыкамыша и восточной окраины Устюрта. Он работал и в Голодной степи, горах Писталитау, а позже (в 1914 году) в Горной Бухаре — в долинах рек Ширабада, Сурхандарьи, Кафирнигана и Вахша и горных хребтах между ними, на север и восток он проехал до Куляба, Файзабада, Душанбе и Регара. Е. П. Коровин путешествовал также в Закаспийской области, горах Копет-Даг, бассейнах рек Теджена и Мургаба, предгорьях Паропамиза. М. В. Культиасов вёл исследования в Горной Бухаре, горах Писталитау, в Ташкентском уезде.

Ботанико-географические исследования под руководством И. И. Спрыгина Отдела земельных улучшений Министерства земледелия (эти экспедиции получили официальное название «Почвенные исследования в бассейнах рек Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи», а отдельные экспедиции назывались «Аму-Дарьинская», «Бухарская») охватили, таким образом, обширнейшие территории Средней Азии и внесли огромный вклад в изучение её растительности. Было собрано свыше 15 тысяч гербарных экземпляров, до 1000 видов растений, из которых многие были впервые установлены для Туркестана или определены как новые виды и роды.

В последующие годы, вплоть до переезда сотрудников экспедиции в Ташкент в 1920 году, велась обработка собранных ботанических коллекций. Центром хранения и обработки гербария и других материалов была квартира И. И. Спрыгина в Пензе, на Пешей улице, д. № 48 (ул. Богданова, № 50). В этой квартире были созданы условия для работы не только самого И. И. Спрыгина, но и его сотрудников. В его большом кабинете кроме письменного стола, за которым занимался только сам Иван Иванович, стояли ломберные столы для работы его молодых сотрудников. В большом застекленном шкафу хранился гербарий. На открытом длинном, но невысоком стеллаже помещалась обрабатываемая часть гербария. Шкаф и стеллаж для гербария были специально заказаны для этой цели. Специально же заказывались коробки для хранения гербария. Они были оклеены темно-красной бумагой, цвет которой гармонировал с такого же цвета шторами. В 1944 году коробки вместе с гербарием были переданы Н. И. Спрыгиной в Ботанический институт АН СССР, а мебель для хранения гербария вместе с письменным столом и другими вещами теперь находится в Гербарии Педагогического института Пензы.

Работа над обработкой гербария велась очень слаженно и дружно. Е. П. Коровин и М. В. Культиасов были пензенцами (здесь жили семьи их родителей). Как я писала выше, занятия в университетах они в то время могли регулярно не посещать. Поэтому они большую часть времени проводили в Пензе, увлечённо занимаясь определением гербария. М. Н. Василевская и М. Г. Попов приезжали и также жили подолгу в Пензе. В особенности много времени проводил в Пензе Михаил Григорьевич. Он подолгу жил в Пензе у Спрыгиных (диван в кабинете был предоставляем для всех приезжавших в Пензу ботаников, почвоведов, а потом, в 1920-е годы и археологов); летом он долго жил у нас на даче в Кичкилейке. Когда М. Г. Попов женился (на Г. М. Нагибиной), они снимали квартиру недалеко от Спрыгиных на Подгорной улице.

Частично обработка гербария велась в столичных травохранилищах, главным образом в Гербарии Ботанического сада в Петрограде. К специалистам этих учреждений И. И. Спрыгиным посылались пачки гербария с отдельными видами и родами растений.

В эти годы в коллективе ботаников, работавших в пензенской, черниговской и туркестанской экспедициях, сложились хорошие как рабочие, так и дружеские отношения. И. И. Спрыгин уделял много внимания росту своих молодых сотрудников, следил за их занятиями и устанавливал для них связи со специалистами-ботаниками. О признательности сотрудников Ивану Ивановичу говорят письма того времени, хранящиеся в архиве Спрыгиных. М. Г. Попов в 1915 году писал в письме из Петрограда (я уже говорила об этом в моей книге «Иван Иванович Спрыгин», повторяю и здесь) об их работе «под руководством нашего общего учителя, друга, если мы смеем так Вас называть, и человека, которого мы все уважаем больше, чем кого-либо другого в мире». То же писал и Е. П. Коровин, благодаря Ивана Ивановича «за то, что открыли мне глаза на растительный мир».

Этих трёх ботаников связала на всю жизнь большая деловая и сердечная дружба. Евгений Петрович и Михаил Васильевич были дружны с первого класса гимназии (1-й мужской гимназии в Пензе). С Михаилом Григорьевичем они познакомились в 1912 году в связи с исследованиями в Черниговской губернии. Михаил Григорьевич в их дружеской «тройке» был решительным лидером, вожаком. Человек с очень сильной волей, очень энергичный, несомненно, более талантливый (более мыслящий), он первенствовал среди них, влияя и как специалист-ботаник и как человек. При ясной голове исследователя он имел очень трудный характер, сложившийся в его тяжёлом детстве, когда он, лишившись рано отца, был никому не нужен и с тех пор озлобился на всё человечество, никому не верил, подозревая всех в плохом к нему отношении.[26] Друзья с молодых лет — Коровин и Культиасов — подчиняясь ему, в то же время очень скрашивали ему жизнь своим товарищеским вниманием и заботой. В последние годы десятилетия он женился. Галя Михайловна Нагибина, его жена, стала впоследствии известным ботаником-селекционером, сотрудницей Н. И. Вавилова. Но брак М. Г. и Г. М. Поповых тоже не ладился, они то расходились, то сходились. Одну зиму прожили в Пензе и постоянно бывали в нашей семье.

С 1915 года под руководством И. И. Спрыгина стал заниматься ботаникой (определением растений) ученик Пензенского реального училища А. И. Введенский. В то время он собирался в дальнейшем стать инженером-путейцем, а занятия ботаникой были его хобби. Но в Институте путей сообщения он проучился только год или немного больше, в голодные годы конца описываемого десятилетия вернулся в Пензу, а в 1920 году переехал вместе с И. И. Спрыгиным и другими ботаниками в Ташкент и всецело посвятил

себя занятиям ботаникой, став впоследствии крупным ботаником-флористом, знатоком флоры Средней Азии. Бывая у нас каждое воскресенье — единственный свободный день ученика-реалиста, когда он мог заниматься определением растений, он присоединялся к нашему завтраку с неизменным самоваром и какими-нибудь воскресными пирогами или печеньями бабушки Анны Ивановны. Обладая нескладной наружностью и вообще некоторой мешковатостью, он был постоянной мишенью для шуток и легких издевательств моих старших сестёр, Маруси Спрыгиной и Наташи Нестерович, которые были лишь немного его моложе.

Я перечислила лишь основных молодых ботаников, работавших под руководством отца. Кроме них были и другие, занимавшиеся недолго или почему-либо не ставшие впоследствии специалистами. Вспоминаю подававшего большие надежды уроженца Пензы студента Константина Евлампиевича Гомерова. Он работал в черниговской экспедиции и именно там летом, у него проявилось психическое заболевание. Дальше учиться и заниматься научной работой он уже не мог, пробивался случайными заработками (был прекрасным фотографом). Помню его по-детски чистые, ясные глаза, тихий, незлобивый нрав. Вспоминаю как в тяжелом 1921-м или 1922 году я застала его около кухни нашей квартиры. Увидев сырую картошку, он схватил картофелину и стал есть её, прямо так — сырую, в кожуре. Мои родители очень заботливо, даже нежно относились к Константину Евлампиевичу, помогая, чем могли.

Кроме работ, излагавших результаты экспедиций пензенских, черниговских и туркестанских, в 1910-е годы И. И. Спрыгиным был напечатан ещё ряд работ. Вышли из печати три выпуска «О некоторых редких растениях Пензенской губернии» (первое, второе и третье сообщения) изданные в «Трудах» Пензенского общества любителей естествознания. В 1915 году в тех же «Трудах» была напечатана статья И. И. Спрыгина «Новая работа из области северных степей». Это был критический разбор работы ботаника В. В. Алехина «Введение во флору Тамбовской губернии», в которой Алехин указывал, что деление Спрыгиным пензенских степей на ковыльные и типчаковые является ошибочным. И. И. Спрыгин в указанной выше работе защищал свои положения и в свою очередь подверг критике взгляды Алехина. Вышла новая статья его «По поводу статьи г. Спрыгина», а потом и работа И. И. Спрыгина «Ответ г. Алехину».

Полемика между Спрыгиным и Алехиным вызвала большой интерес среди ботаников и почвоведов того времени. Да и позже она не была забыта. Через 60 лет в своей «Истории геоботаники в России» Г. И. Дохман подробно остановилась на этой полемике. Взгляды И. И. Спрыгина вызвали защиту со стороны учёных-специалистов. В печати их правоту защищали Б. А. Келлер и Н. А. Димо. Многочисленны были письма-отклики, получавшиеся Иваном Ивановичем от ботаников — В. Н. Сукачева, Д. Е. Янишевского, Н. А. Димо и других. «Не могу не отметить глубокую справедливость Ваших замечаний на 12 странице критики работы Алехина» — писал В. Н. Сукачев; «Ответ Алехину выше всяких похвал» — писал Н. А. Димо. Были у Алехина и защитники, но их голос тонул в общем хоре осуждений.

Отец очень переживал перипетии развернувшейся дискуссии. Дело в том, что В. В. Алехин выступал в печати против взглядов Спрыгина в весьма резком тоне, позволяя личные выпады против оппонента. Кроме того, он не учитывал, что в Москве (Алехин был тогда доцентом Московского университета) у Спрыгина было уже много знакомых и друзей среди научных работников. Со свойственным ему барским снобизмом Алехин в разговорах позволял себе фразы вроде «какой-то учителишка из Пензы позволяет себе возражать мне». Это передавалось Спрыгину и подливало масла в огонь его переживаний.

До сих пор перед моими глазами мелькает его фигура, быстро шагающая, вернее бегающая, в кабинете из угла в угол, с неизменной папиросой в руке. Вся семья переживала вместе с отцом. Он же со свойственным ему всепрощением, в дальнейшие годы остыл. Познакомившись, уже в советское время (другое время!), ботаники мирно беседовали, и отец даже был приглашён к Алехину на дом для просмотра его коллекции марок (оба были филателистами).

Я кратко описала научную работу отца описываемого десятилетия 1909–1920 годов — она, как всегда, занимала центральное место в жизни моих родителей и всей нашей семьи. Но такое же большое место занимала в это время и общественная работа моих родителей.

Яркий темперамент отца, его огромная энергия позволяли ему в это десятилетие (конец четвертого и пятое десятилетия его жизни) посвящать много сил и времени и общественной работе. за это время широко развернулась деятельность Пензенского общества любителей естествознания (ПОЛЕ), председателем которого с 1911 года был избран И. И. Спрыгин. Он был председателем Общества в течение двух десятилетий, до 1929 года, а в 1915 году избран его почётным членом.

В это время ПОЛЕ заняло место среди наиболее активных научных обществ России. 2/15 февраля 1911 года произошло открытие в Пензе Естественно-исторического музея, созданного пензенским обществом любителей естествознания. Были изданы (с 1913 по 1917 год) 4 выпуска «Трудов» Общества, в которых печатались работы членов ПОЛЕ. В 1917 году (15 июня) в Пензе был открыт Зоолого-ботанический сад.

Энергичную работу в эти годы Общество проводило по охране природы. Уже в 1912 году в устав Общества был внесен параграф о необходимости охраны природы, её памятников. И. И. Спрыгин в течение первых 20 лет своей работы по исследованию растительности Пензенской губернии составлял список природных объектов, которые, по его мнению, следовало охранять. В это дело включились и другие члены ПОЛЕ. В результате к 1917–1918 годам список содержал 74 объекта, подлежащих заповеданию. В него входили участки степи как крупные (у д. Поперечной, у д. Крутец), так и небольшие, участки леса, болота, отдельные деревья, особо ценные для науки геологические обнажения и зоологические объекты. Общество возбуждало вопрос о заповедании наиболее важных природных объектов Пензенского края перед Русским географическим обществом и перед Земской управой, но эти просьбы не были удовлетворены. Единственный реальный путь для заповедания природных объектов было в то время приобретение участка за деньги. В 1915 году Общество пыталось приобрести целинную степь у д. Елшанки, но денег не хватило, и покупка

не была совершена. Планы И. И. Спрыгина о развитии в Пензенском крае сети заповеданных природных объектов получили осуществление только после Октябрьской революции. Зато к моменту начала природоохранительной деятельности Советской власти Пензенское общество любителей естествознания пришло с готовым материалом, и одним из самых первых заповедников, учреждённых в советское время на территории всего нашего государства, был пензенский заповедник «Попереченская степь» (1919 год), а вслед за ним были организованы лесостепной Арбековский, засурский «Сосновый бор» и другие.

Долгая борьба шла за организацию в Пензе Ботанического сада. Основание его было задумано Иваном Ивановичем ещё в начале описываемого десятилетия. Территория, подходящая для устройства на ней Ботанического сада, представляла участок размером около 4 га; это была опушечная часть леса так называемой Засеки, примыкавшей с запада к городу. Чудесный лес пензенской Засеки — любимое место прогулок жителей города — состоял в то время преимущественно из дубовых насаждений, а в этой опушечной части сменялся чернолесьем из липы, клена, березы. Участок представлял окраинную часть водораздельного плато; в него же включался крутой склон, спускавшийся от плато к нижней части города, к улице Поповке (теперь улица Ключевского).

За передачу участка Обществу любителей естествознания пришлось долго бороться. Этот участок был в ведении Городской думы Пензы. И. И. Спрыгин обратился в думу с ходатайством о передаче территории Обществу ещё в конце 1915 года, но окончательно вопрос был разрешен только весною 1917 года, когда было получено решение по этому вопросу Министерства внутренних дел.

Ценою больших усилий И. И. Спрыгин добился осуществления своей задачи — организации в Пензе Ботанического сада. [27] Но в его личной биографии это событие оставило тяжёлый след. Группа влиятельных лиц Думы, от которых зависело решение вопроса об участке для Ботанического сада, оказало на И. И. Спрыгина сильнейший нажим в плане его участия в жизни политической партии (кадеты), к которой они принадлежали. Это было очень желательно для них ввиду огромной популярности И. И. Спрыгина среди населения Пензы, т. к. имя Спрыгина могло привлечь значительное число голосов при предстоящих выборах в Учредительное собрание. Так оно и было. Но И. И. Спрыгин пробыл в рядах той партии только два месяца, чувствуя себя чуждым остальным членам её как идейно, так и в собственно классовом отношении. Он подал заявление, в котором писал о своем уходе из членов партии, и выбыл из её рядов.

Я помню официальный торжественный завтрак, который Общество дало членам Думы: в связи с открытием Сада. Это было в начале лета 1917 года. В верхней части 4-й аллеи, недалеко от входа в Ботанический сад были накрыты белыми скатертями длинные столы. Произносились речи. Состав гостей был иной, сильно отличался от устроителей завтрака, членов Общества. Персонально мне запомнился, очевидно, наиболее активный из гостей, юрист Кузовков, типичный представитель буржуазной части пензенской интеллигенции.

Перед открытием Сада предстояла большая работа по очистке территории Сада и помещения — здания Летнего клуба, которые были сильно захламлены в военные годы, т. к. в этом здании жило случайное пришлое население, беженцы. У Общества не было средств для найма рабочих по уборке территории, и всю эту огромную, тяжёлую и очень грязную работу проделали сами члены Общества, его актив. Была организована при Обществе Садовая комиссия, которая руководила всеми работами по устройству Сада. Руками её членов был убран весь мусор из здания и с территории, спланированы и расчищены дорожки в Саду, сделаны необходимые первые посадки кустарников, деревьев, различных растении. В Пензе тогда собралось несколько ботаников, которые, как члены Садовой комиссии, и руководили работами. Это были жившие в то время в Пензе М. Г. Попов, Е. П. Коровин, М. В. Культиасов, Е. К. Штукенберг, А. И. Введенский. Устройством зоологической части Сада руководили А. Н. Магницкий, С. П. Коровин, Н. Г. Заикин, позднее к ним присоединился Г. П. Булгаков.

К этому активу Садовой комиссии присоединилось большое количество членов Общества самых разнообразных профессий. Это было необыкновенное, чрезвычайное впечатляющее явление — взрыв общественного энтузиазма, единение самых различных людей в общем порыве, стремлении создать в своем городе новое просветительное учреждение.

Члены Общества — педагоги, врачи, чиновники, художники — в свободное от служебных занятий время работали на территории Сада с мотыгами, граблями и лопатами в руках. Помню, как при мне моя мама обратилась к художнику, академику живописи Н. Ф. Петрову (директору Художественного училища), который с лопатой в руках копал яму для посадки дерева: «Николай Филиппович, пожалейте Ваши руки, бросьте эту тяжелую работу!» Николай Филиппович отвечал: «Нет, это мой долг — принять участие, как члена Общества, в устройстве Сада». Как художника Н. Ф. Петрова привлекли к работе по планировке Сада, созданию декоративной части его и т. п.

Всего лишь за полтора месяца была проделана вся работа по превращению захламленной площади переданного Обществу участка в образцовую территорию Зоолого-ботанического сада. Были проведены дорожки, устроены скамейки, у деревьев, кустарников и возле травянистых растений были привешены металлические таблички с указанными на них названиями на русском и латинском языках. Когда, уже в июне 1917 года, Сад был открыт для посетителей, для поддержания порядка в нем были установлены дежурства членов Общества и подростков-учащихся. Сад был разбит на пять участков (по нумерации аллей), на каждом из которых расхаживал юный дежурный, полный сознания своей ответственности за возложенное на него важное дело. Вспоминаю, с каким воодушевлением я собиралась, а потом выполняла эти обязанности дежурного по Саду. Что-то было здесь и от детской игры (мне было 11 лет), но было и сознание серьезности возложенного поручения. Руководил молодежью дежурный член ПОЛЕ.

Интересно, что в то время в Саду почти не было больших нарушений порядка — такое уважение вызывало у населения Пензы новое культурное учреждение города.

Учащиеся школ (главным образом 1-й мужской гимназии, где преподавал. И. И. Спрыгин) занимались не только дежурствами. Они работали в террариумах

и аквариумах, ухаживали за животными в вольерах, помогали в устройстве питомников. Теперь их назвали бы юннатами.

Пензенский Зоолого-ботанический сад в первые годы после его основания был очень живописен, благоустроен и полон разнообразных экспонатов — представителей как растительного, так и животного мира. Растительность в основном сохраняла свой почти первозданный вид части пензенской Засеки. В верхней части Сада аллеи были обсажены декоративными кустарниками, местными и экзотами. Сейчас же за входом в Сад открывалась широкая аллея (аллея № 1) — центральная (хотя и эксцентрически расположенная) часть его. Недалеко от входа росла огромная раскидистая береза, обнесенная вокруг ствола круглой скамейкой, Это было излюбленное место отдыха сотрудников ПОЛЕ и Сада вечером, после трудового дня. С левой (от входа) стороны аллеи были расположены вольеры с птицами. Среди, них особенно выделялись молодой черный гриф, привезенный братьями Коровиными из их путешествия в Копет-Даг, и их же подарок Саду — туркестанские голуби. Гриф был ужасно некрасивый, с полуголой шеей. Тем не менее, сотрудники и посетители Сада очень любили эту птицу. Гриф часто жалобно кричал «пиу-пиу». Так его и звали — «Пиу-пиу». Он был страшно прожорлив и съедал огромные куски сырого мяса.

По правую сторону широкой аллеи № 1 стоял большой павильон, и такой же стоял за вольерами с птицами, слева от аллеи, ниже по склону — вход в него был уже с 4-й аллеи Сада. В этих павильонах размещались аквариумы и террариумы. В них был представлен большой и разнообразный состав представителей рыб, земноводных и рептилий. Сюда были перенесены на лето из музея собранные там за последние годы живые экспонаты, в том числе крокодил (второй крокодил к этому времени умер), аксолотли и другие. Много живых экспонатов привезли из своих поездок сотрудники туркестанских экспедиции.

В дальнем от входа в Сад конце аллеи № 1 отходила от него аллея № 3. В начале её стояли большие вольеры, в которых жили косуля, привезённая кем-то из пензенцев с западного фронта, семейство лис и большой зверь — помесь шакала с волком. Как он попал в Пензу? Вероятно, также был привезён братьями Коровиными из Туркестана. Дальше по этой левой стороне аллеи № 3 чернолесье прерывалось небольшой площадкой, где росли три очень высокие и очень красивые сосны. Под ними был устроен столик и скамейка. Мы, Спрыгины, привыкшие за несколько лет жизни в Кичкилейке к сосновому лесу, очень любили этот уголок Сада.

Ещё дальше по левую сторону 3-й аллеи, уже в конце её, была расположена чудесная березовая роща, небольшая, но такая светлая, радостная для глаз. Здесь уже начинался склон к улице Поповке (теперь ул. Ключевского). Посреди неё стояла большая беседка, выкрашенная в красный и белый цвет.

Вдоль начала 1-й аллеи, слева от нее, шла аллея № 4, а ещё ниже по склону — аллея № 5. Эта 5-я аллея шла уже по бровке крутого и длинного склона к улице Поповке. Аллеи № 3 и № 5 на своих дальних концах смыкались. Справа от входа в Сад и от начала 1-й аллеи был расположен питомник Сада, а несколько позже в нём была построена первая оранжерея Пензенского ботанического сада.

Научно-просветительная сторона деятельности Сада в первый же и последующий годы выразилась в устройстве целого ряда показательных объектов. Главной задачей устроителей Сада было ознакомление с местной растительностью. Но по мере возможности были произведены и посадки растений-экзотов, а в зоологической части Сада, как говорилось выше, были представлены также и иноземные представители животного царства. На территории Сада были выделены и оборудованы характерные для растительности Пензенского края показательные участки, а также «альпийская горка» и другие. На склоне от основного, плакорного участка территории к нижней части города были высажены свыше 2 тыс. саженцев сосны одно- и двухлетнего возраста. Здесь же сделаны посадки саженцев ели и выделен показательный участок луговой растительности. В самой нижней части склона был выкопан небольшой пруд для разведения в нём водной флоры и соответствующих представителей животного мира.

Около двух лет продолжалась эта очень активная жизнь Пензенского Зоолого-ботанического сада. Она продолжалась и дальше, но сказалось неизбежное влияние условий жизни во время гражданской войны. В конце описываемого десятилетия пришлось почти нацело ликвидировать животных Сада — их нечем было кормить. Привлекавший внимание посетителей шакал был застрелен во время чехословацкого восстания в Пензе.

Музей в последние годы десятилетия, при Советской власти, получил большие возможности своего развития. Прежде всего, музей получил новое здание — прежнее, на углу Троицкой улицы (теперь ул. Калинина) и Лебедева взвоза, стало очень тесным. Новое здание (старое помещение осталось за музеем и в нём по-прежнему была основная выставочная часть) представляло небольшой двухэтажный дом, стоявший между началом Московском улицы и Лермонтовским сквером. Оно давно уже снесено. Стояло оно недалеко от теперешнего здания кинотеатра «Родина», ближе к проезжей части улицы.

О популярности в Пензе деятельности Пензенского общества любителей естествознания, о том уважении и интересе, которыми эта деятельность пользовалась у населения Пензы, ярко свидетельствует отношение к ней детей, учащихся.

Выше я говорила о том, как привлекла учащихся средней школы работа в пензенском Ботаническом саду. А была ещё одна форма увлечённости деятельностью ПОЛЕ. Это была игра в музей и другие создания Общества. Так, в семье Урановых, где было много учащейся молодежи (свыше 10 человек, среди которых были ученики и ученицы по гимназиям И. И. Спрыгина), увлечённо «играли в музеи». Между ними были распределены «должности»: роль председателя Общества И. И. Спрыгина исполнял гимназист Алексей Уранов, а роль товарища председателя Е. К. Штукенберга — его сестра Елизавета (впоследствии Вознесенская).

Я написала вкратце о деятельности Пензенского общества любителей естествознания. Больше фактического материала я привела в книге «Иван Иванович Спрыгин». Теперь я хочу побольше сказать о членах Общества, его активе, той части пензенской интеллигенции, которая и заслуживала это название — «интеллигенция».

Среди пензенской так называемой интеллигенции тех лет я различаю три отдельные группы. Группа буржуазной интеллигенции — люди, вышедшие из разных слоев населения, иногда и из «низов», но добившиеся для себя места среди пензенской буржуазии путем служебного положения или материального достатка, что имело в то время почти определяющее значение. Это были, главным образом, врачи и юристы — те из представителей этих профессии, которые получили большую практику среди буржуазии и, находясь фактически на службе у нее, стали представлять вместе с нею одно целое. Вторая группа — мещанская интеллигенция. Это были преимущественно дети пензенского духовенства. Получив высшее образование и профессии преподавателей, врачей, юристов и другие, они как бы вошли в среду интеллигенции города. Но это имело чисто формальный характер. Это была образованная, но не прогрессивная часть ее. До революции и после неё (во всяком случае, первые годы, десятилетия) они оставались слугами и идеологами старого порядка, лишь по необходимости впоследствии вживаясь в новый строй и принимая внешне новые жизненные установки. Я соприкасалась с этими людьми в свои школьные годы (Опытно-показательная школа при Пензенском институте народного образования, 1-я средняя школа имени В. Г. Белинского, Музыкальная школа Пензы), т. е. в начале 1920-х годов. У меня остались самые тяжёлые впечатления от целого ряда педагогов, входивших в эту часть пензенской интеллигенции. Озлобленность против всего нового, что принесла с собой революция, озлобленность против тех, кто с первых лет и месяцев стал энергично и искренно работать с новой властью.

Особую группу общества Пензы того времени составляло дворянство, аристократия. Ведь Пенза до революции была настоящим «дворянским гнездом», Дворянство Пензы было многочисленно, как и дворянские имения-поместья в губернии. Представители же дворянства были разные. Одни из них были привержены старым сословным традициям. Таковы были и их настроения. Об этом говорит тот факт, что, когда к вечеру дня чехословацкого восстания в Пензе его участники (чехи) проходили по улицам города, дамы с весьма громкими в России фамилиями выходили на крыльцо своего дома с подносом в руках и угощали «гостей» папиросами, вином, шоколадом. Помню, с каким возмущением рассказывала об этом мама за нашим чайным столом. Другие же, в большинстве получив высшее образование и работая в той или иной области, сблизились с прогрессивной частью общества, участвовали в работе Пензенского общества любителей естествознания и других общественных учреждений. Особенно вспоминаю сестер Потуловых, впоследствии преподавательниц Музыкальной школы. Одна их них, Вера Петровна Потулова (позднее Снежницкая), пианистка, мой преподаватель в Музыкальной школе, осталась в моей памяти как одна из лучших людей, встреченных мною в жизни, по своей настоящей интеллигентности, подлинной воспитанности и высоким нравственным качествам.

Ведущее ядро Пензенского общества любителей естествознания составляли люди, принадлежавшие к третьей, прогрессивной части интеллигенции того времени. Воодушевленные идеями просветительства — поднятия культурного уровня населения и создания и развития в Пензе культурно-просветительных учреждении, они увлечённо и энергично отдавали свои силы, время, а также, по мере возможности, и материальные средства на создание этих учреждений.

В описываемое десятилетие, с 1911 года, председателем Общества любителей естествознания стал И. И. Спрыгин (в 1915 году он был избран почётным членом Общества). Его заместителем, товарищем председателя была избрана Елизавета Карловна Штукенберг. Об этой незаурядной женщине (незаурядной, в особенности на фоне «дам» предреволюционной Пензы) хочется сказать побольше. Очень молодой девушкой она вышла замуж за человека значительно старше себя. Замужество не было для Елизаветы Карловны счастливым. Семейная жизнь не удовлетворяла, детей не было. В сложившейся в её жизни ситуации большинство женщин того времени нашли бы выход в обычном тогда обилии всякого рода развлечений, в любовной связи или связях, но Елизавета Карловна, молодая, красивая и обеспеченная материально женщина, увлеклась наукой — ботаникой. Сначала, живя с мужем, горным инженером А. А. Штукенбергом в Туркестане, она стала заниматься изучением местной растительности. С 1910 года, после переезда в Пензу, Елизавета Карловна стала членом ПОЛЕ, проявила себя очень энергичным деятелем его и уже в 1911 году была избрана товарищем председателя. С этого времени она принимает участие во всех начинаниях Общества, а после Октябрьской революции, когда Естественноисторический музей Общества стал государственным учреждением в системе Наркомпроса, была избрана Советом Общества заведующей музеем и состояла в этой должности до 1930 года. В эти годы музей широко развернул свою деятельность, в чём была большая заслуга Елизаветы Карловны.

До революции Е. К. Штукенберг не ограничивалась только деятельностью в ПОЛЕ. Она принимала участие в «Дне белой ромашки» — дне сбора пожертвований для борьбы с туберкулезом, во время 1-й мировой войны работала в госпитале сестрой милосердия (сохранилась её фотография в костюме сестры), принимала участие в комитете по работе с беженцами.

Научная работа Елизаветы Карловны в дальнейшем сосредоточилась главным образом на изучении лишайников. её печатные работы посвящены преимущественно им. Вспоминаю (мои детские воспоминания о нашей жизни в 1913 году в Кичкилейке, где мы жили на одной даче) как упорно работала Елизавета Карловна над способами гербаризации грибов и, в конце концов, добилась прекрасных результатов, делая изящные срезы с самых мясистых шляпок грибов.

Кроме изучения споровых растений Е. К. Штукенберг была достаточно эрудированна и в других разделах ботаники. Эти её знания нашли применение в её работе в Жигулёвской экспедиции И. И. Спрыгина 1926 года на Самарской Луке, в экспедиции, под руководством его же, по обследованию совхозов Средневолжского края, в экспедициях в Казахстане, Башкирии, в Ленинградской области.

В результате чистки работников советских учреждений 1929–1930 годов — чистки, в условиях Пензы принявшей извращенный, явно вредительский характер, когда увольнялись опытные, преданные

своему делу квалифицированные работники и заменялись невежественными, нечестными и равнодушными людьми, Елизавета Карловна была также устранена от работы в Музее с весьма резкой отрицательной характеристикой её. После этого она работала в экспедициях по обследованию растительности ряда районов Союза, а потом состояла научным сотрудником Ботанического института АН СССР.

Все годы жизни в Пензе Е. К. Штукенберг была тесно связана с нашей семьёй. По работе в Обществе, музее и экспедициях она была связана с моим отцом, оказавшим большое влияние на становление Елизаветы Карловны как ботаника. С Нонной Ивановной её соединяли общие интеллектуальные, интересы, общая просветительская, общественная работа. К нам детям — ко мне и моей сестре — она относилась всегда с исключительным вниманием и заботой. Её больным местом всегда оставалась её бездетность.

Антон Антонович Штукенберг, горный инженер по специальности, был младшим братом известного крупного геолога Александра Антоновича Штукенберга. До переезда в Пензу в 1909 году Антон Антонович работал преимущественно на изысканиях, связанных с водоснабжением железных дорог. В 1909 году он был вынужден (неприятности на службе личного характера) переехать в Пензу на должность инженера-гидротехника при Управлении земледелия и государственных имуществ. Это был большой шаг назад в его служебной карьере. Антон Антонович был весьма квалифицированный специалист и энергичный человек. Он немало сделал для изучения геологии (полезных ископаемых, условии водоснабжения) Пензенского края. Несколько небольших печатных работ явились результатом его исследований. Много энергии А. А. Штукенберг проявил в общественной работе — в создании геологического отдела пензенского Естественноисторического музея, собирании коллекций, монтировке скелетов мамонта, шерстистого носорога и других ископаемых.

А. А. Штукенберг заслуживает уважения как специалист, но человек он был неинтересный, не вызывавший к себе симпатии. По наружности — типичный остзейский немец с большими и выпуклыми голубыми глазами, в молодости, может, быть даже красивый, но эта наружность как-то терялась вследствие неприятных черт его характера — холодности, резкости, чувствовался эгоцентризм его, только «я», полное безразличие к окружающим.

О Флориане Феликсовиче Федоровиче я могу сказать очень мало. На фотографии он запечатлен вместе с двумя другими основателями ПОЛЕ. Действительно он много сделал для оформления Общества — узаконения его в официальных сферах. Он был видным чиновником в Пензе и в то же время был большим любителем и исследователем природы, у него были печатные труды о природе, главным образом, о лесах Пензенского края. Служебное положение Федоровича, официально ставшего во главе Общества — его председателем, послужило поручительством перед властями Пензы того времени о благонадежности Общества. Молодые учителя города, Спрыгин и Магницкий, в особенности находившийся под полицейским надзором Спрыгин, не имели в этом отношении никакого веса. Но Федорович был из другого круга пензенской интеллигенции, общение с ним других членов Общества было только официальным. Я видела Ф. Ф. Федоровича лишь один раз, ещё в раннем детстве; у меня сохранилось впечатление о высоком и, пожалуй, величественном старике. Вскоре он уехал из Пензы. Насколько я представляю, ПОЛЕ обязано ему именно своим официальным становлением, но, вероятно, им были переданы в Музей собранные им коллекции.

Александр Николаевич Магницкий и в этом десятилетии оставался ближайшим соратником отца в его общественной просветительской деятельности — по Музею, главным образом, меньше по Зоолого-ботаническому саду и природоохранному делу. Только в конце жизни они стали менее близки, разошлись без каких-либо объяснений, будучи несогласны по некоторым общим вопросам жизни. Прекрасный преподаватель, страстный любитель природы и исследователь её, преимущественно животного мира Пензенского края, правда, исследователь несколько любительского плана, он внёс много энергии в создание как Общества любителей естествознания, так и Музея, в частности.

Но во всём, что не относилось к его работе, служебной и общественной, он был совсем другим человеком, Я видела Александра Николаевича в детстве и позже, в молодости, бесчисленное множество раз и не помню, ни разу не видела на его лице улыбки. Всегда одно и то же выражение лица, энергичный, но лишенный всяких эмоций голос.

Из других членов ПОЛЕ прежде всего вспоминается Григорий Сергеевич Калантаров. Он включился в работу Общества только в описываемом десятилетии, но занял в нём своё, очень яркое по значимости место. Григории Сергеевич был санитарным врачом Пензы. Он окончил в Петербурге Военно-медицинскую академию, был учеником И. П. Павлова (сохранилась фотография — И. П. Павлов среди своих учеников, в числе которых Г. С. Калантаров). Яркая страница его жизни — участие в Русско-японской войне. Он был в плену у японцев, а потом совершил большое путешествие, возвращаясь в Россию морским путем. Из Японии он вывез интересные предметы быта японцев, которые потом демонстрировал на своих лекциях в Пензе.

Небольшого роста и полный (больное сердце), кавказец с резкими чертами лица, но блондин с голубыми глазами (он производил впечатление почти альбиноса) — был смешанной крови, с быстрой, очень живой речью, часто смеющийся — воплощение энергии, оптимизма.

Г. С. Калантаров проявил себя в Пензе как энергичный общественный деятель. Он принял самое горячее участие в деятельности Пензенского общества любителей естествознания. Помимо своей основной деятельности в Пензе как санитарного врача, он много сделал для города своими публичными лекциями и организованной им выставкой «Человек». Это была большая выставка, открытая летом 1918 года в пустующем здании бывшего Летнего клуба при Зоолого-ботаническом саде. На выставке было показано развитие человека — от эмбриона до взрослого человека, его анатомическое строение. Показывались современные расы — белая, желтая и черная, как они тогда назывались; кажется, тут же на выставке демонстрировались и костюмы японцев.

Во время войны, с 1914 года Григорий Сергеевич работал врачом в одном из госпиталей где-то недалеко от нашего дома. Он был в очень хороших, друже-

ских отношениях с моими родителями и нередко забегал из госпиталя к нам, чтобы выпить стакан чая в домашней обстановке и «отвести душу» в дружеском разговоре. Недолго прожил Г. С. Калантаров. Он умер в 1919 или 1920 году во время свирепствовавшем тогда в Пензе (и не только в Пензе) эпидемии сыпного тифа.

В жизни Общества в 1910-е годы стала принимать большое участие Александра Ивановна Цилли (впоследствии Ступина), сестра Н. И. Спрыгиной. Она была преподавательницей естествознания в 1-й женской гимназии Пензы. Прекрасный преподаватель, умевшая, ведя урок в виде лёгкой увлекательной беседы, привлечь внимание и завоевать любовь учениц, она и в Обществе проявила себя как энергичный член его и была избрана даже в Совет Общества. Она основала (вместе с педагогом Н. В. Балдиной) и возглавила Учебный отдел Естественноисторического музея. Её обаяние преподавателя дало ей возможность собрать вокруг себя группу учениц, помощниц её в работе по Музею. Одним из дел — свершений Учебного отдела — было производство учебных пособий для школ Пензы. Эти пособия выдавались для пользования в школы. Гимназистки старших классов, сгруппировавшиеся вокруг Александры Ивановны, кроме помощи в производстве учебных пособий, создавали вокруг себя атмосферу весёлости и даже озорства. Они сочинили весёлую и остроумную стихотворную поэму (что-то в этом роде) о жизни музея того времени. К сожалению, эта «поэма» не сохранилась.

Кроме основных деятелей ПОЛЕ было много других его членов, вносивших свою долю в его работу. Очень характерно для того времени, что люди, казалось бы, далекие от науки, от естествознания, стремились к Обществу, как к очагу культуры тогдашней Пензы, видя в этом выход в обстановке не удовлетворявшей их жизни и работы — чиновники, бухгалтеры, врачи и учителя. Вот яркий пример. Вспоминаю А. А. Диалектова. Кажется, он служил в банке, был маленьким «клерком». Это был настоящий «маленький человек», как он живописуется в нашей русской литературе. Очень небольшого роста, тщедушный, он подчёркивал неказистость своей внешности тщательным уходом за своей наружностью (думал скрасить свою некрасивость, а выходило наоборот) — редкие волосы его были обильно напомажены, был щеголевато одет и носил яркие галстуки. Но в душе этого «маленького человека» со смешной внешностью (мы, девчонки, подсмеивались над им) были какие-то искорки потребности лучшей жизни. И вот он «прилепился» к ПОЛЕ, вёл бухгалтерские дела Общества.

Сергей Петрович Коровин, старший брат ботаника Е. П. Коровина, и сын художника П. И. Коровина, учитель рисования в 1-й мужской гимназии, был страстным охотником и любителем природы. Он также вошёл в работу Общества, был казначеем его.

Доктор А. Л. Канкров следил за здоровьем обитателей аквариума и террариума. Об этом напоминает строчки из шуточного стихотворного описания текущей жизни музея того времени, сделанного ученицами А. И. Цилли. Загрустил, а потом и заболел один из двух нильских крокодилов, живших в Музее. В чем дело?

Вспомнил Африку и Нил
В Пензе бедный крокодил.
«Нервы» — думает Канкров.
Право, в них он знает толк.

С начала 1910-х годов стала изменяться бытовая сторона жизни Н. И. и И. И. Спрыгиных. Экспедиционная работа Ивана Ивановича в Пензенской и Черниговской губерниях, а потом в Туркестане принесла дополнительный заработок, который значительно увеличил возможность удовлетворения культурных и бытовых потребностей семьи.

Первый год десятилетия семья Спрыгиных сначала продолжала жить во флигеле дома № 18 на Покровской улице (теперь улица Калинина). Летом 1911 года был куплен дом. Куплен в рассрочку — на ссуду Общества взаимного кредита с платежами, рассчитанными на длительный срок. Причиной, побудившей предпринять это сложное и трудоемкое дело — оборудование большого помещения с хозяйственными угодьями, было желание Нонны Ивановны и Ивана Ивановича создать удобные условия жизни и, главное, занятий для Ивана Михайловича, к этому времени ушедшего на пенсию. Было, конечно, и второе желание — создать удобное для семьи и занятий помещение с возможностью хранить в нём библиотеку и гербарий. Скитания по небольшим наёмным квартирам к этому времени достаточно надоели Н. И. и И. И. Спрыгиным.

Выбор был остановлен на доме на Пешей улице, № 48, незадолго перед этим выстроенным пензенским диаконом Артоболевским. В. А. Артоболевский в свободное от своих основных занятий время занимался строительством, а потом продажей небольших домов.

Дом находился в последнем (от центра), третьем квартале Пешей улицы на левой (также от центра) стороне. Это была, в сущности, небольшая городская усадьба для одной небогатой семьи. Одноэтажный дом состоял из одной квартиры в 6 комнат размером 14–20 м. На улицу выходили 4 окна двух передних комнат, остальные окна — во двор. Дом был деревянный, с большим, деревянным же крыльцом с навесом. Крыльцо, окна и карнизы дома, а также ворота и калитка у крыльца были украшены небольшой резьбой. На противоположной от улицы стороне дома был большой балкон с деревянными столбами и резной решеткой, который поддерживался деревянными же столбами-опорами.

У дома был полуподвальный этаж, который со стороны улицы не был виден, т. к. под двумя передними комнатами его не было, — дом был расположен на пологом склоне к долине Суры. В задней половине дома в этом полуподвале было 5 комнат и большая кухня. В верхнюю квартиру со двора вело крыльцо — обязательный в то время черный ход квартиры.

Небольшой приусадебный участок был хорошо оборудован. По левую сторону двора тянулись хозяйственные постройки — два погреба с отдельными входами у каждого, большой дровяник, коровник и большой сарай-каретник. за двором помещался небольшой сад, в котором ко времени переезда в усадьбу Спрыгиных было около двух десятков яблонь и посадки ягодных кустарников — малины, смородины и крыжовника.

В квартире семья Спрыгиных могла удобно разместиться. В первой от входа с улицы комнате была гостиная с очень скромным и небольшим гарнитуром — диваном и креслами. Украшали эту комнату небольшой шредеровский рояль, купленный по случаю, когда старшая дочь стала брать уроки музыки, хорошие старые гравюры на стенах, приобретённые ещё по совету К. А. Савицкого, издания Goupil и Gam-

barts (»Святая Цецилия», в особенности «Нежное предупреждение») и несколько старинных вещей, в том числе высокая настольная лампа молочного стекла, принадлежавшая ещё Ивану Владимировичу Цилли.

Вторая комната, также выходившая окнами на улицу, была самая большая в доме. В ней был кабинет Ивана Ивановича. Его постепенно обставляли мебелью, которая делалась на заказ. Так было дешевле и больше соответствовало строгому вкусу хозяев. Мебель делалась из дуба по рисункам Нонны Ивановны столяром Иваном Ивановичем Пугановым. Очень простая и строгая по рисунку, она, будучи выполнена хорошим мастером, производила впечатление добротности и солидности. Надо сказать, что нигде в квартире Спрыгиных не было модной в то время, в первые два десятилетия нашего века, мебели стиля «модерн» с её вычурными, причудливыми формами и украшениями, как не было и характерных для эпохи дешёвых по вкусу и дорогих по цене других вещей того же стиля модерн, аляповатых по краскам, нередко со стеклярусом или грубыми аппликациями.

Мебель в кабинете Ивана Ивановича состояла из большого дубового стола — письменного, но без тумбочек, большого застеклённого шкафа и открытых стеллажей для гербария, нескольких книжных шкафов и двух–трех небольших ломберных столов для микроскопа и бинокулярной лупы, для раскладки гербария, книг и т. п. [28] Перед письменным столом стояло старое плетёное кресло с высокой спинкой и вышитой подушкой, принадлежавшее ещё Ивану Владимировичу Цилли. Это кресло Иван Иванович очень любил и находил его удобным для работы. Стулья в кабинете были куплены готовые, пензенской фабрики «Бук», а не сделаны на заказ как другая мебель. В кабинете стоял также большой диван фасона «турецкий», обитый коричневым дерматином. На этом диване отдыхал после обеда Иван Иванович и спали останавливавшиеся у Спрыгиных специалисты — ботаники и почвоведы. На этом диване много лет спустя И. И. Спрыгин умер. Диван при отъезде Спрыгиных в 1944 году из Пензы был помещен Б. П. Сацердотовым в устроенный им в гербарии Пединститута «Уголок И. И. Спрыгина», а после смерти Бориса Петровича был выкинут за ненадобностью.

На окнах кабинета висели тяжёлые тёмно-красного цвета шторы на больших деревянных кольцах и деревянных же палках. Цвет этих штор гармонировал с таким же красным цветом гербарных коробок, стоявших на стеллаже и за стёклами шкафа. Эти красочные пятна оживляли строгое убранство кабинета. На легких дубовых тумбочках — жардиньерках стояли, как и на подоконниках, декоративные комнатные растения (среди них обязательно кактусы). Комнатные растения в кабинете, как и в других комнатах квартиры Спрыгиных, составляли предмет заботы преимущественно хозяйки, а не хозяина дома, т. к. Иван Иванович предпочитал видеть растения в их природной обстановке, а срезанных цветов в вазах просто не любил.

На стене в кабинете висела большая гравюра, очень любимая Иваном Ивановичем, также из серии гравюр, приобретённых по-дешёвке когда-то по рекомендации К. А. Савицкого. Это был «Le roi des forets» («Царь лесов») — большой олень, изображённый на фоне далёких гор, подёрнутых лёгкой дымкой, Художник придал «лицу» этого оленя удивительное, как бы одухотворенное выражение. Эту гравюру в семье Спрыгиных очень любили. Она висела в специально купленной для неё (вероятно в магазине Avanzo в Москве) дубовой раме, очень гармонировавшей с мебелью кабинета. Кроме этой гравюры на стенах кабинета были повешены большие групповые фотографии — деятелей съездов, Совета Пензенского общества любителей естествознания, трех главных основателей Общества. [29] Всегда на стене висели одна–две карты, необходимые для текущей работы.

На письменном столе Ивана Ивановича никогда не было обязательного в то время «буржуазного» письменного прибора. Были только необходимые для работы вещи — старинная стеклянная чернильница, стеклянный же стакан для ручек и карандашей, простое пресс-папье, набор небольших луп. Всегда стоял небольшой («визитного» размера) портрет — фотография молодой Нонны Ивановны под стеклом, зажатым лапками простой проволочной рамки (уже много лет эта фотография стоит на моем письменном столе в Москве). На столе стояла также фотография — групповой портрет детей и отца — Ивана Михайловича, а позже, уже в советское время, — фотография А. Я. Гордягина с его дарственной надписью.

Это описание кабинета относится уже к его окончательному виду, сложившемуся, примерно, к 1913 – 1914 годам. Мебель с 1911 года пополнялась постепенно, т. к. средств на неё всё же было мало, хотя, как я уже говорила, материальный достаток семьи, благодаря земским исследованиям и экспедициям Министерства земледелия, значительно увеличился (как говорила сестра Нонны Ивановны А. И. Цилли, у которой был недобрый, язвительный язык, — «Травка-то — кормит!»).

Из кабинета дверь вела в столовую с очень простым убранством, недорогими вещами, купленными ещё ранее, до переезда в дом на Пешей улице. Стоял большой обеденный стол с простыми гнутыми стульями вокруг него, большой буфет, маленький столик для самовара — и всё. В обычное время стол был покрыт клеёнкой, так считалось лучше, гигиеничней. Только в праздники, да при гостях стол покрывали белой скатертью или, в менее парадных случаях, преимущественно по семейным праздникам, скатертью из «лебедевской» ткани. [30] Вообще в квартире Спрыгиных всё было подчинено, кроме вкуса хозяйки и хозяина, требованиям гигиены. Не было тяжёлых портьер на дверях — скопища пыли, не было ковров, кроме небольшого ковра на полу гостиной, мало было мягкой мебели, а та мебель, которая была, покрывалась чехлами из льняного полотна.

Три комнаты в задней половине дома были распределены следующим образом. В соседней с столовой комнате, в которую вела дверь из коридора (куда выходила и дверь из столовой), жили Анна Ивановна и Иван Михайлович. Мебель в их комнате была приобретена ими ещё при их жизни до переезда к сыну. Стояли две железные кровати, шкаф, представлявший, собственно, комод в нижней части с выдвижными ящиками, а в верхней части застеклённый. У окна стоял небольшой стол, покрытый вязаной скатертью, у стены — большой сундук. На стене висели в рамках фотографии, дорогие для Анны Ивановны — групповой портрет служащих Земской больницы, среди которых был её отец, Иван Антонович Капралов, и дру-

гие, В угловой комнате налево помещалась спальная комната Н. И. и И.И. Спрыгиных. Для неё были куплены две кровати с металлическими сетками, модные в то время, варшавского производства. Они были покрыты белыми вязаными одеялами (производства искусной вязальщицы Анны Ивановны). Эти одеяла составлялись из длинных полос, сшитых между собой. Такие одеяла домашнего производства были очень распространены в русских семьях в 19-м веке. Стоял здесь невысокий комод — туалет с зеркалом на нём и туалетными принадлежностями и обязательный в быту того времени деревянный, окованный железными полосами сундук.

В этой комнате стоял и письменный стол Нонны Ивановны с подобранным ею письменным прибором, состоявшим частью из изящных вещей каслинского литья, частью из подобранных к ним в цвет (чёрных же) вещей — стеклянной чернильницы с выделанными на крышке дубовыми листьями, пресс-папье из чёрного камня и изящного камня-пресса в виде плоского черного камня-пластины с цветной инкрустацией — виньеткой цветов. Около письменного стола стоял книжный шкаф с художественной литературой и книгами по искусству.

Из этой комнаты дверь вела в детскую, правую угловую комнату с выходом на балкон. В детской были простые железные кровати, старые — ещё из 19-го века. Два небольших письменных стола и этажерки около них с учебниками. Книжный шкаф заключал большую прекрасно подобранную детскую библиотеку. Для неё характерно, прежде всего, то, чего в ней не было — не было книг Чарской, популярнейшей, «массовой» тогда детской писательницы. Ею зачитывались наши подруги, одноклассницы. Мама же не только не покупала нам её книг, но и сумела внушить своим детям отсутствие интереса к ней, Действительно, как-то я попробовала перелистать у подруги одну из книг Чарской — какой же бесцветной, неинтересной она мне показалась после книг нашей библиотеки. Из самых любимых книг нашей детской библиотеки вспоминаю книги Сеттон-Томпсона и де Лонга, «С севера на юг» Каразина, сказки Андерсена, братьев Гримм, Гауфа. Библиотечка была подобрана прекрасно, и с ней-то мне пришлось расстаться. Мне было всего 12 лет, книги эти ещё были моей жизнью, но шел 1919 год, очень голодное время в Пензе, первое, что можно было продать тогда — эти детские книги, которые купила библиотека. Все полученные деньги пошли на картошку и постное масло. Я горько переживала утрату своих детских книг, но протестовать не могла.

Я описала выше обстановку нашей квартиры на Пешей улице во втором десятилетии 20-го века. Когда в 1956 (?) году я побывала в квартире Ульяновых — в Ульяновске, меня поразило сходство обстановки этой квартиры с нашей пензенской квартирой. Если не считать мебели и всего убранства папиного кабинета (там обстановка была богаче, более стильная и современная) было большое сходство в интерьерах этих двух квартир. Неудивительно: почти одно время, та же учительская среда, примерно одинаковый достаток. Те же железные кровати со скромным убранством, покрытый клеенкой стол, окружённый светлыми стульями с гнутыми спинками, висящая над столом на металлических цепях керосиновая лампа.

Сад при доме был небольшой, уютный. В глубине его стояла беседка, где любили играть мы, дети, и иногда собирались вечером взрослые. Яблони были прекрасные, распространённых тогда в Пензе (и вообще в Поволжье) сортов: чёрное дерево с душистыми и сладкими, небольшими жёлтыми плодами, белорозовые яблоки «белль» с рассыпчатой, несколько суховатой мякотью, анис, райские яблочки. Кроме плодовых кустарников малины, смородины и крыжовника вдоль забора были густо посажены кусты жёлтой акации, было несколько деревцев вишни.

Недостатком усадьбы Спрыгиных было её окружение — рядом помещались большие казармы, и напротив дома также была казарма. Голоса солдат нередко достигали нашего слуха. Мне так хотелось в детстве, чтобы не было рядом этих казарм.

* * *

Каков был быт нашей семьи в это время? Каков он был по сравнению с нашим бытом — 1980-х годов? Был он совсем другой, но какой — труднее или легче нашей современной жизни? Попробую разобраться в этом.

Я живу в небольшой, но хорошей квартире. Уже 18 лет рассталась с коммунальными квартирами (оригинальнейшее изобретение 20-го века в нашей стране, нигде в мире до нас не бытовавшее). До этой квартиры с 1923 по 1970 год, т. е. 43 года я познала всю горечь, весь ужас (не боюсь этого слова) жизни в коммунальных квартирах — их было последовательно четыре у меня, одна другой «лучше». Сейчас — однокомнатная квартира, причём большая светлая кухня так нами оборудована, что является по существу второй жилой комнатой квартиры. Есть ванная комната с большой ванной, раковины в ней и в кухне (правильнее называть её столовой), небольшая, но моя (только моя!) уборная, и при квартире большая (7 м) лоджия. Вокруг дома много зелени и тишина, т. к. нет близко городского транспорта и магазинов. Недалеко от квартиры на лестничной площадке — мусоропровод. Если прибавить к этому ещё телефон, телевизор и два–три радиоприемника, получается, что в старости у меня скромная, но весьма комфортная квартира, в которой удобно жить. Нет магазинов поблизости, но мне, в силу моего преклонного возраста, привозят продукты из магазина, даже двух — овощи и фрукты из одного, остальное — из другого.

И вот часто меня охватывает ужас, глубокое сожаление при мысли о том, в каких условиях жили мои родители в Пензе в старости. Но это было потом, позже, а сейчас представлю те условия, в которых жили Нонна Ивановна и Иван Иванович во второе десятилетие нашего века (и своей совместной жизни), и каковы они были по сравнению с современными, в частности с моими, описанными выше, условиями жизни?

Начну с вывода: в общем, они были не хуже современных, к тому же было одно большое преимущество тогда — жизнь была более спокойной.

Жизнь была более устоявшейся, выработались какие-то нормы, условия как-то компенсировались одно другим (я говорю сейчас именно об условиях быта). Конечно, требования тогда были не так велики, как теперь. Мирились (считали это нормальным) с отсутствием телефона и многих, теперь обязательных удобств. Действительно, город был невелик,

учреждения, учебные заведения находились почти все в одном месте, сравнительно небольшом, в центре города, родственники и добрые знакомые жили близко, на соседних улицах. Вот телефон и не был так необходим, как теперь. Квартира была большая и хорошая — шесть больших комнат на 5–6 человек. Не было водопровода (будка с колонкою у самого дома) и канализации, печное, дровяное отопление.

Быт был устойчив, сложились традиции, и в этом отношении жизнь была более спокойной, чем в наше время. Основное условие быта — прочно устоявшийся институт домашней прислуги. Это был своеобразный симбиоз — более или менее материально обеспеченной, городской семьи и вышедших из деревни, почему-либо лишенных семейной жизни женщин. Даже в нашей семье, очень небогатой по сравнению с другими семьями преподавателей, врачей и т. п., были обычно две домашние работницы — кухарка и няня, позже переходившая в горничные. Старших членов нашей семьи этот «институт» освобождал от чёрной хозяйственной и другой физической работы, позволял больше времени уделять интеллектуальным занятиям, а дети свое время могли посвящать учебе, кроме школы занимались языками, музыкой, рисованием.

Были, конечно, и большие недостатки у этого института домашней прислуги. Это — большая разница, целая пропасть в отношении общей культуры, главным образом, требовательности по части чистоты. Обычно домашние работницы семей такого материального достатка, к которым относилась и наша семья, представляли неграмотных или малограмотных женщин, большей частью недавно приехавших из деревни. Они получали небольшое жалованье (зарплату) — несколько рублей в месяц, полное питание наравне с хозяевами и одежду. Это было для них уже очень много. К тому же много старых (и не очень старых) вещей — одежды, обуви, белья — передавались хозяевами родственникам прислуги в деревню.

В нашей семье работницы жили подолгу. Сначала был более или менее длительный процесс воспитания домашних работниц. Маме это очень удавалось. Она держала себя очень спокойно, ровно, но её правила, требования беспрекословно исполнялись. Я могу сказать, что она никогда не кричала на прислугу, не повышала голоса. Это необыкновенное, по моему мнению, достоинство её характера я особенно оценила позже, живя в Москве, в больших коммунальных квартирах, где хозяйки, сами недавно «из грязи в князи» обращались с домработницами (уже в советское время, в 1920-е и 1930-е годы) совершенно по-хамски, крича и «приказывая». Долго у нас жила моя няня Настя, поступившая к нам, когда мне был год, и с небольшими перерывами во время разрухи в нашем голодном Поволжье в конце 1910-х и начале 1920-х годов прожившая до конца 1930-х годов, уже в Москве, будучи домработницей у моей сестры Маруси, когда у неё была маленькая дочка Таня.

Наш домашний быт был облегчён ещё тем, что с нами жила бабушка Анна Ивановна. Прекрасная хозяйка, замечательный кулинар, хорошо знавшая все тонкости ухода за бельём, она освобождала от многих обязанностей свою невестку, которая благодаря этому имела время для общественных обязанностей, для занятий с детьми, которых она сама готовила в гимназию (мы поступали прямо в первый класс, без двух приготовительных), для чтения, которому она посвящала много времени.

Сейчас, описывая быт нашей семьи, я имею в виду первые 7 лет десятилетия; с 1917 года, в конце первой мировой войны и во время гражданской войны условия резко изменились.

Как делались в описываемые годы покупки провизии («продуктов» — как теперь говорят)? Благодаря сложившимся условиям быта это было не сложно. Два раза в неделю, в базарные дни Пензы, понедельник и пятницу, бабушка с кухаркой Настей отправлялись на базар (слова «рынок» в Пензе я никогда не слышала) в нижнюю часть Пензы. Базарная площадь была тогда большая, она была там, где теперь находится Облисполком; это было далеко от нашего дома, находившегося в конце Пешей улицы, но очевидно было привычно и поэтому нетрудно. Ходили пешком, единственным городским транспортом в то время были извозчики. На базаре покупалось мясо, масло сливочное и топленое (на нём готовились все кушанья, а сливочное подавались к столу только для бутербродов), птицу, ну и кое-что другое. Бакалейные товары покупались в небольших лавках недалеко от нашего дома, например, в лавке Трунова на Ишивой горке. Был ещё и следующий удобный «институт»: по улицам возили на подводах (»возах») некоторые продукты, например, арбузы в конце лета (продавец-возчик шёл рядом с возом, держа вожжи в руках, и кричал «Аа-рбузы, аа-рбузы, аа-рбузы» и хозяйки или домработницы выбегали за ворота). Также продавали картофель и другие овощи и, конечно, угли, которых тогда много требовалось для самоваров — лошадь медленно тянула воз нагруженный углем, рядом шёл возчик с чёрным лицом, на котором сверкали белки глаз, и руками, и кричал «уу-глей, уу-глей, уу-глей». Мерой при таких продажах с воза было ведро. Молоко приносили крестьянки из ближайших деревень (нам обычно из Кривозерьевки). Молоко приносили в глиняных чёрных горшках, которые были завязаны в холщёвые мешки или тряпицы и висели у продавщицы на коромысле. Позже, уже в советское время, молоко стали продавать в «четвертях» — больших стеклянных бутылях.

Яблоки и ягоды покупались обычно где-нибудь поблизости у домохозяев, имевших сад. Кроме того, ещё был институт разносчиц, приносивших товар на дом. Нашу семью немало лет, ещё при жизни на Покровской улице, снабжала фруктами и ягодами «торговка Дуняша», как её звали. Это была уже престарелая, бедная женщина. Рано утром, ещё затемно, она отправлялась на базар и там по дешёвке покупала «с возу» различные фрукты и ягоды. Она несла их на коромысле в небольших деревянных корытцах, покрытых чистой белой тряпочкой. Продавала она свой товар всего на 1–2 копейки дороже, чем платила сама, и на эти скудные доходы существовала. В нашем архиве сохранилась фотография — Дуняша со своими корытцами отвешивает товар бабушке Марии Васильевне Цилли.

Ещё в снабжении нашей семьи продуктами играли немалую роль болгарские огородники. Их большие огороды помещались за улицей Подгорной (там, где теперь так называемая Южная поляна) — они арендовали там землю. Болгары выращивали замечательные овощи, свои особые сорта. Особенно славился их болгарский синий лук, сладкий и крупный, для закусок. Благодаря этим болгарским огородам мы познакомились и со спаржей, которая стоила у них недорого.

Болгарские огороды под Пензой просуществовали до того времени, когда Болгария вступила в первую мировую воину на стороне Германии. Огородники сразу исчезли, куда-то их вывезли, огороды были брошены и чудесные сорта овощей исчезли из обихода пензенцев.

Надо сказать, что кое-что давало и собственное хозяйство. Когда дети были маленькие в усадьбе на Пешей улице завели корову, так что для детей было и парное молоко, и сливочное масло сбивали (в стеклянной небольшой маслобойке) прямо к столу. Сад, в котором было несколько яблонь, давал достаточно яблок. Их даже запасали на зиму. Очень небольшой сад наш давал ягоды и для стола и для варенья — малину, чёрную и красную смородину, крыжовник, вишню. Из крыжовника бабушка Анна Ивановна варила замечательное варенье. Обычно при варке варенья крыжовник темнеет, становится бурым, а у бабушки он оставался изумрудно зеленым. Теперь этот секрет сохранения цвета крыжовника при варке утерян в нашей семье. Помню только, что незрелый, твердый крыжовник чистился от зерен при помощи шпильки соответствующего размера и выносился на ночь в тазу в погреб на лёд.

В нашей усадьбе было два погреба. Один в конце зимы набивался снегом и льдом, которые покрывались соломой. В него выносились мясные и молочные продукты. Второй погреб был сухой. В нём хранились картофель и овощи, стояли ящики с переложенными соломой яблоками, висели подвешенные к потолку кочаны капусты. Морковь сохранялась до следующего сезона свежей в ящиках с песком. Погреба были глубокие. В них спускались по деревянным лесенкам, а творило покрывалось, для сохранения в нём низкой температуры летом, старыми одеялами или матрасом.

Вот какую идиллическую картину жизни нашей семьи я нарисовала. Конечно, всё это овеяно для меня поэзией детства. Очень скромный по тогдашнему времени быт нашей семьи был хорошо организован. Родители были молодые, очень энергичные и трудолюбивые. Бабушка тоже была ещё не старая. Бразды правления домашним хозяйством были в руках мамы. Отца она освобождала почти полностью от хозяйственных забот. Он всё свое время уделял преподаванию, научной и общественной работе. Бабушка Анна Ивановна с любовью и знанием дела занималась хозяйством. Хотя имелась кухарка, наиболее сложные блюда к столу готовила она сама. К большим праздникам, Рождеству и Пасхе, бабушка сама запекала в русской печке большие ветчинные окорока, пекла чудесные, кружевные при срезе куличи, приготовляла различные пасхи. Мы же, дети, под руководством мамы красили яйца. Кроме продававшихся для крашения яиц пестрых бумажек и обязательной красной краски, мама научила нас раскрашивать яйца по рисункам украинских «писанок» акварельными красками, нанося их на яйцо тонкими кисточками.

Мои родители не признавали церковных обрядов, в церковь не ходили, за исключением, иногда пасхальной заутрени — это была красивая, торжественная служба с хоровыми песнопениями. Помню, как серьёзно обсуждался летом 1915 года мамой вопрос, как быть с тем, что для моего поступления в гимназию требовалась справка о том, что я была у исповеди, придумывала способ, как избежать этого.

Тогда был обычай: в большие праздники церковный причт (обычно священник с дьяконом) ходил по домам к более состоятельным жителям его прихода и «служил» что-то вроде молебна, за что получал соответствующую мзду. И вот обычная картина: по крыльцу («парадному») нашего дома поднимается тучный священник и звонит. Мы видим его из окна, и, по указанию мамы, Настя или Лиза отворяют дверь и сообщают непрошеным гостям, что хозяев нет дома. Священник разочарованно, как-то сгорбившись, спускается с крыльца, а мы и рады, что избавились от его визита, и несколько смущены вынужденным обманом.

Но бабушка и дедушка, простые люди, исполняли церковные обряды, и праздники отмечались согласно традициям. Самым интересным, я бы сказала, поэтическим праздником был сочельник. Пока был жив дедушка Иван Михайлович, и он и бабушка не ели весь день «до звезды». Детям тоже нравилось присоединяться к ним. Когда на небе появлялась звёздочка, садились за стол (перед этим мы все бегали смотреть на небо). Под скатерть по обычаю постилался тонкий слой сена (в память о яслях). На столе обязательно была кутья (варёный рис с изюмом).

В сочельник у нас обязательно была «ёлка», но это была не ель, а сосенка, как и полагалось в нашей лесостепной природе. Был у нас обычай: убрав нашу сосенку украшениями, мы оставшиеся ветки отвозили (на лыжах — мама, Маруся и я) на могилу нашей умершей сестры Ниночки на кладбище Мужского монастыря, который был сравнительно недалеко от нашего дома.

Празднование же праздника Пасхи в большинстве семейств того времени мне представляется праздником обжорства. Хотя великий пост большинством не соблюдался, в пасхальный праздник, в «разговенье», аппетиты разгуливались. Накрывались столы с множеством блюд и как члены семейств, так и визитеры (был обычай на Рождество и Пасху делать визиты знакомым и незнакомым — например, начальству, где нередко просто расписывались в книге) предавались чревоугодию.

Мне же праздник Пасхи во время моего детства запомнился обязательными горшочками с гиацинтами, которые к этому времени выгоняли свои стрелки с цветами белого, голубого, розового и бледно-синего цвета. Мама сама заботливо занималась гиацинтами. А ещё на Пасху была любимая игра (особенно если Пасха была поздняя): катать на дворе крашеные яйца, стремясь выиграть как можно больше.

* * *

Выше я довольно много написала о занятиях отца. Теперь мне хочется сказать больше о маме, о её занятиях, вкусах, её времяпрепровождении. Хозяйство, как я уже, писала, было так организовано, что отнимало у мамы немного времени, хотя, повторяю, бразды правления хозяйством были в её руках. Кроме обычного ухода за детьми, она готовила дочерей к поступлению в гимназию сама. Я прошла два первых класса гимназии (они назывались тогда младшим и старшим приготовительными) под руководством мамы. Мы занимались письмом, арифметикой, рисованием, французским языком. Читать я научилась раньше.

Нонна Ивановна по-прежнему была деятельным помощником отца в его научных занятиях и общественной работе. Но большая работа по обработке собираемых им коллекций (перекладка гербариев, обработка тушек птиц для чучел и т. п.) в это время перешла в другие руки — его учеников, сотрудников музея. Мама помогала отцу в обработке рукописей — редактировала его черновики, переписывала их набело. Пишущей машинки у моих родителей не было — вероятно, это было не по средствам, да и не было большой нужды в ней, т. к. в типографии принимали рукописи, написанные «от руки». Так было ещё и в 1920-е и в 30-е годы и в Пензе и в Москве — настолько были квалифицированы наборщики в типографиях, а труд автора тогда ценился не меньше, чем труд типографского работника. Постоянны были у моих родителей, как и раньше, обсуждения всех дел и занятий отца, постоянные рассказы его о сделанном и пережитом за день, обсуждение этого и планов на дальнейшее.

Как и ранее, Нонна Ивановна принимала большое участие в жизни Пензенского общества любителей естествознания, в организационных делах, была членом его Совета, несла дежурства по музею. В годы войны у неё появилась ещё другая общественная работа — с беженцами. С первого же года войны в Пензе появилось много беженцев из западных губерний России, из Польши. Среди них было много евреев. До этого в Пензе евреев было совсем мало. Это были преимущественно коммерсанты, владельцы больших магазинов на Московской улице (Мильман, Фишман и др.), а в это время появились характерные фигуры старых евреев в длинных, до пят, чёрных лапсердаках, с ермолками на голове и длинными локонами-пейсами, спускавшимися от висков вниз. Это были представители другого сословия — ремесленники. Сохранившийся в нашей семье и несколько лет тому назад переданный мною в пензенскую Художественную галерею этюд художника, преподавателя пензенского Художественного училища П. И. Коровина «Голова старого еврея», вероятно, надо отнести к этому времени.

С беженцами Нонна Ивановна работала главным образом в «швальне» [31] — так называлась мастерская по пошиву одежды, организованная для того, чтобы дать заработок женщинам-беженкам. Помню также работу по сбору вещей и организации посылок для солдат в действующей армии. В посылку обычно вкладывался кисет для табака. Мне очень нравилось возиться с яркими тряпочками и шить из них кисеты.

И всё-таки у мамы оставался досуг. Она много читала, следила за новой литературой. В сохранившихся письмах к отцу его сотрудников-ботаников встречаются упоминания о том, что «достал, по просьбе Нонны Ивановны книжечку Верхарна («Зори») и т. п. Книги Метерлинка, изданные в те годы в приложениях к журналу «Нива», стали одними из наиболее читаемых Ионной Ивановной в те годы. Интерес к Метерлинку усиливался благодаря спектаклям Художественного театра. Несмотря на скромные средства Нонна Ивановна ездила из Пензы в Москву, чтобы посмотреть новые спектакли этого театра, кумира русской интеллигенции, театра, так любимого ею. По возвращении в Пензу мама много и подробно рассказывала о постановках Художественного театра, привозила программы спектаклей, иллюстрации. Мне она особенно много рассказывала о «Синей птице». С тех пор на всю жизнь у меня сохранялась любовь, восхищение Художественным театром, его спектаклями в исполнении артистов первого и второго поколений этого коллектива. Мне удалось видеть на сцене и К. А. Станиславского, В. И. Качалова, О. Л. Книппер-Чехову, Москвина, Тарханова и других. Видела в этом составе спектакли «Дядя Ваня», «На дне», «Три сестры», «Царь Федор Иоаннович», «Дни Турбиных» (в исполнении артистов второго поколения МХАТ) и другие.

В эти же годы у Нонны Ивановны развился интерес к искусству, философии и религии древних народов Азии, в особенности Индии и Японии. Она приобретала все, что выходило в России в то время из литературы этих стран. Особенно она любила книги Рабиндраната Тагора, из книг по Японии — Лафкадио Хёрна «Душа Японии», другие книги.

В нашей семейной жизни событиями были походы мамы в магазины на Московской улице. Здесь тогда были сосредоточены все крупные магазины Пензы, в том числе книжные. Так интересно было ждать маминого прихода из магазинов и рассматривать принесённые ею книги и другие вещи. Особенно мне запомнилось впечатление от принесённого ею в 1913 году большого тома «Серов» И. Грабаря. Я сразу уселась в столовой за большой стол смотреть его. Впечатление было огромным. Серов остался на всю мою жизнь самым любимым художником. А книгу украли, когда наша библиотека в 1944 году лежала в Педагогическом институте имени В. И. Ленина, украли вместе с другими ценными книгами…

И ещё было одно занятие у Нонны Ивановны — рукоделие. В те годы женщины много времени уделяли этому занятию. Мама прекрасно умела шить. Она шила все платья и бельё своим дочерям, многое шила и себе самой. Её золотые руки могли сделать всё, что угодно. Позже, в студенческие годы я приеду из Москвы в Пензу, расскажу маме «что носят» в столице и мама сошьёт мне модное платье. Было даже так. Отец срочно уезжал в экспедицию (это было тоже уже в 1920-е годы), не могли в Пензе купить ему соответствующий костюм. Когда пропала надежда «достать» что-либо подходящее, мама купила нужную материю, скроила, распоров для выкройки старый изношенный костюм, и сшила новый.

Очень хорошо и много Нонна Ивановна вышивала. Вышивала гладью — тогда не было готовых комбинаций, как теперь, и женщины вышивали сами по батисту или другому материалу или же заказывали (чаще в пензенском женском монастыре, где монашки занимались вышиванием, выстегивали ватные одеяла и т. п.) дневные и ночные сорочки. Очень модную тогда вышивку «ришелье» мама не любила (стиль «модерн»), но всё же кое-что (диванные подушки) она делала и этим способом. Особенно пользовалась её любовью вышивка «хардангер», с которой она познакомилась по приложениям к журналу «Нива». Дорожки, покрывала на подушки её работы сохранились до сих пор.

Нонна Ивановна ещё умела и успевала вязать. Она вязала из шерсти (тогда была прекрасная шерсть, которая называлась «берлинской») вязаные кофточки себе и дочкам. Этим вязаньем она занималась во время наших занятий, по подготовке меня к поступлению в гимназию. И ещё было у Нонны Ивановны любимое

рукоделие — она плела кружево способом, который назывался «фриволите». У неё был маленький костяной челночок, при помощи которого она плела из белых катушечных ниток узенькое или несколько шире кружево для отделки белых воротничков, дамских сорочек и т. п. Этим рукоделием она занималась, когда к ней кто-нибудь приходил. Тогда было принято при гостье (но не при гостях) заниматься во время разговора каким-нибудь рукоделием.

И нас, детей, мама учила разным рукоделиям. Сначала мы вышивали по канве. Тогда было принято расшивать концы полотенец (старая крестьянская традиция, перешедшая и в город). Мама брала узоры этих концов из книги В. В. Стасова «Русский народный орнамент». Мне очень нравилось вышивать эти старинные русские узоры — диковинные цветы, деревья с большими цветками и, конечно, птицами. Вслед за узорами по канве следовало вышивание швом «тамбур» — фантастические птицы-павлины. Были и другие узоры («концов») со сложным сочетанием разных швов. Следуя русским традициям, вышитыми полотенцами украшались комнаты. В городе у нас вышитые полотенца висели в столовой. Полотенце перевешивали через палочку, вставленную в нижнюю часть висящей на стене полочки. А на полке стояли красивая гончарная и деревянная посуда. На даче же соответственно более простой обстановке, вышитые полотенца находили более широкое применение наряду с рушниками, привезёнными отцом из черниговских экспедиций.

Сколько дел, сколько занятий, и всё успевалось! Как я писала выше, жизнь была очень организована, очень налажена. Ну и не было не только телевизора, дающего в наше время так много интересного, но, и берущего, при самом строгом отборе передач, немало времени; редкостью было кино — ходили только на самые интересные картины; не было в Пензе и постоянного театра, посещались Н. И. и И. И. Спрыгиными, главным образом Ионной Ивановной, концерты приезжих из столиц музыкантов и гастроли более интересных театров. Из местных, музыкантов мама неизменно бывала, вместе с дочками, на концертах пианиста Н. И. Витвера.

Свободное время оставалось и потому, что у Н. И. и И. И. Спрыгиных не было распространенного в то время обычая хождения в гости — как больших или небольших «приемов» знакомых, так и обязательных тогда «визитов». Гости бывали у Спрыгиных только в дни семейных праздников и ограничивались узким кругом близких родных или самых близких друзей. Дом был открыт, и всегда в нём было много народа, но преимущественно это были деловые посетители, связанные с Н. И. и И. И. Спрыгиными по научной или общественной работе.

Круг близких знакомых и друзей в это десятилетие расширился. К тем знакомым и друзьям, о которых я писала в предшествующей главе (Титовы, Романовы, Кабановы), присоединились супруги Штукенберг, Петровы, Г. С. Калантаров и другие. Активные деятели Общества любителей естествознания были постоянными посетителями Спрыгиных. С А. А. Штукенберг была постоянная связь по работе в музее и по Обществу, но «близким знакомым» Спрыгиных его назвать нельзя, слишком разные они были люди. А Елизавету Карловну связывали с Ионной Ивановной общие интеллектуальные интересы, общественная работа. По уму, развитию и душевным свойствам они были ближе.

О семье Петровых я написала в отдельном разделе, относящемся к этой же главе, разделе, в котором я рассказала о жизни нашей семьи в течение трёх летних сезонов на даче в Кичкилейке. Эти страницы жизни нашей семьи в Кичкилейке казались мне такими яркими, что я выделила их отдельно.

Елизавета Карловна Штукенберг и Александра Ивановна Петрова были в Пензе того времени самыми интеллигентными, образованными женщинами. С ними и было у Нонны Ивановны наиболее тесное общение в те годы.

Повторяю — я нарисовала довольно идиллическую картину жизни Н. И. и И. И. Спрыгиных в те годы. Но это так и было. Они были молоды, полны энергии, знали, что хотели сделать в своей жизни и к этому шли, этого добивались. В материальном отношении жили хуже, чем большинство в их среде, но это их не огорчало. Деньги, достаток никогда не были самоцелью для Н. И. и И. И. Спрыгиных. Только работа, а деньги — приложение за эту работу.

Да, мирная жизнь в семье, огромная общественная работа, в которой много удавалось сделать, вступление Ивана Ивановича в «большую науку» России и принятие его этой наукой. Но было и много волнений, переживаний…

Эти переживания вызывались главным образом борьбой моего отца при организации музея, Ботанического сада и при земских оценочных работах с административным начальством — с теми чиновниками, от которых зависело свершение тех или других общественных начинаний И. И. Спрыгина и его сподвижников по работе. Всюду приходилось преодолевать косность, недоверие к новому, молодому, скаредность при выделении средств на нужды музея и т. п.

При земских оценочных работах были трения со стороны земского начальства. Его представителей И. И. Спрыгин в своих автобиографических заметках назвал «земскими зубрами». Он упоминает в этих заметках имя Вырубова, от которого, видимо, зависело субсидирование исследований. Шла постоянная борьба с городским начальством Пензы, выдававшем Обществу субсидии и в силу этого ведшим контроль над его деятельностью (финансовой стороной). Вёл наблюдение за Обществом и его членами губернатор с его системой жандармских чиновников. Достаточно сказать, что на каждую экскурсию Общества, организуемую для ознакомления его членов с природой Пензенского края, требовалось особое разрешение, да и во время экскурсии велось наблюдение за содержанием и поведением слушателей. Достаточно вспомнить эпизод, когда И. И. Спрыгин привёл экскурсию гимназисток 1-й женской гимназии на могилу незадолго перед тем казнённого молодого юноши-революционера Пчелинцева и рассказал им про него. Это был столь тяжкий проступок, что за ним последовало увольнение И. И. Спрыгина из гимназии, в том числе потеря 7 лет стажа.

При нервном, чрезвычайно эмоциональном характере Ивана Ивановича все эти неприятности вызывали у него тяжёлые переживания. Следовали одна за другом бессонные ночи, обсуждение происшедших инцидентов с Нонной Ивановной.

Были и другого рода неприятности. В 1915 году произошла дискуссия между доцентом Московского

университета В. В. Алехиным и И. И. Спрыгиным, о которой я писала в этой главе выше.

Я ещё ничего не сказала о педагогической работе Ивана Ивановича в это десятилетие. Это была официальная «служба» его. С уроками в 1-й женской гимназии ему пришлось расстаться после экскурсии на могилу Пчелинцева. Остались уроки в 1-й мужской гимназии и преподавание в Художественном училище. В училище он сохранил небольшое количество уроков в память своей первой педагогической работы в Пензе, а в 1-й мужской гимназии имел полную нагрузку уроков, ходил туда регулярно каждый день. И в это десятилетие он отдавал преподаванию естествознания много внимания и сил, имел репутацию талантливого, увлекавшего учащихся своими уроками педагога. Он был любим учениками (несмотря на то, что был строгим и требовательным педагогом), за исключением отъявленных лентяев или неспособных к учению мальчиков. Об увлекательности его уроков, о том, как много знаний давали они, и как эти уроки воспитывали в учащихся патриотические чувства — любовь к родине, любовь к природе, говорят воспоминания его учеников по гимназии, написанные к 100-летию со дня его рождения — Серафима Александровича Уранова, писателя Д. В. Лучанинова (псевдоним, настоящая фамилия Фибих), профессора В. М. Сидельникова. Эти воспоминания хранятся в научном архиве Пензенского краеведческого музея.

Впоследствии, в конце описываемого десятилетия, в первые годы после Октябрьской революции много энергии и сил Иван Иванович отдал делу реорганизации преподавания, становлению новой, советской школы.

Описывая жизнь семьи Спрыгиных, нельзя не сказать, что в их доме всегда были животные, много животных. Все в семье очень любили их. В доме всегда были собаки, кошки, птицы. Жили черепахи, привозимые Иваном Ивановичем из экспедиций в Туркестан, и другие животные. Собаки доживали до глубокой старости, пока не наступала смерть.

Много лет вспоминали мои родители любимицу отца охотничью собаку отца Дианку, которая попала под поезд на разъезде Арбеково под Пензой ещё в первые годы нашего столетия.

Кошек всегда было несколько, доходило до 8 штук — кошки приносили котят, а выбросить их было невозможно, они жили, пока не находились новые хозяева. Мы много возились с нашими друзьями, заботились о них, придумывали им разнообразные ласковые прозвища. Так, в 1915 году, когда я увлекалась чтением «Песни о Гайавате» Лонгфелло, я назвала своего самого любимого котенка «Нинимуша», что значит в переводе с языка индейцев, «милый друг».

Ивана Ивановича, когда он был дома, нельзя было представить иначе как в окружении кошек. Когда он вставал из-за письменного стола, первым его побуждением было подойти к кошке, если только она не была у него на коленях, когда он занимался, и начать гладить её. Эта процедура могла продолжаться довольно долго к обоюдному удовольствию — и хозяина, и кошки. Когда в 1915 году летом мы жили в Кичкилейке, долгое время стояла холодная и очень дождливая погода. Дача не отапливалась, и в ней было холодно. Иван Иванович тем летом не ездил в экспедицию, жил с семьёй на даче — он писал «Растительный покров Пензенской губернии», проводил за этой работой много часов. Мы привезли из города кошку с двумя маленькими котятами. Малыши очень мерзли в холодную погоду. Чтобы согреть котенка, Иван Иванович клал его за борт своего пиджака. И вот обычная картина: Иван Иванович часами углубленно пишет за своим письменным столом, а из пиджака выглядывает мордочка спящего крошечного котенка.

Об отношении Ивана Ивановича к своим любимцам собакам свидетельствует следующим случай. Это событие произошло уже в 1921 году — я забегаю немного вперёд, рассказывая о нём. В 1919 году у нас появился новый член семьи — совсем маленький щенок, рыжий ирландский сеттер Рус. Когда в 1920 году наша семья переезжала в Ташкент, Рус, конечно, поехал с нами. По возвращении из Ташкента в Пензу в 1921 году дорогой и произошёл этот случай.
16 июня рано утром поезд остановился на станции Сапак перед Аральским морем. Воспользовавшись остановкой, Иван Иванович выпрыгнул из теплушки, за ним выскочил из вагона и Рус. Он был ещё очень молодой, чрезвычайно жизнерадостный пёс. Обрадовавшись прогулке, он отбежал довольно далеко и не возвращался. Тогда поезда ходили без расписания, без звонков, и вот, к нашему ужасу, поезд тихо трогается, а отец и Рус остаются на станции. Иван Иванович успел вскочить на задний тормоз вагона, а собака металась по путям, ища хозяина. Этого зрелища отец вынести не мог, он решил остаться с Русом на станции и выпрыгнул из вагона. Мы только успели сбросить ему фуражку.

Чтобы представить весь трагизм сложившейся ситуации, нужно знать, что тогда ещё не было регулярного пассажирского движения и было совершенно неизвестно, когда можно будет снова сесть на поезд. И вот Иван Иванович остается на станции Сапак вдвоем с Русом без денег, без провизии. Почти трое суток он догонял нас, ночуя в теплушке на голом грязном полу. На следующей станции Аральское море я оставила у начальника станции для него хлеба, денег и табака.

Помогали люди — кто дал табаку, кто накормил варенцом, а потом он получил и оставленную для него посылку. Только на третий день вечером на станции Ак-Булак отец смог присоединиться к нам.

Рус был славный и умный пёс. Он был моим любимцем и верным товарищем. Приезжая из Москвы на каникулы, я совершала с ним вдвоём пешеходные ботанические экскурсии, главным образом в Арбеково и обратно. Мы превосходно понимали друг друга. Если Рус уставал (мы проходили в день верст 30–40), он шёл за мной буквально «по пятам», наступая каждой ногой мне на пятки. Это значило: «Я устал… Давай отдохнём?!». Часто я гуляла с ним в лесу Засеки, к так называемой Второй будке. Там дорога разветвлялась надвое, и мы шли то по одной, то по другой дороге. Добежав, впереди меня, до развилки, Рус садился, «лицом» ко мне, и ждал моего приближения. Я кивала головой в направлении той или другой дороги. Рус в ответ энергично кивал мне своей головой (»Понял!») и бежал дальше по указанному направлению. Мне писали из дома, что когда я, побыв в Пензе, уезжала в Москву, Рус два дня не ел, грустно лежал, положив голову на лапы.

Кроме постоянных экспедиций и экскурсий Ивана Ивановича, в первой половине десятилетия Спрыги-

ны совершили две дальние поездки. В 1911 году, едва переехав в новый дом. Нонна Ивановна и Иван Иванович нашли в себе силы предпринять поездку на пароходе от Сызрани до Перми, где жила подруга Нонны Ивановны по гимназии Ольга Алексеевна Орионова (урожденная Панчулидзева). Доехав по железной дороге до Сызрани, мы пересели на пароход и на нём проплыли по Волге и Каме до Перми. Это было первое мое большое путешествие.

А в 1914 году мы, тоже вчетвером, поехали в Крым. Папа довёз нас до Алупки и уехал работать в Черниговскую губернию. Мы же втроем устроились жить в небольшом и дешёвом частном пансионе. Потом вернулся из Черниговской экспедиции папа. Он и тут не отдыхал — совершал восхождения на Ай-Петри, экскурсии по южному берегу Крыма, в Никитский ботанический сад.

Закончилось наше пребывание в Крыму большой суматохой. Началась первая мировая война. В Крыму была очень сильная паника. Говорили, что уже показались на горизонте военные корабли наших врагов. Началось бегство приезжих из Крыма. Нельзя было достать билеты на пароходы или на поезд от Севастополя. Нонна Ивановна и Иван Иванович решили переждать возникшую панику. К тому же у них не было возможности платить бешеные деньги за билеты. Через некоторое время, когда паникеры разъехались, мы смогли доехать до Севастополя и там сели на поезд.

Все, что я написала выше в этой главе, относится к годам 1909–1916. В 1917 году, после революции, многое изменилось в работе, общественных отношениях, в быту семьи Спрыгиных.

* * *

Прежде всего, напишу о своих детских впечатлениях о февральской революции в Пензе. Я вспоминанию об этом времени как о всеобщем ликовании. Конечно, это ликование не было, как я написала, всеобщим вполне. Высшая городская администрация, часть так называемой интеллигенции были настроены монархически, привержены старому режиму, хотя и там, вероятно, Николай II не пользовался ни уважением, ни любовью. Но настолько прогнил этот старый режим, настолько он не соответствовал общему духовному уровню, настрою России, что эти монархические настроения тонули в общем ликовании.

Но были большие волнения в войсках. Солдаты расправлялись с ненавистными им офицерами, жестоко обращавшимися с ними. Особенно стала известна расправа солдат с полковником Животовским, наиболее жестоким, глумившемся над солдатами офицером. Это происходило в начале Суворовской улицы (теперь улица Куйбышева). Солдаты вырвали у него руками половые органы, распороли живот, у ещё живого вырвали кишки и развесили их на телеграфных проводах. Так велико было озлобление у солдат против их мучителя. Я знаю о происшедшем от очевидца — моей сестры Маруси, которая работала в то время в Лермонтовской библиотеке, в небольшом домике, принадлежавшем тогда библиотеке и находившемся на Садовой улице близ угла с Суворовской (теперь угол улиц Лермонтова и Куйбышева). Вместе с другими работавшими с нею она наблюдала происходившее из окна.

В 1-й женской гимназии среди начальства были, вероятно, настроения приверженности старому режиму, но на нас, учащихся, это не сказывалось, никакого давления не было. Очень запомнилась мне первомайская демонстрация в Пензе в 1917 году, на площади перед губернаторским домом. Помню солнечный день, весёлое настроение у нас, маленьких гимназисток (я была во втором классе, мне было 11 лет). В косе у меня огромный красный бант. Красные ленты у других гимназисток в волосах или приколоты на груди.

Октябрьская революция в Пензе, как известно, запоздала по сравнению с окружающими городами и губерниями, совершилась только в декабре. Поэтому она совершилась относительно мирно. Все, кто хотел скрыться из Пензы до прихода в городе к власти большевиков, успели уехать. Уехал губернатор Евреинов и иже присные с ним. Этот губернатор Евреинов не был популярен в городе. Он держался очень замкнуто, особняком, мало общался с населением Пензы (может быть, общался только с высшим дворянством и администрацией губернии). Евреинов занимал пост губернатора с 1914 года, когда с началом войны прежнему губернатору, немцу Лилиенфельд фон Тоаль, пришлось уйти с этого поста. В отношении к населению Лилиенфельд держался по-другому (очевидно был умнее Евреинова), был общительнее и приветливее. Иногда, когда я с отцом шла по улице вблизи губернаторского дома, мы встречали губернатора, который в определённые часы медленным шагом прогуливался возле дома в своей генеральской шинели с большими красными отворотами. Он всегда приветливо здоровался с моим отцом. Как-то я задала вопрос: «Папа, он — губернатор, а ты — учитель, почему же он сам, первый здоровается с тобой и улыбается?» Отец отвечал: «Я у него на особом положении». Он подразумевал свою политически неблагонадежность. Но дело ещё и в том, что сын губернатора учился в гимназии у моего отца.

Недавно я случайно услышала, что после войны и революции пензенский губернатор Лилиенфельд фон Тоаль жил в городе Киль, был профессором русского языка. Ту же профессию унаследовал и его сын. А внук стал врачом.

Вернусь к началу советской власти в Пензе. Было известно, что она уже утвердилась в окружающих нашу губернию городах. Ждали перемены каждый день. Утром, когда отец уходил в гимназию, он говорил: «Ну, уж сегодня наверняка увидим новую власть». Но, возвратившись после уроков домой, сообщал, что ничего не произошло. Наконец этот день наступил. Но произошёл переворот относительно спокойно, вероятно потому именно, что противники новой власти, увидев своё дело проигранным, поскольку в соседних городах советская власть уже утвердилась, успели уехать из города. Ни о каких кровавых расправах, подобно описанной выше во время февральской революции, я не слышала. Вероятно, были аресты, но немногочисленные и не среди круга известных моим родителям лиц.

Как отнеслись к Октябрьской революции Н. И. и И.И. Спрыгины? Вначале — вопросительно. Дело в том, что партия большевиков была очень сильно законспирирована, её программа была мало известна даже среди той прогрессивной части русской интеллигенции, к которой принадлежали мои родители. Эта тщательная конспирация была одной из причин успеха партии большевиков, Октябрьской революции

(конечно, кроме основных социально-исторических причин). Вот почему у Н. И. и И. И. Спрыгиных, да, вероятно, и у других близких к ним людей, отношение к большевистской партии было, прежде всего, вопросительным. Кто эти люди, какова их программа, какие перемены внесёт она в жизнь?

Столкнуться с новыми людьми, пришедшими к власти в Пензе И. И. Спрыгину пришлось в первые же дни — в школе, в музее. Нужно сказать, что никакого предвзятого отношения у него к большевикам не было. Был большой интерес, даже присущее его живому и глубокому уму и его интересу к истории любопытство — что же это такое и что из этого выйдет? Имело значение и то, что И. И. Спрыгин сам вышел из простого народа, у него не было никаких сословных эмоций.

Нужно сказать, что и к Спрыгину отношение представителей новой власти было очень уважительным. Первые большевики в Пензе были старыми большевиками, интеллигентами или людьми, ставшими ими (интеллигентами) за время пребывания в партии. Они быстро оценили ум, энергию и способность к восприятию всего нового И. И. Спрыгина и увидели в нём верного и деятельного помощника в перестройке жизни. Тому, что он два месяца был в партии к.-д. тогда не придавали значения, понимая, что в его жизни это был случайный эпизод, и не было у него убеждённой приверженности к этой партии. К тому же он сам, ещё до прихода к власти большевиков, по своему собственному заявлению вышел из этой партии. Через 10–12 лет, во время так называемой культурной революции, когда произошла замена первой когорты большевиков в Пензе другими, большей частью пришлыми людьми, плохо знавшими местных людей и историю города и, к сожалению, часто представлявшими собой лишь накипь в огромной чаше революции, заботящимися о себе, и своем выдвижении наверх, о собственной карьере (А. Блок: «Революция выносит на берег не только достойных, но и недостойных»), когда, чтобы уберечь себя, обязательно было ругать других, доносить, тогда, конечно, нашлись люди, клеветавшие на И. И. Спрыгина. На такой заметной фигуре в городе нетрудно было и себя показать.

Возвращаюсь к 1918 году. Начался новый этап в общественной деятельности И. И. Спрыгина. Со всем пылом своей энергичной натуры Иван Иванович отдался делу реорганизации преподавания в средней школе. Летом 1918 года на частной квартире одного из преподавателей произошло общее собрание педагогов бывшей 1-й мужской гимназии. Не пригласили бывшего директора гимназии Н. А. Беляева и, вероятно, инспектора Григорьева. Директор Беляев был весьма ограниченный, консервативный человек — чиновник, много лет занимавший этот пост.

Его «низложение» произошло без прений. В его же стиле был и Григорьев. На этом собрании был избран на место Беляева, только под другим наименованием, а именно председателем педагогического совета, И. И. Спрыгин (коллегия народного образования Губернского совета рабочих и крестьянских депутатов утвердила его в этой должности), который и начал реформу среднего образования в школах Пензы. Были пересмотрены учебные планы, изменены программы отдельных предметов. Был исключён предмет «Закон Божий», введены уроки ручного труда. В 1-й школе это было переплётное дело; может быть, были и другие уроки ручного труда. Летом были организованы работы в огородах и садах.

В это же время было введено совместное обучение мальчиков и девочек. Сейчас же в 1-ю школу (бывшую 1-ю мужскую гимназию) перешли несколько гимназисток из 1-й женской гимназии: я поступила в III класс, а моя сестра Маруся в VIII, последний. Вместе с ней перешли Софья Уранова, Лариса Соболева, Бархатова, Храмова; в мой класс перешли ещё две девочки. Этот наш переход был вызван тем, что в бывшей мужской гимназии программы были шире, и уровень преподавания был выше. Это было тогда весьма престижно — перейти в бывшую мужскую гимназию — и переходили, разумеется, хорошие ученицы.

Кроме работы по изменению программ преподавания и всей организации школы (она стала называться 1-й единой трудовой школой Пензы, теперь 1-я школа имени В. Г. Белинского — в этом учебном заведении когда-то учился Белинский), И. И. Спрыгин много внимания уделял работе по снабжению преподавателей и учащихся продуктами питания. Был организован для педагогов и служащих школы кооператив, который закупал продукты и распределял их между членами кооператива. Это было существенное подспорье в уже весьма голодные годы. Мне запомнились школьные вечера, где нас угощали лакомством, как мне казалось, — горячим и сладким суррогатным кофе и ломтями чёрного хлеба, посыпанными сахарным песком.

Летом были организованы огороды («учительские огороды» — характерная черта того времени!) и работы в садах. 1-й школе был передан реквизированный у купца Епифанова большой сад с плодовыми деревьями на окраине Пензы. Туда мы ходили работать каждое утро, как на занятия в школе.

Большой заботой и огорчением для И. И. Спрыгина были неоднократные реквизиции здания 1-й школы под госпитали. Шла гражданская война, в город привозили большое количество раненых. Имевшихся в городе больниц не хватало. И вот для раненых реквизировали здания школ, в первую очередь — большое здание бывшей 1-й мужской гимназии. С трудом налаженные занятия в школе прерывались, учащихся распускали на неопределённое время. После эвакуации госпиталя и освобождения здания школы приходилось делать необходимый ремонт, т. к. после раненых здание оставалось в запущенном, грязном состоянии.

Помню как после одного такого занятия школы под лазарет, Ивану Ивановичу с большими усилиями удалось привести в порядок здание, и можно было приступать к занятиям учащихся. И вот, мы сидим за обедом, отец с удовлетворением рассказывает о достигнутом. Звонок. Входят два военных, предъявляют документы, здание школы вновь реквизируется под лазарет. В город привезли раненых, некуда было помещать, снова срочно понадобилась школа, пошли даже на квартиру председателя педагогического совета. Обед был прерван. Иван Иванович отправился с военными передавать им здание.

Одновременно с организацией новой советской единой трудовой школы Отдел народного образования в Пензе выдвинул И. И. Спрыгина на пост председателя постоянного Педагогического совещания, в котором были объединены представителя всех

школ города Пензы. Эта работа по организации советской школы заняла большое место в жизни И. И. Спрыгина в 1918–1919 годы.

В 1919 году в Пензе был открыт институт народного образования (первое высшее учебное заведение в Пензе). Это было большим событием в общественной жизни города. Большое значение имело открытие высшего учебного заведения для молодежи, т. к. в голодный и холодный 1919 год ехать учиться в университеты и институты других городов было невозможно. В Пензенский институт народного образования были приглашены профессора и преподаватели из высших учебных заведений Москвы и Петрограда (химик С. А. Вознесенский, филолог Г. Р. Мейер, химик Белоглазов и другие), а также несколько преподавателей Пензы. И. И. Спрыгин стал читать в институте курс морфологии и систематики растений (первый его курс в высшем учебном заведении).

После Октябрьской революции изменились и занятия Нонны Ивановны. Характерно для первых лет после революции, что интеллигентные женщины, ранее не «служившие», резко меняли свой образ жизни — решали работать. И это не было вынуждено, главным образом, необходимостью зарабатывать деньги. Это было желанием именно работать, участвовать в построении новой жизни. Одна моя сослуживица, уже пожилая женщина, рассказывала мне в годы войны: «Раньше я вела светский образ жизни, знала одни развлечения, а после революции решила, что буду учиться, а потом работать». Она окончила Институт иностранных языков и стала преподавателем.

Новая (первая после революции) работа Нонны Ивановны была по дошкольному воспитанию детей. Ещё в 1918 году летом ею вместе с преподавательницей французского языка Т. В. Каменевой и её знакомой Е. А. Шулешкиной был на летнее время организован детский сад. Территориально он базировался в парке бывшей 1-й мужской гимназии. В нём были группы детей разного возраста. Старшая из них состояла из учеников младших классов школы; в неё входила и я. У нас были занятия французским языком, ритмической гимнастикой, которой с нами занималась Е. А. Шулешкина, познакомившаяся с ритмикой в Швейцарии у Далькроза (это были очень интересные занятия, не имевшие ничего общего с теперешней ритмической гимнастикой, передаваемой по телевизору). Особенно интересны были для меня занятия по ботанике, которые вёл мой отец. Он преподавал нам начала морфологии растений и знакомил с отечественной флорой. Эти уроки отца вызвали у меня сильное увлечение ботаникой, захватившее меня в ближайшие годы.

В том же году Нонне Ивановне было предложено организовать детский сад для детей дошкольного возраста. В Пензе тогда заведовал дошкольным воспитанием Михаил Иванович Кузьмин, под руководством которого Нонна Ивановна и вела своё новое дело (она была заведующей садом). В нашей квартире были освобождены под детский сад две передние комнаты (всю квартиру в это время всё равно не могли отапливать из-за отсутствия дров). Комнаты были обставлены детской мебелью. Быстро был набран состав детей, главным образом из семей прежней «бедноты» с прилегающих к нашему дому улиц. Со свойственной ей энергией Нонна Ивановна углубилась в новую работу. Она подбирала и изучала литературу того времени по дошкольному воспитанию, изучала и классические работы.

Вскоре этот детский сад № 1 очень хорошо зарекомендовал себя и стал в Пензе опытно-показательным. Нонна Ивановна вела работу в саду два года, а потом, в 1920 году, вследствие нашего отъезда в Ташкент, она передала заведывание садом своей сестре А. И. Ступиной.

В годы 1917–1920 резко изменился быт семьи Спрыгиных, как и большей части населения Пензы. Недостаток продуктов питания стал чувствоваться уже летом 1916 года. Ещё этим летом, в Кичкилейке мама сказала мне, что в будущем году мы сюда на дачу уже не поедем, т. к. трудно будет организовать здесь питание. Для меня это была самая настоящая трагедия — так я любила Кичкилейку.

Начались голодные годы в Пензе.

Вначале, в 1917 году у нас было ещё лучше, чем в Москве и Петрограде. Мама ещё могла посылать продуктовые посылки своему брату Владимиру Ивановичу в Москву. Принимали в посылках хлеб, сухари. Мама брала круглый каравай ржаного хлеба домашней выпечки, вырезала с нижней его стороны отверстие и некоторый объём мякиша и вкладывала большой кусок сливочного масла. Затем отверстие закрывалось нижней коркой хлеба. Каравай зашивался в холстину и отправлялся по почте в Москву.

Затем наступили настоящие голодные годы в нашей семье. Я уже писала о том, что материальный уровень нашей семьи был всё-таки невысок, ниже, чем у большинства интеллигенции того времени. Причина этого, повторяю, в том, что у моих родителей не было в начале их совместной жизни наследственных накоплении, оба были из очень бедных семей, начинали они свою материальную жизнь, можно сказать, на голом месте. Вторая причина — они никогда не стремились больше заработать, думали только о своей творческой, созидательной работе. Зарплата была приложением к работе, а не самоцелью. Не было у мамы ни драгоценностей (две-три недорогие вещи), ни отрезов на платья и пальто, ни других вещей. А это имело большое значение в те годы, так как шла обменная торговля между городом и деревней.

В субботу вечером и в воскресенье мы у нашего дома, расположенного на окраине города, в конце третьего квартала Пешей улицы, наблюдали, как тянулись один за другим пешеходы, несущие с собой свертки — вещи для обмена на продукты в близлежащих от города деревнях. К концу воскресенья шёл поток людей в обратном направлении, только поклажа у них была больше — люди несли картошку, масло и другие продукты. Развилась и спекуляция. Стали известны адреса людей, у которых можно было выменять или купить за большие деньги продукты. Я со старшей сестрой ходили куда-то на самую окраину Пензы, где-то у Мужского монастыря, чтобы приобрести бутылку подсолнечного масла.

В городе давали продуктов ничтожно мало. Вначале ещё выдавали без карточек колбасу, за ней стояли огромные очереди. Маме приходилось, идя в такую очередь, вместо шляпы повязываться платком — на шляпки в очередях смотрели косо. Потом прекратились и эти колбасные очереди.

Некоторых продуктов мы тогда совсем не видели. Не было сахара, конфет, мяса. Жили главным образом тем, что могла дать деревня. Вспоминаю, что к вечер-

нему чаю (преимущественно морковному — из сушеной моркови) у нас как лакомство иногда подавалась печёная тыква. После того, как была истоплена русская печь, в неё задвигалась на сковороде небольшая круглая тыква, целиком. К вечернему чаю она испекалась. Это был распространённый тогда мордовский сорт тыкв — небольшого размера, тёмно-зелёного с разводами цвета. Испечённая целиком, она сохраняла много сахара. Её резали на куски, как теперь разрезают торт. Я была девочкой 12–13 лет, быстро росла, а ничего сладкого не было, и мне эта печёная тыква казалась большим лакомством.

Институт народного образования в Пензе получил для своего пользования реквизированное у владельца имение в селе Лебедевке недалеко от города. Там были ягодные кустарники и плодовые деревья, развели огороды. Были установлены дежурства преподавателей и студентов института. Сложился свой «лебедевский» быт. Много было молодежи, а значит, было и веселье, складывались романы, иногда на долгую жизнь.

Кроме недостаточного питания очень страдали мы тогда и от холода. Дрова достать было трудно, и стоили они невероятно дорого. Топили большей частью чугунную печку «славянку». Не было керосина. Мы могли зажигать только «коптилку» — маленький пузырёк с керосином, в который был вставлен крошечный фитилёк, который чуть мерцал и коптил. При таком освещении всю зиму читали и занимались другими работами.

В 1920 году совершилась резкая перемена в жизни нашей семьи — И. И. Спрыгин был избран профессором вновь открывающегося университета в Ташкенте, и в сентябре этого года наша семья переехала в Ташкент.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. «Большая Советская Энциклопедия», изд. 2-е, т. 20: «Кантонисты — в крепостнической России солдатские сыновья, со дня рождения числившиеся за военным ведомством. Из них формировались роты, батальоны, бригады. Некоторые из них обучалась в школах, подготовлявших унтер-офицеров в кавалерию, артиллерию, инженерные войска. Основная же часть на 20 лет зачислялась в солдаты.

[2] Теперь улица Коммунистическая.

[3] Сравнить со словами А. Д. Блока: «Революция выносит на берег не только достойных, но и недостойных.»

[4] Где, в каком здании помещалась эта квартира Капраловых, в которой родился И.И. Спрыгин. До революции квартира кастеляншки помещалась в нижнем этаже главного здания больницы, в правом крыле его, если смотреть со стороны улицы. … это была хорошая квартира из 5 комнат. … должность кастеляншки в то время была весьма уважаема и соответствующе обставлялась. Но, ведь Капраловы жили в здании больницы много ранее, в 1860–1870-е годы.

[5] Подобное одеяло я видела в Спасском-Лутовинове, имении И. С. Тургенева. Им была покрыта кровать писателя.

[6] Госархив Пензенской области, ф. 58, оп. 1, ед. хр. 193, листы не нумерованы.

[7] Один раз я слышала от мамы, что отец Марьи Васильевны был казначеем в Невеле, а потом переехал в Витебск.

[8] «Пензенские губернские ведомости», № 201, 20 сентября 1898 г.

[9] Госархив Пензенской области, ф. 58, оп. 1, д. 280, лл. 88 об., 89, 89 об., 90, 90об.

[10] Госархив Пензенской области, ф. 106, оп. 1, д. 388, листы не нумерованы.

[11] Ботанический журнал», 1966, т. 51, № 6.

[12] Научный архив Пензенского областного краеведческого музея, № 534, л. 2

[13] Там же

[14] Там же

[15] Госархив Пензенской области, ф. 5, оп. 1, д. 7425, лл. 3 об., 12; д. 7026, л. 19; д. 7279, л. 4 об., и др.

[16] Цитирую по статье И. С. Зильберштейна и В. С. Самкова «Валентина Семёновна Серова» в книге: В.С. Серова. «Как рос мой сын», Ленинград, изд-во «Художник РСФСР», 1968, стр. 34.

[17] В нашем семейном архиве сохранилась фотография перечисленных членов кружка, снятая на одном из его заседаний.

[18] «Yndex herbariorum». P.I. «The Herbaria of the World», 5 ed., Utrecht, 1964.

[19] Это первое здание музея существует и теперь (1977 год). Вход в него был на самом углу здания, где помещалось крыльцо с навесом над ним. Теперь этот вход в здание заложен.

[20] Архив семьи Спрыгиных. Выступление Н. И. Спрыгиной на торжественном «заседании по случаю 100-летия со дня рождения К. А. Савицкого. Пенза, 1944 год.

[21] Там же.

[22] Госархив Пензенской области, ф. 5, оп. 1, д. 7106, л. 220.

[23] Ошибка в тексте, правильно — ул. Либерсона. (*Сост.*)

[24] Комментарий к т. «Собрания сочинения» А. Н. Толстого, М., 19 с. 755.

[25] Более подробно сведения об экспедиционной работе И. И. Спрыгина и данных обработки им материалов экспедиций изложены мной в книге «Иван Иванович Спрыгин» (Москва, Изд-во «Наука», 1982).

[26] Тяжёлое впечатление оставляют письма молодого М. Г. Попова. Не доверяя никому, он жаловался Н. А. Димо на И. И. Спрыгина, а Спрыгину на Димо.

[27] С 1973 года Ботанический сад в Пензе носит имя И. И. Спрыгина. У входа в Сад прикреплена мемориальная доска с его именем.

[28] За этими столами занимались и молодые сотрудники Ивана Ивановича — Е. П. Коровин, М. Г. Попов, А. И. Введенский и другие.

[29] Мебель кабинета вся осталась в Пензе. Стол, как мемориальная вещь, шкафы и стеллажи стоят в гербарии Пензенского педагогического института, коробки с гербарием, оклеенные красной бумагой, перешли в Гербарий Ботанического института АН ССР. В семье остались только мелкие вещи — гравюра «Олень», висевшие на стенах фотографии и мелкие вещи с письменного стола.

[30] Теперь эта скатерть передана мною в Пензенский краеведческий музеи, как образец кустарного производства в с. Лебедевке близ Пензы.

[31] Это слово было введено в обиход в Пензе беженцами.

Итак, вышли в свет первые три тома Антологии «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях». Мне хотелось бы отметить тех, кто принял в этом участие.

Во-первых, сама идея данного проекта была поддержана многими краеведами, архивистами, музейщиками, работниками культуры и образования нашей области. Это придало силы и уверенности в необходимости данного издания.

Во-вторых, создание Антологии было горячо поддержано администрацией города Пензы и, в частности, Главой администрации Юрием Ивановичем Кривовым, а также председателем Отделения Российского исторического общества в Пензе профессором истории Олегом Васильевичем Яговым.

В-третьих, активную помощь в подборе материала оказали сотрудники Государственного архива Пензенской области, Пензенского государственного краеведческого музея, Литературного музея, Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова (в лице Дмитрия Мурашова) и редакции газеты «Улица Московская».

И словами особой благодарностью хочу отметить тех членов нашей команды, которые непосредственно работали над этими книгами. Это Лариса Викторовна Рассказова — главный хранитель Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, великолепнейший знаток литературного краеведения, к чьему мнению я прислушиваюсь безоговорочно. Ей принадлежат все аннотации об авторах публикуемых материалов. И, конечно же, художник и дизайнер Сергей Сюзев, чью прекрасную работу можно увидеть во множестве изданий, выпущенных за последние годы в Пензе.

Игорь Шишкин

антология

ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ в мемуарах, художественной литературе и исследованиях

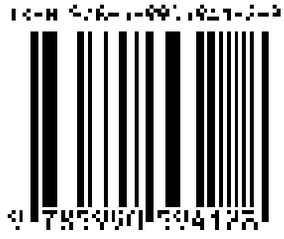
***

Книга 2

Руководитель проекта и составитель — Игорь Сергеевич Шишкин
Авторы текстов аннотаций и комментариев —
Лариса Викторовна Рассказова, Игорь Сергеевич Шишкин

Дизайн, вёрстка, обработка фотографий
и подготовка к печати — Сергей Иванович Сюзев

Фотографии из личного архива составителя

Все права защищены.
Никакая часть этой работы не может быть воспроизведена или использоваться
в любой форме любыми средствами, электронными или механическими,
включая фотокопирование, компьютерную запись или любой системой хранения и выборки
без предварительного письменного разрешения владельцев или издателя.
Охраняется законом РФ «Об авторском праве».

Заказ № 31530
Формат 62×94/$^{1}/_{8}$
Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Тираж 1000 экз.
Отпечатано с оригинал-макета заказчика в типографии ООО «Новые решения»,
129090, г. Москва, ул. Щепкина, 8